

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА



II

Заметки на полях: истоки

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА

Против эмпирионатурализма

II

Заметки на полях: Истоки

**Москва
2012**

© Сидоркина Е. Н., составление и обработка. 1985–2012

© Иванов П. Б., верстка и оформление. 2012

<http://unism.pjwb.net>

<http://unism.pjwb.org>

<http://unism.narod.ru>

- © Допускается копирование текста и элементов оформления в любой форме, целиком или частично, с любыми изменениями, включая перевод на другие языки, с любыми целями (в том числе коммерческими), при условии, что это не ограничивает свободы распространения данного оригинала.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Люди всегда что-нибудь создают. Даже когда уже есть — хочется сделать чуточку иначе, подогнать по размеру, чтобы ухватиться удобнее. Не факт, что получится проще или изящнее — зато по-нашему; а там, глядишь, попадется кому на глаза — и сгодится в качестве материала для собственных поделок. Другими словами, не просто так мы затеваем наши дела — а предполагая на выходе полезный продукт. Если речь о вещах — проект можно разработать во всех деталях; смотреть на себя со стороны люди пока не очень умеют — и поэтому производство идей не столь конструктивно: о предполагаемом продукте у нас поначалу лишь смутное представление, а то и просто интуитивное чувство, что пора начинать, по ходу разбираясь с деталями. В остальном все очень похоже. Вещи мы строим из вещей — идеи требуют идейного материала. И в том, и в другом случае нужны специальные инструменты для переработки сырья и притирки частей целого друг к другу. В сфере материального производства наш инструментарий в основной массе складывается из трех (внутренне разнообразных) групп орудий: средства наблюдения, средства воздействия и средства контроля. Точно так же, для духовного производства есть основные инструментальные категории: эстетика, логика, этика. Понятно, что одно с другим тесно связано, и внутренне строение каждого из уровней в каком-то виде воспроизводит внешнее подразделение.

Однако наши инструменты не даны раз и навсегда, они развиваются вместе с нами — поначалу как одна из сторон всякой деятельности, а потом и как самостоятельное производство, изготовление орудий труда. Под каждую работу — свой набор. За тысячи лет много накопилось техники — но когда требуется изготовить не что-то вообще, а нечто конкретное, из этого богатства приходится выбирать, в соответствии с характером задачи и качеством исходников. Даже учитывая привычки, вкусы и субъективные предпочтения — простор для творчества.

Допустим, взялись мы написать философский трактат. Какие-то навыки, вроде бы, есть — хотя бы на уровне кандидатского минимума. Пара-тройка идей в заглавнике тоже имеется. Но стоит подступиться к тексту напрямую — не клеится, хоть умри! Почему? Да потому что человек ничего не делает сам по себе — всякое производство, поскольку оно направлено на создание сколько-нибудь общественного продукта, неизбежно будет носить общественный характер — и влияют на это производство не только те, с кем приходится общаться непосредственно, но и все, чьим трудом создаются его предпосылки — то есть, по сути, все культурное человечество. Духовное производство, конечно же, не исключение — и где-то даже наоборот: поскольку его продукт должен быть универсальным, а значит, равно доступным всякому разумному существу, — первым условием становится широкая эрудиция, знакомство с опытом современников и наследием прошлых эпох. Чем больше соавторов, тем лучше. Понятно, что со всеми не познакомишься; да и знакомых-то вместе собрать затруднительно: кто где, кто когда... Виртуальный трудовой коллектив придется сколачивать как-нибудь иначе. Но это возможно — потому что для других человек представлен вовсе не какими-то телесами и биографическими подробностями, а продуктами своего труда — участия в общественном труде. Творческая индивидуальность — иерархически упорядоченный (по «степени участия», уровням опосредования) набор таких продуктов. И если нам довелось (очно или заочно) с кем-то пообщаться, мы можем легко усмотреть его (прямое или косвенное) влияние на труд других людей. Поэтому и те, с кем общаться пока не пришлось, никак не исключены из круга участников — просто мы не всегда осознаем их присутствие, не умеем обозначить их дух вещными знаками.

А знаки бывают разные. Прежде всего — сама организация быта, способ общественного бытия. За каждой вещью, за каждым шагом, — чьи-то имена. Присматриваемся, берем на заметку. Делаем выводы, превращаем в эстетические, логические и этические принципы. Есть и плоды рефлексии: искусство, наука, философия. Что в чем выражается, так сразу не поймешь; но некоторые произведения искусства, научные открытия и философские течения традиция связывает с историческими персонажами — и нам, по большому счету, без разницы, насколько официальная биография отличается от популярного мифа. Даже если когда-то жили люди с именами Гомер, Панини, или Лао Цзы, — они все равно делали вовсе не то, что мы склонны им сегодня приписывать (хотя,

вероятно, не менее полезное и значительное). С некоторых пор (в разных странах по-разному) принято ко всему приделывать один или несколько ярлыков — это называется «авторством». С тем же успехом можно было бы считать авторами растворимого кофе обладателей торговой марки *Nestlé* — хотя они палец о палец не ударили ради появления на столе вот этой конкретной чашечки. Несколько акционеров какого-нибудь завода считают всю продукцию своей — но их имена ничего не стоят по сравнению с теми, кто реально трудится руками и головой, и чья жалкая зарплата и близко не стояла с размерами бенефициарских дивидендов. Крупные предприятия выходят на биржу — и миллионы абстрактных вкладчиков (умеющих только спекулировать на курсовых разницеах) по правилам рынка претендуют на свою долю собственности (авторство). Это не наш путь — это против разума. Но есть культурные реалии — приходится использовать «общепринятые» обозначения.

Здесь собраны заметки по ходу чтения вполне конкретных текстов, и почти все — официально авторские. Но мы отдаем себе отчет, что используемые для ссылок имена — лишь условность, дань традиции или моде. Для нас Козьма Прутков и Бурбаки ничем не отличаются от мастерской Дюма-отца, студии Рембрандта, клонов группы Мираж, кабаре Crazy Horse или *Cirque du soleil*. Поэтому любые обсуждения и замечания возможны лишь в отношении таких, абстрактных авторов — которые для нас раскрываются с какой-то особенной стороны, по мере личного знакомства, и это частное видение не обязано сколько-нибудь соответствовать академическим трудам, энциклопедиям и словарям. Вслед избитой хохме, можно сказать, что во всяком собрании сочинений есть доля собрания — и доля сочинения. Соответственно, и читать мы вправе с фантазией, переписывая историю под себя.

Основная цель этой предварительной работы — накопить запас формулировок, на основе которых можно строить свои. Идеи не умеют выражаться сами — их надо выражать. И тем самым приводить мир в какой-то порядок, который (а отнюдь не слова) и есть, собственно, воплощение, знак идеи. С другой стороны, идеи тоже не ледяная глыба: им свойственно развиваться, расти, становиться универсальнее. Для этого существует проверенный метод: сталкиваем нашу идею с чьей-то еще — и смотрим, что к нам прилипнет со стороны, а что, возможно, и отколется, уйдет в шлак. Если не очень нежничать со своими находками, они закалятся, превратятся в убеждения крепче любого булата. Поэтому испытывать судьбу лучше на признанных тяжеловесах, с которыми у

человечества связаны величайшие открытия, вершины духовности. Для нас это прежде всего Маркс, Гегель, Аристотель, Ленин... Богов у нас нет, поповские сказки — из области фольклора; но и в сказках своя польза: они тоже ставят формы выражения идей — как умеют, — нам и это сгодится, за неимением лучшего.

Было бы глупо ограничиваться штудированием классиков. Хотя бы потому что тогда и не поймешь, что в них интересного. Интересно общаться с обычными (не особо гениальными) людьми, за которыми, быть может, не числится официальных заслуг — но они (как и мы) равнодушны к несовершенствам мира и по-своему прикидывают, как бы природные уродства преодолеть. Через то и мы наберемся разума — и поймем, наконец, чего нам по жизни не хватает. Иногда и готовые продукты просятся в строку — так что стесняться? Все мы черпаем из одного источника, и располагаем только тем, чем одарили друг друга. Нет ничего, что не было бы кем-то сказано, — а хорошее не грех и повторить. Тем более, что даже буквальная копия в нашем контексте приобретет другой смысл; только пустопорожняя бессмыслица никому не ко двору. Опять же, всякий контекст рождается исторически, в движении культуры, — так что занимаемся мы своими делами не только по душевной склонности и в порядке (само)развлечения, но и как представители всего, что нас на эти забавы подвигло, — то есть, по сути, человечества в целом, а то и больше.

Впрочем, все это потом, когда дойдет до самим смастерить. А пока, по ходу знакомства, возникают лишь вопросительные знаки, догадки, смутные сомнения или бурный протест. Со стороны может показаться, что наши заметки на полях — сплошное критиканство: мы решительно ни с кем не согласны, ругаемся направо и налево, перевираем чужие сентенции, выставя авторов в самом невыгодном свете — так что они под этим соусом сами бы не узнали себя. Ну и ладно. Главное — как мы их узнаем. Здесь все та же разумная забота: не просто подгрести под себя что есть хорошего — но обращать внимание на все, что плохо сидит, и стало быть, нуждается в творческом вмешательстве. Только таким способом мы можем осознать перспективы развития, выделить свой фронт работ и наметить направления реализации оформившихся в практическую задачу идей. Вот тогда — можно пускать в дело массу усмотренной в других положительности, становиться их продолжением в новых исторических условиях и (при хорошем раскладе) удобрить собой почву для произрастания будущей, разумной культуры.

Марксизм и любовь

За несколько тысяч лет письменной истории человечества не было ни одного (реального или мифологического) мыслителя, который не высказался бы на тему любви. Одно это указывает на особое место любви в иерархии человека, ее подлинную универсальность — и фактически тождественность разуму. Было бы странно, если бы Маркс и Энгельс ничего не оставили по этому поводу — тем более учитывая популярность вопроса у ближайших предшественников, от Канта до Фейербаха. Здесь основоположникам «научного коммунизма» было что сказать и по личному опыту — хотя диаметрально противоположного свойства. Однако на передний план выходит борьба за утверждение идеи первичности экономики — и необходимости преодоления в первую очередь экономического неравенства, чтобы на этой основе строить бесклассовое общество, новую субъектность, о чертах которой пока рано догадываться [*Немецкая идеология*, 3, 441]:

Сознание своих взаимоотношений также станет у индивидов совершенно другим [...]

В противовес философским спекуляциям, игре на модном словечке и его попово-мистических интерпретациях, публичные выступления двух друзей не придают любви сколько-нибудь универсального значения, избегают прямых упоминаний (разве что, в юмористическом контексте [42, 175]). Идеиная позиция сложилась уже в начале 1840-х — но ее надо по крохам выцарапывать из преимущественно экономических трудов, и лишь сорок лет спустя Энгельс отваживается высказаться напрямую (если можно так выразиться про пару-тройку небрежных страничек, мимоходом). И что? Несмотря на стремительно раскупаемые тиражи, собственно марксистское видение любви (и духовности вообще) осталось на нуле: книжку воспринимали (и воспринимают) как популярное изложение одной из буржуазных теорий — а отнюдь не руководство к революционному действию, преобразованию мира на совершенно нецивилизованных (то есть неклассовых) началах.

Почему так? Можно, конечно, сослаться на условия и задачи классовой борьбы, объективные обстоятельства, с которыми, вроде бы, ничего не поделаешь... Но если честное зеркало коммунизма вдруг отражает не очень коммунистическую физиономию — стоит задуматься: быть может, с физиономией что-то не так? С другой стороны, обращает

на себя внимание редкая в философии цельность мировоззрения: его основные черты прошли через очень непростые десятилетия почти неизменными. Рукописи 1844 года ничуть не противоречат рукописям 1860-х и позднейшим заметкам 1890-х. Следовательно, слабые места трактата восходят к чему-то раннему и очень основательному, чего пронизательные мудрецы за собой вовремя не заметили. Обсуждать гипотезы будем потом — а сейчас лишь признаем, что, со всеми своими огрехами, классическая работа Энгельса — единственная на данный момент ясная формулировка позиции исторического материализма в вопросе о сущности и общественной значимости любви; все позднейшие опусы либо перепевают сказанное, либо просто выкидывают марксизм за борт и ставят на его место нечто откровенно буржуазное. Это в теории. Практика разнообразнее — но без идеологического стержня она вырождается в поиск на ощупь, случайные блуждания, — и в конечном счете удачные находки тонут в болоте пошлости, превращаются в неприличный анекдот (вроде пресловутого «стакана воды» или сплетней о традиционном у правоверных евреев многоженстве Маркса и Ленина).

Происхождение семьи, частной собственности и государства — книга не о любви. Главное в ней — мысль об историчности культурных форм, их зависимости от развития экономики; логический вывод: капитализм возник — капитализм должен уйти. Сочинение американца Моргана привлекло Маркса и Энгельса именно этим идейным посылом, и задуманное популярное изложение древнейшей истории по Моргану предполагалось сделать своего рода иллюстрацией к общефилософским изысканиям, указанием на то, как следовало бы выстроить историческую науку в целом. Чутье на этот раз подвело: несмотря на формальную революционность, труды Моргана исходят из — и всецело остаются в русле — вполне буржуазной этнографии; строить на таком основании коммунистическую историю никак нельзя — ни с какими поправками и уточнениями. Хотите вывести нерыночную культуру? — кладите в основу нерыночную экономику! А Морган исследует исключительно отношения обмена в одной из отраслей общественного производства — хотя бы и довольно специфической. Тут бы вспомнить главный труд Маркса, убедительно показавший, как из обмена закономерно вырастает классовое общество и его высшая стадия, капитализм. То есть, частная собственность и государство отнюдь не идут (как у Энгельса) на смену первобытно-семейным разборкам — они представляют собой их следствие, закономерное развитие и логическое продолжение. Но тогда

коммунизм как «отрицание отрицания» [42, 127] по Моргану-Энгельсу оказывается не устранением классов, а всего лишь восстановлением предпосылок классовобразования, на новом витке классовой истории. Полное фиаско в принципиальном и практическом плане. Благодатная почва для махрового ревизионизма в европейской и русской социал-демократии — вплоть до самоустранения коммунистических партий из мировой истории.

Но здесь мы все-таки о любви. Для начала — только об одном из ее бесчисленных обличий, об отношениях полов. Исходя из исторической эмпирии, Энгельс перечисляет пять характерных черт современной любви, в отличие от античности и средневековья [21, 79–80]:

(0) Любовь не зависит от брачно-семейных отношений, она не связана с деторождением или воспитанием детей; более того, любовь всему этому противоположна.

(1) Любовь невозможна без взаимности;

(2) Любовь — то, без чего человек не мыслит себя;

(3) Любовь — высший критерий нравственности; никакое деяние не может быть нравственным без любви, и всякая нравственность есть также и любовь.

(4) Любовь свободна — она и есть свобода, одна из ее сторон.

Нумерация пунктов (1)–(3) взята у Энгельса; нулевой принцип дан несколькими страницами раньше как предпосылка всего остального; принцип свободы развит чуть позже как необходимое дополнение. Намеренно избегаем цитирования и даем обобщенные формулировки: мы не собираемся ограничиваться европейскими реалиями, и важно вытащить на свет категориальное содержание. Не просто глубокие наблюдения, а фундаментальные принципы, зародыш полномасштабной философии.

На первый взгляд, тут никакой связи с экономической теорией — как того требовала бы логика исторического материализма. Безусловно, это минус. По крайней мере, поверхностному читателю повод пройти мимо главного и ограничиться формальной метафизикой. Но мы не будем, подобно математикам, отрывать поверхность от мяса — и берем широкий контекст: выяснять сущность любви Энгельс начинает на фоне вполне определенного исторического процесса: зарождение в недрах средневековья предпосылок для перехода на новый, более высокий уровень цивилизации — в капитализм. То есть, движение духа с самого

начала стоит на фундаменте экономического историзма — и признано выражением и следствием организации общественного производства. Вероятно, Энгельсу это казалось разумеющимся само собой, и он не захотел повторяться, — но в условиях свободы извращения [42, 150] настойчивое уточнение позиции лишним не бывает.

В данном случае настойчивость следовало бы проявить в вопросе об исторических формах любви. А не походя, парой фраз [21, 79]:

До средних веков не могло быть и речи об индивидуальной половой любви.

Да, утверждение о становлении нового типа любви — это революция. Большинство буржуазных идеологов не только не доросли, — но и активно возражают! Для них всякая духовность (включая любовь) — изначальна, вне времен и народов; добавьте к этому нормативную составляющую — и получится религия. За что Энгельс сурово крыл Фейербаха [21, 293]:

Идеализм Фейербаха состоит здесь в том, что он все основанные на взаимной склонности отношения людей — половую любовь, дружбу, сострадание, самопожертвование и т. д. — не берет просто-напросто в том значении, какое они имеют сами по себе, вне зависимости от воспоминаний о какой-нибудь особой религии

На самом же деле — сначала практика, а на нее уже навешивают идеологические ярлыки [21, 292]:

Существующие позитивные религии ограничиваются тем, что дают высшее освящение государственному регулированию половой любви, то есть законодательству о браке; они могут все хоть завтра совершенно исчезнуть, а в практике любви и дружбы не произойдет ни малейшего изменения.

Замечаем на полях: предмет обсуждения неуловимым движением радикально расширен — и говорим мы уже не только о половой любви, но о «практике любви и дружбы» — что сразу выводит на философию любви вообще («основанные на взаимной склонности отношения людей»), во всем многообразии частных форм (где дружба — одно из проявлений того же единства).

Логическая неувязка в том, что разговоры о «современной» любви подвешены в историческом вакууме: как будто она возникла из ничего и потому не предполагает никакого дальнейшего развития. Говорить об одной из форм любви можно лишь при наличии других форм — поэтому первым делом следовало бы заявить во всеуслышание: в каждую

историческую эпоху на основе определенного способа производства складывается особая практика любви, судить о которой следует не по философским трактатам или религиозно-правовым предписаниям, а по живым отношениям живых людей, по обратному влиянию культуры на экономику и направлениям роста общественного самосознания. Конечно, все это не лежит на ладони, — и вместо опоры на официальные документы придется вытаскивать кусочки из бытовых зарисовок, художественной лирики, производственных конфликтов и юридических казусов, — а потом складывать мозаику. Но даже если детальное обсуждение не вписывается в текст, следует хотя бы не отрывать от контекста, признать историческое разнообразие и указать его причины. Энгельс, вроде бы, согласен [21, 292]:

Основанные на чувстве отношения между людьми, особенно же между людьми разного пола, существовали с тех самых пор, как существуют люди.

Однако продолжение напрягает:

Что касается половой любви, то она в течение последних восьми столетий приобрела такое значение и завоевала такое место, что стала обязательной осью, вокруг которой вращается вся поэзия.

Ни малейшего намека на закономерные этапы развития. Дескать, было что-то хаотическое — и вдруг выскочило наверх, — с чего бы это? Не иначе, мода такая... Можно было бы предположить, что суть дела Энгельс понимает — просто недоговаривает. Только, вот, режет дух другой фрагмент [21, 79]:

Само собой разумеется, что физическая красота, дружеские отношения, одинаковые склонности и т. п. пробуждали у людей различного пола стремление к половой связи, что как для мужчин, так и для женщин не было совершенно безразлично, с кем они вступали в эти интимнейшие отношения. Но от этого до современной половой любви еще бесконечно далеко. На протяжении всей древности браки заключались родителями вступающих в брак сторон, которые спокойно мирились с этим. Та скромная доля супружеской любви, которую знает древность, — не субъективная склонность, а объективная обязанность, не основа брака, а дополнение к нему. Любовные отношения в современном смысле имеют место в древности лишь вне официального общества.

Вот-те раз! Начали за здравие — а кончили за упокой. Духовное родство оказывается лишь предпосылкой секса — и вдобавок совершенно несуразная увязка любви с браком (от которой сам же автор решительно

и неоднократно открещивался). Такой марксизм совершенно неотличим от мещанского (буржуазного) представления о танцах (или столике на двоих в ресторане) — как разновидности эротических игр. Можно подумать, что физиология полового сношения интимна сама по себе. Ничего подобного! Животные занимаются этим принародно; вплоть до нового времени у людей секс не требовал уединения — а у богатых присутствие слуг и служанок подразумевалось само собой. Понятие интимности — невозможно без индивидуальности, а вся история цивилизации как раз и была историей становления индивидуального самосознания — как сам же Энгельс (со ссылкой на Маркса) справедливо отмечает [21, 99]. Не природа пола будит персональные предпочтения, а наоборот, собственно человеческие отношения накладываются на физиологию, вписывают ее в рамки культуры, — *придают ей смысл*. Поэтому по видимости одно и то же действие по-разному воспринимается в разные эпохи. Например, оргиастический секс известен с древнейших времен — однако в новое время он уже не дополняет парную любовь, а противопоставляется ей как намеренное отрицание интимности; чтобы такое стало возможным, без развитой идеи интимности никак не обойтись; экономические корни ее — в капиталистической системе всеобщего разделения труда.

Мимо главного — пролетаем на всех парусах. Революционность слов о «скромной доле супружеской любви» осталась незамеченной для самого Энгельса — и уж тем более для марксистов следующего века. Для Энгельса «хороший» брак отличается от «плохого»¹ только взаимным согласием, влечением партнеров друг к другу — и все снова сводится к физиологии: любовь играет роль сводни, подталкивает зверушек друг к другу, — а освящает их союз только официальный брак — хотя бы и учитывающий, что «длительность чувства весьма различна у разных индивидов, в особенности мужчин», освобожденный от «грязи бракоразводного процесса» [21, 85] (где отличие от Фейербаха?). Вот так. Вместо личностей — индивиды; вместо свободы общения — секс по правилам. Буржуа Морган представить себе не может общество без семьи и допускает лишь абстрактную историчность, смену одних форм другими, воспринятую как естественноисторический процесс, конечная цель которого — абстрактное «достижение равенства полов». А Энгельс

¹ Ср. ехидные рассуждения Маркса о «компетентных» и «некомпетентных» писателях [1, 77–78].

некритически перенимает как общий подход, так и терминологию, и цитирует без комментариев (то есть, по сути, подает как свое) [21, 85]:

[...] семья [...] должна развиваться по мере развития общества и изменяться по мере изменения общества, точно так же как это было в прошлом. Являясь продуктом определенной общественной системы, она будет отражать состояние ее развития. [...] Если же моногамная семья в отдаленном будущем окажется не способной удовлетворять потребности общества, то невозможно заранее предсказать, какой характер будет иметь ее преемница.

Что будет «преемница» — никаких сомнений... История семьи продолжена в минус бесконечность — и до плюс бесконечности.

Но мы-то здесь о человеческих чувствах — когда сколь угодно «скромная доля супружеской любви» на корню губит диктат классовой морали и вольность прелюбодеяния. Оказывается, что в любую эпоху «любовные отношения» имеют место не только «вне официального общества» — но и в самой его сердцевине, в индустрии воспроизводства человека как принципиально общественного существа. Упрямым фактом своего существования супружеская любовь утверждает: любовь есть! — она вездесуща и не сводится ни к одной из частных форм. Каждый любит по-своему — но все это проявления одного и того же, выражение человеческого в человеке. И задача не в том, чтобы изобрести какую-то «высшую» разновидность любви, — а в том, чтобы в каждом мгновении, в какой угодно грязи, открыть для себя возможность оставаться человеком, а не рабом собственной животности или догм узаконенного филистерства.

Супружеская любовь может перерасти в страсть — но не обязана. Чаще она избегает патетики, прячется в маски публичных стереотипов: привязанность, взаимоуважение, долг, честь, самоотверженность...² Суть в другом: это безграничная свобода, нравственная полнота, возможность быть собой через другого, абсолютное доверие — безотносительно к условностям быта и мнениям толпы. Узнаете? Пять принципов любви по Энгельсу — против Энгельса. Возможно, это оговорка «по Фрейдю» — свидетельство вызревания новой философии духа в душах первородных «марксистов». Снова вспомним о практике супружеской любви в исполнении Маркса и Энгельса: у одного —

² Лишь изредка глубина и подлинность чувства прорывается наружу, становится общественным достоянием, — например, в знаменитой балладе Кристины Пизанской.

страсть и формальный брак; у другого — спокойная близость, но вне закона. Казалось бы — простор для общетеоретических выводов. Включая очевидный логический ход — зависимость форм любви от условий и характера деятельности. Как люди общаются — так они и любят. Вспоминаем, что общаются они не на пустом месте, а в рамках выросшей из господствующего способа производства культуры, — и вот вам исторический материализм как философия любви.

Но этого решительного шага не сделал Энгельс — не успел сделать Маркс, — и не подхватил ни один из наследников марксизма. Любовь, семья, дети, — заколдованный треугольник. Подставьте на место «семьи» — общественное воспроизводство человеческой материи (включая неорганические тела), на место «детей» — последовательно общественную систему социализации (образование как обучение и воспитание), вытащите любовь из голой физиологии и возвысьте ее до всеобщего воспроизводства человеческой духовности, — и мы придем к универсальной схеме строения сознательной деятельности:

объект → субъект → продукт

выражающей принцип единства мира — как вообще:

материя → рефлексия → субстанция

так и в его отношении к деятельности:

природа → дух → культура

Сущность разума — преобразование природы, ее одухотворение и превращение в разумно устроенную природу, культуру. Всеобщность деятельности подразумевает и сознательное изменение собственной природы, и духовный рост. Разумное отношение к разумности — это и есть любовь.

Не сказать, чтобы классики были совсем чужды такой философии. Однако на публику вышло другое, а гениальные догадки начисто перечеркиваются вопиющей непоследовательностью. Например, борьба против буржуазного неравноправия полов и приниженого положения женщин наталкивает Маркса, Энгельса, а затем и Ленина, на, казалось бы, верную мысль [21, 77]: «...первой предпосылкой освобождения женщины является возвращение всего женского пола к общественному производству...» Увы, продолжение опять за упокой: «что, в свою очередь, требует, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной единицей общества». Вместо того, чтобы потребовать уничтожения семьи как таковой — поскольку семья *в любой*

исторической форме есть хозяйственная единица, — предлагается узаконить «индивидуальную семью» (а не какую-то другую) в каком-то ином качестве — но во всяком случае вне *общественного* производства, а значит, сделать ее ячейкой производства *антиобщественного*.

Нет уж! Коли возвращаться к обществу — так всем вместе, без противостоящих миру самодостаточных мирков. Все без исключения грани человеческого бытия мы будем воспроизводить разумно, вместе, согласно единому плану преобразования природы и духа. Вместо того, чтобы вытаскивать женщину (а также мужчину или еще кого-нибудь) из семьи (или иной клетушки) на экономический (и, следовательно, духовный) простор, — надо, наоборот, закачать внутрь этот простор до такой степени, чтобы любые границы раздвинулись до границ общества в целом, а не хватит гибкости — пусть лопнет! Не членов семьи «возвращать» к общественному производству — а семью делать *полностью* общественным производством, — чтобы то, что внутри, не отличалось от того, что снаружи; понятно, что граница семьи при этом совершенно растворяется, и семья как факт общественного устройства перестает существовать (переходя в разряд исторических фактов).

По этому поводу совершенно классический образчик вопиющей непоследовательности [21, 78]:

С переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом; общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными.

Опаньки! Вроде, все сделали общественным, — и вдруг чертик из табакерки: невесть откуда взятое различие брачных и внебрачных детей... Выходит, до производства носителей общественности обществу дела нет? Пусть плодятся, как бог на душу положит... Сорняки. Человечество во многом вырвалось за рамки животного существования благодаря окультуриванию вещей, растений и животных — так почему ему не заняться окультуриванием самих себя? Эффективность орудий, высокая урожайность культур и продуктивность скота стали рычагами перехода от первобытности к цивилизации — так почему планомерное культивирование разумной плоти не может стать опорой новой, бесклассовой культуры? Теоретически, можно, конечно, представить себе, что не всех детей будут производить индустриально — что

останутся и кустарные производства, возможность экспериментировать с неожиданными решениями — с учетом новейших технологий и под общественным контролем (постепенно превращающимся в разумный самоконтроль). Но уж никак не путем жесткого регламентирования творчества масс, загоняющего всех в бюрократические тиски брака.

Думаете, все? Ну, корявость речи — с кем не бывает? Однако продолжение энгельсовского пассажи еще печальнее [21, 78–79]:

Благодаря этому отпадет беспокойство о «последствиях», которое в настоящее время составляет самый существенный общественный момент, — моральный и экономический, — мешающий девушке, не задумываясь, отдаться любимому мужчине. Не будет ли это достаточной причиной для постепенного возникновения более свободных половых отношений, а вместе с тем и более снисходительного подхода общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости?

Вот где кошмар! Оказывается, любовь — лишь стремление отдаться: желательно, без последствий, а еще лучше — и с выгодой... Торжество эмпирионатурализма. Особенно, если все это «не задумываясь». Совсем по-скотски. Когда отношения полов осмысленны, когда они стали частью единого процесса общественного воспроизводства, ни о каких моральных или экономических препятствиях и речи нет. Ну и что теперь, всем гулять направо и налево? Ничего подобного. У духовно развитых людей столько интереснейших занятий и возможностей совместного творчества, что скучноватая постельная аэробика просто не будет их увлекать, станет простым гигиеническим актом, способом поддержать необходимый обществу функционал органических тел (пока без них не обойтись). Такой секс — личное дело партнеров; он полностью отделен от задач воспроизводства человеческой органики (зачатие, инкубация, регулирование роста) — этим занимается общество в целом, на основе индустриальных технологий. Доступность противозачаточных средств делает секс абсолютно безопасным — так что «последствия» возможны лишь намеренные, по общему желанию. Общество с самого начала направляет развитие органических и неорганических тел, занимается обучением и воспитанием. У детей *нет* родителей — само это понятие становится безнадежно архаичным.

Отсылка к «общественному мнению» — полный финиш. Если люди начинают думать не о том, что им следует делать, а о том, как это будет выглядеть, — всякой свободе конец. Цивилизация дает тонны примеров всякого рода «безумств» на почве любви: влюбленным нет дела до косых

взглядов, и начхать им на любую снисходительность. Тем более не имеют отношения к любви навязанные извне глупости, вроде девичьей чести или стыдливости. Честь у человека только одна — человеческая. Стремление при любых обстоятельствах вести себя как разумное существо. А стыдливость = лицемерие. Попытка спрятать собственные желания от самого себя. Это разумно? Вряд ли. Наличие желаний — вот что нормально. Их много и они разные. Чем духовнее человек — тем их больше. Вовсе не обязательно во что бы то ни стало добиваться чего-то одного: из бесконечности возможностей всегда можно выбрать не менее интересное. Если не удастся — что-то не так с обществом, которое не дает человеку широко смотреть на мир, препятствует всестороннему развитию.

Настоящая любовь многолика, в ней отражена вся человеческая жизнь. Есть такое у классиков? Однозначно. Вот, Карл Маркс [42, 120]:

[...] человеческая действительность столь же многообразна, как многообразны *определения* человеческой *сущности* и человеческая *деятельность*.

Добавьте сюда энгельсовский пункт (2) о том, что человек не мыслит себя вне любви — а значит, любовь имеет непосредственное отношение к его сущности, — и делаем вывод: любовь пронизывает деятельность человека универсальным образом, ничего не оставляя в стороне. Ср. у Маркса [1, 35–36]:

Существование того, что я действительно люблю, я ощущаю как необходимое, я чувствую в нем потребность, без него мое существование не может быть полным, удовлетворенным, совершенным.

Дальше, как говорится, дело техники: как и всякий дух, любовь не существует сама по себе, как абстрактная идея, — ей нужна материальная основа, плоть. Поэтому в быту любовь представляется отношениями людей по поводу конкретной деятельности. Что это будет за деятельность — не столь важно. Например, эротические игры, деторождение, рыцарское служение, утонченное любование, или супружеский долг — все это порождает особые оттенки любви, и каждый из них имеет свою историю, тесно переплетенную с историей базовой деятельности. Поэты и философы нуждаются в любви, чтобы стать собственно поэтами или философами. Народный трибун и беззаветно преданный науке естествоиспытатель — тоже обличия любви. Когда кто-то любит свое дело — ему никто не указ: он лучше знает (или глубже чувствует), как должно быть, — а если общество

мешает — тем хуже для общества. Такая свобода не по нраву правящим кругами — и они стремятся приручить любовь, загнать ее в рамки дозволенного. Отсюда живучесть ходячих предрассудков о семье. Попытки отделить общественное от личного — из той же серии: любви положено заботиться о мелочах — а государственные вопросы будут решать политики; но и они не могут обойтись без любви — и религия призвана выпустить пар, представить (и заменить) человеческое чувство любовью к абстракции государства, к богу. А такая «любовь», как верно указывает Маркс [40, 199], есть лишь себялюбие, привязанность к своему эмпирическому (животному) «я», инстинкт самосохранения:

Все сводится к тому, чтобы не изменить, а лишь затемнить суть дела; отодвигание в фантастическую даль должно только прикрывать качественный скачок, а всякое качественное различие есть скачок — без таких скачков нет идеальности.

Вечность духа — череда преходящих форм. Какие-то формы любви характерны для определенных эпох, и не могут повториться в других исторических условиях. Например, любовь к Родине (не путать с патриотизмом!) — предполагает неоднородность общественного развития в разных уголках планеты, раздробленность человечества. Исчезнут границы, сольются народы в один — и любовь к Родине превратится в любовь планетарного масштаба. Точно так же, любовь к детям противопоставляет взрослых и детей, любовь внутри семьи — противопоставляет семью обществу в целом. Все это уйдет, перемелется, станет строительным материалом для дворцов любви будущего. В том, что мы сегодня называем любовью, сняты тысячелетия других loves; мы их переросли — но были бы невозможны без них.

В свете всего этого относить рождение любви к эпохе высшего развития (а следовательно, перетекания в закат) средневековья было бы легкомысленно. Да, Энгельс ограничивается очень узким пониманием любви, одним из ее проявлений, — но даже половая любовь бесконечно разнообразна, и разные уровни формируются в разное время. С другой стороны, там, где проследить временную последовательность вполне возможно, исторический материализм прямо требует поинтересоваться корнями, предвестниками современности: нечто, выходящее сегодня на общественную арену в качестве особой культурной сферы, до того существовало как тенденция и сторона чего-то другого — и надо не отвергать с порога античную любовь, а честно проследить, как она трансформируется в любовь нового типа, через какие промежуточные

формы, — и как разные этапы развития становятся уровнями иерархии любви. Задача необъятная — но хотя бы предупредить читателя можно, дать принципиальную постановку вопроса.

Смущает аудиторию и недостаточно определенное размежевание нового времени и средневековья: можно подумать, что свободная любовь индивидуальностей возникла уже в XI веке — и последующие восемь столетий лишь расползлась по Европе, входила, так сказать, в литературную привычку. Ничего подобного. Исторический подход — проследивает становление нового, выявляет его характерные признаки в наследии каждой эпохи, показывает, как они соотносятся с ее преобладающими чертами. «Количественная» эволюция надстраивается над постепенным укоренением экономики будущего — и в какой-то момент происходит качественный скачок, революция. Европейские страны развивались очень по-разному; те же исторические этапы любовь проходит в разных культурах в разное время. Логично задуматься о влиянии шагнувших в капитализм соседей на полуфеодалные режимы (особенно в Германии). Но книга Энгельса не о любви — а при семье и государстве мы поговорим в другой раз.

Хотелось бы все же подчеркнуть, что «современная любовь», о которой размышляет Энгельс, — элемент вовсе не средневековой, и даже не капиталистической культуры. Это мечта о бесклассовом будущем, когда женщины и мужчины станут просто людьми и будут вместе делать одно большое дело — окультуривание Вселенной. Отсылка к средневековью — чистая условность; реально речь идет о Европе конца XIX века, где на дикой физиономии капитализма изредка высвечиваются подлинно человеческие черты — как предвестники грандиозных перемен, гибели цивилизации. Не констатация факта — а призыв к действию, к борьбе за свободу духа, без которой не может быть экономической свободы [42, 150]:

Предположи теперь *человека* как *человека* и его отношение к миру как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и т. д. Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим идвигающим вперед других людей. Каждое из твоих отношений к человеку и к природе должно быть *определенным*, соответствующим объекту твоей воли *проявлением* твоей *действительной индивидуальной жизни*.

Вот это и есть любовь. По Марксу. Всеобщность, универсальность духовного развития — когда каждый выражает одну из граней общественного единства. Из этого исходит Энгельс — при всей неудачности формулировок и буржуазности навязанной Морганом логики. Обозначенные Энгельсом принципы любви — хорошая основа для развития последовательно материалистической философии духа. Будет историческая необходимость — такая философия появится.

В любом случае, есть что обсуждать, и можно искать варианты. Например принцип взаимности может показаться слишком узким: мы же слышаны о неразделенной любви — которая по жизни оказывается более прочной и возвышенной, чем слияние родственных душ. Контекст практической борьбы за общественное равенство полов, конечно же, влияет на формы выражения: видимо, хотелось лишний раз подчеркнуть, что мужчина-насильник далек от какой бы то ни было духовности, что он остается всего лишь животным. Однако на сорок лет раньше Маркс говорит [42, 150]:

Если ты любишь, не вызывая взаимности, т. е. если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, если ты своим *жизненным проявлением* в качестве любящего человека не делаешь себя *человеком любимым*, то твоя любовь бессильна, и она — несчастье.

Это очень сильно — и куда определеннее. Но задумаемся: разве это о половой любви? Нет, вопрос не только (и не столько) о взаимном влечении индивидуальностей — но прежде всего о всеобщности любви, ее всеохватности, — когда она неизбежно вовлекает в свою орбиту всех, человечество в целом. Тот, кто истинно любит, — будет любим. Совсем не обязательно в том же историческом контексте и в том же отношении. Одиноким поэт создает великие творения — и его любят тысячи и миллионы людей, через пространство и время. Любовь к истине делает ученого любовником истины. Борец за светлое будущее человечества оказывается центром притяжения — предметом уважения, восхищения, любви. В том числе в далеком от будущем — и даже если задуманное не удалось. Если же любовь только на словах или фантазиях, если она не заставляет человека вести себя по-человечески и быть достойным любви, — это несчастье и для него, и для окружающих. В этом отличие Маркса от Фейербаха. Принципиальная позиция марксизма: дух не существует вне деятельности, а характер деятельности — определение духа. Задача разума — творить мир. Не получается — не хватает разумности. Значит, давайте работать над собой.

Драматизм любовных треугольников (он любит ее, она любит другого) — выражение старой собственнической идеи: человек может принадлежать другому человеку как вещь. Но если я кого-то люблю, предмет моей любви *уже* принадлежит мне особым, духовным образом, он всегда со мной, — и для меня наслаждение воплощать мою любовь в живые дела, пропитывать вещи моей любовью, делать нечто такое, что невозможно не полюбить. И если моя любовь это полюбит — значит, она любит и меня, и это взаимная любовь. Как это выразится в общении — какая разница? Я могу сделать любимого человека счастливым — можно ли желать высшей награды? И когда кто-то уходит, в мире остается его дух, след деятельности, плод любви. Изменилась телесная оболочка — жизнь продолжается в других телах. Я во всех — все это я.

Конечно, мы еще в самом начале пути — и было бы странно ожидать от каких угодно гениев полной определенности, ясности представлений, идейной последовательности. Молодой Маркс бросается в любовь как в бурлящий океан, вместо конспектирования университетских лекций — исписывает тетради романтическими стихами [40, 428]:

Все земное — лишь круженье
Иль журчащая волна,
Лишь любви сопровожденье,
А весь мир — любовь одна!

Через двадцать лет после тайной помолвки — он по-прежнему страстно любит [29, 432]:

Моя любимая!

Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!»

Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть.

Но прошло еще десять лет — и вроде бы тот же человек пишет столь же страстно влюбленному студенту [31, 435]:

На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже в робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в непринужденном проявлении страсти и выказывании преждевременной фамильярности. Если Вы сошлетесь

на свой темперамент креола, моим долгом будет встать с моим здравым смыслом между Вашим темпераментом и моей дочерью. Если, находясь вблизи нее, Вы не в силах проявлять любовь в форме, соответствующей лондонскому меридиану, придется Вам покориться необходимости любить на расстоянии.

Вот так. Вместо идейной позиции — «здравый смысл». За этим следует нечто просто кошунственное по отношению к (еще живой и все еще любимой) Женни [31, 436]:

Вы знаете, что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе. Я не сожалею об этом. Наоборот. Если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое. Только я не женился бы.

Можно ли поверить, что этот человек был готов горы свернуть, добиваясь разрешения на заведомо неравный брак? Оказывается, это всего лишь легкомыслие, ошибка! Как не вспомнить пророческие слова когда-то безумно любимой женщины [40, 648]:

Чем полнее я предамся блаженству, тем ужаснее будет моя судьба, когда твоя пламенная любовь остынет и ты станешь холодным и сдержанным. Видишь ли, Карл, тревога о сохранении твоей любви отнимает у меня всякую радость. Я не могу беззаветно радоваться твоей любви, ибо я более не уверена в ней. Для меня нет ничего страшнее этого.

И вот, в 1866-м, Маркс пишет Энгельсу [31, 153]:

какое счастье — дружба, подобная той, которая существует между нами. Ты-то знаешь, что *никакие* отношения я не ценю столь высоко.

Подчеркнуто: *никакие*. И письмо Кугельману [32, 449]:

в суеете этого мира дружба — единственное, что имеет важное значение в личной жизни

Легким росчерком пера списали женщину в утиль. Через 15 лет Женни умерла — и Маркс уже никогда не расставался с ее фотопортретом, и был с ней в минуту своей смерти. Любовь воскресла — и стала совестью.

Но вернемся к другой, отеческой любви. Казалось бы, стремление родителей осчастливливать своих детей любой ценой — с древнейших времен тема для юмористов; точно так же, величайшая глупость — полагать, что возможно уберечь детей от жизненных испытаний, оградить от безумств и ошибок. Но анекдот повторяется [31, 436]:

Поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которые разбила жизнь ее матери.

Конечно, разумный человек не снимает с себя ответственности:

Так как это дело никогда не достигло бы нынешней ступени без моего непосредственного вмешательства (слабость с моей стороны!) и без влияния моей дружбы к Вам на поведение моей дочери, то личная ответственность всей тяжестью падает на меня.

Однако трактует Маркс эту ответственность чисто филистерски (в духе лафонтеновской муравьихи):

Наблюдение убедило меня в том, что Вы по природе не труженик, несмотря на приступы лихорадочной активности и добрую волю. В этих условиях Вы будете нуждаться в поддержке со стороны, чтобы начать жизнь с моей дочерью. Что касается Вашей семьи, о ней я ничего не знаю. Предположим, что она обладает известным достатком, это не свидетельствует еще о готовности с ее стороны нести жертвы ради Вас. Я не знаю даже, какими глазами она смотрит на проектируемый Вами брак. Мне необходимы, повторяю, положительные разъяснения по всем этим пунктам.

Совершенно замечательно:

Кроме того, Вы, убежденный реалист, не можете ожидать, чтобы я отнесся к будущему моей дочери как идеалист.

Кто-то всю дорогу называет себя материалистом... Да еще диалектиком. Стоило жизни поставить вопрос ребром — и материализм превратился в пошлую купеческую расчетливость, «реализм». Быть может, по существу оно и правильно — только запашок не тот-с... Задним числом наступая на горло собственным песням:

Вы, будучи человеком столь положительным, что хотели бы упразднить поэзию, не пожелаете ведь заниматься поэзией в ущерб моей дочери.

И под занавес:

Вы должны быть сложившимся человеком прежде чем помышлять о браке, и необходим долгий срок проверки для Вас и для нее.

Письмо, конечно, было не единственным, и еще не раз случались разговоры на повышенных тонах, за которые Марксу приходилось извиняться [31, 451]:

[...] если Вы обиделись на резкость моего монолога, обращенного к Вам, прошу извинить меня за это. Нельзя выходить из себя, даже когда бываешь прав.

А что в итоге? Студент оказался достаточно настырным — и стал не только зятем Маркса, но и вполне грамотным медиком, и выдающимся

революционером (хотя финансы так и остались на нуле — выручало спонсорство Энгельса). Поль и Лаура Лафарг жили долго и пламенно — и приняли яд в один день. Выходит, это про них (а вовсе не про себя) писал юноша Маркс [40, 428]:

Вместе жизни лишиться
И в дыханье одном раствориться.

Разумеется, отсутствие развитой материалистической философии духа сказывается на всем творчестве; кое-где удастся нащупать верный путь по интуиции — но это все-таки не совсем то что мы ожидаем от подлинного разума. Одна из неразумностей — чрезмерная увлеченность работой, в жертву которой Маркс приносит не только себя — но и близких.³ Разум не может — и не имеет права — доводить дело до фанатического исступления. В конечном итоге — это вредит работе, плоды которой так или иначе несут на себе следы духовной ограниченности. Что-то вроде выращивания подпорченных яблок. Впрочем, кому-то нравится сыр с плесенью... Все успеть — никому не дано. Лучше меньше — да лучше. Достраивать начатое на хорошем фундаменте — проще, чем громоздить подпорки, и стягивать стены в трещинах. Делать не ради того, чтобы непременно сделать, — просто двигаться в разумно выбранном направлении. Тогда хватит сил и на любовь, и дружба не превратится в заурядное сотрудничество [30, 510]:

Древние — кажется, Эхин — говорили: надо стремиться добывать себе мирские блага, чтобы помогать друзьям в нужде! Какая глубокая человеческая мудрость заключена в этих словах.

Насчет мудрости — великие сомнения. Аристотель указывал, что это низший сорт дружбы, а подлинно человеческие отношения не зависят от мирских благ и не предполагают (хотя и не исключают) взаимопомощи. Здесь Марксу следовало бы вспомнить собственные аргументы против Плутарха (см. выше об эгоистическом «я»).

Это мы не к тому, что все плохо. Наоборот: не было бы хорошо — и критиковать незачем. А вот предупредить себя о возможных рифах мы обязаны — и неразумная лихость нам ни к чему. Имеющий уши — да вытянет себя из болота сам.

³ Можно было втрое дешевле жить в Швейцарии — но Маркс считает, что его работа возможна только в Лондоне (до сих пор безумно дорогой город!). Это разумно? Наверняка можно было найти каналы обмена литературой и рукописями — Ленину это удавалось. Время от времени появляться на ключевых сборищах — невелика нагрузка для бюджета.

Трагические ошибки советской власти

Бывает так, что люди упорно трудятся, и дел невпроворот, — только успевай завалы разгрести... А тут подходит какой-то интеллигентик и нудным голосом капает на мозги: вы меня извините, но в вашем подходе многого не хватает, — и лично я бы предпочел, чтобы вы больше внимания уделили вот этому и вот этому... Кто-то скажет: отвали, дядя, пока кирпич до морды не долетел! Но это люмпен-пролетариат. Правильный ответ: надень каску — и давай на стройплощадку, добавляй, чего не хватает...

В интеллигенты мы не рвемся, и наше критиканство ни в коей мере не обращено к героям прошлого, без которых мы так и не вылезли бы из болота (если не сказать хуже), и даже не знали бы, что такое критика. Это всего лишь размышление и постановка вопросов, над которыми нам же и предстоит работать — а больше никому! Впрочем, от помощи не откажемся — даже в форме беспощадной критики, разделывания под орех (или ценные породы дерева).

Великий эксперимент под названием СССР завершен — но уроки будут извлекать еще не одно столетие (разумеется, кто доживет). Очень предварительное впечатление: слишком хаотично, суетно, мелко, — когда критерием правильности оказываются сиюминутные интересы той или иной фракции, а вовсе не забота о светлом будущем. Не строить по плану — а узаконить самострой. Нет, энтузиазма хоть отбавляй! Только осмыслить никому, а вожди порой лепят такую чернуху, что хоть святых выноси. В интересах дела, надо об этом так и заявить [41, 64]:

Людей, которые умеют выражать такое настроение масс, умеют вызывать у масс (очень часто дремлющее, не осознанное, не пробужденное) подобное настроение, надо беречь и заботливо оказывать им всяческую помощь. Но в то же время надо прямо, открыто говорить им, что *одного* настроения недостаточно для руководства массами в великой революционной борьбе, и что такие-то и такие-то ошибки, которые готовы сделать или делают преданнейшие делу революции люди, суть ошибки, способные принести вред делу революции.

По зрелом размышлении неожиданно оказывается, что большинство практических шагов таки были правильны — хотя в значительной мере это лишь вынужденные меры, а вовсе не разумное решение (следование заранее и сознательно намеченным курсом). Классовое чутье — великая

вещь! Однако разумность вовсе не означает поперешности — чтобы настоять на своем во что бы то ни стало. Этим грешил и тов. Ленин, и многие его соратники. Но именно у Ленина мы обнаруживаем образец политической гибкости: иногда разумно отступить от разумности — чтобы потом было кому к ней возвращаться. К сожалению, с каждым отступлением возвращаться трудней — но тут уж как выпадет расклад по объективным обстоятельствам: если успеем сделать до полной деградации — тогда и дальше пойдет; если нет — придется другим подойти с другого боку.

При всем при том, идеологическое лавирование так и останется всего лишь политиканством, формалистической эквилибристикой, если не стоит за ним сколько-нибудь прочной философской платформы, позволяющей отступления расценивать как отступления — явление временное, тактический ход, возможность перегруппироваться — и снова вперед. Нет заранее подготовленных тылов — это капитуляция, позорное бегство. Тут нам предлагают поверить, что все происходящее происходит под знаменем марксизма — а эту глыбу не сдвинуть никаким «провергателям» и «улучшателям». Как говорится, и рад бы в рай — да грехи не пускают. Где он, марксизм? Что это такое? Споров — хоть отбавляй, а ответа до сих пор не нашли. С другой стороны, даже Маркс не во всем оставался последовательным марксистом — а переработки его находок Энгельсом зачастую далеки от оригинала. Кому верить?

А никому! Настоящий марксизм в том, чтобы не принимать на веру ни единого слова сколь угодно уважаемых классиков — и думать самим, чем кому сподручнее. Но еще лучше — не примазываться к Марксу, Энгельсу, Ленину, — а общаться с ними на равных, обсуждать трудные моменты и совместными усилиями находить разумные решения; как это будет называться — к делу не относится.

В такой постановке вопрос не в том, чтобы размежеваться с одними и объединиться с другими, — а в том, чтобы пристально смотреть на себя со стороны и выискивать не повод лишний раз польстить самолюбию, а неприметные трещинки на физиономии, за которыми может стоять внутренняя ущербность. И первая задача — прекратить паническое бегство и собрать остатки духа, чтобы вытравить из коммунистической мечты всяческую буржуазность, ловить себя на попытках перенести в светлое бесклассовое будущее островки рыночного мрака. Как это сделать? Самое простое — взять за основу идеологию и практику реального социализма, сопоставить с идеалами рынка — и высветить

сходство и различия. И здесь у нас редкая возможность работать напрямую с отцами-основателями, чье творчество за несколько десятков лет существования СССР неплохо задокументировано. Да, разумные поправки на руку цензора лишними не будут; но всякая цензура действует локально, в единичном тексте, — и вмешательства бросаются в глаза при системном обследовании. Само собой, это касается не только писательства, но и свидетельств о практике борьбы и труда.

Еще раз: если мы проектируем бесклассовое общество — надо решительно изъять из проекта сколько-нибудь живые фрагменты цивилизации. Можно легко приспособить античный храм под церковь, а церковь под мечеть: это не меняет культовой сути сооружения. Но когда требуется строить завод, или жилье, — нужна другая архитектура, и придется расчистить площадку, снести все, что не годится в музей, — а куски камня и ненужную утварь утилизировать, переработать под новые нужды. Буржуазная пропаганда может сколько угодно кричать о варварстве — но задача разума не заморозить историю, не хранить каждую фигушку, а думать о будущем, в котором, конечно же, найдется место памяти, — разумной, а не свихнувшейся на (биологическом или культурном) разнообразии. Прошлое — материал для будущего; если материал оставить в неприкосновенности — будущего не будет. Собственно, этого и добиваются нынешние господа. И потому не любят (и боятся) всяческих товарищей. Включая В. И.

Тем более важно разобраться с наследием, перетащить все ценное на нулевой цикл будущей стройки — и подготовить к утилизации терриконы идеологического мусора. Вот эту мусорную работу нам волей-неволей придется взять на себя. Обращаемся к Ленину мы вовсе не потому, что остальные ни на что не годны, — это вопрос удобства: материала много, он вполне доступен, — и не надо ничего разыскивать по крупицам. Появится в поле зрения что-то еще — займемся на досуге. Выработанные на имеющихся образцах принципы критики нетрудно перенести куда угодно — если есть смысл критиковать.

Подумать есть над чем. Ленинские теории насквозь пропитаны буржуазностью. Это нормально: в условиях классовой культуры новое может себя выражать только в формах старого — и надо пытаться, творить, несмотря ни на что. Да, выйдет заведомо криво, — и на иные разъяснения в наши дни просто страшно смотреть. С другой стороны — выбора все равно нет, поскольку многочисленные оппоненты и последователи идеологически еще страшнее. Не будем обольщаться и на

свой счет: жить в грязи и не испачкаться — это из области поповских сказок. Но опять же, если более разумных вариантов нет — придется становиться для кого-то этими вариантами.

Идеологическая работа нужна не сама по себе: на каждом шагу мы имеем в виду практическое действие, которое наш неокрепший разум должен, по идее, направлять. Стоит понадеяться на природу — пощады не жди: природе наши замыслы поперек дороги, она всеми силами стремится без нас обойтись — и нужна немалая настойчивость, чтобы заставить природные тела двигаться неприродным образом, культурно. Советским властям — настойчивости не хватило. Следовательно, придется выяснять, где революционный дух дал слабину, из-за чего массам и вождям не хватило сознательности.

Разумеется, крах «коммунистической» системы связан прежде всего с экономическими причинами. То есть, не созрело человечество — не дорос способ производства. А когда перерастет рыночный потолок — классовое общество само себя развалит, и останется только подобрать кирпичики да слепить из них что-нибудь эдакое...

Однако нельзя сбрасывать со счетов и субъективный фактор — поскольку люди не только переживают свою историю, но и творят ее. Результаты пока так себе: где не дотянутся, где перегнут... Поэтому придется по большей части ограничиваться перечнем ошибок, которые служат, так сказать, естественной формой наших достижений. Есть надежда, что природные формы в конце концов уступят место культурным. И будем мы лепить из кирпичиков действительно новое, а не воспроизводить давно пройденные этапы, заново запуская движение по тому же кругу.

Люди делают ошибки не потому, что хотят ошибиться. Либо им кажется, что правильно, — либо не замечают разумных решений, и приходится уповать на авось. На все имеются объективные основания: недостаточная сознательность выбора столь же объяснима, как и его историческая ошибочность. Это никоим образом не отменяет самого факта ошибки, — и не снимает с нас ответственность, — и не избавляет от угрызений совести. Которые, опять же, нужны не сами по себе (вроде приятной щекотки), а чтобы побуждать к действию: сначала признать духовную немощь; потом выяснить, где именно не хватило разумности; на этой основе надо переделывать мир так, чтобы не допустить в будущем ничего подобного ни в себе, ни в других. Совсем не обязательно работать над ошибками публично: общество заметит реорганизацию

каждой души — примет к сведению и раздаст кому следует. С другой стороны, бить себя в грудь и слезно каяться — дело глупое; дурные примеры надо искупать разумными действиями — как художник пишет шедевр поверх неудачных мазков. Чисто психологически — может быть больновато. Но кто сказал, что пересоздание мира — легкая прогулка?

Предполагая, что стать разумнее все-таки возможно (и что само существование чего-то не совсем капиталистического на протяжении семидесяти лет — веское тому подтверждение) — можно приглядеться к истокам и выловить хотя бы некоторые червоточины. Про удачные находки на будем — о них уже достаточно сказано; они по-настоящему грандиозны, и все, кто причастен к этой великой работе, заслуживают глубочайшего уважения. К сожалению, до следующей революции далеко, и нет возможности проявить себя в живом деле. Значит, время определиться в теории, решить для себя, что строить и как. До поры оставляем в стороне собственно экономические вопросы — и намеренно ограничиваемся областью духа. Исключительно потому, что марксизм здесь крайне темен; а искать потерянное где светлее — означало бы заново наступать на бесхозные грабли.

Нас интересуют не столько практические неудачи, сколько слабость проекта, прорехи духовности. Неразумность замысла не способствует разумности плодов труда. В принципе нечто приемлемое может получиться и без точных расчетов: мы определяемся с запросами, гениальный зодчий дает абрис, — а дальше все зависит от опыта и таланта строителей. Если выстоит — будет удивлять потомков; но бывало, что и обрушивалось, — и у кого-то потомков уже не было... Чересчур заорганизованное мероприятие почти наверняка обречено на провал; но надеяться на авось — тоже не по-людски. Однако разум не ищет компромиссов — он идет своим путем.

Когда решения принимают, исходя из эстетических, логических или этических соображений, формальные ошибки способны превратиться в экономические и политические. Сознательное поведение в какой-то мере во власти субъекта — и потому, собственно, и возможно говорить об ошибках: это не дела как таковые, не голые факты, а их субъективная окраска. Одно и то же можно делать по-разному: разумно и не очень. Поскольку же в условиях всеобщего разделения труда деятельность внешним образом противопоставлена своему мотиву, люди не всегда способны осознать культурную значимость собственных действий, и выдвигают на первый план заведомо неудачные мотивировки, которые

служат не организации совместной деятельности, а лишь сохранению самой этой совместности, общей направленности движения. Такое пассивное следование за историей (вместо сознательного выстраивания исторического процесса) выглядит как волонтаризм, спонтанность, непоследовательность, идеологические шатания; но что поделаешь? — это закон и форма духовного производства при капитализме. Разумеется, классики марксизма (при всей внутренней цельности) — не исключение. Ошибки всплывают то здесь, то там — одна тянет за собой другую. Трагичность в том, что многих ошибок нельзя избежать; точно так же, в античной трагедии герои могли чувствовать близость бездны — но не уйти от падения. Нельзя разбудить в себе дух — и не следовать ему.

Давайте хотя бы не будем замыкаться в немощи, подрезать крылья собственной разумности: как дух, как субъект деятельности, каждый человек равен миру в целом, представляя всеобщее единичностью и ограниченностью — без чего не было бы единства и полноты. Одна из принципиальнейших ошибок Ленина [39, 315]:

Чтобы прийти к большому, надо начать с маленького.

Неправда! Надо начинать именно с большого, поставить настоящую цель — и подбирать под нее средства, искать пути. На любом уровне субъект универсален — и его задачи должны быть соразмерны этой практической всеобщности. Разум не бывает маленьким и незаметным: он сразу же заявляет о себе, влияет на все стороны деятельности, — передается от одного к другому стремительнее любой эпидемии. Наши ошибки — лишь способ обнаружить нашу разумность; возможно, не самый представительный — но достаточно эффективный.

Для разума нет мелочей — все одинаково достойно вместить мир целиком. Можно начать с чего угодно, сознательно установить себе границы, — но в каждом таком воплощении светится величайшая идея, необходимость сознательного переустройства мира, окультуривания природы, включая собственную природу. Именно с позиций этой всеобъемлющей постановки вопроса следует обсуждать всевозможные частности — только такое суждение имеет смысл. Бессмысленна любая тактика, когда нет полномасштабной стратегии; технические изыски не делают рифмованные строки поэзией.

В качестве примера недостаточности узко-тактического подхода к строительству бесклассового общества — несколько заметок по частным (но жизненно важным) вопросам; несколько более крупных блоков вынесены в отдельные главы.

Пределы тела

Единая цель достижима разными путями — но даже верная дорога способна завести не туда. Материальная основа — еще не все; требуется духовное освоение, выстраивание природы в соответствии с разумными ориентирами. Если же с ориентирами разноречивой — попасть в нужную точку возможно лишь по счастливой случайности; это не тот метод, которому следует разум.

С капитализмом пора кончать — это однозначно. А потом? Песня про новый мир, конечно, правильная. Но чтобы ничто стало всем, надо не только выдать ему это все, но и подсказать, как всем стать. Главное же — объяснить зачем. Иначе получится как у мартышки в басне.

Революция не в том состоит, чтобы отнять и разделить, — а в том, чтобы покончить с дележкой как таковой. А что мы видим? Заводы — рабочим, земля — крестьянам... Это правильно? По той же логике: банки — банкирам, власть — начальству... Криво получается. На первых-то порах, конечно, казалось красиво. Но чуть подросли широкие массы — тут же учуяли гнильцу. А там и гитлеровцы подоспели: *Jedem das Seine*.

Тянется ниточка к самым истокам. *Манифест коммунистической партии*, год 1848 [4, 438]:

Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности.

И чуть дальше:

Быть капиталистом — значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение. Капитал — это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете — только совместной деятельностью всех членов общества.

Итак, капитал — не личная, а общественная сила.

Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер.

То есть, общественное положение капиталиста никуда не денется — мы только назовем его как-нибудь иначе — и будет он по-прежнему распоряжаться капиталом, но уже как бы от лица общества в целом... Так, ведь, они и раньше заявляли, что блюдут государственный интерес,

в качестве компетентных организаторов производства; а через полвека, в России, эмпириомонист А. Богданов открыто провозглашает это с партийных трибун. Нельзя же кого попало за рычаги пускать! — машина требует деликатного обращения.

Нет уж! Давайте определяться. Собственность по самой сути своей есть классовое явление, и неклассовой она никак быть не может. Просто потому, что право собственности (по смыслу слова!) ставит людей в неравные отношения к общественному достоянию — а самое мелкое разделение неизбежно перерастает в противостояние классов. Если же никакого разделения нет — откуда возьмется собственность? От классиков узнаем [4, 440]:

Коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения общественных продуктов, он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения поработать чужой труд.

Вот-те на! А что такое «присвоить»? — это и значит, отнять у других и получить в полное свое распоряжение; только наивный младенец будет верить, что из подобной исключительности невозможно извлечь выгоду, манипулируя потребностями других. Оказывается, коммунизм не запрещает спекуляций — а лишь увещевает не бесчинствовать слишком публично, чем-нибудь прикрывать срам. Опыт советского государства продемонстрировал такую экономику во всей красе.

Общественная собственность? — а что это? По смыслу — когда нечто в полном распоряжении общества в целом, но (будучи *собственностью*) недоступно ни одному из его членов (а если таки доступно — то это уже не собственность, а требуется какое-то другое слово: например, *достояние*). То есть, общество в целом в качестве собственника противостоит всем единичным субъектам, и отношения между ними опять-таки сводятся к обмену: ты мне — я тебе. Бизнес. Капиталистическое государство как раз и есть такой всеобщий собственник — и мы знаем, в чьих интересах оно использует свое суверенное право отнимать и делить.

С другой стороны, допуская один способ присвоения — мы должны, как минимум, предположить существование других. Что считать обществом — вопрос нетривиальный. Например, Аристотель исключал из этого понятия ремесленников и земледельцев, полагая, что их род занятий не совместим с идеей свободы и не оставляет времени на рефлексию [*О государстве*, 1328b и далее]; точно так же российские дворяне под словом «общество» имели в виду лишь «приличное»

общество — а потом и совбуры (номенклатура и интеллигенция) устанавливали свой уровень приличности («без серпа и молота не покажешься в свете»). В общем случае, речь идет о групповом субъекте и групповой собственности, праве распоряжаться частью общественного продукта в интересах группы, безотносительно к интересам отдельных личностей и прочих групп. Будет это присвоение в рамках семьи, сословия, класса, нации, или на международном уровне — на суть не влияет. Как только людей раскладывают по кучкам — они перестают быть людьми и становятся представителями каждой своей кучки.

Соответственно, два варианта: либо я считаю себя представителем группы и могу (от ее лица) распоряжаться общей собственностью — либо я воспринимаю это как чужое, лично мне не принадлежащее, отчужденное, — и следовательно, как ограничение моей свободы. Оба случая предоставляют широчайшее поле для злоупотреблений; поскольку же сама идея собственности предполагает и ее передел (обмен), коллективная собственность — неустойчивое равновесие *частичных* общественных сил, которое неизбежно порождает частную собственность и эксплуатацию человека человеком. Отчуждение вещи означает духовное отчуждение, и в конечном итоге — борьбу классов.

Разумеется, если я взял общественное яблоко и съел — никто другой присвоить его уже не сможет. Но экономически это вовсе не присвоение, а потребление — то есть, использование в качестве исходного материала для производства другого продукта (который иногда может быть совершенно неосязаемым — как здоровье, или блестящая идея, — но остается общественно полезным). Теоретическая путаница тут, мягко выражаясь, чревата. Разумная целесообразность (и нормирование) потребления — особый разговор. Пока важен сам факт: устранение классов нам нужно как раз для того, чтобы производить не на продажу, а под конкретные потребности конкретных людей. Чтобы никто не мог ничего присвоить и тем самым обособиться в привилегированную общественную структуру.

Сколько раз Маркс (и особенно Энгельс) допускали подобную идеологическую неряшливость — не сосчитать. Удивительно ли, что и наш товарищ Ленин унаследовал (хотя бы в подсознании) догмат о вечности собственности — и своими революционными действиями сеял зубы дракона? Никакого сомнения, что где-то в душе великие чувствовали, что *на самом деле* имеется в виду; но не очень образованным массам докопаться до истины не давали гораздо более

образованные любители погреть руки на партийных оплошностях. Коих сама же партия и пестовала в условиях идейного разброда.

Коль скоро мы (следуя Марксу) понимаем сущность человека как совокупность всех общественных отношений — мы обязаны обеспечить полноту комплекта, предоставить реальный доступ к общественному продукту в целом, без дележки, — чтобы никакого присвоения! Дело продвинутых идеологов — не оправдывать использование классовых форм сложностями переходного периода, а сразу же противопоставлять им нечто принципиально новое — в качестве перспективы развития. Люди не настолько глупы чтобы не понять: нельзя стать по-настоящему свободными в мире, разделенном на собственнические клетушки. Каждый шаг новой власти следует направить на ограничение сферы присвоения и ее окончательное вытеснение.

Человеческая духовность на крутых поворотах истории способна опережать материальную базу и как бы тащить ее за собой. Но лишь при условии постоянной подпитки реальными результатами, когда образ будущего по капельке становится образом сегодняшней деятельности. Дух не существует без плоти — а бытие определяет сознание не только в исторической перспективе, но и в быту. Если же отношения людей по поводу вещей замыкаются на банальной дележке (*мое — не мое*) — их разум предпочтет спрятаться до поры, дожидаться реальной возможности воплощения. Потому что разум есть *универсальное* освоение мира, способность окультуривать все без изъятия. А для этого ему требуется столь же универсальное тело — и прежде всего, неорганическое — то есть, возможность полноценно участвовать в *любом* производстве; когда же на каждом шагу приходится наткаться на чьи-то эксклюзивные права — товарищи не правы.

И не надо нам про опасности воинствующего разгильдяйства и наглого дилетантизма. Испортить можно что угодно. И последствия бывают трагическими. Но ошибки становятся преступной халатностью лишь там, где нет *реального* участия, где вещи не принадлежат неорганическому телу субъекта — *отчуждены* от него. Отделение вещи от человека, продукта труда от труда, воспитывает безалаберность и безразличие; дефицит духовности — разрушает способ производства. Таково любое отношение к собственности — причем не только к чужой (или «общественной»), но и «своей» (поскольку она принципиально отчуждаема). В частности, отношение к плоти: нездоровый образ жизни, риск и бравада, неряшливость и нечистоплотность, порча орудий труда.

Чтобы люди добросовестно относились к делу — надо, как минимум, дать им настоящее дело. Нет его — на чем воспитывать дух? Мы привыкли к способности населения все разворовать — но какое может быть расхищение, если нет возможности что-либо присвоить? Мы видим, как халтурщики разбазаривают ресурсы, — но капитализм разбазаривает их куда больше на каждом шагу, с тем отличием, что не всем позволено варварски уничтожать плоды общественного труда во всемирном масштабе. Если человек делает то, что ему по душе, — какой смысл спешить и халтурить? Наоборот, есть повод оптимизировать производство — и предусмотреть защиту от дикаря. Вот это чувство разумности как общечеловеческого единства, — а не примитивную общинность, — и должна была бы культивировать организация нового типа, с самого начала противостоящая *всякой* собственности как культу классового насилия. Неорганическое тело каждого в пределе охватывает всю материальную культуру — и все участвуют во всем, свободно перераспределяя производственные роли, способы участия в жизни общества; в такой экономике в принципе невозможно никакое право.

Что за чем

Революция не волшебная палочка — и не вывернет мир наизнанку легким движением штыка. Всякая стройка требует времени. Тем более, когда проектное задание лишь в общих чертах, материалы брать неоткуда, а строителям больше приходится отбиваться от разбоя из-за бугра. Значит, разбиваем на этапы: сначала расчистить площадку, вымести злостный мусор и выкорчевать старые корни; потом заложить экономический фундамент; наконец, использовать накопленный опыт и ресурсы для построения светлого будущего.

С нулевым циклом понятно — в предположении, что за словами «диктатура пролетариата» стоит не всего лишь подавление одного класса другим, а перестройка экономики таким образом, чтобы ушлым людишкам ходу не было — и даже если сумеют что-то урвать, пристроить некуда. Жесткий централизованный контроль над мерой труда и нормой потребления. Военный коммунизм. Но ни в коем случае не «отнять и разделить». Кому не нравится — скатертью дорога.

Но дальше-то надо не дубинкой махать, а объяснять людям по-человечески. И вот тут вышел терминологический казус. В пылу борьбы с европейскими оппортунистами переименовали большевистскую

партию в коммунистическую (памяти *Коммунистического манифеста*), создали свой Интернационал, в противовес Социтерну, а порядок строительства расписали так: сначала будем поднимать гибрид нового со старым, и назовем это социализмом; потом развитый социализм понемногу перерастет в коммунизм, ради которого все и затеяно.

Сознательные трудящиеся тогда по латыни еще не думали; им названия без разницы — им надо конкретно: как топором махать. Разумеется, в серьезном деле номенклатура — дело десятое. Но, как выяснилось, не последнее... Потому что толковать насущные задачи придется тем, кто потолковее, — а они никак в толк не возьмут: как же так? — у Маркса, ведь, слова не с потолка, а очень даже по существу, — и пишет он очень даже определенно [42, 127]:

Социализм есть *положительное*, уже не опосредствуемое отрицанием религии *самосознание* человека, подобно тому как *действительная жизнь* есть положительная действительность человека, уже не опосредствуемая отрицанием частной собственности, *коммунизмом*. Коммунизм есть позиция как отрицание отрицания, поэтому он является *действительным*, для ближайшего этапа исторического развития необходимым моментом эмансипации и обратного отвоевания человека. *Коммунизм* есть необходимая форма и энергичский принцип ближайшего будущего, но как таковой коммунизм не есть цель человеческого развития, форма человеческого общества.

То есть, сначала мы просто отрицаем классовое устройство и на этой отрицательности, как на фундаменте, воздвигаем стройное здание социализма — общества по-настоящему общественного (о чем и говорит выбор названия). А коммунизм переводится как *общинность*; это всего лишь участие всех занятых в конкретном производстве в управлении этим производством (вместо привлечения захребетников со стороны). Примерно то, что в России первоначально называли советами.

Вот под *это* определение коммунизма заточены все ранние программы рабочих партий — предполагающие своего рода возврат к общинности ради массового обучения самоуправлению в глобальном масштабе. У коммунистов и социалистов нет расхождения по части конечной цели: общество для всех и для каждого. Но европейская (а за ним и российская) социал-демократия после разгрома парижской коммуны как чумы боялась силовых решений; слово «коммунизм» стало ругательным — а идти к социализму предлагалось путем постепенных реформ, на «демократических» основаниях, следуя воле «большинства».

Буржуазные критики коммунизма ставили ему в вину не идею хорошей жизни для всех (чисто теоретически, все за!) — а классовое насилие как инструмент достижения цели; поскольку же хорошая жизнь для буржуа означает всего-навсего достаток, обеспеченность, право присвоения продуктов общественного производства, — любое посягательство на собственность трактуют как подрыв устоев всякого бытия.

И вот, представьте, что борцу за светлое будущее à la russe именем Маркса объявляют, что коммунизм — вовсе не «цель человеческого развития», и даже не «форма человеческого общества»! Надо быть очень образованным, чтобы шарики за ролики не уползли. Разобраться, конечно, можно. Но знатоки немецкого и латыни, как на грех, окопались в стане явных и скрытых врагов — и будут, скорее, раздувать неразбериху, постепенно подводя обывателя к мысли, что большевики сами не знают, что творят.

В Европе, «коммунистический» — всегда означало, да и сейчас означает, главным образом, «коммунальный». Местное самоуправление в самых широких форматах. Поэтому Энгельс мог с полным правом называть первобытную общину «коммунистической» — и коммунизм тогда естественно становится отрицанием отрицания, возвращением от истории классов к бесклассовому строю. Но для советского читателя — исторические трактаты Энгельса выглядят странно, и можно подумать невесть что... Мы со школы не приучены думать о том, что будет за коммунизмом, — в отличие от наших врагов, которые терминологически точно говорили о *коммунистических* (а не социалистических) странах и крушении *коммунизма* (а не социализма) усилиями перестроечников.

Однако нам европы не указ! — и мы (в лице тов. Ленина) смело заявим о своем видении марксизма [33, 98]:

[...] научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал «первой» или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм.

Ленин не указывает, о чьей конкретно трактовке социализма идет речь, и кто именно его так «обычно называет»; но если посмотреть на контекст (писано в августе и сентябре 1917) — становится понятно: речь идет о *буржуазных* назывателях, которым февральская революция 1917 года дала их буржуазную власть, и ничего другого они, конечно же, не хотят,

принимая (как и положено эксплуататорам) интересы господствующего класса за интересы общества в целом. Ничего общего с марксовской трактовкой социализма это не имеет. А почитать Ленина — может показаться, что существует какая-то внеклассовая, общепринятая («научная») точка зрения, которой и марксисты обязаны строго придерживаться! Нельзя так некритически перенимать враждебную терминологию, направленную как раз на запутывание дела: дескать, у нас уже есть все необходимое для построения нашего социализма — и коммунизм тут не уместен...

Теоретические ноги растут из *Критики Готской программы*, где Маркс как раз и рассуждает о «первой» и «высшей» фазах коммунизма. Но не вообще — а в плане критики *вульгарного социализма*, — применительно к лассалевской трактовке коммунизма как общества «справедливого распределения трудового дохода». Речь как раз о том, что *всякое* распределение предполагает *отчуждение* продукта от производителя, когда и производство ориентировано не на реальные общественные потребности, а на поддержание существующих форм обмена продуктами труда, — и следовательно, не выводит за рамки капиталистического способа производства и буржуазного права. Да, на первом этапе придется пойти на уступки этой буржуазности — с заменой рыночного обмена на общественно («коммунистически», в смысле: всей общиной) регулируемое распределение (кооперация и госкапитализм); но идея как раз в том, чтобы на этой «собственной» основе вырастить коммунизм другого типа, когда «исчезнет поработощающее человека подчинение его разделению труда», чтобы «каждый по способностям, каждому по потребностям» [19, 18–20]. Тем не менее, даже эта «высшая» фаза остается пока обществом, основанным «на началах коллективизма, на общем владении средствами производства»; в «научном» плане Маркс по-прежнему говорит о коммунизме как *временном* явлении, *переходной* эпохе, — главная же цель построить такой мир, в котором люди вообще не задумывались бы о каком-то владении и распределении, о коллективности, о способностях, потребностях и прочих различиях, — где они могут жить как считают нужным, *не отделяя* индивидуальное от общественного, труд от развлечения, производство от потребления. Отличить это от высшей фазы коммунизма трудновато; точно так же, на заре первобытнообщинного строя не могло быть формального отделения собственно человеческого от животности, а на поздних этапах — все уже пропитано элементами классового общества, цивилизации.

Что, Ленин этого не понимал? Смешной вопрос. Не мог не понимать. Например, в 1919 году он говорит [40, 34]:

Социализм предполагает работу без помощи капиталистов, общественный труд при строжайшем учете, контроле и надзоре со стороны организованного авангарда, передовой части трудящихся; причем должны определяться и мера труда и его вознаграждение. [...] Коммунизмом же мы называем такой порядок, когда люди привыкают к исполнению общественных обязанностей без особых аппаратов принуждения, когда бесплатная работа на общую пользу становится всеобщим явлением.

Сие прямо означат, что на смену коммунизму идет такой строй, при котором само понятие общественных обязанностей исчезнет, что такое плата все прочно забудут, а труд будет не на общую пользу, а для души. Ну, тут еще Энгельс подкузьмил: под старость он особенно велся на буржуазные словечки, пытался (доходчивости ради?) говорить на чужом языке [37, 380]:

Так называемое «социалистическое общество»...

В России кавычки убрали «для ясности» — и приняли на вооружения доктрину буржуазного социализма. А путеводная звезда — за горизонт?

Хорошо, давайте не будем называть универсальную культурность социализмом; но кто мешает придумать более подходящее название? Еще раз: дело, конечно же, не в словах; но слова-то не сами по себе! — они в определенном историческом контексте, в котором негласная подмена термина есть отнюдь не безобидная логическая ошибка. Вроде как написать на указателе «северный полюс» — при том что стрелка показывает на юг... Вероятно, следовало не просто переставлять готовое, а смело изобретать свое — например (как было с советами), обозвать российские реалии по-русски, и пусть весь мир учится, перенимает передовой опыт! Испугались. Не смогли отступить от буквы писания (в не самых лучших переводах) — и изменили духу. Маленькая слабость — плачевный результат.

По сути — большевики были правы. А по форме — оказались не на высоте. В горячее время, вроде бы, не до высокой теории... Но чуть спадает градус — начинается процесс кристаллизации; и здесь вовсе не безразлично, получится в итоге алмаз — или беспородный булыжник. Пресловутая «верная дорога» обернулась отходом от марксизма. Массы хорошо чувствуют нескладности целого — играют на этом чувстве отдельные частные лица, в интересах своего класса.

Люди и звезды

От содержания и формы естественно перейти к материалу. Тут у всех на слуху [38, 53–54]:

Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хороших, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. [...]

Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе. [...] А мы должны построить социализм из этой культуры. Другого материала у нас нет. Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены, если забавляться этой побасенкой. [...] У нас нет других кирпичей, нам строить не из чего. Социализм должен победить, и мы, социалисты и коммунисты, должны на деле доказать, что мы способны построить социализм из этих кирпичей, из этого материала, построить социалистическое общество из пролетариев, которые культурой пользовались в ничтожном количестве, и из буржуазных специалистов.

Казалось бы — предельно точно и правильно. Образец практики философского материализма.

Лишь одна мелкая деталь портит бочку меда. Закономерный вопрос: а кто такие «мы» — которые собираются кирпичики складывать? Из полного текста, в принципе, можно вывести, что речь идет о коммунистах. Однако издана работа отдельной брошюрой (*Успехи и трудности советской власти*) — и, следовательно, предлагалась гораздо более широкой аудитории. Объединенные здесь доклад на заседании Петросовета и речь на митинге в Народном доме — отнюдь не внутривластная дискуссия.

Что получается? Есть некая (как бы это помягче...) неидеальная «масса», которую отдельные суперсознательные (по их собственным понятиям) товарищи берутся не вывести в люди — а положить в фундамент социалистического общества. Чтобы на их костях взрастить что-то поприличнее, а на этом цоколе можно уже монтировать несущие конструкции... Но тут у предполагаемого кирпичика запросто может (и, по большому счету, имеет право) разыграть несознательное самолюбие... Которые попроще — в лоб: *а ты, блин, кто такой, чтобы из нас лепить?*

Много их, лепителей, было до семнадцатого года... Образованные, может быть, и промолчат — но внутри поставят галочку против сомнительного пункта; потом эта галочка сыграет как сочувствием подрывной работе отпетых беляков — так и подкованным саботажем номенклатурных перерожденцев.

Оговорка по Фрейду? Нет ли у Вас, тов. Ленин — за великими замыслами, простотой и задушевностью, за прилично революционной физиономией, — подсознательного презрения к тем, кого Вы пытаетесь выстроить и массово осчастливить?

Конечно, потом будет и про отсутствие «коммунистов без пятна и упрека», и многочисленные (но разбросанные по разным работам) высказывания о поразительном классовом чутье (инстинкте?) трудового народа, своими руками устраивающего революционный порядок... Перевешивает ли это первое впечатление от брошенной в пылу полемики фразы? Сегодня у нас есть полное собрание сочинений и возможность сопоставить, свести воедино... А как быть тем, кто в гуще событий и должен ловить на ходу?

Вероятно, в душе наш классик был не столь прямолинеен, и суть вопроса понимал верно. Но корявая форма для этой правильности — подарок идейным оппонентам, возражения не по существу, которые так легко поставить в упрек — или выставить в смешном свете. Как случилось ранее с философской книгой того же автора. В итоге партийную линию приходится опять утверждать голым авторитетом, а в развитии духа — зияющая дыра.

Нотки превосходства желающий может обнаружить и в других текстах — как изнанку вполне логичных поступков, стратегическую гнильцу тактически правильных решений. Насколько можно судить, Ленин в совершенстве владел сократическим методом, умением навести собеседника на нужную идею, чтобы тот принял ее как свою. Но то, что работает в живом разговоре один на один, — не годится для работы с массой, с коллективным субъектом. Тем более заочно, через печатные издания. В письменной речи надо бы аккуратнее с выражениями: если что-то можно понять неправильно — это так и поймут!

В какой угодно форме, признание чужого уродства и выпячивание своей способности его обнаружить — оскорбительно для тех, с кем предстоит совместно делать большое и трудное дело. Но нетрудно догадаться, что *любая* борьба (по самой своей сути!) предполагает

собственную правоту — и ущербность позиции соперника. Значит ли это, что ради духовной чистоты следует отказаться от борьбы и всячески убожать каждого встречного? Увязнуть в политкорректности. Вздор! См. выше о воспитании «хорошеньких и чистеньких». Противостояние одних членов общества другим — характерная особенность классовой культуры. Поскольку мы все воспитаны (изуродованы, исковерканы) капитализмом, общение друг с другом неизбежно будет принимать уродливо-классовые формы; разумно к этому относиться — значит трезво отдавать себе в этом отчет и по возможности компенсировать — как словом, так и практическим действием. Речь не о том, чтобы из кривого сделать прямое, а о культивировании зародышей прямоты, с постепенным (но неуклонным) вытеснением буржуинства из собственного духа (а не только в экономической сфере).

Оппоненты слева формально правы: не может буржуй строить коммунизм. Но это абстрактная правота. Диалектика развития состоит в том, что новое вырастает из старого — и люди вообще не смогли бы строить будущее, если бы его в них не было! Несмотря на психоаналитические штучки, в убийственно неидеальном человеке наших дней сидит-таки нечто такое, что не вписывается во всеобщий базар и толкает его на поступки, с буржуазностью несовместимые. Человек — не абстракт, присущий отдельному индивиду; в нем переплетение всевозможнейших общественных отношений — очень разного свойства. Капитализма больше, чем остального? — изменить баланс можно обычным материалистическим способом: переустроить жизнь так, чтобы наш дух был вынужден вытаскивать по-настоящему духовное на первые места, на высшие этажи иерархии. Выглядит как вытаскивание себя из болота за шиворот — но, в отличие от метода Мюнхгаузена, мы прежде всего ищем внешнюю опору — объективные тенденции экономического и общественного развития. И не пытаемся слепить коммунистического себя из мрака — а выискиваем в себе светлые крупички, собираем их в один большой свет.

В отличие от ленинских формулировок, исторический материализм должен был бы признать духовную общность *всех* современников, поскольку их дух *равно* отравлен перевесом капиталистических реалий в общественном производстве — и устройстве быта. Ни в коем случае не исключая даже самых убежденных коммунистов. Говоря с массами — мы не имеем права употреблять местоимение *мы*. И задача у всех одна:

искать в каждом без исключения (даже в злейших врагах!) черты людей будущего — которые можно вывести на поверхность соответствующей организацией общего дела, изменением способа производства. Понятно, что у рабочего мы найдем одно, у крестьянина другое, у буржуазного управленца еще что-нибудь. Что-то, конечно, возьмем от коммунистов, профессиональных революционеров (но тоже далеко не все! — себя надо судить намного придирчивее). Различие людей — наследие классового прошлого, от которого мы сразу отказываемся, — прямо это говорим, — но не имеем право не признавать факта и обязаны его учитывать, принимая решения. Однако на первом плане (как и требует настоящая философия) должно быть именно единство, концентрация всех лучиков в один мощный пучок, способный испепелить остатки классовой психологии, привычки отделять себя от других — и видеть в них соперников, а не товарищей по работе и близких по духу.

Реквием победы

Буржуазные писатели исписали и исписывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести и прелести капиталистов и капиталистического порядка.

Это совершенно справедливо констатирует тов. Ленин [35, 195] в самом конце 1917 года — и процесс продолжается вплоть до наших дней, десятки лет спустя. Послушать буржуазных пропагандистов — без всеобщего мордобоя человечество шагу ступить не сможет. Почему? Очевидно, это в природе человека! — а в дикой природе все только тем и заняты, что друг друга едят и выводят непереваренное для поедания существами низшего уровня. Поэтому капитализм — *естественное* состояние цивилизованного человечества, и не надо нас стращать коммунистическими призраками...

Можно было бы предполагать, что в работе вроде бы умного человека — который называет себя марксистом (и только что выдворил из власти всяческих эксплуататоров), — мы увидим грамотную критику теоретической дикости с позиций строителей будущего (неклассового) общества — и хотелось бы также ознакомиться с планами перевода производственных (и прочих) отношений на принципиально иные, неконкурентные рельсы. А вместо этого [35, 195–196]:

Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно *широко*, действи-

тельно в *массовом* размере [...] Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, — организовать соревнование.

Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Откуда скатились — туда и прикатились. Зачем было огород городить? Нам очень терпеливо разъясняют, что

на самом деле капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное производство, при котором конкуренция могла в скольконибудь *широких* размерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и другими монополиями. Конкуренция при *таком* капитализме означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, nepoтизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы.

И только социализм, дескать, способен

втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами.

Что получается? Вместо действительно отвратительного современного капитализма, где конкурируют не мелкие собственники (и тем более не трудящиеся как единственно «законные» владельцы общественного продукта), — а банды супербогатых буржуев, — так вот, вместо *такого* (подчеркнуто Лениным!) капитализма нам предлагают вернуться к истокам, к подлинно свободному рынку с его ничем не ограниченной конкуренцией. Вместо «неправильного» капитализма — пусть будет первобытно примитивный, но правильный.

Но исторический материализм учит нас, что из определенных экономических предпосылок объективно и неизбежно развиваются те самые развитые формы, которые уже заложены в исходном материале и лишь дожидаются момента, чтобы громко заявить о себе. Марксов *Капитал* с того и начинается: элементарный акт товарного обмена, в котором различные производители противопоставлены друг другу общественно данным образом, развертывается в грандиозное здание капиталистической экономики, во всем уродстве ее богатства. То есть, социализм как возврат к пройденному стал бы началом нового витка развития капитала — всего лишь сменой форм эксплуатации человека

человеком и класса классом. Вот к чему ведут призывы организовать (какое угодно) соревнование. А это позиция российского коммуниста номер один! Что уж говорить о всех остальных...

Одна непоследовательность тянет за собой другую. Принимая *терминологию* буржуазных социалистов, коммунисты как бы внутренне настраивают себя на принятие столь же буржуазных целей и методов. Конфискация земель и национализация предприятий *никоим образом* не означают изменений в способе производства, перехода к неклассовой экономике; и уж совсем не способствует этому «принудительная организация всего населения в потребительные общества» [35, 196]. Государственная монополия — один из способов *перераспределения* собственности, коих капитализм напридумывал превеликое множество и которые он применяет с поразительной изобретательностью. Совершенно логичное продолжение:

Широкое, поистине массовое создание возможности проявлять предприимчивость, соревнование, смелый почин является только теперь. [...] Впервые после столетий труда на чужих, подневольной работы на эксплуататоров является возможность *работы на себя* [...]

И это по-ленински означает «почувствовать себя человеком»? Вместо работы на чужого дядю — работа на абстрактного «себя», прилетевшего из потусторонностей философского идеализма. Но даже и при очень снисходительном отношении к словесным вольностям — остается не свободный труд, а работа «на»; а это *очень* разные идеи... Снова сугубо буржуазная лексика: предприимчивость, соревнование, смелый почин. Тогда как человеческий, свободный труд — исходит из общественной потребности и личной склонности; он не предполагает никакого предпринимательства — и предприимчивость тут неуместна. Если я как разумное существо считаю нужным делать то-то и то-то — какое мне дело, если чем-то похожим будет заниматься кто-то еще? Разумеется, можно поинтересоваться, обменяться опытом. Но где здесь прилепиться соревнованию? Точно так же, говоря о смелом почине — допускают мысль о противоречии интересов трудящихся интересам общества в целом; если же общество никоим образом не ограничивает деятельность, в чем тут смелость? Мы просто выбираем разумную цель — и движемся к ней; потом переходим к следующей. Никаких «починов» нам вообще не нужно.

Про коммунистические авралы — чуть ниже отдельным пунктом. Сейчас разговор про наведение порядка. Видим красивые слова об

организационных талантах рабочих и крестьян — и призыв всемерно развивать участие масс в управлении государством. К сожалению, дальше призывов не идет. Новая для России идея местного самоуправления в годы первой русской революции породила, казалось бы, подходящую форму: советы. Сугубо неформальные объединения, через которые каждый заинтересованный мог бы продвигать важные для него инициативы. Однако уже в 1917-м речь вовсе не о тех, прежних советах — а о советах «рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»; но это другое: органы представительной власти, а не самоуправления. Воздействовать на «избранных» — дело непростое, и становится не проще по мере приобретения теми политического опыта. Считать сие вовлечением масс в организационную работу — верх наивности.

Но допустим, что выбрали самых-самых, кто за нас горой. И чем новоявленной «власти» предлагается заниматься?

Учет и контроль — вот *главная* экономическая задача каждого Совета [...] учет и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный, — учет и контроль за количеством труда и за распределением продуктов — в этом *суть* социалистического преобразования, раз политическое господство пролетариата создано и обеспечено.

Учет и контроль, которые необходимы для перехода к социализму, могут быть только массовыми.

И так далее, в том же духе... Вместо действительного приобщения у управлению страной (или какими-то ее частями) — создание армии стукачей, призванной восполнять дефицит информации у тех, кто на самом деле всем управляет. Это исконно *классовый* идеал — который в наши дни развернутая к капитализму Россия замечательно реализует при помощи фирмы IC — а в остальном мире американцы принуждают «партнеров» (за их же деньги) сливаться в тотальный контроль по плотно контролируемым коммуникационным сетям.

Никто не спорит: принимать решения надо компетентно. То есть, быть по возможности в курсе. Но информация — лишь материал. Она важна не сама по себе — а в контексте конкретных практических задач. Есть это в тексте? Ни капельки. Нормально было бы: нам нужно это и вот это — а для этого надо сделать так. А нас призывают абстрактно бороться с паразитами. Какими средствами? — а все так же [35, 201]:

Чтобы обезвредить социалистическое общество от этих паразитов, надо организовать всенародный, миллионами и миллионами рабочих и крестьян добровольно, энергично, с революционным энтузиазмом

поддерживаемый учет и контроль за количеством труда, за производством и распределением продуктов. А чтобы организовать этот учет и контроль, *вполне доступный*, вполне подильный всякому честному, толковому, распорядительному рабочему и крестьянину, надо вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие, организаторские таланты, надо возбудить в них — и наладить в общегосударственном масштабе — соревнование по части организаторских успехов [...]

Где логика? Организаторская работа одно, соревнование совсем другое. Если мы занимаемся организацией соревнования — мы отвлекаем (далеко не избыточные) ресурсы от организации производства. Если мы ориентируем «таланты» на информационное обеспечение высшего руководства — мы уводим их в сторону от реального творчества, сознательного отношения к труду, при котором каждый лучше любого начальника знает, что ему делать, и какими средствами.

Детский лепет о «робости» рабочих и крестьян — их неумении взять за жабры и потребовать. Подошел слесарь Вася к инженеру Шуцману и спросил: а на хрена у нас винты и шурупы приходят по разным складам? На что инженер совершенно благожелательно дает точный ответ: так надо для оптимизации логистики. Вася чешет в затылке и мямлит: а ты, блин, уверен, что это не для отмывания денег? Инженер сияет широкой улыбкой, снимает с полки толстую книгу, показывает страничку со штабелями интегралов: вот, здесь все точно доказано, на основании теоремы Лажанса. Донесение наверх: шуцман где-то лажает, надо с ним разобратся поостроже...

Каким образом кто-то от сохи будет контролировать то, в чем он совершенно не разбирается? Уметь кур доить или гайки заколачивать — маловато для постановки организационных задач. Да, теоретически, бывший слесарь может пойти учиться и стать гинекологом — но тогда он уже не будет слесарем! Капиталистическая система разделения труда для того и нужна, чтобы поставить каждого на его место — и заставить претендентов конкурировать за места посытнее. Пока нет достаточно универсальных средств производства, позволяющих единообразно решать очень разные практические задачи — только специалист может оценить работу других специалистов. Сначала надо организовать свой труд — потом присматриваться к организации труда у других, на базе приобретенного опыта. Коммунисты-организаторы могли бы направить эту реальную организационную работу к единой цели: построению бесклассового общества. Увязывать практику с идеей, собирать находки,

объединять разрозненное капитализмом, общими усилиями искать перспективы. А вместо этого [35, 203]:

Надо организовать соревнование практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом. Надо бороться против всякого шаблонизирования и попыток установления единообразия сверху, к чему так склонны интеллигенты.

Замечательный образчик «шаблонизирования»! Загнать всех в дикую природу, заставить бороться друг с другом под предлогом сохранения «биоразнообразия» (как модно выражаются современные буржуи). Всем как один — оригинальничать, стараться перещеголять друг друга по части экзотических вывертов. Хаос, вершина единообразия.

Еще не вымершие обитатели страны развитого социализма помнят уродливую шаблонность проевшего всем печенки «социалистического соревнования»: почетные грамоты, дипломы, переходящие знамена, премии... Точная калька буржуазной практики поощрения (а по сути — классового отбора) профессиональных достижений. В этом контексте одинаково верно по обе стороны баррикад [35, 203]:

Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается *многообразием* в подробностях, в местных особенностях, в приемах *подхода* к делу, в *способах* осуществления контроля

Да, конечно:

Парижская Коммуна показала великий образчик сочетания почина, самостоятельности, свободы движения, энергии размаха снизу — и добровольного, чуждого шаблонов, централизма.

Но она же показала и принципиальную ущербность «коммунального» подхода, катастрофическую опасность идеологической эклектики. Если советы «идут по тому же пути» — их ожидает тот же печальный конец: горы трупов и духовное опустошение, отказ от всякой вообще борьбы. Но партия сказала: *надо!*

Надо, чтобы Советы смелее, инициативнее брались за дело. Надо, чтобы каждая «коммуна» — любая фабрика, любая деревня, любое потребительное общество, любой комитет снабжения — выступили, *соревнуя* друг с другом, как практические организаторы учета и контроля за трудом и за распределением продуктов.

Спрашивается: зачем? Почему мы должны соревноваться друг с другом, вместо того, чтобы всем миром бороться с буржуинством? Замените выделенное Лениным словечко «*соревнуя*» на столь же выделенную фразу «в *единстве*» — и вот вам по-настоящему коммунистический

принцип, призыв к строительству новой жизни, где никто не против кого. Все только за. Потому что речь идет о совершенно понятных практических вопросах:

Программа этого учета и контроля проста, ясна, понятна всякому: чтобы хлеб был у каждого, чтобы все ходили в крепкой обуви и в недраной одежде, имели теплое жилье

А пока хотя бы эти (не слишком изысканные) цели не достигнуты, надо, чтобы все

работали добросовестно, чтобы ни один жулик (в том числе и отлынивающий от работы) не гулял на свободе, а сидел в тюрьме или отбывал наказание на принудительных работах тяжчайшего вида, чтобы ни один богатый, отступающий от правил и законов социализма, не мог уклониться от участи жулика, по справедливости долженствующей стать участью богатого.

В этой бочке медовухи таки остался градус дурного послевкусия. Закономерный вопрос: а почему вообще кто-то должен быть богаче других? Допустим — наследие прошлого. Но зачем нам тянуть в будущее буржуазные представления о наследовании? Почему нельзя сразу объявить *все* произведенное трудами всех поколений достоянием общества в целом — вне зависимости от того, кто чем пользуется в данный момент? Нет богатых и бедных — есть (временное) различие в распределении общественных благ, которое нам предстоит устранить в течение переходного периода. Первый шаг к этому — отмена права наследования. Любого. Чтобы каждый получал все необходимое для достойной жизни и творческого труда непосредственно от общества, а не от семьи, клана или этнической группы. Это равносильно отмене собственности — но на первых порах государству придется стать единственным (но единственным!) собственником, чтобы целенаправленно распределять ресурсы, поддерживая неклассовые элементы способа производства и выкорчевывая любые ростки эксплуатации. Вот здесь-то и пригодились бы инициативные массы — которые могли бы не просто стучать наверх, а *самостоятельно* устранять отклонения от этой линии, и тем самым *практически* брать на себя функции государственного управления. Не можем удержаться, чтобы не привести целиком абзац на с. 204 — сплошное великолепие:

Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и туеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунарами, мелкими ячейками в деревне и в городе.

Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: *очистки* земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за *вредными* людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает — ибо только практика может выработать — *наилучшие* приемы и средства борьбы.

Мелкие поправки и тут не помешали бы. Можно было бы, например, не ограничивать дело одной лишь российской землей. А в конце следовало бы подчеркнуть: средства *совместной* борьбы. Чтобы не повадно было раздувать склоки внутри коллективного субъекта нового типа, занятого переустройством Вселенной на принципиально новых началах.

Неизбежная на переходном этапе неравномерность распределения средств может вытекать лишь из производственной необходимости: предоставление в пользование никоим образом не дает исключительных прав — а напротив, налагает обязанность надлежащего ухода и очень бережного отношения. Кто пренебрегает обязанностями — см. выше об участи жуликов. Только при такой постановке вопроса массовый учет и контроль становится *практически* возможным — и приобретает конкретный классовый смысл. Только тогда слесарь Вася не будет задавать абстрактные вопросы, ответов на которые он все равно не поймет, — а скажет прямо: слышь, Шуцман, нам позарез нужно сделать вот такую фигню... А ты, говорят, большой умелец — вот и придумай, как это организовать, без лишних затрат! И судить будет по конкретным результатам — сам, без столичных политиков, — которые смогут, наконец, не отвлекаться на мириады мелких срочностей, а заняться своим делом — выработкой стратегических решений, — чтобы «коммуны и мелкие ячейки» могли ощутить под ногой надежную твердь, а не нашаривать что-то на ощупь — и таки вязнуть в житейском болоте.

[...] вот на каких вопросах должно развернуться *соревнование* коммун, общин, потребительно-производительных обществ и товариществ, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Замените *«соревнование»* на *«сплочение»* — будет по-нашенски!

Лишняя сотня лет, конечно же, многое добавляет к опыту той, истерзанной войнами страны, еще не успевшей прийти в себя от дерзкого рывка в неведомое. Задним числом легче судить. Но правоты исторического материализма никто не отменял, и на такой логической основе уже возможно корректировать некоторые формулировки. Ленин этого не сделал — и стал образчиком того самого «разгильдяйства», которое [35, 201–202]

есть одно из свойств «образованных людей», вытекающих вовсе не из их дурной природы, тем менее из злостности, а из всех привычек жизни, из обстановки их труда, из переутомления, из ненормального отделения умственного труда от физического и так далее и тому подобное.

Ленинское учение о соревновании — мина замедленного действия, зародыш антикоммунизма, верный путь к состоявшейся в конце концов реставрации капитализма.

Время и деньги

Что капитализм и рыночная экономика — синонимы, ни для кого не секрет. Логически, капитализм *полностью* выводится из элементарного акта товарного обмена; обратно, товарный обмен лишь при капитализме может стать всеобщим принципом построения экономики, охватить все сферы материального и духовного производства. Есть рынок — будет и капитализм; сохраняем буржуазные пережитки — значит, опять базар...

Тем удивительнее беззаветная преданность рыночным механизмам, которую мы обнаруживаем и у старых большевиков, и у послевоенных коммунистов. Как в СССР, так и за его пределами. И даже у современных орлят, ностальгирующих по чужому прошлому.

Чисто психологически — оно понятно: считать деньги — легко и удобно; складывая абстрактные количества мы не задумываемся о действительном положении дел, и можем льстить себе формальными достижениями. Получили тридцать сребреников — реальный навар; что при этом душу продали дьяволу — так ее же все равно не видно; а там, глядишь, политика изменится — и посмотрят другими глазами...

Библейские метафоры мы быстренько очищаем от религиозной мистики — и переводим на привычное наукообразие: к одной и той же цели можно идти разными путями, не всегда гладкими да чистенькими; однако выбор пути (даже когда выбора нет) — отнюдь не безобиден, ибо он в конечном итоге влияет и на направление движения.

Ленинская борьба за новую экономическую политику — блестящий пример диалектического подхода к истории: нет таких принципов, которые не надо было бы прогнать под жизненные реалии — ради последовательного проведения принципа в реальной жизни. В этом Ленин — непревзойденный виртуоз. Неоднократно побивавший своих партийных оппонентов действительной (а не абстрактно декларативной) революционностью практики.

Но и самой изощренной диалектики недостаточно для того, кто хотел бы оставаться на позициях марксизма (или хотя бы просто в пределах разумности): в первую голову, не следует забывать про материализм. В данном случае исторический.

Когда коммунист говорит, что экономические предпосылки для строительства нерыночного хозяйства требуют совершенного владения рыночными механизмами, — это безусловно правильно; культурные формы цивилизованного (то есть, классового) общества надо изучать и ставить под разумный контроль. Но нельзя же увлекаться торговлей до такой степени, чтобы все остальные занятия третировать как бедных родственников, спонсируемых по остаточному принципу! Речь, ведь, не о том, чтобы сделать рынок главной (и по факту единственной) формой организации экономики — а наоборот, чтобы подтвердить приоритет нерыночных форм, допуская в жестко регулируемых пределах также и рыночную стихию. Буржуазный экономист должен разбираться в торговле; коммунист обязан соединить торговые компетенции с четким осознанием их места в структуре нерыночного целого, с умением оценивать готовность каждой отрасли (от чистки зубов до освоения космоса) к переходу на новые, нетоварные формы хозяйствования. Другими словами, мы не *заменяем* рынком прямое распределение — а лишь ограничиваем сферу такого распределения тем, что *может* в сложившихся условиях пойти по нерыночному пути, — имея в виду неуклонное расширение этого островка свободы, а в перспективе — превращения его в огромный континент.

Поскольку же нас интересует воспроизводство разума, обращаем внимание на азбучную истину: на рыночной почве не произрастет

ничего кроме рыночной психологии, а зачатки разумности пробиваются именно там, где рынку приходится потесниться, допустить хоть каплю нетоварности. В условиях, когда экономика еще не достаточно развита, чтобы заняться непосредственным удовлетворением материальных потребностей широких масс, главным оплотом коммунизма становится духовное производство, просвещение и приобщение к идеалам. Если ограничиться *только* этим (как это исторически и произошло) — коммунизм все равно умрет, будет раздавлен экономически. Без опоры на соответствующие уровни организации материального производства духовные искания не станут устойчивыми культурными образованиями, способными далее развиваться по их внутренней логике. Однако даже в донельзя урезанных и уродливых формах, в которых коммунистическая идеология насаждалась в советские времена, она оказалась становым хребтом социалистического строительства, возможностью задержаться в мире на семь десятилетий.

Понятно, что если заложить в позвоночник врожденную слабину — рано или поздно она сыграет и обрушит конструкцию, как бы мы ни накачивали осаночные мышцы. Вот про эти, вроде бы мелкие огрехи мы здесь и продолжаем рассуждать на примере знаменитого доклада Ленина о новой экономической политике.

В самом начале — долгие разговоры об «отступлении», об «ошибочности предыдущей экономической политики». Фразеология заимствована у политических оппонентов и буржуазных лоббистов. Конечно, следует подробное разъяснение, в каком смысле все это надо понимать: не «ошибочная» политика — а необходимая на начальном этапе разведка боем; не «отступление» — а перегруппировка сил. Однако опрометчивая фраза уже сделала свое черное дело — и в сознание заложен штамп: коммунисты были не правы — и они уступили! Следовательно, можно добить их, пользуясь испытанными методами: экономическая изоляция, саботаж и диверсии, принуждение к рынку. Не дать закрепиться, выбивать со всех плацдармов. Военная угроза тоже небесполезна, в качестве вспомогательного приема: подножка, подсечка, вывод из равновесия. Тактика антикоммунизма в XX веке — и после, когда коммунизма уже нигде нет...

Неудачные выражения — не только неряшливость; они выражают недоработки в теории, слабость фундаментальных убеждений. Вроде, простая мысль: приступая к работе надо подготовить рабочее место. Революции ничего не меняют сами по себе — они лишь создают условия

для перемен. Следовательно, первые послереволюционные годы — зачистка территории, подготовительный этап. А у Ленина [44, 204]:

К весне 1921 года выяснилось, что мы потерпели поражение в попытке «штурмовым» способом, т. е. самым сокращенным, быстрым, непосредственным, перейти к социалистическим основам производства и распределения.

Окситесь! — какой социализм? кто вам даст? Все (то есть, буквально: *все*) осталось по-прежнему. От замены власти экономика не меняется. Разумно было бы так и ориентировать массы: выметать врагов и готовиться к настоящей работе. Даже имея в виду лишь буржуазный социализм, до «социалистических основ производства и распределения» еще представит дорости — как в материальном отношении (уровень производства и производительность труда), так духовно (осознание первичности интересов трудящихся — их права ставить практические задачи и добиваться решения). Грубо говоря: первым делом надо отнять собственность у буржуев и помещиков — реально, вооруженной силой, а не декретом, — а потом уже как-то ее по-новому пристраивать. Это еще не отмена собственности — а всего лишь передача ее в одни руки; какая голова будет управлять этими руками — так оно и пойдет...

Но, как мы уже видели, даже до этого минимального материализма большевики не додумались — и вместо общей борьбы с буржуями предлагали народу соревноваться друг с другом. Ради чего? Толком неясно — и на пустое место уверенно встает корыстный интерес. Соревнование — значит рынок. Других вариантов нет.

В качестве первой панической попытки к бегству — разговоры о госкапитализме [44, 207]:

Предполагалось более или менее социалистически обменять в целом государстве продукты промышленности на продукты земледелия и этим товарообменом восстановить крупную промышленность, как единственную основу социалистической организации.

То есть, вместо единого собственника (пролетарского государства) будет еще и противостоящий ему непролетарский — сельская буржуазия и подчиненная ей деревенская беднота. Заметим: отношения между этими собственниками характеризуются как *товарообмен*. То есть, производство остается именно *товарным* производством — и ни единой попытки ориентировать его на *удовлетворение реальных потребностей* масс мы не наблюдаем! Стоит ли удивляться, что этого единичного акта обмена (совершенно по Марксу) вырастает полулегальная рыночная

система, и возрожденная армия собственников начинает диктовать условия государству — как одному из рыночных игроков:

[...] товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что он вылился в куплю-продажу.

И это говорит крупнейший российский марксист, который, между прочим, защитил диссертацию по экономической тематике! На всех языках, товарообмен — это и *есть* купля-продажа! Независимо от уровня монетизации. Там, где производство становится нетоварным, исчезает само понятие обмена — и появляются другие понятия, *никому* из прошлых и нынешних коммунистов, к сожалению, не знакомые. Следовательно: за что боролись — на то и напоролись [44, 208]:

Теперь мы очутились в условиях, когда должны отойти еще немного назад, не только к государственному капитализму, а и к государственному регулированию торговли и денежного обращения. Лишь таким, еще более длительным, чем предполагали, путем можем мы восстанавливать экономическую жизнь. Восстановление правильной системы экономических отношений, восстановление мелкого крестьянского хозяйства, восстановление и поднятие на своих плечах крупной промышленности. Без этого мы из кризиса не выберемся. Другого выхода нет.

Вот так. Оказывается, по Ленину, «правильная система экономических отношений» — это рынок: капитализм + мелкое крестьянское хозяйство! Это уже не просто оговорка — а прямо-таки идеологическая диверсия. Можно же было сказать: сбалансированной, эффективной на данном этапе... Нет! — речь о правильности. И, следовательно, неправильности всякого коммунизма. Сейчас и на все времена.

Докапываться до подлинного смысла ленинских идей — это еще постараться! А вредный штамп ляжет в умы мгновенно — и направит всякое умствование по рыночной дорожке. С другой стороны, сама возможность подобных оговорок — симптоматична. Это прямой индикатор уровня сознания общества в целом: даже в светлейших умах оно не способно истребить закоренелую буржуазность. См. выше раздел о гвоздях.

Концовка о «безвыходности» возвращает нас к вопросам философии духа. Можно называть разумным поведение, полностью подчиненное природной (или исторической) необходимости, когда выбирать не из чего — и человеческое сознание не у дел? Делай что положено — и не задавай вопросов! Можно ли от капиталистической недоразвитости

перейти к разумному общественному устройству — если всего лишь плыть по воле волн и уступать обстоятельствам? Вряд ли. Разумное делает разум. А разум на то и дан, чтобы ни при каких обстоятельствах не признавать победу стихии — чтобы сохранить в любых условиях человеческое лицо. Как следовало бы выстроить те же мысли по законам разума? Нет ничего проще! Надо всего лишь с каждым вынужденным решением увязывать другое, разумное решение — которое станет достойным противовесом и обозначит перспективы развития. На языке ленинских военных метафор: мы уступаем противнику территорию — но мы создаем мощную группировку в другом месте, и главное не в отступлении — а именно в этом новом порядке, в сохранении и накоплении сил для решительного удара. Кутузов не был коммунистом; но лишнюю разумность никогда не любили при дворе...

Если бы каждому положению новой экономической политики тут же сопоставлялось компенсирующее нерыночное решение — рядовым коммунистам все было бы понятнее, и не росла бы волна протестов внутри партии, с которой так яростно сражались ленинцы, и которую использовали в своих целях враждебные марксизму группировки. Разумеется, речь не о пресловутом «учете и контроле»: не просто посадить над всеми партийного бухгалтера — а выстроить отрасль производства, в которой вообще не нужна бухгалтерия! — и подчинить любые рыночные движения интересам развития этих, нерыночных отраслей. Фактически, именно к этому коммунисты приходили на практике, интуитивно, классовым чутьем. И только благодаря этому советская власть продержалась так долго. Но ни в одном партийном документе такая стратегия не зафиксирована — зато развитию рыночных отношений посвящены многие тома. Да, Ленин постоянно подчеркивает необходимость развития «крупной промышленности, как единственной базы социалистического общества» [44, 213]; но крупная промышленность породила капитализм — и почему, собственно, ей не породить его еще и еще раз? Вопрос, похоже, больной — но так и оставшийся без ответа [44, 211–212]:

Восстановление капитализма, развитие буржуазии, развитие буржуазных отношений из области торговли и т. д., — это и есть та опасность, которая свойственна теперешнему нашему экономическому строительству [...]

Как справиться? Ничего кроме призывов повышать бдительность Ленин не предлагает. Но если подойти к делу с позиций исторического

материализма, стоило бы прежде всего спросить: чем социалистическая промышленность отличается от капиталистической? Количественные критерии тут совершенно неуместны: это качественное различие. Одно и то же можно делать с разными целями. Либо я наливаю воду в стакан, чтобы отнести ее страдающему от жажды, — либо я делаю это, чтобы обменять на кусок хлеба — опять же, нужный либо для того, чтоб кого-то накормить, — либо для обмена на кусочек металла, некоторое количество которых способно не только окружить меня предметами роскоши, но и придать особый общественный статус, сделать богатым... Совершенно неважно, будет нерыночная промышленность крупной и массовой — или распределится по небольшим производствам, более индивидуализированным и заточенным под конкретные потребности. Точно так же, не имеет значения, будет продукт потреблен сразу же — или послужит условием какого-то будущего производства. Существенно лишь отношение к собственности: если продукт присваивает частное лицо или коллективный субъект — это товар; если продукт остается общим достоянием, и никто не имеет преимущественных прав, — это элемент рыночной экономики.

Вот с этого и надо было бы начинать строительство будущего: определить круг производств, которые ни под каким предлогом не могут быть приватизированы, — и расширять этот перечень по мере роста экономического обеспечения. В первую очередь в список попадут *все* отрасли духовного производства — чтобы никто не мог держать народные массы в темноте, чтобы каждый мог внести свой вклад в любые области культуры. Решительный отказ от авторского права, отмена наследования, переход от семейного воспитания к полностью общественному, — все это абсолютно необходимо для ограничения и преодоления рыночной стихии. Нерыночный сектор имеет право *преимущественного* потребления продуктов любой рыночной отрасли, без каких-либо компенсаций или обязательств; это не национализация (то есть, не отчуждение в государственную собственность), а вывод за пределы рынка как такового, подчинение жизненным интересам общества в целом. Предприниматель не просто откупается от властей, выплачивая положенные налоги, — он обязан внести свой вклад в материальную базу нерыночной экономики, поддержать ее делом. Речь не о возвращении от «легкого оброка» к ярму «барщины старинной». Новая экономика внедряется в старую, использует при необходимости ее производственные мощности и задействует квалифицированный

персонал. Такое пропитывание рыночных отраслей коммунистическими принципами, с одной стороны, готовит их к вхождению в нерыночный сектор — а кроме того приучает людей мыслить по-новому, думать о единстве общества, а не обособлении рыночных ниш. И через это — выращивает в них разум.

При капитализме работник основную часть времени работает на капиталиста, и лишь малую долю на себя. Но и то, и другое — всего лишь работа; эти компоненты качественно однородны — и в общем потоке одно никак не отделяется от другого. Страны высокоразвитого капитализма, жиреющие на ограблении других народов, могут дать населению иллюзию «свободного времени» — которое на самом деле превращается в еще одну работу: человека заставляют потреблять, поддерживая тем самым стабильность рыночных структур. Рыночная психология соединяет в себе эти две стороны: собственнические настроения и тупое потребление. Маркс полагал, что мерой личной (а значит, и общественной) свободы мог бы стать процент свободного времени; но говорить о каких-то процентах возможно лишь там, где свободное время понимается в рыночном контексте как качественно однородное с рабочим временем — как другая сторона того же самого. Это совсем не та свобода, к которой мы стремимся...

Появление нерыночного сектора означает возможность заняться тем, что не измеряется временем, — творческим трудом. Это совсем другая деятельность, несопоставимая с товарным производством и потреблением. Она может в каких-то случаях накладываться на работу; в других ситуациях займет значительную часть формально свободного времени. Более того, действия человека чаще всего оказываются иерархичными: в одном отношении это производственная обязанность, в другом — веление души. Полная противоположность формальному отделению работы на начальство от работы на себя. А значит — возможность обрести, наконец, целостного себя, вместе с другими, а не против них.

Как и следовало ожидать, великий коммунистический эксперимент дает нам такие примеры. Однако (задолго до нэпа) поголовное засилье рыночных идей среди идеологов и вождей губит на корню стихийный порыв к свободе, подменяя свободный труд тоскливой принудителькой, мероприятиями для галочки, очередным авралом — или (еще хуже) трудовыми рекордами. Тем не менее, эмпирическое подтверждение материалистической теории духа налицо, и если не удалось сберечь

первые ростки человечности — значит, время пока не пришло, и надо ждать, и готовить себя к миру без денег.

Коммунистическая повинность

Сетования по поводу неидеальности кадров мы уже отслушали; разумно было бы поинтересоваться, как эти кадры могли бы поработать над собой, чтобы общими усилиями друг друга подкорректировать, приспособить под совершенно не буржуазную задачу. Нетрудно догадаться, что никакими умствованиями дух из болота не вытащить — нужно живое дело, которое железно требует вполне определенного к себе отношения — и закрепляет это отношение как элемент нового способа производства. Столь же очевидно, что характер деятельности не имеет большого значения — важно только сразу же добиться пусть небольшого, но вполне ощутимого результата: трудиться на дальнюю перспективу могут лишь те, кто уже достаточно разумен, чтобы усмотреть единство общего дела в хаосе повседневных задач. Такую идейную закалку многим лишь предстоит приобрести.

Разумеется, при разумном отношении к деятельности — каждый шаг надо увязывать с идеалом, оценивать с позиций соответствия ему, или хотя бы в плане подготовки к строительству. Но условиях войны и разрухи, когда не хватает самого необходимого, — речь прежде всего о том, чтобы удержать занятые позиции, не потерять опору. Где затрещало или пошатнулось — туда и бросить все силы, как-то выправить, — и заняться другим. Да, это аврал, латание дыр, и по большей части временка; но без этого — просто смерть.

Чтобы вырваться из порочного круга и приобрести достаточный запас прочности для постепенного перехода от простого выживания (обороны) к развитию способа производства (наступлению) — надо любой ценой: (1) успевать латать прорехи раньше, чем появляются новые, — и (2) ставить заплатки по возможности более прочные, чтобы не приходилось переделывать одно и то же много раз. В экономических терминах это звучит так: обеспечить хотя бы локально резкий рост производительности труда — и повысить технологическую дисциплину (включая как оптимальность решений, так и добросовестное отношение к труду). Вот этой палочкой-выручалочкой и стали первые субботники, и роль их в развитии разумного, собственно человеческого начала во все еще капиталистическом (всего лишь) работнике поистине огромна.

Но мы, бывшие обитатели советской страны конца XX века, знаем, во что в итоге скукожились благие намерения: энтузиазм по разнарядке, массовые мероприятия для галочки, где больше тусовки (с выпивкой и закуской), нежели нужного дела; потом кто-то уже в рабочее время приведет в порядок кривые труды «энтузиастов» — одно и то же делаем дважды... Говорить в этой связи о коммунистическом воспитании — просто кощунство. Мы, ведь, знаем и то, как продолжаютя субботники после реставрации капитализма: вместо коммунистических авралов — власти пропагандируют коммунальные (общинные) инициативы — дело отдельных «товариществ», «кондоминиумов»... Переписали ярлыки — а все по-прежнему. Значит, есть глубинное родство.

Поэтому здесь давайте обратим внимание не столько на то, что было ценно и правильно, сколько на досадные мелочи, из которых потом попер вонючий бурьян. Субъективный фактор как зеркало объективных причин. Как обычно — используем одну из ленинских работ; на этот раз путь будет брошюра *Великий почин* (июль 1919).

Начнем придирааться с названия: словечко «почин» — уже с душком. Да, конечно: у Ленина это всего лишь *начало*. Но в русском языке тут явственно прослушивается оттенок разовости, временности, — всего лишь увлечение, следование моде... Душевный порыв — а не движение духа. Больше животности, чем разума. Так и получилось: субботники остались разовыми мероприятиями; это вовсе не то же самое, что [39, 17]

[...] повести за собой всю массу трудящихся и эксплуатируемых, а также все мелкобуржуазные слои, на путь нового хозяйственного строительства, на путь создания новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, новой организации труда, соединяющей последнее слово науки и капиталистической техники с массовым объединением сознательных работников [...]

Хотя бы потому, что эта задача [39, 17–18]

[...] ни в коем случае не может быть решена героизмом отдельного порыва, а требует самого длительного, самого упорного, самого трудного героизма массовой и *будничной* работы.

А вот будничности-то субботникам с самого начала не хватало. Атмосфера ритуального действия, народного гулянья, — под шуточки и оркестр... Это заразительно, весело, лихорадочно бодро. На волне такого подъема вполне возможно поднять производительность труда в разы (хотя сообщение о тверском превышении в 13 раз — явно перерастает в политические фанфары). Но сможете ли вы такую же

производительность труда обеспечить в обычное время? Практически исключено. Как бы ни говорили некоторые товарищи, что [39, 10]

[...] теперь стыдно будет в обычное время делать меньше, чем в коммунистический субботник.

Аврал, штурмовщина — это работа на износ. Выдержать такое можно только «в импульсном режиме» — и потом будет усталость, высокая утомляемость, психологический надлом; в целом производительность труда может даже снизиться. Чрезмерные нагрузки быстрее изнашивают организм — человек латает производственные дыры своим здоровьем. Именно это в конце XX века берут на вооружение капиталистические предприятия — под именем корпоративной этики.

Тем не менее, быстрое решение жизненно важных проблем иногда требует самоотверженности и самоотдачи. Раскручивание маховика субботников, вероятно, было единственно правильным решением на тот момент, в разгар войны. Военная дисциплина в промышленности стала возможна лишь в сороковых...

Когда на море шторм — морякам приходится бороться со стихией из последних сил; тут никто не думает о нормировании труда... Все знают: выстоять можно лишь общими усилиями. Такое *товарищество* (как отношение *экономическое*) всецело принадлежит классовому обществу; в нем могут возникать и укрепляться элементы настоящей дружбы (*духовного* отношения) — но лишь вторичным образом, как использование классовых форм в качестве материального носителя будущей разумности. Но в этом смысле ни о каких «починах» и речи быть не может: задача всемерного развития разума стоит всегда, и единичные случаи необыкновенного сплочения людей ради общего дела становятся лишь *примерами*, на которых стоит учиться, тщательно отделяя перспективные находки от классовой шелухи.

Разумное отношение к субботникам — использование их *опыта*. Первым делом, здесь налицо сама возможность самоорганизации масс, в противовес разнарядкам сверху и давлению обстоятельств. То есть, рабочий вполне может сам поставить себе задачу — и решить ее вместе с другими, максимально быстро и эффективно. Вот оно, то самое перерастание управления общественным производством в народный контроль, о котором Ленин писал еще в 1917-м! Что для этого требуется? Прежде всего, организованный доступ к средствам и орудиям труда. Поскольку все это выведено из частной собственности, государство (в роли пока еще необходимого всеобщего собственника) обеспечивает

право на творческий труд (в отличие от всего лишь работы по часам). Грубо говоря, начальство не имеет права ставить палки в колеса, тормозить смелые инициативы под какими угодно предложениями. Если для решения производственной задачи нужны ресурсы — дело руководства не ссылаться на их отсутствие, а изыскивать все возможное, и предлагать альтернативы, когда не все удается. Буржуазное государство режет любые «почины», если это невыгодно капиталу. Большевики точно так должны были бы вытеснять капиталистические приемы организации и продвигать все, что выходит за рамки классовой ограниченности. И не только в отношении разовых мероприятий — но главным образом в повседневной деятельности, ежедневно и ежечасно. Не «суммировать» внеурочное время [39, 6] — а (пользуясь современной терминологией) «мультиплексировать» его, переплестать творческий труд с рутинной работой, постепенно сдвигая баланс в сторону первого.

Другая сторона свободного труда — уход от количественных показателей к качественным. Никого не волнует, сколько потрачено человеко-часов! Мы должны сделать конкретное дело — и мы его делаем, пока не получаем требуемый результат — или находим иное, более приемлемое решение. Работа коммунистов как идеологов — помогать с постановкой задач, подсказывать, что сейчас важнее, исходя из ситуации на всех фронтах. Чтобы трудиться осмысленно, а не превращать все в очередной «флэш-моб».

Работа по качественным показателям — принципиально отличается от буржуазного массового производства, где производят не полезный продукт, а товар. Труд (в отличие от работы) не предполагает никакой «меры» — и единственной наградой служит удовлетворение от достигнутого (то есть, по сути, духовный рост). Однако создание условий для труда выдвигает ряд особых задач, решать которые призван другой труд — в том числе организационного плана.

Такова теория — с позиций исторического материализма. Остается посмотреть, насколько практика и политика этому соответствуют.

Первое, что бросается в глаза — изобилие циферок. Если в статьях о первых (майских) субботниках мы еще видим отчет о том, что на каком участке конкретно сделано — все последующие предъявляют только абстрактные человеко-часы, стоимостные показатели, да высосанные из пальца проценты превышения норм. Решения партийных собраний — сплошь под одну гребенку: отработать столько-то часов сверхурочно и бесплатно. Это что, коммунистическое отношение к труду? И близко не

стояло! Как только мы начинаем измерять труд в тех же единицах, что и обычную производственную разрядку — он включается в контекст товарного производства и становится всего лишь приростом нормы прибавочной стоимости, усилением эксплуатации. Можно говорить о том, что в данном случае победивший в революции класс эксплуатирует «сам себя», — но это не меняет классовой сути: не добровольный творческий труд, а интенсификация производства как вынужденная мера военного времени. Соответственно, и отношение масс к субботникам: времянка, чрезвычайщина, — а вовсе не прототип новой экономики. Поскольку же присваивает продукт труда государство (которое, как и положено государству, противостоит населению в целом) — определить эффективность ударной работы при количественном учете практически нереально — и здесь широкий простор очковтирательству и пыли в глаза. Инициатива быстро вырождается в ту же разрядку — тем более, когда дополнительная отработка становится регулярной и качественно однородна с работой по штатному расписанию.

Если изначально отделить «коммунистический» труд от работы по найму — следовало бы не привязываться к каким-то определенным дням, а решать срочные задачи по мере их возникновения, не глядя на часы — и оперативно перераспределяя ресурсы. При этом товарищи «занимающие ответственные посты и выборные» [39, 8] как раз и должны бы советовать, за что взяться в первую голову, — и предлагать свои руки при каждой необходимости; они на то и поставлены, чтобы отслеживать события в глобальном масштабе. А итогом считать не время отработки — а количество реально сделанных по-революционному дел. При такой постановке у рабочего меняется подход к делу: он учится видеть проблемы и предлагать пути (совместного) решения. А это и есть экономический принцип бесклассового общества. И вообще — разумное поведение. Такой труд не подлежит никакому сопоставлению с традиционным производством, где действуют формальные нормы отработки по установленным расценкам. Когда человек решает им же поставленные задачи, честно исполняет сознательно принятые на себя обязательства, — он решительно порывает с рыночной психологией, воспитывает в себе новую духовность. Ради этого можно иногда пойти на материальные потери и бытовые неудобства — но, разумеется, не кичиться этим, а воспринимать как еще одну задачу: необходимость всемерного повышения производительности труда и уровня жизни трудового народа.

Тысячи раз цитированное, золотые слова [39, 21]:

Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда. [...] Коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих.

Есть в России в 1919 году «передовая техника», идейное сплочение и рабочая сознательность? В минимальных дозах. Натруженные руки, веревки и рычаги, кувалда и лом, — как четыре тысячи лет назад. Разброд на селе, попытки удушить пролетариат голодом.

А чтобы устранить голод, нужно повышение производительности труда и в земледелии, и в транспорте, и в промышленности. Получается, следовательно, какой-то порочный круг: чтобы поднять производительность труда, надо спастись от голода, а чтобы спастись от голода, надо поднять производительность труда.

Известно, что подобные противоречия разрешаются на практике прорывом этого порочного круга, переломом настроения масс, геройской инициативой отдельных групп, которая на фоне такого перелома играет нередко решающую роль.

Вот, вкратце, суть первых субботников. Прорыв, перелом — за которым годы последовательной политики, консолидации сил [39, 20]:

Мы должны тщательно изучать ростки нового, внимательнейшим образом относиться к ним, всячески помогать их росту и «ухаживать» за этими слабыми ростками. Неизбежно, что некоторые из них погибнут. Нельзя ручаться, что именно «коммунистические субботники» сыграют особо важную роль. Не в этом дело. Дело в поддержке всех и всяческих ростков нового, из которых жизнь отберет самые жизнеспособные.

Штурмовщина работает там, где вопрос возможно решить временным перевесом, ударом всей массой в одну точку. Предполагается, что потом кто-то изучит опыт и придумает более производительные варианты, которые можно было бы внедрять в повседневную трудовую жизнь, переводя на этой основе и сознание рабочего люда на совершенно иной уровень, воспитывая бережное отношение к своему труду и умение мыслить общечеловеческими категориями [39, 22]:

Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота *рядовых рабочих* об

увеличении производительности труда, об охране *каждого пуда хлеба, угля, железа* и других продуктов, достаемых не работающим лично и не их «ближним», а «дальним», т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей, объединенных сначала в одно социалистическое государство, потом в Союз Советских республик.

Занимался этим кто-то? Ровно один партиец — тов. Ленин [39, 25]:

[...] образцовая заботливость и добросовестность при добыче и распределении каждого пуда хлеба, образцовые столовые, образцовая чистота такого-то рабочего дома, такого-то квартала — все это должно составить вдесятеро больше, чем теперь, предмет внимания и заботы как нашей прессы, так и каждой рабочей и крестьянской организации. Все это — ростки коммунизма, и уход за этими ростками наша общая и первейшая обязанность.

В прессе — ноль внимания. Вместо серьезного дела — звонкая цифирь...

Вот пример зарпортованной горе-журналистики [39, 10]: некто А. Дьяченко решает «отбить субботний стаж» и «дать отдых голове» на одном из вспомогательных производств железной дороги. Три десятка таких же «отдыхающих» при помощи доисторических инструментов передвигают десятитонный котел на несколько сот метров.

Вдруг, что за оказия? Внезапно, смешно покатился целый ряд товарищей, — это «изменила» веревка в руках наших...

А если бы махина накатила на «ряд товарищей»? — было бы также смешно? Это не юмор, это нарушение техники безопасности (коей пренебрегать преступно даже в авралах). Повод задуматься и принять меры к недопущению. Можно уверенно предположить, что подобные инциденты бывали и в других местах, — а где-то и с жертвами, — но о них не пишут в победных репортажах, упоминая лишь «легко устранимые неисправности» [39, 8]. С другой стороны, почему те же люди не могли поставить котел раньше, в порядке оперативной работы?

Другой вопиющий пример — организация питания. Конечно, кружки с кипятком («чаек») по рукам ходили. Но было и так:

98 человек коммунистов и сочувствующих проработали, согласно постановлению общего собрания, 5 часов сверхурочно, бесплатно, лишь получив право вторично пообедать за деньги, причем к обеду за деньги же, как рабочим физического труда, было выдано по полфунта хлеба.

Спрашивается: если группа товарищей сговаривается работать на совесть — почему точно так же не сговориться кому-то из пищеблока, чтобы усилиями добровольцев (с минимальными государственными

дотациями) столь же «коммунистически» поддержать трудовые силы? Такой субботник еще интереснее с точки зрения опыта организации: не изолированное производство, а координация группы отраслей! См. выше о широте мысли. Могли партийцы подсказать? Не захотели...

Между прочим, после реставрации капитализма в России некоторые фирмы выдавали работникам бесплатные талоны на питание — в своей столовой, или по договору с соседним ресторанчиком; кое-где даже нанимали повара, чтобы люди могли обедать с учетом индивидуальной диеты!⁴ Аналогичные чудеса французская беллетристика упоминает еще в XIX веке. А о чем (или каким местом) думают прорабы коммунизма?

Обратим внимание на назойливый рефрен: работа бесплатно, еда за деньги... Это по-коммунистически? Удивительно ли, что пришлось (под давлением масс) откатываться к обычному рынку, переучиваться на госнэпманов? Оказывается, рыночные принципы никто и не отменял, они пережили «военный коммунизм», и практически все население (включая продвинутых коммунистов) продолжало мерить жизнь на деньги. Продажа рабочей силы в обмен на минимальное обеспечение условиями существования — основа рыночной экономики. Продаваться частнику или государству — работнику нет большой разницы. Чисто теоретически — содержание может быть разным; но размышлять о тонких различиях квалификации не хватает (и не только у простых работяг — но и у тех, кто призван серьезно разьяснять); остается лишь формальное тождество: рабочее время и деньги, бедные и богатые...

А тут еще и «коммунистическая» повинность: дополнительные часы «барщины». И не надо нам газетных уток о якобы полной добровольности... Есть партийная дисциплина. Партийное собрание (в лице напористого председателя?) постановило [39, 6]

отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную ценность. Считая, что коммунисты не должны щадить своего здоровья и жизни для завоеваний революции — работу производить бесплатно. Коммунистическую субботу ввести во всем подрайоне до полной победы над Колчаком.

Полагаете, будут уклонисты? Будут. Но не в открытую. И непартийные товарищи, целиком зависимые от большевистского начальства, тоже подтянутся. Нет у них других рельсов.

⁴ Это не пропаганда! — кое-кто из нас мог убедиться на собственном опыте... Разумеется, с очередным кризисом лафа заканчивается, и традиционные «печеньки» стали редкостью, — хотя корпоративы пока живут, как управленческая технология.

Как оно бывает по жизни — мы знаем из английской истории. Чтобы обороняться (или, скорее, откупиться) от набегов датчан, в IX веке лондонские властители вводят дополнительные поборы с населения (*danegeld*); когда в XI веке датчане таки завоевали Англию и посадили над ней своего короля — налог по прежнему исправно взимался и шел на обогащение новой датской знати.

Нет ничего более постоянного, чем временное. Выколачивать из народа что-нибудь в пользу властей умели всегда — и вряд ли кто-то обольщался по поводу добровольно-бесплатного труда.

Можно ли было иначе? Вероятно, по сути оно было верно — а, вот, форма, в который раз, подкачала. Подойти бы с другого конца: дескать, мы создаем условия для добровольного и безвозмездного труда всех желающих ради создания фундамента будущей, неклассовой экономики. Во все дни недели, днем и ночью. Кто отзовется — сознательные. Остальные будут присматриваться и подтягиваться. В числе прочего, участникам предоставить спецодежду и кормежку — усилиями таких же добровольцев: скинуться у кого что есть, что-то своими руками пошить или приготовить; а государство выделяет дополнительные пайки и расходные материалы (не «за деньги» — а по мере возможности, в разумных пределах, и только целевым назначением). Точно так же, кто-то занимается и организацией отдыха, восстановлением сил. То есть, мы говорим не о «бесплатном» труде — а о совместной деятельности всех работников отрасли — и смежных, обеспечивающих отраслей. Такая система допускает неограниченное расширение и может в конечном счете охватить экономику целиком. Это и есть коммунизм. Воспитание по-настоящему сознательного отношения к труду — и к людям.

Когда Ленин иронизирует [39, 22] по поводу «торжественного фразерства Каутских, меньшевиков и эсеров», которые «сводят все к условиям труда» — он вместе с водой выплескивает и ребенка. Условия условиям рознь. Если нет никакой возможности — дело не сдвинется. Посылать народ голой грудью на пулеметы — не лучшая тактика. Создать какие-то зацепки — и призвать всех самостоятельно создавать новые, всячески поддерживать инициативу. Это и будет переходом от болтовни о «народовласти» — к подлинному народовластию. Вот здесь и нужен пролетариат [39, 17],

который не только свергает эксплуататоров и подавляет их сопротивление, но который также строит новую, более высокую, общественную связь, общественную дисциплину: дисциплину сознатель-

ных и объединенных работников, не знающих над собой никакого ига и никакой власти, кроме власти их собственного объединения

Нельзя сказать, чтобы таких попыток вообще не было. Но робко, зарегламентированно, — а тут и рынок грянул, и дело выродилось в бизнес. Советское студенчество хорошо помнит ежеосенние ссылки «на картошку»: как же! — сам Ильич предлагал [41, 315] подсобить окрестным сельчанам с уборкой урожая... То же самое с массовым выходом на городские овощебазы. Это уже не субботники — это рыночный механизм удешевления студенческих обедов. Ленинская супруга тоже призывала школьников «брать знания с бою и платить своим трудом за свое обучение» — а потом сама же сетовала, что руководство иных предприятий понимает политехническое образование как возможность легально эксплуатировать малолетних, и что «ребята заняты на заводе и читать им некогда»...

О разумности каждого мы судим по его отношению к труду. Тупая отработка по нормативам — не тянет на человечность, даже если потом вспомнят (или придумают) регулярное перевыполнение плана. Человеку интересно — и он делает. Не думая о времени и деньгах. Вот самый коммунистический принцип. Есть прототипы? Сколько угодно! Кто-то паяет на кухне хитрую электронику; другие с удовольствием тачают деревянную мебель или бытовую фурнитуру; кто-то выкраивает из бюджета на занятия танцами; некоторым удается выращивать в местном климате совсем не местные розы... Да, это на обочине способа производства, и (рыночной) экономике от таких энтузиастов проку ноль. Но есть нечто поважнее: прирост общечеловеческой духовности, утверждение творческого бескорыстия как универсального принципа. Иногда вырывается наружу у профессионалов — и тогда поэт мучит себя каждой буквой, ученый не спит ночами, дорабатывая до логического завершения неожиданную мысль; философ сходит с ума или умирает в нищете. Теоретически — могут иначе; но не хотят.

Пока приходится продавать себя — сил на очеловечивание себя хватает не у всех и не всегда. Власть предержавшие заинтересованы в том, чтобы рабам не оставалось времени (и денег) ни на что разумное. Тогда можно (следуя Аристотелю) заявить, что скотство — в природе раба, которого следует поэтому держать подальше от управления страной. Буде кто уж очень восплает творчеством — достаточно превратить пламя в повинность, пустить в оборот. Чтобы уважали порядок и чтили уставные дни.

Предмет веры

В качестве эпиграфа — знаменитейшая цитата: В. И. Ленин, *Крах II Интернационала* (1915) [26, 237]:

Все и всякие угнетающие классы нуждаются для охраны своего господства в двух социальных функциях: в функции палача и в функции попа. Палач должен подавлять протест и возмущение угнетенных. Поп должен утешать угнетенных, рисовать им перспективы [...] смягчения бедствий и жертв при сохранении классового господства, а тем самым примирять их с этим господством, отваживать их от революционных действий, подрывать их революционное настроение, разрушать их революционную решимость.

Казалось бы, картина ясная: во все времена право и религия — две стороны единой системы порабощения широчайших масс кучкой узурпаторов, озабоченных лишь собственным благополучием — да сохранением возможности грабить и убивать именем божьим.

Следовательно, разрушение этой системы и переход к строительству бесклассового общества требуют уничтожения всех ее органов — чтобы равно избавиться как от палачей, так и от попов.

Однако на деле захватившие власть в России большевики следуют иной политике, целиком сосредоточившись на экономических мерах — и оставляя вопрос о воспитании нового, свободного, нерелигиозного самосознания (в лучшем случае) где-то на обочине. Причины этого идеологического перекося мы и будем обсуждать.

Если бы потребовалось одним словом выразить отношение коммунистов к религии, это слово — *страх*. Благоговейный ужас перед неумолимой силой. Ни один мирянин так не боится богов, как истые безбожники, ругающие поповщину на чем свет стоит — но только меж собой, в кухонных разборках: а вылезти с открытым осуждением на божий свет — тяжкий грех, боже упаси! Отсюда двоякое (в теории и практически) убожество марксизма — самой передовой идеологии всех веков и народов.

Теоретическая основа «научного» атеизма — перенос с большой головы на (возможно, не совсем) здоровую [17, 419]:

Страх перед слепой силой капитала [...] — вот тот *корень* современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса.

Здесь именно Ленин выказывает себя слабеньким приготовишкой: не должен последовательный сторонник исторического материализма выводить объективное общественное явление — из чисто субъективных причин, человеческое действие — из животных эмоций! С древнейших времен, религия не просто суеверие или мифология — это социальный институт, инструмент классового господства. Людей не убеждают верить — их *принуждают*, духовно насилуют. Религии насаждают огнем и мечом; если тут и участвует субъективный момент — это, скорее, страх жестокой расправы за отказ от поповщины: бога боятся меньше, чем палача. Разумеется, в современном мире каратели действуют тоньше, косвенными методами; но в итоге за свободомыслие та же месть: страдания и смерть.

Слабость атеистической практики — прямо вытекает из теории: объявляя веру всего лишь мнением, коммунисты, главным образом, пытаются *переубедить* верующих, перетянуть их на свою сторону мягкими увещаниями — никоим образом не задевая «религиозных чувств». И тем самым слепо идут на поводу буржуазной пропаганды, которая изобрела миф о религиозности народных масс, дабы прикрыть этим фиговым листком голый срам классового насилия. Дескать, не мы заставляем рабов гнуть спину перед образами — они сами тянутся к религиозной «истине», искренне жаждут «просветления»! Конечно же, без варварских обрядов и проповедующих мракобесов — степень «очищения» уже не та... Лишить попов этой пропагандистской машины марксист, якобы, не имеет права. Самое большое — передать финансирование в руки «частных лиц» (за которыми тут же пристроятся хорошо организованные зарубежные агенты крупного капитала).

В качестве материалиста, Ленин выражается вполне разумно — так и тянет проголосовать «за» [17, 419]:

Мы должны бороться с религией. Это — азбука *всего* материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо *уметь* бороться с религией, а для этого надо *материалистически* объяснить источник веры и религии у масс. Борьбу с религией нельзя ограничивать абстрактно-идеологической проповедью, нельзя сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой классового движения, направленного к устранению социальных корней религии.

Но где оно, это материалистическое объяснение? Вместо него — чистой воды субъективизм (см. выше). Поскольку все идет одним абзацем, не

слишком въедливый партиец примет сказанное за чистую монету — проглотит идеологическую отраву и будет понемногу гнить изнутри. Что уж говорить о беспартийных гражданах!

Материалистическое решение вопроса только одно: религия — орудие духовного порабощения масс, форма регулирования *духовного производства*, — точно так же, как право есть форма экономического принуждения. Культура в целом — единство материального и духовного производства, и невозможно реформировать одну из сторон, не задевая другой. Эксплуататоры это прекрасно понимают — и потому никогда не ограничиваются силовыми методами: их задача *воспитать* покорного исполнителя господской (божьей) воли, плодить (Энгельс [20, 305])

так глубоко опустившихся, что они *радуются* своему собственному порабощению

Для этого и нужны попы всех мастей (включая модных философов и ультрасовременных психотехнологов). Их деятельность (или, скорее, злодейство) хорошо оплачивается; а пропаганда духовной свободы — вне закона (земного и божьего). Освобождение духа — первый шаг к освобождению экономическому: важна принципиальная способность *позволить* себе быть свободным — вопреки шиканью буржуазных моралистов и попов. Материализм в том, что дух не существует сам по себе, независимо от того, что именно он одухотворяет. Поэтому духовная свобода *недостижима* без сугубо материального действия — подавления насильников насилем, остановки грандиозного аппарата духовного принуждения, сознательной перестройки всей системы воспитания. А что вместо?

Мы требуем полного отделения церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейным и только идейным оружием, нашей прессой, нашим словом. [12, 145]

Борьбу с религией нельзя ограничивать абстрактно-идеологической проповедью, — против материальной силы, которой всегда была и остается церковь, надо выступать с оружием в руках, и не только идейным! Тем более, когда выясняется, что идейного-то оружия у коммунистов вообще нет! Противопоставить неразумной силе силу разума — некому. А тогда какой смысл? Можно лечь грудью на амбразуру — но если за этим не следует нечто убийственное для врага, от возвышенного героизма проку мало.

Экономическая теория марксизма подвисает в пустоте без столь же материалистического подхода к человеческой духовности. Дух не

просто следует за развитием способа производства — он активно вмешивается в это развитие, подсказывает практические решения. Духовная деятельность — не «надстройка», а, скорее, *инобытие* материального производства: то же самое, взятое с другой стороны. Деятельная сущность человека (как *субъекта* деятельности) есть *одновременно* и преобразование вещей, и рефлексия, изменение всей совокупности общественных отношений. Собственно человеческое в человеке — вовсе не способность воспринимать мир и воздействовать на него: в этом плане человек ничем не отличается от неживых стихий или животных, и его *материальное* движение подчиняется тем же природным законам. Разумное существо отличается от всего остального прежде всего способностью строить миры внутри себя, *идеально*, — когда и восприятие, и действие уже не сами по себе, а как поиск идеи и ее воплощение (тут принято ссылаться на *Капитал*: про пчелу и архитектора [23, 189]). Об этой, активной стороне разума до Маркса материализм не догадывается — и отдает духовность на откуп идеализму [42, 261]. Но догадаться мало — надо еще и сделать из этого далеко идущие идеологические выводы, положить в основу собственной деятельности. Без материалистической философии духа материализм останется ущербным, односторонним, — скатится в вульгарность.

Между прочим, Маркс начинал переворот в философии как раз с этого, с духовности, — переосмысливая гегелевский идеализм и критикуя христианствующих неогегельянцев. Однако великие догадки остались в черновиках, а публичная жизнь вращалась вокруг экономических и политических проблем... Работа на злобу дня увлекает марксизм в сторону от деликатных вопросов внутренней жизни, приковывает внимание к аляповатости экономических реалий. Это один из методов идеологической борьбы: спровоцировать соперника, перенаправить стратегические удары на заранее подготовленные рубежи глубоко эшелонированной обороны, чтобы измотать и обессилить, отвлечь от больных точек и слабостей господствующего класса. А тем временем и в области духа выстроено немало идеалистических редутов. И можно в случае чего перевести внимание от экономических баталий к вопросам духовности, выиграть время, подлатать рынок, восстановить силы — и вернуть утраченные рубежи.

Ленинская позиция сознательно вычеркивает религиозные темы из повестки дня. Нет, конечно, по какому-то большому счету [17, 415]:

Социал-демократия безусловно обязана выступить с изложением своего отношения к религии.

Однако прямо сейчас — с этим можно и подождать [17, 420–421]:

Для марксиста обязательно успех стачечного движения поставить на первый план, обязательно решительно противодействовать разделению рабочих в этой борьбе на атеистов и христиан, решительно бороться против такого разделения. Атеистическая проповедь может оказаться при таких условиях и излишней и вредной [...] с точки зрения действительного прогресса классовой борьбы, которая в обстановке современного капиталистического общества во сто раз лучше приведет христиан-рабочих к социал-демократии и к атеизму, чем голая атеистическая проповедь. Проповедник атеизма в такой момент и при такой обстановке сыграл бы только *на руку* попу и попам, которые ничего так не желают, как замены деления рабочих по участию в стачке делением по вере в бога. [...] Марксист должен быть материалистом, т. е. врагом религии, но материалистом диалектическим, т. е. ставящим дело борьбы с религией не абстрактно, не на почву отвлеченной, чисто теоретической, всегда себе равной проповеди, а конкретно, на почву классовой борьбы, идущей *на деле* и воспитывающей массы больше всего и лучше всего.

Если на первом плане задача консолидации пролетариата в класс и подготовка пролетарской революции — было бы неразумно распылять силы в спорах об индивидуальных предпочтениях, заострять внимание на различиях. Убежденных борцов — раз, два, и обчелся; остальные подвержены идейным шатаниям и блуждают в тумане буржуазных иллюзий. Ладно, пусть. Главное — втянуть всех в живое дело, а там они сами увидят, на чьей стороне правда [17, 416]:

только классовая борьба рабочих масс, всесторонне втягивая самые широкие слои пролетариата в сознательную и революционную общественную практику, в состоянии на деле освободить угнетенные массы от гнета религии, тогда как провозглашение политической задачей рабочей партии войны с религией есть анархическая фраза.

Пока — будем ругать буржуев, помещиков и попов не за промывание мозгов, а за то, как они грабят трудовой народ, как расправляются с инакомыслием. Высокоразвитая промышленность потом сама собой просушит религиозную плесень. Вот, и супруга (Н. К.) замечает, что

основные массы рабочих, которые долго работали на заводе, в общем мало религиозны

Короче — сначала стряхнуть не нашу власть. А там разберемся.

Классические работы Ленина (*Социализм и религия, Об отношении рабочей партии к религии*) — образец тактической журналистики. В

советские времена цитаты наизусть заучивали. Ленин, в своей манере, иногда увлекается риторическими красотами — оратор! Но, надо признать, логика железная:

1) то, что справедливо в одном отношении, вовсе не обязательно будет справедливо в другом, и в другое время; нельзя частное объявлять всеобщим;

2) в каждом деле есть главное, на чем надо постоянно удерживать внимание, — а все остальное можно обсуждать лишь поскольку оно не отвлекает от главного.⁵

Это важнейший принцип иерархического подхода: на практике мы всегда имеем дело с той или иной иерархической структурой — но в каждом контексте иерархия разворачивается по-своему, и при других обстоятельствах должна быть развернута иначе.

В смысле диалектики — тут все в порядке. Не хватает материализма. Особенно исторического. Напрягает, например, красивая фраза:

Полное отделение церкви от государства — вот то требование, которое предъявляет социалистический пролетариат к современному государству и современной церкви. [12, 144]

Отделение по какому принципу? Это что, другой мир? Можно подумать религия существует сама по себе, вроде мухи, которую можно легко изолировать от колет...

Но религия — одна из сторон государства, и отделить ее от народа можно только вместе с государственностью как таковой. Пока не доросли — исторический материализм ставит вопрос иначе: каковы взаимоотношения духовенства и светских властей в каждую эпоху? — как меняется отношение различных слоев общества (сословий и классов) к религии в зависимости от того, кто стоит у руля? В разные эпохи отвечать будем по-разному.

Метод «отделения» (чего бы то ни было от чего угодно) — выражение капиталистического разделения труда, и ни для какой иной формации это не годится. Только там, где частник противостоит обществу в целом, имеет смысл такая же риторическая красивость:

Мы требуем, чтобы религия была частным делом по отношению к государству [12, 143]

⁵ Как говорил наш учитель физики: если вам нужен угол — ищите угол, а не массу. Даже если по жизни одно можно однозначно увязать с другим.

В этом (и только в этом) контексте можно бороться за невмешательство государства в частную жизнь, как у Маркса [19, 30]:

Каждый должен иметь возможность отправлять свои религиозные, так же как и телесные, нужды без того, чтобы полиция совала в это свой нос.

То есть, если кому-то приспичит помолиться — это примерно как в туалет сходить, а церковь навещают как бордель. Все правильно — хотя ограничиться этим коммунист не может, и Маркс продолжает:

Но рабочая партия должна [...] выразить свое убеждение в том, что буржуазная «свобода совести» не представляет собой ничего большего как терпимость ко всем возможным видам *религиозной свободы совести*, а она, рабочая партия, наоборот, стремится освободить совесть от религиозного дурмана.

Совсем другой коленкор: в условиях капитализма любые разговоры о свободе совести сводятся к *религиозной* терпимости, сосуществованию разных вероисповеданий, — но никоим образом не допускают свободы от религии как таковой; задача пролетарской революции — лишить церковь *экономической* опоры, поддержки господствующего класса, — и тем самым полностью отстранить от духовного производства.

На первый взгляд, по этому пути и пошли большевики в программе 1919 года [38, 118]:

По отношению к религии политика РКП состоит в том, чтобы не удовлетворяться декретированным уже отделением церкви от государства и школы от церкви — т. е. мероприятиями, которые буржуазная демократия обещала, но нигде в мире не довела до конца, благодаря многообразным фактическим связям капитала с религиозной пропагандой.

Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, а также к фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, организуя для этого самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма.

Но, как водится, начали за здравие — кончили за упокой... Фактическое освобождение от религиозных предрассудков возможно лишь там, где не осталось ни малейшей лазейки для насаждения религиозных догм; ограничиваться здесь одной лишь пропагандой — наверняка провалить дело. Надо, чтобы нерелигиозность стала *нормой* общественной жизни,

на фоне которой любые суеверия воспринимаются как извращение, болезненная аномалия. Буржуазия использует власть для насаждения религии — пролетариат обязан использовать власть для ее искоренения. Иначе какая же это диктатура пролетариата? Нет государственности самой по себе — это буржуазная идея. В переходный период государство представлено коммунистической партией, и потому политика партии становится законом жизни общества в целом. Объявлять религию частным делом *после* победы пролетарской революции — значит, сделать ей величайшую услугу: вывести из-под общественного контроля, развязать руки для контрреволюционной борьбы. У нас же — в ходу прежние, дореволюционные лозунги [12, 143]:

Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества не должны быть связаны с государственной властью.

Не связаны — да. Но не бесконтрольны! Точно так же, как частная жизнь граждан, организация быта, перестает быть частным делом, требует перестройки на новых, общественных началах. Церковь отделили от государства — и успокоились! Но кто займется отделением церкви от семьи, а семьи от воспитания? Когда *на всем протяжении* советской эпохи граждане отмечают рождество, красят яйца на пасху и ставят кресты на кладбищах, а при возможности принимают крещение, — это нормально? Остаются монастыри и храмы, продолжается политическая деятельность церквей, сохраняются их международные связи. Вот фактическое лицо якобы революционной фразы [12, 143–144]:

Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии [...] Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от религиозных верований совершенно не допустимы. Всякие даже упоминания о том или ином вероисповедании граждан в официальных документах должны быть безусловно уничтожены. Не должно быть никакой выдачи государственной церкви, никакой выдачи государственных сумм церковным и религиозным обществам, которые должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников.

Единомышленников? Нет! — заговорщиков! Сам же пишет [17, 416]:

Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и одурманению рабочего класса.

Таковыми они остаются и при формальном отделении от государства — выстроить хитрую схему финансирования своей религиозной агентуры мировой капитал сумеет при любых условиях. Религия, как и государство, не отмирает сама — над этим надо хорошенько поработать! А большевики продолжают мыслить упрощенными формулировками для деревенской бедноты начала столетия [7, 173]:

Социал-демократы требуют далее, чтобы каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно свободно. [...] Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но и *распространять любую веру и менять веру*. [...] Не должно быть никакой «*господствующей*» веры или церкви. Все веры, все церкви должны быть равны перед законом. Священникам разных вер могут давать содержание те, которые принадлежат к их верам, а государство из казенных денег не должно поддерживать ни одной веры

Может советское государство позволить «распространять любую веру»? Это равносильно политическому самоубийству — но именно такое право, теми же словами, закреплено в конституции РСФСР 1918 года! Разрешение частного финансирования религии — все равно что позволить формирование «единомышленниками» антисоветских группировок, теневых властных структур, — или, скажем, допустить легализацию блатной жизни «по понятиям». Впрочем, все это тоже историческая реальность, факт действительной жизни при советах. И один из факторов развала социалистического лагеря, а потом СССР.

Отсутствие четкой идеологической платформы в области духовного производства проявляется как политическая непоследовательность: одной рукой мы против буржуев — а другой всячески стараемся ублажить их «чувства» (а под эту категорию легко подвести что угодно: например, собственническую психологию). С одной стороны — силой отстраняем эксплуататоров от власти и от управления производством — а с другой, официально предоставляем им широчайшее поле для антикоммунистической пропаганды. В проекте программы РКП Ленин предлагал «исключить» эксплуататоров из полноправных членов общества [38, 91]. Как это совместить с постоянным рефреном о религиозной всестерпимости? Ни для кого не секрет, что церковь — один из крупнейших собственников, и значит, один из тех эксплуататоров, которые вполне заслужили поражение в правах.

Половинчатость и раздвоенность партийной политики отнюдь не способствуют подъему авторитета партии в глазах трудящихся масс.

Никто не спорит: в решительный момент революция требует собрать все силы в кулак — и на какое-то время отложить (но никоим образом не закрыть!) вопрос веры (но не религии!) [12, 146]:

Никакими книжками и никакой проповедью нельзя просветить пролетариат, если его не просветит его собственная борьба против темных сил капитализма. Единство этой действительно революционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о рае на небе.

Но это вовсе не значит, что следует стыдливо прятать свое безбожие, превращая коммунистическую партию в поле религиозной пропаганды:

Вот почему мы не заявляем и не должны заявлять в нашей программе о нашем атеизме; вот почему мы не запрещаем и не должны запрещать пролетариям, сохранившим те или иные остатки старых предрассудков, сближение с нашей партией.

Если программа партии нейтральна по отношению к религии — это прекрасный повод подчинить партию сторонникам скрытой и явной поповщины. Что мы исторически и наблюдали: богостроительство, богдановщина, потом Пролеткульт... Почему в этом случае Ленин считал возможным очень резко выражаться в адрес отщепенцев, давить их партийными резолюциями, — а в отношении религии то же самое запрещено? Даже если по тактическим соображениям нельзя прямо заявить об атеистической направленности большевизма — следовало найти более приемлемую форму выражения той же идеи, но ни в коем случае не отказываться от борьбы с попами. По жизни, пролетарий скорее поймет, если его (за дело!) просто обложить матом — а не разводить интеллигентское сюсюканье.

Коммунисты панически боятся ставить ребром вопрос об изживании религиозности. А классовый враг — не боится [12, 146–147]:

Реакционная буржуазия везде заботилась и у нас начинает теперь заботиться о том, чтобы разжечь религиозную вражду, чтобы отвлечь в эту сторону внимание масс от действительно важных и коренных экономических и политических вопросов, которые решает теперь практически объединяющийся в своей революционной борьбе всероссийский пролетариат.

Однако борьба атеизма с религией — вовсе не то же самое, что религиозная рознь! — таковой она стала бы лишь в одном случае: если атеизм превратить в религию. *Такой* атеизм — нам совершенно ни к чему. Но почему не поискать иные формы атеизма — чтобы реально

освободить дух от поповщины? Нет же! — вульгарный исторический материализм ни во что не ставит духовные искания, — для него они абсолютно вторичны, целиком зависимы от политики [12, 146]:

Проповедовать научное миросозерцание мы всегда будем, [...] но это вовсе не значит, чтобы следовало выдвигать религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не принадлежащее, чтобы следовало допускать раздробление сил действительно революционной, экономической и политической борьбы ради третьестепенных мнений или бредней, быстро теряющих всякое политическое значение, быстро выбрасываемых в кладовую для хлама самым ходом экономического развития.

То есть, экономическая борьба — «действительно революционна», а по поводу духовности — лишь «третьестепенные мнения»! А научное миросозерцание — можно только «проповедовать»! Коммунисты не просто забывают (или не успевают) заняться материалистической философией духа — они с презрением отбрасывают саму мысль о ее необходимости, и тем самым целиком остаются в плену буржуазных воззрений на человека как «экономическое существо» — запрещают ему стать существом разумным [12, 143]:

Современный сознательный рабочий, воспитанный крупной фабричной промышленностью, просвещенный городской жизнью, отбрасывает от себя с презрением религиозные предрассудки, предоставляет небо в распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на земле.

Вот так. Полностью отдать ключевые вопросы образования и воспитания в лапы капитала — призыв ограничиться сиюминутными (животными) надобностями, свести все к пустому существованию. Червоточина в идеологии, отчуждение человеческой духовности от человека, — под прикрытием высокопарных фраз:

Современный пролетариат становится на сторону социализма, который привлекает науку к борьбе с религиозным туманом и освобождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что сплачивает его для настоящей борьбы за лучшую земную жизнь.

В гробу мы видали такую «научность»! Наука верой и правдой служит тем, кто ее оплачивает. Нет такой подлости, которую нельзя было бы «научно» обосновать. И конечно же, попы насилуют науку в свое удовольствие — а та особо и не сопротивляется... В семинариях и духовных академиях — угрожающе длинный список «богословских» наук; сознательная и бессознательная подгонка светской науки под

религиозные догматы — на каждом шагу. Но скажите честно: откуда взялись ваши представления о «лучшей земной жизни»? Ни на каком заводе их не штампуют, на сельских нивах не выращивают. Нет, это продукт духовной деятельности, рефлексии. Если пустить духовное производство на самотек — на выходе примитивная дикость, или (что гораздо вероятнее) навязанные буржуазией стереотипы. Сплачивать пролетариат для борьбы за такой идеал — значит полностью подчинить его воле капиталиста, сделать игрушкой миранствующим и церковным захребетников. Да, внешне марксизм — в самом соку, червячок спрятан за глянцем революционной схоластики. Но, думаете, рабочий не чувствует гнили? Ошибаетесь. У него классовое чутье — и любое буржуинство он распознает надежнее, чем тысяча профессиональных революционеров!

Почему большевики не могут говорить с народом о религии? Да потому что им нечего предложить взамен! Они понятия не имеют, что такое душа, и что у людей на душе, — и не понимают, как организовать духовную жизнь на принципах последовательного материализма. Отмахнуться — не получится. Отказываясь от идеального — мы лишаем себя идеалов, а в итоге скатываемся в полную безыдейность. Чем кое-кто умело пользуется.

Как только люди хотя бы немного выползают из животности, им уже мало просто набить брюхо — им нужно еще и чувствовать себя людьми. Но как? Поскольку коммунисты обсуждать такие вопросы вообще отказываются — обращаются к буржуазным «специалистам», у которых на все есть простое и понятное решение: потребляйте! Чем больше вы сумеете потратить — тем выше ваш общественный статус; если при этом на вас работают те, кто до вашей нормы потребления не дотягивает, — они для вас остаются животными (рабочим скотом), и можно льстить себе, отождествляя классовую исключительность с человечностью как таковой. Цивилизованный человек самоутверждается за счет ближнего.

Но там, где подлинной разумности не хватает, ее зародышевое присутствие пробивается в сознание особой, синкретической формой — индикатором несоответствия, совестью. Нувориш боится потерять едва обретенное — и тут же вспоминает про бога, — а заодно и про его (буржуя и бога) земных служителей! Не хочется ему, чтобы те, кого он обобрал, начали сомневаться в правомерности такого права и от смутных сомнений перешли к несомненной смуте. Буржуй приказывает богу (будто какому-нибудь лакею): сделай так, чтобы они сами хотели

мне служить! И сказал бог: да будет так! — и стало так; и увидел буржуй, что это хорошо...

Вот ленинская «теория страха» наизнанку: религия возникает не там, где угнетенное большинство чего-то боится — ему терять все равно уже нечего! — а там, где господствующий класс не чувствует достаточной твердости под ногами и стремится расколоть и ослабить народное движение, и строит храмы всех конфессий как своего рода волноломы. Отсюда практический вывод, прямо противоположный тактике большевиков: истинное единство в борьбе за новую жизнь возможно лишь на почве объединения одурманенных в борьбе против всякого дурмана! То есть на четкой антирелигиозной платформе. Пока рабочий верит, что буржуй — его брат во христе, «братское чувство» будет всячески противиться классовым разборкам, — и революция закончится тем же, что и всегда: раздачей слонов по сиюминутной справедливости.

Разумеется, мы утрируем картину взаимодействия экономических и духовных влияний в классовом обществе: это лишь иллюстрация, скелет философии. Определяющий момент — разделение труда. Поскольку духовное производство в руках господствующего класса, он диктует формы духовности обществу в целом, — и угнетенные массы вынуждены мыслить *в категориях угнетателя*. Нет другого языка. Пока революция не оборвет эту пуповину, связывающую бесклассовый мир с породившей его цивилизацией, — общество будущего еще не родилось. Продуманное материалистическое отношение к духовности архиважно в условиях переходного периода, когда чаши исторических весов могут качнуться в любую сторону — и даже нематериальный груз способен создать тактический перевес. Но большевики наотрез отказываются от борьбы [36, 536]:

Религия — частное дело. Пусть каждый верует во что хочет или ни во что не верит. Советская республика объединяет трудящихся всех наций и отстаивает интересы трудящихся без различия наций. Советская республика не знает никаких религиозных различий. Она находится вне всякой религии и стремится отделить религию от Советского государства.

Здесь философское убожество коммунистов открытым текстом: свалены в одну кучу совершенно разные явления. Религия и вера — *не одно и то же!* Можно верить во что-то независимо от религии — и можно быть циничным фанатиком, не веря вообще ни во что. Церковное начальство

почти не интересуется вопросами веры — им важно соблюсти чисто экономические интересы, отгородить свои пастбища от чужих угодий; для этого приходится отстаивать каждую букву писания⁶ — при полном безразличии к его духу. Низовые священнослужители (и монахи) часто бывают верующими — но их вера далека от религиозного канона: она столь же синкретична, как верования народных масс, — а предписанная канонам обрядность лишь придает *форму* этой зачаточной духовности, подобно тому как творения великих композиторов, художников или поэтов komponуют фрагменты любых религий, подчиняя их целостности художественного образа. Формальная религиозность — не редкость в классовом обществе. К сожалению, чаще всего — это форма корысти, животного приспособленчества и столь же животного хищничества. Внешне одинаковые действия могут руководствоваться очень разными мотивами. Не умея отличать торгашество от рефлексии — как можно бороться с первым и культивировать второе?

Классики всячески заклинаят: ни в коем случае не оскорблять чувств верующих! Ну, положим, оскорблять кого бы то ни было — занятие заведомо недостойное, и занимаются этим попы, жандармы, да юродствующие интеллигенты. Но чувства чувствам рознь. Если это чувство зверя, хозяйчика, классового врага, — его надо не оскорблять, а подавлять и искоренять. Если это пробуждение самосознания, попытка разобраться в сложности мира, — надо показать человеку, чего именно он добивается, предложить разумные формы для духовных исканий, вместо шаманства и мифологии.

Заметим, что об оскорбленных чувствах кричат именно буржуи! Речь тут о не о вере, а об уверенности в силе капитала, его способности подавить стихийное сопротивление — дезорганизовать низы, разделив их по религиозному признаку, воспитывая в них религиозный фанатизм. Нужны советской власти фанатики? Нет, ей нужнее коммунистические убеждения. А убеждение — противоположно как слепой вере, так и религиозности: это продукт сознательной деятельности, чуждый всяческому догматизму. Ходячий термин «религиозные убеждения» *логически* ошибочен: он содержит противоречие в определении. Воспитывая убежденность — мы тут же приходим в столкновение с религией, отрицаем ее, — но лишь законченный фанатик воспримет это как оскорбление.

⁶ Родство религии и права здесь совершенно очевидно.

Разговоры по делу автоматом отметают поповщину: не надо нам про молитвы да посты! — у нас задача железяки монтировать да кирпичи класть: никакие боги в этом не участвуют. Между делом — можно побазарить и за небеса. Начнет кто агитировать за богов — в лоб спросить: а ты-то откуда все это узнал? — ах, поп рассказал? а почему ты знаешь, что он не врет? — выходит, ты не в бога веришь, а в попа! Остается вспомнить как толстобрюхие обирают бедноту, разжигают войны, растлевают малолетних, — да мало что! примеров вагон. Без оскорблений, тихо-культурно. И человек задумается, и сам решит, с кем ему по пути. Пойдет к врагам — станет врагом. Это лучше, чем скрытая зараза среди своих — коррозия разумности.

Говорить о чувствах можно только при наличии хотя бы общей определенности по вопросам духовного производства — а сама по себе идейная позиция не выстроится, ее надо произвести упорным трудом. Поскольку же марксизм не дает себе труда материалистически разобраться с духом — на практике он имеет дело не с действительным субъектом истории, а лишь с его абстрактной формой, с пустыми телами, у которых нет внутренней жизни — а имеется только внешняя (экономическая и политическая). Это изначально *частичное* существо, не *личность*, а всего лишь *лицо*, категория юриспруденции. Надо ли объяснять, что самое место ему в мире всеобщего отчуждения, а вовсе не в светлом будущем? Буржуазный дух недоработанного марксизма неизбежно навязывает попятное движение экономической работе, отрывает революцию от ее *материальной* опоры. Вот что на деле означают лозунги «отделения» религии от государства.

Ленин пытается блеснуть глубокомыслием, комментируя слова Энгельса о том, что религия, якобы, должна стать частным делом «по отношению к государству»: это, дескать, [33, 76]

удар не в бровь, а в глаз немецкому оппортунизму, объявлявшему религию частным делом *по отношению к партии* и таким образом принижавшему партию революционного пролетариата до уровня пошлейшего «свободомыслящего» мещанства, готового допустить невероисповедное состояние, но отрекавшегося от задачи *партийной* борьбы против религиозного опиума, оглушляющего народ.

Как прикажете это понимать? В чем выражается эта самая «партийная борьба», если большевик не имеет права напрямик сказать рабочему или крестьянину, что с попами нам дорожки врозь? Терпимость прописана в программе партии; про формы борьбы (помимо заведомо не нужных

верующим сладеньких увещеваний) — ни слова. Где программа вытеснения из быта *любых* форм религиозной обрядности и религиозной символики, запрета религиозной пропаганды (особенно среди детей), пресечения экономической и политической деятельности церковью? Нет же, мы как последние недоумки ведемся на буржуйские вопли об «оскорблении» — и позволяем поповским прихвостням взламывать партию изнутри [17, 422]

Мы должны не только допускать, но сугубо привлекать всех рабочих, сохраняющих веру в бога, в с.-д. партию, мы безусловно против малейшего оскорбления их религиозных убеждений, но мы привлекаем их для воспитания в духе нашей программы, а не для активной борьбы с ней. Мы допускаем *внутри* партии свободу мнений, но в известных границах, определяемых свободой группировки: мы не обязаны идти рука об руку с активными проповедниками взглядов, отвергаемых большинством партии.

Идеи не утверждают голосованием. Если на очередном пленуме ЦК большинство проголосует за христианский коммунизм — что, следует Ленина от народа отлучить как проповедника «взглядов, отвергаемых большинством партии»? Снова и снова: «проповедь» — а не серьезная идеологическая работа (то есть, духовное производство очень нужного обществу продукта — разума).

У нашего блистательного диалектика в очередной раз проблемы с элементарной логикой: борьба партий есть плоть от плоти классового общества, партийная система — форма буржуазной государственности, и потому частное по отношению к *государству* будет частным и по отношению к *любой партии* как элементу системы в целом. Но религия не бывает частным делом: это инструмент классового господства, и борьба с религией не имеет никакого отношения к «свободе мнений». Партия, отстаивающая интересы трудящихся, *обязана* формально противопоставить себя любым институтам классового принуждения, включая религию — орган духовного насилия. Член партии может сколько угодно фантазировать насчет иерархии ангельских чинов — но он не имеет права встать на сторону попов ни в экономике, ни в отношении религиозной культуры (которую партии предстоит активно вытеснять из жизни общества). Кто рвется в рабы (в том числе божьи) — тому не надо коммунизма.

Пассивность домарксовской философии — прямо вытекает из ее классово-судит: оправдание и закрепление общественного строя,

основанного на эксплуатации человека человеком. Гениальная догадка Маркса об активности рефлексии, о ее способности (и призвании) менять мир, — так и осталась его завещанием: душеприказчиков не нашлось. На вооружение взяли ранние, предварительные рассуждения, возражения по частным вопросам [1, 414]:

Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.

Звучит красиво — и ленинский журнализм подхватывает [12, 143]:

Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.

Но это все еще старая философия, покорно принимающая засилье религии и массовые суеверия как якобы объективный факт — который можно только принять к сведению. Позже, в *Тезисах о Фейербахе* Маркс указывает на ограниченность такого понимания религии [42, 263]:

Фейербах не видит, что «религиозное чувство» само есть общественный продукт и что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, принадлежит к определенной форме общества.

Религия — не стихийная сила! Это *общественный продукт*. А значит, есть соответствующее производство — и оно в классовом обществе неизбежно оказывается классовым, принимая наличные на данный момент формы экономической организации. Борьба против религии становится поэтому частью единой борьбы за бесклассовое общество, включая как подавление эксплуататорских тенденций, так и выработку принципиально иных форм культуры, в единстве материального и духовного производства. Но в прежнем тексте — после фразы про опиум читаем:

Упразднение религии, как *иллюзорного* счастья народа, есть требование его *действительного* счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть *требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях.*

Это легко понять как продолжение все той же идейной пассивности: достаточно всех накормить досыта — и мечтать о сладкой жизни на небесах, вроде бы, и незачем... Религия как «теория» голодного мира перестает существовать в мире без униженных и оскорбленных.

Марксисты усиленно кивают: тут мы согласны... И забывают о том, что религия — продукт и товар, что ее целенаправленно производят вполне определенные общественные круги — и будут производить, пока средства такого производства остаются в их распоряжении. Энгельс рисует в *Анти-Дюринге* [20, 329] последовательно идеалистическую картину развития религий самих по себе, без малейшей связи с развитием способа производства. Религия для него — всего лишь отражение общественного бытия, и пока существует «фактическая основа религиозного отражения действительности»,

вместе с этой основой продолжает существовать и ее отражение в религии.

Отсюда вывод [20, 330]:

когда общество, взяв во владение всю совокупность средств производства и планомерно управляя ими, освободит этим путем себя и всех своих членов от того рабства, в котором ныне их держат ими же самими произведенные, но противостоящие им, в качестве непреодолимой чуждой силы, средства производства, когда, следовательно, человек будет не только предполагать, но и располагать, — лишь тогда исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих пор еще отражается в религии, а вместе с тем исчезнет и само религиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать.

Исторический материализм говорит о том, что человек не просто зеркало, в котором отражается окружающая действительность, — он сам продукт эпохи, — а в кривом обществе будут кривыми и зеркала! Самый безупречный цветник отразится в таком зеркале поганым болотом. Следовательно, *одновременно* с перестроением вещей надо заниматься и переделкой тех, кому среди них предстоит жить. Одно неразрывно связано с другим. Пустить духовное производство на самотек — значит оставить его в руках буржуазии; вывести религию из-под общественного контроля — значит позволить ей лепить людей по своему образу и подобию, чтобы эти кривые души криво управляли сколь угодно умными руками. Ранний Маркс пишет [1, 414]:

Основа иррелигиозной критики такова: *человек создает религию, религия же не создает человека.*

Это в корне неверно! Религия в классовом обществе как раз и призвана ежечасно воспроизводить классового человека — и не перестанет этим заниматься, как ни «отделяй» ее от (всегда классового) государства.

Создает религию не абстрактный человек вообще, и не абстрактное «государство» или «общество», — религию создает правящий класс в целях духовного порабощения тех, кого он уже успел поработить экономически. Народ не сам себя травит религиозной наркотой — его сажают на иглу беззащитные наркодельцы, и всякий, кто выступит в защиту религии (хотя бы и с сугубо «гуманными», «медицинскими» целями), — лоббирует их интересы. Та же шайка жестко пресекает попытки протеста, духовного освобождения, — вплоть до физической расправы. Светские и «духовные» власти всегда заодно (см. начало главы). А советы — как бы не обидеть кого...

Борьба с попами — другая сторона борьбы с капиталистами. Центральный вопрос — собственность. Экономическое освобождение начинается с признания общественным любого продукта — поскольку ничто не может быть произведено иначе как совместными усилиями всех трудящихся без исключения. Но точно так же, не может быть исключительных прав на духовный продукт: его производит общество в целом для удовлетворения разумных общественных потребностей. Духовное производство в переходный период становится плановым; расходовать пока еще дефицитные производительные силы на что попало (и тем более на антисоветчину) было бы неразумно. Значит ли это, что нельзя печатать Библию и Коран, что надо упрятать в запасники ренессансных мадонн и запретить моцартовский *Реквием*? Ничего подобного! Речь о том, чтобы встроить высшие достижения прошлых веков в здание новой культуры, освободить их от узкой утилитарности, от служения интересам капитала. Это лишь подчеркнет их собственно художественную, *человеческую* ценность — которая уже выделяет их из сугубо рыночного контекста, выводит на первый план их духовную сторону, одинаково доступную всем. В наши дни только очень тупой мещанин считает хоралы Баха церковной музыкой, а Микеланджело — украшателем церквей. Мы умеем вывести мифологические сюжеты на уровень метафоры и аллегории: «божественные» истории всегда говорят о людях. Но религия не сдается — и упорно подсовывает обывателю свои трактовки художественной классики, интерпретирует научные результаты в свете «библейских наук», мистифицирует достижения философии (включая марксизм). Малейшее послабление — чревато усилением экономического гнета, поскольку именно для этого религию распространяют и хорошо оплачивают. Глобализация капитала ведет к той самой идее «отделения» церкви от государства, про которую так

долго твердили большевики. Потому что формально отделенная от правовой системы — религия достигает невиданного могущества: ничто теперь не ограничивает теперь ее сращения с крупным капиталом — источники финансирования становятся практически неограниченными. С другой стороны, транснациональные корпорации могут свободно формировать портфель духовных заказов, произвольно комбинируя вложения в разные религии и при необходимости создавая новые. Поддерживать видимость разнообразия вер (как угодно враждебных друг другу) — очень удобно: разгорающийся классовый протест тут же вписывают в одну из готовых форм — и превращают в покорного слугу.

Сохранение религий в СССР — свидетельство буржуазности его экономической основы, когда рыночное хозяйство лишь по форме приобретает социальную направленность; в этом плане мы ничем не отличаемся от европейских «ревизионистов» — которые не брезговали сколь угодно кровавыми переворотами ради приведения непокорных наций к стандартам «демократии». Разительные контрасты в уровне жизни различных слоев советского народа — того же порядка, что и разрыв богатства и нищеты в зажиточной Европе. Реставрация капитализма отбросила Россию на уровень третьестепенных стран, где социальные контрасты грубее, заметнее; разумеется, попы активно участвуют в дележке доставшегося от советов имущества — и восстанавливают политическое влияние.

И все же кое-что изменилось. Проклюнулись ростки нового способа производства, когда решает уже не массовость, а гибкость, — не размах, а разнообразие. Производство становится все более распределенным, как в пространстве, так и во времени. В результате и человеческая личность уже не сводится к единичной вещи, к органическому телу. Традиционные религии изживают себя. Это приводит к появлению других рычагов духовного контроля, внешне далеких от классических культов. Необходимость развития материалистического подхода к человеческой духовности приобретает в современных условиях особое значение: уход от экономической необходимости больших трудовых коллективов делает куда более широкую и подвижную «виртуальную» связь решающим фактором консолидации общественных сил в борьбе против капитализма. Пока мы не видим разумной цели — попытки прорваться к свободе обречены на провал. Вместо навязанной извне буржуазной «духовности» — нужна внутренняя убежденность, умение помнить о своем человеческом достоинстве несмотря ни на что.

Труд и школа

Пока во главе угла стоял вопрос об уничтожении политического господства буржуазии, европейские социал-демократы, а за ними и российские большевики говорили, конечно же, главным образом о политике. Программа-минимум — добиться экономических уступок, по возможности ослабить капиталистическую эксплуатацию и смягчить ее последствия. По максимуму — государственный переворот, переход власти в руки партии, представляющей интересы пролетариата. Что потом — виделось как в тумане; но это и не имело большого значения, поскольку разрушительные лозунги в плане революционной агитации полезнее: говорить же о том, что делать после, — делить шкуру неубитого медведя.

Но вот, свершилось. В одной отдельно взятой стране — буржуев и помещиков скинули, вооруженное сопротивление удалось сломить, и значительную часть территории взять под революционный контроль. Экономика, правда, в руинах, и все висит на волоске. Рискованная затея с либерализацией рынка вполне могла бы выйти боком — если бы из-за бугра продолжались существенные вливания в частный сектор. По счастью, прокатившаяся по Европе и прочему миру революционная волна отвлекла тамошнюю буржуазию от российских дел и дала небольшую передышку — удалось восстать из пепла.

Именно тогда вопрос о воспитании нового человека (то есть, по сути, о всеобщем самовоспитании) встал с особой остротой. Как сделать так, чтобы не подмяла едва пробудившийся разум лавина торгашества? Раньше делали ставку на пролетариат — которому торговать было нечем, кроме рабочей силы (и то лишь отчасти своей). А война все изменила [44, 161]:

Поскольку разрушена крупная капиталистическая промышленность, поскольку фабрики и заводы стали, пролетариат исчез.

Тут наш вождь, в попытке убедить коллег (или, скорее, самого себя) в правильности нездоровой экономической политики делает невероятный (идео)логический ляп:

Если капитализм восстановится, значит восстановится и класс пролетариата, занятого производством материальных ценностей, полезных для общества, занятого в крупных машинных фабриках, а не спекуляцией, не выделыванием зажигалок на продажу и прочей

«работой», не очень-то полезной, но весьма неизбежной в обстановке разрухи нашей промышленности.

Свергали-то мы буржуев для чего? Как раз для того, чтобы не было больше такого понятия: пролетариат. Чтобы превратился он поначалу в рабочий класс (уже не поработенный капиталистами, и даже в каком-то смысле правящий), а потом растворился в общности нового типа: советский народ, где гегемоны проектом не предусмотрены. Конечно, если восстановить капитализм (сколь угодно ограниченный) — будет и эксплуатация человека человеком: рабочий опять станет пролетарием. То есть, человеком прошлого, а вовсе не строителем будущего.

Но объясните нам: почему нормальную промышленность не может восстанавливать коммунист? Им что, запаadlo? Они умеют только циркуляры писать да с наганом скакать? Энгельс, вот, тоже был фабрикантом — и ничего, справлялся. Не без пользы для экономической теории. Ну ладно, образованием не вытянули. Наймите буржуазного спеца, и пусть он работает на свой карман — а на его примере советы поучатся. Потом лавочку можно безболезненно прикрывать.

Важно чтобы производство по любому оставалось *общественным*, чтобы продукт принадлежал *не* капиталисту (состоящему *на службе* у рабочей власти), а *обществу в целом*; пусть пока коммерсант решает, где и на что этот продукт обменивать, — но партия будет упорно разьяснять, что это лишь с общего позволения и в общих интересах, и под строгим контролем: пойдет дело не ту сторону — народ вправе наемный кадр от должности освободить (с соответствующими оргвыводами).

Потому и выстояли в гражданскую, что за общее дело дрались. Кабы впереди светила перспектива опять под ярмо — кому оно надо?

Мы снова пришли к вопросу о духовности. О том, что человек должен чувствовать себя человеком, а не игрушкой неразумных стихий. Чтобы хотя бы в принципе оставалась возможность (а также право и первая обязанность!) сознательно направлять развитие природы и общества — и по ходу дела развиваться самому. Гордиться успехами экономического и культурного строительства, а не нажитым бараклом. Буржуазный интеллигент Визбор воображал верхом сарказма стишата:

Зато мы делаем ракеты,
и перекрыли Енисей...

Ему бы только ездить на чужом горбу, грести все под себя. Насчет бескорыстного труда — с этим у диссидентов туго; но подчиняя все

собственному интересу, они уничтожают разумное в себе: их искусство остается на уровне посредственности — загнивает без настоящего дела, важного для всех — а не только для горстки буржуев.

Если капитализм восстановится, значит восстановится и буржуазная культура — и буржуазное сознание. Из мелкой промышленности и от села — оно поползет в индустриальное производство, и в ряды высшего руководства. Чтобы этого не произошло, соединение частных в общественное целое ни в коем случае не должно быть рыночным. Нечто, *по форме* напоминающее рынок, можно на какое-то время допустить — но лишь как временное явление, на основе *общественной* собственности на *любые* средства производства и общественный продукт в целом. Большевики сохранили государственную собственность на землю — и кулаки оставались только арендаторами; почему нельзя точно так же считать вообще *все* народным достоянием — и регулировать участие населения в распоряжении имеющимся? Тогда совбур уже не сможет чувствовать себя хозяином — и диктовать свою волю: над ним всегда есть авторитет покруче!

Но даже частичное и формальное восстановление противостояния буржуазного руководителя и рядового работника — возвращает нас к классовой системе разделения труда, что подразумевает и различие в характере социализации представителей разных классов. Нэпман и примазавшийся к нему нетрудовой интеллигент постараются всеми силами избавиться своих отпрысков от воздействия «низкого» общества, ограничить круг их деятельности и воспитать презрение к общественной необходимости. Тем самым утверждается и распространяется классовая идеология; образовательное неравенство закрепляет классовое деление и разъедает души изнутри.

Идея соединения образования и воспитания с производительным трудом возникла давно (сказки Руссо, утопии Кабе, эксперименты Оуэна). Маркс и Ленин, вроде бы, декларируют этот принцип в партийных программах — но дальше деклараций не идет: основной фронт работ — экономика и политика. После российской революции некоторое время все катится по инерции; потом самых откровенных саботажников и попов выдавливают из школ — но разрозненность производств, стихия (недо)рыночного обмена, неразбериха в целях и ориентирах, делает образование столь же стихийным, лишает ясной цели, уводят от коммунистических идей. Надо бы понемногу сводить все воедино, дополнить теорию практикой, соединить образование и

воспитание, школу и труд. В ранге системообразующего принципа — универсальность и всесторонность индивидуального развития. Тут на подмогу В. И. спешит его верная соратница Н. К. — с ее идеалами всеобщего политехнического образования.⁷

Заметим, что обращение к работам Н. К. во многом равнозначно обсуждению ленинской позиции: ее тексты В. И. регулярно вычитывает, делает поправки, — и рассылает влиятельным знакомым и литераторам (вроде М. Горького) для проталкивания в печать [49, 182]. С весьма положительными рекомендациями. По сути, педагогический фронт намеренно отдан под командование надежному человеку — чтобы высвободить руки для всего прочего (чего неизмеримо больше). Конечно, расхождения есть: это вполне подобно тому, как Энгельс вульгаризировал Маркса. Но опереться таки есть на что.

В качестве лирического отступления — маленькое замечание не по существу. После знакомства с высокой классикой (Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин) — читать Крупскую очень тяжело (но можно и нужно). С русским языком у нее не сложилось — и стиль ее речей и опусов, мягко выражаясь, оставляет желать. Женская логика, безусловно, имеет свои права. Но не до такой же степени! Разумеется, не будем обольщаться насчет наших литературных совершенств — но нас кто-нибудь другой покритикует. А тут... Где-то глубоко чувствуется, что стоит за всем этим вполне здравая идея: по большому счету, товарищ прав. Но когда (как сейчас) требуется обратить внимание на идеологические тонкости и подводные камни, точность формулировок — хорошее подспорье; если приходится каждый раз догадываться, то ли это корявость языка, то ли политический прокол, — есть риск пережать с оценками и переть с копьём против мельниц. Теоретически, наши теперешние трудности, вроде бы, никого не волнуют. Но представьте себе тогдашние педкадры, у которых нет за плечами нынешнего опыта, и которым приходится выстраивать деятельность на ходу! Каково им было такое понимать? Кривые речи легко переводятся в кривые дела, особенно в условиях мощного идеологического давления со стороны мировой буржуазии и происков внутреннего врага.

С другой стороны, ответственный товарищ, претендующий на политическое руководство системой образования в масштабах страны,

⁷ Ее мы цитируем по сборнику Н. К. Крупская, *О политехническом образовании, трудовом воспитании и обучении*. — М.: Просвещение, 1982.

должен, по логике, сам служить примером хотя бы минимальной грамотности! Иначе призывы брать пример с американцев, которые

считают, что они должны дать возможность учащимся по-настоящему овладеть языком,

звучат как-то неубедительно. Н. К. (совершенно справедливо) замечает:

Искусство и язык являются могучим орудием сближения между людьми, средствами понять и самого себя и других.

Бог с ним, с искусством, — но язык-то надо задействовать по полной! Страшно далеки от народа политические работники, изыскующиеся на чудовищных диалектах русского бюрократического; если же поверх этого еще и уродства стиля — какое уж там «сближение»... Кто-то, быть может, и хотел бы обратить внимание на проблему и поставить ребром вопрос о развитии речевой культуры; однако в условиях советской действительности учить подрастающее поколение тому, чему не научились вожди, есть прямое посягательство на авторитет и руководящую роль партии. Кому радость — добровольно под пресс? Позже, на излете, официальные тексты составляли профессионалы, и приводили в соответствие с текущим розенталем. Оставалось только подпись поставить — или озвучить с трибуны (и не очень перевернуть). Но старые кадры еще пытались мыслить самостоятельно — и общаться с ними стоит, несмотря ни на что.

Труды Н. К. полезны как неисчерпаемый кладезь отрицательных примеров. Полный свод стилистических ошибок. Ее коронный номер — плеоназм. Пожалуй, никто не может сравниться с Н. К. в виртуозности использования этого приема! В каждом тексте на каждом шагу. Можно было бы воспринимать это как риторический оборот, или фольклорный мотив... Но такие украшения в политике хороши лишь на фоне чего-то относительно строгого — а не в качестве собственно фона, на котором теряются любые фигуры.

В наши дни, в эпоху бескультурной революции, лингвистическую щепетильность следовало бы придушить. Товарищей выгнали новые русские, и говорят сегодня кто во что горазд: любые нормы объявлены опциональными, употребительными лишь в узком кругу тусующихся. Правила нужны только для компьютеров! — а мы люди свободные... Воспитывать себя не позволим: учатся только дураки, у кого денег нет. Однако здесь — никто не ожидает появления столь эмансипированных читателей, и будем пока трактовать ясную речь как элемент разумности.

Теперь к делу.

Идеальных людей не бывает. В каждом намешано от всех животных, и от неодушевленных стихий, — под корочкой внешней культурности. И все же, несмотря на ограниченность этого природного материала, какие-то конструкции из органических и неорганических тел отчасти способны играть роль субъекта в процессе преобразования природы в культуру. Вот это и есть самое интересное: найти такие возможности в наличном материале и устроить общество так, чтобы эта сторона могла выдвинуться на первый план в процессе образования и воспитания.

Капитализм — общество заведомо неразумное. С этим большевики (в отличие от некоторых других «марксистов») согласны, и открыто ставят задачу построения чего-то более светлого. Опять же, понятно, что никакой государственный переворот не меняет характера экономики — он лишь создает предпосылки для его изменения (и об этом у Ленина вполне определено). Следовательно, придется использовать старые формы — но наполнять их новым содержанием. Как? Пока не удастся существенно изменить быт — методом переосмысления. Одно и то же в разных контекстах — уже не то же самое! Если я иду на завод (в поле, в казарму, в лабораторию) чтобы получить энное количество средств к существованию (и по возможности что-то из излишеств) — это одно; если же я прикидываю, что мне надо сделать для упрочения такого общественного порядка, при котором людям не придется заботиться о хлебе насущном и можно будет заниматься чем-то для души, — дело совершенно иное, даже если по видимости не отличить. Разные мотивы. В силу принципиальной неидеальности (см. выше), корыстный мотив никуда из меня не выпрыгнет; но его вполне возможно задвинуть на нижний уровень иерархии — сделать *условием* чего-то разумного. Однако для этого таки надо разумное перед собой иметь, хотя бы в самых предварительных чертах. А тов. Ленин цитирует Наполеона (*on s'engage, et puis... on voit*) — и оправдывается [41, 33]:

Пытаться сегодня практически предвосхитить этот грядущий результат вполне развитого, вполне упрочившегося и сложившегося, вполне развернутого и созревшего коммунизма, это все равно, что четырехлетнего ребенка учить высшей математике.

А вот это, пардон, проблемы высшей математики! Достаточно развитая наука доступна всем без ограничений (хотя каждому по-своему); на то вы и ученые (партработники), чтобы заняться поиском доступных форм, а не отказываться от работы под предлогом якобы сложности самого

предмета. Если же общепонятно сказать не получается, значит, не доросла еще ваша наука до научности как таковой, и не умеете вы усмотреть в ней внутреннюю иерархичность. То есть, отделить главное от второстепенного — а главным для разных задач будет разное.

Когда нам по жизни что-то нужно от математики — а она упорно уходит от ответа, — складывается впечатление, что с математикой не все ладно, и пора бы заменить эту науку на что-нибудь более рациональное. То же самое в политике. Спихнуть на то, что обратились не по инстанции, здесь не получится. Даже если вопрос действительно про другое — найдите тех, кому оно по зубам. Не знаете никого? Найдите тех, кто должен знать. Нет ответа — предложите человеку поискать решение самостоятельно (и потом обязательно поделиться находками).

Что мешает? Капиталистическое разделение труда! Одним одно, другим другое; все против всех. Когда любой продукт превращен в товар, когда оценивают его в первую голову с точки зрения обмена на что-нибудь столь же рыночное, о доброжелательности и взаимопомощи говорить не приходится (если они не обещают никакой выгоды). Восторги Н. К. по поводу Швейцарии понять можно: место недурное! Однако сказки о том, как мудрый Песталоцци

советует ребятам ходить учиться к крестьянке, [...] к часовщику, расспрашивать заезжего купца. Использовать каждого для приобретения умений.

это чистейшей воды утопия! Никто не будет делиться *know-how* просто так. Обучение — особый бизнес; за него платить надо (у кого есть чем)! В наши дни ожесточенная борьба за «авторское право» (*proprietary technologies*) всячески ограничивает распространение сколько-нибудь злободневной информации; беззубые публичные курсы преподносят лишь общие места — это рынок сертификатов, торговля доступом к средствам производства, правом на труд.

Вот мы и перетекли плавно к теме обучения и воспитания. Их Н. К. то отождествляет (свободно подменяя одно словечко другим) — то разводит по разным инстанциям (школа и труд), которые приходится потом как-то увязывать друг с другом...

В принципе, мысль здравая: только участие в совместном труде делает человека полноценным членом общества. Никакие увещевания и наставления тут не помогут. У Крупской читаем:

Мы знаем, как организация труда воспитывает взрослых.

Почему рабочий класс является ведущим классом? Потому что самые

условия крупного производства, работы на заводе воспитывают из него коллективиста.

Первое — правда. Второе — нелогично. Рабочий класс остается таковым и в условиях высокотехнологичного мелкого производства, и его место в истории от этого никак не зависит. Однако образование крупных предприятий действительно способствует консолидации пролетариата в класс, будит классовое самосознание (что в дальнейшем может стать тормозом прогресса — именно в силу классовой ограниченности).

Хромая логика получает развитие в примере с неким крестьянином, который попадает на завод и

видит большое механизированное производство, организацию труда, разделение труда, видит, как все это идет по определенному плану, четко, организованно

Можно подумать, что сельский труд не требует никакой организации! Там тоже — только успевай: заботы круглый год. Да, планы часто навязывает природа — но это, по логике, делает производство более гибким, требует совмещения многих умений, — к чему нас призывали классики [4, 336]:

Воспитание даст молодым людям возможность быстро осваивать на практике всю систему производства, оно позволит им поочередно переходить от одной отрасли производства к другой, в зависимости от потребностей общества или от их собственных склонностей. Воспитание освободит их, следовательно, от той односторонности, которую современное разделение труда навязывает каждому отдельному человеку.

Контраст очевиден: у Энгельса разделение труда — зло, с которым надо всячески бороться; у Н. К. — это благо, важный фактор воспитания, о чем она и говорит с трогательной наивностью:

Каждый начинает сознавать себя каким-то винтиком, колесиком общего механизма.

Будь у того крестьянина выбор, он бы послал подальше этот кошмар — и бегом назад, туда, где человек еще не совсем винтик. И уж вовсе против здравого смысла:

Когда на глазах человека из куска железа вырабатывается тончайший инструмент, тончайшая машина, человек понимает силу техники, силу организации, силу коллектива.

Как раз этого и нет на крупных заводах! — целое раздроблено на мелкие операции; ни один цех, ни одна технологическая линия не дает общего

представления о происходящем. Крутится «колесико» на конвейере — и ничего другого в жизни не знает.⁸ Относительно целостное видение доступно лишь инженерному и административному персоналу — а они из другого класса...

Терминологическая путаница, подмена свободного распределения труда (как основы разумно устроенной экономики) капиталистическим принципом всеобщего разделения труда, — характерна не только для Н. К., но и для всей советской литературы — как в экономике, так и в делах воспитания и образования. Откуда что пошло — требуется особое разбирательство. Нам сейчас важно подчеркнуть, что именно здесь источник большинства *практических* ошибок. Вместо сложения — начинают делить, и вся арифметика наперекосяк.

Исходно, теоретическое понимание было. Вслед за утопистами начала XIX века, Маркс требует [23, 199]:

частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции суть сменяющие друг друга способы жизнедеятельности.

Тут все точно: никаких профессий — только временные общественные функции, участие в самых разных деятельности (производствах). Аналогично, Энгельс [4, 336]:

всестороннее развитие способностей всех членов общества путем устранения прежнего разделения труда, путем производственного воспитания, смены родов деятельности, участия всех в пользовании благами, которые производятся всеми же, и, наконец, путем слияния города с деревней — вот главнейшие результаты ликвидации частной собственности.

Портит картину призыв ограничиться ликвидацией только «частной» собственности — а не собственности вообще, в любых формах, как принципиально классового общественного отношения; по марксовской науке, *всякая* собственность в итоге неизбежно оказывается частной — и возрождает борьбу классов.

Ленин со старшими вполне согласен и ставит задачу [41, 33]

переходить к уничтожению разделения труда между людьми, к воспитанию, обучению и подготовке *всесторонне развитых и всесторонне* подготовленных людей, людей, которые *умеют все делать*.

⁸ Гораздо ближе к идеалу — искусство музыки: каждый оркестрант знает свою партию — но может непосредственно воспринимать результат общих усилий.

Как к этому подступиться когда все по разным клетушкам? Ну, для начала, изобрести абстрактные «производственные союзы», расширение профсоюзов на предприятия целиком и отрасли в целом... Проект заведомо утопический. Методом распахивания по формальным группам никакими ухищрениями единства не создать — требуется то, что *вне* любых союзов и представляет общество в целом (хотя бы, на первых порах, и в старой форме — через государство).

Но идея как на ладони: с дележкой кончать! Не урыться каждый в свое, отбрыкиваясь от чужаков, — а трудиться вместе, всем миром, чтобы каждый мог при надобности приобщиться ко всему. Тогда нет ни малейшего смысла сравнивать себя с другими («у них» и «у нас») — и люди вправе делать так, как считают нужным и своевременным, бескорыстно помогая друг другу по возможности (но никоим образом не по обязанности!).

Увы, как только доходит до практики — от благородных идеалов не остается и следа. Н. К. смело цитирует Энгельса [20, 206]:

настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии и когда человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора.

Казалось бы — вот это правильно! Но тут ж следует «разъяснение»:

Это смена профессий, которая связана с новым распределением времени, с новыми потребностями производства.

Сказано же чистейшим русским (или немецким) языком: не будет ни тачечников, ни архитекторов *по профессии!* — а она опять за свое: смена профессий... Как так можно? Допустим, это всего лишь слабое знание русского языка: вместо «профессий» следовало бы говорить о разных занятиях (*occupation*), об участии в различных деятельности; тем более, что всплыло-таки великое слово: *распределение* (правда, пока только времени; но время, по сути, и есть труд) — вместо разделения труда... Но дальше мысль получает плеонастическое завершение:

Необходимость постоянно приспосабливаться требует того, чтобы из молодого поколения воспитывалось такое поколение, которое получило бы всестороннее развитие.

Приспособление — это из биологии. Разуму тут делать нечего. Это полная противоположность всестороннему развитию. Марксизм побоку, да здравствует эмпирионатурализм... Молодое поколение, оказывается,

надо учить приспособливаться! — вполне рыночная идея, за которую Н. К. заслуживает памятника где-нибудь в парке *La Grange*.

Годом позже, в другом месте, после той же цитаты из Энгельса следует яркая иллюстрация (чего?):

В жизни мы видим уже сочетание профессий: сегодня — рабочий-металлист, завтра — председатель колхоза, послезавтра — шеф над комиссариатом... Сегодня — ткачиха, завтра — член горсовета, послезавтра — студентка втуза, потом — инженер...

Как в блатной песенке: менял работу как перчатки... Здесь уже на языковые проблемы на свалить! С языком по-прежнему туго (называть смену профессий «сочетанием» — это кощунство). Но политика видна однозначно: вместо *совмещения* производств, свободного перехода от одной деятельности к другой, — разрешается лишь переход из камеры в камеру в той же тюрьме. Принцип перехода — карьерный рост, вкуче с улучшением бытовых условий (иногда ценой относительно временных жертв). Так, чтобы «поле попашем — попишем стихи» (в традициях графа Толстого), — при советах не положено. Н. К. принципиально ставит вопрос лишь «о смене специальностей» (да еще выделяет курсивом, чтобы не проскочили!). Тогда как марксизм решительно требует ухода от *всякой* специализации, всестороннего развития каждого члена общества.

Справедливости ради, отметим, что и солнце местами пятнистое. Вот, например, перл марксиста «номер ноль» (считая Энгельса первым, и далее по инстанции) [16, 197]:

При разумном общественном строе *каждый ребенок* с 9-летнего возраста должен стать производительным работником так же, как и каждый трудоспособный взрослый человек, должен подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и руками.

И это нам подают под видом разума??? Гнусная ложь! С каких это пор человеческим обществом устраивают по законам природы? Оно потому и человеческое, что ни в какую природу не вписывается. Законы устанавливают люди — и только *способом производства* определяется, кто кому и сколько должен. Судьбу раба решает рабовладелец; при капитализме — всему голова капиталист. Кого они поставят на какую работу — то и правильно (с позиций господствующего класса). Они же решают, что такое «производительный работник» (применительно к их классовым интересам), — и вознаграждают соответственно. Кого-то

вполне могут освободить от работы руками — а кому-то голову отрезать, чтобы меньше о себе воображал.

При разумном общественном строе человек вообще ничего не «должен»! Он ценен для общества самим фактом своего существования, способностью самостоятельно выбрать род занятий — в частности, не заниматься (по видимости) ничем. Дело общества — предоставить каждому все возможности для свободного действия, доступ к средствам производства и орудиям труда. А не заставлять отрабатывать по часам. Всякая принудилровка — как минимум, снижает производительность труда, — и можно забыть о творческом отношении к нему. Далее Маркс абстрактно делит детишек на три возрастные группы с отработкой 2, 4 и 6 часов; да и призывной возраст (9 лет) взят с потолка... Куда делся исторический материализм? Всякая цифирь имеет смысл лишь в определенных общественных условиях — и без указания этих условий никаких границ устанавливать нельзя. Биология тут вообще ни при чем.

Отработка = эксплуатация. Неважно, кто или что выступает в роли эксплуататора. Это рабство. А если речь о «несовершеннолетнем» — то даже не наемное. Разумно устроенное общество не эксплуатирует труд, а прививает вкус к труду, чтобы человеку просто не интересно было тупо плыть по течению — и хотелось в чем-то поучаствовать.

Можно такое поднять сразу после революции? Конечно же, нет! Однако поставить цель — могли бы, даже на имеющейся философской базе. Чтобы выверять практические шаги по этим (пока еще далеким) ориентирам. Чтобы изыскивать любые возможности — а не покорно тащиться в хвосте у буржуазной педагогики.

Тут еще одна слабость Н. К. — не только личная, но и политическая. Идеализация «налаженной» европейской жизни (по опыту десяти лет проживания в относительно благополучной Швейцарии) незаметно подтягивает столь же восторженное отношение к тамошней «передовой» науке; точно так же, массированная пропаганда американского образа жизни в буржуазной прессе оседает в голове преклонением перед великой нацией, где «народное правительство»

демократизирует знание и мешает ему сделаться исключительным достоянием господствующего класса.

Где-то в глубине — бродят смутные подозрения; но есть-таки принципиальная готовность допустить, что газетные утки могут оказаться правдой:

Если это так, то это пример для подражания, которому мы всячески должны подражать.

Что разумный человек никому не подражает, а самостоятельно ищет свой путь (с учетом любого опыта) — до этого советским далеко. Они выдвигают лозунг «догнать и перегнать» — и обрекают себя на роль вечно плетущихся в хвосте, неспособных отказаться от дурацких гонок и заняться действительно насущными проблемами. В 1917-м Ленин обнародовал знаменитую директиву о соревновании; прошло всего десять лет — и эта типично буржуазная идея намертво встроена в систему, гарантируя прогрессирующее отставание от тех, кто своей буржуазности не скрывает и делает ставку именно на нее.

При наличии разумных ориентиров, никакая ученость с толку не собьет. И можно свободно заимствовать чьи-то приемчики — или не заимствовать. Но когда некто Песталоцци стал блатным авторитетом — рядовым образователям предписано лишь копировать. Вместе с прочими западными псевдоученостями:

Есть такая наука — психотехника, которая показывает, что не каждый может быть летчиком, трактористом или даже организатором и т. д.

Это не наша наука! Если кто-то чего-то не может — надо перестроить производство так, чтобы возможность появилась. Не получается при существующих технологиях — изобретайте новые! Буржуи за вас их не изобретут — им-то как раз и надо, чтобы не все могли все. Робкая попытка отместить настойчивые подозрения:

Буржуазная психотехника носит архиклассовый характер и всецело подчинена задачам капиталистического потребления рабочей силы. Советская психотехника должна [...] быть тесно увязана с педологией и исходить из задачи воспитания «абсолютной пригодности человека к различным требованиям труда».

Круто! Одну буржуазную теорию подкрепляем другой, еще буржуазнее. Не надо «воспитывать» абстрактную (то есть, классово ограниченную) «пригодность» человека к труду — а надо дать людям реальную возможность трудиться, чувствовать свою полноценность при любых обстоятельствах. Устранять различия — а не закреплять их. Развивать «пригодность» *общества* к бесконечной индивидуальности развития, обеспечить всех условиями для творческого труда.

Но как же! — у Н. К. есть (заимствованное у буржуев) возражение:

Труд только тогда может быть производительным, когда на каждой должности будут стоять соответствующие люди.

Капитализм без намордника! Предполагается, как минимум, абсолютная необходимость существования «должностей» — так, чтобы можно было

пристраивать на них «соответствующих» людей. «Производительность» означает максимум выгоды для тех, кто по должности уполномочен эту производительность определять. В разумном мире — никто не думает о производительности: труд должен приносить удовлетворение, быть радостью, творчеством, — а все остальное ради этого, и больше ни для чего. На что нам тут же замечают:

Правильный выбор профессии будет давать максимум удовлетворения работой и повышать ее эффективность.

Полный комплект классовых установок! Думать надо о людях, а не об «эффективности»; если что-то их устраивает — это (по определению) достаточно эффективно. Если же людям приходится выбирать — они уже не свободны, поскольку *поставлены в условия* необходимости выбора. Когда же выбор еще и вешают на шею профессиональным ярмом — это чистой воды капитализм! Не может быть удовлетворения от *работы*; удовлетворять может только свободный, творческий труд.

Видимость широты призваны восстановить высказывания типа:

Но было бы смешно все сводить к психотехнике. Это подсобная наука.

Всякая наука вообще — лишь подспорье в чем-то практическом! Одна в этом плане не фундаментальнее другой. Учиться полезно — но и своя голова без дел оставаться не должна. Согласно Н. К.:

Основное, что определяет выбор профессии, — это общественный уклад.

Исторический материализм давно предложил подходящий термин: способ производства. Возможные в данном обществе на данном этапе деятельности — и сложившийся исторически порядок участия в них. Недостаточно развитая (классовая) экономика не отличается особой гибкостью: возможные производственные роли культурно закреплены, навязаны людям способом производства — совершенно в духе тезиса Н. К. Бесклассовое общество призвано вырвать с корнями такую однобокость и вместо того, чтобы предлагать выбор (сколь угодно широкий), обеспечивает условия для любых занятий, независимо от их соответствия обычной практике; другими словами, общество предлагает не подстраиваться под готовое, а творить свое. И не надо нам, что

Правильный выбор профессии обеспечивает возможность наиболее целесообразного использования сил каждого.

Моя целесообразность — это соответствие *моей* цели. Правильный выбор направления общественного развития — сделать так, чтобы цели

общества совпадали с целями каждого из его членов, и наоборот, чтобы каждый член общества не разменивался на мелочи, а ставил себе задачи в масштабах всего человечества (или еще шире). Такая всеобщность делает человека по-настоящему универсальным — и можно, наконец, забыть (как страшный сон) само слово: *профессия*.

Первое следствие принципа универсальности труда — устранение формального противопоставления труда образованию, и наоборот. Образование — одно из направлений деятельности, которое в классовом обществе превращается в особую отрасль: производство рабочей силы. Кто контролирует средства производства и нанимает профессорские кадры — тот и снимает весь навар. Он же определяет (руководствуясь классовым чутьем), что следует преподавать, а от чего рекомендуется воздержаться. Рынок рабочей силы (общеупотребителен буржуазный термин: рынок труда) полностью определяет характер образования: капиталистическое производство и школа — две стороны одного и того же. Вопрос о связи одного с другим вообще не стоит.

Казалось бы, переход к новому принципу организации экономики, ориентация на полное устранение капиталистического разделения труда, должен, как минимум, сохранить единство образования и производства, так что изменение одного предполагает соответствующее изменение другого. Отличие от капитализма в том, что взаимное соответствие устанавливается не стихийно (через вымирание неконкурентоспособных форм), а сознательно, путем поощрения изменений, лучше отвечающих задаче строительства разумного общества. То есть, если мы считаем полезным некое изменение в способе производства — мы обязаны позаботиться о подготовке кадров; обратно, если удалось чему-то полезному научиться — надо немедленно подыскать для этого местечко в системе общественного производства: для начала, хотя бы в качестве эксперимента; если пойдет хорошо — широкое внедрение. Опять же, в отличие от капитализма, нам нет нужды придавать новому товарный вид, тратиться на раскрутку и рекламу: мы не создаем *профессии*, а лишь добавляем в общую копилку новые *компетенции* — и предоставляем в массовое пользования средства практического овладения ими: общую информацию, детальные спецификации, учебные пособия, тестовую среду, опыт внедрения, консультации практиков. Чтобы перевести экономику на бесклассовые рельсы, требуется создать в ней заведомо нерыночный сектор, и понемногу расширять его, постепенно подключая новые отрасли производства — пока старые формы хозяйствования

(экономические уклады) не сойдут на нет. По всей видимости, начинать удобнее с духовного производства, с образования и воспитания. Идеи носят изначально всеобщий характер, они допускают сколь угодно широкое распространение — и только выигрывают от продвижения в массы, через это становятся элементами культуры. Обобществление знаний и умений, свобода приобщения к духовному богатству, — первый шаг на пути к разумной экономике. Разумеется, одного лишь декретирования недостаточно: потребуется развить материальную базу образования и воспитания, заменить устаревшие технологии новыми — а оставшиеся в наследство от классового общества переориентировать, подчинить духу свободы.

И вот здесь советские власти выглядят совершенно никак — если не сказать хуже. Ни малейшего понимания очевидности: формы и методы социализации историчны, они меняются от одной формации к другой, каждая культура преобразует их в русле своих традиций и исторических перспектив. А что мы видим? Полное раболепие перед буржуазной педагогикой, которая, якобы, исследует естественные и всеобщие пути, и только наполняет чистые сосуды грязной идеологией. Некритически перенимая саму идею (рыночного) противостояния сферы образования сфере производства, Крупская копирует формальную схему буржуазной образовательной системы:

детский сад, начальная школа и средняя школа — все это тесно связанные между собой звенья общего развития.

Высшая школа преследует уже специализацию, поэтому по сути дела она не может быть всеобщей

Здорово живешь! Оказывается, есть знания, которые «по сути дела» не предназначены для всякого быдла — и причаститься к ним можно лишь с высочайшей санкции (и только богом отмеченным, кого выберет мудреная «психотехника»!)⁹ Но и разрезание общего развития на сугубо формальные «звенья» — не выдерживает никакой критики. Может показаться, что еще Маркс задал тон [16, 197]:

Мы считаем необходимым, основываясь на физиологии, разбить детей и подростков обоего пола на три группы, требующие различного отношения к себе

⁹ Исторический опыт показывает, что даже в буржуазных рамках такое отделение «высшей» школы от «общего развития» слишком ограничительно: после реставрации капитализма в России отраслевые институты массово преобразуют в «университеты», значительно расширяя круг межотраслевых связей, и для пушей фундаментальности.

Помилуйте, при чем здесь физиология? Способность к труду может определяться телесными данными лишь там, где способ производства не дорос до гибкого учета индивидуальных особенностей, чтобы на всякую немощь найти технологическое расширение (неорганическое тело), позволяющее в разумных пределах ее компенсировать. Все встает на свои места, если заметить, что Маркс и не выдвигает здесь глобальных идей — а речь идет лишь о задачах текущего момента, о едином требовании партий I Интернационала к *буржуазным* государствам: ограничить эксплуатацию детского труда [16, 198]:

надо оградить работающих детей и подростков от разрушительного действия современной системы. Это может быть достигнуто лишь путем превращения *общественного сознания* в *общественную силу*, а при данных условиях этого можно добиться только посредством *общих законов*, проводимых в жизнь государственной властью. Проведением в жизнь таких законов рабочий класс отнюдь не укрепляет власти правительства. Наоборот, он превращает в свое орудие ту власть, которая теперь используется против него

Понятно, что разговаривать с дурными властями можно лишь на их же дурном языке — ничего другого они не поймут. Однако не в меру ретивые ревнители буквы принимают частное за всеобщее — и задача организации образования и воспитания сводится к абстрактной цифири: указать границы возрастных периодов — и ввести единую для всех программу, с разбивкой по годам. Но если при капитализме вовлечение малолетних в производство диктуется нуждами рынка — и надо лишь всячески базар ограничивать, — после переворота эта рыночная связь разрушена до основания, и теперь проблема наоборот: вовлечь молодежь в производственные дела — без чего ни о каком трудовом воспитании не может быть и речи [2, 486]:

Для того, чтобы соединить всеобщий производительный труд с всеобщим обучением, необходимо, очевидно, возложить на *всех* обязанность принимать участие в производительном труде.

После революции (для всех же) появился довесок — требование изображать из себя сознательного общественника:

необходимо поголовное втягивание ребят в общественно полезную работу.

Можно подумать, работа у станка или сочинение стихов — общественно бесполезны! Нужно не «втягивание» в «работу» — а создание условий для участия в общем труде. Не «обязанность» — а возможность. Это не

просто другие слова — это другой принцип. Работа по разнарядке воспитывает отвращение к труду; внешнее принуждение вызывает внутренний протест — вплоть до полного безразличия к жизни (сейчас эту модную болезнь называют *аутизмом*).

Отход от замкнутости отраслей материального производства — процесс долгий. Но почему мы должны переносить те же порядки в гораздо более подвижную область — в обучение и обмен идеями? Почему не дать каждый кусочек знания тому, кто в нем нуждается, и тогда, когда в том есть нужда? Если пятилетнему ребенку нравится конструировать роботов или решать интегральные уравнения — зачем ждать до предписанного школьной программой возрастного порога? Каждый развивается по своему графику, и, как справедливо замечает Н. К., «индивидуальные колебания могут быть очень велики». Нам тут же возражают: есть общеобязательный уровень культурности — а все остальное можно делать во внеучебное время, в качестве хобби, вроде собирания марок или бальных танцев. Правильно, так оно и происходит. С той существенной поправкой, что неинтересные школьные программы нормальные дети пропускают мимо ушей — а возможности всерьез интересоваться чем-либо вне школы у многих не было в советские времена, и далеко не у всех она есть сейчас. Например, столичные радиолюбители уже в 1950-е годы паяли цветные телевизоры — тогда как на периферии даже черно-белого телевизора никто в глаза не видел еще двадцать лет, а слово «радио» часто обозначало лишь радиоточку, громкоговоритель, подключенный к централизованной вещательной сети. Позже, в начале 1980-х, когда «продвинутое» население всюду осваивало первые персональные компьютеры, и ходили сказочные слухи о переносных агрегатах, — широкие массы вообще не догадывались о существовании ЭВМ!¹⁰ Даже домашний телефон тогда многим казался фантастикой; вообразить себе мобильник — и фантасты не рисковали... Об искусственном книжном дефиците советских времен кое-кто хорошо помнит. Бог с ним, что книги приходилось покупать в магазинах! — все самое интересное купить было невозможно, а «достать» удавалось не всем. Касается это не только беллетристики, но и учебников, и — страшно сказать! — классиков марксизма-ленинизма. В 1932 году Крупская с горечью пишет:

¹⁰ Из личных воспоминаний: в 2000 году (!) некий провинциальный вуз считал за счастье получить в подарок партию подержанных программируемых калькуляторов...

На каждом шагу мы натываемся прямо на чудовищные вещи: изымают статьи Ленина о продналоге, как «устаревшие», изымают «Коммунистический манифест», все книги по философии и т. п.

Дальше — больше. Какой уж при таком раскладе «политехнизм»...

Соединить школу с производством так и не удалось. Идея сама по себе богатая: растить детей не в обособленных загончиках, далеких от живой действительности, в изоляции от хозяйственных проблем, — а создавать образовательные структуры на базе передовых производств, чтобы пробовать силы то в одном, то в другом, — искать что-то для себя. А попутно получать общее представление обо всем, что делается в других отраслях, включая заботу о здоровом образе жизни и азы рефлексии (искусство, наука, философия).

Нетрудно догадаться, что и этот проект — чистойшей воды утопия. Просто потому, что универсальное образование невозможно в неуниверсальной среде; пропитанное разделением труда производство никаким образом не способствует широте взглядов — и отраслевая школа неизбежно сведется к подготовке кадров. С другой стороны, выделять школу в особую отрасль, со своей материальной базой, — значит превратить трудовое воспитание в пустую формальность, в игру; для зажатых нормами и сроками профессионалов такие «работники» — по статье накладных расходов. Из той же серии — отношение академических кругов к всевозможным дилетантам, заваливающих все инстанции безграмотными «открытиями»; сюда же страдания издательств под давлением свирепых графоманов и муки больших музыкантов при встрече с любительскими пошлостями; вспомним и о доморощенных философиях, и о религиозных ересях...

Настойчивые попытки Н. К. обязать предприятия отдавать отходы и обрезки, лом и брак в школьные мастерские — вроде рака на безрыбье. Если образование строить на всяком хламе — то и образуется хлам, вместо людей. По логике, надо бы наоборот: предьявить самое технологичное, перспективное, передовое. Чтобы интересно было, хотелось дотянуть, — а не рыться на помойке (хотя и это к чему-нибудь иногда ведет). Здесь полная противоположность капитализму: даже сегодня, когда компьютерные технологии позволяют моделировать любую производственную среду и запросто тиражировать новейшие разработки, — распространение знаний натывается на рогатки коммерческой тайны и авторских прав. Ладно, не было в разграбленной стране ресурсов для участия интересующихся (детей или взрослых) в

реальном производстве — *рассказать* о том, как что делается, вполне возможно, и надо бросить все силы на массовую популяризацию, обеспечить максимальную открытость любых отраслей, включая не только промышленность и сельское хозяйство, но и духовное производство — в том числе процесс обучения и воспитания! Когда есть интерес — изыскивать ресурсы, чтобы попробовать, попрактиковаться (а не гнать норму!); вот здесь и пригодилось бы государственное принуждение, обязывающее предприятия создавать своего рода зоны свободного развития (тренажерные залы, студии, мастерские), куда каждый желающий (независимо от возраста!) мог бы заглянуть и попробовать что-то посильное, не без помощи грамотного «аниматора». Заодно и отучить от дикой (но вынужденной) привычки рукодельничать на дому, истязая ни в чем не повинных соседей. Разумеется, такие специализированные центры никоим образом не заменяют «общего развития» — но, положив руку на сердце, кто может вразумительно сказать, в чем состоит эта «общность»? Если человек свободно пробует себя в самых разных амплуа — он будет разнообразен, и никакой «психотехнический профиль» ему не понадобится. Его не надо «профориентировать» — он сам решит, чем по жизни заняться. Одни детсадовцы любят книжки читать; другим интереснее петь песенки или цветочки поливать. Пусть все это будет доступно, и каждый выберет свое; а заставлять малышей ходить строем — жестокое тиранство, источник психологических травм.

Так что же, все эти буржуазные изобретения («звенья», «ступени») вообще не нужны? А как тогда с коммунистической ориентацией? Кто будет блюсти единство идеологии?

Контрвопрос: а кто эту идеологию блюдет при советах? Ответ: никто. Потому что воспитывает (как нам уже объяснила Н. К.) не формальная инстанция — а организация труда. Коммунистический труд воспитывает коммунистов; товарное производство — торгашей. Массовая школа озабочена исключительно уровнем успеваемости и гладкой отчетностью; если там и объявится талантливый педагог или просто порядочный человек — это, скорее, редкое исключение. Организация обучения не имеет ничего общего с коммунизмом: работа по графику, из под палки, система бессмысленных оценок, унижающих человеческое достоинство (включая даже оценку «за поведение»!)... Общественно полезного тут с гулькин нос. Где может ребенок приобщиться к настоящему труду? Только вне школы — и все решает

(классовое) происхождение, семья: одним всевозможные источники знаний и яркие примеры — другие видят лишь тупых калымщиков, лишенных минимальной одушевленности, и сбегают на улицу, выстраивая жизнь по диким уличным понятиям.

Как это можно было бы исправить в нашей гипотетической системе распределенного образования и трудового воспитания? Вариант один: уничтожение семьи. Вместо нее — одинаковые для всех стартовые условия, общественное производство общественного человека. Назовите это детскими домами, интернатами, или еще как-нибудь, — суть в том, чтобы оторвать детей от классовых корней и поместить в разумно организованную («искусственную») среду — сделать социализацию *индустриальной*. Именно так поднимали промышленность и сельское хозяйство — а про людей забыли. Вспомним Энгельса [4, 333]:

Воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода, в государственных учреждениях и на государственном счете. Соединение воспитания с фабричным трудом.

Но это половинчатое решение! Важно, чтобы и материнский уход перестал быть частным делом, чтобы сами понятия «отец» и «мать» исчезли из обихода. Без этого никакие реформы не пройдут.

К сожалению, тут и Маркс не сумел преодолеть собственную буржуазность [23, 500]:

Но как ни ужасно и ни отвратительно разложение старой семьи при капиталистической системе, тем не менее крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства вне сферы домашнего очага женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами.

Нельзя переносить существенно классовые структуры в бесклассовое будущее! Вместо уничтожения семейственности как таковой (из которой неизбежно вырастает противостояние классов) — классики пытаются протащить какую-то «высшую форму семьи», про которую вообще ничего не известно. Однако любая формализация личных отношений между людьми вместо разрушения рабских уз — лишь заменяет одни формы другим, не меняя классовой сути. Эта непоследовательность прямо вытекает из заявленной программы: Маркс не против разделения труда как такового, он лишь призывает устранить его «старые» формы (и дважды это подчеркивает) [23, 498]. Тут явно не оговорка, и не слабость перевода: вопрос принципиальный.

Когда же быт становится общественным продуктом — при этом производстве точно так же появляются зоны развития, доступные всем без исключения. Педагогика сама себя вытягивает из болота.

Разумеется, не следует забывать и об иерархичности. Всякая деятельность иерархична — в том числе, экономика в целом, и любая область культуры. Бросить младенца в хаос производств — не факт, что всякий выплывет. Чтобы не растерялись, в качестве точек опоры можно создавать учреждения особого типа — центры интеграции; их работа состоит в развертывании иерархии производств тем или иным способом, так чтобы сначала увидеть целое — и только потом переходить к его частям. По идее, именно эту роль должен был играть наркомпрос (позже переименованный в главполитпросвет). Опять же, такое (главным образом, духовное) производство предоставляет публике подходящие «тренажеры» — на эту роль прямо-таки просятся библиотеки, музеи, тематические выставки. Именно здесь идеологическая работа выходит на первый план: она изначально встроена в организацию интеграторской деятельности. В каких-то вариантах такая работа могла бы принять форму общеобразовательной школы. Но без формальных ступеней, возрастных цензов или оглядки на «одаренность», глупых аттестаций и спущенных сверху программ. Классы — для классового общества. Разумный человек сам потянется к разумности — если ему показать возможности и дать попробовать себя в самом интересном.

Конечно, выстраивание гибкой системы социализации требует достаточно развитой материальной базы. Но еще раз повторим: чтобы двигаться к цели, нужна цель. Машину собирают из тысяч деталей. Строить коммунизм (или то, что придет за ним) можно лишь подгоняя одну детальку к другой, культивируя все элементы будущего, расширяя зону бесклассовой экономики и упорно вытесняя капитализм.

Сразу оговоримся, что мир XXI века сильно отличается от условий столетней давности. Здесь мы смотрим в прошлое. Но не ради пустого любопытства, а в поиске общих идей, которые каким-то образом можно было бы приспособить и к следующей попытке свержения буржуинств. Никакого сомнения, что попытки будут. Не сделаем выводов из старых ошибок — снова рухнет. Первый этап: осознание. Потом — анализ ситуации и развертывание тех же идей по-новому, и поиск новых решений, о которых пока догадаться не удалось.

Итак, иерархия неклассового образования и воспитания видится как набор возможностей, которые вовсе не обязательно выстраивать в

формальные программы, одинаковые для всех. Всякое производство предполагает какие-то обучающие структуры, от общего ознакомления до углубленного освоения. С одной стороны, это возможность попробовать себя в реальном деле — но без привязки к собственно производственным задачам. Обучение как игра. Воспитание как творческое отношение к правилам игры. Тем самым снимается всякая возрастная привязка: играть можно в любом возрасте, а степень вовлеченности в реальное производство зависит от личных склонностей и круга общения. Точно так же, приобщение к деятельности у каждого идет своими темпами, важна лишь принципиальная возможность до чего-нибудь дорасти. Например, кто-то учится танцевать на лету, на живых примерах; другим хочется сначала понять, как устроен танец — и через это выйти на ту же танцевальную практику; наконец, кто-то вообще не сможет как следует выучиться — но занятия танцами обогатят его духовно, расширят кругозор и поддержат жизненный тонус, — а в итоге окажут положительное влияние на другие стороны жизни. То же самое можно сказать и о любой другой деятельности.

Тем самым снимаются обе крайности формального вовлечения детей в производство, по поводу которых сетует Н. К.: либо к этому относятся как к ребяческой забаве и обеспечивают по остаточному принципу — либо обязательная отработка на производстве отвлекает от учебы и всего прочего, так что даже книжки читать некогда.

Детские игры — готовят к взрослой жизни (там, где одно еще отличается от другого). Если дети играют не в войну, не в магазин, и не в семейную жизнь, — если их игры имитируют (моделируют) общественно полезный труд, — это прототип образования будущего. Здесь можно пробовать разные варианты коллективных действий, получить опыт совместной деятельности; поскольку же предполагаемый («виртуальный») продукт не предназначен для обмена, это подлинный коллективизм, а не рыночные отношения, не кооперация. С другой стороны — неформальность и подвижность объединений, типичная черта нерыночной экономики. Н. К. замечательно об этом говорит:

Трое, пятеро ребят задумают заняться чем-нибудь, поставят себе общую цель — пусть образуют кружок, спаянный общей целью, общим интересом. Не нужно никаких уставов, формальностей, которые живое дело могут легко превратить в мертвечину, отбить у ребят интерес к делу. Сообща ставят себе цель и сообща разрешают ее — дело чрезвычайной важности.

Остается распространить это на любые возраста и любые отрасли, сделать принципом экономического строительства... Возможность реализации нестандартных проектов (*feasibility study*), тесно связанная с созданием временных рабочих групп (*taskforce*), — важный элемент современной капиталистической экономики; отсюда один шаг до снятия любых формальных ограничений. Присмотреться к игре, увидеть в ней прототипы технологических решений, — это в какой-то мере подобно внедрению научных открытий. Детское (или дилетантское) творчество не обязано повторять сложившуюся отраслевую структуру — оно вправе свободно создавать новые отрасли. Главное — нерыночный характер производства: нам нужен продукт, а не товар. Только тогда система образования и воспитания будет производить человека, творческую личность, а не рабочую силу.

К сожалению, преклонение Н. К. перед Западом сводит на нет хорошую идею. Творческий порыв — вырождается в базар:

Приедет в отпуск рабочий. Пусть они сговорятся с ним о том, чтобы он выучил их чему-нибудь из того, что он умеет. Пусть войдут с ним в договор: он их обучит тому-то и тому-то, а они помогут ему выполоть огород, убрать двор, прорыть канвы, собрать сено и т. д. Надо перестать ждать, что кто-то вот приедет и все устроит, всему обучит, надо брать знания с бою и платить своим трудом за свое обучение.

Оказывается, за знания надо платить! То есть, у кого-то есть право отлучать других от достижений культуры. Вот она, школа капитализма! И дальше:

На этом деле у ребят могут развиваться очень большая инициатива, практичность, знание людей. Бери от каждого, что он может дать...

Это называется предприимчивость, деловая хватка... — звериный оскал мирового капитала. Понятно, что при таком раскладе и учеба сводится к чистой коммерции:

В настоящее время профессиональное образование должно приобрести иной характер. Изменившиеся условия делают рабочего одновременно и рабочим и хозяином в крупном производстве.

Во-первых, работник — не то же самое, что рабочий. Идеологическая мина в том, что предлагается воспитывать *хозяев*, — вместо того, чтобы вывести отношения между людьми за узко хозяйственные рамки. Иначе кончается (как мы видим у Н. К.) все тем же:

знать, где, за какую цену можно достать станки, стоит ли их, выгодно ли будет ввезти, какие пошлины придется платить... знать коммер-

ческую географию... знать, куда и как сбывать выработанные продукты, как рассчитывать их стоимость... Да и многое другое должен еще знать рабочий, если он хочет сделаться хозяином производства.

То есть, образование целиком и полностью заточено под требования рынка, и воспитывает холодных дельцов, а не убежденных строителей нового мира, которые знают, что нет никаких хозяев, и все для всех: надо не торговаться, а просто брать нужное и употреблять по назначению.

А если в вашей базарной школе кто-то не хочет становиться хозяином? Если ему хочется чувствовать себя человеком, заниматься своим делом не на продажу, а по глубокому убеждению в его (и своей) необходимости для человечества в целом? Да, можно в литературном вузе давать поэту знание конъюнктуры на книжном рынке, основы коммерческой полиграфии, изучать законы об авторском праве, порядок заключения договоров с издательствами или книготорговцами... Имеет это хоть какое-то отношение к поэтическому творчеству? Только одно: коммерция убивает поэзию.

Порочна сама ориентация на товарное производство. В буржуазной школе именно так вбивают в подсознание мысль о невозможности никакого иного порядка, о вечности капитализма. Стоит допустить, что производим мы не товары, а средства удовлетворения конкретных потребностей, — проблем со сбытом автоматически нет, и не надо ни с кем торговать. Есть общественный заказ — сделайте все, чтобы произвести жизненно необходимое. Без оглядки на чьи-то претензии. Именно эту установку должна бы воспитывать советская школа. Не только внутри страны, но и на международной арене: не расшаркиваться перед буржуями, не прогибаться под дипломатические стандарты, — четко обозначать ключевые интересы и стоять на своем. Благодаря этому в конце XX века китайцы прослыли сильными переговорщиками — а россияне так ничего и не смогли.

Одна слабость тянет за собой другую. Рыночное мышление и апологетика разделения труда ведут к идеологическим перекосам даже там, где поставлена сравнительно узкая задача: преодолеть косность профессионального обучения, дополнить его воспитанием широты взгляда и привить вкус к переносу технологий из одних отраслей в другие. Робкий росток творческого отношения к труду: человек перестает быть всего лишь работником, а пытается осмыслить свои действия и что-то при случае изменить. Понятно, что для этого требуется особый общественный климат, доброжелательное отношение и

поддержка новаторства. Если же рабочему сунули технологическую карту и поставили план — всякие вариации на тему расцениваются как нарушение технологической дисциплины, недопустимая отсебятина. Широта взглядов при такой постановке дела — только вредит. Поэтому внедрение того, что Н. К. именуется «политехнизмом», начинается не в школе, а на производстве, — и придется перевоспитывать взрослых, чтобы имело смысл политехнически настраивать детей:

Наилучший путь вовлечения рабочих в дело политехнизации школы — это политехнизация образования взрослых, общего и профессионального. [...] Политехнизация всего образования взрослых и политехнизация школы неразрывно связаны между собой

Это правильно — но узко. Переворот в умах нужен не сам по себе, а как условие «политехнизации» промышленности, и невозможно сделать образование по-настоящему политехническим при сохранении узкой специализации на производстве, разделения труда. Одно цепляется за другое — но надо с чего-то начать, чтобы потихоньку распутать клубок. В идеале,

Политехнизм — это целая система, в основе которой лежит изучение техники в различных ее формах, взятой в ее развитии и всех ее опосредствованиях. Сюда входит и изучение «естественной технологии», как называл Маркс живую природу, и технологии материалов, и изучение орудий производства, их механизмов, изучение энергетики. Сюда входит и изучение географической основы экономических отношений, влияние способов добывания и обработки на общественные формы труда и влияние последних на весь общественный уклад.

Политехнизм не есть какой-то особый предмет преподавания, он должен попитывать собою все дисциплины

То есть, по сути, следовало бы заменить словечко «политехнизм» более емким термином «всестороннее развитие» — и вернуться к исходным формулировкам классиков марксизма. Выдвигая на первый план экономические вопросы, мы лишь признаем первостепенную важность на данный момент задачи восстановления промышленности, плавно перетекающего в поголовную индустриализацию. А через это начнем вытягивать и духовность:

Само собой, политехнически построенная программа требует от учащихся больше, чем какая-либо другая, умения наблюдать, углублять и проверять свои наблюдения путем опытов, путем практики, в частности трудовой практики, требует умения фиксировать свои наблюдения и делать из них выводы.

Сие означает, что учиться предстоит не только деятельности, но и сознательному к ней отношению, рефлексии. Здесь, опять-таки, на первый план выдвигается наука — поскольку предстоит интенсивно внедрять передовые технологии, а для этого надо настроить умы на логику дела. Однако одной лишь техникой дело не ограничится — потому что индустриализация нам нужна не абы какая, а советская, нерыночная. И тут, по идее, надо въезжать в философию, чтобы отличать коммунизм от буржуинства — применительно к любому производству. Как минимум, важно сознавать общественный характер труда и уметь трудиться не на свой карман, а на общее благо. С этим у советских всегда проблемы — но в качестве предварительного ориентира Н. К. предлагает

углублять постановку общественно полезной работы школы, которая имеет громадное значение в деле воспитания навыков коллективного труда и в деле воспитания у ребят общественного подхода к своему труду.

И тут вопросы идут огромными косяками. Получается, что на школу, помимо собственно образовательных задач, навешивают еще какие-то («общественно полезные») производства, заниматься которыми всем остальным лень, — так хоть детишек малость поэксплуатировать, под предлогом воспитания коллективизма. Как уже сказано, отношение к такому труду может быть только отрицательным, а подход один: по возможности откосить. Начинать следовало бы с того, что общественно полезна всякая работа над собой, приобщение к любым достижениям культуры (и не только производственной). А дальше — по интересам. Где нужно объединение усилий — подсказать, дать примеры (не навязывая готовых решений). Где-то попробовать увлечь молодежь насущными производственными задачами: бросить клич, набрать отряд добровольцев, дружно навалиться — и сдюжить... Полная аналогия с субботниками — но не вообще, а под конкретное дело. В качестве первого знакомства с возможностями — ролевые игры, с ротацией ролей. Важно, чтобы не было корысти, возможности присвоить плоды труда; даже при индивидуальной работе — продукт никому не принадлежит, и воспитательная часть состоит в том, чтобы передать его туда, где нужнее. По большинству бытовых проблем — больших коллективов не требуется, и здесь коллективизм выходит на новый уровень: открытость и готовность помочь, поделиться опытом. Вспоминаем про школу как особое (очень даже общественно полезное!) производство — и видим, что ее зона развития призвана выработать

прежде всего навыки обучения (и воспитания!) друг друга, а через это и навыки самообразования и самовоспитания. Не дядя с тетей учат детишек уму-разуму — а все учатся у всех, независимо от возраста и опыта. Отсюда прямая дорога в систему всеобщего непрерывного образования, без формальных градаций и жестких сроков, без оценок и аттестаций. В любом возрасте уместно расширять кругозор — и многим взрослым не грех поучиться у подрастающего поколения, коль скоро жизнь вывела молодых на передовые рубежи. Прецеденты в советской истории были: ликбез, культпоходы и агитпоезда, электрификация и внедрение передовой агротехники... Молодых быстренько натаскивали на курсах — и в бой! Старики прогибаются медленнее — но эффект налицо. Заметим: это не коммунисты придумали — это старинная практика (в России — с петровских времен). А коммунисты, наоборот, так и не сумели побороть сословную ограниченность, и для них общеобразовательная школа так и осталась лишь предварительной ступенью профессионального образования. Вот и Н. К., начиная за здравие, кончает, как водится, за упокой:

На первой ступени трудовое воспитание неизбежно носит общий характер. Но в семилетке за исходный пункт берется уже какая-либо определенная область производства... Во втором концентре дается уже известная специализация...

И так далее, везде и всюду. Политехническая школа изначально противопоставлена профессиональной:

центр тяжести в ней лежит в осмысливании трудовых процессов, в развитии умения связывать воедино теорию и практику... тогда как в профессиональной школе центр тяжести переносится на вооружение учащихся трудовыми навыками.

По сути, это означает, что общеобразовательная школа — разновидность профессиональной: она готовит профессионального подмастерья — болванку типового формата, из которой потом штампуют узких специалистов. Соответствующие типоразмеры и сроки выдержки определяет единая для всех школьная программа:

Что касается профессионального образования в школьном возрасте, то оно не должно начинаться очень рано.

Оно вообще не должно начинаться! Нет специализации — не нужно думать про возрастные границы и прочую дискриминацию. Тем более, что разные компетенции требуют своих темпов и сроков. Когда Н. К. пишет, что раньше 15–16 лет в профессиональную школу принимать «не

целесообразно», — тут же вспоминаем профессиональных музыкантов или артистов балета, для которых чем раньше — тем лучше; изучение языков тоже начинается в раннем возрасте; навыки ухода за растениями и животными — приживаются с детства; в конце концов, практически все изобретатели ведут творческий отсчет с самых нежных лет. Трудовые династии потому и выезжают в экономике, что необходимое для дела технологическое чутье дети впитывают с молоком матери. Спрашивается: почему школа не может вводить всех желающих в курс дела без оглядки на абстрактные сроки, руководствуясь исключительно личными интересами молодняка? Черная сторона трудовых династий — опять же, подавление личности, когда потомству приходится волею-неволею идти по стопам. Сын сапожника — сапожник, сын скрипача — скрипач,¹¹ интеллигенты к интеллигентному, остальные к остальному... Это классовый подход. Школа и должна бы вырвать детей из семьи, открыть им широчайшее поле возможностей — и позволить решать каждому за себя. Но поскольку все зациклены на профессиях, в любом знании мерещится потенциальная угроза:

С ранних детских лет приучать ребенка к той или иной профессии — значит мешать выявлению и развитию творческих способностей и убивать заложенные в нем духовные возможности.

А что, взрослых убивать можно? Почему кто-то не может обрести себя в зрелом возрасте, или даже под старость? Французский художник Ги Лёврие был летчиком, потом консультировал молодое поколение авиаторов; ему было за пятьдесят, когда он вдруг обнаружил красоту квантовой механики и нелинейной динамики, — и сумел это выразить на языке живописи, — провозглашая принцип некоммерческого искусства. Не надо нас «приучать к профессии!» Человек не животное. Дайте нам трудиться по мере сил, в любом возрасте. Сказано же:

Производительный труд не только готовит из ребенка в будущем полезного члена общества, он делает его полезным членом общества в настоящем, и сознание этого факта ребенком имеет громадное воспитывающее значение.

¹¹ Вспомним Йозефа Штрауса, которого всегда тянуло к наукам — но пришлось вытаскивать семейный бизнес, руководить знаменитым оркестром, когда брат Иоганн по болезни уже не мог. Кардинал Ришелье мечтал стать инженером и архитектором — но должен был взять на себя семейный приход, делать церковную карьеру. Их таланты не погибли, их наследие восхищает до сих пор; но это единичные удачи — а скольких сгубила дурная наследственность?

Остается только заменить слово *ребенок* на слово *человек* — и заметить, что это не кулинарный ингредиент, и он не для того, чтобы «из него» что-то готовить...

В теории «политехнизм» выродился в простое совместительство, овладение несколькими профессиями (чаще всего, смежными). Ленин призывал рабочих брать на себя учет и контроль — Н. К. вторит ему:

профессиональное образование должно учить рабочего и тому, как работать, и тому, как налаживать производство, как контролировать его, как вести учет.

Ага, чтобы и за станком стоять — и бухгалтерию вести в 1С! Тонкости регламентированной отчетности осваивать — жизни не хватит; тем более, когда законодательство меняется каждый год. Так на фига работяге бороться с глючными программами, от которых одно расстройство и снижение производительности труда и отдыха? Работа на заказ — смерть искусства. Чрезмерное увлечение формализацией результатов — губит академическую науку. Классовая философия... — сами понимаете. Суть одна: товарное производство, голые стоимости вместо вкусного молока, надежного крепежа, прекрасных стихов или оснований математики.

С кашей в голове — немудрено начать заговариваться:

В данную минуту рабочему нужно не узкое профессиональное образование, а профобразование, поставленное самым широким образом.

Почему не сказать прямо: не нужно профессионального образования, специализации — а нужен доступ к любым специальным знаниям и возможность приобретать любые компетенции.

И здесь уже можно ставить вопрос ребром: а стоит ли так уж категорично бороться за «политехнизм» — ограничиваясь воспитанием одного лишь «интереса к технике»? Что, стране не нужны поэты, математики, философы, — наконец, педагоги? Если политехническое образование не дополнить полигуманитарным — хромоногая культура опять начнет косить в сторону капитализма! Почему рабочему нужен «общественный подход» к своему (и не только к своему!) делу — а писатель или чиновник могут ограничиться думами о себе любимом?

Пока вопрос лишь о расстановке приоритетов — годится и политех. Но, по факту, советское государство *полностью* самоустранилось из производства интеллигенции, отдавая эту важнейшую отрасль на откуп буржуазным семьям — и не предпринимая ни малейших попыток бороться ни с их буржуазностью, ни с семейственностью как таковой.

Что из этого вышло — мы знаем. Во второй половине века все без исключения господствующие высоты в области идеологической работы и просвещения заняты откровенно антисоветскими элементами, которые исподтишка травят массы апологетикой капитализма, религиозными канонами и националистическими устремлениями. Высокоидейные коммунисты еще есть — но они уже ни на что не влияют: чудачки на вторых ролях, которых держат только в силу фронтовых заслуг.

Таковы печальные итоги «политехнического» эксперимента. Культура едина — материальное и духовное производство равно необходимы для гармоничного общественного развития и прорастания новых поколений. Маркс это чувствовал [25 ч2, 385–386]:

Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства.

Но не вне производства как такового! И если победивший класс решает преодолеть свою классовую природу и выстроить экономику на новых, разумных началах, — без идейной определенности в отношении духовного производства, без ясного намерения, он не сможет добиться ни разумности — ни даже минимальной вразумительности! Это тем более важно, что коммунизм — лишь начало пути [25 ч2, 386]:

Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе.

К сожалению, уже Энгельс в Анти-Дюринге начинает перевирать Маркса — и сводит человеческую свободу лишь к познанию природной необходимости и выстраиванию своей деятельности соответственно. Для него паровая машина становится [20, 117]

представительницей всех тех связанных с ней огромных производительных сил, при помощи которых только и становится возможным осуществить такое состояние общества, где не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования и где впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы.

Н. К. вспоминает про «ассоциацию», где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [4, 447] и цитирует

длинное (но кривое) рассуждение Энгельса для того, чтобы тут же предложить свою (столь же кривую) интерпретацию:

освобожденное до конца от пут капиталистического гнета общество, где не будет уже классов и классовой борьбы, будет связано с таким расцветом науки, познанием законов природы и развития человечества, что это обеспечит каждому наиболее полное, всестороннее развитие, и каждый член этой ассоциации, этого союза так тесно, органически связан будет со всей ассоциацией и ее прогрессом в целом, что вся его деятельность, вся его жизнь будет служить дальнейшему развитию этого будущего бесклассового общества.

Закономерное развитие: пассивность, «служение» — вместо творческой свободы. Можно подумать, что мир дан людям готовеньким, на веки веков, — и достаточно его познавать, приспособливаться!¹² Но мир все время меняется — и рушит любую «гармонию». Значит, надо научиться самим его менять — предписывать природе законы, а не подчиняться им! Это принципиальное отличие марксовской философии от всех прочих. Поэтому свободный человек будущего — не для кого-то или чего-то, — не ради общества в целом, а *равен* целому, — и вовсе не требуется «служить», а можно просто жить, — как хочется, как нужно.

В педагогической теории та же ошибка закономерно ведет к односторонней идее обучения и воспитания: пассивное усвоение рядовыми людьми указаний свыше. Дескать, кто-то за нас познал законы природы и общества — а мы будем познавать (пережевывать) уже познанное... На детей — смотрят свысока: прыгают вокруг и умиляются. Ссылаясь на все те же указания свыше [12, 737]:

Мужчина не может снова превратиться в ребенка, не впадая в ребячество. Но разве его не радует наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на более высокой ступени воспроизводить свою истинную сущность? Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде?

Вот где Маркс вульгарно отступает от собственных идей! Выдавать дикую природность, неразвитость, за характер эпохи — значит, попирает суть исторического материализма. Выразить эпоху может лишь то, что сумело до нее дорасти, — и в той мере, в которой оно

¹² В 1903 году эмпириомонист А. Богданов считал себя марксистом Маркса — и призывал свести классовую борьбу к гармонизации социального опыта... Вот куда вывела энгельсовская «гармония». Ленин с этим боролся. Крупская не смогла.

дорастает до нее. Да, мудрость позволяет человеку переделывать мир согласно велению разума — делает историю своего рода игрой. Но отнюдь не ребячеством! Неразумное дитя способно лишь стихийно возродить что-то из уже пройденного человечеством, ставшего фоном культуры. Восторги по поводу детской непосредственности выдают духовную незрелость, душевную слабость некоторых взрослых, которые боятся эпохи и пытаются спрятаться от нее в какой-то другой. Сказки о «золотом веке» — из той же струи.

Не дело взрослых решать за детей, что им полезно, а что нет. Важно обеспечить палитру возможностей, дать право свободно пробовать — и лепить себя самому. Идеология проникает в сознание косвенно, через организацию повседневной жизни — и способ производства. Относитесь к детям серьезно, чтобы дети воспринимали вас всерьез. И тогда само различие возрастов станет совершенно несущественным, неуместным. Иначе появятся перлы, вроде этого:

Говорили, что ребята чуть ли не с пеленок должны быть политически сознательными, говорили им о серьезных вещах, еще не доступных их пониманию, хотели сделать их коммунистами. Это было бы неправильно.

Каково? Делать коммунистами — это, с точки зрения ответственного партийного работника, неправильно! Пониманию каждого доступно все. Без исключения. Другое дело, что подход к каждому нужен свой. Метафизика Энгельса делает доступность абстрактном, присущим вещам как таковым; но понять можно только *делая* понятным: когда собеседники понимают друг друга — они *вместе* порождают новый уровень понятности. Воспитатель через общение с воспитуемым воспитывает себя. Тогда можно согласиться со словами Н. К.:

Но не следует также слишком одетячивать ребят, полагать, что они какие-то несмышлениши. Мы должны ребятам о многом рассказывать, ширить их кругозор, помогать им становиться общественниками. Мы чересчур много кормим их сказками, а действительность для них часто интереснее всякой сказки.

Только становиться надо не «общественниками» («винтиками» и «колесиками») — а людьми. В полном смысле слова. Разумными и свободными. Всем вместе, друг через друга.

История не знает сослагательного наклонения. Но мы его знаем. Поэтому умеем иной раз помечтать: как было бы здорово, если бы... Важно, чтобы эти фантазии расцветали не ради самих себя: это лишь

форма рефлексии, постижения самих себя. Маленький эксперимент. Усилие над собой. Вытаскивание себя за волосы из болота.

Мы говорили о необходимости универсального непрерывного образования — вместо убогого политехнизма. Возрастные и цеховые ограничения пора истребить, вместе с собственностью, конкуренцией, рынком, семьей, и прочими отрывками капиталистического разделения труда. Есть у Ленина замечательная случайность [10, 358]:

сравним социал-демократическую партию с большой школой, низшей, средней и высшей в одно и то же время.

Вот бы из чего исходить! Не ступени и классы — а уровни целого, которое каждый разворачивает по-своему. К сожалению, в партийной программе — ни слова о развитии духовности. Сама эта категория оставалась (и остается) вне марксизма, независимо от приверженности духу первоисточников. Но пока нет твердости в целях — мы не вполне разумны, и строим нечто не очень разумное. Если же на каждом шагу выверять курс по путеводной звезде — никакие ошибки не изменят главного, не уведут в капиталистическое болото.

Обнадеживает то, что духовность по сути своей не подвластна классовому диктату: она всегда найдет способ ускользнуть от прямого насилия и стряхнуть идеологические пошлости. После утверждения капитализма в качестве глобальной экономической системы (с выходом на космические масштабы) планы неклассового развития на какое-то время придется отложить; но это не значит, что не следует обдумывать возможные шаги и внутренне готовиться к ним. Когда распределение труда становится глобальным — оно создает предпосылки собственного уничтожения, решительно ломая любые границы, требуя новых, наднациональных форм общности. Компьютерная революция выводит личность за грань органического существования; стихийные сетевые сообщества пока далеки от разумности — но сама возможность ничем не ограниченного общения и взаимного развития уже становится влиятельной силой, вопреки драконовским запретам и лихорадочной активности ревнителей интеллектуальной собственности: их оружие всегда обращается против них. Можно убить живое существо. Убить коллективный разум — не получится. В корне меняется характер труда: средства производства универсальны и общедоступны. Значит, люди будут все чаще трудиться не по необходимости, а по велению сердца. Это лучшая школа.

Пролетарии всех странностей

Есть вещи, говорить о которых — бесконечно грустно. Уважаемый человек, к мнению которого привык серьезно прислушиваться, местами начинает заговариваться — и делает это регулярно на всем протяжении писаной биографии. Ну ладно — мы тут не гении, и нести околесицу нам в какой-то мере простительно. Но, увы, и светлейшие умы человечества становятся порой проводниками самой реакционной идеологии. Нет, действуют они правильно, сообразуясь с классовым чутьем. Но едва заходит речь чтобы кому-то объяснить — так лучше бы не надо... Разнузданный журнализм еще никого не украшал.

Как все догадались, продолжается (исключительно для внутренних надобностей) разбор п(р)олетов нашего любимого Владимира Ильича. На этот раз заострять будем национальный вопрос. И для начала полезно было бы обозначить какие-нибудь позиции.

Первая позиция — единство темы. Даже тем, кому классическая логика не авторитет, полезно таки оставаться в рамках предмета, а не скакать с одного другое без честного уведомления (а иногда и ясного осознания). Собеседник (который не семи пядей во лбу) — запросто может запутаться. Поэтому, скажем, когда обсуждается необходимость перехода от классовых обществ к чему-то совершенно бесклассовому, смотреть на все остальные задачи подобает именно в этом разрезе, выясняя, как меняется их постановка по ходу интересующего нас преобразования. В данном случае — потребуется, как минимум, обсудить происхождение классовых представлений об этнической проблематике — и предложить разумную альтернативу. А не ложиться под суеверия и традиции, которыми известно кто управляет. Другими словами, мы будем говорить, как перестроить национальные отношения в соответствии с идеей разумности — и не подстраивать разум под какие бы то ни было размежевания. Только так можно выявить историческую неизбежность их возникновения или исчезновения.

Другая сторона той же позиции — не привязываться к очевидности и не слишком доверять общепринятому. Все приучены полагать, будто этническая принадлежность дарована каждому от рождения — и впитывается с каждой каплей материнского молока (а у некоторых — его синтетического заменителя). Мы с детства болтаем на «родном» языке, по-особенному едим, — да и внешность выдает происхождение

лучше паспорта... Понятно, что попы тут как тут, с подобающими по физиономии религиями.

Так вот, вся эта мишура — вовсе не само собой разумеется, и ставить вопрос о ее формах и содержании мыслящий человек просто обязан. Стоит приглядеться поближе — и от самого понятия национальности не остается камня на камне: ни один из (и никакая совокупность) признаков национальной принадлежности не порождает никаких поведенческих типов — и не имеет ни малейшего отношения к характеристике конкретной личности, никак не отражается на способах ее участия в общественно полезном труде или отдыхе. И тогда уже речь не о национальном вопросе, а об игре на людской неосведомленности в сугубо меркантильных целях. Этнические категории — надстройка над экономическим базисом; следовательно, уместно поинтересоваться, кто и зачем это построил.

И не надо нам хора возмущенных голосов! Солнце тоже по всей очевидности — просто яркая блямба на небе, которая, как раньше говорили, всходит и заходит; а если допустить, что каждый день оно одно и то же (факт далеко не очевидный!), — то кругами бегаёт (всегда разными). До каких-то пор и такая картина хороша: прогнозируемая регулярность позволяет разумно выстраивать деятельность. Но всему свои пределы! Освоение Вселенной в чуть более широких масштабах тут же выводит на другие модели, которые тоже по-своему ограничены — но лучше работают в своих предметных областях. Точно так же, стоит выйти в национальном вопросе за рамки буржуазности — причины явлений оказываются вовсе не там, где их положено отыскивать по официальной разрядке.

Классовая идеология тщательно разводит права и обязанности: господам первое, рабам второе. А на третье — исторический компот, где все вперемешку и концов не найти, — и, вроде бы, так и надо... Историческая заслуга марксизма — *исторический материализм*, учение о том, что люди не только плывут по течению времен — но и делают их. Не какими-то абстрактными фантазиями — а изменением реальных вещей и связей между ними. Включая собственное отношение к старым и новым вещам. В частности, любые классовые (или этнические) деления — не навсегда, а лишь пока они хоть в чем-то полезны для общественного прогресса — хотя бы в качестве отрицательного примера. Именно этой ереси больше всего боятся правящие круги — потому и стараются замести следы преступлений под ковер.

Но мы устанавливаем еще один принцип: человек — не чурка с глазами, и не животное. Нет, в каких-то отношениях он может вести себя именно так — но для нас это не игра стихий, а повод задуматься, кто и зачем доводит людей до скотского состояния или полного бесчувствия. Потому что собственно человеческое занятие — обустройство мира, искоренение всяческих дикостей, наведение (общественного) порядка. Чтобы всем жилось по-человечески. Такой «искусственный» мир мы называем *культурой*.

Таким образом, принципиальное отличие человеческого действия от животного (даже при внешней неразличимости) — сознательность, стремление не просто следовать побуждениям или реагировать, а менять мир хоть самую капельку, хотя бы в ближайшей окрестности — или даже только внутри себя, в мечтах. Это отличие мы называем *духом* — и сразу видим, что ничего такого в неразумной природе нет, и потому любые попытки свести человеческое к чему-либо животному или физико-химическому суть блуждание впотьмах — или подлое шарлатанство в корыстных интересах.

Еще раз: собственно человеческое в человеке — сознательная деятельность, активное преобразование природы, ее окультуривание. Участвуют в этом двое: (природный) *объект* и (человек как) *субъект* — а на выходе их синтез, *продукт*. По логике чуть выше классической — это означает, что у всякого производства всегда вместе две стороны: материальное производство воспроизводит вещи (которые, в принципе, могли бы потом существовать и без нас — но почему-то без нас не возникают) — духовное производство воспроизводит способность человека трудиться, настраивает его на вмешательство в судьбы Вселенной. Однако и то, и другое — сознательная деятельность, и человек намеренно воспроизводит самого себя как часть мира, точно так же, как делает мир частью себя.

Другая сторона принципа деятельности — универсальность. Нет ничего в мире, что нельзя вовлечь в деятельность и превратить в факт культуры. То, что в природе никак не соотносится, — в человеческой деятельности может быть связано, и будет связано. Именно для этого человек и возникает в мире, распавшемся на бесчисленность вещей: наша задача — восстановить единство мира, снять любые различия. Исторический материализм потому и становится требованием устранить всякое разделение труда и следующие из него классовые размежевания, привести человечество к единству. Сразу видно, что преувеличенное

внимание к этническому (или еще какому-нибудь) разнообразию с курсом на историческое единство не очень вяжется — и всякое муссирование (в частности) национального вопроса есть уступка классовой идеологии, попытка сохранить зацепки для прочей дележки (коготок увяз — всей птичке пропасть).

Начинается с казалось бы безобидной номенклатуры. В самом деле, если по жизни наблюдаются разные варианты объединения людей, почему бы не обозначить их подходящими словами? Исключительно для удобства последующего обмысливания.¹³ Вот и давайте собирательно назовем что-то пока непонятное *этносом*, а в нем выделим три уровня: общность происхождения, общность традиции, общность быта. Первый вариант возводит этническое единство к древнейшим временам, когда первобытного сознание обращает внимание главным образом на кровное родство, и во многом стихийно складывающиеся этнические группы синкретически вбирают в себя все, что связывает долгое время проживающих вместе людей в рамках единого (достаточно медленно меняющегося) способа производства. Уже сформированная устойчивая этническая общность может сохраняться и при территориальном разделении ее носителей (так называемый «этникос»); так возникают диаспоры разных типов: либо компактные островки внутри других культур (вроде китайских кварталов или русских старообрядцев в Латинской Америке) — либо это индивидуальное чувство этнической принадлежности (независимо от поведенческого соответствия; во многом таковы диаспоры евреев или армян). Есть и смешанные формы (например, у цыган). Такие распределенные этносы могут долго сохранять общность традиции — несмотря на значительную степень ассимиляции другими культурами, вплоть до чисто формального причисления к чему-то очень далекому (вроде бретонцев во Франции, или «афроамериканцев»). Наконец, на третьем уровне мы возвращаемся к компактности проживания и участию в жизни общества в целом, когда происхождение и традиции подчинены новому способу производства, а прежние этнические группы смешиваются и размываются. Так, в Римской империи представители очень разных народов с гордостью называли себя римлянами (и даже воевали за это право) — а все американцы с пеной у рта прославляют свою звездно-полосатую родину.

¹³ Мы пока не обсуждаем буржуазные теории (этнология, антропология и т. д.). Разговор о советской власти, об идеологических предпосылках ее конца.

В советской этнографии для этого даже изобрели особый термин: «этносоциальный организм» — и выделяли три исторических типа ЭСО: племя, народность, нация.

Маркса и Энгельса все эти тонкости не особо волновали: на тему возникновения этнических различий они практически не высказывались (за исключением нескольких неуклюжих мест у позднего Энгельса, на уровне пересказа модных буржуазных теорий). Национальный вопрос всплывал по каким-то конкретным поводам, но в целом — как бы вынесен за рамки собственно классовой проблематики, подчинен идеям интернационального коммунистического движения. Нельзя не признать в этом определенной идейной последовательности. Однако в теоретико-философском плане получается, что исторический материализм запущен в серию недоделанных, и отсутствие сколько-нибудь ясных установок по большинству «надстроечных» тем должно было неизбежно привести к внутрипартийным баталиям — и внешним наездам на «тупой», слишком утилитарный коммунизм.

Со всей определенностью национальные лозунги всплыли в эпоху империализма, на фоне интенсивной подготовки стартовавшего в 1914 году всемирного передела награбленного. Тут мы и встречаемся с будущим товарищем Лениным, активно выстраивающим свою команду в дебатах с еврейскими и польскими коллегами. Выступлений в поддержку идеи создания государства Израиль мы у В. И. не замечаем (признавая, впрочем, всю фрагментарность знакомства). Возможность отделения Финляндии и Прибалтики обсуждать незачем, поскольку их государственность воспринималась как уже состоявшаяся *de facto*. Насчет Средней Азии — одни абстрактные жесты. Зато о праве Польши (и заодно Украины) на самоопределение — тонны материала, так что о теоретической позиции автора в дореволюционный период мы судим исключительно по этим образцам.

Попробуем вкратце резюмировать.

1. Ленин (вслед за Энгельсом) признает, что капиталистические нации — исторически новое явление, связанное с возникновением нового способа производства, для которого характерны концентрация производства и возникновение крупной промышленности — а с другой стороны, всеобщее разделение труда, включая международное. Именно укрепление экономического единства огромных территорий делает их население также этнической общностью; при всей пестроте местных укладов — которые уже не играют определяющей роли в экономике.

2. Поскольку централизация экономики разрушает традиционный уклад жизни многих народностей, они воспринимают формирование нации как этническую сегрегацию, ущемление их национального достоинства, унижение и угнетение. Когда один из населяющих страну народов юридически представляет нацию в целом (подобно тому, как правящий класс представляет всех в классовом обществе: *l'état, c'est moi*), противоречия между экономическими укладами принимают вид межэтнических трений, вплоть до откровенной вражды и взаимной ненависти. Отсюда слепой сепаратизм, готовый на что угодно — только бы не оставаться в одних границах с угнетателями. Эти настроения умело использует буржуазия для захвата рыночных ниш.

3. Империализм переносит противостояние классов внутри нации в область межгосударственных отношений; при этом развитые страны становятся представителями глобального капитала, а все остальные превращаются в эксплуатируемое большинство, и формирование наций в экономически зависимых государствах всячески затруднено — как раз потому, что они остаются экономическими придатками метрополий, возможностью вложения капитала безотносительно к собственным потребностям подконтрольных стран. Здесь воспроизводится механизм искусственного нагнетания межэтнических противоречий — и борьба поработанных стран за экономическую независимость принимает форму национально-освободительных движений.

4. Поскольку буржуазия господствующих в мировой экономике держав выступает единым фронтом против консолидирующегося в класс мирового пролетариата, формирование новых наций на деле развеивает иллюзию этнического противостояния и может вести к устранению этнических барьеров между угнетенными классами всех стран, к соединению их усилий в борьбе за бесклассовое общество.

5. В силу существенной неоднородности экономического развития на мировом уровне (а это один из важнейших признаков империализма), возможна победа пролетарской революции в одной или нескольких странах — которые тем самым становятся центрами притяжения всех антиимпериалистических сил, и это еще больше вытесняет этнические вопросы из повестки дня, создает перспективы государственного объединения, «слияния» наций (при сохранении этнических различий в рамках единой, централизованной экономики).

Наше резюме «адаптирует» ленинские формулировки к заявленной теме обсуждения — сдвигает акценты. Это достаточно вольный перевод.

Но даже в такой адаптации ленинская позиция отличается от того, что мы (возможно, по своему скудоумию) считаем разумным. Чего не хватает? Прежде всего, историзма. Если мы не знаем, откуда берутся этнические различия, — как можно обсуждать их экономическую роль и перспективы отмирания? Ленин молчит — и делает вид, что нация ничем не отличается от народности или племени, и что еврейская диаспора — то же самое, что компактное проживание евреев в каких-то местностях (подобно цыганским селам в Молдавии). В. И. справедливо указывает на этническую пестроту в крупных городах [24, 148]

Но национальный состав населения — *один* из важнейших экономических факторов, но *не единственный и не важнейший* среди других. Города, например, играют *важнейшую* экономическую роль при капитализме, а города везде — и в Польше, и в Литве, и на Украине, и в Великороссии и т. д. — отличаются наиболее пестрым национальным составом населения. Отрывать города от экономически тяготеющих к ним сел и округов из-за «национального» момента нелепо и невозможно. Поэтому целиком и исключительно становиться на почву «национально-территориалистического» принципа марксисты не должны.

Здесь он наступает на горло собственной песне — готов признать первичность экономики и отказаться от абстрактного, не учитывающего хозяйственных связей права на самоопределение, — хотя существует независимый город-княжество Монако, а этнически пестрый Сингапур реально существует на положении анклава в относительно однородной этнической среде; но это, скорее, исключение, чем принципиальная возможность. Для нас важно другое: факт компактного проживания этноса — не эмпирическая случайность, а выражение определенного способа производства; а значит, и любая демаркация границ есть акт экономический — а вовсе не выражение чьих-то субъективных симпатий (как в теории Энгельса о «естественных» границах [13, 280]). Вот эту экономическую основу Ленин упорно не хочет признавать — исходя из буржуазной идеи «врожденной национальности», впечатанной в человека раз и навсегда. Забавно, что современная буржуазная практика напрочь перечеркивает эту дикость: в визовых анкетах национальность указывается *по стране* — и пожилые граждане постсоветской России по рождению имеют национальность *USSR*, а по состоянию на текущий момент — национальность *Russia*, независимо от этнической принадлежности.

Достаточно признать, что национальные чувства не имеют отношения к биологии, а воспитываются (на классовой основе) вполне определенной системой социализации, — и станет ясно, что истребить их вполне возможно даже в масштабах одной биографии, не говоря уже о блестящих перспективах изначально бесклассового образования, далекого от любых форм разделения труда. Дайте каждому право свободно выбирать национальность — или уберите упоминания о ней из любых документов, — и все сведется к чисто экономическому делению, к разрешению проживать в определенной стране и трудиться в любом месте по выбору. Тогда вдруг выяснится, что большинство населения земного шара — завязтые американцы, а количество англичан, немцев или французов вырастет в сотни раз. Внешность и манеры потеряют всякое значение: китайский американец ничем не хуже американского китайца. Заметим, что это вовсе не фантазия, а реальный процесс этнообразования в развитых капиталистических странах, где уже сегодня гражданство практически не зависит от происхождения (и может быть куплено, как любой другой товар, — хотя европейское и американское на порядки дороже, чем бразильское или турецкое).

Теоретики вроде Энгельса и Ленина объективно играют на руку империализму, позволяя глобальному капиталу натравливать друг на друга тех, кому и делить-то нечего: паны дерутся — у хлопков лбы трещат. Добавим: пока рабы дерутся меж собой, господа могут чувствовать себя в относительной безопасности и спать спокойно (поскольку понятие совести к господствующему классу неприменимо). Национальные движения — не стихия; это инструмент классового господства. В принципе, тот же инструмент может использовать и пролетариат — поскольку он остается классом и носителем классовой ограниченности (а потому способен на подлости).

Как и следовало ожидать, одна буржуазность тянет за собой другую. Теория «естественности» этнических различий прямо наводит Ленина на мысль об однородности: люди одной национальности для него на одно лицо, классовые различия испаряются — и можно говорить о народах целиком, не разбирая страждущих от мерзавцев. Насажение такого, якобы «данного от природы» единства — любимый конек идеологов господствующего класса во все времена: пусть одни мордуют других — но мы таки братья по крови! — и потому все как один встанем против иноплеменников (даже если говорят они почти так же, и на вид совершенно не отличить). Для нашего главного революционера вопросы

классовой борьбы скромно отступают на второй план, когда заходит речь об этническом самосознании: сначала надо удовлетворить чьи-то национальные амбиции — а уже потом налаживать контакты с идейной родней по ту сторону границы. Если, конечно, заграничное начальство разрешит.

Но перл перлов — огульное деление наций на угнетающие и угнетенные. Ленин неоднократно ссылается на известный афоризм Энгельса о том, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы [18, 509]. Это легко привязать к ленинской теории империализма как выхода классовых противоречий на уровень межгосударственных отношений. Очень удобно: берем русских вообще и стравливаем с евреями вообще — объявляя русских держимордами, а евреев — носителями высшей культуры [24, 122–123]:

Из 10 1/2 миллионов евреев на всем свете немного более половины живет в Галиции и России, отсталых, полудиких странах, держащих евреев *насилом* в положении касты Другая половина живет в цивилизованном мире, и там нет кастовой обособленности евреев. Там сказались ясно великие всемирно-прогрессивные черты в еврейской культуре: ее интернационализм, ее отзывчивость на передовые движения эпохи (процент евреев в демократических и пролетарских движениях везде выше процента евреев в населении вообще).

Товарищ до того зарапортовался, что не улавливает антисемитский посыл: засилье еврейства на теплых местах — испокон веков было красной тряпкой для замученного обывателя, а тут нам открытым тестом сообщают, что и в рабочем движении верховодят они же... Ленин скромно умалчивает, что процент евреев в руководстве самых далеких от демократизма движений ничем не ниже, а крупнейшие финансовые воротилы (основатели империализма) — почти сплошь еврейских корней. Почему так получается — надо честно разбираться, и отличать еврейского рабочего или крестьянина от еврейского же спекулянта, политика или гнилого интеллигента. Но в философии Энгельса-Ленина такая разборчивость неуместна...

В скобках заметим, что «великие всемирно-прогрессивные черты» появляются в еврейской (и любой другой) культуре как раз там, где она избавляется от этнической замкнутости, от гнета традиций, от тупых ритуалов, от религий, от паутины родоплеменных связей, от удушливой семейственности, — то есть, там, где люди могут забыть о своем происхождении и творчески трудиться. Маркс и Эйнштейн не потому

велики, что они евреи, — а потому, что они сумели преодолеть узость еврейства. Мольер и Шекспир не имеют ничего общего с французами и англичанами как этническими общностями — они принадлежат всему человечеству. Это никоим образом не зависит ни от места рождения, ни от гражданства, ни от используемого языка (еврей Спиноза и англичанин Ньютон писали по-латыни — но мы их понимаем несмотря на любые огрехи переводов).

Фраза Энгельса пришла в обиход из его статьи 1874 года. Далее идет не менее замечательное продолжение:

Пока русские солдаты стоят в Польше, русский народ не может добиться ни политического, ни социального освобождения.

С этим Ленин целиком согласен — и всюду трубит про недопустимость вооруженных аннексий, — но уже в 1917 году он выдвигает ультиматум Украинской Раде (кстати, *рада* переводится как *совет*, и речь формально идет о бодании двух «советских» властей), обвиняя ее, помимо всего прочего, в том, что «Рада приступила к разоружению советских войск, находящихся на Украине» [35, 144]. Да к тому же еще и отказывается пропускать российские войска через свою территорию! Неслыханная наглость. Занимательная получается логика: самоопределение Польши предполагает вывод «иностраннных» войск с «ее» территории — а самоопределению Украины присутствие вооруженных россиян никак не мешает. Крутая диалектика. Это иллюстрация к вышесказанному: при полной правоте на деле — путаница в обоснованиях. А тянутся ниточки к Энгельсу, который (по каким-то причинам) при каждом удобном случае старался «облагородить» Маркса, причесать под расхожие буржуазные воззрения (в том числе, некритически заимствуя чуждую марксизму терминологию).

Афоризм-1874 возник не из пустоты — он прямо продолжает ранний вариант того же самого [4, 372]:

Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации.

Взято из речи Энгельса в 1847 году (незадолго до рождения *Манифеста коммунистической партии*) на митинге в Лондоне, посвященном годовщине польского восстания. А прямо перед ним — выступал Карл Маркс, и сказал нечто куда более значительное [4, 371]:

Объединение и братство наций — фраза, которая в настоящее время на устах у всех партий и, в особенности, у буржуазных сторонников свободы торговли. Действительно, существует своего рода братский

союз буржуазных классов всех наций. Это — братский союз угнетателей против угнетенных, эксплуататоров против эксплуатируемых. Подобно тому, как буржуазный класс какой-либо страны объединен и связан братскими узами против пролетариев данной страны, несмотря на конкуренцию и взаимную борьбу отдельных буржуа, точно так же буржуазия всех стран связана братскими узами и объединена против пролетариев всех стран, несмотря на взаимную борьбу и конкуренцию на мировом рынке. Чтобы народы могли действительно объединиться, у них должны быть общие интересы. Чтобы их интересы могли быть общими, должны быть уничтожены существующие отношения собственности, ибо существующие отношения собственности обуславливают эксплуатацию одних народов другими; в уничтожении существующих отношений собственности заинтересован только рабочий класс. Только он один и способен это сделать. Победа пролетариата над буржуазией означает вместе с тем преодоление всех национальных и промышленных конфликтов, которые в настоящее время порождают вражду между народами. Вот почему победа пролетариата над буржуазией является одновременно сигналом к освобождению всех угнетенных наций.

Улавливаете разницу? Дело вовсе не в этнических отношениях — корень зла в отношениях собственности, которые препятствуют общности интересов, превращают любые (а не только этнические) отношения между людьми в животную борьбу за существование, рыночное партнерство. Эта борьба при капитализме (да и в прежних классовых обществах) принимает *форму* национальных конфликтов, вражды между народами (независимо от существования юридических границ). Прекращение этого кажущегося противостояния — не на путях абстрактного «самоопределения», а только в совместной борьбе всех народов за свержение буржуазии и уничтожение узурпированного ею права представлять народ целиком. Слова об «угнетенных нациях» здесь лишь ссылаются на традиции буржуазной пропаганды — которым следует противопоставить принципиально иную постановку вопроса.

Но Энгельс вцепился именно в эту фразочку — начал раскручивать маховик. Раз есть «угнетенные нации» — значит, есть и «угнетающие». Нации как целое, абстрактная этническая общность. Однако здесь еще нет речи о подчинении классовых интересов этническим [4, 373]:

Так как положение рабочих всех стран одинаково, так как их интересы одинаковы, враги у них одни и те же, то и бороться они должны сообща и братскому союзу буржуазии всех наций они должны противопоставить братский союз рабочих всех наций.

Разумеется, поскольку экономическая основа осталась за кадром, место железной исторической необходимости занимает политическая воля, — и остается лишь проповедовать классовое единство, а не принимать его как объективную предпосылку всего прочего, исходный пункт и критерий зрелости самосознания. У Маркса — только противостояние пролетариата и буржуазии (возможно, с этническими нюансами); у Энгельса — первично деление рабочих по национальному признаку, и «братский союз» еще предстоит создавать. У Маркса — (экономически обусловленное) единство пролетариата противоположно (сугубо конъюнктурным, рыночным, временным) союзам капиталистов; Энгельс блюдет полную симметрию: организация пролетариев лишь копирует типично буржуазные формы, без малейших попыток предложить что-то взамен.

К сожалению, именно этот, обуржуенный марксизм проникает после смерти Маркса в Россию — и авторитет Энгельса как собирателя, публикатора и толкователя никто не ставит под вопрос. Теоретические ляпы встречаются и у Маркса — но последующие тексты, как правило, вносят необходимые уточнения и поправки. Журналистику Энгельса исправлять было некому. Привлекала живость слога, привычность тем, пикантность не слишком радикальных выводов... И молодой журналист Ульянов покатился под уклон [27, 257]:

социал-демократии должна выдвигать, как основное, существеннейшее и неизбежное при империализме, деление наций на угнетающие и угнетаемые.

Это абстрактное противопоставление возникает десятки раз в разных контекстах. Оказывается, существеннейшим является не борьба классов, а борьба наций (под которую — при отсутствии каких-либо разъяснений по вопросу происхождения национальных различий, — легко подвести что угодно). Позже, уже после революции [41, 162]:

коммунистическая партия, как сознательная выразительница борьбы пролетариата за свержение ига буржуазии, должна и в национальном вопросе во главу угла ставить не абстрактные и не формальные принципы, а, во-первых, точный учет исторически-конкретной и прежде всего экономической обстановки; во-вторых, отчетливое выделение интересов угнетенных классов, трудящихся, эксплуатируемых, из общего понятия народных интересов вообще, означаящего интересы господствующего класса; в-третьих, такое же отчетливое разделение наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций угнетающих, эксплуататорских, полноправных

Обнадеживает поворот к экономике (она на первом месте!) и уход от представлений о «народе вообще», требование учета классовых различий; и лишь третьим пунктом — абстракция межнациональной розни. Кажется, что еще чуть-чуть — и всплывет-таки марксистское понимание этнических отношений как орудия буржуазии в классовой борьбе... Но вот — последние заметки (декабрь 1922) [45, 358–359]:

Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой.

Снова нация превращена в синкретическое единство, и грехи одних тяжким бременем падают на других. Чем это отличается от первобытных нравов — когда за каждого сородича расплачивалось племя целиком? Где отличие от средневековья, с его обычаем наказывать весь клан за проступок кого-то одного? Вместо поиска экономических причин и решений — просто взываем к совести [45, 359]:

мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, — стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, — как «кавказский человек».

Примеров хамства можно привести миллионы. Причем не только со стороны «угнетающей» нации: русских тоже обзывают кто во что горазд; американцы смотрят свысока на мексиканцев — те отвечают «гринго» взаимностью; постоянно враждующие племена Мали кроют друг друга на всех 13 государственных языках (помимо французского).¹⁴ Ну и что? Хамство не имеет национальности; его надо лечить не ублажением этнических иллюзий, а устранением экономических корней, системы всеобщего разделения труда и рыночной конкуренции. Там, где люди не делят имущество, а сообща занимаются интересным делом, —

¹⁴ Это не зависит от «уровня развития». Например, после развала советской системы приходилось наблюдать совершенно свинское отношение со стороны персонала чешских авиалиний (как же! цивилизованные европейцы!) к российским пассажирам — даже если те избегали говорить по-русски. Повидали и отвязных прибалтов (литовцев, финнов), ведущих себя так, что смотреть стыдно. А посмотрите на европейских спортивных фанатов! — вот где кошмар и дичь...

им в голову не придет обращать внимание на внешность или особенности произношения.

Даже если кто-то ощущает себя этническим русским (независимо от биологических или языковых признаков) — он не должен считать себя ответственным за любые преступления против представителей других национальностей; косвенным образом, каждый, разумеется, отвечает за все происходящее в мире, и обязан выстроить свою жизнь так, чтобы способствовать очищению мира от грязи и уродства — безотносительно к этническим предпочтениям. Турецкие войска на востоке страны можно осуждать за чрезмерность карательных мер — но равную с ними ответственность несут армянские дашнаки, развязавшие эту войну; однако главный виновник тогдашних народных бедствий — буржуазия «передовых» стран Европы, и рабочие этих стран отчасти могут разделять эту ответственность, поскольку не смогли своевременно поддержать народы Турции и Кавказа. Разумеется, нравственные соображения лишь сопутствуют главному вопросу — необходимости экономической перестройки в мировом масштабе.

Поскольку вопрос о сущности этнического единства принципиально не ставится, единственно возможная тема для обсуждения — как делить имущество. Жить по разные стороны границ — или все-таки уживаться в общих. Нации изначально разные — и вопросы взаимодействия культур Ленина совсем не занимают: ему важнее раздать добычу, а не приобщить всех ко всему. Абсурд этого всеобщего разделительства (которое, как мы знаем, лежит в основе классового общества вообще и капитализма в особенности) заставляет большого теоретика местами заговариваться. В пылу борьбы с держимордами Ленин напрочь отрицает право русских строить свою культуру [24, 122]:

Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов.

С какого бодуна «национальная культура великороссов» должна непременно быть «черносотенной и буржуазной»? Конечно, сторонники лозунга «*православие, самодержавие, народность*» в России были (и есть до сих пор). Но почему русский рабочий должен отождествлять русскую культуру именно с ними, а не с Некрасовым, Менделеевым, или Ермоловой? У пролетариата нет задачи бороться против этнической культуры — он борется против классовой культуры буржуев и попов. При этом гордиться достижениями русской культуры как достойной

части культуры всего человечества — он просто обязан! Несколькими страницами позже Ленин спохватывается [24, 129]:

Есть две нации в каждой современной нации — скажем мы всем национал-социалам. Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова. Есть *также же* две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д. Если большинство украинских рабочих находится под влиянием великорусской культуры, то мы знаем твердо, что наряду с идеями великорусской поповской и буржуазной культуры действуют тут и идеи великорусской демократии и социал-демократии.

Спрашивается: а почему нельзя именно с этого начинать? Не с этнического (религиозного, возрастного, отраслевого или еще какого-нибудь) деления, а с главного отличительного признака всех передовых культур — собственно культурности, стремления устроить жизнь людей по-человечески, преодолевая предрассудки и круша барьеры. Тогда оказывается, что нет никаких «двух культур», а есть культурность как противоположность бескультурью и антикультуре. Остается взять все ценное от любых общественных групп и слоев — и соединить это в культуре будущего, не знающей никаких границ, — но бережно хранящей любые искорки самобытности и своеобразия.

Нет, позиция Ленина диаметрально противоположна: не растворять границы, а создавать их, загонять в этнические гетто даже тех, кто уже давно утратил связь с землями предков и вспоминает о них лишь по традиции [24, 148–149]:

Несомненно, наконец, что для устранения всякого национального гнета крайне важно создать автономные округа, хотя бы самой небольшой величины, с цельным, единым, национальным составом, причем к этим округам могли бы «тяготеть» и вступать с ними в сношения и свободные союзы всякого рода, члены данной национальности, рассеянные по разным концам страны или даже земного шара.

Сказано в качестве эмоционального протеста против административно-территориального деления царской России, никак не учитывающего этнические реалии, — и мотивируется возможной выгодой [24, 147]:

среди современных требований капитализма будет, несомненно, требование возможно большего единства национального состава населения, ибо национальность, тождество языка есть важный фактор

для полного завоевания внутреннего рынка и для полной свободы экономического оборота.

По классовой сути — это крепостничество: ограничение народности определенной территорией, без права свободно расселяться по всему миру; а решать будут те, кому это требуется для «полного завоевания внутреннего рынка». Политически — это курс на развал страны, поскольку создание этнически вычищенных и экономически замкнутых зон есть прямая подготовка «национального самоопределения», которое лишь юридически закрепляет уже сложившуюся экономическую обособленность.

С точки зрения марксизма (в отличие от энгельсо-ленинизма), следует поступать как раз наоборот: никак не привязываться к этносам, исходить из экономической целесообразности, удобства управления, обеспечить максимальную подвижность населения для оптимизации размещения производств и выравнивания уровней развития территорий, втягивания их в единый экономический процесс. В каких-то формах эта политика захватывает и зарубежные страны, связывает их экономики и ведет к этнической ассимиляции. Так, заполонившие мир китайцы не только влияют на менталитет местного (тоже не всегда коренного) населения, но и активно пропитывают Китай европейскими и прочими веяниями, нивелируя различия в образе жизни.

Для ясности: мы плавно перешли к обсуждению ленинской теории ассимиляции, естественно дополняющей его же теорию разделенных культур [24, 125]:

Остается ли что-нибудь реальное в понятии ассимиляторства за вычетом всякого насилия и всякого неравноправия? Безусловно, да. Остается та всемирно-историческая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок, к стиранию национальных различий, к *ассимилированию* наций, которая с каждым десятилетием проявляется все могущественнее, которая составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм.

Речь о том, что империализм (в лице буржуазии нескольких передовых держав) крушит национальные границы и перекраивает мир по собственному произволу, отвоєывая (прямо-таки буквально) чисто экономические выгоды. После Ленина — возникли транснациональные корпорации, и процесс совсем пошел. К концу XX века государственные границы превратились в фикцию, и банда G7 вправе поменять их при первой необходимости — или просто так, чтобы жизнь медом не

казалась (рабам иногда полезно указать их место). Предписывают не только как жить, — но даже как называться (например, македонцам запретили называться македонцами). Но сам принцип национального размежевания остался в неприкосновенности: не разделишь — как будешь властвовать? Формальные границы удобны как инструмент классового господства: они существуют лишь для быдла, а господам закон не писан. И это напрочь опровергает вторую часть ленинской теории ассимиляции [24, 128]:

Допустим, что между Великороссией и Украиной станет со временем государственная граница, — и в этом случае историческая прогрессивность «ассимиляции» великорусских и украинских рабочих будет несомненна, как прогрессивно перемальвание наций в Америке.

Зря он это допустил... По-рабочекрестьянски называется: как в воду пернул... Что мы видим на практике? Граница не для того, чтобы через нее братались — она нужна (после дележки имущества) прежде всего, чтобы подчеркнуть межэтнические противоречия, развести работяг по разным камерам и в каждой посадить своих паханов, которые научат всех жить по понятиям. Разрешают в тюрьме свободно бродить из камеру в камеру? Равно два раза! Мир империализма — это та самая тюрьма народов, о которой так долго говорили большевики в отношении России. Только держиморды стали глобальнее, и скоро приберут к клешням и космос. И сбежать уже некуда — при всем желании. Украинские наци с первых же микросекунд самостоятельности взялись строить население, навязывать (искусственно пересочиненный) язык и культуру, «санировать» все управляющие структуры от остатков прежнего режима. На забугорные деньги выстроена мощная система промывания мозгов, воспитывающая в духе ненависти к России не только детей, но и старшее поколение. На те же деньги создана новая армия, способная эффективно исполнять карательные функции и отбивать посягательства российских буржуев на куски недоеденного пирога. Пара-тройка образцово-показательных кровопусканий начисто отбивает привычку бывших русскоязычных обходиться в быту без государственной мовы. Кто совсем не умеет «ассимилироваться» — «чемодан, вокзал, Россия». Великорусские и украинские рабочие теперь дальше друг от друга, чем гипотетическое население Туманности Андромеды от среднестатистического туарега. При том, что буржуи обеих стран никакого разделения вообще не заметили: их капиталы живут в транснациональных банках, а списать в накладные расходы

пару-тройку украинских владений — от барышей не убудет. Это рабочему лишний рупь — к чему-то в брюхе; а перекрасившимся из коммунистов делягам — триллионом больше, триллионом меньше...

Чуть раньше польские рабочие упорной борьбой завоевали право развалить «варшавский договор» и вернуть страну в лапы буржуев и попов. И даже если им будет очень худо — они спишут все на клятых москалей, а вовсе не на амбиции местного пана или Европарламент.

А еще раньше революционный антикоммунист Чан Кайши успешно отделил от Китая несколько островов, создал (с американской помощью) одну из мощнейших азиатских экономик — и завещал потомкам по возможности распространить «народную» власть на материковый Китай. Такая, вот, ассимиляция...

А Ленин строит утопические замки на идеологическом песке и пытается убедить себя, что в них вполне можно жить [30, 121]:

Так как поляки и финляндцы высококультурные люди, то они, по всей вероятности, очень скоро убедятся в правильности этого рассуждения, и отделение Польши и Финляндии после победы социализма может произойти лишь очень не надолго. Неизмеримо менее культурные феллахи, монголы, персы могут отделиться на более долгое время, но мы его постараемся сократить, как уже сказано, бескорыстной культурной помощью.

Оказывается, границы возводят исключительно по итогам публичной дискуссии, когда один оратор оказывается убедительнее других! Это вблизи плохо видно; а как посмотрят культурные господа на россиян из-за бугра — так сразу поймут, что они хорошие, и надо быстренько проситься взад, в братскую семью народов... Субъективизм прямо вытекает из идеалистической теории «естественной» национальности. Борец против держиморд допускает здесь (и во многих других местах) беспардонное хамство по отношению к большинству населения земного шара, провозглашая культурную сегрегацию (деление наций на культурные и «менее культурные») вкупе с культурной экспансией (разумеется, совершенно бескорыстной).

Среди поляков и финнов встречаются граждане очень разной культуры — равно как среди таджиков или русских. Чем Навои хуже Мицкевича? Однако он принадлежит той же народности, что и ярко описанные Садриддином Айни бухарские палачи. Националистические «творі» Леси Украинки бесконечно культурнее, чем национализм запорожских казаков, составивших элитные части турецкой армии, —

или фанатизм некоторых украинских граждан, массово переселявшихся в (подконтрольную Европе) Палестину, чтобы в конце концов основать на захваченных землях государство Израиль.

По современному опыту, самым убедительным аргументом в пользу разрыва прежних связей Прибалтики и Украины с Россией стало вовсе не национальное сознание, а возможность сбежать от «своих» наций в «цивилизованную» Европу — или за океан. Точно так же, отделение тюркских окраин связано с тяготением к «почти европейской» Турции. Тот же эскапизм явственно прослеживается и в самостийности грузин и армян, которые и раньше тяготели к «цивилизации», — и Ленин даже предлагал использовать их в качестве буфера между Советской Россией и коллективным Западом [43, 199]. Стоит отвлечься от буржуазных иллюзий и пристальнее присмотреться к реальным историческим процессам — станет ясно, что испокон веков этническое размежевание было не мифическим «самоопределением», а (инспирированным извне) стремлением под теплое крылышко. Это не выражение «воли народа», а передел собственности и рынков (в том числе, рынка труда).

В этой связи можно чутко задержаться на любимейшем ленинском примере — отделении в 1905 году Норвегии от Швеции. Тогда это был чуть ли не единственный пример государственного размежевания мирным (и «демократическим») путем. У Ленина сей факт становится затычкой в каждой бочке — решающим аргументом в пользу «права на самоопределение». Но анализировать его экономическую подоплеку Ленин решительно отказывается — и считает вопрос самоопределения сугубо политическим [30, 100]:

Независимость Норвегии «осуществлена» в 1905 г. только политическая. Экономической зависимости она не собиралась и не могла затронуть.

Это (само)обман! Общеизвестно: нет денег — нет и свободы... Политика лишь пена поверх экономического варева — и надо анализировать движение капитала, чтобы понять, кто и сколько заплатил за великий прецедент. Но Ленин не только не желает этим заняться — он и других отговаривает [30, 103]:

П. Киевский приводит ряд выписок, чтобы доказать, что Норвегия смотрела на запад, а Швеция на восток, что в одной «работал» преимущественно английский, в другой — немецкий финансовый капитал и пр. [...] В Норвегии «работал» английский финансовый капитал и до и после отделения. [...] Исчезает ли от этого

политический вопрос о том или ином положении Норвегии? о ее принадлежности к Швеции?

Тут ленинский махровый журнализм в полной красе: огульно обвинить собеседника в том, что то не понимает «очевидных» и «безусловно верных» вещей, отклоняется от буквы учения Маркса и скатывается в (придуманый Лениным) «империалистический экономизм». Тогда приведенные оппонентом факты можно смело игнорировать: разве может кривой предъявитель предъявить что-нибудь не кривое? Для контраста — вспомним, что Маркс предпочитал в экономических иллюстрациях ссылаться на данные именно буржуазных источников, чтобы защищаемые им тезисы высветились даже в этой, заведомо пристрастной статистике. Но тут Маркс Ленину не указ — у него на вооружении (энгельсовская) теория превращения классово-борьбы в борьбу наций. Он безапелляционно ругается [30, 24]:

Польские товарищи просто *повторили* явно неверное утверждение, говоря: «в вопросах присоединения чужих областей формы политической демократии устранены; открытое насилие решает... Капитал никогда не предоставит народу решение вопроса о своих государственных границах...».

Это заведомо *верное* утверждение! Кто думает иначе — прислуживает интересам капитала, перекраивающего границы как угодно, ради своего кармана. Стоит только добавить, что у «польских товарищей» слово *народ* ссылается тех, кто противостоит капиталу, — тогда как для Ленина это все вместе, не разбирая бая от феллаха (дескать, господь на небе своих найдет).

Объективно, их фразы о неосуществимости суть оппортунизм, ибо предполагается молча: «неосуществимо» без ряда революций, как неосуществима при империализме и *вся* демократия, *все* ее требования вообще.

Но на деле именно так: никакая демократия не рождается сама собой — ее завоевывают в революционной борьбе (и «демократическая» Европа была бы невозможна без череды революций 1830–1848 годов, а потом и революций начала XX века, и бурных событий конца 1960-х). *Только* успехи антиколониальных революций заставили империалистические державы вплотную заняться национальными проблемами внутри своих границ — а до этого они могли безнаказанно расстреливать массовые выступления (вроде знакомого Ленину восстания в Ирландии). Всякое государственное обособление есть сговор крупнейших экономических

игроков, компромисс заклятых партнеров, дележка имущества (поэтому Маркс мог со всей уверенностью заявлять в 1847 году, что вопрос о независимости Польши решается в Лондоне [4, 372]). Это может принимать форму политических договоренностей — но, ведь, *вся вообще* политика есть лишь внешнее выражение экономических процессов и тенденций. Точно так же, разделение Норвегии и Швеции в 1905 году — ровно ничем по сути не отличается от их «унии», навязанной в 1814 году сговором правителей стран-победителей; аналогично, парижский договор 1815 года закрепил международный статус Швейцарии — и урегулировал прочие рыночные притязания. Будут заинтересованные стороны договариваться публично или же предпочтут закулисные махинации — опять же, не их субъективное предпочтение, а чисто финансовый вопрос: (под)купить десяток правительств дороже, чем обойтись парочкой непосредственных участников (держателей капитала). Это в наши дни есть Евросоюз и трансатлантическая солидарность; но даже в этих условиях любой развод обходится дорого — и оставляет немало острых углов, на которые Европе еще долго предстоит наткнуться.

Распад мировой системы социализма и развал СССР никак не влияют на общий вывод: здесь речь не о политическом размежевании, а об экономическом переделе; это было бы невозможно без внешнего военно-экономического давления, а идеологические диверсии — лишь один из проверенных инструментов. Социализм умер гораздо раньше: классовое расслоение в СССР активно развивалось в послевоенный период и вполне сложилось в середине 1980-х; оставалось только закрепить *status quo* формально-юридическими актами. Этнические соображения не играли ни малейшей роли.

Таким образом, «самоопределение» наций всегда начинается с концентрации капитала, когда какие-то территории (безотносительно к этническому составу населения) подпадают под влияние внешних рыночных сил и искусственно обособляются за счет ограничения доступа для рыночных конкурентов. Часто используют существующее административное деление — но так же возможны и другие зоны влияния, в том числе территориально распределенные. Согласовали дележ ресурсов — можно ставить вопрос о раскраске карт. Организовать народный энтузиазм на уже обособленных территориях — дело нехитрое. Буржуазия это всегда умела. Трудовые массы банально подкупают, заманивая резким повышением уровня жизни и более

широкими рынками рабочей силы (подобно тому как «свобода» себя продать воодушевляла крепостных крестьян в борьбе против феодалов). Существование экономически обособленных зон внутри государства ведет к чисто экономическим проблемам — и заставляет население разных зон видеть в других источник всех бедствий, конкурентов или угнетателей. Вопрос о том, пойдет расчленение прежней общности путем мирных соглашений или переживет череду «национальных» войн, решается исходя из глобальной рыночной конъюнктуры: как правило, военное решение связано с недостаточным проникновением спонсоров конфликта в экономику интересующих их областей — а война убивает не только людей, но и двух зайцев: завершает экономическую консолидацию — и ставит новые нации в полную зависимость от зарубежных вливаний, отдает в руки новых хозяев — которых поначалу воспринимают как благодетелей и освободителей.

Нельзя сказать, чтобы Ленин всего этого не понимал. Вся его теория империализма держится именно на экспорте капитала (не только в смысле денег — но и как общественного отношения) [30, 95]:

Крупный финансовый капитал одной страны всегда может скупить конкурентов и чужой, политически независимой, страны и всегда делает это. Экономически это вполне осуществимо. Экономическая «аннексия» *вполне* «осуществима» без политической и постоянно встречается.

Самоопределением наций называется политическая независимость их. Империализм стремится нарушить ее, ибо при политической аннексии экономическая часто удобнее, дешевле

Но, пардон, что такое политическая независимость? Если это независимость политики — так ее у экономически зависимых государств вовсе нет: границы и правительства — существуют чисто номинально, подобно тому как директор (юридический глава) капиталистической фирмы лишь получает «представительский» гонорар, а подпись ставит там, где ему укажут господа-бенефициары; в случае неприятностей — марионетку легко сместить, посадить в тюрьму, или физически устранить; для настоящих хозяев эта мелюзга — не люди, а расходный материал.

Про то, как буржуи натравливают одни народы на другие в интересах жиреющего капитала, Ленин тоже знает [31, 396]:

Для марксиста эти истины, что войны ведутся капиталистами и что они связаны с их классовыми интересами — абсолютные истины.

Будет это война между давно устоявшимися нациями, или едва только зарождающимися, — или это лишь этнически окрашенные бунты в пределах одной страны — к делу не относится. В любом случае, доходы делят (якобы враждующие) буржуи, а в трупы записывают рабов. Если вдруг оказывается, что кому-то выдали собственный кусочек земного рая, — это неспроста [30, 102]:

При таком положении дела не только «осуществимо» с точки зрения финансового капитала, но *иногда* прямо *выгодно* для трестов, для *их* империалистской политики, для *их* империалистской войны, дать как можно больше демократической свободы, вплоть до государственной независимости, *отдельным* маленьким нациям, чтобы не рисковать порчей «своих» военных операций.

Отсюда один шаг до признания национального самоопределения всего лишь политической игрой, за которой стоит чья-то вполне материальная выгода. Но дело-то в том, что Ленин занимается именно политикой — и ему важно любой ценой соблюсти реноме *партии* — удержаться на гребне политической волны, независимо от развития событий. Отсюда якобы диалектические идейные шатания [30, 108–109]:

любое демократическое требование (в том числе и самоопределение) для сознательных рабочих *подчинено* высшим интересам социализма. Если бы, например, отделение Норвегии от Швеции наверно или вероятно означало войну Англии с Германией, то норвежские рабочие *по этой причине* должны бы быть против отделения.

Вот те раз! Оказывается, самоопределение наций — это вовсе не их суверенное право, и надо спрашивать разрешения у третьих стран, формально в конфликте не участвующих. В другом месте аналогичный пример: нельзя маленькой стране претендовать на республиканскую форму правления, если она расположена между крупными монархиями, которые (не приведи бог!) начнут воевать за право посадить на престол своего короля [30, 43]. Тот же принцип санкционированности извне — везде и всюду. Вот, навскидку [31, 440]:

Вопрос о праве наций на свободное отделение непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или другой нации в тот или иной момент. Этот последний вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм.

То есть, вопрос о целесообразности отделения таки решает партия, а не национальные кадры! И это у них называется «самоопределением»?

Совершенно в том же духе [35, 251]:

Но ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы права наций на самоопределение. [...] если конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций [...], то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше.

Или об автономии (как предпосылке обособления) [30, 42]:

Именно автономия позволяет нации, насильственно удерживаемой в границах данного государства, окончательно конституироваться как нация, собрать, узнать, сорганизовать свои силы, выбрать вполне подходящий момент для *заявления*... в «норвежском» духе

Но при этом [48, 234]:

Ведь *пределы* автономии определит центральный парламент!

Спрашивается: зачем тогда огород городить? Давайте с самого начала говорить о классовой борьбе — а как в этом участвуют этносы, не столь важно, это сугубо тактический вопрос. Решать все равно будут не они — не какие-нибудь партии, парламенты или референдумы, — за всем стоит конкретно-экономическая необходимость. Полагать, что политическая возня способна побудить кого-то к самоопределению — наивнейший субъективизм: все равно что возникновение мореплавания объяснить наличием кораблей, а планирование сельхозработ — изобретением календаря. Понятно, что рефлексия способна влиять на *формы* развития экономики; но развитие это в любом случае есть — не в одних формах, так в других. По жизни, вопрос об отделении встает, когда уже готова экономическая основа, когда принципиальное решение уже принято — и вопрос только о том, чьими руками начатое завершить.

В итоге оказывается, что ленинцев собственно национальный вопрос не особо волнует — им главное увлечь красивой риторикой, перетянуть массы на свою сторону; ленинская партия в этом отношении ничем не отличается от любых других — в том числе буржуазных. Впрочем, партийность как таковая есть атрибут классового общества; при капитализме всякая борьба сводится к игре, к борьбе партий. Вместо принципиальной позиции — учет политической (то есть, рыночной) конъюнктуры [31, 433]:

Но люди не хотят понять, что для усиления интернационализма не надо повторять одних и тех же слов, а надо в России налегать на

свободу отделения угнетенных наций, а в Польше подчеркивать свободу соединения.

Люди совершенно правы, когда не хотят такого понять. Когда русские коммунисты говорят одно, а польские совсем другое, — возникает закономерный вопрос: а где же, собственно, коммунизм? По логике, следовало бы сначала определиться с главным; а кто с кем спит или разводится — дело десятое: есть марксизм как единая идеологическая платформа — и мы обязаны разъяснять вредность самого деления на нации (или иные группировки), поскольку все это — лишь формы противоположности классов, и надо прежде всего ставить вопрос об уничтожении этой классовой основы, эксплуатации одних другими, — выступать против классового гнета, а не плодить бесприсветно разделенные нации [25, 288]:

Наемному рабочему все равно, будет ли его преимущественным эксплуататором великорусская буржуазия предпочтительно перед инородческой или польская предпочтительно перед еврейской и т. д. Наемный рабочий, сознавший интересы своего класса, равнодушен и к государственным привилегиям капиталистов великорусских и к посулам капиталистов польских или украинских, что водворится рай на земле, когда они будут обладать государственными привилегиями. Развитие капитализма идет и будет идти вперед, так или иначе, и в едином пестром государстве и в отдельных национальных государствах.

Казалось бы, вывод ясен: рисование границ ровным счетом ничего не меняет в положении трудящихся масс — и может, самое большее, лишь временно повысить уровень жизни одних за счет других. Поэтому болтовня о «самоопределении» (и последующей «ассимиляции») не имеет ни малейшего отношения к делу: чтобы выстоять в борьбе с не знающим границ капиталом, надо в первую голову думать о ломке межнациональных барьеров, об экономическом объединении — которое начисто снимает этнический вопрос. Однако ленинская логика следует в прямо противоположном направлении: давайте все делиться, как амёбы! Тут Ленину приходится долго оправдываться — и он еще больше запутывает публику, поясняя, что право есть всего лишь юридическая абстракция, не предполагающая реальных возможностей, намерений или обязательств [48, 235]:

Мы за *автономию* для всех частей, мы за *право* отделения (а не за *отделение* всех!). Автономия есть *наш* план устройства демокра-

тического государства. Отделение вовсе не наш план. Отделения мы вовсе не проповедуем. В общем, мы против отделения.

Право на самоопределение есть *исключение* из нашей общей посылки централизма. [...] Но исключение *нельзя* толковать расширительно. *Ничего*, абсолютно ничего кроме *права* на *отделение* здесь нет и быть не должно.

И уж тем более никаких гарантий [25, 273–274]:

пролетариат ограничивается отрицательным, так сказать, требованием признания *права* на самоопределение, не гарантируя ни одной нации, не обещаясь дать *ничего насчет* другой нации.

Он таки прав: в этом суть *буржуазной* юриспруденции (а другой не бывает). Типа: вы, конечно, вправе стать буржуями — но мы вправе вам этого не позволить, и по факту — буржуями будем мы... На фига нормальному человеку такое абстрактное право? Если, конечно, он не собирается никого ограбить — но тогда он уже, вроде бы, и не человек... Право без реального экономического наполнения — пустой звук. Поэтому в социалистических конституциях (начиная с конституции РСФСР 1918 года) права граждан сопоставлены с какими-то гарантиями, с экономикой практического обеспечения. Насколько эти гарантии реальны — больной вопрос; но важен сам принцип, разумный подход.

Право на отделение — совсем другое. Это голый лозунг, красивый жест, политическая реклама. Иначе и быть не могло — поскольку экономика «самоопределения» не входит в компетенцию государства самого по себе: это вопрос внешних связей и мирового рынка. Слепота буржуазной политики — намеренное замалчивание принципиальных моментов, растворение сути дела в деталях [30, 24]:

самоопределение предполагает (это ясно само собою и мы особо подчеркнули это в наших тезисах) свободу *отделения* от угнетающего государства; о том, что *присоединение* к данному государству предполагает *его* согласие, в политике так же «не принято» говорить, как в экономике не говорят о «согласии» капиталиста получать прибыль или рабочего получать заработную плату!

Зря не говорят! Потому что никакое отделение невозможно без присоединения к «мировому сообществу» (то есть, фактически, к одной из конкурирующих на мировом рынке классовых группировок) — а следовательно, и без «согласия» предполагаемых господ принять в услужение еще одного раба. «Ничьей» территории нет — и даже ненужное кому попало не отдадут (вспомним печальную историю

республики роз). Так оно было тысячи лет назад — и тем более это так в эпоху империализма и глобализма. Национальности (как государственно определившиеся, так и на уровне этнической общности) существуют не сами по себе — это выражение всеобщего разделения труда, во всех его классовых формах (цивилизованных и не очень).

Если мы хотим сознательно строить будущее — нас не устраивает пустая констатация фактов и тенденций: мы обязаны осмыслить происходящее на твердой идеологической платформе, чтобы не только прогнозировать развитие событий — но влиять на ход истории. А что у Ленина? [25, 269]

И в этой цепи событий только слепой может не видеть пробуждения целого ряда буржуазно-демократических национальных движений, стремлений к созданию национально-независимых и национально-единых государств. Именно потому и только потому, что Россия вместе с соседними странами переживает эту эпоху, нам нужен пункт о праве наций на самоопределение в нашей программе.

Из наличия каких-то буржуазных общественных движений вовсе не следует, что коммунисты обязаны к ним присоединиться — вместо того, чтобы отстаивать собственные принципы и по-другому расставлять приоритеты. Программа партии — выражение ее экономической и политической стратегии, а любые тактические вопросы можно ставить и решать лишь в связи с этой генеральной линией. При определенных условиях коммунисты могут поддержать буржуазную демократию — ясно обозначая границы этой поддержки и нигде не отступая от своих интересов. Это искусство прекрасно освоила буржуазия — и в рамках (изначально буржуазной) борьбы партий поучиться у политического противника не грех. А у Ленина — глупые рассуждения о ненужности отделения Венгрии и Чехии от Австрии: дескать, зачем вам бежать из приличной буржуазной страны? — вам же будет хуже [25, 270]. Та же аргументация для Польши — оправдывает ее «самоопределение»: поскорее сбежать под крылышко «настоящих» буржуев, от неумытой России. Так классовую борьбу пролетариата превращают в орудие экономических разборок между группами крупнейших капиталистов.

Чувство юмора иногда бывает полезно — если не забывать об умеренности. Ленин цитирует бундовского товарища [24, 124]:

«Следовательно, — говорит по поводу заключения статьи в «Северной Правде» г. Ф. Либман, — на вопрос, к какой национальности вы принадлежите? рабочий должен отвечать: я социал-демократ».

Вы будете смеяться — но Либман прав! Вопросы о национальности у приличных людей просто неуместны: у них другое видение мира. Дурная острота содержит зерно большой идеи! А Ленин не замечает, увлекшись обсуждением этнической ассимиляции, — и тем самым идет на поводу у своего оппонента, остается в русле *его* проблематики, вместо того, чтобы противопоставить ей свою. В этом одна из вечных слабостей советской политики — особенно наглядная в дипломатии: вместо последовательного и уверенного проведения в жизнь собственной линии, мы все время кого-то догоняли, перед кем-то оправдывались, пытались кому-то что-то доказать... Казалось бы, какое нам дело, что буржуи думают о социалистическом строительстве? — мы делаем свое дело, а кто мешает — по мордам. Но нет! — советская дипломатия (*ради которой* Ленин призывал сохранить Советский Союз [45, 361]) полностью принимает буржуазные правила игры, навязанный извне (дико разорительный) дипломатический протокол, — и старается всячески соблюдать принятые на себя международные обязательства, тогда как западные партнеры *никогда* не придавали ничему такому существенного значения и легко нарушали любой договор, если на этом был шанс загрести жар. Дело не в морали — просто буржуи хорошо знают, что на самом деле важно, и никому не обещают отказываться от собственной выгоды (в какие бы сладенькие речи ни выливалась публичная политика). После распада СССР российские преемники впали в полный маразм — поскольку у них не было вообще никакой своей позиции, никакого идеологического стержня; полная беспомощность и вторичность российской политики давно стала всеобщим посмешищем, а выступления мидовцев — сплошной цирк...

Поскольку этнические соображения не играют никакой роли в собственно человеческих отношениях, в стремлении людей разумно устроить свою жизнь, сделать все одинаково доступным для всех, — программа строителей нового мира не может включать ничего, что предполагает разобщение (по любому признаку): мы опираемся только на общее, на то, что связывает и объединяет, дает возможность трудиться сообща. Закрывать глаза на реально существующие различия, конечно же, нельзя — но подчеркивать их классовую сущность (а вовсе не мифическую «естественность») мы обязаны. И всячески бороться за решение реальных проблем, а не абстрактное разделение одной общей проблемы на несколько «национальных». Значит ли это, что ленинскую идею-фикс (насчет права наций на самоопределение) следует спустить в

унитаз? Никоим образом. При каких-то обстоятельствах бывает полезно вскрыть гнойник и выпустить гной. Лишь бы кровь при этом не вся вытекла. Но если заниматься хирургией в антисанитарных условиях — может получиться хуже: сепсис и смерть. Это не вопрос «права» на оздоровление — это элементарная гигиена. Если есть возможность быстро зарубцевать раны и в итоге получить полный контроль над остальным — можно что-то и ампутировать. Но это не исходный принцип, а чрезвычайная мера, жестко подчиненная интересам целого. В этом смысле можно принять ленинские эмоции [48, 235]:

Федерация есть союз равных, союз, требующий *общего* согласия. Как же может быть *право одной* стороны на *согласие* с ней другой стороны?? Это абсурд. Мы в принципе против федерации — она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства. Хочешь отделиться? Проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь или, вернее, если гнет и трения «сожительства» таковы, что они *портят* и губят дело экономической связи.

С тем маленьким (но очень существенным) дополнением, что такое отделение — отнюдь не инициатива *больного* органа, а сознательное решение пока еще *здорового* организма, в борьбе за *здоровье* (а не распад). Разумный человек будет защищать организм от инфекции, предотвращать внутренние коллизии (когда части целого превращаются в абстрактные «стороны») и постарается не доводить дело до хирургии. Экономические перекосы надо лечить экономическими мерами. Но если уж проникла зараза — любые методы хороши. Бывают тяжелые случаи, когда больной уже в беспомощности и не может отвечать за себя; тогда решение принимает кто-то другой — и тут уже все зависит от его разумности. Точно так же, сообщество стран может вмешаться в дела «суверенного» государства — и не только в его интересах, но и для предотвращения распространения (экономического) зла. Да, это во всей красе цинизм буржуазной международной политики; но там, где (и пока) сохраняется хоть какая-то государственность, остается и политическая грязь — что, конечно, разумному существу отнюдь не в радость. Однако сохранение элементов государственности при диктатуре пролетариата вовсе не то же самое, что сохранение государства! Ленин неуклюже пытается примазаться к Марксу [30, 20]:

Маркс писал в критике Готской программы: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революцион-

ного превращения первого во второе. Ему соответствует и политический переходный период, государством которого не может быть ничего иного, кроме как революционная диктатура пролетариата». До сих пор эта истина была бесспорна для социалистов, а в ней заключается признание *государства* вплоть до перерастания победившего социализма в полный коммунизм. Известно изречение Энгельса об *отмирании* государства. Мы нарочно подчеркнули в 1-ом же тезисе, что демократия есть форма государства, которая тоже отомрет, когда отомрет государство. И пока наши оппоненты не заменили марксизма какой-то новой, «агосударственной», точкой зрения, их рассуждения — сплошная ошибка.

Это беспардонное передергивание и перевираание Маркса: у него *вместо* государства (в его *роли*) — диктатура пролетариата; у Ленина — наоборот, диктатура пролетариата есть *тип государства*, и значит принципиально буржуазное явление! Подставлять вульгаризатора-Энгельса на место Маркса, как мы уже неоднократно видели, дело рискованное. Энгельс — лишь эхо марксизма, и мы судим о марксизме по его словам вынужденно, поскольку другого источника у нас нет; точно так же, мы знаем о позиции античных киников по разрозненным цитатам и мнениям — и должны критически воспринимать пересказы.¹⁵ Но марксизм состоит в том, что переходный период — не «отмирание» государства (само собой оно не отомрет — его надо активно вытеснять, противодействуя вредительству извне), а замена его *другой* формой правления, которая лишь *использует* до поры до времени старые методы принуждения — но по сути уже государством *не является*, а служит прототипом будущего народного самоуправления (именно такова была первоначальная идея советской власти). Точно так же первобытно-общинный строй использовал биологические формы в принципиально небιологических целях — а потом классовые общества использовали общину для построения «цивилизации». Точно так же буржуазная теория врожденной национальности использует биологию как орудие рыночной конкуренции и классовой борьбы. Для борьбы с государством (как органом классового насилия) нужна именно «агосударственная» точка зрения — и кто этого не понял, объективно прислуживает

¹⁵ После смерти Ницше, его прижизненные враги скомпоновали из черновиков книгу *Воля к власти* — более антиницшеанского сочинения не придумать! Можно допустить, что наша трактовка ленинских текстов заведомо предвзята и однобока; но у нас нет задачи представить здесь Ленина *каким он был* (его дела говорят об этом лучше любых слов) — мы, скорее, размышляем о том, какими не хотели бы стать мы.

мировому капиталу. Из такого понимания диктатуры пролетариата прямо следует, что все без исключения элементы государственности должны быть серьезно пересмотрены и преобразованы, приведены в соответствие с новым содержанием самого понятия власти, поняты как принципиально негосударственные. Возможно, оппоненты Ленина не нашли подходящих слов, чтобы выразить эту революционную мысль, — но Ленин не желает задуматься, понять собеседника, — а вместо этого наваливается на польских товарищей всей мощью того, что он считает сарказмом [30, 20]:

Вместо того, чтобы говорить о государстве (и *значит*, об определении его *границ!*), они [...] нарочно выбирают неопределенное в том отношении выражение, что все государственные вопросы стираются! Получается смешная тавтология: конечно, если нет государства, то нет и вопроса о его границах. Тогда не нужна и *вся* демократически-политическая программа. Республики тоже не будет, когда «отомрет» государство.

Но именно в этом соль! Не должно быть никакой республики — и никакой иной государственной формы! «Демократически-политическая программа» — это уступка буржуазии, доделывание того, что она не доделала в буржуазной революции (о необходимости чего сам же В. И. неоднократно напоминал). Разговор *не* о государстве, и *не* о границах (тем более, не о «естественных» границах по Энгельсу-Ленину), — речь об изменении экономического строя таким образом, чтобы исключить противостояние одних групп населения другим — что автоматически снимает и национальный вопрос. Тему быстренько заматают под ковер (это же «сплошная ошибка!») — и перебегают в стан субъективного идеализма [30, 20–21]:

Все признаки говорят за то, что империализм оставит в наследство идущему ему на смену социализму границы, менее демократические, ряд аннексий в Европе и в других частях света. Что же? победивший социализм, восстанавливая и проводя до конца полную демократию по всей линии, откажется от демократического определения границ государства? не пожелает считаться с «симпатиями» населения? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы наглядно видеть, как польские наши коллеги катятся от марксизма к «империалистическому экономизму».

Это отсылка к замечательному тексту Энгельса [13, 280], где он дважды говорит о «действительно естественных» границах; но в одном абзаце это границы географические (как у Англии), а в следующем абзаце —

они уже «определяются языком и общностью симпатий» и надо их установить только «крупным и жизнеспособным европейским нациям», а все остальные

обломки народов, которые еще имеются кое-где и которые не способны более к самостоятельному национальному существованию, должны остаться в составе более крупных наций и либо раствориться в них, либо остаться лишь в качестве этнографических памятников, без всякого политического значения.

Как вам этот капитал-шовинизм? И с этого Ленин собирается делать жизнь? По сути Энгельс как раз и выдвигает программу империализма, мирового господства «крупных и жизнеспособных», подминающих под себя всяческие «обломки». Разумеется, «военные соображения могут иметь здесь лишь второстепенное значение» — потому что мы делим деньги, а не этнические предрассудки!

Если бы марксист номер один дожил до наших дней, мы могли бы его спросить в лоб: а откуда взялись язык и «общность симпатий»? Чего ради куча народу вдруг стала выражаться одинаково и цепляться друг за дружку? Но он уже ответить не может — и придется думать своими мозгами. Вероятно, по нашему скудоумию, мы не можем увидеть никакой иной причины, кроме общности экономического развития, единства способа производства и, соответственно, образа жизни. Отсюда прямо следует, что этнические общности — не природная стихия, а продукт человеческой деятельности, и производство этого продукта подчинено тем же законам, по которым развивается та или иная общественно-экономическая формация. В частности, классический капитализм производит капиталистические нации путем концентрации конкурирующих производств на определенных территориях — отсюда «естественные» границы империалистических держав; в дальнейшем, как правильно указывает тов. Ленин, вывоз капитала преобладает над вывозом товаров — и возникают иные, экстерриториальные общности (колониальная система). При этом продолжается борьба за монопольный контроль — но все чаще мировым лидерам приходится договариваться меж собой и вводить квоты эксплуатации (как в Китае и на Ближнем Востоке). Так история готовит выход империализма на новый виток — установление «глобализма», когда границы вообще не важны, и правит бал единый всемирный капитал.

Прорыв к социализму означал бы в таких условиях не переделку границ, а переход к новому принципу разграничения: нет больше

национальных границ — а есть только граница между капитализмом и коммунизмом. В этом случае борьба за самоопределение (буржуазных) наций теряет всякий смысл — и стремиться надо к полному снятию экономических (а значит, и политических) барьеров, развитию прямых (нерыночных) экономических связей, вытеснению старого способа производства новой, неклассовой организацией. Но Ленин такой мир представить не в состоянии — ему надо всех поделить [30, 21]:

Новые «экономисты» думают то ли, что демократическое государство победившего социализма будет существовать без границ (вроде «комплекса ощущений» без материи), то ли, что границы будут определяться «только» по потребностям производства. На деле эти границы будут определяться демократически, т. е. согласно воле и «симпатиям» населения. Капитализм насилует эти симпатии и тем прибавляет новые трудности делу сближения наций. Социализм, организуя производство *без* классового гнета, обеспечивая благосостояние *всем* членам государства, тем самым дает *полный простор* «симпатиям» населения и именно в силу этого облегчает и гигантски ускоряет сближение и слияние наций.

Это софизм, подмена одного вопроса другим. Речь как раз о том, что победивший социализм — не нуждается ни в каком государстве (безотносительно к «демократии»), и границы ему реально не нужны — они только мешают. Пока буржуи отгораживаются от коммунизма «железным занавесом» (изобретение Черчилля!), самоопределение возможно только в одном смысле: та или эта сторона баррикад; если кому-то не по душе разумно устроенный мир — пусть отделяются (или «проваливаются к дьяволу» — очень точно сказано).

Социализм не может «организовать производство без классового гнета», пока существуют государственные границы: они как раз и представляют собой одну из форм этого самого гнета, и рисуют их для бедных, а не для богачей. И не о «членах государства» заботится неклассовая экономика, а о людях — без гражданства, без религий, без языковых предпочтений. Первая задача — не дать всемирному буржуинству уморить народ голодом; ее другая сторона — дать людям свободно и творчески трудиться, сделать общедоступными средства производства. Никто не вправе претендовать на исключительный доступ к общенародному достоянию. Теперь представьте, что кому-то больше нравится империалистическая Европа. Мы что, должны оторвать от себя кусок земли, за просто так отдать завоевания революции? После прихода к власти большевики первым делом объявили о национализации земель

и промышленных производств — это больше не собственность, и никакая кучка отщепенцев ничего требовать для себя не вправе! Хотите самоопределения? — пусть вам дадут землю за бугром, где народ еще не может самостоятельно распоряжаться продуктами общественного производства и вынужден терпеть имперское насилие. По-хорошему, выпускать сепаратистов надо голышом — им века не хватит, чтобы отдать должное тем, кто столько времени их кормил и одевал. Они заранее позаботились, чтобы вывести денежки в иностранные банки — вот пусть и целуются с тамошними банкирами.

Помните слоган украинских нацистов: *чемодан — вокзал — Россия?* Почему к буржуям должно быть иное отношение? Даже чемодан — уже лишнее. А то они мастера таможенно обходить...

Сколько будет желающих отделиться таким образом? Не очень-то и много. Мы сразу увидим кого именно представляют громогласные борцы за этническую чистоту. Возможно, за кем-то потянутся слуги и прочие наймиты (у которых рыльце в пушку). Тащить за собой детей — мы им не позволим, ибо это нарушает право детей расти в человеческих условиях, а не капиталистическом зверинце. Когда подрастут — сами будут решать, свободным волеизъявлением.

Полагаете, коллективный Запад встретит гостей с распростертыми объятьями? Видали мы, как по установленным квотам привечают диких мигрантов... С другой стороны, наводнить буржуинство беженцами без собственности — значит, обострить его собственные проблемы. Сгодится как прием классовой борьбы.

Когда этнический буржуй (особенно из-за рубежа) объявляет себя выразителем воли нации — логично поинтересоваться, кто его на это уполномочил. Конкретно: имена, фамилии, место проживания. Можете быть уверены: это сплошь буржуи, да их прихвостни из числа совсем не трудовых интеллигентов. Самые что ни на есть махровые черносотенцы. Враги рода человеческого. Команда эксплуататоров-кровопийц. Этот пункт тов. Ленин проглядел, разглагольствуя о нациях в целом. Когда возмущается трудовой народ — всегда можно спросить, что именно людям не нравится, — и получить конкретный ответ, пищу для размышлений и совместного обдумывания. Борцы за осчастливливание «своего» народа (терминология Энгельса и Ленина) — вообще ничего не будут обсуждать: им важно настоять на своем, выбить «свои» денежки. Никаких дискуссий — ведь им даровано *право!* Еще раз вспоминаем: право есть орудие классового господства, а по отношению к неимущим

юридические нормы — фикция, пустая бумажка, с которой даже в туалет не сходишь (могут воспринять как посягательство на устои). Воля населения — это буржуазный термин, не означающий ничего кроме воли господствующего класса (и его ставленников). «Волю населения», как правило, выражают те, кто населяет совсем другие места, гораздо комфортнее, — и таким выгодно не улучшать положение «своих» людей, а наоборот, доводить их до полного отчаяния.

Но тут тов. Ленин цепляется за некоего Отто Бауэра (которого во всех прочих контекстах ругательски ругает за антимарксизм) — и выбирает из него самое антимарксистское [30, 22]:

«Никогда социалистическая община не в состоянии будет насильно включать в свой состав целые нации. [...] Всякая государственная власть покоится на силе оружия. [...] Армия же демократической общины социалистического общества представляет собой не что иное, как вооруженный народ, так как она состоит из высококультурных людей, непринужденно работающих в общественных мастерских и принимающих полное участие во всех областях государственной жизни. При таких условиях исчезает всякая возможность чужденационального господства».

Бауэр полностью буржуазен! Утопическая картина «высококультурного вооруженного народа» целиком списана с Швейцарии (которая ранее списывала с США). Государственность Бауэр связывает только с силой оружия, без малейшего намека на экономику. Армия коммунистам, дескать, нужна исключительно для защиты от внешнего врага! — и ни о каких национальных разборках не может быть и речи. Но даже в этих мутных идеях можно заметить проблеск разума: «социалистическая община» противостоит миру капитала целиком, и граничит не с другими нациями — а с капиталистическим окружением (которое пока сохраняет признаки национального обособления). Ленин же — хлопает в ладоши и подхватывает реакционную мысль о вооруженной государственности, предлагая лишь добавить чуточку буржуазного глянца [30, 22]:

Вот это верно. При капитализме уничтожить национальный (и политический вообще) гнет *нельзя*. Для этого *необходимо* уничтожить классы, т. е. ввести социализм. Но, базируясь на экономике, социализм вовсе не сводится весь к ней. Для устранения национального гнета необходим фундамент — социалистическое производство, но на этом фундаменте необходима *еще* демократическая организация государства, демократическая армия и пр. Перестроив капитализм в социализм, пролетариат создает *возможность* полного устранения нацио-

нального гнета; эта возможность превратится в *действительность* «только» — «только»! — при полном проведении демократии во всех областях, вплоть до определения границ государства сообразно «симпатиям» населения, вплоть до полной свободы отделения. На этой базе, в свою очередь, разовьется *практически* абсолютное устранение малейших национальных трений, малейшего национального недоверия, создастся ускоренное сближение и слияние наций, которое завершится *отмиранием* государства.

По логике, устраняя классовый гнет, мы устраняем и национальный гнет (как одну из форм классового господства). «Перестраивать капитализм в социализм», не устраняя при этом любых форм неравенства (в том числе этнического) — а только создавая для этого «возможность», — просто шедевр ленинизма! Очевидно, моральный вывих — от демократии: нам предлагают насаждать ее везде и всюду, «вплоть до определения границ государства». Однако демократия (по определению) — всего лишь форма правления — то есть, форма классового господства; а где есть господство — там будут и угнетенные, и потому кому-то вполне может захотеться отгородить себя от угнетателей государственной границей. Ни о каком отмирании государства при этом и речи быть не может: государственность не нужна лишь там, где никто никого не угнетает. Однако в таком случае — зачем кому-то отделяться? Сам же Ленин протестует против отделения Чехии от Австрии — поскольку там уже все хорошо. Но пока сохраняется демократия — одни будут навязывать свою волю другим — и требовать отделения сообразно своим «симпатиям», — но не к «родному» населению, которое они хотят силой (большинством голосов) утащить за собой, — а к зарубежным спонсорам, которые науськивают одних демократов на других в интересах передовой забугорной демократии.

Разумный вывод только один: полностью снять с повестки дня этнические вопросы, вместе с прочими «симпатиями». Не делиться, а совместно разруливать наболевшее. К дьяволу демократию. Если моей симпатии симпатичен кто-то другой — я что, обязан представить выделенное мне обществом жилое помещение (а другого так просто не добыть) в их полное распоряжение? Мы что, будем рисовать новые границы, если за отделение выскажется помещичья усадьба или городской квартал? Ах, нет?! Но тогда извольте предъявить настоящие критерии, в соответствии с которыми конкретно этот — имеет право, а конкретно другой — тварь дрожащая. И не вешать нам на уши националистическую лапшу.

В качестве последней темы для обсуждения — о философских корнях. Нельзя не заметить, что ленинская политика по национальному вопросу во многом напоминает его же подход к религии. В обоих случаях — перед нами не продукт человеческой деятельности, а нечто мистическое и непостижимое, возникающее само собой и неотторжимое от человеческой сущности. В обоих случаях — это исключительно субъективное состояние, никоим образом не вытекающее из условий жизни и деятельности. Всякое посягательство на веру или национальные чувства объявляется поэтому преступлением — и остается только *проповедовать* (соответственно, атеизм или интернационализм), в надежде, что хоть у кого-то проклюнется разум — и расхочется волком глядеть на иноверцев (или инородцев). При этом партия должна прописать в своей программе (а государство в своей конституции) право каждого исповедовать (и распространять!) любую религию — и право национального самоопределения, — причем эти права гарантируются предоставлением части общественного богатства в собственность религиозных организаций или националистических союзов, — включая отчуждение (присвоение) ими «необходимых» для отправления культа земель и промышленных объектов. И в том, и в другом случае допускается свобода финансирования подрывной деятельности любыми неправительственными органами, в том числе из-за рубежа. Этой индустрии социализм не может противопоставить ничего кроме общих фраз — и пошлых пропагандистских брошюр, которые никто кроме как по разнарядке не читает.

Словечко «проповедь» — одно из любимейших у Ленина. Можно агитировать рабочих — но крестьянам только проповедовать; можно приструнить русских — но татарина придется мягко увещевать. Вместо того, чтобы признать равенство всех людей, независимо от рода занятий и происхождения, — усиленно подчеркивать различия.

Где еще такое встречается? Типичный пример — ложно понятое джентльменство: если на вас нападает мужик — его можно и по мордам; если то же самое делает женщина — тут надо деликатесы разводить. Считая количество жертв, журналист не преминет добавить: в том числе столько-то детей. Как будто взрослых убивать — это нормально, и будто бы дети не люди... Детишки разные бывают — помните стишок про сантехника Потапова? Но попробуйте остановить распоясавшегося малолетку! — на вас (помимо мерзавцев-родителей) набросится вся мировая общественность, и запросто покалечить могут.

Когда еврейский буржуй обирает еврейского бедняка — это никого не касается: так, семейные разборки... Но попробуйте отнять что-нибудь у еврейского буржуя (у бедняка отнимать особо нечего) — глобальное буржуинство тут же приклепает вам антисемитизм, по гроб жизни не отмоешься. Сейчас богатые арабы кое-где способны отразить деньги деньгами; но до сих пор вооруженные до зубов израильтяне уничтожают арабов победнее на их (арабов) собственной территории — соотношение числа жертв с обеих сторон различается на порядки, и это ясно показывает, кто тут верховный террорист. Ничего этнического: американцы точно так же вырезали вьетнамцев и прочих азиатов, культурные европейцы могли месяцами безнаказанно упражняться в бомбежке сербов и ливийцев... Но когда (кстати, посаженное Западом) правительство Бирмы проводит военные операции против вооруженных националистических группировок — господа закатывают истерику про геноцид и организуют массовый исход беженцев в соседние страны (заодно подсаживая и их экономику). Никто по факту мирным жителям не угрожал (кроме горстки бандитов той же народности) — но людей срывают с места и гонят в зарубежные лагеря, вынуждают терпеть всяческие кошмары.

Борьба за привилегии одних — это всегда и борьба против всех прочих, которым чью-то хорошую жизнь придется оплатить из своего кармана. Так, американский лозунг о ценности негритянских жизней — одновременно утверждает, что белые жизни не стоят вообще ничего. Любое раздувание национального вопроса есть попытка отвлечь внимание от главного — от классового неравенства и эксплуатации бедняков (любой цветности) буржуями. Когда Ленин ведется на эту уловку и кладет весь революционный задор на алтарь воинствующего национализма — он больше не представляет интересы пролетариата, а служит верой и правдой их угнетателям, мировому капиталу.

Характерным признаком этнической общности считают якобы встроенное в каждого от природы этническое самосознание, чувство принадлежности какой-то одной народности. Но задумайтесь: если некто никогда не знал о существовании бамбара или айнов — мог бы он считать себя их соплеменником, при всем внешнем сходстве, и даже генетическом родстве? Никакая природа ему этого не подскажет. Украинский негр (персонаж известного анекдота) никогда не узнает, что он еврей, пока не переедет в Израиль. Следовательно, существует общественный механизм производства этнических различий — а значит,

это производство можно поставить под общественный контроль, а потом и полностью вытеснить из экономики.

Любые человеческие общности (семья, община, художественное направление, нация или воровская шайка) — продукт соответствующих производств; в каждой культуре (продукт производства человеческой истории) существует иерархия общностей, которая по-разному может быть развернута по отношению к тем или иным практическим задачам. Капитализм выхватывает одно из таких *обращений иерархии* — и выдает за естественно сложившееся, чтобы ни у кого не возникало вопроса, для чего это капиталисту потребовалось. Но если задуматься — этническая принадлежность есть духовное рабство, а право на самоопределение — разновидность крепостного права. Человек не сам решает, с кем ему по пути, — нет! его насильно приписывают к банде и отводят вполне определенную роль, — подобно тому как блатные проигрывают в карты нового сокамерника. То же самое во многом справедливо и в отношении религий. Можно сколько угодно объявлять себя христианином — но пока попы одной из конфессий не согласятся принимать от неофита положенные по протоколу знаки раболепия (включая финансовые), никакого отношения к христианству ни у кого не возникает. Точно так же, можно считать себя французом в душе, прекрасно говорить по-французски, овладеть тонкостями культуры, недоступными даже французам в десятом поколении, — это никоим образом не влияет на выдачу европейского паспорта. Точно так же, супружеские права возникают лишь после официального оформления брака, а ученый просто обязан состоять в одной из академических структур. Никакого поэта не признают, пока он не вступит в один из «творческих» союзов. Наличие банковского счета вовсе не делает обладателя рыночным игроком. За легальность можно сколько угодно бороться — но возникает она лишь в процессе общественного производства, которое в классовом обществе направляет господствующий класс.

Свобода вероисповедания — это вовсе не право верить во что угодно, а необходимость подчиниться одной из господствующих конфессий, со всеми вытекающими отсюда организационными, материальными и моральными обязательствами. Если бы у человека по жизни ровным счетом ничего от религии не зависело, ему бы и в голову не пришло разбираться в богословских тонкостях — ну, разве что, для общего образования или в качестве сырья для собственного творчества. Национальное самоопределение — не субъективное предпочтение или

«симпатия», а вопрос бизнеса, попытка нерыночным путем получить рыночные преимущества. В любом случае речь идет об отчуждении собственности, о противопоставлении одного человека другому, — следовательно, об отчуждении разумности, предполагающей полную свободу деятельности и общения. Вот это и должна подчеркнуть последовательно коммунистическая программа, вне зависимости от тактических соображений. Разъяснять населению, что не может быть свободы, пока есть рабство; призывать к уничтожению любых барьеров, а не стоять на страже построенных ушлыми прохиндеями. Именно это называется классовой борьбой.

Призывы к политкорректности в этнических и религиозных вопросах — предполагают, что эти вопросы имеют хоть сколько-то существенное значение для вовлеченных в общественное производство (совместную деятельность). Это уступка господствующему классу — следование *его* курсом, жизнь *его* интересами. Каким образом можно ущемить религиозные или национальные чувства, если мы занимаемся чем-то таким, что не имеет отношения ни к тому, ни к другому? Давайте устранять классовое неравенство, строить экономику, обулаивать быт. Отношение к любым общественным силам и к отдельным личностям тогда полностью определяется тем, в чем они нас поддерживают, а где противодействуют. При чем тут религия и этнос? Когда буржуазия пытается выдвинуть на первый план такие второстепенные мотивы, нам не нужно обсуждать их планы размежевания — мы будем говорить лишь о размежеваниями с размежевателями. Но даже в этом вопросе нельзя доводить до абсурда: дело не в том, чтобы натравить класс на класс, — важно вытащить человеческое, разумное, из каждого и показать, как из этих кирпичиков строить неклассовый мир.

Такой подход никоим образом не предполагает «отделения» религии или национальной культуры от властных структур переходного периода, при «диктатуре пролетариата». Народу безразлично, когда его пытаются разобщить, растащить по буржуазным клетушкам. Коли уж мы собрались строить разумно устроенное общество — все стороны общественной жизни мы обязаны поставить под разумный контроль. Но при этом речь не идет о противодействии религии или национализму как таковым — достаточно последовательно устранять саму возможность их *влияния на общественную жизнь*, — а жизнь эта постепенно захватывает вся стороны человеческого бытия, ранее искусственно разделенные рыночной экономикой.

Организация образования и воспитания на неклассовых принципах играет в этом величайшую роль. Ребенок пока еще, как правило, рождается конкретной женщиной — хотя уже и не всегда биологической матерью. Но рождается он не *чьим-то* ребенком — а членом общества, и общество обязано с самого рождения (или раньше) обеспечить равные возможности индивидуального развития для всех. А это невозможно, пока ребенок остается (насильственно удерживается) в семье, пока он «по рождению» принадлежит определенному социальному слою, этносу, — и пока ему навязывают религиозную обрядность и дикие предрассудки. Максимальная однородность условий социализации на начальных этапах — безусловная необходимость при строительстве неклассового общества. Поначалу все дети одинаковы. По мере развития проявляются индивидуальные склонности — и тогда разумно по-разному организовать среду для каждого, чтобы полнее удовлетворить именно его потребности, а не подогнать под безликий стандарт. Понятно, что это требование по сути не зависит от возраста. Важно, что полнота индивидуальности — прямая противоположность любым формальным группировкам, и человек, с младенчества привыкший самостоятельно делать свою жизнь, уже не подвержен внешнему диктату — никакие верования или этнические признаки ему не указ.

Разумеется, человечество не сразу придет к такой постановке социализации. Для этого нужна материальная база — но для этого нужна и политическая воля, которой так не хватало большевикам, и прочим марксистам. Пока классы есть — не учитывать особенностей способа производства при капитализме было бы всего лишь утопией. Мы не всегда можем собрать в кулак материальные силы, по-новому выстроить производство. Но мы вполне способны по крохам собирать идейный багаж, увязывать одни находки с другими, чтобы картина нашего будущего дома стояла у нас перед глазами задолго до нулевого цикла. Эта деятельность — одна из необходимых сторон объединения разумного человечества: наше будущее — не слепая стихия, а продукт труда, который сводит воедино вклады всех ныне живущих — и прошлых поколений. Тем самым, у нас изначально есть надежный критерий правильности выбранного направления: если это не способствует устранению всяческой групповщины и всемерному развитию индивидуальности — значит, с теориями и практикой что-то не так. Возможно, мы в чем-то ошибаемся. Правьте — мы не против!

Семейное дело

Сразу оговоримся: личная жизнь Маркса, Энгельса и Ленина нас не интересует. То есть, вообще. Самое большое, она может послужить иллюстрацией каких-то идей — точно так же, как любая другая жизнь.

Проблема в том, что сколько-нибудь продуманных идей на тему любви у классиков марксизма, мягко выражаясь, немного — а у В. И. почти никаких указаний на этот счет (за исключением пары известных писем — да воспоминаний Клары Цеткин, относиться к которым надо с соответствующими поправками). Возможно, где-то имеющиеся тексты не вошли в официальное собрание сочинений — из политических соображений, чтобы не портить лубочную картинку. Что там, за семью печатями, — мы уже не узнаем. После того, как в архивах похозяничали новые россияне, подлинники скоропостижно испарились, а заведомым фальшивкам, смакующим пикантные подробности, верить никак нельзя. Легче разобраться в наследии пророка Мухаммада или Пифагора — потому что наивные сказки тех лет и близко не стояли с современными технологиями промывания мозгов. В любом случае, придется строить догадки — в том числе, учитывая биографические обстоятельства.

Оснований для очень уж глубоких выводов у нас нет — но и совсем без выводов оставаться не хочется, так что ограничимся хотя бы поверхностными наблюдениями. На их основании складывается (возможно преувеличенное) чувство чего-то трагического — и не совсем правильного. Пробуем разобраться в своих ощущениях — а как оно на самом деле, может быть, уже и не важно.

Сам факт тщательного и упорного избегания разговоров на тему — наводит на мысли. Очень разные. Например, о политической мудрости: не дать врагу развести реальное дело пошленькими дискуссиями. Сделать это на столь щекотливом предмете очень легко — а потом не отмоешься. Об аккуратности на письме — в письмах Инессе Арманд (кому же еще!) [49, 326]:

Дорогой друг! Entre nous — приватно! — не советую посылать *такого* письма. [...] Мой совет: так писать *только* архидрузьям [...] Для публики с.-д. *вообще* переделать в архисторожное.

И ей же [49, 57]:

Надо учесть тот объективный факт, что иначе *они* выхватят соответствующие места из вашей брошюры, истолкуют их по-своему, сделают

из вашей брошюры воду на свою мельницу, извратят ваши мысли перед рабочими, «смутят» рабочих (посеяв в них опасение, не *чужие* ли идеи *Вы* им несете).

...иногда *одной* фразы довольно, чтобы была ложка дегтю...

Нельзя сказать, чтобы сам В. И. всегда воздерживался от скандального журнализма, — лихости ему не занимать! Но разговоры на публику сильно отличаются от внутривнутрипартийных разборок, и без прочных тылов лезть на рожон тов. Ленин не стал бы. Следовательно, если по интимным вопросам наблюдается строго нулевая активность — это неспроста: вероятно, не было той идейной определенности, которой он умел заразить (или подавить) собеседника в экономических и политических дискуссиях. А это уже немало — и (вопреки воле В. И.) приподнимает завесу тайны. Чужали его идейные противники слабинку? Наверняка. Пытались задеть и спровоцировать? Всенепременно. Только напали они не на какого-нибудь слабака — а на человека железной воли и самодисциплины. Который умел ломать переход на личности простым и эффективным приемом: достаточно перевести разговор в область классово-борьбы — и говорить о задачах момента, а не абстрактных материях и смутных идеях. Здесь Ленин в своей тарелке — и спуску никому не даст.

Есть в ленинской журналистике другие запретные темы? Конечно. Сразу же замечаем не менее щепетильное отношение к вопросам религии и этнического сознания. Кое-где все три темы переплетаются: замена церковного брака светским, освобождение женщин Востока... Везде один рефрен: осторожность, избегать остроты, исключительно путем пропаганды и просвещения... Отделиться, отгородиться, спрятаться. Не вмешиваться и не руководить. Пусть оно движется помаленьку — а мы будем впечатлять экономическими успехами, которые, дескать, агитируют сами за себя.

Тут корень зла. Как-то не вяжется с разумностью страусиное зарывание мозгов в политический песок. Разум для того, чтобы активно вмешиваться в развитие мира, перестраивать любые его стороны, окультурить их, вырвать из дикой природности. Но как только мы от чего-то отгородились — мы уже не можем на это влиять, и влиять будут другие, кто не отгораживается ни от чего, а без зазрения совести топчет каждую мелочь в грязном бизнесе. Отказ от (хотя бы предварительной) работы над последовательно материалистической философией духа — прекрасный подарок всем, кто спекулирует на «высоких» материях,

якобы недоступных разумению простого человека. Всякая подлинно разумная деятельность есть единство материального и духовного производства — и не взлетит коммунистическая мечта на одном крыле. Дух не просто надстройка над материей, не «приложение» к ней — это одна из сторон целого. Он не возникает сам собой, пассивно следуя за движением экономики, — дух надо сознательно производить, как любой другой продукт, — и решительно поворачивать с индивидуалистических тропинок на широкую дорогу планового общественного хозяйства. Иначе производство подомнет под себя частник — а буржуазность духа неизбежно приведет и к перерождению экономики.

Маркс недаром начинал именно с идеологии: не определившись с идеями, в экономике делать нечего. К сожалению, Маркс, решив принципиальные вопросы для себя, не считал возможным особо останавливаться на этой проблематике — и для последователей его открытия так и остались комом сырых заметок, раздранных на цитаты. Развить отдельные положения пытался Энгельс — но крайне неуклюже, в совершенно буржуазном ключе; эта буржуазность во многом передалась и Ленину. Поскольку же на всякие «теории» духовности наложено табу — крайне важная для строительства нового общества (включая формирование нового человека) идеологическая работа искусственно приторможена, и собственно идеологические вопросы подменяются вопросами политическими: вместо борьбы с религией — отношение государства к церкви; вместо борьбы с национализмом — право этнического (а значит, и экономического) обособления; вместо свободной и гордой любви — семейные дела.

Разумеется, свято место пусто не бывает — и там, где нет сознательного отношения к человеческой духовности, стихийно складывается что-нибудь синкретически-эклетическое, по кусочкам надерганное из разных источников, пропитанное предрассудками и личным опытом. Охарактеризовать это интуитивное представление мы можем только опираясь на поступки человека — поскольку он сам не отдает себе отчета в происхождении своих мотивов, но так или иначе следует им. Здесь, к сожалению, приходится залезать в биографию и выносить сор из избы. Не потому, что это кому-либо интересно, — просто другого материала нет.

Что мы знаем? Семья Ульяновых — явление уникальное. Даже с поправками на официозную идеализацию. Удивительно гармоничные отношения в семье не могли не повлиять на мироощущение и образ

мысли В. И. Чтобы при таком происхождении возникла идея семьи как первой формы классового неравенства — надо выйти на уж очень убедительные обоснования; а где их взять? Даже у Маркса — лишь смутные подозрения. Энгельсовская апологетика изобретенной им же «пролетарской моногамии» отнюдь не способствует мечтам об ином характере интимной близости людей будущего. Отсюда первый кит ленинской (синкретической) философии духа: противоположность принципиально общественного материального производства (включая организацию быта) — и узко семейного вызревания духа. Полное отделение одного от другого, глухая стена: общество не имеет права вмешиваться в личную жизнь, личная жизнь — частное дело каждого, повод проявить себя и поработать над собой, — но без каких-либо предписаний со стороны. С фантастической (или фанатической?) скрупулезностью именно эта программа претворена в жизнь. Современные знаменитости — поголовно страдают эксгибиционизмом; ленинская семья — бесконечно скромна. Из писем мы узнаем какие-то бытовые детали — но характер интимности, самое большое, прячется где-то между строк. Логический вывод — чрезвычайная важность духовной близости для человека, высочайшая святость этих отношений. Это второй исходный пункт.

Трагедия в том, что при отделении любви от общественной жизни теряется смысл и того, и другого. И приходится соединять две стороны одной личности чисто внешним образом, рационально (рассудочно), а не разумно. Поскольку происходит все это в классовом мире, такое соединение неизбежно принимает форму соперничества — и одно встает над другим. Вместо сотрудничества и взаимопомощи — разделение труда. Дух, отделенный от плоти, превращается в абстракцию, фетиш; близость становится узами. Соответственно, победа любви (которая одновременно есть и ее полное поражение!) означает (в буржуазных терминах) конец карьеры, потерю самоуважения — что компенсируется еще большим замыканием в узком кругу (и духовным тиранством), и так далее, под откос, к нравственной деградации. Противоположность — подчинение личного общественному, когда неспособность любить прикрывают (не обязательно на публику) высокопарными фразами о призвании и долге. Именно сюда качнется чаша весов, когда понимание объективного в культуре уже есть — а о происхождении и роли субъекта никаких понятий. Первичность человека экономического, классового субъекта — третий устой ленинской идеологии в области духа. Так

воспитывали советского человека (не путать с обуржуенным отребьем, «совками»!) на всем протяжении коммунистического эксперимента в СССР — пока еще оставались какие-то мечты о неклассовом будущем:

Раньше думай о Родине —
а потом о себе!

Легко видеть, что обе крайности тесно примыкают к поповщине. Будет это религия «закона» (иудаизм, конфуцианство), «просветления» (буддизм) или «откровения» (христианство, ислам) — принципиальной разницы нет. Суть религии — духовное рабство, подчинение чему-то одному — вместо универсального освоения мира. Это обратная сторона экономического рабства, эксплуатации народных масс господствующим классом. Изначально религиозное отношение к любви закономерно ведет Ленина к «страху божьему», преувеличенным представлениям о религиозности людей (у страха глаза велики!), якобы определяющей их видение мира и мотивирующей деятельность, — и следовательно, к чрезмерной озабоченности по поводу «религиозных чувств». Рикошетом перекося в духовной жизни бьет по «производственной деятельности»: религиозное отношение к словам Маркса и (особенно) Энгельса верно подметил главный теоретический оппонент Ленина, А. Богданов. У него, конечно, тоже рыльце в пушку, — и уж лучше догматический марксизм, чем откровенно идеалистические догмы эмпириомонизма...

Но вернемся к семейной жизни. Судя по всему, она выстроена совершенно сознательно, и приоритет дела над чувствами заложен с самого начала. Ленин с малолетства решил стать профессиональным революционером — и никогда бы не пошел на банальный брак по любви. Были ли любовь? Однозначно. Тон писем «дорогой Надюшке» говорит о том, что до последних мгновений отношения в семье оставались нежными, явно выходящими за рамки революционного товарищества. Защищал он свою половину от любых обидчиков с юношеским пылом, заранее всех предупреждал, что она его жена, — и мог с кем угодно поссориться за грубое слово. Но при этом — работа, работа, работа... Никаких поблажек. Не позволить себе обрасти бытом — сохранить предельную мобильность и готовность включиться в борьбу в любой момент и где угодно. Разумеется, никаких детей: это, видимо, входило в семейную конституцию в самых ранних редакциях. Супруги любили гулять, любоваться природой; для них это было редкой возможностью побыть вдвоем, отключиться на миг от классовых битв. Те же прогулки с товарищами — превращались в политические дебаты. Если жить

только этим — недолго с катушек слететь; любовь (какая ни на есть) давала прочную опору, возвышалась неприступной цитаделью над всеми штормами.

Можно сказать, что Ленин и Крупская дали миру новый тип любви, выдвигающий на первый план духовную близость, а не только половое влечение или просто симпатию, — и уж конечно не экономические интересы! На границе XIX и XX веков такая любовь рождалась повсеместно — но совершенно так же, таясь от нескромных глаз, — и потому примеров у нас почти нет. Можно вспомнить о супругах Кюри и Лафарг, о Шляпникове и Коллонтай, о любви Кубанева, или Чекмарева... Вторая половина XX века прошла под знаком любви Johnny Halliday и Sylvie Vartan — которая окончательно разделила любовь и семейственность, разрушила вековой стереотип; здесь любовь решительно отказывается скрываться, заявляет о себе во всеуслышание и становится важнейшим элементом общечеловеческой культуры.¹⁶

И снова о трагизме. Новая духовность вынуждена вписываться в традиционные, буржуазные формы — и большая семья Ульяновых неприятно поражает замшелой патриархальностью: при всем уважении к дамам — явное лидерство мужчин; повышенная значимость родства; подчеркнутая почтительность со старшими; особый статус невестки. Н. К. росла в несколько иной среде, и ей пришлось переступить через себя, чтобы соответствовать и вписаться; она с этим справилась — но налет отчуждения в отношениях с «аборигенами» оставался всегда. Трудно сказать, как оно было на уровне интимности, — но безусловное доминирование В. И. в семье выглядит иногда бездушной жестокостью: одно дело партийная дисциплина — а человеческие отношения таки другое. Опять же, рикошетом все сказывается и на идеологии. Несмотря на все старания «сделать политику доступной для каждой трудящейся женщины» [39, 203], укоренившиеся представления о мужском и женском труде (вместо труда как такового) проскальзывают на каждом шагу. Женщинам предлагается в первую очередь поднимать сферу общественного питания, бытового обслуживания, воспитания и образования... Можно про это говорить возвышенно [40, 193]:

Втянуть женщину в общественно-производительный труд, вырвать ее из «домашнего рабства», освободить ее от подчинения —

¹⁶ Разумеется, нельзя верить всему, что пишут поэты и разыгрывают на сцене актеры, — надо судить по совокупности фактов и читать между строк.

отупляющего и принижающего — вечной и исключительной обстановки кухни, детской — вот главная задача.

Однако на деле речь всего лишь о переводе «кухни» и «детской» на уровень общественного производства, своего рода индустриализация; дело очень важное — но для женщины не открывает каких-либо новых перспектив, не включает ее в народное хозяйство *универсальным* образом. Точно так же, в политике основное занятие женщин — бухгалтерия, повсеместный контроль за «учетом продуктов, товаров, складов, орудий, материалов, топлива и т. д. и т. п. (столовых и проч. особенно)» [40, 65]. К этому надо *обязательно* привлекать женщин и притом поголовно» [40, 66]. Впрочем, памятуя, что и для мужчин политика сводится главным образом к «учету и контролю» (см. выше о субботниках), — это, вроде бы, уже не выглядит дискриминацией. Однако элементы сексизма вылезают в самой постановке задачи: добиться равенства женщин *с мужчинами* (а не равенства всех людей, независимо от пола и возраста) [39, 201]

Для полного освобождения женщины и для действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем производительном труде. Тогда женщина будет занимать такое же положение, как и мужчина.

Но почему женщины должны приспосабливаться к мужскому миру, а не наоборот? Опять «догнать и перегнать» [40, 157–158]:

Равенство по закону не есть еще равенство в жизни. Нам надо, чтобы женщина-работница добилась не только по закону, но и в жизни равенства с мужчиной-работником. Для этого надо, чтобы женщины-работницы все больше и больше участия принимали в управлении общественными предприятиями и в управлении государством. Управляя, женщины научатся быстро и догонят мужчин.

Равенство не для женщин или мужчин. Оно для людей. Думать надо о *снятии* противоположности полов! Чтобы даже не задумываться о различиях. До тех пор, пока (и в тех отношениях, в которых) в нашем сознании женщины отличаются от мужчин — будет и неравенство. Одним лишь *участием* в управлении тут не обойтись. Надо реально *управлять*. Каждый на своем участке общественного хозяйства — там, где важны знание и опыт. А не пустое политиканство [39, 204]:

в Советской республике для женщин-работниц открывается политическая деятельность, которая будет состоять в том, чтобы своим организаторским умением женщина помогала мужчине.

Такая, вот, политика: на подхвате у мужиков... Вот она, общественная проекция ленинской семьи! Ленин всюду трубит, что [39, 203]

в старом буржуазном обществе для политической деятельности требовалась сложная подготовка, и это было недоступно женщине.

Это заведомая ложь. Политически активных женщин всегда хватало, с древнейших времен (традиции матриархата, родовой строй, царица Клеопатра); средневековье оставило массу примеров настойчивого вмешательства женщин в политику (а что им оставалось делать, когда от всего прочего они формально отстранены?); лишенные избирательного права, европейские буржуазки яростно за него боролись (а это тоже политика!) — но не ограничивались только таким, формальным участием: салоны некоторых дам имели большее влияние на судьбы наций, чем дворцы и парламенты. По-хорошему, надо не тащить людей (женщин или мужчин) в политику, а устранять саму необходимость политики — буржуазного противопоставления функций управления обществом обществу как таковому.

Складывается впечатление, что тов. Ленин слишком оторван от народа и за интеллигентными хлопотами плохо представляет себе чем люди на самом деле живут. В чем и сам признается [34, 322–323]:

После июльских дней мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего брата, конечно, рабочий. В далеком рабочем предместье Питера, в маленькой рабочей квартире подают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозяин говорит: «Смотри-ка, какой прекрасный хлеб. «Они» не смеют теперь, небось, давать дурного хлеба. Мы забыли, было, и думать, что могут дать в Питере хороший хлеб».

Меня поразила эта классовая оценка июльских дней. Моя мысль вращалась около политического значения события, взвешивала роль его в общем ходе событий, разбирала, из какой ситуации проистек этот зигзаг истории и какую ситуацию он создаст, как должны мы изменить наши лозунги и наш партийный аппарат, чтобы приспособить его к изменившемуся положению. О хлебе я, человек, не выдавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы. К основе всего, к классовой борьбе за хлеб, мысль подходит через политический анализ необыкновенно сложным и запутанным путем.

Когда В. И. рассуждает о «домашних рабынях» и необходимости их освобождения «от этой мелкой, отупляющей, непроизводительной

работы», вспоминаются строки его супруги:

Но если в рабочей среде бывает иногда, что муж помогает жене справлять домашнюю работу, то в так называемых интеллигентных семьях, как бы скудны ни были их средства, мужчина всегда стоит в стороне от хозяйства [...] «Интеллигент», моющий пол или штопающий белье, вызывал бы насмешки всех окружающих.

Интересно, Ленин мыл пол? штопал белье? — что-то сомнения берут... Например, Н. К. в одном из писем родне рассказывает, что в Шушенском их вдоволь поили молоком; знал тогда ее супруг о том, как это молоко достается крестьянам? Нет, он писал ученую книгу по экономике — и (как заправский барин) увлекался охотой, бродил по лесам с берданкой в компании прочих поселенцев (впрочем, возвращаясь без добычи). Тем более отошел от мирской суеты вождь пролетариата в благополучных европах, где и его верная подруга понемногу перестроилась на «интеллигентский» лад.

Нетрудно отыскать в работах В. И. другие, более опосредованные отзвуки его синкретической философии духа. Продолжая тему сексизма и жестокости, мы никак не можем пройти мимо еще одной любви: Ленин и Арманд. Как бы ни пытались ее опошлить злопыхательствующие антисоветчики, это несомненный образец высокой трагедии, рожденной противоречием зарождающейся свободы духа — и уродливостью буржуазного быта, его влиянием на сознание и самосознание. В отличие от Н. К., Инесса отнюдь не склонна безоговорочно принимать роль самоотверженной помощницы: она чувствует себя женщиной — и этим горда, и требует, чтобы другие с этим считались. Для нее существует не только мужчина, и не только работа: есть еще и любовь к детям, и великая ответственность за их судьбы. Ей трудно, ей приходится выкручиваться и самой себя обслуживать... Из письма Кларе Цеткин:

Ах, такие женщины, как Вы, которые занимаются политикой, очень счастливы: они не знают никаких хозяйственных забот.

Когда в 1917-м Ленин зовет ее в Россию, она колеблется — ей надо подумать, — и здоровье пошаливает, — а он закусил удила [49, 404]:

Не могу скрыть от Вас, что разочарован я сильно. По-моему, у всякого должна быть теперь одна мысль: скакать. А люди чего-то «ждут»!!..

Пришлось ехать. Кончается тем, что товарищ не от мира сего отправляет ее «оздоравливаться» на послевоенный Кавказ — где недобитые банды и холера — и умирает она то ли от инфекции, то ли от сердечного приступа...

Глупо живописать Ленина эдаким монстром, домашним тираном, испортившим жизнь двум замечательным женщинам (которые всегда были в теплых, по-настоящему дружеских отношениях друг с другом). Речь о любви. Которая бывает очень разной — а в классовом обществе зачастую трагической. Любил В. И. «дорогого друга» Инессу? Еще как! Таких писем он не писал больше никому. Ее молчание становилось для него пыткой. Но мог он любить ее как другие любят других женщин? Однозначно нет. Потому что он не другой — и она не другая. И этим они интересны друг другу. Ленинский «кодекс чести» — ответвление буржуазной морали; но в этой буржуазной форме свет чего-то нового, еще не понятого — и в какой-то мере пугающего.

Любила она его? Еще как! Иначе все совершенно необъяснимо. Следовать формальностям, блюсти приличия — ей было намного труднее. Она знала: любовь забирает все. Но и хотела в ответ — всего! Без оглядки на досужие сплетни и партийную дисциплину. Когда дело начало принимать опасный оборот — Ленин отсылает ее от себя; это жестоко — но иначе он поступить не мог, и она это знала, и знала Н. К., хорошо изучившая своего мужа, который никогда не опустился бы до банального адюльтера: это, возможно, и не было бы супружеской изменой (какая измена, когда всем заранее все ясно?) — но стало бы изменой любви, духовной смертью. Инесса все поняла — и выдержала, и не изменила своей любви. Больше интимности от В. И. просто невозможно требовать — он раскрывается как ни с кем, выворачивает душу наизнанку [49, 340]:

Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д.

Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками.

Видели этого крутого революционера? Рыдает на груди дамы сердца — и все же остается собой: надо продолжать — и он возьмет себя в руки, и будет продолжать. Существует мнение, что женщины больше всего любят в мужчинах определенность, внутреннюю цельность. Этого у Ленина хватает на двоих...

Вероятно, Инесса иногда намеренно играла чувствами великого человека: это хоть немного сглаживало боль от невозможности полноценных человеческих отношений, чтобы не надо было прятаться от всех — включая себя. Как бы то ни было, у нас есть надежный индикатор накала страстей: чем формальнее тон писем, чем больше

Ленин строит из себя дядю, — тем больше тоскует, и боится не выдержать. Скорее всего, для Н. К. это было как на ладони: при всей суровости в партийных делах, ее супруг оставался наивным мальчиком в делах любви, — и она в какой то мере была рада, что эту, человеческую сторону подруга вытаскивает на свет, так что обеим удастся погреться у огонька. Что ж, любовь бывает и такой...

Но для нас сухой остаток тот, что на основании скудных биографических подробностей удается выстроить непротиворечивую картину идеологического фундамента, на котором зиждется практика перевода вопросов духовного производства в плоскость текущей политики. В силу стихийности и синкретизма этой философии, она оказывается эклектичной и непоследовательной — но она есть, и только потому экономическая программа Ленина не повисла в воздуха и не рассыпалась при первом же столкновении с необъятностью задачи. Нечеткие представления о духовности, разумеется не добавляют шарма собственно политической перспективе — но никто и не предполагал, что материалистическая философия духа родится сама собой, на пустом месте: придется не раз обжигаться и падать, пока кто-то другой додумает все, до чего не додумались мы. А пока, с имеющимся гипотетическим багажом, попробуем присмотреться к единственной известной нам попытке рефлексии В. И. на тему любви.

В самом начале 1915 года Инесса присылает Ленину план будущей брошюры о любви «для работниц». По всей видимости, дальше плана дело не пошло — и, вероятно, даже не планировалось: мишенью было сердце любимого. Это коварная (если исходить из литературной традиции — очень женская!) провокация, попытка вытянуть из наглухо застегнутой на все пуговицы души (тогда уже признанного) вождя хоть какие-нибудь признания. Несомненно, если бы Ленин заинтересовался, попросил продолжать, — мы получили бы уникальнейший по идейной значимости документ, и судьба марксизма сложилась бы иначе. Однако стойкий боец не на шутку перепугался, струсил, попросил пощады. Разумеется, в своей манере: беспощадная критика [49, 51–52]. Через неделю до него (после чувствительного пинка от Инессы) дошло, что нельзя *так* разговаривать с любимой женщиной, — и вдогонку летит еще одно письмо [49, 54–57], где (в качестве слезного извинения) вопросы любви обсуждаются *по существу*. Более того, В. И. *даже* допускает возможность публикации (хотя и просит сохранить его инкогнито). Для него это колоссальный риск: как все прекрасно

понимают, если бы дошло до широкой общественности — отсидеться в стороне Ленину никак не удалось бы. Мадам Арманд могла гордиться собой: большего признания в любви просто невозможно было ожидать. Она еще покапризничала для виду — и на этом дело потихоньку заглохло: всаживать любимому нож в спину — не в ее правилах.

По счастью, письма сохранились — и в 1939 году цензура по каким-то соображениям разрешила их опубликовать (тогда как раз посмертно разбирали личный архив Крупской — и надо же было тиснуть хоть что-нибудь!). Так что теперь у нас есть прекрасная возможность проверить нашу теорию на экспериментальных образцах.

К сожалению, нет перед глазами писем другой стороны — и о реальных масштабах происходящего можно только догадываться. Из проекта брошюры выдан один-единственный пункт; скорее всего, по остальным возражения тоже имелись — но (совершенно по-ленински) все собрано для удара на главном направлении:

Одно мнение должен высказать уже сейчас:

§ 3 — «требование (женское) свободы любви» советую вовсе выкинуть.

Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование.

В самом деле, что Вы под ним понимаете? Что *можно* понимать под этим?

Логично предположить, что и для Инессы это было центром проблемы, без чего все остальное теряет смысл. Ленин пишет:

Дело не в том, что Вы *субъективно* «хотите понимать» под этим. Дело в *объективной логике* классовых отношений в делах любви.

Типичный *уход* от ответа, попытка *подменить* четко поставленный вопрос совсем другим: речь *именно* о субъективном, о значении любви *для человека* — то есть, по сути, о человеческом отношении к женщинам. А значит, и о человеческом отношении ко всем людям без исключения, без деления по полу, возрасту, конфессии, этнической или классовой принадлежности. Сводить это к политике — верх неприличия.

Говорить о любви — значит, говорить о свободе. Любовь *и есть* свобода — духовное выражение экономического отношения. Кто боится связать эти две идеи, тот не умеет по-настоящему любить — и не свободен. Нет ничего, что нельзя было бы понять превратно (см. выше о пошляках). Ленин не стесняется дать бой «политическим глупостям» — но сливается в кусты, как только речь заходит о духовности, о назначении человека, о его месте в мире. Однако если не решить этот вопрос — зачем все остальное? Коммунизм ради коммунизма? Какая

пошлость! Это совершенно буржуазная формула: движение все — конечная цель ничто.

Рабы неоднократно восставали — и захватывали власть. И что? Рабство оставалось тем же. Потому что сбросить цепи недостаточно — надо еще представлять себе, как жить потом. Политика — вопрос освобождения, устранения несвободы; но политика никого не может сделать свободным: свободу надо строить, творить, материализовать. Вульгарные толкования исторического материализма пытаются вывести человеческие отношения из экономики; а они не выводятся — потому что это другое, и надо, наоборот, экономику приводить в соответствие с идеями разума, человечности, любви. Крах социализма XX века — прямое следствие безыдейности его строителей, для которых все сводится к устранению формального неравенства и повышению уровня благосостояния населения; но накормить человека, одеть-обуть, и дать какое-то жилье — это задачи капиталистической экономики, и с этим (как показывает исторический опыт) она справляется гораздо лучше социализма. А что потом? Чем займется этот сытый, одетый и пристроенный человек? Перспектив никаких. Буржуазные фантасты нарисовали по этому поводу предостаточно антиутопий. И пока человеку не дадут шанс почувствовать себя человеком, разумным существом — никакие экономические преобразования не вытащат народ из классового болота. Единственное, что могут предложить массам большевики — разрешить всем заниматься политикой, втянуть в нее «всех поголовно». Когда человеку хорошо — ему никакая политика не нужна: свободному не надо бороться за свободу. Но Ленин не мыслил иной жизни кроме политической — и не допускал свободы для себя, а следовательно, и для других. Поэтому слова о свободе любви (тем более женской) его ужасали и не вписывались в лубочную картинку добропорядочной, дружной семьи, где друг друга уважают — но субординацию блюдают. Если все всех начнут любить — куда пристроить политику, войну всех со всеми?

Духовная жизнь очень индивидуальна — для начальства это сплошной кошмар. Свободного человека не загнать ни в какую партию, и приказы ему отдавать — дохлое дело. И если в экономической сфере культура выстраивает технологические цепочки, которые требуют производственной дисциплины — внутри себя человек способен оставаться свободным, и держать кукиш в кармане никому не запретишь. Появится возможность — достанут из кармана и покажут кому следует. Можно, конечно, запустить мозгопромывочную машину

на все обороты и добиться какого-то единомыслия — но тогда свобода просочится в другом месте, и все равно кому-то выйдет боком. Разум бесконечно разнообразен, а в политике стремятся свести контроль к нескольким измеримым параметрам — в идеале, к одному... Когда Ленину предъявляют свободу любви — он тут же прикидывает, как бы это формализовать, вписать в партийную программу; но пунктов слишком много, и не факт, что кому-то не придет в голову иная интерпретация. Естественная реакция политика — похерить произвол, вычеркнуть из повестки дня заведомо спорные параграфы. Тогда как нормальная реакция человека разумного: ага, вот оно, самое интересное! Даже если все понимают свободу любви по-разному, само это разнообразие — широчайшая платформа объединения: что слишком однозначно — остается темой лишь в узком кругу.

Ленин в качестве протеста набирает десять толкований свободы любви — и считает это убедительным аргументом чтобы не связываться:

1. Свободу *от* материальных (финансовых) расчетов в деле любви?
2. Тоже *от* материальных забот?
3. от предрассудков религиозных?
4. от запрета папаша etc.?
5. от предрассудков «общества»?
6. от узкой обстановки (крестьянской или мещанской или интеллигентски-буржуазной) среды?
7. от уз закона, суда и полиции?
8. от серьезного в любви?
9. от деторождения?
10. свободу адюльтера? и т. д.

Пункты 1–7, по Ленину, в какой-то мере соотносятся с пролетарской позицией, а 8–10 приведены в качестве предполагаемой реакции «буржуазок». Разумеется, Инессу аргументация не убеждает: да, привязка к классовой борьбе железно возможна — но это внешняя сторона, которая, собственно, и не имеет отношения к свободе — что, вроде бы, дает Ленину право требовать:

для №№ 1–7 надо выбрать иное обозначение, ибо свобода любви не выражает точно этой мысли.

Но судит-то он лишь о куцем политическом толковании, которое не передает и миллионной доли того, что нормальный человек понимает под свободой любви. Пожалуйста, для политики выбирайте какие угодно формулировки — но оставьте что-нибудь для души, — для духа, для

разума! Не все в этом мире подлежит убиению и анатомированию. Ленин придерживается другого мнения [39, 286]:

Пусть лжецы и лицемеры, тупицы и слепцы, буржуа и их сторонники надувают народ, говоря о свободе вообще, о равенстве вообще, о демократии вообще.

Мы говорим рабочим и крестьянам: срывайте маску с этих лжецов, открывайте глаза этим слепцам. Спрашивайте:

— Равенство какого пола с каким полом?

— Какой нации с какой нацией?

— *Какого класса с каким классом?*

— Свобода от какого ига или от ига какого класса? Свобода для какого класса?

Если речь идет о выборе пути — такая постановка работы неизбежна и совершенно верна. Поставить конкретную задачу — и последовательно добиваться решения [39, 287]:

Не свобода для всех, не равенство для всех, а *борьба* с угнетателями и эксплуататорами, *уничтожение* возможности угнетать и эксплуатировать. Вот наш лозунг!

Но есть и другая сторона: осмысление путей. Вся эта конкретика приобретает смысл только в контексте движения к чему-то другому, что *снимает* любые различия, так что поставленные по ходу дела частные вопросы уже не нужны — как леса убирают, когда здание уже построено. Вот это другое, ради чего все затеяно, мы и называем свободой. Чтобы возможно было говорить о несвободе или неравенстве — надо иметь идею свободы. Политические движения выхватывают из жизни те или иные проявления неравенства — и направляют удар против них; можно в чем-то добиться равенства — но сама необходимость сравнения обнаруживает скрытую несвободу. Прийти к идее свободы как таковой возможно лишь пройдя отрицание несвободы — как равенства, так и неравенства. Это очень и очень непросто — и человечество до сих пор до такой разумности не добралось. Но это не значит, что всеобщая идея свободы вообще не нужна! Такой отказ от собственной разумности как раз и толкает людей (включая политиков) в лоно буржуазной идеологии, с ее классово обусловленными абстракциями. И можно договориться до полного абсурда [39, 287]:

Свобода и равенство для угнетенного пола!

Свобода и равенство для рабочего, для трудящегося крестьянина!

Новое слово в социологии: угнетенный пол — типа угнетенных наций, или преследуемых сект... С тем же успехом можно протестовать против запрета фашизма, или даже против нападков на буржуев: они, дескать, имеют полное право заниматься тем, к чему испокон веков привыкли — эксплуатировать пролетариат. В. И. ничего не мог знать про сообщество ЛГБТ — но его лозунг вполне вписывается в совершенно буржуазную борьбу сексуальных меньшинств за равноправие (которая реально ведет к серьезным правовым последствиям: легализация однополых браков, право воспитывать детей в гомосексуальной семье, и т. д.). Ленинская половая политика — это не марксизм, а буржуазный феминизм, во всей красе и неприглядности. И логично задать вопрос: свобода от чего и ради чего? Что вы хотите искоренить — и что собираетесь делать? Без маломальски развитой философии духа на второй вопрос ответить нельзя. Поэтому присмотримся хотя бы к собственно политическим моментам.

Пункт первый: свобода от расчетов. Ленин уточняет: материальных (финансовых). Это сразу же высвечивает засевшую в подсознании буржуазность: все перевести на деньги, сопоставлять голые количества (хотя бы и в товарном эквиваленте). Буржуазное понимание свободы от расчетов означает право представителей *разных* классов вступать в любые отношения — но подразумевается под этим именно *право*, доступ к экономическим рычагам. Другими словами, регулирование брачно-семейных связей (включая формально внебрачные союзы и случайный секс). Любовь как духовное единение под статью вообще не подпадает: в отношениях *личностей* экономические аспекты существенной роли не играют — они лишь окрашивают чувство в те или иные тона, поскольку приходится эту экономику преодолевать (независимо от того, помогает она или мешает). Однако тут всплывает и собственно духовная сторона свободы: расчет бывает не только материальным. В общем случае: мы предполагаем, что другой будет вести себя в соответствии с нашими предположениями. Как только такое возникает — любви больше нет. Для любящего — любимый человек интересен в любом случае, даже если по всем критериям он выпадает из минимальнейших допущений культурности. Несоответствие мечте и несовпадение с ожиданиями может придавать горечь самой возвышенной любви — и даже сделать ее трагичной; но любовь-то все равно есть, и она свободна.

Политика может расширить межклассовую миграцию, и регулярно этим занимается в эпохи экономических потрясений, когда требуется перераспределение рабочей силы и интеллектуальных ресурсов.

Политика может создать благоприятные (или неблагоприятные) условия для любви. Но влиять на свободу любви никакая политика неспособна; напротив, любовь чаще всего становится для политика осложняющим фактором, который по возможности следует устранить, вытеснить, нейтрализовать. Поэтому Ленин стремится заменить вопрос о свободе сугубо правовыми проблемами:

Пролетариату важнее всего №№ 1–2, и затем №№ 1–7,
а это собственно не «свобода любви».

Замечательно! Спрашивают о свободе любви — а в ответ какие-то пункты, которые «собственно» совсем не то! Такая подмена понятия — со времен Аристотеля считается серьезной логической ошибкой; но это излюбленный прием (классовой) софистики — от античности до наших дней.

Ладно. Перейдем на цифру 2: свобода от материальных забот. Будет настоящая любовь свободна до такой степени, чтобы дела этого мира ее вообще не волновали? Очевидно, нет. Наоборот: именно любовь оживляет интерес человека к миру, заставляет активнее вмешиваться в его судьбы. Дело не в том, чтобы «доказать» свою любовь — просто иначе влюбленный существовать не может: его как бы распирает изнутри — а любимый предмет перед глазами (или внутренним взором) все время напоминает о необходимости сделать Вселенную достойной высшего образца. Там, где материя не годна — ее надо менять. Таким образом, великая любовь многократно увеличивает заботы — и уйти от этого можно лишь в обществе, давно забывшем о классах, где каждый изначально в ответе за мир целиком. Ленинская формулировка явно имеет в виду нечто другое. Нетрудно догадаться, что речь вовсе не о любви, а о *семье*: формальной — или неформальной, относительно устойчивой — или на уровне случайной связи. Поддержание этой материальной целостности (экономической единицы) требует расходов, и общество вполне может пойти на компенсацию значительной их части, если такие объединения согласуются с перспективными направлениями развития экономики. Такие случаи в истории были (вспомним хотя бы финансирование политических браков средневековыми королями — или «поезда любви» в гитлеровской Германии). Если предполагать, что диктатура пролетариата в деле воспроизводства рабочей силы будет опираться именно на семью, — одной из задач пролетарской революции становится перевод семьи на гособеспечение, освобождение брака от материальных забот. Эта задача на практике ставилась лишь в очень

узкой форме: государственная поддержка семьи на фоне все того же капиталистического (рыночного) финансирования за счет продажи рабочей силы членов семьи (через «трудовые доходы»). Бесплатное образование быстро становилось условно бесплатным: родительские взносы на излете советской власти превратились в грабительские поборы; разделение школ по этому признаку вело к классовой сегрегации, отделению элиты от быдла. В любом случае, увязывать любовь с какими-либо экономико-правовыми формами — занятие всецело буржуазное, и здесь Ленин безнадежно отстал от писателей-гуманистов — вроде Чернышевского (или даже фантаста-Богданова, которого В. И. не критически охаял и списал в утиль).

По жизни, поведение В. И. в материально-семейной сфере стоит на грани нравственной нечистоплотности. С одной стороны, в письме Коллонтай он жалуется на скудость партийных средств [49, 139]:

Денег нет, денег нет!! Главная беда в этом!

Партийная касса столь бедна, что Инессе Арманд предлагается сшить мешочек и носить ее на себе целиком (потому что «из банка не выдадут во время войны») [49, 367]. Но чуть только заходит речь о возможности свидания — тон другой [49, 311]:

Может, у Вас нет денег на переезд? Пишите непременно: мы легко достанем, сколько надо...

О том, что Инессе надо поднимать детей — вообще никакой мысли; про них вождь вспоминает только по подсказке Н. К. — в связи с интересами партии [49, 245].

Исторически, пункт 2 напрямую связан с замечаниями Энгельса о «грязи бракоразводного процесса» — то есть, с принципами дележки имущества (и детей, понимаемых как совместно нажитая собственность семьи). Во многом, такого рода «материальные заботы» существенно влияют на решимость женщины порвать с мужем (или уйти к другому). Советский кодекс о браке и семье значительно упростил процедуру развода — однако в конце концов юридическая практика настолько запутала дело, что развестись в СССР стало намного сложнее, чем в развитых капиталистических странах. Грубый рыночный материализм и здесь оказался эффективнее стыдливой меркантильности большевиков. Групповой брак у европейцев пока не получил четкого правового статуса — однако общественное сознание вполне готово принять такие браки *de facto* там, где вопрос о разделе имущества не стоит (например,

как во французском фильме *Vanille fraise*). В постсоветской России содержание олигархами нескольких женщин (и их детей) стало обычным явлением; это позволяет и женщинам поддерживать связь сразу с несколькими мужчинами, получая финансирование от всех.¹⁷ Ленинская теория семьи таких комбинаций формально не допускает — но сам В. И. вполне может служить поучительным примером (равно как и мадам дважды Арманд, сменившая в 1902 году старшего брата на младшего).

Пункт третий — свобода от религиозных предрассудков. Если это понимать по-простому, можно было бы подумать, что В. И. на самом деле говорит о свободе любви, которой, конечно же, нет дела до поповских бредней и тупой обрядности. Но нас предупредили: это другое. Речь идет всего лишь о допустимости межконфессиональных браков, и о последовательной замене церковного брака светским. Вполне буржуазная идея, в русле «общедемократического» процесса. Нельзя сказать, чтобы религиозные ограничения когда-либо играли значительную роль: на первом плане экономические (и политические) соображения — и переход из одной религии в другую ради выгодной партии для богатых обычное дело (вспомним хотя бы царицу Екатерину; да и мадам Арманд через это прошла). К XX веку вполне сложился институт государственной регистрации браков, и церковное освящение во многих (даже не очень развитых) странах стало лишь данью традиции, своего рода аттракционом (вроде свадебной церемонии под водой или в затяжном прыжке с парашютом). Предрассудки, разумеется, есть — когда денег нет. Но это больше вопрос религиозной, а не брачной политики.

По поводу «запрета папаши» (пункт 4) — возникают мысли об экономике семьи. Для экономически свободного человека нет никаких запретов — и он принимает решение, руководствуясь собственными интересами. Если в каких-то сообществах сохраняется иерархия семейных ролей, и «старшие» (по семейному статусу, а не по возрасту) могут указывать «младшим», — что-то не так с экономикой, и устранение такой зависимости есть элемент буржуазной демократии, для которой на первый план выдвигаются рыночные, а не групповые роли. Семейный (клановый) диктат — сродни нравам воровского

¹⁷ Например, одна знакомая дама заключала выгодные для себя договоры с мужьями и любовниками, где оговаривались ее имущественные интересы, участие в бизнесах, содержание и образование детей, — в том числе после разрыва отношений.

сообщества, жизни «по понятиям». Капитализм терпит такие «нормы» (экономику в экономике), поскольку они служат рычагами управления; в правящих слоях разборки целиком исходят из экономических соображений, и пункт 4 сводится к пункту 1. Разумеется, никакого отношения к любви это не имеет.

Заметим, что в «образцовой» семье Ульяновых почти все время сохраняются пережитки групповой иерархии — и Н. К. пришлось на собственной шкуре испытать унижительность семейной «инициации». Внебрачная любовь к Инессе — своего рода модель выхода за рамки; но В. И. мог себе это позволить лишь в качестве «законного» главы клана.

Политически, буржуазное брачно-семейное законодательство (как часть гражданского права) утверждает приоритет рыночных отношений над любыми другими формами регуляции внутри формальных групп и неформальных объединений. Последовательно капиталистическая семья (в отличие от патриархально-феодальной семьи) построена на сугубо контрактной основе. Разумеется, в среде трудящихся, по большей части, не принято заключать брачные контракты — но здесь кодекс о браке и семье играет роль своего рода соглашения по умолчанию, публичной оферты, — так что все светские браки так или иначе подпадают под буржуазную модель. Социалистическая революция не дала никакой альтернативы. Главные козыри большевиков — право на развод и признание внебрачных детей — не выходят из буржуазного правового поля: эти позиции (наряду с правом на контрацепцию и аборт) присутствуют в законодательстве развитых капиталистических стран — и проведены более последовательно, поскольку за ними стоит рыночная оценка важности того или иного способа воспроизводства рабочей силы для классовой экономики в целом. В советском социализме права внебрачных детей зачастую лишь декларированы, а материальная база для действительного выравнивания условий для детей из разных семей и сирот начисто отсутствует. Детдомовцы всю жизнь ходят с клеймом. Мать-одиночка теоретически может потребовать материальной помощи от отца ребенка — но как раз тут завязывается юридический процесс куда грязнее бракоразводного двухсотлетней давности. На ребенке это отражается катастрофически. Проще молчать и терпеть. В современной буржуазной культуре грязь стала модой, и многие дамы спешат объявить себя жертвами известных лиц, предъявляют запачканное спермой белье, чтобы присосаться к кормушке, хотя бы разовым порядком. Где есть нравы — можно забыть о нравственности.

Пункт пятый: предрассудки «общества». Тут большевикам совсем нечем похвастаться. Такой дикости в «цивилизованных» странах — надо хорошо искать. Общественное мнение — полбеда: на мнение, в конце концов, можно начхать (хотя оно существенно влияет на поведение чиновников всех рангов — а это чревато регулярными экономическими осложнениями). Однако в атмосфере искусственного «коллективизма» любители клубнички получили полное право лезть в жизнь (и душу) «неправильных» товарищей — и якобы недостойное поведение граждан выносят на публичное обсуждение, устраивают административные разносы и общественные суды. По преимуществу крестьянская, дикая Россия начала XX века не прошла многовековой школы куртуазности, позволившей Европе сформировать идею уникальной личности, которая самостоятельно распоряжается плотью и духом. Деревня далека от принципа невмешательства в частную жизнь (privacy), который развитая городская культура положила в основу правовой системы. Пережитки этой неразвитости повсюду и после реставрации капитализма.

Биография В. И. — пример полной победы суеверий над разумом. Страх обнаружить «неподобающие» связи, выболтать нечто личное, обидеть «общество» слишком резкими оценками (или, наоборот, не проявить должной твердости)... Политика — искусство прогибаться под публику. В этом Ленин достиг совершенства — и полностью буржуазен.

В развитии современного капитализма — наблюдаются две взаимно дополнительные тенденции. С одной стороны, новейшие технологии позволяют хозяйствовать в одиночку (или силами одной семьи). Фермерство и ремесленничество распропагандированы в прессе, — они служат моделью идеального, гуманного капитализма, где каждый ценен сам по себе. С другой стороны, тот же индивидуализм ведет к усилению роли местной общины, и принцип самоуправления «коммун» требует от каждого обитателя сферы их влияния существенных уступок и хотя бы внешнего уважения традиций. Тем не менее, большая (по сравнению с Россией) подвижность населения позволяет компенсировать давление предрассудков территориальным перераспределением; где возможности миграции по каким-то причинам ограничены — отношения личности и общины могут доходить до антагонизма (о чем свидетельствует зеркало каждой нации — художественная литература).

Влияние среды на поведение людей (пункт 6) всплывает прежде всего там, где эта «узкая обстановка» по факту наличествует. Как и в пункте 4, играют пережитки докапиталистических формаций (в том

числе намеренно культивируемые). Классовая иерархия — это не только два экономически ведущих класса (буржуазия и пролетариат), но и любые другие классовые образования, сословное деление, этнические и расовые различия, религиозная рознь. Воздействует среда двояким образом: через воспитание — и за счет ограниченности круга общения. Третий вариант — прямое давление — рассмотрен в предыдущих пунктах. Но если у человека нет выбора — он и не выберет. Если выбор все-таки предложить — см. предыдущее предложение. Воспитание в узком кругу закладывает вполне определенные предпочтения — и индивид просто не умеет выбирать: ему это не нужно — а нужно получить что-то знакомое в границах отработанного метаболизма. Точно так же, нам вкуснее та еда, к которой мы с детства привыкли, — и увлечение экзотикой возможно лишь потому, что это воспринимается как экзотика.¹⁸ Разнообразие вариантов легко не заметить. Пройти мимо своей судьбы.

И вот здесь иногда приходит на помощь любовь. При удачном стечении обстоятельств, человек преображается, он способен порвать с прошлым и задуматься о будущем. Или, наоборот, найти в прошлом опору для будущего. Такая любовь всегда драматична, она много требует и от любящего, и от любимого. Но не все становятся героями. Буржуазное общество до середины XX века преимущественно занято предотвращением «безумств» со стороны мужчин — геройствовать приходится женщинам. Здесь еще одна грань буржуазности ленинизма.

Выдвигая пункт 6 в качестве «пролетарского» («или *вроде*»), Ленин имеет в виду отнюдь не духовное перерождение, становление свободной личности. Речь об идейном противостоянии разных социальных групп, о необходимости стирания классовых различий — об устранении преимущественного доступа к рычагам производства. По замыслу, если разбить границы семейственности и влить в жилы старых кланов свежую рабоче-крестьянскую кровь, мещане станут чуть меньше мещанами, а буржуазные интеллигенты утратят толику буржуазности. Пролетарская евгеника. Другая сторона того же самого — территориальное смешение, вынужденность межклассового и межсословного общения. Пока сословия варятся в собственном соку — их ничем не пронять.

¹⁸ Эволюция рынка в наши дни становится все более стремительной, привычные товары сменяются совершенно другими — и возврата к старому нет. В этих условиях способность осознанного выбора полностью деградирует и заменяется следованием внешнему стереотипу, рекламойзависимостью.

Принципиальный момент в том, что внедрять придется пролетариат в интеллигенцию, а не наоборот.¹⁹ Однако высшие эшелоны общества испокон веков обновлялись притоком крови рабов — но это никогда не меняло характера общественных отношений. Точно так же, в древности «варвары» губили развитые цивилизации (вплоть до разрушения хозяйственных структур) — но в конечном итоге пропитывались культурой побежденных, и нововведения, при всем их своеобразии, лишь продолжали исторический процесс. «Узкая обстановка среды» влияет не только на потомственных членов сообщества, но и на пришельцев (даже если те оказываются в большинстве). Опыт первых лет советской власти показал: внедрение рабочих во власть неизменно приводило к их перерождению, превращению в таких же бюрократов, как и прежние чиновники. Следовательно, подходить к разрушению сословных барьеров надо как-то иначе. Советские власти пошли по чисто буржуазному пути: отделение власти от народа, создание сословия профессиональных руководителей (номенклатура), подчиненных только партийной верхушке. А это означает полный отказ от политического равенства — и утверждение сословной сегрегации во всех сферах общественной жизни, и прежде всего в отношении духовного производства. Идеологической основой этого стала теория Энгельса-Ленина о семье как вечной ячейке общества — и о любви как об инструменте создания семьи. Свобода любви как освобождение от диктата традиций возможна лишь при условии полного разрушения семейственности как таковой, — и передачи воспроизводства человека разумного в руки общества в целом; не надо никакой евгеники — достаточно создать равные возможности для всех, и настойчиво искоренять пережитки прежних размежеваний.

В наши дни рождается механизм стирания культурных барьеров: значительная доля образования и воспитания переходит от семьи к сетевым сообществам, что благоприятствует централизованному (плановому) управлению процессами социализации. Однако буржуазия использует те же технологии в своих целях: участие в буржуазных группировках нивелирует личность, многократно усиливает духовное порабощение, зависимость от среды, узость взглядов и неразумность

¹⁹ По личному опыту — такие случаи тоже бывали: аристократки выходили замуж за купцов, за (достаточно зажиточных) крестьян, за рабочих (особенно ради пайка в условиях разрухи).

предпочтений. Это не группы по интересам — а предписанные сверху интересы; не поле для творчества — а следование типовым образцам. Отсюда парадоксальный результат: влияние происхождения на выбор рода занятий и создание семьи значительно возрастает — просто потому, что абстрактное разнообразие возможностей не дает самостоятельно сформировать твердые убеждения — и требует подсказки извне.

Наконец, пункт 7 — о свободе «от уз закона, суда и полиции». Здесь вообще никакой связи с духовностью — развитие все той же идеи о невмешательстве государства в частную жизнь граждан. Может аппарат классового насилия хоть как-нибудь влиять на чувства, симпатии, убеждения? Нет. Грубой силе доступны лишь материальные оболочки вещей и людей — а духовное наполнение определяется культурой в целом, это явление другого уровня. Любовь заведомо свободна от любых форм силового диктата — а политические требования касаются только экономических последствий. Но сделать любовь правовой категорией невозможно — и прописать в законе оправдание сделанного по любви (или осуждение сделанного без любви) не сможет ни одна демократия. Где начинается любовь — заканчивается классовая культура, гибнет цивилизация. Тогда что, собственно, мы хотим вывести из-под давления властных структур? Очевидно, только брачно-семейные отношения. Здесь разные (взаимно дополнительные) аспекты. Прежде всего — право на брак. Может оно быть неограниченным? Вряд ли. Нельзя запрещать межсословные браки — но союз неравных запросто может оказаться разновидностью домашнего рабства, и демократическое государство мимо этого не пройдет. Старик имеет право жениться на молодой (или наоборот) — пока это не становится экономической (или политической) аферой. Государство может установить минимальный брачный возраст, и увязать это с формальным совершеннолетием и прочими критериями дееспособности. Государство может регулировать внебрачные связи (которые, в сущности, представляют собой лишь иную форму брака). Сюда относятся и законы о проституции (например, против вовлечения малолетних и ограничении сутенерства). И так далее, и тому подобное. То есть, свобода от уз закона оказывается весьма относительной — и марксисты вряд ли будут оспаривать правовые аспекты демократизации. Разумеется, где закон — там и суд, и полиция. А также законы о судах и полиции, правовая защита частной жизни.

Другая сторона права на брак — перечень общественно допустимых форм. Моногамия, многоженство и многомужество, групповые браки,

гомосексуализм и бисексуализм, ... — вплоть до браков с животными или неодушевленными предметами (например, с секс-игрушками или роботами). Все это в настоящее время активно развивается, и постепенно пробивается в сферу правовой регуляции. Разные страны по-разному решают эти вопросы — и можно, по-видимому, говорить о выработке международных стандартов «свободы». В любом случае, брачно-семейное право затрагивает лишь рыночные обязательства граждан — это часть общегражданского законодательства. Тут, правда, всплывает еще один аспект проблемы: что именно мы делаем товаром? Логика развития капитализма не допускает на этот счет никаких ограничений: хозяин барин. Поскольку же человек превращен в товар и куплен — косяком идут злоупотребления. В сфере продаже рабочей силы право ограничивает произвол работодателей, не допускает уж очень грубого насилия (не по доброте душевной — а чтобы не доводить до бунта). Однако прописывать в кодексе частоту сношений или позы — было бы странно. Бесконечное разнообразие брачных отношений не поддается кодификации. Поэтому государство регулирует лишь несколько базовых параметров — а остальное считается в принципе допустимым, но при необходимости может быть оговорено в брачном контракте (а что не оговорено — правовой регуляции не подлежит).

Вторичная функция буржуазного права — предписание гражданам не чинить препятствий к тому, что дозволено законом. В частности, запрет дискриминации по брачно-семейному статусу. Кому-то хватает одной жены — другому мало десяти; еще кто-нибудь предпочитает жить на несколько домов, или ходить по борделям... Это их право — и сколь угодно консервативная среда должна воздерживаться от осуждения или давления. Но такая свобода, опять-таки, выходит за собственно правовые рамки: никакой закон не заставит одного человека уважать другого, а деловых партнеров (как и партнеров в любви) каждый выбирает по сугубо личным критериям. В этом принципиальная слабость классовой юриспруденции: нет такого закона, который нельзя было бы обойти. Есть геометрические фигуры, которые формально равны — но одну нельзя перевести в другую движением в плоскости; однако выход в третье измерение, в пространство, позволяет сделать вроде бы невозможное. Точно так же духовность — дополнительное измерение в пространстве исторически сложившейся культуры, которое на деле разрешает головокружительные экономические трюки. Перевод свободы любви в политическую плоскость ограничивает рыночные

формы — но не выводит за рамки буржуазности. Строительство нового, бесклассового мира требует разумного управления не только материей, но и духом.

Итак, заявленные в «пролетарском» блоке толкования свободы любви на самом деле представляют собой вполне традиционную буржуазно-демократическую платформу, и касаются лишь семьи как экономической ячейки классового общества. Вывести их в собственно духовную проблематику — то есть, связать с целями классовой борьбы, с утверждением нового способа производства, — вполне возможно; однако Ленин этого не делает — поскольку это противоречит его убежденности во вторичности духовного производства, его полном подчинении материальному; отсюда представление о второстепенности любви по сравнению с политикой классовой борьбы. Его перечень уводит разговор в дурное русло — подменяет исходную тему другой; именно поэтому Арманд вообще не реагирует на эту софистику — хотя Ленин, со свойственной ему самоуверенностью, считает молчание знаком согласия:

Пунктов 1–7 Вы вовсе не касаетесь. Значит, признаете их (в общем) правильность?

Не оспариваете Вы и того, что это *пролетарское* толкование.

Глупо оспаривать глупости. Инесса вполне последовательна — и еще раз пытается перевести разговор на свободу любви. Здесь есть зацепка: ленинские пункты 8–10 обнаруживают неожиданные глубинные течения в заскорузлой душе, допущение чего-то такого, в чем В. И. боится признаться себе.

Формулировка свободы № 8 — «от серьезного в любви» — тут же выдает сурового вождя с головой: значит, любовь — это таки серьезно! Как бы ни понимать серьезность, никакого легкомыслия в вопросах любви наш герой не допускает. Более того, несерьезность прямо увязана с классовой ограниченностью — следовательно, с незрелостью разума.

Вне контекста можно было бы предположить, что серьезность Ленин понимает в духе пп. 1–7 — то есть, чисто экономически, как ориентацию на брачно-семейные отношения. Пикантность ситуации в том, что адресовано письмо не кому-нибудь, а любимой женщине, — причем любимой вне семьи, как бы в «параллельном» мире, без малейших шансов перевода на рельсы буржуазной серьезности. Это, знаете ли, очень немало. По сути — признание в настоящей, большой любви (чего Инесса, возможно, и добивалась; в переводе на язык

обыкновенных людей, эта переписка выглядела бы так: *Милый, ты меня любишь? — Жить без тебя не могу!*).

Но нам-то важно другое: здесь открытым текстом В. И. признает, что есть нечто помимо экономической теории марксизма, и эта другая (духовная) сторона столь же важна для человека, и никакой политикой ее не заменить. Следовательно, любая полноценная философия (как учение о единстве мира) невозможна без раздела о философии духа, тесно увязанной с философией природы и общества. А это означает, что классовая борьба с точки зрения такой (а не хромой) философии не только против чего-то, но и ради чего-то! — и эту главную цель никак не свести к организации материального производства. Вот где самая серьезность! Большая любовь — это всегда прозрение, осознание собственной всеобщности, разумности. Она позволяет увидеть контуры подлинно человеческого будущего — когда не будет никакой «частной жизни», а будет единство труда и любви. Не будь этой любви — никогда В. И. не достиг бы той убежденности в правоте своего дела, которая привлекала к нему партийцев и беспартийных, помогала преодолевать разногласия и вела в нужном направлении. Сравните выступления Ленина до и после смерти Инессы — большая разница! Еще работает авторитет в массах, еще можно что-то продолжать старой памятью, — но нет стержня, ясности в главном, уверенности в праве на победу. Чуть раньше разошлись пути с единственным другом — и только Н. К. еще могла заполнить духовный вакуум...

Самое время подумать о другой стороне того же самого: абсолютная серьезность губительна для любви. Закрепощение духа, концентрация на чем-то одном, — это всегда несвобода, смерть разума. Не верьте тем, кто добивается истины с чрезмерным усердием! — они ищут другого. Любовь захватывает человека целиком — но не порабощает его; она лишь распространяет свое влияние на все стороны личности — но никоим образом не сводит личность к любви. Остается много другого, бесконечно много — ибо мир бесконечен, а разум обязан охватить его целиком. Превратить себя в любовь — значить умереть как личность, как разумное существо. Поскольку же любовь — отношение разных личностей, серьезная любовь убивает не только любящего, но и предмет любви. Эта тирания может быть почти незаметной — и любовники не навязывают себя друг другу, — но именно в силу их духовного единства серьезность одного передается другому, и может превратить его жизнь в ад. Крайнее выражение — гибель любимого, которая впечатывается в

любящего тягчайшей виной. Да, такое убийство по сути становится и самоубийством — но кому от этого легче?

Любовь свободна. От чего угодно — в том числе и от серьезности. Огульно объявлять легкомыслие отрывкой капитализма — утверждать именно буржуазное отношение к любви, загонять ее в узко-рыночную нишу. Любовь сама решит, как ей к себе относиться — в этом и состоит ее разумность. Одним нужно одно, другим другое. Если кто-то может легко любить — честь ему и хвала: на уровне общества в целом, он компенсирует духовные перекосы из-за неумеренной самоотдачи. Инесса поняла это «женским» (классовым!) чутьем — и справедливо обвинила В. И. в буржуазности под видом марксизма, в проекции собственного уродства на духовность якобы буржуазок, открывающих (в совершенно буржуазной форме!) человечеству настоящую свободу, до которой большевики так и не доросли.

Это в полной мере относится и к девятому пункту: свобода от деторождения. Вульгарность ленинского интуитивного представления о любви выпирает из всех щелей. Увязывать любовь с физиологией — что может быть буржуазнее? Разумному человеку и в голову не придет такое убожество: все знают, что любовь одно, а дети — совсем другое... Сковать одной цепью — значит, отождествлять материю и дух; это либо вульгарный материализм, либо (отнюдь не менее вульгарный) идеализм. Переводить вопросы роста духовности в политическую плоскость — все равно что ввести штраф за улыбку, или запретить любую музыку кроме церковной.

Любовь никаким боком не предполагает секса — хотя и допускает, наряду со всем остальным. Выбирать материальные формы каждая любовь будет сама; тут ей никто не указ. Кому-то, вероятно, будет интересно познакомиться с детьми; другие — предпочтут иные занятия. Общество обязано заботиться о производстве материального носителя разума — но это вовсе не биологическое воспроизводство, и человек, знакомый с трудами Маркса, должен об этом знать! Не может разумно устроенное общество предписывать людям биологическое размножение по установленной квоте: если биологические тела действительно нужны, разум найдет способ получать их индустриально, не вторгаясь в интимную жизнь, — но свобода невозможна, пока мы не научимся при случае обходиться и без органики. Требование свободы от деторождения становится в этом смысле выражением самой сути философии духа — универсальности разума, возможности любых воплощений, без сведения к чему-то одному.

Буржуазные утописты представляли деторождение общественной обязанностью женщин (поскольку никаких иных способов продолжить человеческий род они не знали, и вообразить себе не могли). Примерно на том же уровне остается сознание В. И. Предположим, что на ранних этапах развития культуры вся эта физиология неизбежна; но даже если сознательные граждане совершенно добровольно возьмутся исполнять свой долг, — это все равно насилие, подчинение разума природе, а не устроение природы в соответствии с разумными целями. Свободное (разумно устроенное) общество скорее сконцентрирует все ресурсы для борьбы с биологическим рабством — но не лишит людей свободы целенаправленно строить органическое и неорганическое тело, самостоятельно решать — исходя их личных интересов, а не ради исполнения каких-либо обязанностей. Только тогда личность не будет противостоять обществу и сможет сделать свое развитие необходимым уровнем развития общества в целом. В классовом обществе стремление к свободе может принимать лишь классово обусловленные формы; современные «буржуазки», в русле общедемократического процесса, добиваются безусловной легальности аборт и права на контрацепцию, против семейного насилия и финансового принуждения. Ленинский пункт 9 вполне мог бы стать принципом пролетарской политики — поскольку коммунистам приходится на первых порах решать задачи демократизации общественной жизни. Если же не останавливаться на этом, предварительном этапе — это и принцип перевода экономики в целом на неклассовый путь развития, перехода от трудовой повинности к свободному труду.

С точки зрения (материалистической) философии духа, важны не материальные преобразования сами по себе, а то, для чего все затеяно. Пока мы едим, чтобы есть, — и занимаемся сексом для удовольствия, — мы всего лишь (в какой-то мере) интеллектуальные животные. Когда мы перестанем задумываться, зачем наши дела, и подыскивать основания — это настоящая свобода. Разумный человек не нуждается в оправданиях, ему не надо никому ничего доказывать, кого-то убеждать. Он делает так, как считает нужным в сложившейся обстановке и один ответ на все вопросы: мне нравится — и это нравственно. Причинность и физиология суть формы движения неразумной природы. Основное отличие человека разумного — активность поведения, неизменное присутствие духа. Любовь — вне экономической необходимости; напротив, она сама эту необходимость

и создает. Без любви (на всех ее уровнях и во всех ее формах) — никакого смысла в существовании человечества нет.

Якобы буржуазная ассоциация со свободой адюльтера (пункт 10) по факту ближе всего подходит к подлинно марксистскому пониманию любви: любви нет никакого дела до правовых ограничений — она выводит человека за рамки буржуазности как таковой. Это отношение личностей, каждая из которых равна обществу в целом — так что любые поступки выражают прежде всего всеобщее в человеке, общественную тенденцию. Любовь никак не связана существующими правовыми нормами, и характер общности любовники определяют сами для себя. Адюльтер — другая сторона семейственности как экономического уклада, сводящего человеческие отношения к родоплеменным; там, где нет брака, — нет и ничего внебрачного. Вывод половых отношений за рамки буржуазного права — первейшая обязанность всякого борца за свободу. Разумеется, нельзя ограничиваться только сексом: важно раскрепостить все стороны межличностных отношений — и В. И. своим примером показывает, как любовь способна дополнить формальный брак, без малейшего намека на пошлость.

В контексте борьбы за демократию ленинский № 10 означает общественное признание разнообразия форм любви и снятие слишком жестких правовых ограничений (см. пункт 7). Однако куда более важно само допущение чего-то вне правового поля — того, что не подлежит рыночной регуляции и не вписывается ни в какие «цивилизованные» (то есть, классовые) рамки. Поэтому борьба за свободу любви вне закона — по сути тождественна борьбе с капитализмом, за бесклассовое будущее человечества. Человек должен привыкнуть к мысли, что далеко не все в этом мире можно купить и продать, измерить, разрешить или запретить. Точно так же, человек открывает для себя личную ответственность: там, где нет запретов извне, появляется нравственность как таковая, свобода духа, — без ссылок на право, религию, мораль.

Буржуазия, конечно же, не заинтересована в создании нерыночного сектора — тем более в массовых и общедоступных областях. Остановить ход прогресса нельзя — зато можно попытаться взять дело под контроль, ограничить неправовое регулирование. Иногда для этого требуется изменить законодательство; однако чаще используют неформальные рычаги: общественное мнение (которое легко купить), обывательскую мораль (которую легко сформировать), общественные движения, теневые структуры (вплоть до заведомо криминальных). Типичный трюк

современных буржуазных властей — перевертыш, превращение ненормативного в нормативное. Все, что хоть как-то может быть использовано в качестве формы классового протеста, объявляют вполне приемлемым и буржуазным; тем самым протест выдыхается, теряет смысл, — и господствующий класс может чувствовать себя в безопасности. Но не этому ли способствует и ленинский принцип противопоставления «пролетарского» и «буржуазного» в любви? Превратить творчество масс в политику, свести классовую борьбу к борьбе партий, — лучший подарок мировой буржуазии: в этих делах у них все под контролем.

Как только любовь выведена из рынка, и все ее материализации общество признает одинаково благотворными, — исчезает весомый пласт понятий, вокруг которых вертится обывательское сознание и мировая литература: верность, измена, преданность, ревность, тоска, боль, страдание, неразделенность... Одна любовь никак не может помешать другой — и у нас перед глазами пример В. И. С другой стороны, снимается и противоречие между материальным и духовным производством: одно не может ограничить другое, стать препятствием. Революция пробуждает дух народа — энтузиазм масс; только на этой основе возможны радикальные экономические преобразования. Чего так и не поняли большевики: на словах они приветствуют воодушевление народа — но на деле всячески пытаются загнать в «демократические» рамки, обуржуазить. Та же политика выбивает твердую почву из-под коммунистических начинаний в сфере образования и воспитания, в науке и искусстве, в организации быта. Вытесняя любовь из круга общественных приоритетов, советские власти уступают духовную сферу буржуазии, чем та тут же воспользовалась: начиная с 1960-х, любовь становится орудием антисоветской пропаганды — и духовный яд моментально расходится по всем общественным слоям. Глупые запреты и репрессии только способствуют распространению заразы.

Было бы неправильно списывать все на слепоту вождя и личные качества его сподвижников. Они воспитаны обществом своей эпохи — и впитали ее духовную неразвитость. Свобода любви невозможна без экономического фундамента — который начинает складываться только сейчас. Разум творит мир — и если что-то не удалось сотворить, причина проста: не хватило разумности, не было любви. Мы можем лишь обратить на это внимание и постараться избежать хоть части ошибок. Поучительная и парадоксальная картина: В. И. ставит идею на уши,

называя «пролетарскими» сугубо буржуазные воззрения, а главное в духовности — мнением «буржуазок». Мир вывернут наизнанку, вместо программы освобождения — звон цепей. Все уже ясно — однако для полноты обратимся все же к дополнительным «разъяснениям» из второго письма.

Начинается, конечно же, с попыток уйти от ответственности:

дело в объективных, классовых отношениях,
а не в Ваших субъективных желаниях

Вопрос был о любви — то есть, о движении духа, — который как раз и отличает человека (как разумное существо) от животных и неживых вещей. Дух никоим образом не природа (совокупность объектов) — хотя, разумеется, вне природы (и общества) он существовать не может. Переводить разговор на объективное — подменять одну тему другой. Да, она по-своему важна и интересна — но это другое. Разговор о любви невозможен без учета «субъективных желаний». Если не нравится подход — предложите свою трактовку субъективности; но в любом случае размышлять о духе и его взаимоотношениях с материей крайне важно для последовательного материалиста: в противном случае на место философии духа встанет что-нибудь буржуазное, и вся идеология пойдет наперекосяк. Что мы и видели в практике большевизма.

Но где-то в очень глубокой глубине (тайно от себя!) Ленин таки признает необходимость заняться субъективностью да интимностью — ближе к концу письма он снимает возражения вообще и протестует лишь против собственно философского (идейно-политического) осмысления:

эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов). А в брошюре?

То есть, в искусстве — сколько угодно; а позицию партии по вопросу разумности и духовности мы озвучивать не хотим. Очень удобно для классового врага: в оставленные пробелы проще вписать буржуазную галиматью — не приходится бороться против четких марксистских формулировок. Отрицать необходимость науки и философии любви — значит, обеднять и опошлять человеческую рефлексия — по сути, это запрет разумности. Конечно, это не ленинская позиция; скорее всего, В. И. интуитивно догадывается, что чисто рассудочная, рациональная трактовка субъективности не отвечает характеру идеи; для таких тем нужен какой-то иной язык (в какой-то мере похожий на искусство;

прототипы такого, синтетического стиля в науке и философии Ленин либо не замечает, либо намеренно игнорирует). Но кто сказал, что в политике надо сражаться одними брошюрами? Пусть это будет прокламация, памфлет, сатира, пародия, публицистика, утопия — в конце концов, и роман!

Хорошая знакомая Ленина, А. М. Коллонтай, — умела писать о политике живо и эмоционально. Были и другие примеры: Воровский, Луначарский — и злейший враг Богданов. Да, они где-то отходили от марксизма, и разрушали его изнутри, — но, по логике, противопоставить этому надо бы не запреты и авторитарные окрики, а столь же яркую, эмоциональную картину последовательно революционной идеологии. Сам не умеешь — дай поработать другим. Пусть это где-то будет слишком популярно, и кто-то поймет не так; но кто не хочет понять — все равно переверт, а сухие рассуждения почти никого не способны убедить. В теории буржуазные пропагандисты и попы побивают Ленина по всем статьям: они не забывают о разнообразии духа и воздействуют на все стороны духовности сразу. С другой стороны, если партия самоустранилась от философии духа, от осмысления любви и свободы, на каком основании вырастет классово выдержанная литература? При всем желании художник не сможет уйти от рецептов буржуазного искусства, и благие намерения придется откапывать в груде идейного навоза. Вместо помощи от подкованных товарищей — начальственные разносы. С людьми надо по-человечески. А Ленин даже с любимой женщиной толком не сумел...

Универсальность разума не совместима с какими угодно запретами. Человек не просто имеет право задавать любые вопросы — он обязан заботиться обо всем, чтобы не оскотиниться и не отупеть, не перестать быть человеком. Если это по каким-то причинам не следует делать в этой конкретной форме — найдите другую; что неуместно в одном кругу — пусть всплывет в другом. Надо быть последним пошляком, чтобы полагать, будто вопрос о свободе любви

явится в современной общественной обстановке буржуазным, а не пролетарским требованием.

Идеи не существуют сами по себе, отдельно от людей. Если ставить вопрос буржуазно — это будет буржуазным требованием; пролетарская постановка — включает тему в контекст классовой борьбы. Но еще глупее ограничивать круг возможных постановок только политикой: человек не должен замыкаться в профессии, его задача преодолеть

разделение труда, пробовать себя в самых разных амплуа, — и чем их больше, тем ближе мы к разуму. Это не значит, что нельзя оставаться разумным в рамках какой-то одной деятельности, — но компенсировать ограниченность контекста придется широчайшим кругом интересов, не подчиняя их основному занятию, а наоборот, высвечивая его новые грани. Тем более это касается духовного производства, сознательного движения к свободе.

Ленинская софистика в любом споре выглядит одинаково: вместо исходной постановки задачи дать набор «дозволенных» формулировок, вынуждая собеседника оставаться в границах ленинского толкования — которое, естественно, заточено под схоластическую победу В. И.²⁰:

Если это опровергать, то надо показать: (1) что эти толкования неверны (тогда заменить их другими или отметить неверные) или (2) неполны (тогда добавить недостающее) или (3) не так делятся на пролетарские и буржуазные.

Ни того, ни другого, ни третьего Вы не делаете.

Разумеется, Инессе не интересен разговор вокруг искусственных пунктиков — и единственно нормальная реакция нормального человека: *это все фигня!* (Мы тут вдаемся в детали по долгу службы — раз уж взялись драконить буржуазные авторитеты) Хоть каплю внимания уделить дурной «объективности» — значит заглотить наживку, пойти на поводу. Она этого не делает — и здесь великая мудрость, до которой загнавшему себя в клетку политическому деятелю никогда не дорасти. Ее замечание об экономическом насилии и «невозможности сказать нет» (что само по себе достаточное основание для постановке вопроса о свободе любви!) В. И. небрежным жестом смахивает в мусор первых семи пунктов (хотя там *ничего* подобного не предполагается — и стоило бы прислушиваться к сестрам по разуму, и через это откопать зачатки разума в себе). Дальше опять приписывание собственных измышлизмов собеседнику:

Буржуазки понимают под свободой любви пп. 8–10 — вот мой тезис. Неужели литература и жизнь не доказывают, что буржуазки именно это понимают? Вполне доказывают! Вы молча признаете это.

Если кто-то не отвечает на провокации — это вовсе не потому, что ему приятно их терпеть. Тут, между прочим, работает та самая зависимость,

²⁰ Задолго до Ленина эту технологию развивал Платон — крупнейший авторитет для буржуазных политтехнологов.

невозможность сказать нет; и лучше уж промолчать, чем нарываться на неприятности. Кстати, сие в полной мере применимо и к ленинской тактике (само)запрета нежелательных тем в политических дискуссиях: здесь он себя выказывает политической проституткой, вынужденной блюсти буржуазные приличия, навязанные классовыми врагами правила игры, — и наступать на горло собственной свободе (не говоря уже о свободе друзей и товарищей). Таковы правила игры.

А раз так, дело тут в их классовом положении, и «опровергнуть» их едва ли можно и едва ли не наивно.

Надо ясно *отделить* от них, *противопоставить* им пролетарскую точку зрения.

Видим мы примеры этого со стороны В. И.? Как бы не так! Его принцип «отделения» выглядит иначе: закрыть вопрос, положить под сукно. Полагаете, что пункты 8–10 характерны для буржуазной идеологии? Дайте пролетарскую позицию по этому поводу! Но именно по этому поводу — а не в отношении прочих возможных толкований (типа 1–7). Хотя, конечно, и про них надо аргументированно (или хотя бы убежденно) высказываться. Где, в каких работах Ленин излагает пролетарскую философию любви? Устанете искать. Это не тот вопрос, где можно ограничиться парой строк, голословными фразами.

Метод отделения — изначально порочен. Это идейно-теоретическое выражение капиталистического разделения труда, вариант рыночного противопоставления человека человеку. Продукты рефлексии (включая искусство, науку и философию) не делятся на буржуазные и пролетарские — они следуют строению культуры, и в классовом обществе отражают ее противоречивость, разорванность, рыночную конкуренцию. Идея представляет человеческую универсальность — поэтому в ней есть вообще все; что из этого выйдет на первый план — зависит от того, как мы используем наши идеи, на что они нас подвигнут и какие средства заставят предпочесть. Разумеется, в разумном обществе все эти обращения иерархии совершенно равноценны, и мы осознанно упорядочиваем наши идеи, — так же, как приводим в порядок весь мир. Пока приходится вязнуть в болоте цивилизации — надо отличать одно от другого и выбирать между. Но это не делит идеи на буржуазные и пролетарские! — речь о том, чтобы увидеть в *каждой* идее борьбу классов, их противоположность и взаимообусловленность. В частности, *любая* трактовка свободы любви в устах мещанина приобретает мещанское звучание, а у пролетарок станет красным знаменем. Если в

политике (как выражении экономических отношений) еще возможно формальное размежевание — в области духа (рефлексии) формальность убивает разум: здесь возможны лишь временные, предварительные различия — которые надо в итоге привести к единству.

В связи с этим следующий образчик ленинского разделенчества, растаскивания проблемы на абстракции:

«Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов *грязны*. Согласен. Им надо противопоставить... что?... Казалось бы: поцелуи *с любовью*? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мешански-интеллигентски-крестьянский (кажись, п. 6 или п. 5 у меня) пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, **если уж непременно хотите**, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая). У Вас вышло противопоставление не классовых *типов*, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно.

Прежде чем заняться критикой, высветим наиглавнейшее: «поцелуи с любовью» — это, пожалуй, *единственное* место в ленинском наследии, где он прямо говорит о любви. Подразумевая, что она безусловно *есть*, и не зависит от культурно обусловленных (и классовых) форм, и одинаково является и в официальном, и в «гражданском» браке — и даже в мимолетной страсти, — которая тоже есть! За одно это признание мир благодарен великой женщине — Инессе Арманд. Теперь мы точно знаем, что Ленин не ходячая формальность, что за маской нравоучителя и фанатика — живой человек. Иначе не было бы смысла изучать его творчество, тратить время и слова.

Теперь о проблемах с логикой. Инесса (как всякий нормальный человек) не заморачивается формальными классификациями: она дает живой пример, который замечательно *иллюстрирует* идею (а вовсе не *формулирует* ее). Ни о каких противопоставлениях (и тем более о «классовых типах») тут и речи нет — но Ленин их выдумывает, и приписывает якобы недалекому собеседнику. Страсть все всему противопоставлять — чисто буржуазная привычка, прямое продолжение

средневековой схоластики; культивировать эту практику в любой философии (а тем более в марксистской философии духа) — дурной тон, поскольку задача философии — собирать воедино то, что разные искусства и науки поделили меж собой.

Если бы В. И. умел вслушиваться и вчитываться, он бы заметил, что яркий пример у Инессы (как и любая живая речь) *многогранен*, и в нем *действительно* содержится (как одна из сторон) мысль о том, что даже мимолетные поцелуи без любви *выше* супружеской пошлости, — но, конечно, не из-за пошлой мимолетности, а в силу *объективного* противостояния любых (доступных в рамках классовой культуры) форм духовного протеста — предписанным господствующим классом институтированным отношениям. Поборник объективности именно ее в реалиях жизни не углядел! Если бы Ленин чуть больше интересовался философией духа (и внимательнее читал Маркса), он бы знал, что в заведомо извращенном капиталистическом обществе зародыши нового неизбежно проявляют себя в культурно наличествующих формах — в том числе извращенных. Внебрачная связь может быть грязной и пошлой — но поскольку она противостоит официальной морали, она становится выражением требования избавить общество от грязи, уничтожить саму возможность грязного отношения к любви. Делить страсть на «грязную» и «чистую» — тупое мещанство; задача в том, чтобы отношения свободных людей вообще невозможно было бы рассматривать с этой стороны и как-то судить. А Ленин пытается загнать пролетариев в хотя бы «гражданский» брак, навязать любви форму семейственности, — но одно рабство ничем не лучше другого. Разговор о свободе. О разумности любви. И здесь единичный «казус» весит ничуть не меньше «морального кодекса».

Ленин так и не понял (не захотел понять) слова Инессы, что-де «нелепо» выступать в роли «профессоров *ès* любовь».

Это не о какой-то там Эллен Кей — это о нем. Расписывать любовь по пунктам — образец буржуазной пошлости. Не подпадает настоящая, свободная любовь ни под какие пункты. И даже не очень удачная, но от души сказанная фраза — задвинет в тень сколь угодно навороченные теории. Точно так же, говоря о свободе, нельзя впадать в рабство планов, расписывать будущее по пунктам и упрямо следовать намеченному:

может быть Вы обстоятельнее разберете план в связи с письмами, чем по поводу бесед, а ведь план вещь очень важная.

Важны не планы — важна осмысленность деятельности, ее цельность, последовательность, личная (субъективная!) убежденность в верности выбранного пути. Разумный человек не постесняется отбросить любой план, если он перестает отвечать задачам момента, — кто как не Ленин дает нам блестящие образцы такого, диалектического подхода к работе! Писать о планах — можно по плану. Писать о любви надо с любовью.

А любовь не чужда и тем, кто упорно с ней борется и боится ее. Еще один предательский пассаж:

Право же, мне вовсе не полемики хочется. Я бы охотно отбросил это свое письмо и отложил дело до беседы. Но мне хочется, чтобы брошюра была хороша, чтобы из нее никто *не мог* вырывать неприятных для Вас фраз, *не мог* Вас *перетолковывать*.

Мог бы Ленин написать такое прочим товарищам по партии? Вряд ли. Это уже не абстрактно классовый подход, а искреннее чувство, забота о любимом человеке — всякие нападки на которого стали бы сердечной раной и для В. И.

Когда Ленин старательно прячет все личное от нескромных глаз и запирает свое сердце на пудовые замки — так надо, и в этом своя правота: пока приходится заниматься политикой — есть объективно главное; разбавлять идейные ориентиры расплывчатыми дискуссиями было бы несвоевременно и опасно. Буржуазия в союзе с попами неоднократно использовала разглагольствования о любви для замазывания реальных проблем, для ослабления классового противника. Но замалчивать само наличие проблемы, умалять ее важность, сводить к очень частным ситуациям — тоже не по-людски. Зачем прикрывать идеологические недоработки мнимой объективностью? Куда честнее признать, что философия марксизма разработана лишь в самых общих чертах, что мы лишь в начале пути и предстоит много думать и принципиально решать. Тогда отказ от заведомо бесперспективного, недостаточно подготовленного, несвоевременного обсуждения — это не слабость, а принципиальная позиция, ни в чем не допускающая уступок буржуазной идеологии. Конечно, нынешним — намного проще: у нас огромный исторический опыт, позволяющий судить о событиях вековой давности задним числом. Однако несколько тысячелетий домарксовской истории тоже нельзя сбрасывать со счетов — и понятия разумности и порядочности не только что родились. Впрочем, наши темы — для нашего времени, и прошлое — повод задуматься, почему оно прошло именно так, и как мы сами хотели бы пройти.

Летальный исход

Марина Цветаева предпочла застрелиться — только бы не попасть в лапы садистов из НКВД. Судьба ее мужа — перед глазами, и тут уже точно дело не в сочувствии врагам и тем более, не в подрывной деятельности (как у большинства «репрессированных»).²¹ Буржуи поднимают истерические вопли по каждому такому поводу, под соусом изначальной порочности большевистской программы в целом, якобы несовместимой с цивилизованностью и гуманизмом. О собственных «достижениях» по этой части они предпочитают скромно умалчивать: зверства местных беляков и западных агрессоров в России по ходу гражданской войны, безжалостные расправы с восстаниями в Европе (например, в Ирландии и дореволюционной России) и в колониях (Индия, Китай, Африка), убийства и тюрьмы для латиноамериканских борцов за независимость, похождения французов и американцев в Индокитае... Обстановка в американских тюрьмах — отнюдь не веселее мифического Гулага; про расправы с индейцами, неграми и прочими меньшинствами — общее место. Однако разборки на уровне «дурак — сам дурак» далеки от (хотя бы предварительной) разумности. Есть мерзкие факты; задача исторического материализма — понять, как это стало возможным, и что требуется изменить, дабы не скатываться в скотство в обозримой перспективе.

События конца XX века наглядно показали, что кошмары советских застенков никак не связаны с советскостью как таковой: реставрация капитализма породила такие ужасы, по сравнению с которыми все прежнее детский лепет; если раньше бурьянилась природная дикость — нынешние «силовики» превратили дикость в систему и намеренно ее культивируют. Нечто подобное можно наблюдать в американской (или в любой другой) армии, где боевая подготовка намеренно включает «неуставные отношения», и новобранцев тычут мордой в грязь,

²¹ Есть и личные знакомства: разведчик, всю войну работавший под видом немца в Германии, после возвращения на родину сослан на Колыму (в Омсукчан), работал на шахте, после реабилитации остался там жить. Никаких особых обвинений против него не было — просто перестраховка некоторых спецкадров. Несмотря ни на что человек остался убежденным коммунистом, разумным существом, способным не путать идею с недоразвитыми извращениями. Другое знакомство — знаменитый Лев Термен, великий изобретатель и разведчик, — он тоже прошел через Колыму, но остался человеком.

добиваясь полной покорности и абсолютного остервенения. Аналогично в психиатрических лечебницах с больных сбивают «шубу», подавляя волю психотропными препаратами. Да и до советов — хватало опытных палачей; в исторических документах и мировой литературе тому тысячи примеров. Явление издревле привычное: разумеется само собой, — и даже смешно (в эстрадных обработках и кинокомедиях).

Вывод: дефицит человечности — характерная черта полудикого, классового общества, темная сторона цивилизации. Если советская власть не смогла избавиться от такого наследия — что-то не так в проектной документации, и строили не совсем то, чего хотелось бы.

Однако при попытке поднять исходники выясняется, что проекта как такового и нет: вроде бы, знаем, что не нравится в буржуинстве, — но как сделать, чтобы нравилось, — никаких намеков. Или почти никаких. А как оставаться идейными при отсутствии светлых идей? Здесь исток грязной реки, ниже по течению обросшей столь же вонючими притоками.

Поскольку теория коммунистического быта в указателях не числится, критиковать вождей можно только за это отсутствие. Молчание тоже бывает весьма красноречивым — но детали придется вытаскивать из практики социалистического строительства. Не слишком удобно — но мы-то не хотим уподобляться великим молчальникам!

Чтобы решать производственные задачи — надо, как минимум, их ставить. По всей видимости, у В. И. со товарищи имеется достаточно ясное понимание того, что формальная отмена власти капитала никоим образом не приведет к автоматическому просветлению изгаженных капитализмом (и крепостничеством) душ. То есть, человека будущего придется строить вместе с этим самым будущим: преобразования в экономике совершенно необходимо дополнять новшествами духовного производства, приводить воспитание и самовоспитание в соответствие с очередными задачами. Про материальную базу пока умолчим. Но даже теоретической базы культурного строительства у большевиков нет — поэтому направлять работу они просто не в состоянии. Не на что опереться. Не к чему звать. Когда нет ни прошлого, ни будущего — нет и настоящего. Единственное, что все еще возможно, — создать предпосылки, убрать формальные барьеры; а дальше утопающим предлагается выплывать кто как умеет.

А на практике? При отсутствии общего направления — остается суета, лихорадочная активность, вроде тремора конечностей. Поскольку

каждое действие само по себе — не удастся ничего довести до конца: одни почины сменяются (и отменяются) другими.

Вот, например, на бумаге отрезали церковь от школы. Но не отделили поповщину от семьи — и от общества в целом (поскольку легализовано финансирование, церковная экономика). Возможно при таком раскладе воспитать коммунистические убеждения? Разве что случайно, в редчайших обстоятельствах. Чего только не пробовали — а поп и ныне там, по-прежнему благоденствует. А как иначе, если одной рукой отбирают — другой взад дают?

Взять хотя бы календарную авантюру. Французская (буржуазная) революция — пример достаточно решительной реформы: перекроили вообще все — хотя и с кондачка, без какой-либо научной платформы или практической надобности. Потом была контрреволюция — и вернули всех на круги своя. Можно было уроки извлечь? Хотя бы один: сказавший «а» — да скажет «б». Шаг вперед и два шага назад — это не по-ленински. Но российская история вторична: сначала абстрактный (нелогичный и неудобный) календарь с «шестидневками» — потом откат на григорианский стиль (здесь, правда, на уступку пошли международному капиталу, а не местным попам, которые так и продолжают юлианскую жизнь). Казалось бы, если браться за дело, так с умом: просчитать структуру по науке, начать отсчет с дня революции (как у мусульман по хиджре) — и не возвращаться назад. Даже если западное летосчисление в данный момент экономически выгодно — зачем делать его основным? Почему не использовать только в международных расчетах (как принято и сегодня в некоторых странах)? А нет ресурсов — так и затевать не следует, другие дела найдутся, не менее революционные.

Другая сторона того же — календарные праздники. Зачем? Если нужно дать населению дни передышки — предусмотрите их в строении нового календаря. Предсказуемым образом, на регулярной основе. Не нужно абстрактных дат: почему одно увековечили, а другое нет? Помнить о выдающихся исторических событиях надо — но это память, а не экономическая дыра, срыв производственного графика. Можно предложить проект календаря, который позволил бы гибко нормировать рабочее время, сочетать разные схемы занятости без ущерба для производства и морального ущерба. Раз уж начали уничтожать уродскую седмицу — так давайте это делать с головой! Чтобы не пришлось откатываться при первом же нажиме из-за бугра.

Еще пример: всевозможные заимствования. Понятно, что когда нет своего, тянули со стороны все что можно. Но если буржуй позволяет вам стянуть у него морковку — значит, там внутри есть крючок, за который он вас из вашего коммунизма выудит. Или посадит на иглу. Тупо перенося в советскую действительность западные технологии, мы проникаемся их образом мысли. А в результате? Казалось бы, мелочь: советские дипломаты безукоризненно следуют буржуйскому протоколу, вместо того, чтоб ввести свой, идейно заряженный и не так напрягающий и без того слабую экономику. На фига вам фраки? Сгодится обычная тужурка, которая на все дни. Пышные приемы и церемониалы? Зачем? Я уже не говорю про дипломатические обеды, дорогие подарки и т. д. Нет уж, давайте по-деловому, без лишнего трепя, по существу. А то потом совесть грызет — и начинаем оправдываться [38, 158]:

Я очень хорошо помню сцену, когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинхувуду, [...] представителю финляндской буржуазии, который сыграл роль палача. Он мне любезно жал руку, мы говорили комплименты. Как это было нехорошо! Но это нужно было сделать, потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. Надо было это сделать.

Но для чего этот маскарад? На кой черт рукопожатия и комплименты? Подготовили необходимые документы в профильном ведомстве, подписали по принятой сегодня бизнес-схеме: каждый свой экземпляр, и обмен экземплярами (с простановкой второй подписи в чистое место). Не нужно личных встреч (техническое обеспечение которых встает в бешеные бабки). Формальность отношений лишний раз подчеркнет различие классовых позиций. Какие претензии? Это наш протокол — и мы ему следуем.²²

Да, буржуи кочевряжатся, отказываются иметь с нами дело — поначалу. Дескать, вам это нужнее — вот и идите на поклон. Надо нам кланяться мировому капиталу (а следовательно, и своему, внутри страны)? Факт в том, что не стали бы они вообще с нами разговаривать

²² Сегодня мидовцы считают для себя обязательным публично отвечать на публичные выступления забугорных авторитетов — а стоит ли? Если кому нужно — пусть подают запрос по официальным каналам; вопли в прессе можно смело игнорировать — это не по существу. Соответственно, ответ по принятой (у нас) форме. Тот случай, когда избыток бюрократии лучше, чем гласность (вырождение серьезной политики в цирк, в пошлую рекламу).

(ни в каком прикиде), кабы не было у них в том экономического интереса! Они будут изображать бесконечную снисходительность — но в конечном счете решает рынок. Они прекрасно сознают, что задержки с товарообменом не обрушат экономику партнера — а лишь заставят его украсть технологии, бесплатно получить то, за что он готов заплатить; значит — упущенный шанс обойти злейших друзей по части рыночных преимуществ.

Когда простой советский гражданин видит разодетого в пух и прах советского барина, мотающегося по заграницам, — ему становится не по себе и приходится выбирать: либо прибить барина — либо самому обуржиться, урвать хотя бы символическую толику избранности. Заведомо подпорченное капитализмом большинство избрало второй путь. Но удавалось не всем — и в душах, не научившихся созидать, зреет жажда разрушения, ненависть к способным причаститься и урвать.

Добавляет огня и доморощенный антураж: сохранение в быту буржуазных увеселений. Кого не пускают за бугор и в породистые ассамблеи — тем есть-таки возможность устраивать смотрины уровнем ниже, свысока поглядывая на половых в доступном кабаке: как же, мы тоже имеем право! В отличие от буржуазного Запада, русская культура никогда не считала рестораны точками общепита: гульнуть во все тяжкие — это вопрос престижа, шанс соорудить из себя эдакого калифа на час, тупо спустить заработанное — и терзаться похмельем вместо совести. Сюда же — литературные магазины, дорогие места в театрах, — даже бани... Советский быт тщательно разводит уровни быта: для быдла одно — «культурным» кругам другое. Кому-то машины и дачи — а другим и в коммуналке места нет, рассованы по баракам.²³ А это предполагает и сословно-классовую организацию общественного производства, отвлечение ресурсов от насущных нужд экономики на обслуживание слишком высоко о себе думающих, — поддержание системы общественного неравенства. Будет в таких условиях царить атмосфера дружелюбия и товарищества? Теперь представьте себе винтик необходимой классовому обществу репрессивной машины: попадает ему в лапы один их тех, возомнивших себя, — самое то

²³ Знаем по собственному опыту: комнатухи с удобствами на улице, крохотная кухонька на тридцать семей... Кое-кто из родни так перебивался до конца 1980-х. Хорошо, когда есть чуть более удачливые знакомые: сходить в гости — нормально помыться хоть иногда...

продемонстрировать ему бездну неинтеллигентности! Да, это дикость. Но задумайтесь: вы сами выстраивали отношения между людьми так, чтобы дать дикарям почувствовать свое убожество, — и когда у них просто нет ничего взамен, они будут гордиться хотя бы дикостью. Разумеется, есть интеллигенты — и есть разумные люди, которые искренне уважают всех, кто (по странному стечению обстоятельств) не имеет доступа к привычным для образованных слоев бытовым приятностям; многие ни о чем таком вообще не задумываются — и честно работают на благо трудящихся... Только, вот, трудно оттуда, снизу, разобраться кто есть кто: одного барина от другого по внешности не отличить.

Спрашивается: зачем сохранять и десятилетиями культивировать сугубо буржуазные технологии духовного самоубийства? Содержать потенциальные притоны и малины? Даже в войну, и в послевоенной разрухе, — кое-кто отсиживался по злочным заведениям; из похода в Европу рядовые бойцы возвращались (в лучшем случае) с медалью — а офицеры эшелонами тащили под себя что под руку подвернется. Не все, конечно, — а кто предприимчивый, и достоин выбиться в «новые русские». Те, кто следует завету Крупской (1926):

Бери от каждого, что он может дать...

Когда на все это навешивают серпы и молоты — это опошление социалистической символики и дискредитация самой идеи социализма.

Поначалу оправдывали необходимостью покупать труд старых спецов. Но те, чей труд следовало покупать, — не шлялись по кабакам. Кивать на богемность художественного гения — это не по-нашему: пусть лучше вообще не будет поэтов, музыкантов и художников, — чем отдавать искусство на откуп моральным дегенератам; истинный творец найдет свой путь и вдали от недостойных порядочного человека излишеств. А вместо того, чтобы предоставить творческим массам средства духовного производства, — им впаривают идею элитарности и права на утрату человеческого облика. Нужен балерине ресторан? — нет, ей нужнее светлый класс с зеркалом и возможность хоть изредка выйти на сцену (что с дореволюционных времен было предметом подлой торговли — а при советах стало еще подлее). Хочет дилетант тиснуть вирши не самой высокой пробы? — черт с ним, пусть! предоставьте всем такую возможность — но тогда и настоящему поэту не будет смысла рекламировать себя идиотскими выходками по пьяной лавочке (которые

разумная власть просто обязана пресекать). Когда же средства производства в руках не слишком чистоплотной номенклатуры — духовность в искусстве нормируется по остаточному принципу. Пусть лучше быт поэта или художника ничем не отличается от рабоче-крестьянского быта! — это хороший повод отсеять примазавшихся, — зато люди должны иметь возможность трудиться, творить. И не надо нам, что скрипач — существо иной породы, и его работа требует изысканности бытия! Работа слесаря — коль скоро он готов стать виртуозом своего дела — требует той же духовной самоотдачи и умения находить прекрасное вокруг себя. Хороший сантехник — такая же редкость, как гениальный скульптор или великий математик. Задача общества чутко откликаться на любые творческие искания — и в первую очередь заботиться о создании необходимой производственной базы. Не потакать дурным замашкам — а давить стремление выделиться, противопоставить себя другим. Даровой комфорт питает мещан; творческому человеку — главное, чтобы не мешали творить (а по возможности и подсобили кто чем может). Дворцы для этого без надобности — хотя и они для кого-то становятся рабочим местом: строители и реставраторы, историки, деятели искусства... А если философ ненароком забредет — это его право, лишняя искорка вдохновения. Хотя, вероятно, полезнее в парке погулять — а для этого нужны и садовники, и ландшафтные дизайнеры. Было бы только где на ночь приткнуться, да куснуть с аппетитом...

Разумеется, это не к тому, чтобы всем жить в хлеву. Украшать быт надо — но не ради демонстрации классовых привилегий, и не ради красоты как таковой, — а в качестве одной из компонент разумности. Другими словами, всякое потребление в разумно устроенном обществе есть вместе с тем и производство — и, как любое производство, это совместная деятельность, прямо или косвенно вовлекающая всех трудящихся без исключения, в глобальном масштабе. Следовательно, устройство быта не может быть частным делом — без регулирования в общекультурном масштабе тут не обойтись. Если же нет за душой ни малейшей идеи — каким местом будем регулировать?

Буржуазная пропаганда сотни лет вбивает в мозги: сделал дело — гуляй смело! Потребляй во все тяжкие. Поэтому большинство понимает коммунизм чисто потребительски — по Марксу [19, 20]:

Каждый по способностям, каждому по потребностям!

У Маркса — игра в формальную логику [12, 714]:

Производство, распределение, обмен, потребление образуют, таким образом, правильный силлогизм: производство составляет в нем всеобщность, распределение и обмен — особенность, а потребление — единичность, замыкающую собой целое.

То есть, мы заранее отказываем потреблению в праве оставаться всецело общественным, и впадаем в потребительский индивидуализм; именно поэтому появляется еще и распределение — способ связать воедино разодранную на всеобщность и единичность культуру. Если человек не противостоит обществу — то и распределять ничего не надо, поскольку уже на этапе организации производства предполагается обеспечить всем необходимым вот этого конкретного человека. Маркс осознает проблему и пытается избавиться от дурной противоположности [12, 718]:

Как потребление завершает продукт как продукт, точно так же производство завершает потребление. *Прежде всего*, предмет не есть предмет вообще, а определенный предмет, который должен быть потреблен определенным способом, опять-таки предуказанным самим производством. Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов. Не только предмет потребления, но также и способ потребления создается, таким образом, производством, не только объективно, но также и субъективно. Производство, таким образом, создает потребителя.

Однако внимание читателя больше привлекает конец абзаца — и дело выглядит так, будто производство влияет на *формы* потребления, не меняя его индивидуалистической сути. А в такой понимании марксова теория в точности передает характер рыночной экономики: потребителю впаривают то, что кому-то выгодно производить, — и приходится покупать на свои кровные всякую дрянь, потому что ничего лучше на полках не найти. Или потому что иначе хуже будет (как в киноклассике: не будут брать — отключим газ). Примат производства при капитализме означает диктатуру капитала.

Но присмотритесь к первой фразе: *производство завершает потребление*. Это уже совсем другой коленкор: мы производим не что попало, а предметы потребления (в том числе производственного) — и значит, строение потребления (общественная потребность) диктует характер и цель производства. И оказывается, что рыночный вариант ни

к черту не годен — что надо все перестраивать с точностью до наоборот. Есть потребность — мы ее удовлетворяем; мы производим не для обмена, не для распределения, — а для людей.

И вот здесь мы вспоминаем, что первая потребность человека разумного — творчество, созидание, преобразование мира. Его потребление целиком и полностью ради этого — и в этом смысле производство *завершает* потребление, становится его вершиной и смыслом. Но если производство не может не быть единством всех индивидуальных вкладов, если его продукт выражает общественную потребность, то и всякое иное потребление (как предпосылка производства и его неотъемлемая часть) обязано быть столь же общественным; индивидуальные потребности (склонности, вкусы, интересы) суть разные проявления единой, общественной потребности, и поэтому способ потребления обществу небезразличен: это другая сторона способа производства. В классовом обществе соответствие индивидуального потребления строению общественного производства складывается стихийно; бесклассовое общество устанавливает это соответствие сознательно, как норму жизни и критерий разумности.

Практически, это означает, что с самого начала, уже в переходный период, организация быта населения должна быть поставлена под общественный контроль. Доставшиеся в наследство от капитализма бытовые различия — никоим образом не предмет торга, не заманка для недостаточно культурных буржуазных интеллигентов (и совбуров), неспособных трудиться по зову сердца, а не ради мирских благ. Задача выравнивания условий быта и недопустимости противопоставления частной жизни задачам общественного развития — должна быть явно поставлена как предпосылка и условие перехода к новому способу производства. Несовместимость с индивидуалистическим пониманием потребления очевидна.

А что мы видим? На первых порах мысль о несправедливости капиталистической системы распределения пробуждает благородный призыв изъять излишки у богатых и раздать беднякам. Нормирование потребления прописано в программе партии — наряду с плановостью производства. Но одно с другим никак не связано — а значит, все опять сводится к банальной уравниловке, чисто количественному равенству — вне зависимости от характера участия в общественном производстве. Конечно, рабочий паек какое-то время был весомей интеллигентского; однако формальная принадлежность классу — это не экономический

показатель: ее легко сфабриковать и выставить на продажу. Задача не в том, чтобы кого-то куда-то зачислить (типично буржуазный подход); государство должно создавать условия для труда, чтобы каждому дать то (хотя бы только то), что ему необходимо для выполнения порученной обществом работы. Рабочих надо обеспечить жильем — но если кому-то по характеру занятости нужен рабочий кабинет, мы не имеем права реквизировать эту площадь под жилье: даже если предполагаемый кабинет находится в жилом доме (в частности, как часть квартиры) — это не жилфонд, а производственные мощности, которые будут переданы другому, если прежний работник уйдет из этого конкретного производства. Любые бытовые блага (движимые и недвижимые) подлежат не абстрактному распределению по количественным нормам, а выделению под конкретного носителя конкретной общественной функции. То есть, мы прежде всего ставим производственную (творческую) задачу — а потом просчитываем, какие для этого нужны ресурсы, подбираем кадры и выдаем реквизит. И спрос по результатам: не справился — заменить, растратил — расстрелять (пардон, закон военного времени). Ничего личного, сугубо по делу. Если же остановиться на буржуазной уравниловке — не подо что подтягивать сознание, и самые необъятные ресурсы разворуют, территории загадят, оборудование испортят. Тем более глупо раздавать деньгами: даже сохраняя их как средство учета, мы обязаны каждый грошик выделять под конкретную задачу — и требовать результата, а не формальной отчетности. Это не благотворительность, а строительство нового мира.

По итогам массовой кампании уплотнения в крупных городах — издержки безыдейщины налицо. Большие квартиры превращены в коммуналки — а подселенные к прежним хозяевам кто попало (чаще не рабочие, а вовремя подсуетившиеся ловкачи) вовсе не радуют за доставшееся им ни за что благоденствие: пусть все рухнет — а мы будем жить как жили, по свински, и гадить под себя.²⁴ Ленин в полном отчаянии [53, 106–107]:

Наши дома — загажены *подло*. Закон ни к дьяволу не годен. Надо в 10 раз *точнее* и полнее указать *ответственных* лиц (и не одного, а многих, в порядке очереди) и сажать в тюрьму *беспощадно*.

²⁴ Нечто похожее наблюдается сегодня в Европе, где есть правительственные и общевропейские фонды помощи мигрантам — а те тащат за собой дикие нравы, от которых сами же и сбежали.

Заметьте: пишет человек, который очень далек от реального быта, которому обеспечены бытовые условия заведомо выше среднего и особых проблем со снабжением нет. Если до него докатилась волна — значит, дело совсем швах! И уж конечно, вопиющие безобразия не только в распределении и содержании жилья: есть проблемы и с коммунальными службами, с транспортом, с текущим и капитальным ремонтом, с доступностью продуктов питания, со здравоохранением, — и мало ли с чем! Вопрос о грязи, скорее всего вылез в связи с трудной эпидемиологической обстановкой, из экономических соображений, а не в контексте заботы о людях.

Но какие карательные меры способны изменить самими же большевиками выстроенный индивидуалистический быт? Не сажать надо — а переводить на общественные рельсы, соединять быт с производством, делать частную жизнь общественно полезным трудом. Пока же частное остается частным, противостоящим обществу, — ни о какой культурности быта говорить не приходится, независимо от уровня обеспеченности и традиций.²⁵

Единство производства и потребления — руководящий принцип, который равно приложим к материальному и духовному производству, к сфере производства средств производства — и к производству предметов индивидуального пользования (предполагая, что потребление все равно остается общественным)... Технологии планирования быта ничем не отличаются от планирования в прочих отраслях. Вопрос лишь о том, что считать производственной единицей. И тут большевизм ошибается с поистине летальным исходом: элементарной ячейкой общества объявлена не свободная, творческая личность — а семья. Следовательно, воспроизводит общество не общественного человека, а всего лишь членов семьи. Участие в этом «трудовом коллективе» — отнюдь не добровольное: оно навязано формальным происхождением. И уволиться так просто не дадут. Тюрьма. Жесткая иерархия родства — и жизнь по понятиям.

²⁵ Из личных наблюдений: Москва, самый конец XX века, комната в общежитии аспирантов Академии наук СССР; то есть, вроде, далеко не люмпены. Но вот интеллигент во всех поколениях, благообразный еврей, не бедный и прекрасно ухоженный (оставшейся в Питере) женой и местной любовницей, — беззастенчиво (и намеренно) гадит в помещении, портит имущество и не дает жизни двум другим аспирантам, которым не повезло заселиться в ту же комнату. Вероятно, где-то он ведет себя иначе. Где? И почему?

Классовый характер такого общества — как на ладони. Всеобщая дележка по семейному признаку — прочная основа рыночной экономики. Неравномерность распределения общественного достояния по семьям, с одной стороны, предполагает отношения обмена, а кроме того — устанавливает и закрепляет общественные градации: очевидное неравенство стартовых условий, никакими талантами не наверстать. Неравенство в сфере быта, разительные контрасты роскоши и нищеты, клановые предпочтения при выборе рода занятий, сословная монополия на духовное производство... Все это уродует души, приучает людей быть скотами, культивирует ненависть вместо любви. Но большевики не только не разрушают всепроникающую семейственность — но и всячески ее насаждают: вместо универсальности развития и способности участвовать в любых культурных процессах — реклама «трудовых династий», культурной замкнутости, ограниченности круга интересов. Предпочтение большой патриархальной семьи — легализация той самой системы «блата», которая пропитывала советскую власть сверху донизу и разъедала любые прогрессивные начинания. На словах провозглашая отмену частной собственности на средства, отдают в частные руки самое главное — способность труда. Из этой семейной собственности неизбежно вырастает классовая экономика.

Теневая сторона семейственности — круговая порука. Член семьи обязан быть за своих — против остальных. Даже очевидное свинство — найдут оправдание. Аналогично — профессиональная солидарность (особенно у журналистов и прочих промывателей мозгов). Но это означает и сохранение средневековой системы родового искупления: если в немилость впадает один — гонения на всех. То же самое о корпоративной этике — и о борьбе партий. Например, угрозы поставить меньшевиков и эсеров к стенке — не по заслугам, а по партийности, без разбора [38, 136]. Таковы правила игры всех без исключения классовых обществ: зачистить арену после переворота, расправиться с бывшими союзниками. Диктатура Суллы в Риме, якобинская диктатура во Франции; позже — ночь длинных ножей в Германии. Демократический вариант того же самого: бывших начальников принято обвинять в коррупции и отправлять под суд; годятся и обвинения в изнасилованиях, предосудительных связях, злоупотреблении полномочиями...

Духовная сторона того же самого — отверженность всех, кто вне семьи. У кого некомплект родителей — люди второго сорта. Отношение

к сиротам и беспризорникам — сверху вниз, заранее предполагая моральную испорченность и преступные наклонности. Теоретически, развод разрешен — но это разрушает семью! — и на пути к свободе выставляют тысячи рогаток: настойчивые увещевания работников загса и судей, сложности в оформлении и разделе имущества, давление разного рода «общественников» (вплоть до публичной «проработки» на собраниях, «общественные суды»). Разведенный мужчина — подлец, алиментщик. Разведенная женщина — разведенка, брошенка, — почти шлюха. Вторично выйти замуж — повесить детей кому-то на шею. Такова суровая советская действительность — и мало кто способен не сломаться в этой дикости, отстаивать право на человечность. Люди устают, смиряются, начинают сами себя считать отбросами общества, — и о вдохновенном творческом труде можно забыть. Может это служить интересам построения бесклассовой экономики? Никогда.

Маркс говорил о всеобщей извращающей силе денег [42, 150]. Буржуазная семейственность извращает и революционное требование обуславливать удовлетворение личных потребностей личным участием в общем труде, в строительстве экономики и духовности будущего. Например, намеренно поддерживая дефицит жилья, советские власти включали в очередь на квартиру (или хотя бы комнату в коммуналке) только семьи репродуктивного возраста, от которых еще есть шанс дожидаться потомства. Одиночка без богатых родственников может претендовать, в лучшем случае, на койко-место в общежитии. Да, недоразвитое общество нуждается в воспроизводстве биологических тел; но это не повод отказывать людям в праве (и практической возможности) становиться людьми.

Парадоксальным образом — двойное отношение к пьянству и похождениям на стороне: публично осуждают, в душе завидуют. С точки зрения властей, это посягательство на экономические устои, подрывная деятельность. Убежденные защитники закона и порядка склонны подозревать «гулящих» во всех грехах и навешивать на них все, что не удастся приписать другим; отсюда жигловская линия в известном кинофильме. С другой стороны, объективно, обществу позарез необходимо освобождение от (духовной и экономической) узости семьи: капитализм начинается с отмены крепостничества — когда каждый выходит на рынок труда сам по себе, и возможно гибкое перераспределение рабочей силы. Добавляя к этому тлеющее в каждой душе чувство человеческого достоинства и жажду настоящей

любви — замечаем, что внебрачные связи (как и сугубо деловые знакомства) оказываются извращенной формой развития подлинной духовности, трудным путем становления разума. При том, что неспособность найти более человеческие формы — верный признак отсутствия разума.²⁶

Ленин говорит о необходимости избавления семьи от бытовых проблем: широкая сеть предприятий бытового обслуживания призвана избавить (прежде всего женщин) от «домашнего рабства», оставить людям больше времени — для чего? Уберите из семьи ее хозяйственные функции — что останется? Общение с интересными людьми? — так их много и вне семьи, и незачем искусственно сужать круг знакомств. Воспитание детей? — оно должно стать полностью общественным, чтобы не зависеть от индивидуальных наклонностей предков. Выходит, что и деторождение — одна из тех бытовых мелочей, которые надо бы вынести за пределы семьи, сделать одной из отраслей общественного производства. Не ставя вопрос об уничтожении семьи как таковой — невозможно говорить о неклассовой экономике и зарождении новой духовности.

Совершенно логично, любые попытки поставить семейный быт на общественные рельсы обречены на провал: общественное производство с точки зрения семьи — это возможность что-то урвать для себя, пожить за счет других. Если можно своровать — украдут. Поэтому качество общепита не идет ни в какое сравнение с домашней едой; стирка в прачечной — выброшенные на ветер деньги. Зачастую проще самому стоговить и постирать, потратить личное время — но не больше, чем придется угробить на переделку или исправление последствий. Пользоваться общественными бытовыми службами приходится лишь тем, у кого нет иной возможности; падение этого вынужденного спроса пагубно отражается на уровне услуг.

Есть страны, где рыночный сервис — давняя традиция. Но даже там одного лишь рыночного контроля недостаточно: государство дополняет рынок, устанавливая единые стандарты и наказывая за отклонения (когда виновных удастся найти). Тем более сложно индустриально поставить бытовое обслуживание в условиях недоразвитого российского

²⁶ Художественная литература выращивает из дикости трагедию — покорно отражая бытовые реалии. А попытки подступиться к проблеме были! Вспомним Чернышевского; а за двести лет до него — мадам Де Лафайет.

капитализма, издревле ориентированного на семью. Откровенно рыночное хозяйство отчасти ограничивает произвол и выводит потребительский сектор на уровень относительной приемлемости; сохранение рынка в социалистической экономике лишь усугубляет проблему: даже тем, кто хотел бы отдать бытовые заботы общественным предприятиям, приходится оплачивать это из своего кармана — сводить концы с концами, блюсти семейный бюджет. Если дома дешевле — остается домашнее рабство. И даже если удалось найти приемлемый внешний сервис — подспудное недоверие гложет все равно; держать про запас все необходимое на дому — это излишество и разбазаривание средств, но это и мера разумной предосторожности в резко меняющемся неуютном мире. Вот и получается, что общественное питание для нас — это дорогой ресторан (или кафе), куда можно заглянуть лишь по исключительному поводу, когда деньги накопил (или украл).

Сильные мира сего и в советской стране были выше бытовых тем. Они держали штат прислуги, использовали нерыночные рычаги для повышения собственной рыночной стоимости. Они могли позволить себе интересоваться последними веяниями с Запада — и мешать салонное жеманство с дикими привычками российского барина. Но в периоды относительной стабильности, когда борьба с разрухой начинала уходить на периферию общественного бытия, массе обывателей тоже мечталось о чем-то эдаком, — навести глянец на невеселую обыденность и продемонстрировать внешнюю культуренность. Чисто мещанский вариант — выискивать заграничные картинки и обезьянничать. Более высокий уровень — эпизодические государственные кампании, походы в культуру, пропаганда «коммунистического быта». Однако по факту все снова сводилось к западным стандартам. Например, в 1950-х и в начале 1960-х активно переводили книги, заполненные абстрактными советами и правилами — введенными неизвестно кем и неизвестно зачем. Внешность, одежда, интерьеры и публичные манеры — без малейшего обоснования, без разумных альтернатив. Импорт буржуазности.

По сути, в той же струе поддержка всякого рода самодеятельности. Капитализм широко использует такие отдушины для отвлечения внимания масс от насущных проблем современности, — возможность забыться, уйти в себя. Рыночный бонус — дополнительные спрос, выгодный бизнес. Лишний раз подчеркнуть общественные различия. Советский вариант — якобы в интересах развития экономики и личности, облагораживания быта и ускорения коммунистического

строительства. Повсюду детские кружки, ателье и студии для взрослых, заочное образование, популяризация науки и техники... Но эффект точно такой же: расслоение общества. Одни могли себе позволить развлечения и увлечения — для других это из области сказок. Дефицит книг, дефицит материалов для творчества... Реально заняться чем-то интересным возможно лишь в крупных городах — тем, кто умеет добывать из под полы и по блату. Отсутствие общественных центров тянет за собой домашние рукоделия и кухонные посиделки — садизм по отношению к соседям. В условиях искусственного дефицита особую роль играют разного рода творческие объединения и союзы — механизм распределения благ и доступа к средствам производства; а это по сути вводит цензуру — и убивает народное творчество на корню. Но политический смысл системы массового просвещения, как и при капитализме, в том, чтобы отвлечь людей от общественных проблем, замкнуть каждого на себя — и не допустить совместной деятельности, разменять разум на мелочи. Надо ли удивляться, что такая самодеятельность сразу же приобрела ярко антисоветский характер? Сажать диссидентов — глупо, когда буржуазность в каждом решении партийных съездов.

Положительный момент буржуазной самодеятельности, как ни странно, именно в ее буржуазности! Индивидуализм системы всеобщего разделения труда не допускает образования устойчивых общественных структур вне рынка — и в частности, на каждом шагу подрывает устои семьи. Наши увлечения — персонально наши, а вовсе не семейное дело. Тем самым складываются предпосылки перехода от семейного быта к общественной экономике, когда личное — лишь часть общего движения. Семейные конфликты на почве увлечений на стороне неизбежны, поскольку речь идет о дележке собственности; даже если внесемейная жизнь не отражается на бюджете семьи, она воспринимается как потенциальная угроза, трещина в крепостной стене. С другой стороны, сознательно контролируемые уходы в некоторых семьях становятся фактором стабильности, разрядить опасные внутренние противоречия. Когда не остается разумных стремлений и надежд, абстрактные увлечения превращаются в наркотик — отупение спасает от озверения.

Трагизм в том, что любые попытки большевиков выстроить новые отношения между людьми в условиях рынка неизбежно извращаются, переходят в свою противоположность. Куда ни кинь — всюду клин. Чтобы этого избежать нужен разум — умение видеть зачатки единства в

разобщенном мире и подчинять любые практические шаги интересам этого единства. Если нет последовательно материалистической философии духа — вновь и вновь воспроизводится убожество духа, во всех его неприглядных проявлениях. Отказ обсуждать вопросы духовного производства делает Ленина и его сторонников косвенно виновными в зверствах примазавшихся к власти садистов. Где нет места разуму — царствует дикость. Но есть в ленинском наследии и такой документ, который прямо и недвусмысленно оправдывает варварское, безыдейное насилие — произвол грубой силы.

Март 1919. На VIII съезде РКП(б) обсуждают вопрос об отношении к «буржуазным специалистам» — военным, управленцам, инженерам, научно-технической интеллигенции и педагогическим кадрам. Этому предшествуют бурные внутрипартийные дискуссии, где представлен весь диапазон точек зрения: от полного отрицания допустимости включения буржуазных элементов в систему руководства — до требования обеспечить максимально привлекательные условия. Ленин отстаивает взвешенный подход: сотрудничать надо — но оставить под жестким контролем; различие в зарплатке сохранить — но свести к минимуму и постепенно ликвидировать. То есть, в практическом плане, с позиций экономического (и политического) строительства он прав — но, как обычно, теоретическая платформа, мягко выражаясь, заставляет желать... Привычка мыслить буржуазными категориями, видеть в человеке лишь представителя класса, — сводит организацию труда к рыночным отношениям и классовой борьбе, тогда как переход к бесклассовой (и следовательно нерыночной) экономике требует иного организационного принципа: не противостояние, а привлечение; вместо наемного труда — совместный труд. И не особенно грамотный марксист сознает: двигаться к коммунизму надо по некапиталистическому пути. И уж по крайней мере, марксист не имеет права путаться в классовой структуре общества, принимать одних за других. Ленин сам писал о доставшейся в наследство многоукладности — но почему-то горит желанием зачислить всех подряд в ряды буржуазии, обращаться с которой, оказывается, положено как с рабочим скотом [38, 7]:

При всем этом — ни малейшей политической уступки этим господам, пользуясь их трудом всюду, где только возможно. Отчасти мы уже этого достигли. От подавления капиталистов мы перешли к их использованию, и это, пожалуй, самое важное завоевание, достигнутое нами за год внутреннего строительства.

Вместо трезвой оценки расстановки сил — слепая ненависть озверелого люмпена: вы на нас ездили веками — ужю теперь мы над вами поиздеваемся! Не обольщайтесь, дядя! Вы ничего не сделаете настоящим капиталистам — и никак не сможете их использовать. Они давно вне пределов вашей досягаемости, с тройным запасом прочности. Ваша мещанская злоба (не путать с классовой ненавистью!) направлена против тех, чьими руками буржуи таскали каштаны из огня, кого они (прямо или косвенно) принуждали работать на господ и кому платили больше чувством принадлежности к творческой элите, чем реальной возможностью творить. По сути — это те же наемные работники, трудовой ресурс духовного производства. У вас нет теории духовного производства — но само-то оно есть! И его тоже надо перестраивать на неклассовых началах. Но вам проще лупить тех кто поближе — сочувствующих и сторонников, — чем дотянуться до классового врага. И тем самым капиталисты, по факту, используют вас, заставляют душить идею в зародыше, — отталкивать разумных людей от большевистской диктатуры, чтобы те прямехонько попадали в лапы ловцов душ на той стороне, в стане врага. И вы старательно отработываете эту подлую роль, заранее объявляя всех врагами [38, 142]:

Нам нужно строить сейчас практически, и приходится руками наших врагов создавать коммунистическое общество. Это кажется противоречием, быть может, даже неразрешимым противоречием, но на самом деле только этим путем может быть разрешена задача коммунистического строительства.

Неужели так трудно понять? Кто соглашается (хоть из-под палки) работать на большевиков — уже допускает, что на их стороне может быть правда, — а следовательно, это уже не враг. И обходиться с ним надо иначе: вытягивать наверх нотки сочувствия, убеждать делом. Точно так же, пролетарий, нанимаясь на завод, уже допускает мысль о справедливости системы наемного труда — и буржуазная пропаганда делает все, чтобы эту буржуазность в нем развить, развеять сомнения; кто не поддался на уговоры — берется за оружие, становится профессиональным революционером. Но работать над духом — мы не приучены; нам проще заковать в цепи тело [38, 143]:

Организационная творческая дружная работа должна сжать буржуазных специалистов так, чтобы они шли в шеренгах пролетариата, как бы они ни сопротивлялись и ни боролись на каждом шагу. Мы должны поставить их на работу, как техническую и культурную

силу, чтобы сохранить их и сделать из некультурной и дикой капиталистической страны — культурную коммунистическую страну.

Насильно мил не будешь. Воспитывать культурность можно только культурно. Саботажников и диверсантов — к стенке. Они для дела совершенно бесполезны. Кто останется — будет строить новую культуру лишь в той мере, в которой он всерьез увлечется этим строительством, почувствует его *своим* делом — а не разрядкой сверху, от разукрашенных «эмблемами» нуворишей. Никакими лозунгами массы на это не повернуть; формальные права не сдвинут поезд ни на йоту. Воспитывать увлеченность можно только одним способом: дать возможность творить. Речь не о роскоши, не о возможности сколотить капитал и со вкусом его проесть, — желающим трудиться нужны средства производства, орудия труда, — в каждом производстве свои. Созданием условий труда должна заниматься диктатура пролетариата, переходная форма общественного устройства: от государства — к единству и взаимопомощи.

Но Ленин ослеплен перспективами большой политики, буржуазной партийностью, — и кроме фракционных разборок не замечает ничего. Как водится, с больной головы на здоровую: в партийной программе проблема обозначена как «вопрос о *буржуазных специалистах*» — именно так, с выделением. Козе понятно, что не все специалисты буржуазны, и далеко не все коммунисты — пролетарии. Например, хороший плотник — не станет буржум, пока его не затанят в рынок, не соблазнят возможностью нажиться на своем таланте. Но как только плотник начинает себя продавать — он перестает быть плотником, а становится специалистом иного рода — торгашом. Отличать плотника от торговца — иногда полезно. Как и талантливую художника от торговца картинами. Или как ученого — от академического функционера, торговца должностями и званиями (их при советах величали «организаторами науки»). Но ведомая Лениным партия огульно приравняет культуру (грамотность, умелость, свободомыслие) к буржуазности — и никакого иного таксона не предлагает. Стоит ли тогда удивляться появлению перерожденцев, у которых даже элементарная порядочность — не в чести?

Путаница не случайна — она выражает реальное положение дел при капитализме (особенно на империалистической стадии развития). Профессиональные идеологи (начиная с Аристотеля, или раньше) настойчиво внушают обывателю, что всякий труд должен приносить

барыши — а за просто так никто пальцем не шевельнет. Именно так Ленин подходит к работникам духовного производства: их можно или заставить — или купить [38, 166–167]:

Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистическими ячейками, поставить их так, чтобы они не могли вырваться, но надо дать им возможность работать в лучших условиях, чем при капитализме, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет.

Эту легенду правящий класс всячески лелеет — и скупает таланты, вкладывает деньги в предполагаемые рыночные преимущества. В итоге и сами таланты начинают мерить себя не качеством дарования, а его количеством, выраженным в имеющих хождение денежных знаках. Но если я произвожу что-то не ради стремления себя творчески выразить, а ради обмена продукта на произведенное кем-то еще, — во мне засыпает специалист и просыпается коммерсант — и я тут же вливаюсь в ряды мелких буржуа, о которых с таким презрением пишет В. И., — и здесь он таки прав! С одной маленькой, но очень существенной поправочкой: во всяком специалисте есть что-то от специалиста — и не все в нем сводится к буржуазности. Поэтому презирать надо не человека — а его дикость, тогда как самая куца культурность заслуживает уважения — и культивирования. То есть, создания условий для творчества и признания важности плодов труда (интеллигенты без этого чахнут на корню): дескать, давайте дальше в том же духе! И это же мы читаем в докладе о партийной программе [38, 166–167]:

Но заставить работать целый слой таким способом невозможно. Эти люди привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, т. е. обогащали буржуазию огромными материальными приобретениями, а для пролетариата уделяли их в ничтожных дозах. Но они все-таки двигали культуру, в этом состояла их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс выдвигает организованные передовые слои, которые не только ценят культуру, но и помогают проводить ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Когда врач видит, что в борьбе с эпидемиями пролетариат поднимает самодеятельность трудящихся, он относится к нам уже совершенно иначе. У нас есть большой слой этих буржуазных врачей, инженеров, агрономов, кооператоров, и, когда они увидят на практике, что пролетариат вовлекает в это дело все более широкие массы, они будут побеждены *морально*, а не только политически отсечены от буржуазии. Тогда наша задача станет легче. Тогда они будут сами собой вовлечены в наш аппарат, сделаются его частью.

Казалось бы, вот оно, разумное отношение к творческим людям... Но скажите на милость: почему врач обязательно будет буржуазным? Да, формально он выступает одновременно и работником и работодателем, сам себя нанимает, — это обычно для ремесленника, и по ленинской науке называется мелкобуржуазностью. Однако среди медицинских работников таких самозанятых не так уж много — а основная масса трудится по найму, обслуживает население на базе разного рода медицинских центров, управляют которыми чаще всего не врачи.²⁷ Тем более это относится к инженерам, учителям и т. д. Кустарей больше в сельской местности — где способ производства сохраняет оттенок кустарщины, и тем (трудовое) крестьянство отличается от заводского рабочего; сельские капиталисты (фермеры) — то же самое что хозяева кустарных производств в городах: даже если они сами трудятся, им не обойтись без наемного труда (а иначе будут нанимать их). Но даже среди индивидуальных предпринимателей есть весьма серьезные градации — и нельзя всех под одну гребенку. Тот же врач иногда вынужден купить собственную практику — потому что бескорыстное служение людям неизбежно войдет в противоречие с буржуазным законодательством; творческим людям нужна формальная крыша, отмазка от фискальных драконов. За самозанятыми творцами (известными певцами, поэтами, балетмейстерами, или изобретателями) идет настоящая охота: они вынуждены уезжать из родных мест, чтобы налоговая полиция не ободрала под чистую. Рыночная успешность почти всегда разъедает в людях человечность, обуржуивает их. И здесь важно не потерять опору для разумных решений — судить не по формальным признакам, а по тому, как люди относятся к делу. И подходить по-деловому: если человек готов работать на том, что общество в состоянии ему дать, не запрашивая лишнего, — если он требует не денег, а необходимых условий для труда, — его сословно-классовое происхождение и манеры не имеют никакого значения. Когда грамотный инженер заявляет, что ему нужно заложить в фундамент столько-то кубов бетона — это не прихоть «буржуазного специалиста», а точный расчет; если местный комиссар сольет часть бетона себе на дачу — производство выродится в халтуру, — а обвинят того же буржуя! Точно так же, рабочий не сможет

²⁷ После реставрации капитализма рынок медицинских услуг в России подмяли под себя разного рода блатные компании — и увольняли с волчьим билетом врачей, которые пытались действительно помогать людям, а не делать деньги на чужой беде.

забить гвоздь, если ему не дать ни гвоздя, ни молотка. Врачу нужны инструменты и медикаменты; ученому — доступ к специальной литературе; поэту — как минимум, письменный стол и возможность хоть ненадолго остаться наедине с собой. Но всем людям требуется иногда вздремнуть — и тут тов. Ленин сердито садится на мель по вопросу обеспеченности населения койко-местами...

Об этом конфузе чуть ниже. А пока отметим, что в контексте внутривнутрипартийной борьбы В. И., скорее, на стороне столь презираемых всеми «спецов» (по большому счету, он один из них) [38, 167–168]:

По отношению к специалистам мы не должны придерживаться политики мелких придирок. Эти специалисты — не слуги эксплуататоров, это — культурные деятели, которые в буржуазном обществе служили буржуазии и про которых все социалисты всего мира говорили, что в пролетарском обществе они будут служить нам.

Оставляем пока без комментариев скользкую формулировку: *будут служить...* А почему вообще они должны кому-то служить — а не просто работать сообща? В любом случае, резкие реплики большей частью направлены против «товарищей», протаскивающих решения, выгодные их фракциям. Но официальный отчет о работе съезда, опубликованный в центральных газетах, разумеется, не мог дать полной картины происходящего — и чаще ограничивался вольным пересказом, с отдельными цитатами. И тут Ленину не повезло: его процитировали криво — и народ возмутился. А как иначе, если окончательный текст программы РКП(б) требует

широкого и всестороннего использования оставленных нам в наследство капитализмом специалистов науки и техники, несмотря на то, что они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазными мирозерцанием и навыками. [...] Партия должна, в тесном союзе с профессиональными объединениями, вести свою прежнюю линию: с одной стороны, не давать ни малейшей политической уступки данному буржуазному слою и беспощадно подавлять всякое контрреволюционное его поползновение, а с другой так же беспощадно бороться с мнимо-радикальным, на самом же деле невежественным самомнением, будто трудящиеся в состоянии преодолеть капитализм и буржуазный строй, не учась у буржуазных специалистов, не используя их, не проделывая долгой школы работы рядом с ними.

[...] необходимо еще сохранить на известное время более высокое вознаграждение специалистов, чтобы они могли работать не хуже, а

лучше, чем прежде, и для той же цели нельзя отказываться и от системы премий [...].

Все прелести в одном флаконе! Значительный слой общества считают не людьми, а буржуазным наследством, — всех без исключения записали в контрреволюционеры и саботажники, — и надо не общаться с ними, а подавлять и покупать; не вовлекать в творчество, в строительство нового мира, — а всего лишь использовать (и потом на свалку?). Ну и, конечно, приставить партийных стукачей:

Равным образом необходимо ставить буржуазных специалистов в обстановку товарищеского общего труда, рука об руку с массой рядовых рабочих, руководимых сознательными коммунистами [...]

Звучит глянцево... А что на деле?

М. Дукельский, профессор Воронежского сельскохозяйственного института и председатель Центрального управления государственными предприятиями кожевенной промышленности, каким-то образом (очевидно, по недосмотру цензуры) умудряется опубликовать открытое письмо Ленину, где прямо указывает: коммунистические власти стремительно убегают от идеалов коммунизма и вместо диктатуры пролетариата насаждают диктатуру присосавшихся к власти паразитов: на каждом шагу

бессознательные новоявленные коммунисты из бывших городских, урядников, мелких чиновников, лавочников, составляющих в провинции нередко значительную долю «местных властей»

Лишенное прежних источников дохода и привилегий, это отребье вымещает злость на сознательно примкнувших к советской власти интеллигентах:

Постоянные вздорные доносы и обвинения, безрезультатные, но в высшей степени унижительные обыски, угрозы расстрела, реквизиции и конфискации, вторжение в самые интимные стороны личной жизни (требовал же от меня начальник отряда, расквартированного в учебном заведении, где я преподаю, чтобы я обязательно спал с женой в одной кровати).

Тем не менее, грамотные честные люди не валят в одну кучу простых исполнителей и поганое начальство:

И все же эти «мелкие буржуи» не оставили своих постов и свято исполняли взятое на себя моральное обязательство сохранить, ценою каких угодно жертв, культуру и знания для тех, кто их унижал и

оскорблял по наущению руководителей. Они понимали, что нельзя смешивать свое личное несчастье и горе с вопросом о строительстве новой лучшей жизни, и это помогло и помогает им терпеть и работать.

Это разительно отличается от буржуазности большевиков, которые боятся тех, кого они используют, и пытаются их подкупить — оптом и недорого. На что профессор из «ранее служивших трудящемуся брату с первых шагов сознательной жизни и мыслью, и словом, и делом» и по зову сердца участвующий в «строительстве новой лучшей жизни» резонно возражает:

Без вдохновения, без внутреннего огня, без потребности творчества ни один специалист не даст ничего, как бы дорого его ни оплачивали. Все даст доброволец, работающий и творящий среди уважающих его товарищей-сотрудников в качестве знающего руководителя, а не поднадзорного, охраняемого комиссаром из коммунистов урожая 1919 года.

Между прочим, здесь ясно сформулирован принцип коммунистического труда — о котором большинство коммунистов-ленинцев никогда не знали, а кто и догадывался — предпочли забыть. И дальше — главное отличие коммунистической экономики от классовой:

Если вы хотите «использовать» специалистов, то не покупайте их, а научитесь уважать их, как людей, а не как нужный вам до поры до времени живой и мертвый инвентарь.

Для буржуа наемный работник — чистое количество, рабочая сила. Начало бесклассовой экономики — когда люди трудятся для людей. Вот этого великий вождь не понял — или не захотел понять. За что ему еще одна чувствительная шпилька в задницу:

Неужели вы так замкнулись в своем кремлевском одиночестве, что не видите окружающей вас жизни, не заметили, сколько среди русских специалистов имеется, правда, не правительственных коммунистов, но настоящих тружеников, добывших свои специальные познания ценой крайнего напряжения сил, не из рук капиталистов и не для целей капитала, а путем упорной борьбы с убийственными условиями студенческой и академической жизни прежнего строя. Эти условия не улучшились для них при коммунистической власти (для меня это не совпадает с понятием о коммунистическом строе).

Заметьте: речь не о личном — а об условиях работы! Не шкурный интерес — а желание сохранить культурное наследие прошлого и передать будущим поколениям.

Казалось бы: вот заинтересованный человек — надо активно с ним общаться, сводить позиции, выяснять где пошло не туда... Но критика попала в больное место — и выиграла корпоративная гордость, круговая порука. наших бьют? — удавить в зародыше! Плевать, что по делу! — против нас вякать не положено. Тем более, тем, кого мы своим указом записали в мелкобуржуазные. И тут годятся любые средства: раздавить, унижить, выставить полным идиотом...

Обычная для Ленина тактика: перейти от обороны к нападению. На вооружении все та же бессовестная софистика: увести от темы далеко в сторону, подменить одни вопросы другими, приписать собеседнику то, чего он не говорил. И все это барски-снисходительным тоном — будто провинившегося кутенка носом в лужу [38, 220]:

По-моему, все же таки у автора преобладает личное раздражение, отнявшее способность обсуждать события с массовой точки зрения и с точки зрения их действительной последовательности.

И далее [38, 221]:

... это вообще ни с чем не соотносимо.

Интеллигентной беседой тут и близко не пахнет. Рабу грубо указывают его место. В принципе, дальше можно и не продолжать. Но игра не на шушере — а на партийных клакеров. Опять же, лично В. И. раздражает умение провинциального интеллигента высветить неприглядности стремительно складывающегося номенклатурного социализма, слабость идеологической базы и государственной практики большевиков. Работает все та же люмпенская схема: кто тут самый умный — пойдет грузить чугуний... На дыбу, на костер. Самоутвердиться, заглушить совесть упоением властью.

Начнем с того, что в профессорском письме вообще нет ничего «массовой точки зрения» и «последовательности». Речь о конкретных фактах, которые уважающая себя власть должна расследовать и дать принципиальную оценку обнаруженному. Было расследование? Черта с два! Заранее предполагается, что партийный начальник прав — а кто не начальник, тот дурак. Вместо того, чтобы показательно расстрелять мародера — чтобы другим не повадно было, — безоговорочная поддержка неизвестно кого, прикрывшегося именем партии. И это при том, что В. И. прекрасно знает о качестве контингента [30, 65]:

Я не придаю значения желанию держаться за слово «большевизм», ибо я знаю *таких* «старых большевиков», что упаси боже.

Но честно признаться в этом кому-то со стороны — боже упаси! Абстрактные лозунги [38, 222]:

Пойманных бандитов, рвачей, авантюристов мы расстреливаем и расстреливать будем. Но, чтобы очищение шло полнее и быстрее, надо, чтобы искренняя беспартийная интеллигенция помогала нам в этом.

Так вот же, помогают! — а в ответ? Мордой об стол.

Далее. Человек ничего не говорит об интеллигенции вообще: пусть кто-то из старых кадров вел подрывную работу (или сочувствовал ей) — но разговор о других, о тех, кто встал на сторону советской власти и продолжает считать себя слугами народа — какими они были и до прихода к власти большевиков. И о том, что партии не стоило бы разбрасываться своими сторонниками и союзниками — тем самым объективно укрепляя позиции буржуазии в экономике и идеологии. Ленину нечем крыть — и он свирепо огрызается [38, 220]:

Саботаж был начат интеллигенцией и чиновничеством, которые в массе буржуазны и мелкобуржуазны. Эти выражения содержат классовую характеристику, историческую оценку, которая может быть верна или неверна, но принимать которую за поносящее слово или за ругань никак нельзя. Озлобление рабочих и крестьян за саботаж интеллигенции неизбежно, и «винить» если можно кого, то только буржуазию и ее вольных и невольных пособников.

То есть, по ленинской логике, если кому-то в подворотне набили морду, он вправе насрать у соседа под дверь. А винить потом тех, кто плохо освещает улицы, — и ментуру поганую, — за то что бандитов крышуют. Так что ли? Палачи из НКВД получают прекрасное оправдания для любой мерзости: это вам за народные страдания! Сезон охоты на ведьм открыт. Нет, конечно: в НКВД полно честных и самоотверженных товарищей — только жертвам горстки подлецов от этого не легче. Добрые дела не на виду — а гады жаждут публичности, создают атмосферу страха и раболепия. Не знаю, чем думали наши вожди, — но это не коммунизм. Даже в проекте.

По разуму, стоило бы призадуматься — и, как минимум, поблагодарить за предостережение. А тут вульгарный журнализм, бравада, фразерство:

Если бы мы «натравливали» на «интеллигенцию», нас следовало бы за это повесить. Но мы не только не натравливали народ на нее, а проповедовали от имени партии и от имени власти необходимость предоставления интеллигенции лучших условий работы.

Значит, следовало бы повесить. Заранее оправдывая любые зверства победителей, партия именно натравливает примазавшихся к ней мерзавцев на всех, кто пытается сохранить в себе каплю человечности.

Это про означенный в программе кнут. Теперь о пряниках. Ленин всячески (и не без оснований) отрешивается от вульгарных толкований его высказываний [38, 220–221]:

Не знаю, на какой номер «Известий» ссылается автор, но крайне странно человеку, привыкшему заниматься политикой, т. е. разбирать явления с массовой, а не с личной точки зрения, слышать, будто отстаивание более высокого заработка есть непременно недостойное или вообще худшее желание «купить». Пусть извинит меня почтенный автор, но, ей-богу, это мне напомнило литературный тип «кисейной барышни».

Типичный трюк опытного софиста: соскользнуть в сторону. Поднять номера *Известий* за последнюю неделю — невелик труд, если уж берешься отвечать (а Ленину секретари доставили бы по первому требованию); поэтому отговорка не катит. Но профессор-то как раз и говорит, что нельзя «разбирать явления» только с «массовой» точки зрения — что надо думать о людях. По Ленину, если у человека есть чувство собственного достоинства — он просто капризничает, дуется бог весть на что. А власть имеет полное право клеймить и презирать. Обтекаемые формулировки партийной программы: «более высокое вознаграждение», «система премий», — не отменяют банальной торговли по поводу установления планки доходов и купеческого признания [38, 168]:

Конечно, специалистам мы теперь переплачиваем, но заплатить им лишка за науку не только стоит, а и обязательно и теоретически необходимо.

Но Дукельский никак не касается уровнем оплаты! — порядочному человеку оскорбителен сам факт выставления ему рыночной цены, навешивания этикеток (еще бы QR-код на лоб нанесли!). Ему важен не высокий оклад — а человеческое отношение, возможность спокойно трудиться на благо общества. Когда Ленин ратует за «необходимость предоставления интеллигенции лучших условий работы» — это мерзкое лицемерие, поскольку «условия работы» понимаются в духе чисто буржуазной меркантильности, как размер оклада. Все равно что сказать рабочему: не хочешь махать кувалдой? — покупай станки на свою зарплату! Типично буржуазная тактика: скрытая эксплуатация.

Бессовестное лицемерие продолжается и в вопросе о товариществе (по логике: когда вместе делают общее дело) [38, 222]:

Автор требует товарищеского отношения к интеллигентам. Это правильно. Этого требуем и мы. В программе нашей партии как раз такое требование выставлено ясно, прямо, точно.

Красивый абзац из текста программы (насчет «рука об руку») только полный идиот будет воспринимать всерьез — на фоне призывов «беспощадно подавлять всякое контрреволюционное поползновение», «поставить так, чтобы они не могли вырваться» и «руками наших врагов создавать коммунистическое общество». Оговорка по Фрейду: «ставить в обстановку», «окружить атмосферой»... Спустить товарищество сверху, по партийной разрядке. Помните, как в фильме *Пятый элемент* главному герою назначали «жену» для спецзадания? Ленин про «рядовых рабочих, руководимых сознательными коммунистами» — а профессор про то, как оно на самом деле: «поднадзорный, охраняемый комиссаром из коммунистов урожая 1919 года» — которые «из бывших городских, урядников, мелких чиновников, лавочников». А от вождя — наглое издевательство:

относитесь товарищески к измученным солдатам, к переутомленным рабочим, озлобленным веками эксплуатации

Это к урядникам и лавочникам, что ли? Нельзя же так беспардонно подтасовывать слова! Нет, вне контекста — требование совершенно законное. Только обращено оно не по адресу — тому, кто и так уважает народ и готов терпеть злобные выпады в свой адрес, понимая, что это не от сердца, а «по наущению руководителей» — замечание в самую точку! Но и здесь ленинская формулировка подчеркивает не разумность и право на человеческое отношение, а момент озлобленности — которая, якобы, оправдывает любые злодеяния. Прямой призыв бить интеллигентов. Товарищество по-ленински: если вас ударят по одной щеке — подставьте другую... Это, кажется, не из Маркса.

Ленин прекрасно понимал, что грамотный человек сразу заметит натяжки и лицемерие и воспримет подобные ответы как подлую отписку. Но его позерство (в *Правде*) обращено не к несчастному профессору, отважившемуся подставиться на роль мальчика для битья. Ленин обращается к тем самым городovým и урядникам, озлобленным люмпенам, к коммунистам, убивающим марксизм: так держать, товарищи! — кремлевское начальство одобряет.

В качестве иллюстрации изощренной софистики: речь не о том, чтобы *на деле* товарищески относиться, а всего лишь о включении соответствующего пункта в устав воображаемого сообщества «партийно враждебных большевикам» — подобно тому, как это формальное «товарищество» провозглашено программой РКП(б). Дескать, давайте следовать дипломатическому протоколу, когда вежливые фразы прикрывают взаимную ненависть. В докладе о партийной программе Ленин дает пример подобного умения со своей стороны [38, 158]. Товарищ не замечает, как эта мерзость позорит партию, выставляет ее типично буржуазным заведением, неспособным (и не желающим) следовать собственным курсом, вести себя не по забугорным правилам, а достойно, как подобает разумному человеку.

Кстати о традиционном для большевиков (начиная с Ленина и его супруги) преклонении перед Западом. В том же докладе читаем [38, 166]:

в западной Германии, [...] на очень многих самых крупных предприятиях инженеры, директора приходили к спартаковцам и говорили: «Мы пойдем с вами». У нас этого не было. Очевидно, там более высокий культурный уровень рабочих, большая пролетаризированность технического персонала, может быть, целый ряд других причин, которых мы не знаем, создали такие отношения, которые несколько отличны от наших.

Гнусная ложь и клевета. Большинство российских «спецов» искренне приняли революцию (как осуществление их собственных идеалов гуманности, которые они прививали революционному студенчеству) — и продолжали трудиться на благо новой России. Пример профессора Дукельского — совершенно типичен: из истории, из воспоминаний, из публицистики и художественной литературы мы узнаем о массовости явления. Те самые «сотни тысяч и миллионы» [38, 221], о которых презрительно отзывается Ленин («которые *всегда* получали лучшее жалованье» — вот оно, мурло мелкого лавочника и урядника!), — полная противоположность паре тысяч настоящих врагов (которые вряд ли испытывали на себе прелести поднадзорного «товарищества» — поскольку за них всегда работали другие). Сейчас мы можем подвести итоги: в России революция была (и тлеет до сих пор) — в Германии революции не было (и не предполагается); ну, а бравировать революционностью (как в манифестах сюрреалистов) — тогдашняя интеллигентская мода в цивилизованной Европе... Плюс, конечно, понятное стремление заводского начальства не попасть под распыл.

Еще раз: вопросы Дукельского — не о частностях, а о принципах строительства нового мира, в котором люди смогли бы, наконец, относиться друг к другу по-человечески — и вместе трудиться, вычищая быт от садистов и подлецов, освобождаясь от застарелой буржуазности в себе. И о том, что нельзя бить друзей, чтобы враги боялись.

Однако именно таких вопросов больше всего боятся кабинетные начальники, замкнувшиеся «в кремлевском одиночестве». Им удобнее ворочать «массами» — и тешить себя воображаемыми успехами, читая льстивые репортажи «с мест». Следуя за идеалистом Платоном и его средневековыми последователями, Ленин снова и снова использует схоластический прием: растворить общее в частностях, отвлечь от проблемы, опошлить, — чтобы потом торжествуя заявить: от этого олуха ничего умного и ожидать не приходится... Тут и всплывает злополучный постельный вопрос — в котором Ленин опускается до циничного хамства (да простят нас античные киники, идеи которых власть предержавшие извращали на протяжении двух тысяч лет, штампуя языковые клише по своему образу и подобию) [38, 221].

Автор сам побивает себя, рассказывая, как о величайшей обиде, об унижительном обращении, про тот случай, когда начальник отряда, расквартированного в учебном заведении, требовал у профессора, чтобы он обязательно спал с женой в одной кровати.

Спрашивается: какое право имеет какой угодно начальник (включая Ленина) лезть в личную жизнь взрослых людей, вполне способных самостоятельно решить, кому с кем спать? Заметьте: речь не просто о хамском тоне, но именно о *требовании*, и *обязательно*. Так на практике вырисовывается ленинская апологетика семейственности как основы общественного устройства: вместо свободной личности — семейное рабство, «супружеские обязанности» под контролем партийного урядника. Казалось бы, кому какое дело, в каких отношениях состоят проживающие по такому-то адресу? В браке они или нет — не имеет к делу ни малейшего отношения: у человека просто отобрали кровать — по праву сильного, как военную добычу, — и ничего не предоставили взамен. Но кто уполномочил этого мародера играть роль полиции нравов и плевать в душу тем, кто не сделал ему ничего плохого?

Вспомним записку Ленина *Об окладах высшим служащим и чиновникам* [35, 105]:

квартиры допускаются не свыше 1 комнаты на каждого члена семьи

Возможность иметь крышу над головой открытым текстом увязывается с брачным статусом — а самому по себе человеку ничего не полагается! А у кого семьи нет — записывайтесь в бомжи? Но если таки выделить по комнате на каждого в семье (недостижимая мечта и через семьдесят с лишним лет после революции!) — это предполагает и соответствующее количество спальных мест; так почему профессорской супруге нельзя претендовать на отдельное койко-место? Она живой человек, а не только член коллектива. По той же логике, студентов в общежитии тоже надо укладывать парами и более — для экономии! Тут Ленин опять все сводит к базару: чтобы иметь лишнюю кровать,

необходим более высокий заработок, чем средний. Не может же автор письма не знать, что в «среднем» на российского гражданина никогда по одной кровати не приходилось!

Интеллигента хамски попрекают более высоким заработком. Очень по-барски: вспомним генеральшу Ворохову у Достоевского! Но в любом случае: какой смысл в покупательной способности, когда купленное в любой момент могут отобрать безо всяких компенсаций?

Во-вторых. Был ли неправ начальник отряда в данном случае? Если не было грубости, оскорблений, желания поиздеваться и т. п. (что могло быть и за что нужно карать), если этого, повторяю, не было, то, по моему, он был прав.

Тут вождь пролетариата косит под алкаша из песни Высоцкого:

Но если я кого ругал — карайте строго!
Но это вряд ли...

И прямо-таки учебник лицемерия:

Солдаты измучены, месяцами не видали ни кроватей, ни, вероятно, сносного ночлега вообще. Они защищают социалистическую республику при неслыханных трудностях, при нечеловеческих условиях, и они не вправе забрать себе кровать на короткое время отдыха? Нет, солдаты и их начальник были правы.

Кремлевский господин (тут он уже ни в какие товарищи не годится) точно знает, что кровать реквизируют явно не для рядовых солдат: предназначен инвентарь командному составу — бывшим городовым, которые не желают путаться с низшими чинами, — а где-то и побаиваются подчиненных, не желают оставаться с ними на ночь в казарме (хотя бы и переоборудованной из вузовских аудиторий). На сколько-нибудь серьезный отряд профессорских кроватей не хватит.

Спать все равно будут по-походному — на тюфяках и скатках. Однако Ленину хочется лишний раз помордовать оппонента:

Мы против того, чтобы общие условия жизни интеллигентов понижались сразу до средних — следовательно, мы против понижения их заработка до среднего. Но война подчиняет себе все, и ради отдыха для солдат интеллигенты должны потесниться. Это не унижительное, а справедливое требование.

Ладно, вопреки «благодетеля» стерпели. Насчет потесниться — это всенепременно. Хотя даже в условиях острого дефицита кроватей можно было бы не опускаться до наглого грабежа — а поговорить по-человечески, найти взаимоприемлемое решение. Классовое общество с древнейших времен связывает войну с дележкой добычи; вульгарная революционность сводится к этому же: отнять и разделить. Чего стоят ленинские протесты против уравнилельного коммунизма, когда он же готов оправдать любое свинство якобы законами военного времени? Настоящее равенство — не измеряется деньгами: это умение видеть в другом человеке — человека, а не повод сорвать злость или источник наживы. И вспомним: требовали от профессора не просто поделиться имуществом (что само по себе не унижительно) — а спать в одной кровати с женой. А это уже хамство. Непростительное никаким властям.

Тут уже не профессор «побивает себя» — это яркая публичная демонстрация характера новых хозяев жизни. Если это увязывают с именем Маркса — Марксу не позавидуешь. Ленин десятки лет тщательно избегал малейшего вторжения в свою семейную жизнь: никакой публичности, черная дыра. Вопросы пола жестко табуированы. Но из лекции на постельную тему любой читатель может сделать вывод: тов. Ленин хочет сказать, что лично он всегда спит со своей женой в одной постели. Удивительная откровенность! А если нет — какое право имеет он поучать (даже провинциального) профессора? Но допустим на мгновение, что у Ленина в кремлевской квартире только одна кровать на двоих — и на правительственной даче тоже. Значит ли это, что всякого любителя постельной приватности следует тут же записать в классовые враги? И что нельзя бороться с классовым врагом, не опускаясь до хамства и лицемерия? Ну, не нравится вам гнилой интеллигентшишка... Ладно, расстреляйте. Но издеваться зачем?

Если бы наше знакомство с Лениным началось с этого письма — никогда бы больше не захотели иметь с ним дело. Ни по какому поводу. По счастью, сначала удалось заметить разум — а уже потом полезли в

глаза неразумности... Их много. Но пока удастся воспринимать это как извращенную рыночную форму большой идеи, которую трудно скрыть и невозможно имитировать.²⁸

Не знаем, как сложилась дальнейшая судьба Дукельского — вряд ли замечательно. Измарали его публично — на всю оставшуюся жизнь. Зато мы знаем о трагической судьбе Эфрона, Цветаевой — и еще кое-кого. Они не были антисоветчиками, и уж тем более контрреволюционерами; они сотрудничали с советской властью даже в эмиграции. Но они были другие — не вписывались в буржуазно-ленинский стереотип. Иметь собственные убеждения — что может быть преступнее? Исполнительная власть про убеждения вообще ничего знает — им нравится травить, истязать, растоптать и унижить... Это прямое продолжение ленинского хамства в область пенитенциарной политики. Так уничтожили и коммунистическую идею, развалили большую страну. И после — снова зверства в ментовке, пытки в тюрьме, санкционированное «опускание» новеньких; посадить на иглу, изнасиловать заключенных на камеру... Наказали кого-нибудь? Равно два раза! Это же неотъемлемая часть классового миропорядка — оборотная сторона семейного рабства...

Отказ официального марксизма обсуждать вопросы духовности — двояко связан с приматом семьи: частную жизнь ставят на сугубо правовую основу, а противопоставление частной и общественной собственности позволяет распиливать народное достояние со всеми удобствами; в дополнение к этому — тезис о неприкосновенности частной жизни требует правовой защиты награбленного и оправдания моральных уродств экономическими интересами. Как мы видели, лозунг невмешательства в семейные дела (подобно формальному отстранению от этнических и религиозных проблем) — это сплошное лицемерие: его поднимают на щит, когда это выгодно властям, — и легко отбрасывают в сторону, когда это выгодно кому-то еще. Человеческие отношения классовое общество заменяет отношением нивелирующих личность групп: классов, сословий, корпораций, семей... Тем самым обезличена и эксплуатация человека человеком: капиталист никого не грабит — он действует в рамках закона; бандит не насилует и не убивает — он живет по понятиям. Но для разума подобный уход от ответственности есть также избавление от свободы. То есть, смерть.

²⁸ La Rochefoucauld : Il y a point de déguisement qui puisse long-tems cacher l'amour où il est, ni le feindre où il n'est pas.

Дамские штучки

Воспоминания о Ленине, как правило, почти ничего не добавляют к тому, что можно почерпнуть из опубликованных работ, рукописей и писем. С одной стороны, это признак цельности натуры: слияние мысли с образом жизни — единство слова и дела... Другая сторона — работа цензуры, которой важно создать именно такое представление о вожде, и потому к публикации допускают не все подряд. В любом случае, есть чему поучиться. Но одна книжечка стоит особняком: в 1925 году Клара Цеткин публикует свои записки о беседах с Лениным по женскому вопросу осенью 1920-го (то есть, по еще свежим следам) — и специфика темы позволяет приподнять конспиративную завесу, которую В. И. всю жизнь выстраивал вокруг интимной проблематики. Нет, речь всего лишь о создании международного женского движения коммунистической направленности — в противовес волне буржуазного феминизма, интенсивно вымывающего работниц из большевистской политики. Однако тут как раз тот случай, когда обстоятельства становятся главными членами предложения — и говорят больше, чем грамматике дозволено обозначать. Поэтому мы ориентируемся на (изданный под редакцией Н. К. Крупской) полный текст 1933 года — а не на более поздние перепечатки, где якобы несущественные детали выпадают.²⁹

Мы отдаем себе отчет, что дошедший до нас ценный документ в любом случае не может заменить признаний из первых уст: рассказчик передает его собственные впечатления, выстраивает их согласно своим приоритетам, — и надо делать поправки, или, как минимум, не понимать буквально. Вероятно, какие-то ценные (для нас) обстоятельства так и остались за бортом. Но (по косвенным данным) мы можем хотя бы не сомневаться в подлинности источника — чего не скажешь о некоторых других хадисах, и уж тем более о современных буржуазных изысканиях в истории марксизма. Опубликовано после 1991 года (а за границей России и ранее) практически сразу можно отправлять в помойное ведро.

Прежде всего разумно задаться вопросом о причинах. Почему, вдруг, Ленину приспичило озаботиться дамскими штучками — и не

²⁹ Забавно, что цензура местами вымарала из оставшихся экземпляров фамилию «рenegата» Зиновьева — но почему-то оставила в неприкосновенности его жену Лилину, при том что ее книжки тоже изъяты из библиотек... И на старуху бывает проруха.

только вызвать товарища Клару в кремлевский кабинет, но и потом наведаться к ней в гостиницу?

Время лихое. Ленин уже успел отравить на смерть (пардон, на курорт) Инессу Арманд — но еще не получил похоронку. Успел также окончательно разругаться с питерскими «сепаратистами» (его словечко, из воспоминаний Лилиной), которым не по нраву авторитарный стиль некоторых московских товарищей — и они прикрывают свои попытки отъесть якобы положенный им кусок пирога призывами поставить экономику выше политики, передать бразды правления народным хозяйством настоящим «специалистам» (не афишируя, кто именно займется сертификацией профпригодности). С пролеткультовцами (типа Богданова) дружбы и раньше не было — и рулить искусством столь же проблематично. После хамских погромов в лояльных советах вузах — ученые тоже не сгорают от энтузиазма насчет следовать ленинским заветам. В общем, разброд и шатания. А на носу нэп, и надо объяснять и оправдываться... Лишний повод левым и правым уклонистам сходить стенка на стенку (а заодно поставить к стенке и тех, кто между). И вот, в самый разгар веселья, реверансы боевым подругам. К чему бы это?

Было бы наивностью искать одну большую причину. Как всегда, тут целый букет — и мы отщипнем от него только интересное по контексту. По всей видимости, переход от революционной войны к (относительно) мирному строительству со всей определенностью показал слабость позиций большевиков по теоретическим вопросам: даже если разрушить старый мир до основания — а затем? Мы знаем (благодаря Марксу), что не так в капитализме; но как будет выглядеть то, к чему предстоит народ звать? Вроде, пора — а в заглавнике только благие пожелания...

И вот здесь вылезает на свет пренеприятнейшее (для истинных ленинцев) обстоятельство: невозможно заниматься экономическими вопросами, не затрагивая вопросов духовности. Потому что экономика нам нужна не сама по себе — а для того, чтобы мы могли чувствовать себя людьми; а люди никак не удовлетворяются возможностью набить брюхо или обставить логово — людям нужна еще свобода, и не только *от* чего-то — но и сама по себе, как творчество, труд, любовь. Не хватает свободы — никакие побрякушки не спасут. Именно стремление к свободе ведет народ на баррикады, заставляет брать бастилии — или перерисовывать картину вселенной. А что вместо этого? — военная диктатура, партийно-казарменная дисциплина. Ленин точно знает, что распоясавшиеся фракционеры ратуют лишь за свободу для себя, а не за

народ; поэтому их надо разоблачать и клеймить. Но В. И. оказывается в совершеннейшей растерянности, когда вместо этой фиктивной свободы надо предложить хоть что-нибудь настоящее, не размениваясь на внутривнутрипартийные склоки. Как это часто бывает, стойкий борец в патовой ситуации ищет возможности спрятаться — где бы вы думали? — за женской юбкой!

Заметим: это вовсе не слабость — это выражение самой сути дела. Вопросы любви приобретают всемирно-историческое звучание именно в периоды страшных потрясений, когда старое в руинах, а новое — где-то на той стороне еще не прорубленного тоннеля. Так было и на заре цивилизации, на гребне растаскивания первобытной общности; та же струя — в крушении античных культур; указать дорогу из средневековья в новое время смогла только любовь; наконец, пафос борьбы с гнетом капитала (со второй половины XIX века — или даже с маркиза де Сада) вытаскивает амурную тематику на самый верх в искусстве, в науке, в философии — и в партийном строительстве. Французское *cherchez la femme* — зеркально перевернутое отражение действительности: как только в истории назревают большие дела — в них тут же впутывают женщин (чтобы потом было, на кого при случае все спихнуть, — или кого послать на эшафот). Невозможно преувеличить историческую роль всевозможных воительниц и утешительниц: в классовом обществе, они всегда были символом прогресса, связывали прошлое с будущим.

Так вот, в критический момент российской революции большевикам позарез необходимо массовое женское движение, которое стало бы выразителем идеалов бесклассового будущего — в противовес дикому мещанству. Массовость — как раз для того, чтобы уйти как от узко бытовой проблематики (материальное производство), так и от слащавой сентиментальности и пошлостей либертинажа (духовная сторона). То есть, женщина оказывается с любовью не один на один, не в качестве абстрактного индивида (как у поборников буржуазной «свободы»), — она становится представителем класса и общества в целом, выразителем всеобщей необходимости и потребности. Это великолепно звучит в передаче ленинских слов Кларой Цеткин:

... у нас еще нет международного коммунистического женского движения, а мы должны добиться его во что бы то ни стало. Без такого движения работа нашего Интернационала и его партий не полна и никогда не будет полной. А наша революционная работа должна выполняться целиком.

Здесь явно не по памяти — а по конспекту. Мощная идея в том, что без обращения к «женскому вопросу» в идеологии не будет полноты; напрямую выражена (пусть и в политически извращенной форме) самая суть проблемы: единство экономики и духовности. И становится понятным яростное сопротивление функционеров Интернационала: перенос фокуса с разрушения на творчество (от вражды к любви) подрывает саму идею партийности — а зачем им рубить сук, на котором они так прочно сидят?

Достаточно определенно и начало беседы: первые же фразы подчеркивают, что речь не об одном из «прикладных» направлений идеологической работы — а необходимости решения теоретических вопросов, ухода от традиций буржуазного эмпиризма и натурализма:

Мы безусловно должны создать мощное между народное женское движение на ясной определенной теоретической основе. Без марксистской теории не может быть хорошей практики, это ясно. Нам, коммунистам, необходима и в этом вопросе величайшая принципиальная чистота. Мы должны резко отграничиться от всех остальных партий.

Обратите внимание: это как раз то, от чего до сих пор всячески откешивались и Ленин, и Маркс с Энгельсом. Начальство вещало: экономика первична, и давайте крутить экономическую теорию — все остальное, вроде как, само приложится... Однако когда вульгарные построения партийных морализаторов и богостроителей начали перетекать в подрывную работу экономической оппозиции — стало ясно: не отвертеться. И придется влезть во все постели, и превратить голый натурализм в исторический материализм. Без этого — не будет и единства в партии.

Спрашивается: почему нельзя было начать с раскручивания женского движения внутри России — и в каждой отдельно взятой стране? Наверно потому же, почему Маркс с Энгельсом ратовали за создание международного союза коммунистов, за слияние рабочих движений разных стран: капитализм по своей сути интернационален; класс капиталистов противостоит рабочему классу безотносительно к рисованию границ (которое мировая буржуазия как раз и использует для разобщения рабов, натравливания их друг на друга). Эта экономическая универсальность — великое достижение капитализма; но она означает, что и любые отношения между людьми (а значит, и духовное производство, и воспроизводство разума) — оказываются столь же

универсальными, и даже больше: универсальность как определение сознательной деятельности (в отличие от биологической необходимости и случайностей неживой природы) как раз и говорит о воздействии духа на экономику: единство разума требует экономического единства — наши мечты о будущем заставляют нас творить будущее.

Дальше начинается большой разговор — и Ленин разговаривает много и охотно, как будто желает выговорится на не очень удобную для официальной партийности тему. Из этого обстоятельства мы тут же делаем вывод: наболело — и не случайность. С удивлением обнаруживаем, что В. И. в курсе любой свежатинки — и у него на все имеется вполне определенное мнение; следовательно, не экспромт, а продукт достаточно основательных размышлений. То есть, при всей загруженности военными делами, вопросами экономики и партийной дисциплины, — находится время (и немалое!) на подборку материалов и обдумывание тезисов по женскому вопросу; учитывая знаменитую ленинскую самодисциплину — это указание на жизненную важность, злободневность.

В качестве иллюстрации — казус с проститутками. Цеткин получает (для передачи германским товарищам) выговор за «беспорядочное» поведение некоторых тамошних партийцев, которое «создает путаницу и раздробляет силы». В скобках: значит, как минимум, свой интерес к дамской тематике В. И. раздроблением сил не считает. О чем же речь? Оказывается, «одна талантливая коммунистка» развернула кампанию за вовлечение проституток в коммунистическое движение, и даже издает для работниц постельного фронта агитационный листок. Ленина это возмущает:

Разве в Германии больше нет промышленных работниц, которых нужно организовывать, для которых должна существовать газета, которых необходимо привлечь к вашей борьбе? Здесь речь идет о болезненном уклоне.

Но скажите, пожалуйста: что плохого, если в общем деле обращают внимание на (возможно) не самые насущные вопросы? Их же все равно надо решать — или как? Есть возможность — почему бы не заняться? Другое дело, если бы под это перекраивали марксизм, отступали от генеральной линии на строительство коммунизма; тогда, конечно, имеет смысл критиковать — конкретно указывая, в чем прокол. Но Ленин ничего такого и не упоминает — и распространяет не очень приличный душок...

Действительно, по какому праву наш вождь берет на себя смелость ранжировать людей по роду их занятий? Важен человек — а не то, куда его забросила нелегкая. А то получается, что заводская женщина — это одно, крестьянка — совсем другое, учительница — особая статья, а чиновница — вообще сбоку! Как есть, сословное деление — феодализм без намордника. Вовлечь в партию швею — это доблесть; идейно подковать проститутку — «беспорядочный поступок». Соответственно, в партии тоже не все равны: послужной список висит на каждом несмываемым клеймом... Но и тут не без исключений. В 1917-м Ленин призывал исключить из партии предателей Каменева и Зиновьева, разгласивших в открытой печати планы подготовки вооруженного восстания. Но в 1920-м Зиновьев с супругой — свои люди, которых тот же Ленин охотно рекомендует Кларе как опытных, идейно выдержанных товарищей. Странная сегрегация быков и юпитеров... Если Инесса Арманд меняет мужей, без отрыва от нежных чувств к т. Ленину, — это в порядке вещей; у Зиновьева, кстати, тоже супруга не первая. Но когда некий «высокоодаренный» товарищ XYZ «бросается из одной любовной истории в другую» — можно сразу утверждать, что «из него ничего путного не выйдет»:

Это не годится ни для политической борьбы, ни для революции. Я не поручусь также за надежность и стойкость в борьбе тех женщин, у которых личный роман переплетается с политикой, и за мужчин, которые бегают за всякой юбкой и дают себя опутать каждой молодой бабенке. Нет, нет, это не вяжется с революцией.

Здесь В. И. походя оскорбляет ту же Инессу Арманд, да и собственную жену — у которой политика очень даже путалась с нежными чувствами, вплоть до выправления по всем инстанциям разрешения поехать за любимым в ссылку. Вспомним также об амурных похождениях «железного Феликса» — из него тоже ничего путного не вышло? Скорее, стоило бы сомневаться в революционности уж очень холодных и расчетливых...

Но черт с ними, с непутевыми. Вы посмотрите на фразеологию: наших товарищей «опутывают» какие-то «молодые бабенки»! Может человек, с таким высокомерием высказывающийся о женщинах, претендовать на решение пресловутого «женского вопроса» — как бы его ни понимать? Прикиньте, что было бы, выступи он в таком духе на митинге по поводу восьмого марта. Нет, нет, это не вяжется с революцией.

Вернемся в публичный дом. Попытался Ленин хоть раз пояснить, почему «печальное» ремесло проститутки лично ему не по душе? Чем это низменнее работы на конвейере, ухода за скотиной или опытов с радиом? Никаких намеков. Остается только расхожая мораль: ах, это неприлично! Чем тогда Ленин лучше германских филистеров, на которых их большевистское высочество изволит с негодованием топтать ножкой?

Исторический материализм требует со всей определенностью заявить, что *всякая* вообще профессиональная деятельность есть занятие низменное и недостойное разумного существа — поскольку такое разделение труда отнимает у человека свободу менять характер участия в общественном производстве в соответствии с потребностями как производства, так и личностными ориентирами. С другой стороны, *всякий* труд (поскольку он остается элементом культуры) для чего-то необходим, и отбрезиваться от грязной работы — это не только не марксизм, но и классовая подлость, стремление съездить в рай на чужом горбу. Отношение общества к труду — продукт исторического развития. То есть, продукт деятельности. И не мешало бы сначала выяснить, кто делает неприличным индустриальный секс — и зачем?

И вот тут оказывается, что ленинская брезгливость — прямое продолжение буржуйских замашек: господа презирают рабов, потому что они им всем обязаны — и живут за их счет. Презрение — повод не платить по счетам. Элемент классового насилия, его идеологическая составляющая. Отсюда практический критерий: если филистер осуждает что-либо — это лишь маскировка жестокой эксплуатации, не связанной никакими законами, дикой и беспощадной. Женщин испокон веков не считали за людей — и половое насилие лишь верхушка айсберга, основные массы которого — в глубинах того самого института семьи, который всеми силами защищают апологеты капитализма, а вслед за ними и коммунисты, вроде Энгельса и Ленина. Женщина — лишь средство производства и предмет потребления, косная биомасса, которой не положено иметь никаких взглядов на «женский вопрос»: властям лучше знать, чего хочет женщина (а хотеть она обязана только того, чего от нее хочет хозяин, господствующий класс). Ленин лицемерно скорбит о наемных работницах интимного бизнеса:

Они достойны сожаления — эти двойные жертвы буржуазного общества. Во-первых, жертвы его проклятой системы собственности, а затем еще и проклятого нравственного лицемерия.

Куда достойнее сожаления достойные супруги и матери: это не двойные, это многократные жертвы! Мало того, что им не платят за интимные услуги — но от них еще и требуют рожать, и поднимать детей, и тащить на себе дом, обслуживать супруга (а часто и его производственные надобности); когда же все это сочетается с необходимостью отработки в публичном секторе (на заводе, в поле, в офисе — или на панели) — можно только удивляться, как они это выдерживают, — восхищаться высотами духа. Проститутки (хотя бы внешне) намного свободнее: их эксплуатируют только в одном отношении, а не сразу во всех. Они просто делают свою работу — и хозяева грабят их точно так же, как заводских рабочих, ремесленников или батраков; но публичные дамы хотя бы выше семейного рабства — не стали вещью, предметом интерьера. И за это их ненавидят те самые высокоморальные буржуа, которые пользуются их услугами — и которые сами повязаны браком по рукам и ногам. Они завидуют чужой свободе — которую не купишь ни за какие деньги, но за которую в классовом обществе приходится платить телом и делом. Звучит кощунственно — но проституток можно в этом смысле считать передовым отрядом женского движения, более сознательным, более свободным, чем миллиарды утопленных в брачном болоте душ. Так почему не допустить коммунистическую агитацию в этой благодатной среде (разумеется, не забывая и об остальных)? Почему это (по Ленину) «болезненный уклон»? Отказывать проститутке в праве принимать участие в общественной жизни наравне с любыми другими женщинами (и мужчинами) — это классовое насилие, способ разрушить единство эксплуатируемых масс. Точно так же, как в профсоюзном движении элитные профессии смотрят свысока на черную кость — а рабочая аристократия (подобно интеллигенции) объединяется с буржуазией ради сохранения своих привилегий, возможности косвенным образом эксплуатировать трудовое большинство.

В скобках заметим, что политика и разведка всех времен и народов (включая советскую) использовала женщин для лоббирования выгодных сделок или вытягивания секретов; некоторым женщинам эти игры даже нравились — они создают иллюзию свободы, в какой-то мере позволяя эксплуатировать эксплуататоров. Здесь никто из большевиков и не думал возражать... Ленин против «нравственного лицемерия почтенной буржуазии» — но сам он в вопросах разделения труда по гендерному признаку (как и по остальным) лицемерен абсолютно безнравственно. Да, литературный штамп конца XIX века придает проститутке «образ

сладенькой мадонны»; эта гнилая струя сохраняется и сто лет спустя. Но давайте посмотрим, каковы рационализаторские предложения:

Вообще проституция и у нас здесь поставит еще перед нами много трудных задач. Возвратить проститутку к производительному труду, найти ей место в общественном хозяйстве — вот к чему сводится дело. Но при теперешнем состоянии нашего хозяйства и совокупности наличных условий провести это трудно и сложно.

Вот-те раз! Оказывается, не уважаем мы проституток за то, что нет возможности навесить на них еще и материальное производство (на заводе, в сельском хозяйстве, в деторождении). Если бы выгорело — можно смело не платить за интимные услуги: дескать, оплачиваем (хотя и не по стоимости) только осязаемый продукт! Двойная экономия. Памятники Ленину пора воздвигнуть во всех империалистических столицах — и перенести прах из мавзолея в Пантеон, поближе к Наполеону. Но повернуть на практике не удалось — и дело вовсе не в «совокупности наличных условий», а в том, что идея любви неотделима от идеи свободы — и она необходимо будет выражать себя хотя бы в извращенно-буржуазных формах, через аморальность проститутки. Средневековые мамлюки запретили в Египте проституцию — думаете, ее там стало меньше? Французские гризетки были трудоустроены — ну, и что это меняет? Полиция нравов до сих пор существует в самых передовых буржуинствах мира — и ее нравы хорошо известны читающей публике и кинозрителям. «Допросы» проституток и при советах частенько превращались в оргии; в постсоветской России менты насилуют не только женщин, да еще снимают на камеру... Ничего личного — просто бизнес.

Тут придется перепрыгнуть вперед, к обличительной речи против пресловутой «теории стакана воды». Нельзя не отметить еще одного говорящего обстоятельства: патетическая риторика обращены к одному-единственному слушателю, к подруге Кларе, — но что мешало открыто выступить против вредного (?) поветрия в коммунистической печати, заявить о своей позиции четко и недвусмысленно? Тем более, что (по признанию Ленина) от этой теории «наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась». Молчать и держать фигу в кармане — подлое лицемерие, неуважение к политическим оппонентам и к народным массам, которые, будто бы, сплошь безграмотны и могут не так понять. Допускаем, что в каких-то еще частных беседах тема всплывала — у нас нет об этом сведений. Но речь-то о том, что касается всех, — а не горстки

интеллигентов. Политика и честность — вещи несовместные; но занятия политикой (как и проституцией) не отменяют требования оставаться человеком — иметь твердые убеждения и не стыдиться их.

Оставляя пока в стороне «теоретические» возражения, обратимся опять к форме, к внешнему виду:

Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? Но важнее всего общественная сторона. Питье воды — дело действительно индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу.

Просто букет (или чертополох) филистерской морали! Женщину (то есть, человека) воспринимают в одном-единственном аспекте — как предмет потребления. Если женщина общается (не важно, в каком смысле) с несколькими мужчинами — она уже «грязная»! Женщина должна принадлежать мужику персонально, надежно «обеззаражена», чтобы его «гигиеническая» щепетильность не страдала. Мой стакан — что хочу, то с ним и делаю! В тех же условиях, у мужика может быть несколько «стаканов» (например, для разных напитков) — это не против мещанской эстетики.

По опыту, стаканы в советском общепите не всегда блистали чистотой. Но если некто вдруг озаботился нечистоплотностью в делах определенного рода, — какой вывод? Очевидно, требуется сделать процесс чистым, повысить культуру производства и быта. Сравните ленинскую логику в письме к Арманд [49, 56]:

Поцелуй без любви у пошлых супругов *грязны*. Согласен. Им надо противопоставить... что?... Казалось бы: поцелуй *с любовью*?

Человеческий, культурный секс — ничуть не грязнее обеда в хорошем ресторане, где крысы не бегают по столам и нет тараканов в салате. Однако само по себе это не придет — это надо делать, внедрять в массы. А не брезгливо фыркать из кабинета в Кремле. Даже если речь идет о проститутках, логично было бы заняться приведением их ремесла к гигиеническим стандартам, обеспечить технологичными средствами производства, — не забывая, конечно же, об эстетике и этичном отношении к дамам, которые дают вам именно то, зачем вы к ним пришли. Развитые капиталистические страны этот путь прошли — и они на голову выше в нравственном отношении, чем «кремлевский

мечтатель». Половая жизнь — еще долго будет нормой человеческой жизни, и никогда не вредно ее облагораживать. Хотя бы за деньги. Полагаете, насильники в подворотнях — меньшее зло? Да государству, быть может, следовало бы приплачивать (общественно организованным) проституткам за нужную и полезную работу по устранению нездоровых влечений, сексуальных извращений! Только совсем больной пойдет ловить девочек в парке, если у него есть возможность дешево и вкусно оттянуться в хорошем борделе, без малейшего риска. Обучение подростков сексу должно стать частью школьной программы (пока таковые программы вообще существуют). Тогда и больных (на голову) не станет. Кем надо быть, чтобы эту работу считать грязной? А в ленинской логике — следовало бы бороться также с дворниками и ассенизаторами... Заметьте: в каждом деле есть и те, кто работает не просто за деньги, а по призванию. Сознательный борец за чистоту окружающей среды — ничуть не возвышеннее борцов за культуру (и свободу) секса. Возможность культурно контролировать телесные отправления — в интересах общества в целом; идея сделать такой контроль общедоступным — в этом плане вполне коммунистическая. Тогда как по Ленину свобода отношений — право избранных, а еще лучше — крепостное право, семейное рабство.

Мы подходим к финалу обличительной тирады. Секс быстренько переименовали в любовь — и наипошлейшим образом отождествили человеческую любовь с животностью размножения. Тем самым, опять же, превратили женщину в средство производства — аппарат для почкования. Участие «двоих» заведомо неравноправное: кобель в качестве субъекта, дама — объект воздействия, и ходячий инкубатор. Это не общественный — это классовый интерес. Что за коллектив имеется в виду — и почему кто-то ему должен — Ленин не уточняет. Зато вся последующая педагогика дружно подхватывает фразочку насчет «третьей жизни» — и уже напрямую заявляет: размножаться приличные люди должны только в семье. Разумеется, без минимальнейших обоснований: приказ такой — извольте принять к исполнению.

Чисто буржуазное смешение любви с сексом и размножением — пропагандистский трюк, призванный замаскировать прямое насилие, дикую эксплуатацию женщины классовым обществом. По логике, если общество заинтересовано в производстве детей и их последующей социализации, — следовало бы выделить это производство в особую

отрасль, обеспечить вовлеченным в него лицам приличные условия труда и отдыха. В терминах рыночной экономики: женщина вправе подписать договор на выполнение определенного объема работ — но во всем остальном она свободна и может посвятить себя чему угодно. Индустриальный вариант: подсадили оплодотворенную яйцеклетку, создали условия для полноценного вынашивания и родов, — а после этого никто никому не обязан — никаких «долгов». Будет кто-то заниматься сексом или нет — к делу не относится. Тем более никто не вправе совать нос в личные чувства: мотивы для секса (или рождения ребенка) у каждого свои, а дальше — вопрос взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Короче — все отдельно. Включая обучение и воспитание, с младенчества по гроб жизни.

Но нет! Ленину надо попользоваться населением безвозмездно — то есть, задарма. Пусть как хотят выкручиваются из экономических тисков; классовому обществу нужен продукт, который затем отчуждается от производителя и поступает на рынок труда. Сплошная экономия — совершенно политическая.

Еще о логике и двурушничестве. Ленин жестко осуждает попытки «организовывать проституток как особый революционный боевой отряд» — но чем отличается от этого его собственная идея о создании международного женского коммунистического движения? Тем самым он ратует за особый, «женский» коммунизм, противопоставленный коммунизму вообще. По логике — надо бы наоборот: сливать частные (профессиональные, национальные или конфессиональные) движения в один поток, и вовлекать женщин в работу вместе с мужчинами, а не отдельно, на уровне сплетничающих кумушек. А не возмущаться, что

на вечерах чтения и дискуссий с работницами разбираются преимущественно вопросы пола и брака.

Если вам нужно увлечь женщин чем-то другим — дайте им в этом поучаствовать. И не на подхвате, а в первых рядах. Предположительно, на II конгрессе коммунистического интернационала дело «застряло в комиссии» не из-за вражеских происков — а потому что товарищи никак не врубались в ленинскую «диалектику» и не видели никаких оснований для выделения коммунистического процесса среди женщин в особое производство.

Мы вполне допускаем, что такое формальное выделение может быть исторически оправданным — поскольку оно выражает объективные

тенденции, для которых еще нет более разумных воплощений. Именно женский вопрос в первой половине XX века мог стать своего рода центром кристаллизации для материалистической философии духа — без которой марксизм так и останется односторонним, хромым, увязшим в вульгарном экономизме и политическом прожектерстве. К сожалению, не пошло — и проблема висит до сих пор. Сегодня условия изменились, и решать придется как-то иначе.

Аналогично, партийная политика в отношении к проституции могла бы подчеркнуть необходимость духовного производства — как другой стороны материального производства, без которой не сложится единство культуры. Освободить любовь от семьи — благороднейшая задача; даже в извращенной, рыночной форме это архиполезно для пролетарской революции. Но наш вождь до такой постановки вопроса не дорос — а мы сейчас крепки задним умом.

Ленин мечет громы и молнии по поводу «активных коммунисток» Германии, которые на агитпосиделках «разбирают вопросы пола и вопрос о формах брака в настоящем, прошлом и будущем». Не упоминая, что «некий Фридрих Энгельс» тоже занимался этим, по личной наводке некоего Карла Маркса, — и что, например, у горячо рекомендованной Кларе мадам Лилиной есть на этот счет вполне теоретическая книга. Предмет не просто насущный — а жизненно важный: определение стратегических направлений коммунистического строительства. Безусловно, можно бы строить будущее наугад, или инстинктивно, на манер муравьев или бобров, вить гнезда по-птичьи; насколько это согласуется с разумностью, с превращением человека в человека, — вот вопрос!

Говорят, что наибольшим распространением пользуется брошюра одной венской коммунистки о половом вопросе. Какая ерунда эта книжка! То, что в ней есть правильного, рабочие уже давно читали у Бебеля. Только не в форме скучной дубовой схемы, как в брошюре, а в форме захватывающей агитации, полной нападок на буржуазное общество. Упоминание в брошюре гипотез Фрейда придает ей как будто «научный» вид, но все это кустарная пачкотня. Теория Фрейда сейчас тоже своего рода модная причуда.

Батюшки! — что мы видим? Великий и целеустремленный вождь русской революции находит время, чтобы ознакомиться с ерундовой брошюрой, — не говоря уже о теориях Фрейда. Спрашивается: почему немецкие товарищи не должны со всем этим знакомиться? При условии,

конечно, что знакомятся они не только с этим, — и самостоятельно способны разобраться, чем «захватывающая агитация» отличается от «кустарной пачкотни». С психологией тов. Ленин явно не накоротке — и не умеет заметить глубокое материалистическое содержание за традиционно буржуазной фразеологией (которой и у него навалом). Обруганные Лениным Рибо и Фрейд — ближе к коммунизму, чем многие высокопоставленные большевики. Запрет на фундаментальную психологию (как потом на генетику и кибернетику) загнал советскую науку в идейный тупик, из которого одинокие гении (вроде Выготского, или Леонтьева-старшего) вытащить ее так и не смогли. На этом фоне расплодилось пошленькие рефлексологические изыскания, в русле буржуазной психометрии и основанной на ней педагогики. Вопросы духовности — отличия человека от животных и мертвых вещей — списаны с повестки дня в тот самый момент, когда только они способны сдвинуть махину революции с мертвой точки, стать путеводной звездой. А у Ленина не революция для людей — а люди для революции. Не разумное (культурное) пользование телами — а (традиционное для России) решение больших задач «мясом», строительство на костях. Кто не желает размножаться на убой — вредный элемент.

Мне кажется, что это изобилие теорий пола, которые большей частью являются гипотезами, притом часто произвольными, вытекает из личных потребностей. Именно из стремления оправдать перед буржуазной моралью собственную ненормальную или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпимость к себе. Это замаскированное уважение к буржуазной морали мне так же противно, как и любовное копанье в вопросах пола. Как бы бунтарски и революционно это занятие ни стремилось проявить себя, оно все же в конце концов вполне буржуазно. Это особенно излюбленное занятие интеллигентов и близко к ним стоящих слоев. В партии, среди классово-сознательного, борющегося пролетариата для него нет места.

Чья бы корова мычала! Человек, который бесконечно буржуазен в вопросах пола, осуждает тех, кто пытается с ними разобраться — нащупать более разумный путь. Человек, который внимательно следит за дискуссиями по половому вопросу, — осуждает интерес к теме у других. Вроде как против порнографии — но не прочь при случае посмотреть на клубничку. Как и положено буржуазному интеллигенту, далекому от «борющегося пролетариата». Цеткин резонно возражает, что в любом вопросе есть буржуазные и коммунистические воззрения, и

что высветить эту разницу проще на обыденном и привычном, с чем приходится сталкиваться каждый день:

Видоизменения форм брака и семьи в ходе истории, в их зависимости от экономики — удобное средство для искоренения из ума работниц предрассудка о вечности буржуазного общества.

Тут у вождя выиграла мания величия — и следует снисходительно-презрительная реплика сквозь зубы:

Ошибка была и остается ошибкой. Можете ли вы мне дать серьезное заверение, что во время чтения и дискуссии вопросы пола и брака рассматриваются с точки зрения выдержанного, жизненного исторического материализма? Ведь это предполагает многостороннее глубокое знание, отчетливейшее марксистское овладение огромнейшим материалом. Где у вас для этого сейчас силы?

Предполагается, что лично у Ленина сил на все хватает — а немецкие товарищи сплошь моральные инвалиды, неспособные по-марксистски овладеть огромнейшим материалом... Дескать, не фиг своим умом! — слушайте, что старшие говорят. Но почему тамошние коммунисты обязаны согласовывать тематику обсуждений с Кремлем — и в чем-то кого-то заверять? Они работают в своих условиях, как считают нужным; дело сторонних наблюдателей — принять к сведению и организовать себя в соответствии с жизненными реалиями. Если некто Ленин имеет особое мнение — где его публичные выступления на животрепещущую тему, хотя бы на трибуне конгресса компартий? Нет, он только перед знакомыми дамами хвост распускает...

Еще мудрец Соломон говорил, что всему свое время. Скажите, пожалуйста, время ли сейчас по целым месяцам занимать работниц тем, как любят и любимы, как ухаживают и принимают ухаживания. И конечно, — в прошлом, настоящем, будущем и у различных народов. И это затем гордо именуют историческим материализмом. Сейчас все мысли работниц должны быть направлены на пролетарскую революцию. Она создаст основу также и для действительного обновления условий брака и отношений между полами. Но сейчас, право, на первый план выступают иные проблемы, чем формы брака у австралийских негров и внутрисемейные браки в древнем мире.

Большевикам больше не на кого сослаться, кроме мифологического еврея! Который, кстати, как говорят, имел тысячи жен — а под старость обкладывал себя на ночь женскими телами, чтобы согреть немощную плоть. Или это коммунистический идеал?

Товарищ не замечает, что походя предаёт революцию, отвергает ее главную цель — освобождение человечества от любых форм рабства и утверждение человеческих отношений между людьми. А это, между прочим, предполагает и свободу мысли — чтобы никто не смел диктовать, на что ее следует направлять. Любовь — одно из выражений свободы; поэтому вопросы любви никоим образом нельзя считать второстепенными при подготовке пролетарской революции — без них никакая революция ничего не создаст. И уж тем более революцию делают не для «обновления условий брака» — не подлатать капитализм, а окончательно устранить семейное рабство, уничтожить саму идею семьи — из которой вырастает и на которой держится классовое общество. Знакомство с формами брака у разных народов в разные времена вырабатывает убежденность в историчности семьи — и неизбежности ее исчезновения; без такого образования просто не может быть исторического материализма. Это вполне аналогично тому, как неизбежность победы коммунизма выводят из историчности классов, из их отсутствия в первобытном обществе.

Когда женщины с наслаждением внимают рассказам о любви, как бы ставят себя на место любящих и любимых, — они из безликих «работниц» превращаются в творческих, одухотворенных людей, способных не только мечтать — но и следовать велениям разума, и если не изживать до конца уродства классового сознания — то хотя бы осознать уродство и бороться с ним. Для Ленина любовь — вроде хворостины, которой скот загоняют в брачное стойло, в клетку для размножения. Для людей любовь — способ вырваться из рабства, пусть даже только в мечтах. Пока мы способны дарить сами себе такие сны — мы люди; как только нам подсовывают вместо любви начальственные указания — разум умирает.

Отдельными местами Ленин очень похож на покойника. Ему мало филистерства по поводу проституток — ему еще и молодежь хочется ввести в рамки приличий. Невиданная наглость: они разговаривают меж собой о любви!

Как мне сообщили, вопросы пола — также излюбленный предмет изучения в ваших юношеских организациях.

Это безобразие особенно вредно для юношеского движения, особенно опасно. Оно очень легко может способствовать чрезмерному возбуждению и подогреванию половой жизни у отдельных лиц и повести к расточению здоровья и силы юности.

Забавно. В немецких парторганизациях есть стукачи, поставляющие в Кремль данные о дисциплинарных нарушениях... Ранее то же о женских кружках: «мне говорили...» У Ленина широкая сеть информаторов — половой вопрос у него постоянно в поле внимания! Это лишний раз подчеркивает важность проблемы — и заставляет задуматься о причинах демонстративной неразумности кремлевского руководства.

Что любовь и секс — вещи разные, это Ленину никто не объяснил. Признать юнцов людьми («желторотые птенцы, едва вылупившиеся из яйца буржуазных воззрений») — все равно что сбросить себя с пьедестала (поумневший демон Случевского — не в ленинском вкусе). Как и женщин, молодых Ленин считает лишь грубым материалом, производственным сырьем, неспособным самостоятельно определиться с жизненными приоритетами; поэтому любую расточительность он считает кражей из партийного кармана — и переживает, прямо как буржуй за биржевые убытки. И вдруг озарение:

Наши товарищи-коммунистки должны всюду вести планомерную, совместную с молодежью работу. Это возвышает и переносит их из мира индивидуального материнства в мир материнства социального. Необходимо содействовать всякому пробуждению социальной жизни и деятельности женщин, чтобы они могли преодолеть узость своей мещанской, индивидуалистической домашней и семейной психологии.

Снова знаменитый ленинский дуплет — двух зайцев одним выстрелом. Не зря развлекался охотой в Шушенском... С одной стороны — присмотр за несовершеннолетними, предотвращение разбазаривания ресурсов; с другой — женщин поголовно записывают в матери, и сводят их «социальную жизнь» к размножению и уходу за потомством. В дикой природе коллективное материнство иногда встречается; давайте и у людишек заведем. Как в сказке про конька-горбунка. По такому случаю Ленин даже готов пойти против себя (и Энгельса) — объявить семью бастионом «узкой психологии». Впрочем, речь не об уничтожении вражеского оплота: семейное рабство никто отменять не собирается — но в довесок к нему еще и «социальное материнство», новаторское развитие идиотизмов филистерского марксизма! Товарищ всегда рад попользоваться любезными дамами за бесплатно — у нас тут не бордель какой-нибудь, чтобы по полному тарифу... Круто? Не то слово!

Что мог бы сказать диалектический и исторический материалист? Не может быть случайностью, что «значительная часть нашей лучшей,

действительно многообещающей молодежи» вдруг начинает «усердно заниматься» какими-то вопросами, которые по видимости далеки от воздвижения баррикад и кавалерийских атак. Внимание общества всегда фокусируется на ключевых моментах исторического развития, на том, без чего просто нельзя двигаться вперед. Следует не отмахиваться от факта, не списывать на моду (которая тоже не от фонаря!), — а понять, что именно в духовном брожении относится к проектированию общего будущего, — и сознательно направить активность масс в разумное, идеологически выдержанное русло, вместо буржуазных шатаний. Идеология — вовсе не «сдерживающая сила», как изволит выражаться великий вождь, вслед за модными буржуазными агитаторами. Наоборот, идеи призваны рушить барьеры, рвать цепи — звать к свободе. Сам же признает:

Взгляды на отношения человека к человеку, на отношения мужчины к женщине революционируются, революционируются и чувства и мысли. Между правом личности и правом коллектива, а значит и обязанностями личности, проводятся новые разграничения. Это медленный и часто очень болезненный процесс исчезновения и зарождения.

Примечательно, что «отношение мужчины к женщине» подано как отношение человека к человеку — уже достижение. Правда, непонятно, как быть с отношением женщины к мужчине — по-прежнему рабское почтение? Тогда это в духе доброго барина, не обижающего рабов, пока они ему верно служат... На революцию не тянет. Тем более, что дальше, вместо освобождения личности, — всего лишь переписывание правовых норм (а всякое право — инструмент классового насилия). Почему процесс обязательно медленный — никаких намеков. О диалектике скачков в развитии Ленин предположительно наслышан (по крайней мере, судя по упоминанию их по самым разным поводам на всем протяжении собрания сочинений). Насчет болезненности — тоже вопрос. Вероятно, иногда лучше избавиться от боли хирургическим методом, чем затягивать ее на долгие годы. С другой стороны, зарождение нового всегда происходит в недрах старого — а вовсе не после его разрушения, в девственной пустоте; об этом Ленин тоже должен был у Маркса прочесть. Несовместимость уже рожденного нового с пока еще господствующим старым — причина революций, которые не создают новое, а только высвобождают его. Так почему бы не высвободить уже овладевшую широкими массами идею свободы

половой любви? Если есть в том дурная шелуха — только практика позволит выяснить, что всерьез. И про это Ленин наверняка читал — и даже высказывался аналогично. А если перекрыть краны — так и будем вариться в очень удобном для буржуазной пропаганды филистерстве. Ленинские краны — в той же (навозной) куче:

Все это касается и области половых отношений, брака, семьи. Распад, гниение, грязь буржуазного брака с его трудной расторжимостью, свободой для мужа и рабством для жены, гнусная лживость половой морали и отношений наполняют лучших людей чувством глубокого отвращения.

Ему про любовь — а он про брак и семью. В огороде бузина — в Киеве дядька. Бог с ней, с диалектикой — но хотя бы элементарная логика должна присутствовать! Что такое «лживость половых отношений» — дело совсем темное; вероятно, есть также правдивость — но про это нам так никто и не рассказал... Дальше длинная тирада в античном стиле: риторическое возмущение и ноль информации. И совсем странно выглядит патетическое заявление, что

Люди восстают против господствующей мерзости и извращения.

Мы, ведь, только что узнали, что такие восстания суть нарушение партийной дисциплины, «беспорядочные поступки», и «раздробление сил». Или речь о том, что члены партии — уже не люди?

И в эту эпоху, когда рушатся могущественные государства, когда разрываются старые отношения господства, когда начинает гибнуть целый общественный мир, в эту эпоху чувствования отдельного человека быстро видоизменяются.

Вот. А только что говорил о «медленном и болезненном». Где логика? Если способы чувствовать быстро меняются — надо брать это дело под партийный контроль прямо сейчас, привносить в стихию малую толику разумности. Если какие-то пропагандистские материалы лично Ленина не устраивают — ок, закажите своим писателям что-то более идейное; не запрещайте работать, а наоборот, создавайте условия. Отнимать и ничего не давать взамен — это уж очень по-буржуйски! Если бы просто опубликовать вот эту беседу с Кларой — как есть, по свежим следам, в 1920-м, — бомба! Может быть, даже нэп не пришлось бы вводить :-). Якобы по-женски наивно, собеседница очень уместно Ильича уела:

«Как я жалею, товарищ Ленин, — воскликнула я, — что ваши слова не слышали сотни, тысячи людей. Вы, ведь, знаете: меня вам не нужно

убеждать. Но как было бы важно, чтобы ваше мнение услышали и друзья и враги!»

Ленин добродушно усмехнулся:

— Может быть я когда-нибудь скажу речь или напишу о затронутых вопросах. Позже, не сейчас. Сейчас все время и все силы должны быть сконцентрированы на другом. Есть более важные, более тяжелые заботы.

Ха-ха! Потратить несколько часов на частную встречу — это ли не свидетельство важности и трудности? (По тексту 1933 года: деликатные охранники несколько раз напоминали о регламенте стуком в дверь — но входить не осмеливались; вероятно, чтобы избежать конфуза: мало ли чем их величество с дамой занимаются!)

Возвращаемся к вдохновенному оратору — который уже воспарил до самых высот революционного пафоса:

Подхлестывающая жажда разнообразия в наслаждениях легко приобретает безудержную силу. Формы брака и общения полов в буржуазном смысле уже не дают удовлетворения. В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции. Понятно, поставленное этим на очередь чрезвычайно запутанное сплетение вопросов глубоко занимает как женщин, так и молодежь. И те и другие особенно сильно страдают от нынешней неурядицы в области половых отношений.

Букет всяческих забавностей. Вероятно, в этом гениальность и состоит: простой человек ляпнет по дураости — его обзовут дураком и забудут; стоит ляпнуть гению — миллион вопросов и поводов для обсуждения. Например, о связи первого и второго предложений, которая в нормальных мозгах полностью отсутствует. Нас тут некий Ленин учил, что брак не имеет никакого отношения к наслаждению — что бабе надо рожать, кормить, обстирывать — ну, или личным секретарем, по примеру вождевой жены. Удовлетворение — это для начальства. Когда жена начальника не удовлетворяет — он вправе удовлетворяться не в буржуазном смысле, а как-то еще (детали В. И. скромно умалчивает). Почему половые отношения надо всегда увязывать с браком — публике невдомек; но у германского филистера и советского вождя одно без другого не ходит. Однако нам в жилетку опять плачется исторический материализм: половые отношения — это огромный пласт человеческой (а не животной!) культуры, и далеко не всегда речь о наслаждении. Половая любовь вообще не о наслаждениях — это единение душ, способ становиться друг другом. Что, конечно, само по себе блаженство — но

ничего общего с телесными отправлениями не предполагающее. Сводить «чувствования отдельного человека» к стимуляции эрогенных зон — совсем не по-людски. Если брак трещит по швам, разумно задаться вопросом: что именно здесь не так? Кивать на сексуальную озабоченность не приходится: классовое общество никогда не трогали интимные подробности — и браки оставались сугубо экономическим инструментом (иногда в форме высокой политики). Значит, «созвучная пролетарской» революция опирается на что-то помимо секса — что именно? А ответ ужасно прост: на любовь. Стихийный протест против буржуазного, рыночно-утилитарного отношения к людям принимает *форму* половой свободы; да, эта форма насквозь буржуазна и далека от разумности (предполагающей и разумность чувств) — но других форм пока просто нет! Марксизм был просто обязан вытащить из-под эротики духовную основу, ясно и недвусмысленно указать, что пролетарская революция радикально меняет не только производственные отношения, но и духовность, отношение одной личности к другой. У Ленина совершенно точно: на первом месте — отношение *человека к человеку*. Кто какого пола и возраста — дело десятое. Пролетарская революция призвана сделать (в буквальном смысле!) человеческое общество *миром любви* — и поэтому любовная тематика вырывается на первый план, оттесняя на задворки экономические и политические соображения (где все и так ясно, и обсуждать, в общем-то, нечего). Только законченный пошляк не разглядит этой духовной струи — и под сексом будет понимать всего лишь секс, копуляцию (как терминологию Фрейда все, включая Ленина и прочих товарищей, воспринимают буквально, не усматривая глубокой метафоры, призыва очеловечить физиологию).

Последние два предложения цитаты — верх воинствующей пошлости. Человечество, по Ленину, состоит из «людей», — а к ним в придачу всякие там недомерки: женщины, молодежь, дети и старики — экономический балласт. Аристотель бы добавил для комплекта рабов — но на дворе развитой капитализм, и открыто называть рабов рабами не политкорректно. Так вот, у людей (совершеннолетних определенного пола) с отношениями все в норме, и «запутанное сплетение вопросов» их совершенно не занимает. Интересуются этим почему-то как раз те, кто лишен полноты экономических и гражданских прав, — тогда как «люди» (в лице т. Ленина) категорически возражают и требуют пресечь беззаконие: не экспериментировать, не играть в свободу — а слушать, что старшие говорят. Потому что бардак — он и есть бардак, и сами же

будете потом страдать от «неурядицы в области половых отношений». Кто выбился в люди — тот уже ничем не страдает. Ему и разнообразия в наслаждениях не надо. С чего бы это?

Конечно, барин хороший, и может посочувствовать (когда не надо раскошелиться):

Ничего не могло бы быть более ложного, чем начать проповедовать молодежи монашеский аскетизм и святость грязной буржуазной морали.

То есть, *не* монашеский аскетизм и *чисто* буржуазная мораль — это нормалек. Пусть грешат — но в меру, под присмотром «социальных матерей» и бдительного верховного владыки.

Однако вряд ли хорошо то, что в эти годы вопросы пола, усиленно выдвигаемые естественными причинами, становятся центральными в психике молодежи. Последствия бывают прямо роковыми.

Нам уже страшно. Но не из-за роковых яиц (пардон, последствий) — а оттого, что интерес к вопросам пола объясняют «естественными причинами». Эмпирионатурализм без намордника. На психику это действует поистине сокрушительно.

Нет у человека никаких естественных причин. Все в нем — от общества, от способа материального и духовного производства. Если бы большевики, вместо ханжеских увещаний, честно признались бы, что есть у государства репродуктивный план, без исполнения которого экономика безвылазно забуксует, — что, юные энтузиасты и идейные женщины не откликнулись бы на призыв о помощи — даже без реальных компенсаций? Если бы народ честно попросили пока тащить на себе обучение и воспитание детей, чтобы государство могло расчухаться с наследием военного времени, — неужели не поняли бы? В качестве награды — человеческое отношение к людям; а это многого стоит! Дайте людям надежду — и делайте все, чтобы воплощать лучик за лучиком. Это марксизм. Это по-коммунистически.

Первое, что революция должна сказать людям: вы свободны! Да, в нынешних экономических условиях свободой далеко не всегда удастся воспользоваться — но ваша свобода распространяется и на то, чтобы менять эти экономические условия, отвоевывать у буржуазности все новые свободы. А в области духа — свобода не требует огромных затрат: достаточно, чтобы никто не мешал. Так пусть любят все как хотят, как кому удобнее, — снять семейные и собственнические запреты! Запрет на вмешательство государства в личные дела — дело государственной

важности. Перевыполняют план по народонаселению — кому от этого хуже? Лишний повод заняться обеспечением достойной жизни для всех, окультуриванием телесности.

Тут мы снова добрались до стакана воды — и можно посмотреть на теоретическую часть. Но повторимся: обсуждение секса — лишь способ говорить о любви. Снятие классовых ограничений, вывод ухода за телом (включая половые органы) из-под дурацких табу, разумная организация телесных отправлений и всемерное наращивание материальной базы, — автоматически уведут общество от всяческих извращений (просто потому, что извращать уже нечего). Тем самым физиология выносятся за скобки — и уже не мешает выстраиванию собственно человеческих отношений, любви.

Искусственные запреты — одна из форм классового насилия. Как только одним разрешено то, чего нельзя другим, — это экономическое неравенство, разделение труда, зародыш рынка и предвестие капитала. Объяснение этой искусственности естественными причинами — гнусная ложь, стремление навсегда сохранить классовое господство.

В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой, будь оно возвышенно или низко. Отношения между полами не являются просто выражением игры между общественной экономикой и физической потребностью. Было бы не марксизмом, а рационализмом стремиться свести непосредственно к экономическому базису общества изменение этих отношений самих по себе, выделенных из общей связи их со всей идеологией.

Первая же фраза ставит на одну доску человеческую половую жизнь и размножение животных. У человека нет *ничего*, что бы определялось природой! В половую жизнь он вступает не по природному влечению — и не в природных формах. Собственно, порывая с природой — он и становится человеком. Говорить о половой жизни человека мы можем только в человеческих категориях, не зависящих от того, как при этом используются органические тела. Соответственно, не может быть вообще никакой «игры между общественной экономикой и физической потребностью»: деятельность человека и поведение животных — принципиально разные уровни бытия, и смешивать одно с другим в общем контексте — чисто логическая ошибка. Допустимо сравнивать экономическое поведение человека (включая деторождение) со столь же человеческой потребностью в любви (включая половую); при этом в половой любви нас интересует как раз то, чем человек отличается от

животных — и что никак не соотносится с физиологией полового акта; даже половой акт, взятый как момент человеческой деятельности, интересен не процессом копуляции как таковым, а тем, в какой обстановке все это происходит, и как люди к этому относятся.

Отношения между полами — если речь идет о человеке — возможны лишь там, где общественное устройство допускает различие полов в качестве одного из элементов культуры. То есть, в классовом обществе — в условиях общественного разделения труда. Женщины и мужчины (равно как и прочие общественные группы) *экономически* противопоставлены друг другу — и только поэтому их отношения становятся отношениями полов. Следовательно, история половой любви есть классовая история, и формы любви так же следуют за развитием экономического базиса, как и вся остальная «идеология». Отвязать надстройку от базиса можно лишь в том смысле, что движение духа существенно влияет на экономические процессы — поскольку мы люди и действуем сознательно, целенаправленно меняем мир и себя. Но Ленин хочет другого: ему важно сохранить старые общественные формы при кардинальных сдвигах в экономике — и он опошляет марксизм, допуская, что рулить людьми можно «из кабинета», независимо от способа производства. Что в конечном счете приводит к восстановлению старого способа производства — ради воспроизводства классового уродства.

В бесклассовом обществе — нет смысла выделять половую любовь в особую категорию: мы говорим об отношениях людей, о любви одного человека к другому человеку — безотносительно к природности тел. Как люди будут при этом использовать тела — это их личное дело, и любой вариант равно приемлем. Вот об этом вся заварушка со «стаканами»: утверждается, что переход к обществу без классов требует вывода человеческого общения (и любви) из сферы классового диктата; на этой (и только на этой) основе возможен переход от любых форм руководства к сознательному самоуправлению — как в материальном производстве, так и в рефлексии. В условиях начала XX века утрирование подобной свободы используется буржуазной пропагандой для ослабления позиций революционных партий — и жесткую реакцию Ленина понять можно. Но простить все равно нельзя.

В качестве вишенки на торте: «возвышенное» и «низкое» — сугубо классовые понятия. Подходить к любви с этой стороны — значит, увязнуть в болоте буржуазной, филистерской морали. Разум не признает

«верхов» и «низов» — для него все равны. И остается только один критерий: свобода. Женщина может заниматься проституцией; но если она с тем же успехом может этим не заниматься — она свободна, и ничего «низкого» в ее занятиях нет — это ее сознательный выбор, а значит, и выбор общества в целом, всего разумного человечества. Двое могут жить одним домом и вести общее хозяйство; но если они столь же свободны спать в разных кроватях (или на разных планетах) — вопреки предписаниям из Кремля [38, 221], — это вовсе не семья, и ничего буржуазного в таких отношениях нет.

Позерствуя перед дамой, товарищ забывается и начинает нести форменную чепуху. Ссылается на классиков:

Энгельс в «Происхождении семьи» указал на то, как важно, чтобы половая любовь развилась и утончилась.

Но как раз об этом у Энгельса ровно ничего нет! Ни в этой книге — ни в других. Он лишь указывает, что сама возможность человеческой любви разрушает буржуазную семью — и фантазирует на тему пролетарского брака, который «моногамен в этимологическом значении этого слова, но отнюдь не в историческом его смысле» [21, 75]. Энгельс тоже жаждет «исключительности» в половой любви — чтобы повязать самца с самкой волевым решением и заставить размножаться под диктовку партийного начальника. Дескать, это в интересах сношающихся (см. выше о такой же отеческой заботе у Ленина). Но в данном случае на многое можно посмотреть сквозь пальцы — по двум причинам. Во-первых, человек не боится слова «любовь» — и защищает (возможно, не самые блестящие) идеи публично, а не на ушко знакомой даме. То есть, есть что обсуждать широким массам, чтобы разумно относиться к собственной духовности. А во-вторых, под конец Энгельс таки признает факт колоссальной важности — от которого Ленин отбивается руками и ногами [21, 77]:

... первой предпосылкой освобождения женщины является возвращение всего женского пола к общественному производству, что, в свою очередь, требует, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной единицей общества.

Вот. Ясно и недвусмысленно: семья должна умереть. Потому что после изъятия из ведения семьи всякой производственной деятельности (включая и деторождение, и образование, и духовное производство) никаких общественных функций у семьи не остается — ей просто незачем существовать в бесклассовой культуре, где люди свободно общаются друг с другом, не испрашивая на то ничьего разрешения.

Тогда как по Ленину женщин от семейных дел никто не освободит — зато навесят «социальное материнство» и наемный труд по какой-то «производительной» специальности.

В принципе, из этого можно уже вывести тезис о свободе любви: человек участвует вместе со всеми в общественном производстве — а до остального никому нет дела: контролирующих или направляющих инстанций в обществе разумных (то есть, свободных) людей не предусмотрено. Но Энгельс и тут достаточно аккуратен [21, 85]:

... то, что мы можем теперь предположить о формах отношений между полами после предстоящего уничтожения капиталистического производства, носит по преимуществу негативный характер, ограничивается в большинстве случаев тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка.

За это мы классика уважаем. Но пассивное созерцание — не в нашем вкусе. Не просто ждать выхода на арену истории новых поколений — быть может, мы и не дождемся! — но попытаться заглянуть в будущее, предложить этим самым поколениям перспективные, на наш взгляд, варианты, — чтобы им было из чего строить свой блистательный мир. Как минимум, такое рационализаторство не должно опираться на пошлое старье — пережитки классовых отношений, остатки права, религии, морали. Правильно, прекрасно и нравственно лишь то, что делается по любви — этим великим открытием мы тоже обязаны Энгельсу. На его фоне жалкие сентенции Ленина о том, что «жажда требует удовлетворения», — верх пошлости, вульгарнейший штамп эмпирионатурализма. Не может разумный человек вестись на какие-то требования! — он сам требует от природы, чтобы она вела себя по-человечески, культурно. Порождение этой культурности — такое же общественное производство, как и все остальное: мы не плывем по течению, не подчиняемся обстоятельствам, а переделываем мир, творим

иные обстоятельства — не ради какого-то «удовлетворения», а наоборот, для поиска все новых неудовлетворенностей, поводов для творчества.

Отрицая вульгарный экономизм, Ленин на каждом шагу сбивается в чисто экономическое, коммерческое отношение к любви.

Не то чтобы я своей критикой хотел проповедовать аскетизм. Мне это и в голову не приходит. Коммунизм должен нести с собой не аскетизм, а жизнерадостность и бодрость, вызванную также и полнотой любовной жизни. Однако, по моему мнению, часто наблюдаемый сейчас избыток половой жизни не приносит с собой жизнерадостности и бодрости, а, наоборот, уменьшает их. Во времена революции это скверно, совсем скверно.

То есть, решать о том, какие отношения избыточны, следует исходя из рыночной конъюнктуры, предполагая, что людишки нужны только для исполнения возложенных на них обязанностей — и все, что отвлекает или понижает градус энтузиазма, — это скверно. Революционностью такая позиция и близко не пахнет. Барину виднее, что нужно рабам:

Молодежи особенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт — гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения всякого рода, — разносторонность духовных интересов, учение, разбор, исследование, и все это по возможности совместно! Все это дает молодежи больше, чем вечные доклады и дискуссии по вопросам пола и так называемого «использования жизни». В здоровом теле здоровый дух! Не монах, не Дон-Жуан, но и не германский филистер, как нечто среднее.

Вспоминается киноклассика: мы бодры, веселы... Почему нельзя делать революцию в грусти и без бодрячества — ни один теоретик не пояснил. Педагогический инструментарий — двухтысячелетней давности: благие пожелания без малейшего намека на экономику. Можете вы прямо сейчас обеспечить всю это разносторонность, всем и все сразу? Черта с два! Так почему не позволить людям самостоятельно расставлять приоритеты? Кому-то интересно одно — другим другое. Дискуссии на любую тему — и есть тот самый «разбор, исследование»! Но на первом месте у Ленина — грубая телесность: все крутится вокруг куска мяса, который по буржуазной традиции отождествляют с человеком, членом общества, творческой личностью. Но чего ради физически упражняться, если для наших нужд достаточно умения нажимать на клавиши? На кой ляд мне плавать, если я больше люблю бальные танцы? Мне тогда и гимнастика никакая не нужна — после нескольких туров все мышцы в тонусе! Прочсть книжку (или посмотреть видео) иной раз намного

полезнее, чем шляться по экскурсиям (которые, кстати, требуют немалых средств и доступны далеко не всем). Почему какой-то чиновник присваивает себе право решать за людей (а молодые — тоже люди)? Его дело создавать материальную базу, расширять круг общедоступных возможностей, — а народ разберется, как что употребить. В частности, почему бы не сделать общедоступным здоровый секс?

Особый вопрос — о критериях здоровья. Начальникам свойственно мнить себя знатоками медицины и лихо ставить диагнозы. Но здоровье здоровью рознь. Что здорово одному — больно другому. Даже животные тела нельзя под одну гребенку — и одним из критериев разумности общественного устройства может быть доступность любых деяний любому члену человеку, независимо от телесной организации. Вся культура как раз и есть набор средств для компенсации органических различий путем оснащения тел искусственными органами, отхода от технологий грубой силы. С другой стороны, круг общественных задач бесконечно разнообразен — и различия телесной организации могут быть очень кстати: вопрос не о здоровье как соответствии усредненному стандарту — а об индивидуальном подходе к использованию самых разных тел, о возможности каждому свободно выстраивать свою индивидуальность, становиться (и чувствовать себя) единственным и неповторимым. Тем более чиновные «диагнозы» недопустимы в области духовного здоровья: очень многим тирады Ленина показались бы подозрительными — на грани психопатии, навязчивого бреда и мании величия. Вот, например:

Революция требует от масс, от личности сосредоточения, напряжения сил. Она не терпит оргиастических состояний, вроде тех, которые обычны для декадентских героев и героинь Д'Аннунцио. Несдержанность в половой жизни — буржуазна: она признак разложения. Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно ни опьянения половой несдержанности, ни опьянения алкоголем. Он не смеет и не хочет забыть о гнусности, грязи и варварстве капитализма. Он черпает сильнейшие побуждения к борьбе в положении своего класса, в коммунистическом идеале. Ему нужны ясность, ясность и еще раз — ясность. Поэтому, повторяю, не должно быть никакой слабости, никакого расточения и уничтожения сил. Самообладание, самодисциплина — не рабство; они необходимы и в любви.

Можно подумать, что пролетарии всех стран сплошь непьющие и сексуально воздержанные, что они всегда ходят строем и скандируют

большевистские лозунги — просветленно и без малейших сомнений. Передовой отряд биороботов. Программы для них надо писать без всяких двусмысленностей, чтобы не запускать паразитные процессы, которые потом кремлевским сисадминам придется вылавливать и убивать. А компьютер не резиновый — у него таки оперативка, дисковое пространство и полоса в сети.

Насчет «не смеет и не хочет» — сильно сказано! В переводе: что ему запрещено — того он даже захотеть не может. Чтобы так промыть роботам мозги — нужен очень крутой программмер. Вроде упомянутых Энгельсом буржуазных пропагандистов [20, 305].

Нет, конечно, наркотики — это плохо. Когда не человек приводит вещи в движение, а они его, — это неразумность, вырождение. На чем именно вывих — не столь важно. Курение, выпивка, секс... Чрезмерный энтузиазм по поводу коммунистического идеала — из той же оперы: если человек превращается в бешеного робота, неспособного просто влюбиться и забыться в любви, — что-то не так. Да это не рабство — потому что рабом сделать можно только человека, а здесь уже распад духовности как таковой, превращение в безучастную ко всему вещь.

Забавно, что чтение «декадентских» романов Ленин «расточением сил» не считает — и про «оргиастические состояния» почитывает на невесть откуда взявшемся досуге... А пролетариату, дескать, это не нужно — ему нужна только ясность. Предполагается, что психике нашего вождя такое чтиво повредить уже не может...

Тревога меня заставила заговориться. Будущее нашей молодежи меня глубоко волнует. Она — часть революции. И если вредные явления буржуазного общества начинают распространяться и на мир революции, как широко разветвляющиеся корни некоторых сорных растений, то лучше выступить против этого заблаговременно. Затронутые вопросы к тому же тоже составляют часть женской проблемы.

Товарищ явно заговаривается. Если «вредные явления» так уж одолели, и начинают распространяться не туда, — где гневная отповедь в собрании сочинений? Вместо нее — павлинство перед заведомо не критически настроенной женщиной. Лично Ленину «выступить против» — запаadlo, и он пытается переложить тяжелую работу на милых дам. Очень по-джентльменски. Впрочем, с этим мы сталкивались и ранее. Но почему половое (и прочее) воспитание юношества есть часть «женской проблемы» — тут публику клинит. Женские проблемы — это когда тампакс подвел, или стрелка на чулках... Ну, или когда целлюлит,

и люрекс в волосах. Конечно, такие проблемы надо решать — и было бы неплохо, если бы социалистическое общество серьезно озаботилось, например, избавлением женщин от менструаций и менопаузы, от многомесячных страданий до родов, в процессе, и после... И, конечно, окультуривание биологических тел, вызревание в них не только производительной силы, но и полноценной личности, — дело всех и каждого, без половозрастной сегрегации. Между прочим, половые отношения доступны не только молодым — и не сводятся к интимной близости; даже различие полов тут малосущественно (о чем нам за сто лет до Ленина доходчиво поведал маркиз де Сад). Точно так же, учиться (не только коммунизму, но и тому, во что он должен исторически перерасти), и воспитывать себя (на протяжении всей жизни), — норма и помимо половой тематики. Хамское, барское отношение к людям — общечеловеческая беда; нельзя безапелляционно распоряжаться ни подчиненными в офисе, ни товарищами по партии. А что Ленин?

У нас впереди еще самая трудная часть нашей задачи — восстановление. В процессе его станут значительными и вопросы отношения полов, вопросы брака и семьи. А пока вы должны бороться, когда и где понадобится. Вы не должны допускать, чтобы эти вопросы трактовались не по-марксистски и создавали почву для дезорганизующих уклонов и извращений.

Командный тон, не допускающий ни малейших вольностей. Будьте в распоряжении «когда и где понадобится». Даже буржуй в разговоре с ценными кадрами не позволит себе явной грубости и сформулирует приказ в виде вежливой просьбы. Да, это лицемерие — но не только; это еще и признание непобедимости человеческого духа — из-за чего никакое насилие не может всецело властвовать над людьми. Господам приходится не только заставлять — но и убеждать, создавать такие условия, в которых людям было бы разумнее подчиниться. Немалые накладные расходы — но мировой капитал на них идет, ибо иначе вообще не будет прибыли. Всех убить — с кого взять прибавочную стоимость?

Что означает трактовать вопросы любви, секса или кобса по-марксистски — Ленин так и не рассказал. Ведь для этого, как минимум, надо бы выкатить марксистскую теорию духовной деятельности и воспроизводства духа, во взаимосвязях с развитием материального производства. Ничего подобного у Ленина нет — и он категорически запрещает обсуждать даже постановку проблемы среди партийцев и

сочувствующих. Его марксизм сводится к беззастенчивому пользованию населением по разумению партийной верхушки:

Мы должны обучать выведенных из пассивности женщин, вербовать и вооружать их для пролетарской классовой борьбы под руководством Коммунистической партии.

И далее:

Я имею при этом в виду не только пролетарок, работающих на фабрике или стоящих у домашней плиты. Я помню при этом и о крестьянках, о женщинах различных слоев мелкой буржуазии.

Значит, и проститутки на что-то сгодятся! Если, конечно, их вывести из пассивности, завербовать и вооружить.

Нужно основательно разобрать вопрос о нерасторжимой связи между положением женщины как человека и члена общества и частной собственностью на орудия производства. Этим мы надежно отгородимся от буржуазного движения за «эмансипацию женщин». Это также кладет основание к рассмотрению женского вопроса как части социального, рабочего вопроса и таким образом позволяет прочно связать его с пролетарской классовой борьбой и революцией.

Двусмысленная фраза: можно понять так, что женщина как человек и член общества возможна лишь в условиях частной собственности (как орудие производства). Не нужна, дескать, нам эмансипация женщин, — а нужно раздать эти орудия пролетариям — и пусть орудуют по-революционному. Вероятно, тут глюк конспекта: Цеткин уже утомилась стенографировать — и приходится восстанавливать по памяти.

Как всегда у Ленина, сугубо практические ориентиры не вызывают особых возражений:

Женское коммунистическое движение само должно быть массовым, должно быть частью всеобщего массового движения, не только движения пролетариев, но всех эксплуатируемых и угнетенных, всех жертв капитализма или иных отношений господства.

Мы должны привлечь миллионы трудящихся женщин в городе и деревне к участию в нашей борьбе, и особенно к делу коммунистического переустройства общества. Без женщин не может быть настоящего массового движения.

Никаких отдельных организаций коммунисток! Коммунистка — такой же член партии, как и коммунист, с теми же обязанностями и правами. В этом не может быть никаких расхождений. Однако мы не должны закрывать глаза на факты. Партия должна иметь органы — рабочие группы, комиссии, комитеты, отделы или как там они будут

называться, — специальная задача которых — будить широкие массы женщин, связывать их с партией и удерживать под ее влиянием. Для этого, конечно, необходимо, чтобы мы вели в полной мере систематическую работу среди этих женских масс.

Аполитичная, необщественная, отсталая психика этих женских масс, замкнутость их круга деятельности, весь склад их жизни — вот факты. Было бы бессмысленно не обращать на это внимания, совершенно бессмысленно. Нам нужны свои органы для работы среди них, нужны особые методы агитации и организационные формы. Это не буржуазная защита «прав женщины», это практическая революционная целесообразность.

Тут Ильичу напоминают про точку зрения некоторых «очень хороших товарищей»:

Они доказывали, что коммунистические партии, раз они принципиально и полностью признают равноправие женщин, должны вести работу среди трудящихся масс без каких-либо разделений. Подход к женщинам должен быть тот же, что и к мужчинам.

Попытки выделить женский вопрос в отдельное производство клеймят «как предательство и отказ от принципа». Казалось бы, соображение вполне резонное — и следовало бы пояснить мотивы. Но Ленин просто отмахивается, как от надоедливой мухи:

Это не ново и совсем не доказательно. Не давайте ввести себя в заблуждение.

Разумеется, где уж немецким товарищам тягаться с кремлевским авторитетом! Ему и доказывать ничего не требуется — можно просто приказать. И дальше следует фантастический образец презрения к элементарной логике (без которой что-либо доказывать было бы странно). Ленин (совершенно справедливо) указывает, что в партии и в профсоюзах женщин много меньше, чем мужчин. Казалось бы, нужно с этим бороться, вовлекать дам в общепартийное строительство, вводить в руководство (хотя бы даже на демократических, паритарных началах). Но вместо этого Ленин предлагает создать для женщин какие-то особые органы — чтобы не путались под ногами у людей.

Отрицание необходимости особых органов для нашей работы среди широких женских масс — одно из проявлений весьма принципиальной и высоко радикальной позиции наших «дорогих друзей» из Коммунистической рабочей партии. По-ихнему должна существовать только одна форма организации: рабочий союз. Я это знаю. Ссылка на принцип всплывает во многих революционно настроенных, но

путаных головах, «коль скоро недочет в понятиях случится», т. е. когда разум отказывается воспринимать трезвые факты, на которые должно быть обращено внимание. Как справляются такие хранители «чистоты принципа» с исторически навязанными нам необходимостями в нашей революционной политике? Все эти рассуждения рассыпаются в прах перед неумолимой необходимостью: мы не можем осуществлять пролетарскую диктатуру без миллионов женщин, мы не можем без них вести коммунистическое строительство. Мы должны искать к ним дорогу, должны многое изучить, многое перепробовать, чтобы найти ее.

То есть, кое-кто («мы») будет «осуществлять пролетарскую диктатуру», и ему нужно, чтобы женщины заняли отведенное им место, а не претендовали на равенство с мужиками в «рабочих союзах» — которые (не дай бог!) начнут брать на себя управленческие функции и вытеснять партийных бюрократов из органов власти. Чем как раз об эту пору активно занимались питерские диссиденты из «рабочей оппозиции» (Шляпников и Коллонтай). Ну, не будем про высокую политику; нас больше интересуют оттенки высказываний, и общий тон. Грубо говоря, речь о том, чтобы найти дорогу к *женщинам* — а не к *людям*; то есть, сначала отделить их господствующего класса — а потом придумывать способы держать эту массу в узде.

Далее следует гневная тирада о реформистах из II Интернационала и о том, что, дескать, в точности такие же требования коммунистов — вовсе не «признание того, что мы верим в вечность или хотя бы в продолжительное существование буржуазии и ее государства»:

Права и общественные мероприятия, которых мы требуем от буржуазного общества для женщин, служат доказательством того, что мы понимаем положение и интересы женщин и при пролетарской диктатуре примем их во внимание. Конечно, не путем усыпляющих мер опеки. Нет, конечно, нет, но как революционеры, которые призывают женщин, как равноправных, самих работать над перестройкой хозяйства и идеологической надстройки.

Что по факту? Капиталистические правительства в течение всего XX века постепенно прогибались под реформистов — и европейские женщины оказывались намного свободнее советских, так и оставшихся замороженными между конвейером (хлебом, офисом) и кухней. Женщин во власть не пускали (и до сих пор не пускают) — разве что, пара-тройка специально отобранных на формально-представительских должностях. Можно сколько угодно призывать — но без практических мер по

устранению (хотя бы формального) различия в способах участия в хозяйственной и идеологической работе (в материальном и духовном производстве) останется лишь эксплуатация бесправных теми, у кого все права в наличии. Забавно, что тот, другой Ленин, который не базарит с дамами, а рубится с классовым врагом, — прекрасно это понимает, и потому настаивает на включении в программу пунктов по «женскому вопросу». Ему начхать, что «теперешние требования для женщин могут быть неправильно поняты и истолкованы»!

Эта опасность угрожает всему, что мы говорим и делаем. Если мы из страха перед ней будем воздерживаться от целесообразных и необходимых поступков, то можем просто превратиться в индийских столпников. Не шевелиться, только бы не шевелиться, а не то можем кувыркнуться вниз с высоты столпа наших принципов! В нашем случае речь идет не только о том, что мы требуем, но и о том, как мы это делаем. Понятно, что мы не должны в нашей пропаганде молитвенно перебирать четки наших требований для женщин. Нет, в зависимости от наличных условий мы должны бороться то за одни, то за другие требования, бороться, — конечно, всегда в связи с общими интересами пролетариата.

Голос не мальчика, но мужа... К сожалению, больше мужа, чем человека (коему различие полов и возрастов не в строку). Бороться с гендерным (и прочим) насилием следовало бы так, чтобы в каждой букве «требований» подчеркивать равенство, а не различие. Да, мужчин и женщин эксплуатируют по-разному. Но следует ясно и недвусмысленно определиться: и то, и другое — эксплуатация, классовое насилие. Изнасилованный мужчина — не счастливее изнасилованной женщины; затраханная конвейером баба — столь же нечеловеческое существо, как и загнанный в окопы мужик. И говорить надо о правах *людей* — а не мужчин и женщин по отдельности. Сегодня богатые страны дают отцам отпуск по уходу за ребенком — что совершенно уравнивает мужчин и женщин в этом отношении. Точно так же, любое право женщины — должно также становиться и правом мужчины, и наоборот. Даже право зачать и вынашивать ребенка — или не делать ни того, ни другого. Как общество будет решать задачу — следующий вопрос; была бы принципиальная постанова — и разумные решения всегда найдутся.

Да, не особо грамотные женщины или мужчины не всегда поймут абстрактные лозунги — и могут не увидеть, как борьба с капитализмом соотносится с их каждодневными несчастьями. А для чего мозги партийным товарищам? Говорить доходчиво — их прямая обязанность.

Мы должны политически связать наш призыв также и в сознании женских масс со страданиями, нуждами и желаниями трудящихся женщин. Они должны знать, что для них пролетарская диктатура значит: полное уравнивание в правах с мужчиной как по закону, так и на практике, в семье, государстве и обществе, а также и сокрушение власти буржуазии.

Но это не значит — повторять слово в слово программы буржуазных партий! Надо даже формально те же требования излагать иначе, не разделяя женщин и мужчин — тогда и не перепутает никто. Ленинская формулировка заведомо хромая; правильнее было бы сказать: «полное равенство женщин и мужчин» — а не «уравнивать» женщин под мужчину, взятого в качестве заведомо высшего существа, человеческого эталона. А еще лучше: полное равенство всех *людей*, независимо от пола, возраста, национальности или иных формальных различий.

Мы снова возвращаемся к вопросу о лицемерии. Западные товарищи не понимают, зачем нужно массовое женское движение — а как понять, если никто толком не объяснил?

Агитационную и пропагандистскую деятельность среди женских масс, их пробуждение и революционизирование они рассматривают как нечто второстепенное, как дело, касающееся только коммунисток. Коммунисток упрекают в том, что дело не двигается вперед более быстро и энергично. Это неправильно, в корне неправильно!

Скажите это тов. Ленину, который не вызывает в кабинет ключевых министров (комиссаров), вместе с главами «национальных секций», — а беседует тет-а-тет с мадам Цеткин (и никто не узнает, о чем именно, — вплоть до посмертного 1925 года, когда воспоминания наконец-то опубликованы). Это ли не «равноправие женщин à la rebours»?

В конечном итоге — не что иное, как недооценка женщины и ее работы. Именно так.

Но почему кто-то вправе «дооценивать» женщину? Трудятся люди. Надо не оценивать их (чисто рыночная фразеология!), а создавать условия для творчества. Всем одинаково.

Поскребите коммуниста — и вы найдете филистера. Конечно, скрести нужно чувствительное место — его психику в отношении женщины.

Вот, мы тут поскребли коммуниста Ленина и нашли — что ожидалось. Допустим, Ленин не из тех мужчин, которые

спокойно смотрят, как женщины изнашиваются на мелкой работе, однообразной, изнуряющей и поглощающей время и силы, работе в

домашнем хозяйстве; на то, как их кругозор при этом сужается, ум тускнеет, биение сердца становится вялым, воля слабой? Я говорю, конечно, не о буржуазных дамах, которые сваливают все домашние работы, включая уход за детьми, на наемных людей. То, что я говорю, относится к огромному большинству женщин, в том числе и к женам рабочих, даже если эти жены целый день проводят на фабрике и зарабатывают сами.

Но из тех, которые вовсе не жаждут облегчить дамскую участь, *полностью* освобождая женщин (и мужчин) от семейного рабства. Намек-то совершенно прозрачен! В чем преимущество буржуа перед рабочим? В том, что первый эксплуатирует второго — а не наоборот. Если «буржуазные дамы» (а также феодальные и рабовладельческие) успешно избавляются от тягот ухода за ребенком, препоручая это наемным работникам (или рабам), — казалось бы, надо лишь перевести эту отрасль производства на бесклассовые рельсы, предоставить такую свободу всем без исключения — когда дети изначально общественны, когда не надо за ними ухаживать в частном порядке, так чтобы люди обоего пола могли заниматься тем, что им ближе, не замыкаясь в клетке семьи. То же относится и к прочим бытовым мелочам. Откуда берется эта «мелкая работа»? Оттого что людей искусственно отделили от общества, заставили жить своим домом, противопоставили домашнее хозяйство общественному производству. Когда все едят в кафе — им не нужно готовить и мыть посуду; индустриальные технологии намного эффективнее (и экономичнее) домашней стряпни — и можно искать индустриальные методы утилизации отходов. То же самое — по любым другим поводам. Но вместо кардинального решения — Ленин увещевает незоснательных мужиков:

Очень немногие мужья, даже из пролетариев, думают о том, как сильно они могут облегчить тяготы и заботы жены или даже совсем снять их с нее, если бы захотели помочь в «женской работе». Но нет, ведь это же противно «праву и достоинству мужа». Он требует, чтобы у него был отдых и комфорт. Домашняя жизнь женщины — это ежедневное принесение себя в жертву в тысячах ничтожных мелочей. Старое право господства мужа продолжает жить в скрытом виде. Его рабыня объективно мстит ему за это — тоже в скрытом виде: отсталость женщины, отсутствие у нее понимания революционных идеалов мужа ослабляет его бодрость и решимость в борьбе.

Интересная аргументация: помогать жене надо не потому, что она такой же человек, — а чтобы эта «рабыня» не отомстила как-нибудь и не

лишила мужика стойкости в борьбе (оказывается, ни для чего другого он и не нужен). Утилитарное отношение — не только к женщинам, но и к мужчинам; и тех, и других за людей не держат. В идеологии, в политике, и в конечном счете в экономике,

Это есть те крохотные черви, которые незаметно, медленно, но верно подтачивают и грызут.

Но как лишний раз не похвастаться перед дамой?

Я знаю жизнь рабочих, — и не только по книгам.

Что-то не припомним, чтобы Ленин стоял у станка или грузил вагонетки (как некоторые профессиональные революционеры). С жизнью рабочих он знаком как турист: по рекламным проспектам и организованным экскурсиям. Выступления на митингах и беседы в коридорах — вроде как смотреть с иконы на прихожан; нет, конечно, можно увидеть много забавного, и даже делать далеко идущие выводы, — но это совсем не то, что прочувствовать на собственной шкуре. Тем не менее, редкий по осмысленности кусок:

Наша коммунистическая работа среди женских масс, наша политическая работа включает в себя значительный кусок воспитательной работы среди мужчин. Мы должны вытравить старую рабовладельческую точку зрения до последних мельчайших корней ее. И в партии, и в массах. Это относится к нашим политическим задачам так же, как и настоятельно необходимое образование штаба из товарищей — мужчин и женщин,— получивших основательную теоретическую и практическую подготовку, чтобы проводить и двигать партийную работу среди трудящихся женщин.

Наконец-то мы увидели подлинное равенство товарищей — мужчин и женщин (другие ориентации в те времена были не актуальны). Но конец все равно за упокой. Начали-то про воспитание мужчин. Так почему не финишировать достойно, словами о работе по обоим направлениям? А то некрасиво получается: опять рулить женщинами...

Дальше Ленин высокопарно рапортует немецкой коммунистке о якобы выдающихся достижениях большевиков:

Правительство пролетарской диктатуры прилагает все усилия к тому, чтобы преодолеть отсталые воззрения мужчин и женщин и вырвать таким образом почву из-под старой, некоммунистической психологии. Нужно ли говорить, что проведено полное равноправие мужчины и женщины в законодательстве! Во всех областях заметно искреннее стремление провести это равноправие в жизнь. Мы втягиваем женщин

в работу советского хозяйства, управлений, в законодательство и в правительственную работу. Мы открываем им двери всех курсов и учебных заведений, чтобы повысить их профессиональную и социальную подготовку. Мы основываем общественные кухни и столовые, прачечные и починочные мастерские, ясли, детские сады, детские приюты, воспитательные учреждения всякого рода. Короче, мы всерьез проводим требование нашей программы переложить хозяйственные и воспитательные функции индивидуального домашнего хозяйства на общество. Этим путем женщина освобождается от старого домашнего рабства и всякой зависимости от мужа. Ей предоставляется полная возможность деятельности в обществе в соответствии с ее способностями и наклонностями. Детям же предоставляются более благоприятные условия для их развития, чем те, что ждали бы их дома. У нас самое передовое в свете законодательства по охране женского труда. Уполномоченные организованных рабочих проводят его в жизнь. Мы устраиваем родильные приюты, дома для матерей и младенцев, организуем консультации для матерей, курсы по уходу за грудными и малолетними детьми, выставки по охране материнства и младенчества и тому подобное. Мы прилагаем самые серьезные усилия, чтобы удовлетворить нужды необеспеченных, безработных женщин.

Звучит! В начале «полное равноправие мужчины и женщины» даже фразеологически корректно. Требование «переложить хозяйственные и воспитательные функции индивидуального домашнего хозяйства на общество» — это революционно! Можно подумать, что Ленин перевоспитался — и уже не рвется эксплуатировать семейных, навешивая на них еще и общественные обязанности. Если правда оно — ну, хотя бы на треть, — остается одно: аплодировать с пением Интернационала. Когда охрипнем — будем считать убытки и сомнения. Например: очень много про женщин — и ничего про мужчин. Нет, конечно, поскольку по жизни дамский пол задавлен и угнетен — его якобы надо вытаскивать из рабства на буксире (они же такие слабые!). Но если при этом ничего не делать для вовлечения мужиков в эти хлопоты — выглядит странно. Грубо выражаясь, коли мужик паразитирует на жене — требуется убить двух зайцев: высвободить жену из под мужней власти — и вовлечь мужа в то, чем раньше дама занималась в одиночку. Это две стороны одного и того же, и вот бы где пригодились знаменитые ленинские дуплеты!

Видим мы это хоть где-нибудь? Возможно, у нас плохое зрение — или очки запотели... Получается так: организовать кооперативы для

женщин, чтобы они решали мелкие дамские проблемки меж собой — пока серьезные люди куют покуда горячо — и опохмеляются поутру. Дома для *матерей* и младенцев; консультации для *матерей*, курсы по уходу за грудными и малолетними детьми — тоже понятно для кого; охрана *материнства* и младенчества — и тому подобное. То есть, по факту, положение женщин в обществе пролетарской диктатуры не меняется ни на микрон: они будут заниматься тем же, что и раньше, — но уже всем кагалом, в качестве «социальных матерей». В публичных текстах Ленин дал ясно понять, что на женские плечи ложится также сфера услуг: столовые, прачечные, пошивочные и т. д. Как вовлечь во все это мужчин (вместе с их могучими телесами и — у кого есть — мозгами) — никто даже не предполагает задумываться. А мы, вот, думаем: коли мужик свободен от бытовых задачек — на кой ляд ему заботиться о здоровье дам? Он просто будет получать паек и обмундирование — и требовать «спецобслуживания» во вне рабочее время. Допустим Ленин, который никогда не работал в реальном секторе, настолько велик, что (хотя бы теоретически) готов двигать государство в направлении высокотехнологичных производств, чтобы людям не драть кишку. Но практически вся королевская (кремлевская и смольная) рать — умеет только деньги делить, и ничем другим по жизни не интересуется! Так кто будет думать о реальном равноправии, во всех отраслях? Если мужские массы не отвлечь от боевых походов и не ткнуть мордой в «недостойные» бытовые дела — они же так и не узнают, чего хочет женщина, и палец о палец не ударят, чтобы ей подсобить. Само собой это не сделается: нужно двигаться к единству с двух сторон. Отсюда вывод: женское движение поднимать надо — но участие в нем должны принимать и мужики. И наоборот — всячески приветствовать неженские профессии у женщин, вплоть до высшего командного звена. Разумеется, дама с кувалдой — это нонсенс (хотя и не редкость в России). Но кто сказал, что мужик должен брать только грубой силой? Вот пусть вместе и думают, чем кувалду заменить. То есть, мозгами шевелят — становятся разумными существами, а не рабочей силой или пушечным мясом.

Но вождю достаточно того, что «направление взято верное» — и он тешится фантазиями о том, что

это гигантский шаг вперед по сравнению с тем, что было в царской капиталистической России. Это даже много по сравнению с тем, что делается там, где капитализм еще неограниченно господствует.

И снова все как из тумана:

Представьте себе, что это значит в стране, где добрых 80% населения — крестьяне. Мелкое крестьянское хозяйство означает индивидуальное домашнее хозяйство и прикрепление к нему женщины.

Можно подумать в городе оно иначе! Только «буржуазки» могут позволить себе перекардывать тяготы быта (и даже деторождения) на чужие организмы. Барышня на коммутаторе выматывается за день не меньше батрачки — хотя усталость эта все же иного рода. А потом и та, и другая, — на хазу, — и кормить, стирать, обшивать, сексуально ублажать. Заметим: рыба гниет с головы. Разделения труда на мужской и женский начинается с семьи товарища Ленина: его жена не командует фронтом, не решает вопросы электрификации, и не пишет книги про Гегеля и Фейербаха, — она полностью сидит в педагогике (включая ясельные группы); тема для женщин. А в остальное время — организует быт гениального супруга; мать Крупской — постоянно трудоустроена: она работает у зятя домработницей (чтобы не нанимать прислугу на стороне — в европах это дорого). И все ходят на цыпочках, когда вождь писательствует: он привык трудиться в полной тишине!³⁰ Как вам такая организация быта? Прототип чего?

В итоге опять сетования, что «мы без миллионов женщин не продвинемся вперед» — и потому надо поскорее ставить всех под ружье. Прямо сейчас. А дамские штучки подождут.

Если женщины не будут с нами, то контрреволюционерам может удаться повести их против нас.

Дальше — вполне конкретные вопросы: организация «беспартийного женского конгресса». Тут все по-деловому — и цепляться не за что. Забавнее всего финал randevu:

Знаете, Клара, я воспользуюсь тем, что беседовал с женщиной, и в оправдание своего опоздания, конечно, сошлюсь на всем известную женскую разговорчивость. Хотя в действительности на этот раз много разговаривал мужчина, а не женщина. Вообще же я должен засвидетельствовать, что вы действительно умеете серьезно слушать. Может быть, как раз это и заставило меня так много говорить.

Делая это шутовское замечание, Ленин помог мне надеть пальто.

³⁰ Судим по мемуарам т. Лилиной, которая бывала в гостях у вождевой четы во время эмиграции — а после революции запустила в литературе жанр сказок о мудром и человечном «дедушке Ленине». Плюс воспоминания Крупской разных лет.

Переходя на личности

Эвальд Васильевич Ильенков — наше все. Не побоимся громкого слова. По сути, это единственный (после Маркса, Энгельса и Ленина) философ, не только разбирающийся в тонкостях диалектики, но и сумевший существенно продвинуть разумное человечество к новым горизонтам. Разумеется, речь идет о развитии марксизма — а не о его антимарксистских ревизиях. Нет, конечно, отдельные дерзкие прозрения рассеяны по просторам советской (и несветской) художественной (и не очень) литературы в большом количестве — вперемешку с полчищами тараканов... Но чтобы со всей определенностью поставить вопрос о сознательном и целенаправленном применении методологии марксизма к марксизму — тут требуется много чего. Как внутри, так и снаружи. Но что требуется — то (рано или поздно) грянет; все необходимое удалось собрать под одной фамилией — и даже опубликовать кое-что. Не так чтобы свободно на каждом углу — но кому надо встретиться, мимо друг друга не пройдут. К моменту встречи у нас уже были какие-то свои наработки — и главное, ясное сознание необходимости привести накопленные за столетие кучи мусора к пригодному для разумного бытия уровню обустроенности. Но самое главное — за плечами жизненный опыт: у каждого свой — но подвигающий к далеко идущим выводам. Когда встреча таки состоялась — сразу стало ясно: вот то, чего так не хватало нам, — и вот мы, кого так не хватало Ильенкову! Любовь с первого взгляда.

Как это часто бывает, любить пришлось издалека и в разные эпохи. Ну и пусть. Важно, что без него наших деяний быть не могло, — и пора определиться с тем, без чего ильенковской личности в будущее хода нет. Вот и давайте хотя бы краешком коснемся этой нескромной темы.

Что же такое личность? Статья с этим названием появилась в пестром сборнике *С чего начинается личность* (М.: Политиздат, 1979). Год смерти. Своего рода философское завещание. Заметно, что текст сыроват — но авторской редакции уже не дожидаться (а прочие нам не интересны). Понятно, что разговариваем мы не ради того, чтобы заимствовать друг у друга готовое и исчерпывающее; скорее, общими усилиями предстоит наметить направления, развиваться в которых каждый будет соответственно своим соображениям, преследуя сугубо личные цели.

Что впечатлило и обнадежило? Прежде всего, констатация факта: невозможно строить коммунизм, не имея ни малейшего представления, кто в нем будет жить. Более того, именно производство личности нового типа «стало ныне практической задачей и прямой целью общественных преобразований в странах социализма» — а без этого дальше не продвинемся ни на шаг. Что прямо противоположно установкам Ленина и его партии: при всей идеологической пестроте, коммунисты исходят из приоритета экономических преобразований — а всяческие духовные штучки, якобы, сами произрастут. Не произрастут. Более того, если дух остается неухоженным пустырем, его заполонят зловредные сорняки, в которых завязнет сколько-нибудь коммунистическая экономика, — и реставрация капитализма неизбежна. Что мы и наблюдали дюжину лет спустя после Ильенкова.

Если по-простому: менять способ производства никто не будет просто так; поскольку мы действуем как разумные существа, мы просто обязаны осознавать зачем. Буржуи хотят нас превратить в животных, растения, или бездушные стихии, — а мы туда не хотим. Схематически, продукт всякой деятельности есть единство объекта и субъекта: любое производство порождает не просто вещи, но и способы их культурного употребления, и люди специально подстраивают технологии, чтобы полученное на выходе было удобно потреблять — и нашлось бы кому. Изменение способа производства предполагает поэтому не только иначе организованные вещи, но и новые формы культурного поведения; то есть, в этом производстве (строительстве будущего) мы производим также новых себя, как субъектную сторону продукта. Нет духовной составляющей — вещи будут воспроизводиться по форме прежнего субъекта, во всем его классовом уродстве. Дикаря можно научить пользоваться компьютером; но использовать он его будет для прежних надобностей — и отсюда классический кошмар, техзадание для программиста: сделайте мне такую кнопку, чтобы я нажал — и все получилось! Но в рыночной экономике куда денешься? — делают кнопки для дикарей...

Однако Ильенков идет дальше. Он настаивает, что для разговора о духовности вовсе не нужно изобретать какие-либо особо духовные учения: все необходимое в классической формулировке марксизма уже есть — и нужно только разумно распорядиться этим наследием, ни на йоту не отступая от фундаментальных философских и экономико-политических принципов. Давайте читать умные книги с умом.

По сути, это другая сторона того же единства: если бы у Маркса и Энгельса (а потом и у Ленина) не сидело где-то внутри принципиально иное, не буржуазное представление об идеальном — их материализм ничем не отличался бы от прочей вульгарщины, опошляющей идею материи на радость олигархам и попам. Да, прямо высказать и ткнуть мордой слепых кутят — не успели. Значит, надо ловить намеки, догадываться — творчески развивать. Собственно, этому великому труду Ильенков и посвятил десятилетия академической карьеры — плюс «сократическая» струя, личное влияние на многих, через кого (при всем непонимании) его личность перевоплотилась в миллионы личностей.

Вот это последнее обстоятельство и требует обстоятельной беседы. В новом веке интерес к Ильенкову — все время по нарастающей, что, конечно же, говорит о достоинствах первоисточника — о его духовном потенциале. Но есть и другая сторона: попытки укротить Ильенкова, причесать под буржуазную философию (как Маркса на Западе выдают за буржуазного экономиста — и судят о его трудах только с этой стороны). Модернисты блистают эрудицией, сближают сколь угодно разных философов. Чисто абстрактно — почему бы и нет? Вопрос — для чего все затеяно. Разумеется, Ильенков опирается на философскую традицию многих веков — и развивает ее в русле современных ему идей. Но если считать это лишь игрой ума, философствованием вообще, — утрачивается главное: требование привести мир в соответствие разуму, хотя бы в той мере, в которой мы свою разумность осознаем. Дело не в том, чтобы предложить очередную (сколь угодно глубокую) концепцию личности, а в том, чтобы

построить такую систему взаимоотношений между людьми (реальных, социальных взаимоотношений), которая позволит превратить *каждого живого человека в личность*.

И тут вдруг обнаруживается, что идейный посыл слабо подкреплён собственно философскими доводами: предъявить что-либо помимо личной убежденности так и не удалось. Задача построения марксистской философии духа поставлена со всей определенностью; но пути решения Ильенков пробует нащупать как раз там, где раскинулась самая непролазная топь — где классики марксизма путались сами и пугали других, подменяя твердую почву творческих исканий зыбкими кочками авторитета. Дальше дело техники: якобы почтительные интерпретаторы отодвинут в сторону суть — и будут играть на слабостях... Похвалить беззубость — оставить в тени злобу дня. Заметим: не прошлого — а

нашего, нынешнего. Типичный прием буржуазной «аналитики» — упор на внутреннюю логику учения, будто бы существующего само по себе, безотносительно к мотивам нашего обращения к этой философии здесь и сейчас, в ином историческом контексте. Живого человека превращают не в личность, а в голую схему, мертвую абстракцию.

А что такое личность? И что такое живой человек? Кого во что мы собираемся превращать? Наконец, чем реальность взаимоотношений социальных отличается от реальности всех прочих взаимоотношений, от нереальности того и другого, а также от отношений между не совсем людьми? Вопросы большие — и отделаться рассуждениями на пальцах, на уровне обиходной лексики и фразеологии, никак не получится. Парадокс: философ, профессионально занимающийся диалектической логикой, — переходя на личности, оставляет логику в стороне и почти ничем не отличается от прочих «теоретиков», столь же расплывчато трактующих никому не ведомое. Но мы не случайно оговорили: *почти*. Достаточно сравнить статью Ильенкова с включенными в тот же сборник статьями Косолапова, Толстых или Араб-Оглы, чтобы заметить разницу.³¹ К сожалению, между «заметить» и «понять» — разница тоже немалая. Придется вытаскивать что нам ближе — а остальное для остальных.

На поверхности: есть нечто, чем единичный человек отличается от всех остальных единичностей этого мира. То есть, он заведомо от них *отличается* — и с этого надо начинать. Принцип нетривиальный — свойственный далеко не каждому философскому учению. В частности, «ортодоксальный» марксизм (плехановско-деборинского толка) с такой постановкой вопроса не дружит: движение человеческого общества для таких «марксистов» есть явление того же порядка, как и все прочие материальные движения, — ну, может быть, чуточку посложнее... Ильенков настаивает, что никакие вещи, организмы или составленные из них системы — не могут сами по себе обеспечить присутствие разума, и становятся лишь необходимой предпосылкой, вещной оболочкой, носителем разума, — но сущность его в чем-то другом. Следовательно, чтобы выделить разумное существо из природы требуется нечто иное, существенно *неприродное* — и надо его как-то назвать и осмыслить.

³¹ Есть еще не менее революционный текст В. В. Давыдова — который из второго издания (1983) убрали — предварительно исключив автора из партии и из науки; покойников — исключать сложнее...

И тут визжат тормоза. Убежденный материалист пугается призраков и не решается заимствовать терминологию у мистиков и попов, давно узурпировавших право говорить о всяческих неприродностях, для которых они изобрели универсальную категорию: дух — и дальше уже возможно говорить о частных вариантах (душа, идея, бог, и прочее).

Спрашивается: почему мы не можем взять уже готовое (что отнюдь не с потолка взято, исторически сложилось, — а значит, выражает нечто, требующее выражения), и приспособить для нужд последовательного марксизма, очистить от идеалистической шелухи — и тем самым показать ее классовый характер, необходимость и историчность? Почему мы не стесняемся вслед за Гегелем твердить о развитии и становлении, о противоположностях, взаимопревращениях количества и качества, о снятии противоречий и т. д. — но никак не можем материалистически истолковать диалектику духа, понять его как особый уровень движения мира в целом? Нет такого, всеобщего видения — не будет материализма. Чему мы собираемся противопоставлять материю? По отношению к чему она первична? Сопоставлять надо чему-то столь же всеобщему — а не единичному сознанию, как в схоластической формуле, которую студенты послушно заучивали наизусть... По логике, говоря о движении материи, мы уже предполагаем, что это движение — *не есть* материя (а значит, может быть и еще что-то отличное от материи, и надо честно искать все возможности и соединять все это в целостности мира, где все обязательно становится всем). Почему мы не можем честно признать: выделение материальности как атрибута мира в целом предполагает и нечто противоположное материальности, без чего целое никак не склеится? Кто мешает нам назвать это нематериальное *идеальным* — и признать, что сама эта противоположность всплывает в философии лишь в каком-то историческом контексте, а изменение способа производства может вывести на первый план какие-то иные аспекты целостности, о которых, быть может, мы пока не догадываемся? Почему мы должны навсегда запереть себя в категориях классовой эпохи, не смея мечтать ни о чем более возвышенном?

В таком, всеобщем понимании, идеальное как раз и позволяет нам отличать живое от неживого, а разум от жизни. Это не надуманная классификация: так устроен мир на самом деле. Но тогда нам уже не надо ограничиваться формами разумности, наличествующими на планете Земля в данный момент — и мы можем не только предвидеть иные возможности, но и творить их, делать продуктом деятельности.

Было такое у классиков? Однозначно. Энгельс допускает далекие от земных воплощения разума [20, 363] — несмотря на злой сарказм по поводу таких же допущений у г. Дюринга. Следующий шаг — признание возможности сознательно производить собственную разумность.

Далее. Ленин заметил-таки у Гегеля великую идею относительности различия объективного и субъективного [29, 90] — что автоматически отвязывает идеальность от присутствия разумных существ, допускает ее различные проявления на разных уровнях — так что человеческое сознание оказывается лишь одной из возможных реализаций. Ленину же принадлежит гениальнейшая идея об отражении как универсальной категории: само по себе отражение *не есть материя* — но без материи отражать нечего и не в чем; та же логика заставляет признать, что и материя без отражения — фикция, что материальное и идеальное всегда ходят вместе — и вопрос лишь о том как именно эта неразделимость реализуется на каждом уровне мира в целом, в его единстве — невозможном без (всегда относительных) различий. В частности, философская категория дух позволяет говорить о разуме как таковом, безотносительно к местным способам воплощения: дух в человеке лишь поскольку он ведет себя как разумное существо, и он не только в человеке — он существовал задолго до появления первых людей как особенность движения вещей и организмов, неизбежно приводящая к известным человеку проявлениям разумности. Последовательность марксизма — доведение представлений о строении мира до признание необходимости и неизбежности возникновения сознания в какой-нибудь из возможных форм — в полном соответствии с указаниями Энгельса. Только в такой постановке вопроса возможно говорить о природных предпосылках сознания и необходимой сложности его носителя.

Для советских марксистов, всеобщность идеального — злостная ересь. Они уперлись в единичное сознание, намертво прикрученное к органическому телу, — и все вообще уровни и формы идеальности сводятся к движению этой органики. Но тогда и разум представляется чисто природным явлением, свойством биологического индивида (чисто формально помещенного в культурную среду, и мы даже не можем толком объяснить, что это такое) — а место философии духа занимают вульгарно-психологические (псевдонаучные) метафоры:

Идеальное есть только там, где есть человеческая личность, индивидуальность. Поэтому дальнейшая разработка проблемы идеального впадает, в частности, в психологию, в исследование процесса станов-

ления личности и процесса личностного действия в идеальном плане действительности.³²

С одной стороны — неизвестно что под кличкой «идеальный план действительности»; с другой — сведение идеальности к психологии личности, вместо категориального, философского освоения.

Психология — это не о человеке. Психика есть и у животных. Изучать психологию личности возможно лишь при условии, что идея личности у нас уже есть — и мы знаем, как влияет это (принципиально неприродное) образование на психические процессы каких-то зверушек. Это влияние совершенно того же рода, что и перестройки процессов внутри организма под действием социальных факторов — о которых Ильенков не устает напоминать в самых разных местах (и за что мы его очень уважаем):

От начала и до конца личность — это явление *социальной природы, социального происхождения*. Мозг же — только материальный орган, с помощью которого личность *осуществляется* в органическом теле человека, превращая это тело в послушное, легко управляемое орудие, инструмент своей (а не мозга) жизнедеятельности. В функциях мозга *проявляет себя*, свою активность совсем иной феномен, нежели сам мозг, а именно личность. И только так, а не наоборот, как получается у редукционистов, видящих в личностно-психических явлениях *внешнее проявление работы мозга*.

Остается сделать еще один шаг: социальная суть (но не «природа», а именно неприродность) личности изменяет и направляет не только физиологию индивидов, но и их психологию, — и личность лишь *осуществляется* в психологии человеческих индивидов, делает и ее своим орудием.

Быть может, главная заслуга Ильенкова перед материалистической философией — учение о неорганическом теле человека, которое другие марксисты предпочитают у Маркса не замечать:

Личность *не внутри «тела особи», а внутри «тела человека»*, которое к телу данной особи никак не сводится, не ограничивается его рамками, а есть «тело» куда более сложное и пространственно более широкое, включающее в свою морфологию все те искусственные «органы», которые создал и продолжает создавать человек (орудия и машины, слова и книги, телефонные сети и радиотелевизионные каналы связи между индивидами рода человеческого), то есть все то

³² *Философская энциклопедия*, том 2 (1962), статья *Идеальное*.

«общее тело», внутри коего функционируют отдельные индивиды как его живые органы.

Очень горячо! Живой организм — это, по сути, симбиоз разных организмов, превращающихся в составе целого в его органы и ткани и способные жить лишь в качестве таковых. Но точно так же, единство движения вещей и организмов в процессе человеческой деятельности (разумное, целесообразное и осмысленное преобразование природы) — делает эти вещи и организмы компонентами целого, воплощением духа; это не организм, а культурное образование — которое использует природные качества вещей и организмов для поддержания заведомо не природного движения — движения духа. В этом плане, культура в целом есть воплощение духа на уровне разумного человечества; точно так же, разумность отдельных сообществ и единичных культурных ансамблей воплощается в коллективном субъекте и в индивидуальности (внешние проявления которой мы и называем личностью). Тем не менее, речь не о животных — а о людях, о разумных существах, о субъекте деятельности. Строение субъекта не вытекает из природных свойств его плоти — даже если эти свойства искусственно созданы в ходе деятельности; для разумности нужен еще и особый характер объединения — что мы и называем духом, подобно тому, как отличие живого тела от мертвого мы называем душой. Плоть без духа — не может быть субъектом деятельности (и личностью); субъект (единичный или коллективный) — такое же единство плоти и духа, как организм — единство тела и души. Если мы пугаемся слов и начинаем подыскивать политкорректные эвфемизмы — мы тем самым наделяем слова мистическим содержанием и вместо того, чтобы делать язык орудием труда, становимся орудиями нами же созданных абстракций. Это не имеет ничего общего с марксизмом. А у Ильенкова:

Это «тело» (его внутреннее членение, его внутреннюю организацию, его конкретность) и приходится рассматривать, чтобы понять каждый его отдельный орган в его живом функционировании, в совокупности его прямых и обратных связей с другими такими же живыми органами, при этом связей вполне предметных, телесно-вещественных, а вовсе не тех эфемерных «духовных отношений», в системе которых всегда пыталась и пытается рассматривать личность любая идеалистически ориентированная психология (персонализм, экзистенциализм и т. п.).

И так каждый раз: начинаем за здравие — кончаем за упокой... Гнильца заметна в самом начале предыдущей цитаты: личность пытаются

запахнуть в тело — пусть даже не органическое, а всеобще-культурное. Но никакие «предметные» и «телесно-вещественные» отношения ни при каком раскладе не дают оснований говорить о личности, о субъекте; наоборот, только в контексте специфически духовных связей мы можем заметить субъектность в отношениях тел — и осознать именно такую их взаимосвязь как строение плоти, выражение неприродного единства. Физиологию мозга Ильенков соглашается выводить из организации деятельности (и только тогда возможно говорить о высшей нервной деятельности); однако отношения между людьми в ходе совместной деятельности (то есть, по сути, производственные отношения) — у него выглядят самосушей абстракцией, атрибутом личности как таковой, вне культуры. Тогда как разум (по Марксу — и в отличие от буржуазных воззрений) не пассивно следует за общественным производством, а наоборот, определяет его направленность и строение (включая и отношения людей по поводу вещей).

Как бы ни расширяли мы тело человека, какие бы неорганические компоненты не включали в него — любые отношения внутри этого тела остаются сугубо телесными! Да отношения материальных вещей — тоже идеальны; однако эта идеальность иного рода — и для перехода к субъекту нужен еще один уровень: характерная взаимосвязь таких, предметных идеальностей, — так сказать, идеальность идеальности — отрицание отрицания, которое делает разум реальностью. То есть, именно помещение предметно-телесных отношений между людьми в контекст особых, духовных отношений — позволяет характеризовать единичного субъекта как личность; человек как разумное существо — не «содержит» личность внутри себя, а наоборот, разумен он лишь поскольку является *представителем* совокупного разума человечества, и разума как одного из уровней мира в целом. Вместо того, чтобы противопоставить идеалистически ориентированным воззрениям на личность материалистическую философию духа в контексте единства мира, Ильенков продвигает сугубо *индивидуалистическую* идею — тем самым и категорию «материя» опошляя до всего лишь материала, сводя отношения личностей к отношениям тел. Личность у него присутствует в телах совершенно мистическим образом, как невесть откуда взявшаяся особенность психологии (и ничего кроме!). Что делает ильенковскую теорию личности лишь разновидностью той самой «идеалистически ориентированная психологии», против которой он (по видимости) возражает. Стоит ли говорить, что за такого Ильенкова буржуазная

пропаганда уцепится всеми конечностями? — и заодно марксизм причешет под какой-нибудь пост-модерн.

Как все понимают, мы, конечно же, полемически сгушаем краски. Речь не о том, что Ильенков понимал дело криво, — а о том, что его тексты очень легко (при желании) истолковать самым извращенным образом. Когда еще не придумана удачная фразеология — приходится выражаться неудачно. Большие люди — и лажают по-крупному. Но даже в академически выхолощенном состоянии — они опасны для власть предержащих. Пусть Ильенков на каждом шагу путает сознательную деятельность с животным поведением, валит в кучу весь лексикон, относящийся (или не относящийся) к личности, походя отождествляет науку с философией (или наоборот), — и грешит десятками иных, столь же смертельных способов; но когда он обращается к собственно философскому, категориальному пониманию всеобщности как целостности, когда он показывает, что сущность вещи глупо искать внутри нее — ибо вещь становится сама собой лишь в отношении к миру, как единичное выражение всеобщего, как такое отношение ко всем остальным вещам, которое и делает ее именно этой, определенной вещью, — он тем самым неявно следует не вульгарно-психологической трактовке идеальности — а добротной философии, согласно которой материал вещи отличен от ее формы, а единство этих (материальной и идеальной) сторон составляет собственно предметное содержание — то, зачем эта вещь в мире нужна, каково ее место в составе целого. Отсюда прямо следует, что и личность (как единичность духа) определена ее местом в общечеловеческой культуре, на каждом из ее уровней. А это уже прямая отсылка к Марксу — со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями.

Вернемся к ловле глюков.

Поскольку дух (как культурное явление) отождествлен с душой (как единством метаболизма) — (философскую) идею идеальности Ильенков пытается спихнуть в ведение частной науке, психологии. Поскольку же никакая наука заниматься собственно философскими вопросами не может (и не обязана) — всеобщая идея разваливается на метафорические иллюстрации, каждая из которых по-своему ущербна. В основе этого извращения — популярная среди марксистов (начиная с Маркса), но совершенно бредовая мысль о божественной сути научного познания, которое представляется главным (и высшим) предназначением рода человеческого, ради чего все вообще в мире и затеяно... Классовый

характер этой идеи — как на ладони: само ранжирование разных сторон целостной деятельности по уровням «престижности» — процедура сугубо рыночная; в разумно устроенном обществе, одна деятельность ничем не главнее (и не ущербнее) другой. Поэтому искусство, наука и философия — не обязаны равняться друг на друга, вольны идти своим путем, и даже претендовать иной раз на самоопределение. Все это уровни одного и того же, что у нас принято называть аналитической рефлексией: рефлексивность — как разглядывание себя со стороны; аналитичность — в смысле (намеренного) отделенности отражения от отражаемого. Искусство как особая культурная сфера складывается (по исторической логике, а не хронологически) раньше других; только становление капитализма выделяет науку в особую отрасль (духовного) производства. Философии с самоопределением не повезло: она долго пыталась диктовать свою волю искусству и науке — но когда ей (не очень вежливо) указали на дверь, философы принялись примазывать к тому и другому, с целью сохранения хотя бы мнимого авторитета — который можно было бы затем исчислить в денежных эквивалентах. Вместо того, чтобы поискать собственно философскую сущность (и тем самым стать сущностью чего-то еще), популяризаторы вульгарного марксизм ухватились за фразу о научности философии как за утопающий за соломинку: марксовому тезису о *деятельном* характере философии — противопоставлен (тоже выкопанный из Маркса, и особенно из Энгельса) тезис о познавательном отношении человека к миру (чем, якобы, дело и исчерпывается). Больше семидесяти лет советским вбивали в головы штамп о философии как науке — и всем было очень смешно, а особенно тем, кто к науке реально причастен. Западные идеологи умело обыгрывали эту бредовость, так что тамошних ученых при слове «философия» (да еще диалектическая!) начинало тошнить — и какое уж тут взаимопонимание!

Если бы Ильенков сумел сбросить чары наукообразия и осознал, что есть у философии такая суть, которой ни науке, ни искусству не дано, — ему бы и в голову не пришло сводить философию к психологии (которая всего лишь наука и на всеобщность никак не тянет). А тогда пришлось бы честно искать *категориальное* определение личности, несводимое ни к каким психологиям. Научные понятия — совсем другое; образы искусства — еще одна разновидность аналитической рефлексии. Напрямую сопоставлять один уровень с другим — чисто логическая ошибка. Если я захочу отождествить козу с барабаном — я обязан

указать, в контексте какой деятельности такое отождествление будет оправданным, каковы пределы подобной вольности. Соответственно, мы вправе размышлять о человеческой личности в связи с одним из биологических (или неорганических) тел — но по здравом размышлении оказывается, что такая трактовка полностью вытекает из реалий классового общества, и тем самым никак не способствует поиску черт и условий для рождения личности нового типа, свободной от ужасов сугубо вещного отношения одних людей к другим.

К сожалению, с наукой у Ильенкова особо не сложилось. Очень поверхностные представления из десятых рук. Типичный пример:

Известно, что современная физика исключает самую возможность существования в мире двух абсолютно тождественных микрочастиц (электронов, фотонов, протонов и т. п.).

Любой физик (а сегодня и любой компьютерщик) тут же заметит, что принцип эквивалентности — сама суть квантовой теории, в которой одна частица настолько не отличается от других, что приходится впихивать в каждую формулу операторы симметризации, перестановки частиц во всех позициях; возникающие из-за этого обменные эффекты (как будто одна частица мгновенно перепрыгнула на место другой, сколь угодно удаленной) — не просто теоретическая фикция, а реально измеримая величина, без учета которой невозможны практические применения квантовой науки. Лишь при наложении внешних связей частицы иногда становятся различимыми. Отсюда можно бы делать метафорические выводы о свободе и равноправии личностей в бесклассовом обществе — сравнивая с грубой механистичностью классического капитализма...

Но Ильенков одержим бесом «научности» — и при всей своей любви к искусству, отказывает ему в праве выражать нечто значимое для разумного человечества в целом:

Вот почему экзистенциалисты предпочитают писать на эту деликатную тему не на языке науки, а в эссеистско-беллетристическом жанре, а то и вообще в виде романов, повестей и пьес. И это далеко не случайная деталь, а выражение существа их позиции — принципиального отрицания самой возможности создать *материалистическую* концепцию (теорию) личности, то есть *материалистическую психологию* как науку. Ведь психология и есть наука «о душе», о человеческом «Я», а не о чем-либо ином.

Казалось бы: какая разница, на каком языке я что-либо выражаю? Так можно договориться о правомерности мировой гегемонии английского

языка — записывая все остальные в заведомо ущербные! Одно и то же можно (и нужно!) выражать разными способами: было бы странно всегда и со всеми разговаривать одинаково — не учитывая характера и предпочтений собеседника. Уродство буржуазной философии не в том, что она привлекает к делу художественные образы — а в однобокости, преимущественном использовании одних форм в ущерб другим. Но перекос в сторону наукообразия — не меньшее уродство. Ни искусство, ни наука (поскольку они остаются в рамках искусства или науки) не могут быть идеалистическими или материалистическими; постановка вопроса о первичности чего бы то ни было возможна лишь в контексте единства мира; поиск такого, всеобщего единства — целиком в ведении философии. Но и философия ни к чему не годна сама по себе, в отрыве от других уровней рефлексии; только все вместе, разнообразно, гибко, универсально, — вот разумное отношение человека к миру.

Материалистическая концепция личности — это философия. Если психологию личности развивать на этом фундаменте — она примет определенные формы, но по своему *содержанию* ничем не отличается от психологии, исходящей из какой угодно мистики: в науке решает не интерпретация, а соответствие предмету. Ученые-мистики и верующие художники — обычное явление в классовом обществе; это ничуть не мешает им совершать великие открытия и создавать нетленные образы. Но если ученый или художник начинает философствовать — он делает уже не науку или искусство, а какую-то философию — судить о которой мы будем в сугубо категориальном плане, без оглядки на прочие заслуги. Как правило такая доморощенная философия оказывается совершенно беспомощной и компилятивной, рабски следует вбитым в подсознание классовым установкам — и великие вне своей профессии остаются всего лишь резонерствующими обывателями. Это относится и к философам-профессионалам, которым остро не хватает практического опыта — той самой материи, без которой никакой дух существовать не может. Буржуазному философу — сойдет и так: ему, собственно, и платят за пропаганду недоразвитости, однобокости и ущербности. Материалист без живого дела — чахнет, утрачивает идейную почву; его прозрения превращаются в иллюзии. Замечательный диалектик Ильенков вдруг забывает о диалектике и всеми силами старается запихнуть личность в каркас какой-нибудь единичности. А потом вынужден признать, что

наука о «единичном», как таковом, действительно невозможна и немислима.

Но почему все обязательно сводить к науке? Есть искусство — которое как раз и призвано ввести в рефлексию всяческие уникальности — без чего науке просто нечего было бы обобщать. С другой стороны, есть философия — и кому как не Ильенкову знать о взаимосвязи категорий единичного, особенного и всеобщего, со всех сторон обсосанной самым материалистическим идеалистом Гегелем! Личность как философская категория (в отличие от частных понятий каких-либо наук) есть лишь особый способ соединения единичного с всеобщим — где на вершине иерархии может оказаться как индивидуальность, так и общекультурная суть, место человека среди людей и вещей.

Психология личности — никоим образом не исчерпывает идею личности; это всего лишь *проекция* (одно из ильенковских словечек!) личности на психологию поведения вообще, изучающую самые разные природные явления. Собственно, такая проекция и дает одно из возможных для данной личности представлений о своем «Я» — и ничто не запрещает личности в разных условиях (или в разных отношениях) выступать в иной роли, в другом воплощении. Поскольку же любые воплощения напрямую зависят от строения культуры и наличного способа производства (включая способы использования органических тел) — мы неизбежно приходим к идее о личности как единичному выражению всеобщности, одному из возможных обращений иерархии общества в целом, когда на вершину выходит одно — при сохранении всего остального где-то в глубине.

Легко заметить, что в этом, иерархическом понимании всякая личность равна любой другой: это лишь разные представления одного и того же — поскольку любую целостность возможно рассматривать с разных сторон. У Ильенкова мы находим как общекатегориальное различие личности вообще и данной личности — так и замечательнейшее рассуждение о том, что все люди так или иначе оказываются связаны со всеми в силу единства человечества в целом. Остается вспомнить, что и производственные отношения столь же иерархичны, и не бывает изолированного производителя — поскольку каждая производственная операция предполагает определенные общественные условия, продукт совместных усилий миллиардов людей (включая прошлое и некоторым образом даже будущее). Следовательно, нет никаких разумных оснований для *присвоения* продукта труда кем-то одним (или общественным слоем): всякий в равной мере является изготовителем каждой вещи и автором каждой идеи. Классовая

экономика тем самым заведомо неразумна: она противоречит самой сути деятельности — совместного труда.

Отсюда один шаг до последовательно историчной трактовки личности: узко-психологические (и даже механистические) воззрения, оказывается, связаны с классовым характером общества, когда одни противопоставлены другим — а не трудятся сообща. Ограниченный доступ к средствам производства, культурное размежевание, — причина перекосов в строении личности, утраты каких-то компонент, за счет которых человек оказывается связан с другими людьми. Если кого-то общество воспринимает лишь в качестве типового винтика в одном из производств — его единичность вырождается в нечто абстрактное, типовое, навязанную извне роль; это уже не личность, а ходячий штамп, стереотип, маска. Следовательно, в классовом обществе мы не можем говорить о личностях как таковых — но лишь о том, в какой мере человек ведет себя как личность — а в чем неотличим от общественных животных, обладающих достаточно развитой психикой. Строение каждой исторически сложившейся культуры воспроизводится в строении личности — и это воспроизводство, в русле всеобщего разделения труда, становится особой отраслью производства в целом, системой образования (обучения и воспитания).

Ильенков подробно говорит о личности как уникальном «ансамбле» общественных отношений; казалось бы, отсюда прямо следует, что такие ансамбли, относительно независимые от телесных реализаций, могли бы существовать и без привязки к конкретной совокупности вещей; тем более личность не требует увязки с каким-либо живым организмом, — и следовательно, рождается не вместе с биологическим телом, индивидом, а независимо от этих тел, как продукт культурного развития, — и может (но не обязана) соотноситься с органикой внешним образом, как результат особой деятельности — социализации. Грубо говоря, рождение ребенка — лишь *возможность проекции* на это тело уже сложившихся «духовных» связей — или тех, которые сложатся много позже, в процессе социализации. Поскольку дух не существует вне своих воплощений, какие-то проекции всегда нужны; однако собственное движение духа связано не с частичными воплощениями, а с тем, что их объединяет — представляет образами того же самого. Именно поэтому мы способны отнестись к новорожденному не как к глупой зверушке, а как к личности — к субъекту, а не объекту деятельности, — и задача наша не в том, чтобы построить личность на

данном материальном основании, а чтобы «предложить» дух телу, создать возможность такого поведения, которое воплощало бы именно этот дух, а не какой-то другой. Разумеется, никакая плоть не может в полной мере представлять дух — но в этом самое интересное: мы вдруг обнаруживаем, что наши прежние представления о личности (связанные с другим воплощением) не отвечают новым направлениям ее развития, и воспринимаем это как «взросление», способность самостоятельно творить самого себя.

И тут вульгарно-индивидуалистические предрассудки дают о себе знать. Говоря о личности, Ильенков догадывается, что

акт *ее* рождения не совпадает ни по времени, ни по существу с актом рождения человеческого тела, с днем физического появления человека на свет.

Логический вывод — вообще отвязать рождение личности от индивидов, искать истоки духовности в отношениях между людьми, а не в

«церебральных структурах», которые реализуют *личностные* (специфически человеческие) функции индивида, его психические функции

Не могут никакие церебральные структуры с этим справиться — даже если их закавычить десять раз! Но по Ильенкову,

«социализируется» не личность, а естественно-природное тело новорожденного, которому еще лишь предстоит превратиться в личность в процессе этой «социализации», то есть личность еще должна *возникнуть*.

До этого — перед нами всего лишь заготовка, болванка, сырье... Да, конечно:

Поскольку тело младенца с первых минут включено в совокупность человеческих отношений, потенциально он уже личность.

Однако

Потенциально, но не актуально, ибо другие люди «относятся» к нему по-человечески, а он к ним — нет.

И потому, дескать,

ребенок еще долгое время остается *объектом* человеческих действий, на него обращенных, но сам еще не выступает *как их субъект*.

В чем путаница? В некритически заимствованном у буржуазных «теоретиков» отождествлении человека с биологическим индивидом — которого мы быстренько натаскиваем на что-нибудь культурное... Дескать, если оснастить это биологическое тело искусственными

органами и приучить правильно передвигать вещи — зверушка войдет во вкус и станет самостоятельно прикручивать к себе что-нибудь новенькое, и учиться этим пользоваться.

Смеем утверждать: не станет. Организму все это даром не нужно. Сам же Ильенков вполне определенно говорит:

Биологически (анатомио-физиологически) человеческий индивид не предназначен даже к прямохождению. Предоставленный самому себе, ребенок никогда не встанет на ноги и не пойдет. Даже этому его приходится *учить*. Для организма ребенка научиться ходить — это мучительно трудный акт, ибо никакой необходимости, диктуемой ему в том «изнутри», нет, а есть насильственное изменение врожденной ему морфофизиологии, производимое «извне».

Предоставленный самому себе, организм ребенка так и остался бы чисто биологическим организмом — животным.

Но дальше — совершенно утопическая фантазия:

Человеческое же развитие протекает как процесс *вытеснения* органически «встроенных» в биологию функций (поскольку они еще сохранились) принципиально иными функциями — способами жизнедеятельности, совокупность которых «встроена» в морфологию и физиологию коллективного «тела рода».

То есть, предполагается, что достаточно «встроенные» физиологические процессы заменить другими — и от этого физиология, как по волшебству, перестанет быть физиологией, а станет чем-то еще, чему и названия нет... Человеческое поведение походя сводят к функциям единичного организма — а человечество в целом оказывается лишь стадом, животным сообществом, движение которого всецело остается в рамках морфологии и физиологии.

Ничего подобного! Включенная в деятельность человека природная вещь не утрачивает свою природность — и движется в соответствии с законами природы; человек лишь *использует* способность вещей двигаться определенным образом для того, чтобы приводить в движение другие вещи — и таким образом потихоньку перестраивать всю совокупность наблюдаемых движений. Точно так же, человек вовсе не «вытесняет» природные возможности органики, не заменяет тем, чего нет в природе, — человек использует обычные биологические движения (включая психические процессы) для синхронизации их с другими такими же движениями в ходе сознательной деятельности. Только на этом, более высоком уровне (а вовсе не в организмах как таковых)

существуют люди как разумные существа — и как личности. И остаются таковыми лишь поскольку сохраняется эта неприродная среда, единство природных движений, самой по себе природе не свойственное.

Печальный опыт показывает, как быстро дичают, оскотиниваются люди, оказавшись в нечеловеческих условиях. Не все. Мы знаем тех, кто прошел через кошмары мировой войны — и не утратил высочайшей духовности. Один из них — Эвальд Ильенков. Но других — много. Поскольку же классовые реалии к человечности не очень располагают, практически у каждого за душой что-то не очень достойное, о чем время от времени напоминает совесть — рудимент разума.

Человек существует как личность лишь там, где его считают личностью — в культурных условиях, предполагающих именно такое отношение. Если (по Ильенкову) ребенок остается лишь *объектом* для взрослого — это никак не тянет на «человеческое отношение»; более того, в таком взаимодействии и ребенок считает взрослых лишь *объектами* — способом удовлетворения насущных потребностей или источником вредных воздействий. О чем тот же Ильенков дает знать.

Но в том-то и штука, что еще до рождения ребенок уже включен в деятельность людей не как объект, а как *субъект* — как возможность деятельности, и как деятельность! Поведение родителей (и прямо или косвенно связанных с ними других людей) радикально меняется, если предполагается рожать детей, — а это и есть ансамбль общественных отношений, реализующий личность задолго до зачатия ее будущего органического тела — которое, кстати, утрачивает в силу этого свою природность, ибо оно заранее *предназначено* стать чьей-то плотью. Личность ребенка общается с любыми другими личностями до биологического рождения — и даже если по каким-то причинам родиться не удалось. Новорожденное тело — объект социализации; но это никак не отменяет уважительного отношения к личности, запросы которой тело обслуживать пока не умеет — и настраивается на это лишь в ходе *человеческого* общения, в ходе совместной деятельности, а вовсе не методом дрессировки. Если взрослые этого не понимают — они сами не вполне личности, и причиной тому — уродство классовой культуры.

Можно сравнить это с тем, как человек задумывает нечто, готовит проект и подбирает необходимые ресурсы — и только потом приступает к реализации, к производству как таковому. Разумная деятельность как раз и отличается от биологического метаболизма или физического движения тем, что продукт труда *идеально* существует задолго до его

материализации. Подчеркнем: идеальное существование вещи вовсе не означает отсутствие всякой материальности — это не самосушая идея, а всего лишь иная материализация (например, в проектном задании; или хотя бы в воображении каких-то людей — которое, в свою очередь, реализовано через состояния органических и неорганических тел). Производство духа ничем не отличается в этом плане от материального производства: это две стороны одного и того же. Каким образом мы производим дух — это особый разговор; в рамках натуралистического подхода — даже поставить проблему толком не получится.

Привязка духа к единичному биологическому телу — типично классовое явление. Сама эта связь — никоим образом не биологическая! Чтобы вот это тело представляло вот эту личность — надо фиксировать отношение документально (поначалу — лишь в форме представлений о принадлежности семье, роду и т. д.; позже — с выдачей официального свидетельства, в соответствии с принятыми юридическими нормами). Достаточно переехать в другой город, сменить род занятий и паспортные данные — и вот вам другая личность в том же теле; если память о прежней жизни обществом утрачена — превращение завершено, и вам никакой силой не убедить окружающих, что в каких-то громких делах отличились именно вы, — и вы постепенно сами начнете считать эту фантомную память бредом, или сном. А иногда человеку просто нужно стать другим — перечеркнуть прошлое.

Вообразите теперь общество без разделения труда, где никакой привязки тел к областям деятельности отродясь не было. Каждый вправе заниматься чем угодно, общаться с кем угодно и как угодно. Заверять это документом — чудовищная глупость; а мы таки люди разумные... Какое отношение единичный организм (индивид) имеет к совместной деятельности свободных людей? Лишь то, что его совместно используют в общих интересах. Никакого перехода на личности тут вообще не предполагается. Вещи и тела никому не принадлежат — и уж тем более дух не заперт ни в каких единичностях и свободен менять воплощения по мере надобности, совершенно сознательно.

Допускаем, что классовому человеку такое воображение не по карману — у него интересы приземленнее. Но мы-то тут философией занимаемся, а не доживанием до выходных. И можем позволить себе не стесняться собственной разумности — и мыслить мерками мира в целом.

Из этих возвышенностей — совершенно практические следствия. Например, осознание того факта, что (вопреки Ильенкову) личность

вовсе не складывается в процессе социализации биологических тел, а наоборот, выступает организующим фактором их развития, начисто отвергает буржуазный тезис о предрасположенности людей к тому или иному роду занятий — что обычно принимает форму суждения о профессиональной пригодности или восторгов по поводу чьих-либо («врожденных») талантов и гениальности. Если общество потрудились настроить тело на выполнение определенных культурных функций — тело будет работать как положено; если тело не умеет что-то делать — это вовсе не от его конструкции, а от неумения (а чаще — нежелания) антигуманного общества заниматься адаптацией производственных процессов к единичному телу.³³ Чисто рыночная стратегия: побыстрее обделаться дельце, получить эффект, с минимумом затрат, — то есть, соблюсти свою корысть, а не позаботиться о человеке. Воспитание превращено в бизнес, вопрос времени и денег. В качестве оправдания — пошлая сентенция: *в здоровом теле — здоровый дух!* У кого тело в стандарты не лезет — в утиль. Но великий дух возможен и в самом нездоровом материале; его величие как раз и состоит в преодолении кажущейся невозможности. Для индивидуалистической философии личности (включая Ильенкова), такие свершения выглядят личным делом каждого — в духе сказок буржуазной пропаганды о богаче, который якобы сделал себя сам...

Может показаться, что никакой силой не сделать из хромой и нескладной девчонки великую балерину. Но прикиньте: никакой силач не может ворочать многотонные глыбы — и однако люди это делали испокон веков, а в наши дни умная электроника позволяет управлять тяжелой механикой даже маленькому ребенку, инвалиду от рождения. Кто мешает выдумать порох непромокаемый? Протезы и экзоскелеты — робкие шаги в нужном направлении; так почему нельзя дать человеку неорганическое тело, которое позволило бы ему танцевать при полном отсутствии внешних данных? Танец — не движение тела: это движение духа. Того самого, от которого марксисты шарахаются как черт от ладана.

Другой пример — воспитательное воздействие искусства. Почему буквы в книжке или бегающие картинки на экране вдруг меняют

³³ Дополнение (другая сторона) процесса социализации биологических тел — процесс индивидуализации культуры (и прежде всего — способа производства). Не только общество производит личность — но и личность меняет общество; а иначе — какая же это личность?

движение многих органических тел, вместе с их неорганическими расширениями? Почему мы способны принимать близко к сердцу удачу и страдания выдуманных персонажей? Почему такие фантомы кому-то ставят в пример в повседневной педагогической практике? Конечно, брать пример можно и с реально существующих людей — но что понимается под их реальностью? Об условном характере официальных биографий выше уже сказано; в качестве модели художественный тип даже удобнее³⁴: в нем уже выстроена иерархия личностных черт, и можно сразу примерять на себя (аналогия: костюм с чужого плеча не всегда сидит как влитой — зато в магазине мы можем подобрать подходящее по фасону и размеру).

С точки зрения философского «психологизма» — действенность искусства выглядит совершеннейшей мистикой. Спасти положение пытаются за счет якобы материалистического тезиса о сознательном использовании объектов внешнего мира (в частности, произведений искусства) для саморазвития личности — но в таком случае искусство ничем не отличается от природной стихии, остается внешним по отношению к человеку — и пропадает самое главное: намеренность художественного творчества, изначально социальная направленность. Продукты разумной деятельности — не просто вещи; они заранее для чего-то *предназначены*. Искусство производит не книги, картины или кинофильмы — у него особый (культурный) продукт, предназначенный способствовать духовному росту человечества. Помимо всего прочего, таким духовным орудием становится и выдуманный автором (или фольклорный) персонаж — личность, существующая лишь в форме коллективного представления о ней. Чапаев как биография — это одно; совсем другое — фурмановский Чапаев или герой популярной серии анекдотов (и никакие ревнители нравственности не уничтожат этой анекдотической личности — ее дух). Ребенка воспитывают по образу и подобию некоторой духовной модели — и одна виртуальная личность может воплощаться в очень разных индивидуальностях...

Вот и еще один бонус философского, категориального подхода: личность и индивидуальность — вовсе не одно и то же! Личность — характерное в индивидуальности; индивидуальность — способ бытования личности. Ильенковское различие личности вообще и данной, конкретной личности встает на твердую почву.

³⁴ Собственно, для этого и существует искусство, уровень духовного производства.

Учитывая, что иерархии в каждом обращении развертываются, начиная с верхнего уровня вглубь, мы можем обсуждать разные уровни личности — или, что то же самое, иерархию личностей. Как вообще, так и в каждой индивидуализации. В любом из своих проявлений, личность прежде всего высвечивает какие-то главные черты — расцветивая их переливами оттенков. Однако никакая иерархия не будет развертываться просто так, сама по себе: для этого нужно поместить ее в какой-то контекст, сопоставить с другими. Для личности таким контекстом становится то, что в психологии называют ведущей деятельностью; общефилософский подход рассматривает историю конкретных воплощений личности как жизненный путь; по-простому, мы говорим о смысле жизни. Классовое общество всячески пытается ограничить личность чем-то одним, загнать в сословные и рыночные рамки. Однако подлинная духовность начинается там, где личность свободна от любых биографий — и может по-разному проявлять себя в разных отношениях, свободно менять жизненные линии, перестраивать себя как угодно, переходить в собственную противоположность — и возвращаться к себе... А для этого надо научиться не путать дух с плотью, видеть их несводимость друг к другу — и только так возможно усмотреть их единство. Отождествлять материальное и идеальное — вульгарность; но именно так поступает Ильенков, сводя личность к ее (пусть даже неорганическому) телу:

По мере того как органы тела индивида превращаются в органы человеческой жизнедеятельности, возникает и сама личность как *индивидуальная совокупность человечески-функциональных органов.*

Органы — это об организме, а не о субъекте деятельности. Как ни дрессируй зверушку — она останется зверушкой, существом сугубо природным. Домашняя кошка ведет себя совершенно иначе, нежели кошка дворовая — и тем более дикая; домашние кошки умеют общаться с людьми и выглядят иногда человечнее человеческих детенышей. Кошки обнаруживают яркий характер — и одна не похожа на другую; разумеется, речь не о внешности, а о способах общения. Более того, если бы люди озаботились организацией кошачьего быта и оснастили ее всевозможными приспособлениями — животное могло бы гораздо активнее участвовать в человеческой деятельности, тем самым изменяя и круг потребностей. Однако тело кошки никоим образом такого поведения не предполагает — и если дикие люди выбросят домашнюю кошку на улицу, она (возможно) попытается найти нормальных людей —

но, нарвавшись на пару мерзавчиков, быстро перестроит образ жизни, и от былой личности не останется и следа.

Точно так же, человечья органика — всего лишь живой организм, так что настраивать его под наши нужды мы можем лишь в пределах видового метаболизма; как (биологические) индивиды, люди мало отличаются в способах отправления естественных надобностей — и только включение в исторически сложившуюся иерархию производства и общения создает уникальную проекцию культуры на организм, которую мы обычно воспринимаем как личность. Поместите человеческое тело в иную среду — и прежней личности в нем уже не будет; органы останутся — но работать будут иначе.

Отсюда два далеко идущих вывода.

Первое — возможность строить индивидуальность, исходя из любой совокупности тел, а не одного животного вида; каждое воплощение личности — задействует обширнейший круг различных организмов и неорганических тел, а в идеале — охватывает материальную культуру целиком, организует ее особым, только этой личности присущим способом. Ильенков (следуя Марксу) много и правильно говорит о неорганическом теле человека; но забывает о том, что и такое тело — всего лишь тело, и в отрыве от движения духа никакая личность там не поселится. Сколь угодно неорганически расширенный производитель — всего лишь природный процесс, который никогда не организует сам себя и не станет субъектом деятельности.

Второе следствие — иерархичность телесности каковой. На сколь угодно высоком уровне субъекта по-своему воспроизводится различие плоти и духа: органический тип движения возникает и как плоть коллективного субъекта — и на уровне общества в целом, как органичность исторического процесса. В классовом обществе — это связано, прежде всего, с образованием формальных коллективов (на производстве, в школе, в быту): как только люди становятся органами целого — они возвращаются в природу, в дикость, в бездуховность. Напротив, иерархия духовности не предполагает никакого разделения функций — и единичный дух оказывается тождественным духу целого, и обществу в целом; речь не о составлении из частей, а о *совместной* деятельности, когда каждый (прямо или опосредованно) причастен ко всему.

Из этих двух следствий следует третье — своего рода синтез. Эмпирионатуралистические теории личности трактуют ее строительство

по аналогии с изготовлением вещи: мы строили, строили — и, наконец, построили. По Ильенкову, личность «возникает» (слово повторяется снова и снова),

когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю деятельность по нормам и эталонам, заданным ему извне — той культурой, в лоне которой он просыпается к человеческой жизни, к человеческой деятельности. Пока же человеческая деятельность обращена на него, а он остается ее объектом, индивидуальность, которой он, разумеется, уже обладает, не есть еще *человеческая индивидуальность*. И лишь постольку, поскольку ребенок усваивает, перенимая от других людей, человеческие способы отношения к вещам, внутри его органического тела и возникают, формируются, образуются и специфически *человеческие органы*, завязываются нейродинамические «структуры», управляющие его специфически человеческой деятельностью (в том числе и тот нервный аппарат, который управляет движениями мышц, позволяющими ребенку встать на две ноги), то есть структуры, реализующие личность.

Грубо говоря, личность по Ильенкову — хорошо выдрессированное животное, которое не только реагирует на команды извне, но и настолько привыкает к зависимому положению, что само стремится действовать по каким-то «эталонам и нормам» — причем «заданным ему извне»! Вроде собаки, которая предлагает хозяину снова и снова бросать палку — чтобы с наслаждением бежать за ней и приносить обратно. Возможно ли больше оскорбить разумное человечество? Подлинная духовность — когда деятельность не следует указаниям свыше, а вырастает изнутри личности, свободной отменять любые правила и нормы, если так нужно для творческого преобразования мира. Ильенковская личность — лучший подарок капиталистам, которые (по Энгельсу [20, 305])

хотят увековечить существование «экономических разновидностей» людей, [...] так глубоко опустившихся, что они *радуются* своему собственному порабощению, своему превращению в однобокое существо.

А после этого нам торжественно вещают:

Именно всестороннее, гармоническое (а не уродливо-однобокое) развитие каждого человека и является главным условием рождения личности, умеющей самостоятельно определять пути своей жизни, свое место в ней, свое дело, интересное и важное для всех, в том числе и для него самого.

Так и тянет крикнуть: *не верю!* Тем более, что в конце лозунга — подлое уточнение: *в том числе*. А личность — не «в числе»; она потому и личность, что исходит из личного, ведет себя так, как положено разумному существу, а не кирпичу культуры. Чтобы это стало важно всем — забота общества в целом! Когда интересы личности расходятся с интересами коллектива и человечества в целом — это индикатор недоразвитости общества, корявости способа производства (включая производство духовности). Разумеется, в недоразвитой культуре и личность будет недоразвитой — но мы, по крайней мере, способны поставить перед собой задачу: надо расти!

И вот тут самое место вернуться к разговору о строительстве. Личность никогда не «возникает» — она становится. Постепенно, везде и всегда, достраивая все новые этажи иерархии духа. Кому кажется, что он уже готов — тот еще и не приступал к делу. Личность, собственно, и есть становление, способ развертывания иерархии культуры — и это не единомоментный акт, а непрерывное возникновение и уничтожение, перетекание из одних материальных форм в другие, переход от одной исторической линии к другой. Таково всякое движение духа — но в идее «личность» мы подчеркиваем сознательное, намеренное творение себя. Стоит успокоиться, принять собственную завершенность — и вместо личности перед нами всего лишь индивид, член биосоциального сообщества, реализующий ограниченную рамками этого сообщества «природу человека» — но не его сущность. И совершенно без разницы, будем мы изучать органическое тело — или ансамбль общественных отношений понятый как «совокупность человечески-функциональных органов». Согласно Ильенкову:

В самых полных результатах такого изучения можно получить знание (понимание) всего-навсего *одной из материальных предпосылок* возникновения личности и ее психики, *одного из необходимых внешних условий* ее рождения и существования. Никакой личности как единицы психической жизни в этих результатах нельзя обнаружить даже в намеке. По той же самой причине, по какой нельзя раскрыть тайну «стоимости» на пути физико-химического исследования золотой монеты или бумажной ассигнации. Ведь и золото и бумага лишь вещественный материал, в котором выражено нечто совершенно иное, принципиально другая «сущность», абсолютно непохожая на него, хотя и не менее реальная, конкретная действительность, а именно система конкретно-исторических взаимоотношений между людьми, опосредствованных вещами.

Про материал — очень правильно. Будет это кусок мрамора, кусок мяса, область человеческих отношений, или рыночная конъюнктура, — не имеет ни малейшего значения: в любом случае мы имеем дело с вещами разной природы — но одинаково природными. Чтобы все это стало плотью — нужно прикрутить к ним дух: указать, для чего именно мы *собираемся* (но не обязаны!) наличный материал использовать. Личность тоже продукт деятельности — и можно намечать направления саморазвития, строить планы на будущее, мечтать. Но суть — в свободе, возможности как быть, так и не быть; что действие, что бездействие — это уже деяние, поскольку они осознанны и намеренны. Собственно, потому у человека и есть будущее — в отличие от зверушек. Благодаря способности не следовать самому себе, деятельность оказывается *универсальной* связью мира с самим собой, и человек (поскольку он становится разумным существом) просто обязан преодолевать любые границы, отказываться от любых тел.

Потому-то личность не только *возникает*, но и *сохраняет* себя лишь в постоянном расширении своей активности, в расширении сферы своих взаимоотношений с другими людьми и вещами, эти отношения опосредствующими. Там же, где однажды найденные, однажды завоеванные, однажды достигнутые способы жизнедеятельности начинают превращаться в очередные штампы-стереотипы, в непререкаемые и догматически зафиксированные мертвые каноны, личность умирает заживо: незаметно для себя она тоже превращается медленно или быстро в набор таких шаблонов, лишь слегка варьируемых в незначительных деталях.

И тогда она, рано или поздно, перестает интересоваться и волновать другого человека, всех других людей, превращаясь в нечто повторяющееся и привычное, в нечто обычное, а в конце концов и в нечто надоевшее, в нечто для другого человека безразличное, в нечто безличное — в живой труп. Психическая (личностная) смерть нередко наступает в силу этого гораздо раньше физической кончины человека, а бывшая личность, сделавшаяся неподвижной мумией, может принести людям горя даже больше, чем его натуральная смерть.

Как всегда, заздравное начало кончается отпеванием... Существование личности как личностный рост, распространение индивидуальности на весь окультуренный мир, — это здорово. Личность — не то, что уже освоено; личность — это горизонт, к которому можно стремиться и который мы тем самым отодвигаем все дальше и дальше. Чем выше личность — тем шире горизонт. Но эта количественная сторона отнюдь

не исчерпывает личностной истории; есть еще и качественные скачки, переход к иной индивидуализации, другим воплощениям. Великому диалектику изменяет обычная, классическая логика: если личность «лишь в постоянном расширении своей активности» — тогда «однажды достигнутые способы жизнедеятельности» уже не относятся к личности как таковой, и в личностном плане они действительно мертвы; однако это никоим образом не означает смерти личности: дух лишь обретает иную плоть, пригодную для дальнейшего творчества. Следуя классовой традиции, Ильенков насильственно привязывает личность к чему-то одному (например, органическому телу) — а потом удивляется, что личности в этой плоти, вроде бы, уже и нет. Конечно нет — поскольку личность как раз в освобождении от таких пут, в преодолении собственной ограниченности. Горе окружающим несет не бездуховная плоть сама по себе, а попытки отыскать духовность там, где ее и быть не может. Разумеется, относиться по-человечески можно и к последней скотине; но разумный человек не будет путать это с человеческим отношением к человеку.

Дух бессмертен; это прямое следствие принципа материального единства мира. Однако единичные формы духовности — возникают и растворяются, по мере того, как в мире создаются условия для одной определенности и больше нет предпосылок для другой. Но личность не умирает, не исчезает, — она *снимается* в духовности нового уровня, встраивается в собственное будущее в качестве его прошлого. Такую постановку вопроса большой знаток Гегеля элементарно проглядел. Ильенкову достаточно было распространить рассуждения о связи всех со всеми в каждый момент (в каждом цикле воспроизводства) на историческое время — и заметить присутствие формально умерших в наших современниках, и осознать собственное присутствие в людях будущего. Так в Ильенкове продолжается личность Маркса; в нас продолжается личность Ильенкова. Не пассивно, не просто следами чего-то внешнего; нет, мы общаемся с Ильенковым как с живым — и его личность развивается через нас, сверкает новыми гранями, перерастает ограниченности другой эпохи.

Навязчивое биологизаторство — одно из идейных ограничений. Тело конечно — и любая попытка запихнуть личность в тело есть реликт капиталистического разделения труда, когда производство — чтобы поделить, — а не чтобы совместно использовать. Как только одних противопоставили другим — начинается сравнение, перетягивание

одеяла, базар-вокзал... Вместо того, чтобы открывать человеку любые направления духовного роста — и дать возможность самому решить, чем или кем стать, — предлагается загнать его в жесткие рамки и заставить быть человеком, вколотить в него разум:

Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его с самого начала — с детства — в такие взаимоотношения с другим человеком (со всеми другими людьми), внутри которых он не только мог бы, но и *вынужден* был стать личностью. Сумейте организовать весь строй его взаимоотношений с людьми так, чтобы он умел делать все то, что делают они, но только *лучше*.

Можно ли представить себе большую нелепость? Вместо помощи — принуждение; вместо свободного труда — призыв догнать и перегнать. Почему я должен быть лучше кого-то? Лучше — для кого? За кулисами сценической патетики — рыло барина, буржуа, который будет решать, кто из нас правильнее. Какое мне дело, как то же самое делают другие? Лично мне — вот так нравится, и не смейте меня ни с кем сравнивать! Но у господ так не принято: им надо навесить на каждого ярлыки, и прописать на каждом какую-нибудь цену. А кто не хочет участвовать во всеобщем базаре — заставить, придушить личную свободу, затянуть в омут конкуренции. Вместо человеческой личности — животное умение распахивать всех локтями (или более весомым вооружением). К этому себя и нужно готовить — и гордиться профессиональным кретинизмом:

Конечно же *все* делать лучше всех нельзя. Да и не нужно. Достаточно делать это на том — пусть и небольшом — участке общего (в смысле *коллективно осуществляемого, совместного, социального*) дела, который сам человек себе по зрелом размышлении выбрал, будучи подготовлен к ответственнойшему акту свободного выбора *всесторонним* образованием.

Уродская цель: догнать и перегнать, — уродует личность узкой специализацией, которую мы в конце концов обязаны выбрать; при этом «всестороннее образование» сводится к ознакомлению со спущенными сверху вариантами выбора, а «совместность» деятельности — к диктату социальных ролей, к превращению в орган коллектива. Там, где людям просто незачем выбирать, когда они свободны поступать как считают нужным (вести себя как личности), — никому не нужно никого перегонять, и не нужны никакие специалисты, и образование не вписывается ни в какие формальные системы, становится не только по-настоящему всесторонним (то есть свободным!), но и непрерывным, не

знающим временных границ становлением — а это и есть определение личности (даже по Ильенкову). Такой личности тесны любые рамки; здесь неуместны разговоры о «масштабности» и «значительности»:

Масштаб личности человека измеряется только масштабом тех реальных задач, в ходе решения которых она и возникает, и оформляется в своей определенности, и разворачивается в делах, волнующих и интересующих не только собственную персону, а и многих других людей. Чем шире круг этих людей, тем значительнее личность, а чем значительнее личность, тем больше у нее друзей и врагов, тем меньше равнодушных, для которых само ее существование безразлично, для которых она попросту не существует.

Вздор! Личность *представляет* отношение общества к себе — но ей безразлично, кто и как к ней относится: личность действует без оглядки на мнения со стороны, по внутренней потребности (которая на самом деле выражает общественную, культурную необходимость). Это у нас называют призванием, смыслом жизни; только в этом качестве человек есть личность — и никакие количества тут ни при чем. А Ильенков (при всей своей гениальности) снова путается:

Личность тем значительнее, чем полнее и шире представлена в ней — в ее делах, в ее словах, в поступках — *коллективно-всеобщая*, а вовсе не сугубо индивидуальная ее неповторимость. Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему открывает нечто *новое для всех*, лучше других и полнее других выражая «суть» всех других людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для всех то, чего они еще не знают, не умеют, не понимают. Ее неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало выпячивать свою индивидуальную особенность, свою «непохожесть» на других, свою «дурную индивидуальность», а в том и только в том, что, впервые создавая (открывая) *новое всеобщее*, она выступает как *индивидуально выраженное всеобщее*.

Центральная идея верна: личность как выражение всеобщего субъекта в единичном. Но именно в единичном! — и потому ценна в личности как раз «индивидуальная ее неповторимость» — которая, конечно же возникает не сама по себе, и не стоит ее преувеличивать, — но не следует и отсекаться от нее! Личность не для того, чтобы кому-то что-то открывать; личность действует из личных побуждений, безотносительно к тому, кто и что об этом подумает. Нет у нее задачи кого-то поучать, открывать кому-то глаза... Если достижения одной личности новость для другой — это лишь свидетельство неравномерности общественного

развития (а значит, недостаточной универсальности субъекта, что надо решительно искоренять). Межличностные отношения — это не обмен информацией, и никто в них не «лучше», не «значительнее», и не «полнее» других; иначе — это уже не общение свободных людей, а рыночная стихия. Соответственно, другие воспринимают личность как одно из возможных выражений всеобщего — прекрасно сознавая, что сама способность усмотреть его выражение в другом есть другая сторона способности представлять то же самое самому, как-то по-своему. Всеобщее рождается сразу во всех; как оно будет проявляться в каждой индивидуальности — историческая случайность. А Ильенков опять путает труд с базаром:

Подлинная индивидуальность — личность — потому и проявляется не в манерничанье, а в умении делать то, что умеют делать все другие, но *лучше всех*, задавая всем новый эталон работы. Она рождается всегда на переднем крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со своим «органическим телом».

Речь-то как раз о том, чтобы все не только умели, но и реально могли делать все — и тогда совершенно без разницы, кто и что делает, и в каком виде; при любом раскладе, это совместный труд, в котором вовсе незачем различать индивидуальные вклады — и тем более сравнивать их в какой угодно валюте, выискивать самого богатого, который «лучше всех». Забыть про кошмар соревнований! Думать только о том, как надо изменить мир, чтобы дикая природа уступила место высокой культуре. Вот эта духовность и становится достоянием всех — и не может умереть. Последняя фраза — просто шедевр: вопреки себе, Ильенков утверждает бессмертие духа, его относительную самостоятельность, несводимость к любым телам. Или наоборот: именно здесь Ильенков поднимается до подлинного себя, вытаскивает из-под буржуинских напластований свою настоящую личность. И мы уже не удивляемся логичному развитию той же идеи:

Потому-то личность и есть лишь там, где есть свобода. Свобода подлинная, а не мнимая, свобода действительного развертывания человека в реальных делах, во взаимоотношениях с другими людьми, а не в самомнении, не в удовольствии ощущения своей мнимой неповторимости.

Остается только добавить, что свобода — категория исключительно человеческая: неживая природа — игра случая; жизнь — царство

необходимости; и только сознательная деятельность универсальна, способна охватить любые стороны мира — и направлена на выявление этой всеохватности. А это означает, что разумность человечества напрямую связана с общедоступностью средств производства, включая способность личности к ничем не ограниченному творческому труду. Следовательно, устранение классового размежевания — переход от животности к разуму, из царства необходимости в царство свободы (простим классикам монархические метафоры).

Но вернемся к идее о рождении личности «в создании такого продукта, который становится достоянием всех». Через не самую удачную фразеологию просвечивает фундаментальная мысль: дух не может существовать сам по себе — всякое отношение между вещами предполагает прежде всего существование этих вещей. Соответственно, один человек воспринимает другого как личность лишь по следам его деятельности, восстанавливая субъективность из продуктов труда, в которых субъект снят, скрыт под оболочкой природности. Чтобы производить дух, надо производить вещи. Но этого недостаточно: кроме вещей, требуется воспроизводить (то есть, производить регулярно, систематически) совокупность человеческих отношений по поводу вещей; только тогда вещь становится представителем этих отношений, носителем идеальности, субъективности, духа, — элементом духовной культуры. То есть, у исторического процесса (развития культуры) всегда есть две взаимно рефлексированных стороны: материальное и духовное производство. Одно не ходит без другого; иначе вместо сознательной деятельности — чисто природный процесс, и никаких личностей в нем не предусмотрено. Но если все-таки предусмотреть — оказывается, что всякий предмет, помимо своей предметности, представляет человеку другого человека — становится его символом, знаком, именем. Но это означает, что человек видит перед собой не вещь, и как-то относится не к вещи, — а видит другого человека и как-то относится к нему. Именно такие отношения, в которых снята предметность, вещное опосредование, мы и называем духовными — и личностными.

Ильенков смутно что-то подозревает — и приводит эпитафией ко третьему разделу (без точной ссылки) цитату из Маркса:

Предмет, как бытие для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку.

Мы, конечно, знаем, что это *Святое семейство* [2, 47]; но суть не в номенклатуре. Здесь Маркс намечает как раз то, чего все последующие марксисты (включая Ильенкова) панически боятся: человеческая деятельность есть *одухотворение* природы, превращение природных вещей в наличное бытие духа. Общение, опосредованное вещами, превращается у людей в общение, опосредованное другими людьми — субъектно опосредованное общение. А значит, человек воспринимает другого уже не как внешнее, не как объект, — а как часть себя, инобытие своего духа. В ходе такого общения личность неограниченно расширяет свою универсальность, становится по-настоящему бесконечной, равной миру в целом. И это мы называем любовью. Когда же продукт труда представляет это единство, эту совместность общественного бытия, — возникает новый уровень духа, новая личность, плод любви. Потом можно проецировать эту личность на какие угодно тела; но рождение личности не во взаимодействии тел (или общественных структур) — нет, это движение духа, независимое от частных воплощений.

При капитализме — все чужие друг другу; общество свободных людей — это любовь. Как только мы забываем о духовности и сводим дело к отношениям по поводу вещей — мы неизбежно скатываемся в эмпирионатурализм, отождествление природы и духа, оскотиниваем человека, сводим его поведения к физиологии (хотя бы и с включением «общественных» органов) и психологии (хотя бы и в условиях общего труда, со всеми возможными взаимовлияниями). У Ильенкова:

В 1844 г., говоря о будущей материалистической психологии — о науке, которая в то время еще не была создана, К. Маркс писал, что именно «история *промышленности* и сложившееся *предметное бытие промышленности* являются *раскрытой книгой человеческих сущностных сил*, чувственно представшей перед нами человеческой *психологией*» и что «такая *психология*, для которой эта книга, т. е. как раз чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории, закрыта, не может стать действительно содержательной и *реальной наукой*».

Насчет «еще не была» — это, конечно, из области юмора: такой науки до сих пор нет, и не может быть, пока мы не разберемся, чем душа (про которую говорит само название: психология) отличается от духа (как собственно человеческого бытования идеальности). Однако даже поверхностное знакомство с Марксом заставляет сомневаться в его озабоченности исключительно предметной стороной человеческого

поведения, в отрыве от всеобщего, категориального понимания деятельности как принципиально неприродного движения, которое лишь накладывает отпечаток на всякую природность (см. выше про подвешенный в пустоте эпитаф). И действительно, в рукописях Маркса читаем нечто совсем иное [42, 123]:

Мы видим, что история *промышленности* и сложившееся *предметное бытие промышленности* являются *раскрытой книгой человеческих сущностных сил*, чувственно представшей перед нами человеческой *психологией*, которую до сих пор рассматривали не в ее связи с *сущностью* человека, а всегда лишь под углом зрения какого-нибудь внешнего отношения полезности, потому что, — двигаясь в рамках отчуждения, — люди усматривали действительность человеческих сущностных сил и *человеческую родовую деятельность* только во всеобщем бытии человека, в религии, или же в истории в ее абстрактно-всеобщих формах политики, искусства, литературы и т. д. В *обыкновенной, материальной промышленности* (которую в такой же мере можно рассматривать как часть вышеуказанного всеобщего движения, в какой само это движение можно рассматривать как *особую часть промышленности*, так как вся человеческая деятельность была до сих пор работой, т. е. промыслом, отчужденной от самой себя деятельностью) мы имеем перед собой под видом *чувственных, чужих, полезных предметов*, под видом отчуждения, *опредмеченные сущностные силы* человека. Такая *психология*, для которой эта книга, т. е. как раз чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории, закрыта, не может стать действительно содержательной и *реальной наукой*.

Нам говорят открытым текстом, что *человеческую психологию* (в отличие от всякой другой) следует развивать, исходя из (вовсе не психологической, а реализованной во «всеобщем бытии человека») сущности человека, и что «материальная промышленность» — лишь «часть всеобщего движения», предполагающего еще и воспроизводство самой человеческой сущности (без эвфемизмов: духа). Непосредственно видимая, вещная оболочка этой сущностной основы — ее внешнее, *отчужденное* существование, и сводить человека к этому — лишь ввевшаяся в нас классовая привычка, поскольку «вся человеческая деятельность была до сих пор лишь работой, промыслом, отчужденной от самой себя деятельностью». Ильенков выкидывает главное — и причисляет Маркса под Шопенгауэра.

Здесь мы немного подкорректировали неточности официального русского перевода — следуя духу Ильенкова, который жестко

высказывался о некоторых переводческих вульгарностях и предлагал свои, более разумные варианты. Никогда и нигде нельзя переводить по словарю — человеку (как разумному существу) важно сохранить дух оригинала, передать (или придать) смысл — но делаем мы это лексико-грамматическими средствами другого языка, с другой идиоматикой, в реалиях другой культуры. Например, в английских переводах Гегеля один и тот же термин *снятие* (*Aufhebung*) передают разными словами, в зависимости от контекста, — и это правильно, поскольку ни один из английских «эквивалентов» не отвечает исходной категориальности в полной мере. Переводы Маркса (или Аристотеля) на русский язык — не исключение: глупо сводить философию к номенклатуре, когда даже в науке (а философия не наука!) разницей в терминологии — обычная вещь. Нам важно не обозначить нечто словом «личность» — а понять, в чем суть, что это такое безотносительно к возможным именованию.

Поэтому мы вполне согласны с Ильенковым, когда он ругает «социально-биологический дуализм», руководствующийся логикой «разложения конкретности на неспецифичные для нее составляющие части», — и решительно не согласны с ним, когда он впадает в тот же дуализм, рассуждая про «совокупность человечески-функциональных органов» личности:

Это «телесная организация» того коллективного тела («ансамбля социальных отношений»), частичкой и «органом» которого и выступает каждый отдельный человеческий индивид.

... они — специфические частички — «органы» одного и того же коллективного тела, одного и того же социального ансамбля — организма...

... «общее тело», внутри коего функционируют отдельные индивиды как его живые органы.

Нет уж! У организмов — органы. У разумных существ — орудия труда. Которые производятся и совершенствуются в деятельности, как ее продукты, представляющие отдельные стороны способности человека универсальным образом преобразовывать мир — то есть, субъектности, духовности. Если потребуется — человек свободен избавиться от одних организмов и построить другие (на какой угодно материальной базе). Личность свободна воплощать себя в любых продуктах труда — или не воплощаться ни в чем (что означает лишь другой уровень телесности, переход от актуального бытия к возможности). Животные рождаются и умирают — единичные тела, биологические виды, биоценозы и

экосистемы, экономические и социальные организмы... А личность не просто возникает при каких-то обстоятельствах — это продукт особой деятельности, работы над собой. Нельзя «привнести» личность в органическое или неорганическое тело — она сама себя реализует в каких угодно телах. В частности, образование *всех* уровней — это не закачивание способов культурного поведения в некультурную биомассу; это всегда *самообучение* и *самовоспитание*. А не как у Ильенкова:

Подчеркнем еще раз, что все без исключения человеческие способы деятельности, обращенной на другого человека и на любой другой предмет, ребенок *усваивает извне*.

Там, где это действительно так, — мы говорим об ущербности, уродливости общества: оно *не дает* своим членам (независимо от возраста!) свободно творить, духовно расти. Животные — усваивают предоставленное окружающей средой; в отличие от животных, человек не «усваивает» — а использует и творчески преобразует. То есть, неклассовое воспитание предоставляет ребенку (или взрослому) не «способы деятельности», а *возможность* участвовать в деятельности; подходящий для себя способ каждый найдет сам. Грубо говоря, если мы относимся к кому-то по-человечески — он, она или оно так или иначе будет на это реагировать, перестраивать поведение, очеловечиваться. Можно сколько угодно приводить примеры «черной неблагодарности», «подлости», «хамства» и «свинства» — но не будем забывать, что все они взяты из практики классового общества, в котором людей уродуют задолго до рождения каких-либо тел. С другой стороны, задумавшись: ожидая какой-то «благодарности» или еще какого-то прогиба под наши ожидания, мы тем самым *превращаем* другого в объект — и ни о каком человеческом отношении речь больше не идет.

Ильенков замечательно говорит об отсутствии специализации как необходимой предпосылке возникновения разума. Чем лучше животное приспособлено к одному поведению — тем сложнее ему вписаться в среду, требующую иных привычек.

Биологически (анатомически и физиологически, структурно и функционально) передние конечности человека вовсе не устроены так, чтобы они могли держать ложку или карандаш, застегивать пуговицы или перебирать клавиши рояля. Заранее морфологически они для этого не предназначены. И именно потому они способны принять на себя исполнение любого вида (способа) работы. Свобода от какого бы то ни было заранее «встроенного» в их морфологию способа

функционирования и составляет их *морфологическое преимущество*, благодаря которому передние конечности новорожденного и могут быть развиты в органы человеческой деятельности, могут превратиться в человеческие руки.

То же самое и с артикуляционным аппаратом, и с органами зрения. От рождения они не являются органами человеческой личности, человеческой жизнедеятельности. Они лишь *могут стать*, сделаться таковыми, и только в процессе их человеческого, социально-исторически (в «теле культуры») запрограммированного способа употребления.

Конечно, здесь опять бельмом в глазу пошлое представление о личности как правильно вышколенной зверушке — так что, с одной стороны, органы биологического тела сами по себе якобы превращаются в «органы человеческой личности», а с другой стороны, личность — как набор органов, (пусть даже специально настроенных) кусков мяса. Стоило бы задать вопрос: а чем, собственно, отличаются те же органы у воспитанного и невоспитанного человека? Ответ: ничем! Нет в живом организме никаких «человеческих» органов — это по-прежнему чисто биологические приспособления, а работают они не так, как в природе, лишь потому, что они помещены в принципиально неприродное окружение, которое ставит им задачи, отличные от поддержания метаболизма (и даже иногда для метаболизма вредные).

Но за корявостями выражения стоит гениальная идея: генеральное направление биологической эволюции — подготовка предпосылок разумности: животность изживает (отрицает) себя, перерастает в свою противоположность.³⁵ Биологические виды — всего лишь ветви эволюционного древа; ствол его — масса неспециализированного биологического материала, переходные и неустойчивые формы: их много больше — но мы о них почти ничего не знаем как раз в силу их «одноразовости», эфемерности, мимолетности.³⁶ Именно там, на стволе, где-то ближе к верхушке, пристроились и предки человека. Суть как раз в том, что их *нельзя* подвести ни под какую таксономию: их органика и

³⁵ Точно так же, капитализм изживает себя, готовит мир к бесклассовому будущему.

³⁶ На диаграмме Герцшпрунга — Рассела заметны кластеры застойных форм, тогда как самое интересное с космологической точки — в кажущейся пустоте между ними. Возможно, так называемая «темная материя», дающая основной вклад в массу видимой части вселенной, — это виртуальные, переходные структуры, которые в нашей шкале просто невозможно наблюдать.

физиология все время меняется; а как только органические формы застывают — тупиковая ветвь, собственно биологический вид. Уже после Ильенкова мы пытались продвигать эту идею — и каждый раз нарывались на возражения в грубой форме. Только в XXI веке мысль становится достоянием широких масс, включая академические круги.³⁷

Однако у эволюции человеческих тел есть одна существенная особенность: их «неприспособленность» не может быть следствием собственно биологической эволюции — в живой природе господствует специализация! Случайно возникающие «дефектные» организмы не могут образовать устойчивых сообществ: с точки зрения биологии, это вовсе не «морфологическое преимущество» — и такие особи обречены на вымирание. Преимуществом это становится лишь с точки зрения иного, небологического типа движения — совместной деятельности. Почему? Да потому что продукт деятельности возникает идеально — как общественная потребность и намерение — до начала производства; заставить узко специализированные органы (и орудия) прогнуться под неприродные планы — задача не из простых; поэтому человек начинает целенаправленно изменять собственную телесную организацию, чтобы обеспечить максимум универсальности. Органическое тело и его органы перестают быть органами в биологическом смысле — становятся орудиями труда. Тело человека не само по себе приобретает какие-то специфические функции — в нем *вырабатывают* новые способности, производят (как и всякое орудие труда) под конкретную общественную задачу. По форме — живой организм приспособливают к неживым вещам (инфраструктуре производства); Ильенков правильно замечает, что сам по себе организм к этому вовсе не стремится — и предпочтет откосить при малейшей возможности. Следующий шаг — признать, что никакой тренировкой органы биологического тела не превратить в «органы личности»: они остаются просто живыми существами, рабами своего метаболизма; их общественное существование требует не только особой (культурной) среды — но и регулярного воспроизводства материальной и духовной культуры, вещей и универсальных связей между ними. Только в контексте такого воспроизводства возможно

³⁷ Немало способствовало этому появлению компьютера — «универсального орудия», на примере эволюции которого мы можем воочию наблюдать направленную эволюцию техники (железа и софта) — и заполнять лакуны в представлениях о развитии биологических систем.

говорить об организме более высокого уровня — неорганическом теле человека, в котором живое накрепко спаяно с неживым.

Человек общественный занимается селекцией человека природного, подобно выведению новых сортов растений и домашнего скота. Однако, в отличие от окультуренных организмов, гипертрофирующих одну природную функцию, в себе человек культивирует как раз отсутствие специализации, заведомую неоптимальность и неэффективность — за счет чего и становится существом универсальным, способным на все. Если органическое тело не обеспечивает нужной гибкости — его оснащают внешними органами, искусственными приспособлениями; вполне возможно представить себе ситуацию, когда эти неживые части тела уже не будут нуждаться в органике прежнего типа — и без индивидов *homo sapiens* мы сможем обойтись. Разумеется, это означает, что созданные нами вещи взаимодействуют друг с другом необходимым образом — порождая метаболизм другого уровня, искусственную жизнь. Выход человечества в космос указывает на неизбежность такого развития: существование белковой жизни возможно лишь в очень узком диапазоне природных условий — а нам надо освоить вселенную! Разумеется, там, где органика удобна — будем работать с органикой; разум не привязан ни к одной из телесных форм — он сам производит их, выбирая в каждом случае приемлемое решение.

Для теоретика, воспитанного в традициях естественнонаучного (вульгарного) материализма, тезис о том, что человек не возникает как побочный эффект природных процессов, а активно вмешивается в их протекание и направляет к универсальности (и разумности), звучит полнейшей мистикой: нечто не от мира сего умеет вмешиваться в отношения вещей, заставляя их двигаться иначе... Затык возникает из-за (классовой) привычки отделять одно от другого и противопоставлять друг другу раз и навсегда. Но стоит вспомнить об иерархичности мира, когда любое различие возникает лишь на одном из уровней иерархии, а на другом противоположности прекрасно дружат, ничем друг от друга не отличаются, — и ничего сверхъестественного в активности духа вовсе нет. И здесь, опять-таки, никто иной как Ильенков служит указующим перстом:

Всеобщее с точки зрения диалектической логики — синоним закона, управляющего массой индивидов и реализующегося в движении каждого из них [...] Так понимаемое всеобщее и составляет *сущность* каждого из них, конкретный закон их существования.

Заметьте: по отношению к «индивидам» — их сущность есть нечто другого рода, «потустороннее»; на более высоком уровне — это закон собственного движения чего-то еще, а каждый элемент верхнего уровня оказывается особым способом объединения *всех* индивидов низшего уровня (их *всеобщим*, их сущностью). Отсюда вывод: таких сущностей столько же, сколько элементов высшего уровня — и каждый из них задает свой «закон», правила жизни низкоуровневым индивидам. Так и получается, что одинаковая органика позволяет воплотить самые разные личности. И то, что станет этапом исторического развития сначала присутствует как тенденция, возможность, направленность — идеально, но на вполне осязаемом материале.

Остается сделать маленькое добавление с позиций иерархического подхода: в силу единства мира, строение всех иерархий неизбежно оказывается в чем-то подобным. То есть, в природе (одушевленной и неживой) мы на каждом уровне наверняка найдем проекции структур более высокого уровня — и таким способом можем косвенно судить о скрытых закономерностях развития. Действительно, в мире живого мы обнаруживаем, например, иерархию животных сообществ: несколько (иногда очень много) организмов образуют устойчивые группы, внутри которых каждый из участников остается индивидом того же вида — и сохраняет относительную самостоятельность, так что отношения между членами сообщества остаются чисто внешними, не затрагивая их собственную физиологию. Тем не менее, поскольку в таких группах возникает (почему — особый разговор) этологическая иерархия, члены сообщества ведут себя как органы этого коллективного организма, который как целое взаимодействует с окружающей средой и можно говорить о метаболизме более высокого уровня. Но это означает, что рождение нового индивида происходит параллельно (как минимум) на двух уровнях: органическое тело вырастает следуя видовой программе размножения; однако полноценный представитель вида должен еще и вписаться в какие-то из сообществ — родиться как носитель типично видового поведения, что предполагает какие-то переходные процессы, притирку почти готового тела к существующим этологическим структурам — «обучение» и «воспитание». У низших организмов это задействует разного рода химические медиаторы и т. п.; поскольку всякий живой организм есть единство тела и души — это уже некое подобие психики. Однако обычно мы говорим о психологии лишь применительно к высшим организмам, с достаточно развитой нервной

системой. Традиция проистекает из (идеологически нагруженного) отождествления животных сообществ и человеческого общества — что есть такая же вульгарность, как и поиск сознания где-то в мозгу.

Для нас тут важна мысль о том, что психология — это вынесенная вовне физиология: метаболизм, внешний по отношению к отдельным телам, но внутренний по отношению к виду в целом.³⁸ Эволюция, как ей и положено, ведет к специализации, к закреплению определенной этологии — что ограничивает физиологию индивидуальных тел и приводит к постепенной ее адаптации к установившимся системам внешних связей (точно так же, как ткани в организме при том же геноме становятся функционально специфичными). Отсюда различие между врожденными и приобретенными формами поведения — провести четкую грань тут невозможно, да и не нужно. Принципиальный момент тот, что становление индивида (как представителя вида) завершено лишь тогда, когда определилось его место во всех сообществах, — и это вовсе не связано с моментом «телесного» рождения. В честности, пока детеныш не в состоянии самостоятельно питаться — он, по сути, еще не отделен от тела матери (или иного сообщества, поддерживающего его формальное, физиологическое существование); пока он не умеет жить вместе с сородичами — он не может участвовать в групповых актах (вроде охоты или полового размножения) и вынужден оставаться частью организма низшего уровня (детство). Обратная сторона этого — забота сообщества о своих членах (подобно тому, как организм питает органы). Мать заботится о детенышах не из любви к ним — она просто не отделяет их от себя: для себя и для нее — они еще не родились. Акт такого рождения зачастую связан с перестройкой взаимоотношений в животном сообществе — что может быть не менее болезненно, чем родовые муки.

Нетрудно догадаться, что эти иллюстрации — не лирическое отступление: они прямо подводят нас к различию биологического и духовного рождения; без Ильенкова здесь не обошлось:

По существу, он еще не отделился от тела матери даже биологически, хотя пуповина, физически соединяющая его с материнским телом, уже и перерезана ножом хирурга (заметьте, человеческим способом, а не зубами).

³⁸ Для простоты, мы пока не обсуждаем межвидовые сообщества (симбиоз, экосистемы, биоценозы и т. д.). Все это также имеет отношение к каким-то сторонам материализации разума — но отложим до другой статьи.

Заскоченное замечание — пальцем в небо; до сих пор во многих местностях про хирургические ножницы ничего не знают, и рожают как попало — но от этого ровным счетом ничего не зависит, поскольку физиологическое разделение ранее связанных тел ничего не говорит о рождении личности (или хотя бы просто члена общества). Личность вообще не из природы.

И акт *ее* рождения не совпадает ни по времени, ни по существу с актом рождения человеческого тела, с днем физического появления человека на свет.

Пardon за повторное цитирование — но фраза уж больно хороша! Если отделить от вульгарных физиологизаций:

живое органическое тело, которому еще лишь предстоит превратиться в «тело личности», в систему органов личности как социальной единицы.

У личности не «органы», не «тело»; у нее орудия труда — в числе которых могла бы пригодиться и неведома зверушка.

Но сказанное мимоходом насчет тела матери — это гениально. Отсюда бездна удивительнейших следствий! Развивать идею автору было недосуг; но на то они и гении, чтобы накидать намеков — и пусть человечество разгребает еще тысячу лет...

Вернемся к иерархии животных сообществ. Казалось бы, у человека очень похоже: личность тогда становится личностью, когда она перерастает рамки коллектива и начинает действовать самостоятельно. Продолжение цитаты про нож хирурга:

Личностью — социальной единицей, субъектом, носителем социально-человеческой деятельности — ребенок станет лишь там и тогда, где и когда *сам* начнет эту деятельность совершать. На первых порах с помощью взрослого, а затем и без нее.

Товарищ не понимает, насколько это в духе оговорок по Фрейдю: дайте ребенку самому перерезать пуповину! Мы можем запросто вывести отсюда, что человек становится личностью, когда он начинает влиять на свои воплощения, на рождение и смерть, подчиняет их нуждам духовного развития. В первобытном обществе — это, как правило, после физиологического рождения. Как у животных. Но уже с первых шагов классового общества рождение личности все чаще предшествует рождению подходящей плоти — и наши потомки оказываются продуктом наших представлений о них. Осталось только осознать этот

факт и положить его в основу духовного производства — но это возможно лишь среди свободных людей, забывших о классовых различиях...

Животное становится индивидом (представителем вида) по мере того, как оно избавляется от привязанности к группе — и может (хотя бы в принципе) играть любую роль в любой этологической иерархии. Это внутривидовая проекция общей направленности биологической эволюции: отказ от специализации, переход к универсальности. Личность начинает представлять человечество в целом, когда она не отождествляет себя ни с одной из его частей. В чем таки отличие?

Как раз в том, что всякий биологический вид — лишь боковая ветвь, и его внутреннее строение не допускает радикальных подвижек; это мы и называем видовой специфичностью. Поэтому животное может (хотя бы в принципе) освоить *все* уровни видового метаболизма (от биохимии до сложнейших поведенческих программ). В этом конечность живого; потому мы и можем говорить, что душа в теле — а тело одушевлено.³⁹ Напротив, универсальность человеческой (разумной) деятельности означает, что всякий субъект в своем полном развитии совпадает с миром в целом — он существенно бесконечен, и ни в каких конечных воплощениях поместиться не может. Личность стремится отделиться от любых тел, никакие исторические рамки ей не указ! Ее дух заведомо неспецифичен — и потому органические тела людей всегда остаются лишь временным прибежищем духа, и, с точки зрения биологии, надо вновь и вновь переползать выше по стволу. Поэтому нельзя говорить об «органах» личности — это вовсе не организм, это как раз то, что отличает человеческую плоть от организма! На самом высоком уровне, дух — не есть нечто природное (и тем самым нечто вторичное по отношению к материи); дух и природа — стороны одного целого, взаимно рефлексированные, пропитанные друг другом. Именно эта универсальность — главный критерий суждений о поступках людей как «духовных» или «низменных», разумных или неразумных, творческих или рутинных. Душа — то что уже есть; дух — то, чего еще нет.

Затянувшийся экскурс в дела животные — повод еще раз напомнить о несводимости одних уровней единства мира к другим — при всем их взаимопроникновении, неотрывности друг от друга. В природе мы находим множество форм, по виду совпадающих с какими-то чертами

³⁹ Общефилософский тезис: всякая необходимость ограничивает и себя.

человеческой культуры; более того, при научном изучении культурных явлений мы используем подсказанные природой формальные модели — и они прекрасно работают в приложениях, позволяя лучше обустроить быт и организовать деятельность. Но не следует забывать, что всякая наука ограничена ее предметом — и заимствование теорий возможно лишь в узком диапазоне, где формальное (поверхностное) сходство действительно имеется. Возникает такое подобие не потому, что сопоставляемые области в чем-то родственны, — нет, мы сначала выстраиваем совершенно разные стороны общественного бытия по единому принципу — а потом с удивлением обнаруживаем, что они на одно лицо! Пока мы будем рулить обществом по образу и подобию неживых механизмов — оно будет выглядеть механизмом и двигаться совершенно механически. Пока мы ведем себя как животные — мы животные, и наука биология — это про нас. Пока мы общаемся с себе подобными как организм с организмом — это общение не выходит за рамки психологии, и надо очень потрудиться, чтобы усмотреть в ней несвойственную животным духовность. Но именно в этом пункте — Ильенков идет на уступку буржуазной идеологии, сводит дух к психике, а философию к психологии. И чем тогда его пример лучше его же иллюстрации про великого физиолога Павлова, вульгарно выводящего рыночную экономику из «рефлекса коллекционирования»? Серьезных возражений против «бихевиористов, фрейдистов, неофрейдистов и окровавленных расистов» мы так и не увидели.

Мы и упомянули об И. П. Павлове именно затем, чтобы лишить их возможности беспрепятственно сослаться на его авторитет там, где речь заходит о вещах, отношения к физиологии не имеющих, а именно — об отношениях человека к человеку, о проблемах, завязывающихся (а потому и развязываемых) в сфере экономики, в сфере нравственности, в сфере политики, в сфере человеческой психологии, то есть в сферах, где самый компетентный физиолог роль научного авторитета играть не может.

Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Все без разбору в одной куче. Допустим, бихевиоризм еще можно свести к Павлову (хотя на самом деле это *психологическая* теория, опирающаяся на физиологические предпосылки). Но, пардон, какое отношение фрейдисты имеют к физиологии? Уж кто-кто, а они-то занимаются как раз ильенковским коньком — психологией. И ни на что другое не замахиваются. Зато расисты — вообще не от науки: они «о проблемах, завязывающихся (а

потому и развязываемых) в сфере экономики, в сфере нравственности, в сфере политики» — совершенно по Ильенкову! Принцип расового господства вообще не касается строения тел — и дискриминация по языковому, образовательному, или религиозному принципу ничем не отличается от дискриминации по цвету кожи, по полу, — или по комплектности конечностей. Известные всем властители мира, сборище оголтелых расистов и фашистов, просто обвиняют любых конкурентов в недемократичности — прекрасный повод засадить целые страны за железный занавес!

Мы допускаем, что «отношения человека к человеку» можно рассматривать с разных сторон (экономика, нравственность, политика, психология...); но все это лишь частные аспекты — среди которых вполне есть место и физиологии: так, анализ ДНК используют для установления отцовства — и взыскания алиментов (тут вам и экономика, и нравственность, и психология); выявление генетического родства полезно для отслеживания социально-экономических процессов в первобытном обществе — и даже для проектов сознательного изменения генома человека с целью изготовления более пригодных для развития разума тел. Но отношения человека к человеку — это еще и духовные, личностные связи. Которые, конечно же, не вытекают из физиологии — равно как и из психологии, политики или морали; скорее наоборот, человеческую психологию и нравственность следует определять по уровню духовности. Про что мы тут и толкуем.

Кроме того, нам хотелось подчеркнуть, что *любая* попытка физиолого-биологически интерпретировать личность еще никого никогда и нигде не приводила к иному результату, чем натуралистическая апологетика наличной социально-исторической формы взаимных отношений человека к человеку («человека к самому себе»), то есть наличной формы разделения труда (а стало быть, и деятельных способностей) между индивидами, делающей каждого из них как раз такой личностью, которая «нужна» и «задана» существующей системой разделения труда: одного — личностью рабского типа, другого — личностью «свободного»; одного — «королем», другого — его «подданным».

От «физиолого-биологической интерпретации», в этом плане ничем не отличаются психологизаторские трактовки, религиозные откровения, или вульгарный экономизм. Если (уподобляясь Ильенкову) сводить личность к психологии — это зародыш расизма: предполагается, что люди разного психического склада (интроверты или экстраверты, невротики или психастеники, альтруисты или аутисты) заведомо не

равны перед обществом, и можно (по предложению Н. К. Крупской) расставлять всех по ответственным и безответным должностям, пользуясь мудрой наукой психотехники — и тогда «на каждой должности будут стоять соответствующие люди». Круто? Не то слово... Классовый кошмар.

Вот к чему приводит логика натуралистического объяснения социальных по своему происхождению и сути феноменов, способная околдовать и дезориентировать интеллект даже такого масштаба, нацеливая его могучую силу на поиск в заведомо ложном направлении.

Это Ильенков явно про себя.

Справедливости ради, следует отметить, что с супругой советского вождя и учителя Ильенков согласен далеко не во всем. В частности, приверженность Крупской древней теории «общественного инстинкта», который, якобы, заставляет людей искать общества друг друга и помогает воспитывать истинных коллективистов, — это, по Ильенкову, тоже «натуралистическое объяснение», несовместимое с марксизмом:

Двигаясь в русле этой логики, можно дойти до откровенно реакционных вымыслов идеологического порядка, вроде распространенных среди буржуазных исследователей утверждений о наличии у человека таких врожденных, генетически запрограммированных инстинктов, как «инстинкт агрессии», «инстинкт власти» (над ближними), «инстинкт собственности» (разумеется, частной собственности), «инстинкт» принадлежности к узкой социальной группе, враждебно противостоящей другим таким же группам (кланам, партиям, нациям, блокам и т. п.), вплоть до «инстинкта» иерархической организации «человеческого стада».

Ничуть не менее реакционную идеологическую роль играют и приписываемые человеку «благородные» инстинкты, такие, как генетически наследуемый «инстинкт альтруизма» (любви к ближнему), «инстинкт творчества» и «самоотверженности» и др. Никакой границы выдумыванию все новых и новых «инстинктов» логика натуралистического объяснения социальных феноменов не ставит и не может поставить. А роль социальной «среды» при таком объяснении личности сводится лишь к тому, что она одним «инстинктам» мешает проявиться в полную силу, а другим — способствует. Вот и все, что остается на долю «социальных факторов».

Ядовито — и по существу. Однако товарищ забывает, что понятие «инстинкт» относится вовсе не к физиологии — это *психологическое* понятие, описание *поведения* индивида, а не его метаболизма. Инстинкт

противопоставляется приобретенным навыкам — но в физиологическом плане и те, и другие реализованы в виде особых *функциональных систем*, устойчивых схем взаимодействия органов; связь поведения с органикой изучает особая наука — психофизиология (в частности, нейрофизиология и нейропсихология). Тем не менее, ничто не мешает нам описывать врожденное и приобретенное поведение без апелляции к органике, оставаясь в рамках психологии. Психологизаторские теории личности (включая ильенковскую) — все тот же эмпирионатурализм. Как бы ни отрещивался Ильенков от «неправильных» психологов:

И если такой анализ покажется кому-то лишь «донаучным», «ненаучным», «беллетристическим» описанием личности, то это свидетельствует лишь о том, что свое представление о психологии этот кто-то почерпнул из далеко не лучших источников — из «психологии», созданной на базе интроспекционизма...

Из каких источников черпал свои психологические познания Ильенков мы знаем — и очень уважаем Выготского, Лурию, Леонтьева-старшего, Давыдова... Но это никоим образом не устраняет различия между психикой животных и психикой человека — а чтобы последовательно провести это различие, требуется нечто совсем не психологического свойства — идея духовности (включая духовное производство); на этом уровне, а вовсе не в психологии возникает категория «личность» — и надо честно описывать возможные психологические последствия присутствия духа — подобно тому, как психика проецируется на физиологию. Можно сколько угодно намекать

на исследование того *фактического процесса*, который эти феномены произвел на свет божий.

Но реально никакого исследования и нет — пока нет ясного сознания, что психологические явления и накладывающие на них отпечаток общественно-исторические процессы принадлежат существенно разным уровням мира — и никакие аналогии не в счет. А Ильенков презрительно фыркает по поводу буржуазных психологизаторов:

Само собой понятно, что если о психологии иметь такое представление, то разгадку тайны *происхождения* личности типа Гобсека или Плюшкина придется отыскивать [...] не в «анатомии и физиологии» *общественного организма*, создающего необходимые для своего функционирования живые «органы», а в анатомии и физиологии *органического* тела Плюшкина, Гобсека и им подобных, в строжайшем отвлечении от всех «внешних» факторов, условий и отношений их к другим индивидам, равно как и этих индивидов к ним.

Глупость несусветная! К какой «анатомии и физиологии» (в кавычках или без) личность ни своди — получится все равно не человек, а зверушка. «Общественный организм» — это уже не общество, а лишь сообщество, неотличимое от биологических сообществ. Обществом его делает как раз то, что не похоже ни на какую органику, у чего вообще нет никаких органов. Что животные как-то относятся друг к другу — это безусловный факт; проблема именно в том, чтобы усмотреть отличие этого, природного взаимодействия от человеческого общения, от актов духовного порядка. Психология любви возможна только там, где уже есть идея любви; более того, эта идея позволяет говорить и о физиологии любви — что никаким боком не сводится к репродуктивным функциям, а наоборот, высвечивает тонкие отличия человеческого секса (по любви) от животной копуляции.

Вульгарное сведение духовности к физиологии органического тела характерно, главным образом, для естественнонаучного материализма, (подобно Ильенкову) не умеющего отличить науку от других (столь же необходимых) уровней рефлексии; напротив, идеалистические течения обычно выискивают аналоги природных явлений в материальной и духовной культуре — и возводят эту животность к априорным законам, обязательным как для бессловесной твари, так и для человека-творца. Заметьте: ход мысли в точности совпадает с ильенковским (якобы взятым из Маркса): сущность как закон движения, как формальное единство. Если мы будем таким манером определять сущность человека, не останется в человеке ничего, кроме его природы — понимаемой как абстрактная (а потому вечная и неизменная) идея. Ильенков чувствует слабость позиции — и пытается увернуться, ссылаясь на какую-то невероятную сложность и подвижность общественных процессов — так что устойчивая органика просто не успевает сложиться:

Ошибочность подобного рассуждения заключается в том, что социальный строй («среда») понимается здесь крайне абстрактно (а потому и ложно) как некий вне индивидов находящийся *безличный механизм*, как гигантский штамп, норовящий впечатать в каждый «мозг» одну и ту же психическую схему. Если бы дело обстояло действительно так, то в биологической неодинаковости мозгов пришлось бы видеть единственную причину того обстоятельства, что «отпечатки» социального штампа каждый раз получают разные, варьирующиеся. Но «среда», о которой идет речь, иная. Это всегда *конкретная совокупность взаимоотношений между реальными индивидами*, многообразно расчлененная внутри себя, и не только на

основные — классовые — противоположности, но и на другие бесконечно разнообразные узлы и звенья, на локальные «ансамбли» внутри этих основных противоположностей, вплоть до такой ячейки, как семья с ее «внутренними» отношениями между индивидами, в чем-то всегда очень схожая, а в чем-то совсем несхожая с другой такой же семьей. Да и внутри семьи взаимоотношения между составляющими ее индивидами тоже со временем меняются, и иногда очень быстро — иной раз в течение часов и даже считанных минут.

При таком понимании «среды» аргумент об ее «одинаковости» уже не выглядит столь убедительным и очевидным, каким он кажется сторонникам морфофизиологического толкования различий между людьми. Такое понимание «среды» возникновения и развития личности исключает односторонний социологизм и не оставляет лазейки для физиологической интерпретации личности, для безвыходного дуализма такого ее толкования, которое обрекает психологию на оппортунистические шатания между Марксом и Фрейдом, между материализмом и псевдоматериализмом, а точнее, между материализмом и физиологическим идеализмом, рядящимся под материализм.

Ошибочность подобной аргументации заключается в том, что в одну кучу валят разноуровневые явления — и потому не замечают внутренней иерархичности каждого уровня. Есть глобальные факторы, которые меняются относительно медленно, и адаптация к которым возможна как в природе, так и в обществе. Постоянство климата и рельефа — факт бытия биологической популяции; сотни и тысячи лет в условиях одной общественно-экономической формации — факт человеческой истории. С другой стороны — есть сиюминутное окружение, быт, где все может меняться стремительно — но в этом жизнь животных не отличается от общественной жизни ровно ничем. А Ильенков сравнивает паровоз с бабуином — и торжествует: они же разные! Диалектик мог бы еще и усмотреть относительность различий: природные катастрофы (вроде извержения вулкана, падения метеорита — или социальной революции) меняют устоявшуюся среду обитания практически мгновенно; обратно, взаимоотношения внутри сообщества или между сообществами легко становятся регулярными и глобальными (отсюда пословица: нет ничего более постоянного, чем временное). Поскольку исторический процесс связан не с воспроизводством индивидов, а с воспроизводством способа производства, у человека как части общественного организма возможна ускоренная адаптация — как в смысле приспособления к условиям жизни и деятельности, так и в плане превращения бытовых случайностей

в органы общественного целого. Но по сути это ничем не отличается от животного мира — только циферблат градуирован не в десятках тысяч лет, а в десятилетиях.

Смехотворность ссылок на быстротечность общественных коллизий бросается в глаза, если вспомнить о неживой природе — где бесконечно много интерферирующих квантовых переходов умещается в каждом мгновении, происходит «за нулевое время». По логике Ильенкова, физический вакуум (где в каждой точке пространства-времени сняты все мыслимые и немыслимые процессы рождения и уничтожения частиц или миров) есть идеал вышей духовности, суперличность, до которой человечеству никак не дорасти! При чем тут психолог Фрейд, честно (хотя и с переменным успехом) исследовавший влияние общественных установлений и конфликтов на индивидуальную психику (чем и должна заниматься психология *человека*) — остается только догадываться...

Биосоциальное толкование личности ориентирует мышление на полную неразбериху и в вопросе о том, *какие именно индивидуальные особенности* человека относятся к характеристикам его *личности*, а какие не имеют к ней отношения, поскольку совершенно нейтральны, индифферентны к ее психической структуре и принадлежат к разряду чистейших *случайностей*, с равным успехом могущих быть и совершенно другими, даже прямо противоположными, абсолютно ничего не меняя в личности по существу.

Вот, снова про себя, любимого... Трудно лучше охарактеризовать ильенковскую эклектику, помесь марксизма с происками буржуазии.

Незрелость идеологии, абстрактность диалектики — местами ведет Ильенкова к длинным эмфатическим пассажам, где все, вроде бы, правильно — но страшно как раз тем, что в принципе неспособно нарваться на возражения. Эдакое растекание по древу, в стилистике какого-нибудь Косолапова — не к ночи будь помянут! Критика экзистенциализма — в его же идейном русле, его же средствами, по мелочам, — вместо решительного переноса дискуссии в иной категориальный контекст, противопоставляющий марксистскую философию духа жульническим махинациям буржуазной пропаганды, подменяющей принципиальное различие — разделением труда, единство — абстрактным подобием, историческое творчество — безропотной эволюционностью. Прогибаться под вражеский дискурс и взывать к дурному наукообразию — это не наш путь. Но как бы мы осознали это без гениальных ошибок наших великих учителей?

Неженский вопрос

Когда Ленин брезгливо отмахивается от современников, увлеченно дискутирующих на темы пола, — его можно понять. Потому что есть Август Бебель — первоисточник и основа основ. Бебель поистине всеобъемлющ. На его фоне остальные выглядят эпигонами, практически ничего не добавляющими по существу, спекулирующими на ошибках ради сиюминутной перспективы сколотить политический капитал на рынке воинствующей буржуазности.

Говорить будем о самой известной книге — *Женщина и социализм*. Там достаточно представлены другие, и определенности хоть отбавляй. Это своего рода библия социализма (понимаемого по Марксу — как полностью бесклассовое общество, приходящее на смену переходным «коммунистическим» этапам). Можно без чрезмерного преувеличения утверждать, что заслуги Бебеля в *пропаганде* социалистических идей местами перевешивают усилия Маркса и Энгельса. Да, *Манифест* задает тон, утверждает принципиальную позицию; да, *Капитал* — твердая почва для развития теории; да, *Анти-Дюринг* и *Происхождение* — прекрасные вводные курсы по «научному коммунизму»... Но это чтиво, главным образом, для сравнительно узкого круга интеллигентов, пропитанных классическим образованием и потому способных понять многочисленные аллюзии на великих предшественниках. Прорубиться через философские и политические баталии — нормальному человеку не под силу: над ним тяготеет рыночный быт — и расширять кругозор удается далеко не всегда. Вот тут и приходят на помощь популярные трактаты, дают возможность схватить все целиком, ярко высвечивают перспективы. Это наглядно, понятно, увлекательно, — убеждает, а не доказывает. А для практики убежденность — во главе угла; поставлена цель — нет нужды в дальнейших обоснованиях.

Так получилось, что Бебель рано приобщился к жизни трудовых масс — и многое знает из первых рук. Ленин называет его рабочим — это, конечно, преувеличение: несколько лет в ремесленном производстве были, скорее, ликбезом, центром кристаллизации мировоззрения; тяга к наукам и способность к рефлексии — след непролетарского (хотя и далеко не «благородного») происхождения. Тем не менее, умение работать руками выгодно отличает Бебеля от профессиональных философов и политиков, знающих о грубой материи лишь понаслышке.

От рук — особый склад ума, грубоватый но доступный язык, стремление говорить по существу, сразу брать быка за рога. К сожалению, оборотная сторона того же — вседовлеющий эмпиризм, недоверие к отвлеченной теории, — и тогда на место фундаментальных абстракций легко встают поверхностные (и потому еще более абстрактные) мнения, фантазии, предрассудки. Отсюда наивная утопичность взглядов — что вовсе не обязательно записывать в недостатки: читающей публике это интереснее теоретических утопий, которыми грешат партийные функционеры, слишком уж рьяно натягивающие логику на повестку дня очередной фракции. В отличие от них, Бебель всегда оставался беспартийным просветителем — готовым принять любые доводы, но без фанатической приверженности и фракционной дисциплины. По любому вопросу одни социалисты не согласятся с другими — так зачем принимать сторону одних против других? Тем более там, где затронуты интересы людей, далеких от политической борьбы — и для которых всякая власть беда.⁴⁰

Поэтому то, что в этом отношении изложено в предлагаемой книге, может быть рассматриваемо как *личный* взгляд автора и всевозможные нападки должны быть направлены только *против него лично*, он один несет ответственность за сказанное.

Вообразите, что Маркс, Энгельс, или Ленин, — публикуют что-нибудь от себя лично, вне увязки с интересами партийного строительства! Трудно? Не то слово! Можно расценивать это как цельность личности гения — но можно и воспринимать как ущербность, неумение стать личностью, освободиться от духовного диктата. Обе догадки верны: классовая личность воспроизводит внутри себя всю совокупность общественных противоречий, и прототипы будущего вынуждены уживаться с классовым наследием; прогрессивные идеи воплощаются в уродливых формах, а в любом уродстве — лучики света.

В этом смысле Бебель и Маркс — иллюстрации разных сторон отношения бесклассовой личности к бесклассовому обществу. Бебель дает образец духовной свободы, когда человек важен сам по себе, вне зависимости от внешних ожиданий и сколь угодно объективных обстоятельств; разумное существо поступает так, как считает нужным,

⁴⁰ Цитировать будем по советскому изданию 1959 года. Как обычно, без указания страниц. Книжка толстая — но заинтересованные легко найдут контекст, а остальным лишняя строгость не в строку. Перевод местами корявый — однако расшифровать можно.

ему никто не указ, и природу оно умеет переделывать под себя. Человек может придумать правила игры — но он же легко заменит их другими, если это подсказывает разум. Но разум не внутри человека — это единство многих сознаний и самосознаний, выражение их всеобщности, равенства человека миру в целом. Тожество личности и общества — представлено (в неизбежно ограниченной мере) деятельностью Маркса, Энгельса, Ленина. Да, они целиком внутри партии — но их позиция совпадает с позицией партии, они и *есть* партия. Точно так же, как человек будущего не противоположен обществу — каждый и *есть* это общество, всеобщее в единичном. Идея трудна для современного ума — но ее модельные обнаружения позволяют предполагать, и следовать образцу. Хотя Бебель не предполагал — и не следовал.

Название обманчиво. Может показаться, что речь пойдет об участии женщин в революционном движении и строительстве социализма (чисто по-ленински — никаких других аспектов «женской» тематики Ленин публично не признавал). На самом деле — ничего подобного. Просто в одной книге соединены две (общий объем примерно пополам): сначала про женщин — потом про социализм, безотносительно к полу. Почему так — с уверенностью не скажешь. То ли женщины как заманка в социализм — то ли социализм как оправдание женского уклона. Либо все вместе — перенаправляя разные сомнения в соответствующий раздел; это расширяет аудиторию — и поднимает тиражи (здесь размер заведомо имеет значение). Разумеется, есть и формальная склейка: утверждается (без особых оснований), что устранить уродство женской современности невозможно без изменения общественного строя — и что без участия женщин социализм помыслить нельзя. В обоих случаях наличное состояние дел проецируют на историческое развитие — что сразу же отсекает непредставимые на данный момент варианты. То есть, в будущем все как сегодня — только лучше. Без радикальных перемен.

Сильная сторона — выращивание будущего из тенденций; значит, чуточку больше уверенности в будущем, стимул добиваться перемен. Однако после всего остается дурное послевкусие: а что, собственно, изменилось? Все снова вращается вокруг собственности (общественная, частная — какая разница?), снова женщин спаривают с мужчинами брачными узами (пусть даже легко расторгжимыми), снова дети на иждивении (в собственности) родителей и это не люди (пока не пройдут формальный возрастной ценз). Вероятно, следует сделать поправку на особенности нашего восприятия — с учетом сотни лет исторического

опыта: тогдашнему читателю все казалось настолько сказочным, что и сомневаться нет повода; сегодня мы знаем, что многие предсказания, которые Бебель считал социалистическими, прекрасно сбываются в рамках капитализма, ничего не меняя в его повадках, — и сам собой напрашивается вопрос: возможно ли замахнуться на большее?

На это мы и обращаем главное внимание — для этого наши заметки на полях. Восторгаться по поводу гениальных прозрений — занятие пустое; важнее осознать, до чего еще не дозрели.

Гениальность в том, что книга затрагивает (хотя и в разной мере) практически все аспекты воспроизводства разума — и наше видение существенно расширить тему пока не может. Однако в том, что у Бебеля собрано по интуитивно-эмпирическим соображениям, мы хотели бы увидеть логику общественного развития — и тем самым дать опору суждениям о необходимости и целесообразности практических шагов. Забегая вперед: оказывается, что разговоры о женщинах и мужчинах — лишь частный случай более общей задачи, в рамках которой не кажется разумным выдвигание половых различий на сколько-нибудь заметное место в борьбе за бесклассовое будущее.

Так мы возвращаемся к ленинской тактике избегания: да, надо быть в курсе споров и экспериментов — но к нашей работе это напрямую не вяжется, и лучше не отвлекаться на второстепенные изыскания, оттягивая силы с направления главного удара. Тактика разумная — но только в условиях нехватки сил. Что автоматически влечет за собой большие перекосы: ударим с одного боку — вылезет флюс с другого. Но откуда дефицит? Не оттого ли, что наличные ресурсы используются далеко не полностью — подобно тому, как Бебель вырезает из истории лишь одну (изрядно надоевшую) колею?

Ленина возмущает массовое эপিгонство — он призывает прекратить безобразие и читать Бебеля, у которого, якобы, все уже есть. Скорее всего, многие ленинские воззрения тоже восходят к старшим товарищам; но это не мешает ему по-своему их интерпретировать и расширять. Так почему другие такой чести лишены? Давайте навалимся всем миром: каждый внесет забредшую к нему крупицу разума — в общих интересах. Маркс написал *Капитал*; это не значит, что книжки по экономике больше не нужны. В какой-то мере, Бебель популяризирует Маркса — и кто-то другой мог бы заняться популяризацией Бебеля! На одних популяризаторов найдутся другие; это не опошление — это разные ракурсы, взаимно дополняющие, а не отрицающие друг друга.

Допустим, в потоке больше грязи, чем кристальности вод; что с того? — это вопрос индивидуальных склонностей и дарования автора (по Бебелю: «он один несет ответственность за сказанное»), но никоим образом не опровержение принципиальной необходимости творить. Если не дать ходу пытающимся писать про социализм — на их место встанут убежденные апологеты капитализма, и грязи только прибавится. Пусть народ путается, громоздит одну ошибку на другую, — но он таки творит, и тем самым утверждает свободу творчества, без которой не нужен (и невозможен) никакой социализм. Называть огрехи грехом — и забрасывать согрешивших камнями — сугубо классовая привычка. Ошибок хватает и у классиков марксизма; в конце концов, наш язык формировался в условиях классового общества — и зачастую плохо приспособлен для выражения неклассовых идей. Тем более важно пробовать, подступаться с разных сторон — искать выразительность, производить ее как (общественный) продукт (совместной) деятельности, по-человечески, а не ждать откровений свыше.

Насколько мы можем судить, Бебель искренне желает улучшить мир и делает что может для этой, главной цели. Здесь он выгодно отличается от того же Ленина, у которого на первом плане узкопартийные интересы (и лишь где-то в далекой перспективе собственно человеческое). Конечно, избегание общих идей и революционной конкретики ведет к сползанию в эклектическую эмпирию; фактически, Бебель продолжает доминирующую в идеологии позитивистскую струю — со всеми ее идеалистическими и метафизическими корявостями. Пренебрежение логикой не проходит бесследно: Бебель противоречит самому себе, и путает читателя; книгу можно истолковать как угодно, повернуть в любую сторону. Вместо глубоких идей — эффектные картинки, игра на публику. Бебель увлекается, и может увлечь, — но результат обманывает ожидания: разговор не о будущем а о том, что не нравится в настоящем, без возможных альтернатив; передержки бросаются в глаза. Утопия Бебеля воспроизводит слабости прежних утопий (начиная, как минимум, с древностей Междуречья) — и даже местами уступает им.

Предположительно, свою роль сыграло и обращение к проблемам взаимоотношений полов — и подчеркнутое выдвижение их на первый план в названии и структуре книги. Само по себе это не криминал. Всплеск интереса — веление времени. Значит, чего-то людям не хватает для того, чтобы мечты переросли в руководство к действию. Одной экономики для этого мало. Пока мы не представляем себе, чего именно

мы хотим, — мы, по факту, и не хотим ничего, и остается только плыть по течению, оставаясь не разумными, а природными существами. Формы, которые примет наша мечта, зависят от форм общественного устройства — и если что-то всплывает наверх, это не случай и не произвол, а выражение исторической необходимости. Когда Ленин призывает снять половые дискуссии с повестки дня — он не прав: точно так же, как идеологические битвы прошлого принимали форму религиозных расхождений, жизненно важные аспекты строительства бесклассового общества при капитализме сливаются в «женский вопрос», и его не отменить никакой политикой — он вылезет в других местах в другом облики, и тем вернее, чем старательнее его замалчивать.

Однако обращать внимание можно по-разному. Пока ничего кроме поверхностных наблюдений и субъективно эмоциональных реакций — это кухонные посиделки, фига в кармане. На ранних этапах такой синкретический фон полезен — он создает общественный настрой, питательную среду для чего-то продвинутого. Если же руководящей идеи все нет и нет — настроение вырождается в базар, спекуляции на модную тему и спекуляции на тему моды. А это уже другой фон, и питает он не историческую тенденцию, а наоборот, попытки отгородиться от насущных задач — и технологии отвлечения масс от неудобных для правящей верхушки поползновений. Чем отгораживаемся и отвлекаем? Да все тем же — фактами из жизни. Из той, которая вокруг, и говорит сама за себя. Но ничего не говорит про будущее — которого пока нет, и только разум может такое себе вообразить, и сделать руководством к действию. Уберите эти фантазии — и факты бессмысленны, и вертеть эти кубики можно сколько угодно без малейшего риска для господской задницы. Это всего лишь природа, сплошная естественность, которая, вроде бы, тоже как-то развивается — но человеческие интересы ей при этом учитывать незачем, и тогда «естественно-исторический процесс» воспроизводит лишь природность, и чем ее больше — тем дальше от разума. Достаточно свести отношения между людьми к этой безмозглой природе — и люди выглядят обыкновенными зверушками, не знающими ничего кроме органических потребностей, и беспощадной конкуренции по их поводу — и ничего больше в общественной жизни не разглядеть. Оторванная от рефлексии эмпирия — это эмпирионатурализм.

Стоит поделить людей на противостоящие друг другу группы — и нет больше общественных существ, а есть представители того, что в

математике называют классами эквивалентности. Классовая трактовка общества — превращает его в организм, соединение различных органов. То есть, уже не общество, а нечто живое, природное, — и следовательно неразумное. Если начинать с единства, с человека как принципиально неприродного (разумного) существа, — виртуальные группировки не обособляются в нечто реально существующее, они остаются моментами внутреннего движения, имеющими смысл лишь в отношении к высшему уровню. Каким именно образом будет разворачиваться эта иерархия — для человеческого духа не столь важно, это ничего не меняет по существу. Но когда классовое общество закрепляет различие рабов и господ, женщин и мужчин, детей и взрослых, — разуму конец, и остается только животность. Поднимите на шит любой частный вопрос: женский, педагогический, религиозный или национальный, — и вы не сможете вылезти из него к идее общественного (всеобщего) человека, в котором сняты все эти различия, а есть только тождество человека и общества как разных сторон одного и того же — разума, духа. Чтобы объединиться — надо объединяться: искать общее, точки соприкосновения и взаимную обусловленность. Если нет этой философии — остается политика, борьба партий, классовые противоположности.

Тут мы опять упираемся в диалектику. Маркс и Бебель как стороны разумности неразумно отчужденные друг от друга. Позиция Маркса (и в этом смысле Ленин — последовательный марксист) — собрать себя в кулак ради главного, сделать жизнь отсветом великой идеи. Ради это Маркс готов поступиться даже любовью. Напротив, Бебель призывает ценить жизнь во всем ее разнообразии, и цитирует Вагнера (*Искусство и революция*):

«... промышленность будет не нашим господином, а слугою — тогда цель жизни мы будем видеть в радостях жизни, и мы будем стремиться путем соответствующего воспитания к тому, чтобы наши дети пользовались этими радостями».

Эти слова проникнуты вполне социалистическим духом и совершенно совпадают с изложенными нами взглядами.

Но сделайте радости целью — и у вас не будет ни цели, ни радостей. Любите любовь — и у вас не будет любви. Маркс и Бебель — воспитаны в классовом обществе и не могут преодолеть вбитой в подсознание привычки противопоставлять одно другому, а значит и одних людей другим. Суть в том, чтобы снять различие между великим и малым — сделать его неуместным, соединить в себе и то, и другое; тогда уже не

надо придерживаться одного и пренебрегать другим. Только так можно прекратить животную борьбу за существование — в которой неизменно одно встает над другим, — а не рядом, не вместе. Вот и получилось, что Маркс поставил все на экономику — и забыл о духе, а Бебель пытается поймать субъективное видение — и теряет экономическую основу. Потомкам придется сводить разорванное воедино — и минус на минус таки должен дать плюс! Когда это произойдет — гадать не будем; наша забота — по возможности поспособствовать.

Поэтому возьмем что дают — и потыкаем в замеченные по ходу знакомства идеологические гнилости.

По логике, следовало бы сначала дать абрис социалистической утопии — а потом разворачивать фрагмент за фрагментом в качестве иллюстрации общего принципа. Так Бебель и поступает — и есть у него отдельные трактаты о государстве, о религии, о социализации. Добавить такой же о женщинах — и все остается в балансе, и ни одна из черт не выпирает из картины. Но когда целое приклеивают к выставленному началом всего «женскому вопросу» — это идеологически ангажировано, поскольку предлагает прежде всего заняться взаимоотношениями полов, а социализм засунуть под юбку в качестве гипотетического средства удовлетворения половой потребности — которая якобы главнее, ибо идет от природы и будет всегда. Софизм устроен просто: чтобы свести общественное к животному, молча предполагают, что человеческое (культурное) поведение есть лишь видоизменение животного — сразу отсекая от идеи человека собственно человеческое; тогда, конечно же, одну животность легко вывести из другой. Стоит пойти в обратном направлении и движение органических тел в культурном контексте считать лишь частичными обнаружениями качественно иных, духовных процессов, — и не останется в жизни ничего самодовлеющего и неприкосновенного, и можно задумываться о том, как перестроить природу, чтобы она лучше отвечала велениям духа. Тогда физиология пола ничем не возвышеннее прочих телесных нужд, ибо природные вещи — только реквизит, материал для переработки, сырье, нечто заведомо вспомогательное; и надо не умиляться естественности, а преодолевать ее, устраивать мир разумно. Например, Кабе писал о культуре ходьбы; Маркс писал о культуре еды; точно так же, следовало бы писать о культуре пола, о культуре речи, о культуре сна, — и о производственной культуре вообще (включая как материальное, так и духовное производство). Смысл человеческой деятельности именно в

этом: мы не только усматриваем культурность в разнообразии быта — но и намеренно эту культурность создаем, делаем ее не природной данностью, а творческим продуктом. Тогда нет риска запутаться, подобно Бебелю, в хаосе частных: каждую из них мы заставляем служить целому, и только в этом качестве возможно рассматривать ее как человеческую потребность. Точно так же, нет опасности утратить (подобно Марксу и Ленину) чувство реальности, абсолютизировать, обожествить материальное производство в качестве единственного воплощения духа, что делает наши цели пустыми абстракциями, безразличными к особенностям реализации. С одной стороны, наш мир не распадается больше на хаос телесных форм, в котором целое остается не более чем статистикой; с другой стороны, мы замечаем, что целое требует всех возможных воплощений — полноты бытия, богатства возможностей.

Начиная с человеческого — мы видим в природе плоды своего труда, и понимаем, чего в ней пока не хватает, ставим задачи на будущее. Голую эмпирию — просто не с чем соотнести; она вынуждена вариться в собственном соку — и ничего человеческого в ней нет, и улучшать, вроде бы, ничего не надо... С великими теоретиками — бороться трудно: на них надо натравить стаю вульгаризаторов и эпигонов, достаточно умных, чтобы не казаться смешными на фоне оригинала; таких немного, они дорого стоят, и могут отбиться от рук. Бебелевская эклектика — господам удобнее: невзыскательная публика ведется на фантики, а выкопать из мусора разумное начало сумеют лишь самые дотошные (значительную часть которых можно перекупить и перебросить на теоретический фронт — где их эмпиризм станет воинствующей вульгарностью). Базар на «женские» темы запросто монетизируется — вписывается в рыночные формы и не дает поводы рваться из колеи. Разделяй и властвуй — древний лозунг эксплуататоров всех мастей. Пусть возмущаются насилием в семье — лишь бы не возмущались классовым насилием (и не усматривали связи одного с другим). Пусть смакуют подробности аморального секса — лишь бы не замечали безнравственности капитализма, всеобщего разделения труда, дележки общественного пирога крупнейшими капиталистами и драки низов за крохи с барского стола. Снова та же классовая логика: крошки никак не соотносятся с пирогом, они возникают как бы сами по себе — и делиться с рабами господина совершенно не обязаны. Но есть мы — и пришли мы для того, чтобы подпортить буржуйское и эмпирионатуралистическое

благолепие. Следуя Бебелю, поделим обсуждение пополам — однако про женщин будем говорить с точки зрения бесклассового будущего, а про социализм — под знаком любви.

На подступах

Логика железного революционера предельно проста: есть мы и они, и надо чтобы их не было. Для этого вспомним, что кроме тех и этих в наличии косная масса, бурлящая протоплазма, — которую достаточно чуток подогреть, чтобы оппоненты попали под метаболизм и перестали создавать проблемы. Что тогда станет с нами? — это уже другой вопрос, задаваться которым на гребне борьбы неуместно и несвоевременно.

Все остальные различия для партии просто случайность, внешние обстоятельства, на которых можно при случае сыграть — но подшивать к делу ни в коем случае! А вот для не наших — умение различать иначе становится мощным оружием: если в рядах партийцев одни не совсем как другие — это раскол, и (хотя бы маленькая) победа. Поэтому первый пункт устава — уважать партийную программу, и ничего сверх нее; национальность, вероисповедание, сословная принадлежность, пол и возраст — вне партии, в протоплазме, внутренние движения которой революционерам до лампочки, а важна лишь верная политическая ориентация.

Но человечество состоит из людей. А люди иногда усматривают в мире такое, до чего ни один вождь не додумается. Кому-то про классы и коммунизм — а он интересуется чьей-то сексуальной ориентацией... Почему вдруг сотни партийцев (к великому ужасу вождей) втягиваются в дискуссии об отношениях полов и забывают лишний раз перечесть коммунистический катехизис? А некоторые, подобно Бебелю (и нам!), осмеливаются даже критиковать и подправлять классиков. Отмахнуться и заклеить — это партийная позиция. Предположить за общностью нечто фундаментальное — это философия.

По нашему глубокому убеждению, человек отличается от всего остального умением представлять себе то, чего нет, — но чего ему очень бы хотелось. Иногда воображают и то, чего очень не хочется, — но тут речь о уже имеющемся, знакомом по опыту (хотя бы воображаемому). Когда же замахиваются на невиданное — это творчество, изменение природы под действием чего-то неприродного, что мы (без лишней стеснительности) именуем духом, а стремление духа воплотиться не в

какой-нибудь материи, а той, что лучше ему подходит, называется разумом. Между разными воплощениями одного и того же возникает особое (духовное) отношение: они не могут существовать друг без друга, и на человеческом языке — это любовь.

Теперь прикиньте: капитализм — общество всеобщего отчуждения, раздирающего любую общность на противоположенные обломки, способные быть, самое большее, рыночными партнерами. Можно сколько угодно перекраивать экономические структуры — это никоим образом не устраняет классовых противоречий, а только переметает из под одного ковра под другой. До тех пор, пока мы занимаемся только экономикой, соединяя людей внешним образом в трудовые коллективы или конкурирующие партии — из буржуинства нам не вырваться; в этом секрет живучести, феноменальной приспособляемости капитализма: его нельзя победить его же методами, ростом эффективности труда и всеобщего изобилия. Важны не вещи — а отношения между людьми (хотя бы и по поводу вещей). Вспоминаем о любви: если обнаружилось духовное единство — никакой экономикой его не перешибить, и даже смерть бессильна. Оказывается, бывает такое, что вообще не разделить: чем больше пытаются растащить в разные стороны — тем теснее духовное слияние (вроде конфайнмента в физике элементарных частиц). Именно здесь кашеева погибель — и этого буржуи всех стран бояться пуще любой напасти.

Как капитализм будет бороться с любовью? По-капиталистически. На место любви, чисто духовного отношения, буржуазная пропаганда поставит частные материализации: родительскую любовь, дружбу, половую любовь, и т. д. В каждом из таких воплощений люди заведомо разделены, распаханы по полочкам классовой кунсткамеры. А как только разделили — можно властвовать, вставлять палки в колеса и всячески препятствовать перетеканию внешних (рыночных) отношений к подлинной интимности; достигается это простым и проверенным способом: формализацией отношений, превращением людей в членов коллектива, в органы социального организма (а органы — любить не умеют, это умеют только люди). В частности, половую любовь чаще всего обезличивают браком, созданием семьи (хотя есть и другие, не менее формальные варианты). Поскольку же в коллективе человеческие отношения подменяются органическими (животными) — остается только подобрать аналогию из животного мира, чтобы торжественно провозгласить родство выхолощенной любви с физиологическими

играми. Чем и занимаются все подряд, включая Бебеля — и тех, кто был до или пришел после.

Отсюда практические выводы. Борьба с капитализмом следует по (как минимум) двум направлениям: в экономическом плане — разрушая всевозможные формальные общности и стирая различия (тем самым открывая всем простор для творчества), а в области духа — подчеркивая особое место разума в целостности мира и поддерживая мельчайшие искорки любви (в том числе в отрицательных формах, как ненависть к душителям свободы — включая себя). В классовом обществе элементы неклассовых отношений каждый раз будут встроены в нечто классово ограниченное — и мы будем поддерживать сколь угодно скандальные варианты, но лишь до определенного предела — пока они еще способны стать носителями разума и любви. Если нужно — примкнем к партии; но легко откажемся от этого союза (но не от его духовного наследия) при смещении исторических перспектив. Человек важен как личность, как единичность духа — только тогда он способен представлять дух вообще, общество в целом. Это одна из черт будущего, бесклассового бытия — которую надо культивировать везде и всюду, насколько хватит сил.

Признавая, что человечество до сих пор зависит от биологических тел — мы вынуждены считаться с их физиологией и учитывать органические различия. Часть различий относительно случайна: раса, телосложение, тонус, травмы и уязвимости, темперамент; другая часть воспроизводится достаточно регулярно: пол, возраст. Однако *ни одно* из этих различий не влечет за собой общественных последствий — точно так же, как перемещение в пространстве и во времени, смена рода занятий или круга знакомств, сами по себе не меняют человеческой личности: чтобы превратить природные обстоятельства в общественное явление, нужно сделать их *продуктами* деятельности — включить в общественное производство, со всеми вытекающими из этого личными связями. Ребенок чувствует себя ребенком лишь там, где его тыкают мордой в его несовершеннолетие, подчеркивают поражение в правах; аналогично, женщина будет женщиной лишь в отношении к мужчине — и это классовое, а не органическое различие, продукт общественной организации, которая воспроизводится точно так же, как продукты питания или быта, как орудия и характер труда, как производственная инфраструктура.

Следствие: увидеть человека в женщине или мужчине возможно лишь там, где они преодолевают культуру половых различий и строят

отношения на принципиально иных началах, исходя из духовной общности и свободы. То есть, сначала любовь — а потом уже какие-то частные проявления, включая, возможно, эротику и физиологическую близость (не обязательно в форме традиционного секса). Тогда различия лишь подчеркивают тождество, придают оттенки, — но не определяют человеческое общение как таковое. Значит, и в условиях классового общества возможно оставаться человеком — если рассматривать навязанные недоразвитой культурой формальности как объективные обстоятельства, как природу, как материал, на котором мы будем строить свою духовность — совершенно неприродным образом, следуя идее бесклассового будущего — а не по прихоти рынка. Добиться этого можно лишь сознательно выстраивая такую жизненную позицию: обращать внимание на неразумное — и поступать разумно. Никакая интуиция не выведет человека в люди. Надо работать над собой, растить в себе личность — не останавливаясь ни на мгновение. Кому-то проще на практических примерах, в гуще событий; другие обратятся к опыту рефлексии — это другая практика; в идеале, следовало бы соединить одно с другим. Но пока будем просто читать Бебеля — и высказываться за или против.

По старинной традиции каждая солидная книжка обязана иметь предисловие. Новые издания — со своими предисловиями; так на текст налипают окололитературная суэта: расшаркивания перед спонсорами и коллегами, полемика, заигрывание с публикой, (авто)биографические экскурсии... Большинство читателей предисловий не читает — и это правильно; по-хорошему, такие материалы надо выносить в отдельные публикации — где фокус не на идеях, а на идеях по поводу идей, — следовательно, уместны эпатаж, передержки и риторические вольности, в духе жанра. Но, если честно, излишнее внимание к собственной персоне — никого не украшает: интересно не то, что кто-либо думал и говорил об мне родимом, — важнее, что другие высказывают по поводу моих идей (которые, в общем-то, и не мои); точно так же, историческое развитие подтверждает (или отвергает) не мою правоту — а верность идеала (который вполне мог бы утвердить себя и без моего участия).

В наши дни коммерческие публикации стряпают по типовому шаблону — и выносят на обложку рекламно-восторженные отзывы, написание которых давно стало выгодной профессией. Современный издатель не заморачивается гармонирующим с текстом художественным оформлением — и якобы отзывы якобы читателей пишут те, кто знаком

с текстом на уровне оглавления, не больше. Тем более неприятно, когда автор вливается в этот рекламный галдеж и грубо намекает на свою неоспоримую исключительность. Бебелевские предисловия — не исключение. Поскольку подпевалы и оппоненты вытаскивают на поверхность то, что в буржуазной литературе положено вытаскивать — реакции автора вписаны в политически ангажированный контекст и показывают творения далеко не с лучшей стороны. Например, «один английский автор» подпускает комплимент:

В своей превосходной книге о «женщине и социализме» Август Бебель предъявил тяжелый обвинительный акт современным брачным отношениям.

Считая Бебеля лицом социалистов, он резюмирует:

Они ясно показали, что проблема брака и семьи может быть разрешена лишь в связи с современной экономической системой. Они доказали, что только при полном освобождении женщины и абсолютном равноправии полов в браке возможен прогресс. *Этим они добились того, что уже в настоящее время человечество выработало гораздо более высокий идеал брачной жизни.*

Бебеля отзывает явно по душе — и он курсивом выделяет якобы мажорную концовку, не замечая, что фактически подписывается под смертным приговором социализму. Подленькая буржуазная уловка — и развели «социалистического писателя» как последнего лоха! Оказывается, разговор только о *современных* брачных отношениях, которые (так уж и быть, признаем!) далеко не идеальны — но существует, видите ли, «высокий идеал брачной жизни», — и мы его, якобы, уже знаем (реверанс: благодаря Бебелю!), — и надо лишь чуточку подправить «экономическую систему», допуская «полное освобождение» (от чего?) и «абсолютное» (то есть, чисто абстрактное) «равноправие полов» (а не людей!) — но только «в браке»! Тем самым существование брака и семьи провозглашено на вечные времена — следовательно, вечным будет государство и право (ибо брак и родство суть чисто правовые отношения), а значит вечно господство одних классов над другими (форма которого есть государство) — и ни о каком бесклассовом будущем мечтать уже не приходится, а бебелевский социализм выглядит всего лишь «кооперативной республикой» (затяга весьма сомнительная). Революционеры записали в ренегаты — а он и рад.

В полном соответствии с принципами современного НЛП (или античной софистики), Бебеля подсовывают тупых оппонентов — и он

выпускает полемический пар по частностям, забыв о главном. Воюя с наемными апологетами капитализма, которые ничего не значат сами по себе, можно польстить себе и успокоиться:

Если немецкая профессорская среда не выставит более искусных бойцов против дракона социализма, тогда это современное «чудовище» овладеет буржуазным обществом. Бессонных ночей нам такие Зигфриды не причинят.

Именно такую реакцию манипуляторы и провоцируют! Недооценка противника — верный путь к поражению. Технология промывания мозгов как раз и опирается на откровенный идиотизм, который широко тиражируют, делают всеобщим, пропитывают им всю культуру. Стоит повторить глупость тысячи раз — и к ней привыкают, сродняются с ней, и уже не мыслят себе ничего другого. Мало того, что у социалистов нет столь мощного инструментария пропаганды и контроля над средствами массовой дезинформации, — они еще и не замечают манипуляторства, поддаются на провокации; спорить с дураком как с умным — значит, поднимать его авторитет в глазах масс, делать легковесное весомым. Прав был Ленин, когда в партийных и философских разборках просто отмахивался от наскоков, выставлял оппонентов ничего не смыслящими младенцами, нехорошо обзывал на философском матерном — и спускал в утиль, вместе со всеми детьми, которых угораздило креститься в этой зловонной купели. Да, это не политкорректно. Но тактические задачи решает на все сто. Другое дело, что предложить что-нибудь взамен таки стоило бы — а ресурсов у партии не нашлось...

Бebelь не видит подставы — и на полном серьезе заявляет, что с купленными критиками

происходит то же самое, что с большинством наших ученых относительно материалистического понимания истории. Им недоступна простота и естественность этого понимания...

И тем самым демонстрирует полное непонимание сути исторического материализма: дело как раз в том, что люди не просто переживают свою историю — они ее творят! Относятся к этому сознательно, а не как природный существа — и потому в их воззрениях на историю не может (и не должно!) быть ничего «естественного»: это продукт деятельности. Простота обманчива: она опирается на ограниченность классового сознания, оперирующего голыми противоположностями, найденными раз и навсегда. Чем тогда Бebelь отличается от тупых оппонентов? Масштабами тупости?

Критики точно засекали слабины в интеллектуальных пристрастиях Бебеля: вульгарность материализма, сползание в дурную метафизику. Они демонстративно протестуют против его любимого детища — идеи социального наследования, превращающего человеческую историю в филиал естественного отбора. Обобщение дарвинизма на «наследование приобретенных признаков» очевидным образом превращает людей в животных, оскотинивает человечество, — что очень удобно правящей элите, издавна заявлявшей о своем «прирожденном» праве направлять безмозглое стадо куда заблагорассудится — якобы к его же скотскому благу. Чтобы утвердить большого «социалиста» в этой дичи, достаточно подкинуть пару-тройку возражений от фонаря — и пусть товарищ развлекается, самоутверждается, разбивает в пух и прах, не замечая, как засасывает его антикоммунистическое болото. Пусть распинается, если кое-кто (намеренно)

не понимает, что новые общественные формации порождаются общественными потребностями, что общественные формации развиваются вместе с людьми, взаимно обуславливая и определяя друг друга. Новый общественный порядок невозможен без людей, желающих и способных его сохранить и развить. Если где-нибудь может быть речь о приспособлении, то именно здесь. Более благоприятные условия каждого нового общественного порядка по сравнению с предыдущим переносятся также на индивидуумы и постоянно облагораживают их.

Бebel не понимает, что говорить о приспособлении там, где речь о качественных изменениях общественного бытия и сознания — нонсенс! Нельзя приспособиться к тому, что только зарождается, находится в процессе становления. Приспособление — выражение застоя, отказа от самой способности сохранять и развивать. Что-то есть уже не потому, что мы решили это сохранить, — оно существует помимо нашей воли (а значит, против нее), и нам остается покорно принять эту природную данность и постараться выжить на ее фоне. Разумное существо ведет себя иначе: оно решительно меняет все, что его не устраивает — природу приспособляет к себе, а не наоборот.

Дурное наукообразие, привычка ссылаться на чужие мнения по каждому поводу и без повода — грязно играет с Бебелем. Во введении длинный перечень громких имен: Кант, Шопенгауэр, Бюхнер, Геккель, Ломброзо, Гарновская, Крафт-Эбинг...

Эти ссылки показывают, что я с моим взглядом на унаследование приобретенных свойств нахожусь в хорошем обществе...

Потом оказывается, почти все вышеперечисленные по самым важным вопросам грешат против истины. Например, про Ломброзо:

Нам не приходилось встречать научного сочинения такого объема, в котором было бы так мало доказательного материала.

И так далее. Исключение сделано только для Тарновской — она таки женщина, а Бебель всем сердцем за милых дам!

Нет уж, давайте говорить от своего имени — к чему сам же Бебель во введении призывал. Количество согласных — не аргумент. Дураков все равно больше — и на одну вашу ссылку они выставят тысячу своих. А по поводу доказательности... Книги пишут не для того. Автор может лишь показать, на каком материале он пришел к выводам — но сами выводы совершенно безразличны к этому пути и допускают сколько угодно других; с другой стороны, из тех же посылок всегда возможно вывести и нечто противоположное. Так, в предисловии Бебель двумя руками за «приобретенные» инстинкты (особенно у женщин); в основном тексте — он придерживается диаметрально противоположных взглядов:

Как приобретены эти «инстинкты» и как они совершенствовались, этот вопрос авторы оставляют без анализа; они тогда, должны были бы исследовать социальное положение женщины в течение целых тысячелетий, которые сделали из нее то, что она представляет теперь.

Но речь вовсе не об аналогах биологической эволюции! Основную ошибку сторонников теории «общественного инстинкта» (которую в советской педагогике будет пропагандировать Н. К. Крупская) он видит в том, что они,

как и дарвинисты, надевшие наглазники, они все выводят из физиологических, а не из общественных и экономических причин, которые сильнейшим образом влияют на физиологическое и психологическое развитие женщины.

Какая роскошь! Именно так: общественное бытие, культурная среда — мощнейший фактор перестройки физиологии биологических тел и видовой психологии. Наши тела — продукт совместной деятельности, не природное, а культурное образование. И мы вправе переделывать себя, искать другие воплощения, открывающие новые грани разума, высшие уровни культуры. За одну эту фразу — надо ставить памятник! Такого ни у кого нет. Лишь в конце XX века Ильенков говорит-таки (хотя и очень робко) про конструирование тел; но до перестройки психологии он не дорос, и для него это «лженаучный» фрейдизм...

Но заметят эту гениальность (спрятанную за бог знает чем в самой середине толстенной книги) далеко не все. Зато бросается в глаза концовка одного из введений:

... то, что, быть может, ускользает от внимания отдельных лиц, исправляет инстинкт массы. Приведенная в движение масса не сбивается с пути.

Снова инстинкт, снова безмозглая протоплазма... Что не умеют делать разумно — сплошная дикость. Подчиняться господам — подло; но подчиняться массе — худшее рабство. Вспомните про панургово стадо. Вы хотите такого конца?

После стольких идеологических ляпов восторги по поводу якобы уже достигнутого вызывают резонные сомнения:

Женское движение — как буржуазное, так и пролетарское — за тридцать лет со времени выхода моей книги достигло, особенно в культурных странах мира, очень многого. Пожалуй, нет другого движения, которое за такой короткий отрезок времени добилось бы столь замечательных результатов.

Ой-ли? Почему-то и сегодня, почти сто лет спустя, в «культурных» странах свирепствует кампания за женское равноправие, за право на контрацепцию и аборты, за свободу развода, против сексуальных домогательств и семейного насилия... Если в начале века все уже было здорово — неужели вдруг похужело?

С другой стороны, напрягает само противопоставление женского движения всем остальным. По признанию автора, книга призвана показать, что женщины могут стать полноправными членами общества только после изменения общественного строя, перехода от капитализма к социализму. А тут выясняется, что и путем буржуазных реформ можно добиться «замечательных результатов». Массовой публике подсунут вывод: товарищ был неправ по поводу социализма — так давайте оставим только женские движения: это грациозно и пикантно (как танец на шесте, женский реслинг или женский футбол); а социализма нам не надо — фу! бяка! у нас самая женственная в мире демократия...

Некоторые, впрочем, рассудят иначе: видимо, результаты, о которых рапортует Бебель, — это не то, ради чего все затеяно; это буржуазные результаты, расплывчатые и половинчатые, — которые, разумеется, вполне совместимы со всеобщей буржуазностью и вполне достижимы в рамках общедемократического прогресса. По-видимому, есть и другие результаты, добиться которых при капитализме никак

нельзя; к сожалению, Бебель не выделяет из эмпирической кучи именно это — придется по возможности догадываться самим, вытаскивать разум из животности.

Чет и нечет

Допустим, человечество еще какое-то время будет делиться на две половинки — мужскую и женскую. Допущение в наши дни довольно сильное — но во времена Маркса, Бебеля и Ленина нынешние лихие эксперименты еще воспринимались как архаика: первобытные нравы — или что-то из библии. Первичные половые признаки оставались чуть ли не единственным постоянным признаком, роковым предопределением. Во всех анкетах — указание пола обязательно. Единственное, что может с этим сравниться, — дата рождения (а потом и дата смерти); но эти циферки стали приписывать довольно поздно, а без бумажки возраст определить удастся лишь в самых общих выражениях (особенно у покойников). Сегодня слишком молодежью в магазине водку без паспорта не продают; кто раньше срока постарел — имеет шанс на транспорте присесть. А раньше бедняку было без разницы: пахали с малолетства и по гроб жизни. Зато пол определить — без проблем (даже если результат не соответствует личным ощущениям и ксиве).

Раз уж образовалось отличие одного товара от другого — грех это не монетизировать. То есть, как минимум, у каждого пола имеется рыночная цена, согласно биржевой конъюнктуре. Сколько-то одних дают за энное количество других. Бывает по-разному; европейцы в качестве эталона канонизировали патриархальную моногамию: меняем один на один, приданое на калым. Как у электронов: спин вверх, спин вниз — и ничего третьего в квантовое состояние впихнуть нельзя. Ушлые физики, правда, придумали всякую экзотику: в плазме частицы одного пола склеены в соответствующие спиновые компоненты — а газ куперовских пар допускает сколь угодно плотную упаковку... Но эти эротические фантазии — жалкое подобие реальных уловок, через которые добропорядочные обыватели запросто обходят суровый закон. Тем не менее, чисто формально, брак — состояние четное.

Есть маленький нюанс: собственно патриархальность. Странным делом, которые со спином вверх — достойнее тех, кто наоборот. Как в обществе, так и в семье. С чего бы это? По природе — разницы совершенно никакой. Помните у Тургенева?

— Все твари мои дети, и я одинаково о них забочусь — и одинаково их истребляю.

— Но добро... разум... справедливость...

— Это человеческие слова. Я не ведаю ни добра, ни зла... Разум мне не закон — и что такое справедливость? Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне все равно...

Стало быть, причины различий в общественном положении полов придется искать не в анатомии и физиологии — а в устройстве общества, которое, как нам объяснил тов. Маркс, существенно зависит от способа производства. Соответственно, изменять половые порядки следует не призывами к толерантности и начальственными декретами, а таким переустройством экономики, при котором никому и в голову не придет интересоваться первичными половыми признаками — даже там, где, казалось бы, все дело именно в них, — в половой жизни. Последнее старым кадрам представить трудно; у наших современников — уже копится кое-какой опыт...

По все той же физической аналогии, можно предполагать, что главная примета это гипотетического будущего — свобода. Когда одна частица никак не зависит от других — может вертеть спином куда угодно. Упорядоченность возникает лишь при воздействии чего-то макроскопического (во внешнем поле) — или при связывании частиц. Значит, идея в том, чтобы убрать любые обстоятельства, загоняющие людей в коллективы или подчиняющие независимой от их воли задаче. Легко догадаться, что капитализму тогда хана. Никакого разделения труда, никакого обмена продуктами — и незачем навешивать ценники.

Именно так подходит к делу социалист Бебель, когда рисует нам (хотя бы и утопическую) картину светлого социалистического бытия. Различие полов у него при этом вообще нигде не фигурирует — и приходится добавить специальную главу, дабы увязать вторую половину книги с первой. Правильно. Не нужны «социализму» ни половые признаки в паспорте — ни сами паспорта. Пусть каждый меняет внешность как заблагорассудится, отрезает или пришивает, что нужно, и делает потом с этим нечто индивидуально-неповторимое, на счет чего никаких предписаний и рекомендации никто не издает.

Возвращаясь из мечты в классовую действительность, что мы выдвинем в качестве главной цели грядущей революции? Правильно: освобождение всех людей, независимо от пола, возраста, телосложения, национальности и прочих бытовых случайностей. Есть резон выделять

освобождение женщин в особое производство? Не более чем делить по цвету глаз — или по фасону одежды. Заметим: капиталисты умудряются растащить и по глазам, и по одежке, — и натравить одних на других, чтобы о всеобщем равенстве никто уже не помышлял. Из той же оперы прочие освободительные движения, включая экологию и феминизм. Однако вместо ясного указания на классовую подоплеку всяческой дележки — сколькая декларация:

Одним из важнейших вопросов, все более выдвигающимся на первый план, является *женский вопрос*.

Термин придумали буржуи — чтобы запутать дело. И на первый план выдвигают они же — по тем же соображениям. Можно подумать, что женщинами заниматься можно помимо всего прочего — и что интересно это преимущественно дамскому полу. Будьте уверены: так и подумают. Например, в предисловии (советского) издателя к русскому переводу (по которому я тут цитирую):

... за полное решение женского вопроса, в чем заинтересован весь женский пол.

В решении «женского вопроса» заинтересован не «женский пол», а все разумное человечество! Даже если бы сами женщины не стремились к его решению (а они, как отмечает Бебель, часто даже против: сплошь «филистеры мужского и женского пола»). С другой стороны, называть это «вопросом» — уж очень идиоматично! Разумные люди предпочтут лишний раз не задавать вопросов (ну, разве что риторически, в качестве выразительной речевой конструкции) — и отвечать ни за что не обязаны; они действуют по велению разума и сердца (что для них одно и то же). Когда на повестке дня всего лишь вопрос — это допускает бесконечные дискуссии, копание в мелочах. А надо братья всерьез и осушать классовое болото, попутно занимаясь, конечно, и единением полов. Следовало бы поднапрячься и придумать более подходящее название — могучий немецкий язык дает нам многочисленные примеры удачного словотворчества. Тогда, возможно, удалось бы откреститься и от физиологического понимания пола: неравенство по признаку пола (как и по всем прочим признакам) есть характерный признак классового общества, и прежде всего капитализма — где оно доведено до высшей степени, до формального равенства; поэтому говорить о женщинах и мужчинах (но ни в коем случае не по отдельности!) в контексте революционных преобразований можно лишь указывая на классовую

основу этого различия, когда человеческие тела важны не в качестве носителя разума, а лишь для производства рабочей силы — и важна не физиология сама по себе, а то, как ее господствующий класс использует для сохранения и укрепления своего господства.

По большому счету, классовое чутье у Бебеля работает, и он подробно разъясняет:

Здесь дело идет о положении, которое женщина должна занять в нашем социальном организме, каким образом она может всесторонне развить свои силы и способности, чтобы сделаться полным, равноправным и деятельным членом человеческого общества. С нашей точки зрения этот вопрос совпадает с вопросом, какой вид и организацию должно принять человеческое общество, чтобы угнетение, эксплуатация, нужда и нищета заменились физическим и социальным здоровьем отдельных личностей и всего общества в целом. Таким образом, женский вопрос является для нас лишь одной стороной общего социального вопроса, занимающего в настоящее время всех мыслящих людей; он может поэтому найти свое окончательное решение лишь с уничтожением общественных противоположностей и с устранением вытекающего из них зла.

Достаточно определенно: нет «женского вопроса» самого по себе, это часть постановки общей задачи — разумно переустроить мир. В конце, правда, шлепок грязи, на котором легко поскользнуться: общественные противоположности — будут всегда, иначе общество просто не сможет развиваться; надо уничтожать не противоположности вообще — не абстрактное зло, — надо снять противоположность классов, прекратить эксплуатацию человека человеком. Про это говорить открытым текстом, а не юлить!

Тем не менее необходимо и специально заниматься женским вопросом. Ведь добрая половина предрассудков, с которыми встречается все усиливающееся движение в самых различных кругах, в том числе и в кругу самих женщин, основывается на незнании и на непонимании положения женщины. Многие утверждают даже, что не существует никакого женского вопроса, так как положение, которое до сих пор занимала женщина и которое она должна занимать в будущем, определяется ее «природным призванием», указывающим ей быть женой и матерью и ограничивающим ее деятельность домашнею работой. Что происходит по ту сторону ее четырех стен или не стоит в самой тесной связи с ее домашними обязанностями, то ее не касается.

Заниматься надо. Однако бредни о «природном призвании» — не только предрассудки: это целенаправленная пропаганда, промывание мозгов, с

которым бороться очень и очень трудно (особенно если не замечать рукотворности идеологического продукта). Пример эффективности — книга Бебеля, в которой сползание в натурализм на каждом шагу. Но об этом позже — а пока еще один замечательный фрагмент, о котором можно сказать словами Фрейда: ищущий находит часто больше, чем хотел найти.⁴¹

... миллионы женщин самых различных жизненных призваний должны выжимать из себя последние силы, часто самым неестественным образом, чтобы только поддерживать свое существование. Перед этим неприятным фактом они точно так же закрывают глаза и затыкают уши, как перед нищетой пролетариата, утешая себя и других тем, что «всегда» так было и «всегда» так будет. Они ничего не хотят слышать о том, что женщина, точно так же как мужчина, имеет право на полную долю в культурных приобретениях нашего времени, чтобы облегчить и улучшить свое положение, чтобы развить и применить в своих интересах все свои духовные и физические способности. А если им еще говорят, что для физической и духовной независимости женщине необходима и экономическая независимость, что только тогда она не будет более зависеть от благоволения и милости другого пола, — тогда они уже окончательно теряют терпение, их гнев разгорается и следует поток резких жалоб на «современное сумасшествие» и на «дурацкие эмансипаторские стремления».

Ярко, эмоционально — по существу. Про экономическую независимость замечательно! — в самую точку. К сожалению, Бебель (как Маркс и Энгельс) не понимает, что любые формальные союзы — ограничивают экономическую независимость, и освободить надо (как женщин, так и мужчин), помимо всего прочего, от брачных уз, от любого родства; только тогда они уже не будут противостоять друг другу (по каким угодно признакам), станут экономически эквивалентными, свободно вступая в любые производственные и личные отношения.

Но полный восторг — это положение о сознательном развитии и применении своих духовных и физических способностей! Новаторство невероятное — учитывая, что и сотню лет спустя практически все рассуждают о них как о природной данности (возможно, с учетом также органической составляющей культуры — социальной природы), но никак не продукте сознательной деятельности. Дескать, что вложили в человека — то ему и тратить до конца дней. А суть-то в том, чтобы не

⁴¹ У Фрейда фраза в кавычках — но первоисточник обнаружить не удалось; похоже на отсылку к библейскому тесту, в чьей-то вольной интерпретации.

врастать в готовенькую культуру, а своим ростом менять и эту культуру, и себя самого. Нам недвусмысленно дают понять, что экономика — лишь одна сторона дела, и есть кое-то помимо нее. Это кое-что можно назвать духом — и открывается необъятный простор для духовных связей человека с человеком, для взаимопроникновения, для любви. Экономика не сама для себя — она ради того, что вне экономики. Ради свободы.

Ярые противники социализма полагают, что единственно верным решение «социального вопроса» остается вступление в брак. Но при этом стремятся выжать максимум прибыли из незамужних и требуют,

чтобы незамужней женщине были открыты те области труда, которые соответствуют ее силам и способностям, с тем чтобы она могла вступить в соревнование с мужчиной. Они требуют допущения женщин к занятиям во всех высших учебных заведениях, в том числе и в университетах, они высказываются и за принятие женщин на государственную службу. Иногда выставляется даже требование о предоставлении женщине политических прав.

И они таки этого добились! Почему? Да потому что

все эти кратко очерченные здесь стремления не выходят за рамки современного общественного строя. Даже не ставится вопрос; будет ли этим вообще достигнуто что-нибудь существенное и основательное для положения женщин. Стоя на почве буржуазного, то есть капиталистического, общественного порядка, буржуазную равноправность мужчины и женщины рассматривают как окончательное решение вопроса.

Точно! Но и большевики от этого не ушли ни на шаг — да и Бебель в конечном итоге останавливается на том же.

Ясно, что это решение не может быть правильным. Полное уравнение положения женщин в буржуазном понимании является конечной целью не только мужчин, которые сочувствуют этим женским стремлениям, стоя на почве современного общественного строя, но и женщин из буржуазии, принимающих участие в движении. Но классовых противоречий, существующих между рабочими и капиталистами, здесь нет.

По-простому: среди капиталистов своя грызня за равноправие — но на другой основе! Они делят имущество. А капитал — существо бесполое. У пролетариата вообще не стоит вопрос о конфетках — им бы кусок хлеба... Феминизм — *всегда* буржуазен: он предполагает фактическое неравенство, которое регулярно воспроизводит формально свободный

рынок. В мире без классов — само понятие равенства неуместно; там просто не требуется ничего делить, и это снимает все «вопросы».

Если предположить, что буржуазное женское движение проведет все свои требования о равноправии с мужчинами, то этим не уничтожится ни рабство, каким для бесчисленного числа женщин является современный брак, ни проституция, ни материальная зависимость огромного большинства жен от своих мужей. Для огромного большинства женщин к тому же безразлично, удастся ли нескольким тысячам женщин более состоятельных слоев общества пройти высшее учебное заведение, получить медицинскую практику или сделать научную или служебную карьеру, — это ничего не изменит в общем положении их пола.

Именно! Поэтому нет задачи освобождения женщин — есть задача освобождения людей, без различия пола и возраста. Брак — это рабство. Приставить к нему эпитет «современный» — значит пойти на поводу у буржуазии (для которой брачный контракт уже сегодня не отличается от любых других). Спаривать свободных людей в нечто четное — чистый произвол, классовое насилие. Каждый из нас — единичный субъект, полномочный представитель общества в целом; мы не половинки платоновского андрогина — мы сами по себе. Во всей своей нечетности.

Как только начинается базар про «положение пола» — будет и другой пол. Кто над кем — без разницы. Эмансипированные дамы ничем не лучше состоятельных самцов: одни покупают альфонсов — другие секретарш с интимом. Полное равенство. Ничего личного — бизнес. Таково *действительное* равноправие полов при капитализме, которое легко не заметить, если увлечься «женским вопросом» в отрыве от задач устранения классовой культуры как таковой. Сочувственную тираду Бебеля цитируют все кому не лень:

Женский пол в своей массе страдает в двойном отношении: во-первых, он страдает вследствие социальной и общественной зависимости от мужчин — эта зависимость может быть ослаблена, но не устранена формальным уравниванием женщины перед законами и в правах, — он страдает и от экономической зависимости, в которой находятся женщины вообще и пролетарские женщины в особенности, наравне с пролетариями-мужчинами.

Можно подумать, что женщины угнетены вдвое больше — и есть у них особые задачи, сверх того, за что борются мужчины. И Бебель, вроде бы, прямо так все и подает:

Из этого вытекает, что все женщины, без различия их социального положения, как пол, находящийся вследствие нашего культурного

развития в подчинении у мужчин, заинтересованы в том, чтобы это состояние, поскольку это возможно, уничтожить путем изменения законов и перестройки существующего государственного и общественного порядка.

Если на этом остановиться — вот вам теория «угнетенного пола», вполне подобная энгельсовской (и ленинской) теории «угнетенных наций». Такие воззрения ни на шаг не уведут нас от религиозных расколов, когда каждая секта кичится своей «гонимостью»; точно так же, американские негры любят изобразить из себя страдальцев — даже там, где, скорее, другие страдают от афроамериканских перекосов в культуре. Такая групповая солидарность, классовая определенность, воспроизводит себя по той же схеме, что и противостояние основных классов; при этом стороны заинтересованы лишь в смягчении последствий — но не в решительных переменах, после которых соответствующие субкультуры перестали бы существовать. Интуитивно, Бебель это чувствует:

Но огромное большинство женщин живейшим образом заинтересовано также и в том, чтобы существующий государственный и общественный строй был коренным образом преобразован, чтобы было устранено как рабство наемного труда, от которого больше всего страдает женский пролетариат, так и половое рабство, неразрывно связанное с нашими имущественными и производственными отношениями.

Женщины, принимающие участие в буржуазном женском движении, не понимают необходимости подобного радикального преобразования общества.

То есть, освобождение женщин — не отдельная задача, а лишь *одна из сторон* всеобщей задачи — уничтожения классов. Поэтому каждый раз, говоря о различии полов при капитализме (и в любой другой классовой формации), следует ставить вопрос об освобождении *людей* — всех без исключения — и только потом указывать, что это означает для лиц разного пола, возраста, или еще чего-нибудь. Когда есть цель — есть и различия в положении движимых тел относительно этой цели; одним придется двигаться на север, другим на юг; одним вправо — другим влево; это никоим образом не делает тела принципиально разными и не предполагает, что кому-то тяжелее других. Бить на жалость, твердить о несчастной женской доле — это (само)обман; и это против свободы — поскольку разъединяет людей, а не сплачивает в общем труде. Якобы двойному гнету женщины — соответствует такой же двойной гнет мужчин, на которых классовое общество взваливает ответственность за

сохранение существующего общественного порядка, включая традиции половой и семейной жизни. Женщине приходится подчиняться — но мужчине приходится подчинять, соответствовать этой мерзкой роли; соответственно, есть экономические и социальные механизмы насилия над мужчинами, заставляющие их вести себя по-хамски, воспитывать в себе дикаря. Те же механизмы будут играть против женщин, если тем случится взять на себя роль «главы семьи». В общем случае — есть зависимость от иерархии коллективов, неписанные традиции которых расставляют всех по местам. Над каждым классовым человеком, безотносительно к полу, довлечет не двойной, а многократный гнет — даже там, где в правовом плане полнейшая одинаковость. Перекос в сторону женской проблематики — неизбежная слепота:

Тем не менее враждебные женские партии имеют гораздо больше точек соприкосновения, чем разделенные классовой борьбой мужчины, так что первые могут вести борьбу, маршируя отдельно, но сражаясь вместе.

Это полная чушь! Возьмите любой буржуазный парламент — вот вам картина сколь угодно пестрых коалиций, и это никак не зависит от пола. Группировки мужиков — обычное явление; они могут договориться в каких-то вопросах, сохраняя взаимную враждебность по другим. Если на то пошло — таковы все без исключения международные и коммерческие соглашения; это и называется политикой. Единство женского движения дополняется таким же виртуальным единством мужчин, и наоборот: когда мужики выступают одним фронтом против дамских достоинств — любезные дамы немедленно объединяются в столь же могучую кучку, способную настоять на своем вопреки маскулинности экономики, загнать самодовольных мачо под каблук. Ходячие предрассудки об особенностях полов — на той же классовой основе. Как они всплывают у Бебеля — особый разговор.

Борцы за права женщин автоматически ставят их в подчиненное и зависимое положение. Это предполагается как данность, и речь всегда о подтягивании этого «низшего» слоя до уровня (якобы продвинутых) мужчин. Надо отдать должное Бебелю: он пытается выразиться по возможности корректно (хотя половые корявости давно встроены в структуру языка).

Женщина-пролетарий должна далее вместе с мужчиной-пролетарием, ее товарищем по классу и судьбе, вести борьбу за коренное преобразование общества, которое сделает возможным полную

экономическую и духовную независимость обоих полов путем создания соответствующей социальной организации.

Это очень важно: именно *вместе*, на равных, — а не как подмога. Но как только кто-то что-то «должен» — это уже классовая гниль: человек не выплачивает долги, а действует разумно; поэтому в каких-то условиях женщине разумнее воздержаться от классовой борьбы — чтобы включиться в нее при более благоприятных обстоятельствах.

Таким образом, дело идет не только о том, чтобы осуществить равноправие женщины с мужчиной на основе существующего государственного и общественного порядка, что составляет цель буржуазного женского движения, но и о том, чтобы уничтожить все преграды, которые создают зависимость человека от человека, точно так же как зависимость одного пола от другого. Это разрешение женского вопроса совпадает с разрешением социального вопроса. Поэтому тот, кто стремится к разрешению женского вопроса во всем его объеме, должен идти рука об руку с теми, которые написали на своем знамени разрешение социального вопроса, то есть с социалистами.

Все правильно: разрешение женского вопроса *совпадает* с разрешением социального вопроса. Но опять сколько камушки! Зависимость одного пола от другого подана отдельно от классовой зависимости — чисто внешнее соотнесение. Это не так: половое неравенство — одна из сторон классового неравенства, и вместе «точно так же» следовало бы сказать: «в частности». С другой стороны, идея партийности — насквозь буржуазна: свободный человек не зависит ни от каких партий (это частный случае зависимости «человека от человека») — он следует разуму. Поэтому не зазывать женщин в ряда социал-демократов (или коммунистов) — а требовать соединения всех сил, способных трудиться на стройке бесклассового будущего, выстраивать такое сотрудничество вопреки рыночным разногласиям.

Лингвистические ляпы не безобидны. Они (совсем по Фрейд) выбалтывают внутренние противоречия классового человека. Как бы ни пытались мы соблюсти идейную чистоту — в грязном обществе нельзя не запачкаться. И вот, после замечательных слов и равенстве полов, читаем у того же Бебеля:

Женщину и рабочего объединяет то, что оба они угнетенные.

Вот она, закоренелая патриархальность: мужику работать — бабе дома сидеть... И пошло-поехало:

... женщина отстает от рабочего, что объясняется как обычаем и воспитанием, так и ограничением ее свободы.

Отстает от «рабочего»? Иногда и наоборот! А причины — сплошная субъективность...

... до сих пор в особенности женщина смотрит на свое подчиненное положение как на нечто само собой понятное и нелегко ей разъяснить, что это положение недостойно ее, что она должна стремиться к равенству с мужчиной и стать во всех отношениях равноправным членом общества.

А мужикам стремиться к равноправию не надо? Им это еще тяжелей объяснить! При том, что чувствовать себя мерзко в шкуре угнетателя — элементарная порядочность. То же самое и с развитием самосознания пролетариата, консолидацией в класс: подвести рабочего (независимо от пола) к мыслям не о свержении буржуазии, не об экономическом и политическом господстве, — а об устранении неравенства как такового, в чем разум буржуа столь же заинтересован, как и разум рабочего. Еще одна растиражированная цитата:

Много сходного в положении женщины и рабочего, но в одном женщина идет впереди рабочего: *она — первое человеческое существо, попавшее в рабство*. Женщина сделалась рабой раньше, чем появился раб.

Даже нарисованные Бебелем исторические картины — противоречат такой постановке вопроса. Но давайте хотя бы без насилия над логикой: невозможно попасть в рабство, когда рабства еще нет. Закрепощение женщин и мужчин — стороны одного и того же процесса, становления классового общества. Точно так же, как пролетариат не сразу (и не всегда) осознает себя как класс, — рабы не исходно наделены классовым сознанием, они вырабатывают его в противовес консолидации рабовладельцев в класс. И тоже не всегда. Мужчины становятся рабами вместе с женщинами — но *формы* рабства могут различаться у разных общественных слоев.

Молча пересекаем моря столь же выразительных филистерских оговорок по разным поводам — и таки подбираемся к эпохе буржуазных, а потом и пролетарских революций:

И с тех пор во всех странах в среде классово сознательных рабочих сильно прогрессировало воззрение на работницу как на равноправное существо. [...] он знает также, что запретить женский труд было бы так же бессмысленно, как запретить применение машин, и поэтому он стремится объяснить женщине ее положение в обществе и *воспитать ее как союзника в совместной освободительной борьбе пролетариата против капитализма*.

Как вам про «равноправное существо»? Которое противопоставили «работнику» — и надо это существо «воспитывать», а не общаться с ним по-человечески, как с человеком! Где мы это видели? У тов. Ленина, который учит, что «женщина будет занимать такое же положение, как и мужчина» [39, 201]. Главное — расставить мужчин, и а потом женщинам вырезать кусочки «такого же»; что у людей какого угодно пола (или еще чего-нибудь) могут разные представления о «положении» — глупая ересь. Не искать *человеческую* неповторимость — а лишь уподобляться старшим по званию. Соответственно (по Ленину),

для женщин-работниц открывается политическая деятельность, которая будет состоять в том, чтобы своим организаторским умением женщина помогала мужчине.

Бebelевское низшее существо тут как тут. И так далее в том же духе. После всего звучит форменным издевательством:

Мы говорим, что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих, и точно так же и освобождение женщин-работниц должно быть делом самих женщин-работниц.

Дескать, бедняки тоже могут сколотить капитал игрой на бирже. Вперед, дамочки! спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А рабочие будут на вас смотреть да посмеиваться...

Что мы видим? Любые попытки выделить «женский вопрос» в нечто относительно самостоятельное немедленно порождают противостояние женского пола тому, с чем их таким образом безоговорочно соотносят. Но в классовом мире, где человек еще недалеко ушел от животного состояния, любое различие неизбежно принимает форму господства и подчинения, первичности и вторичности. Марксисты называют это основным вопросом философии — хотя до философии им предстоит долго и трудно расти. В политике — женские вопросы (в любой постановке) так или иначе сводятся к взаимоотношениям полов. Что, конечно же, совершенно «естественно» — и обойти эту проблематику никому не дано... Если женщина не интересуется мужиками — ей подберут десятки ядовитых названий. Если мужику половые признаки до фени — его тоже сумеют морально раздавить. В любом случае, речь уже не о разумном общественном устройстве — а лишь об интимных контактах разного рода. Сексуальное насилие в качестве природной основы насилия экономического. Что позволяет апологетам капитализма полностью снять с повестки дня задачу свержения власти капитала — и заменить ее всяческими «социальными вопросами», включая женский.

Допуская этнические деления, мы производим и угнетенные нации; геополитическую оппозицию держат в качестве мальчика для битья. Деление населения по половому признаку — закономерно порождает сексуально угнетенных (сегодня на это роль уверенно выдвигаются всяческие «меньшинства»). Единственно реальное решение всех этих «вопросов» — снятие различий, переход к такой экономике, в которой они не играли бы вообще никакой роли. Допустить такое буржуазия никак не может — и для увековечивания борьбы полов (а следовательно, и классового неравенства) используют древний инструмент — семью. Соответственно, в дополнение к половой сегрегации, возникает еще и сегрегация по брачному статусу. Поскольку закованными в брачные цепи управлять легче — семейные отношения в законе; отношения полов вне семьи — это незаконно, а иногда и противозаконно (например, для «несовершеннолетних»). Но коль скоро на уровне общества в целом женский пол противопоставлен мужскому — это автоматически делает моногамию привилегированной формой брака; поскольку же всякая бинарная оппозиция перерастает во властную вертикаль — моногамия неизбежно оказывается патриархальной. Других вариантов сознание буржуа не признает. Поэтому, например, обнаруживая в прошлом следы уважительного отношения к женщинам, оболваненный буржуазной пропагандой историк воспринимает это как власть женщин, матриархат. Ему и в голову не приходит, что возможны размежевания по другим признакам, не имеющим отношения к полу, — и что, наконец, возможны и такие сообщества, где неуместно само понятие власти.

Точно так же, проекция буржуазного права на первобытные (или возможные в будущем) культуры приводит к трактовке совместной деятельности лиц разного пола как брачно-семейных отношений; поэтому, в частности, борьба с сексуальными домогательствами на производстве (включая быт) в классовом обществе обречена на провал: запретят одно — вылезет другое. История пола сводится к истории семьи. Которая при таком раскладе оказывается не зависящей от воли человека абстракцией, вечной на все времена. И если правящая элита может позволить себе поиздеваться над законом — эксплуатируемое большинство вынуждено принять семейственность как объективно данное, природное обстоятельство:

Отношения, существующие в течение целого ряда поколений, становятся в конце концов привычными и начинают благодаря наследственности и воспитанию казаться «естественными» и рабочему и женщине.

Противоречивость позиции Бебеля во всей красе: заключая слово в кавычки, он ставит под сомнение естественность буржуазной концепции пола; но при этом не исключает наследования приобретенных свойств, заново сводя человека к животному. Отношения между людьми — не продукт сознательной деятельности, не результат порабощения одних другими, — а внешние условия, изменить которые мы якобы не в силах. Вот об этой, «унаследованной» от буржуазных пропагандистов идее мы и собираемся несколько страниц поговорить.

Дурное наследие

Подобно предшественникам (и приходящим на смену), Бебель начинает с длинного исторического экскурса, «по Моргану-Энгельсу», больше склоняясь, впрочем, к более ранним трактовкам Бахофена и «новейшим» данным Кунова — «отчасти подтвердившего, отчасти исправившего» Энгельса. Задача благородная: увидеть историческую перспективу для искоренения пороков современности.

Утверждение, которое как по поводу отношений между мужчиной и женщиной, так и между богатым и бедным нам ежедневно повторяют невежды или обманщики, *что «так было вечно» и «так останется вечно», — со всех сторон фальшиво, поверхностно и вымышленно.*

Вроде бы, ясно:

Всякая социальная зависимость и всякое социальное угнетение коренится в экономической зависимости угнетенного от угнетателя.

Но дальше читаем: «в этом положении женщина находится с самого древнего времени...» Словами про «женщину в положении» Бебель фактически присоединяется к «невеждам и обманщикам». Допустим, это корявость выражения, и Бебель прекрасно понимает, что

в течение бесконечно долгого времени, постепенно освобождаясь от чисто животного состояния, прошел ряд стадий развития, в которых самым различным образом изменялись как социальные отношения, так и отношения между мужчиной и женщиной.

Опять же, вместо «так и» следовало бы сказать «в том числе» — иначе снова чувство внешней рядоположенности общества и пола. Но вот, казалось бы, логичный вывод:

... если в предыдущей эпохе развития человечества эти отношения изменялись в зависимости от изменения способов производства и распределения продуктов, то и при дальнейшем изменении способов

производства и распределения продуктов будут *опять-таки изменяться отношения полов*. Нет ничего «вечного» ни в природе, ни в человеческой жизни, вечно только изменение.

Если нет ничего вечного — то и вечность изменений под вопросом. И снова ставим на одну доску человеческую жизнь и природу — как-то неправильно! Тогда фраза об переменном «отношении полов» — с учетом выше обозначенной отделенности половых отношений от социальных — представляет пол чисто природным явлением, якобы эволюционирующим само по себе, а вовсе не в качестве продукта сознательной деятельности. Выходит, половые различия таки вечны — и допускается говорить лишь об *изменении* половых отношений, никоим образом не затрагивая главное — их *существование*. А следовательно, и неравенство по половому признаку, и господство одного пола над другим. На место отношений *людей* поставлено отношение абстрактно (то есть, независимо от общества) разделенных *полов*.

Кто занимается навязыванием обществу подобных абстракций — хорошо известно. Эмпирионатурализм не безобиден: в том же тексте читаем, что меняются лишь «способы» распределения продуктов — но саму необходимость распределения Бебель считает вечной, и тем самым предполагается и вечность отчуждения продукта от производителя и потребителя (а иначе не требовалось бы ничего распределять). Значит, есть и те, кто занимается отчуждением и распределением, — что ставит их выше прочих в основанной на этом принципе экономике. Вот мы и вернулись к проповедям «невежд и обманщиков» об экономическом неравенстве на все времена.

Для ясности: говоря о необходимости выдвинуть на первый план отношения между людьми, а не вопросы пола, мы вовсе не касаемся никакой биологии. Пол человека — не природное, а социальное явление, которое лишь косвенным образом может быть увязано с половыми признаками органических тел. Человек использует такие тела в своей деятельности — но не сводится к ним: помимо органики, у него есть и неорганическое тело, совокупность освоенных достижений культуры; да и органика становится частью личности лишь посредством ее включения в общественное производство, окультуривания. Высокоразвитый разум способен менять конфигурацию тел, ассоциированных с единичным субъектом — и тогда обществу безразлично само присутствие органики, не говоря уже о наличествующих у нее на данный момент половых признаках. История наглядно показывает, как такое возможно: в конце

XX века практика изменения пола получила широкое распространение, и «отец» ребенка может вдруг стать его «матерью», или наоборот. Вероятно, необходимость указания пола в контексте человеческих отношений скоро уйдет в прошлое — что не выводит нас за рамки капиталистической формации, и обнуляет *всю* аргументацию Бебеля о связи «женского вопроса» с революционным движением. Лишний раз убеждаемся: выделение «женских» тем в особое производство вполне буржуазно — и здесь нет принципиального различия «буржуазок» и «пролетарок», а есть лишь оттенки взаимоотношений, обусловленные классовой позицией тех и других. Получается, что в деле борьбы за светлое будущее женщины участвуют совершенно так же, как и мужчины — и классовое самосознание важнее самосознания полового.

В чем отличие от ленинской позиции? В знаке. Ленин решительно против обсуждения «женских» тем в системе партийного образования (включая как рабочие кружки, так и академические исследования). Это лишнее, это мешает. Напротив, мы полагаем, что обсуждать надо все — и никаких изъятий; другое дело, что подходить ко любым «вопросам» следует с позиций бесклассового будущего — а не плестись в хвосте буржуазной пропаганды. Пока свои позиции не особо ясны — годится и ход «от противного», эпатажные лозунги, расшатывающие заскорузлую обывательскую мораль. Пожалуйста, шумите о свободе секса — но задайте себе вопрос: что в этом от человека, а что от скота? Попытка честно ответить тут же ставит перед фактом: оказывается, у людей есть чем заняться вне постели — и все это одинаково важно, и требует той же свободы. Пожалуйста, пусть остается и секс — но лишь как одна из сторон неизмеримо большего целого, за которое мы и собираемся класть жизни при невозможности их употребить более разумно. Так половая тематика сама собой теряет насущность и остроту — и мы духовно растем. Пусть каждый идет к «социализму» своим путем: одни от станка, другие от сохи, третьи от секса, другие — от теоретической физики или кулинарии. В этом выражается наша индивидуальность, различие наших тел, биологических и не очень. Возможность индивидуальности — одно из проявлений той самой свободы, за которую мы в классовом обществе боремся. Не будет классов — не будет и вопроса, и никакая борьба не нужна. Люди бесклассового общества индивидуальны, чтобы трудиться вместе — а не пилить целое на тысячу несовместимостей.

Мы так подробно остановились на тонкостях стилистики, чтобы показать, откуда растут ноги у многочисленных грубых ляпов, которыми

пестрит трактат Бебеля. Например, (в духе пошлого субъективизма) о вредительстве церковников:

И своими непрерывными поучениями и проповедями они распростирали неестественные взгляды на половые отношения, которые как бы то ни было являются повелением природы и выполнение которых — одна из важнейших обязанностей жизненной цели.

Кошмар воинствующего эмпирионатурализма! Разумному существу природа ничего повелеть не может — наоборот, разум переделывает природу под себя, заставляет природные тела (живые и неживые) двигаться совершенно неприродным образом, как они никогда не стали бы двигаться без человека. Человеческий мозг — продукт деятельности; человеческое общество — тем более. Нет у человека цели блюсти природную ограниченность; его цель — создание второй природы, человеческой культуры, в которой всякая естественность — не более чем искусная (и намеренная) имитация. Соответственно, никакие взгляды у людей не бывают «естественными» — у личности есть убеждения, вырабатывать которые приходится долго и трудно, часто в борьбе с убогими мнениями дикарей, обывателей и филистеров всех сортов. Слепая вера — не для людей. Каждый решает сам — и не нужны ему ни боги, ни их земные наместники. Которые действуют отнюдь не только поучениями и проповедями — но еще и кнутом, и пытками, и кострами. Но если мы ограничимся только половыми отношениями — это уже уступка поповской идеологии: важно, чтобы выбор рода занятий оставался прерогативой разума, и никакие указания извне здесь ни к чему. Если люди решают быть вместе — им нет дела до возмущенных воплей, и незачем спрашивать официального согласия. Если им чего-то не нужно — никто не волен им это навязать. А Бебель вливается в ряды призывающих «плодиться и размножаться» — страстно воюет против мальтузианства, и отстаивает пыльный тезис о том, что социализму новорожденных всегда будет мало. Ладно, в другом контексте это было бы его личной проблемой. Но выставленная на публику «обязанность жизненной цели» старательно подпирает здание социализма столпами буржуазной пропаганды — браком и семьей. Долго ли продержится социализм на таком фундаменте?

Некритическое отношение к классовым институтам унаследовано от отцов-основателей «научного социализма». Но если у них «женский вопрос» неизменно на вторых ролях — в контексте книги «про это» идейный прокол красуется во всей своей неприглядности. Рабски следуя

за буржуазными историками и этнографами, Бебель представляет историю человека историей семьи; общественное производство в целом сводится таким образом к единственной отрасли — воспроизводству органических тел. Как известно, под этой вывеской буржуи прячут сугубо рыночную задачу — воспроизводство рабочей силы. То есть важны не органические тела сами по себе, а еще и вполне определенный характер социализации, когда «свое» тело отличается от «чужого» — и каждый изначально чувствует себя товаром, и готов себя продавать. Дальше дело техники: направить активы в нужное русло, спекулировать на колебаниях цен...

Фишка в том, что те же устремления буржуи ничтоже сумняшеся приписывают и первобытным предкам человека, и первым человеческим общностям. Что бы дикари ни думали о себе — их деяния все равно переложат на рыночную механику, вытаскивая из моря этнографических данных лишь золотых рыбок — а все остальные дельцам не в интерес. Вроде того, как убивают слонов ради пары бивней. Как же! — авторы смакуют мелкие подробности, до хрипоты спорят об их интерпретации, поражают живостью воображения... Но читать это — невыразимо скучно. Потому что с каждой страницы прет одна и та же ложь: единственная забота людишек — плодиться и размножаться, и ни о чем другом помыслов не было и нет. Любые общественные структуры — «повеление природы»; хозяйственные заботы — только ради этого. Однако (в отличие от обитателей капиталистических джунглей) наши дикие предки обладали высокоразвитым правосознанием — и потому любые половые связи принимают у них форму брака, скрепленного не записями в талмудах, а высокоразвитой моралью, уважением к обычаям, добровольным соблюдением ритуалов...

Отношения были просты, и обычай свято хранился.

Нетрудно заметить в этой псевдонауке стремление убедить толпу обывателей (и себя) в праведности «естественно» установившихся порядков: ребята, давайте жить по закону и понятиям! — кончайте с классовой борьбой.

Бебель классовой борьбы не отрицает — но уверениям отрицателей слепо верит:

Заключение брака происходило просто. Религиозного обряда не знали, было достаточно обоюдного заявления своего желания, и, раз ново-брачные вступили на брачную постель, брак считался заключенным.

Но почему такие отношения нужно обязательно называть браком? Существует, например, термин «сожитительство»: вроде семьи — но без брака. Лексикон обнаруживает заскорузлое филистерство; буржуазные «ученые», у которых Бебель терминологию заимствует, зачастую намеренно искажают факты анахронизмами интерпретации, натягивают историю под требуемый идеологический эффект (спонсорские деньги приходится отрабатывать). Стоит убрать из обихода этнографа словечко «брак» (намертво припаянное к системе государства и права) — и тогда развитие форм сожитительства придется объяснять экономическими факторами, а такой анализ прямо применим к современности — и сразу указывает, что в ней мешает человеческим отношениям, делает их «отношениями полов». В частности, оказывается, что сожитительство далеко не всегда связано с деторождением — и наоборот. А Энгельс и Бебель восторгаются «открытием» Моргана:

Семья — активный элемент; она никогда не стоит на месте, а развивается из низшей формы в высшую, по мере того как общество развивается от низшей к высшей ступени. Напротив, системы родства пассивны. Лишь через долгие промежутки времени они регистрируют прогресс, сделанный семьей, претерпевают радикальные изменения лишь тогда, когда радикально изменилась семья.

Они не замечают подвоха — и оказываются по уши в дерьме. Морган прямо указывает, что и семья, и современное ему общество — вечные спутники человечества, и речь идет лишь об изменениях «от низшего к высшему». То есть, в сколь угодно отдаленном будущем — семейные клетки, и эксплуатация человека человеком — но в особо изошренных формах. Эволюционизм — отрицание революций. Откуда Морган выцарапывает эту связь времен? Все оттуда же — из софистического тождества прежних производственных и личных отношений с якобы такими же фактами буржуйского быта. Назовите любые сообщества древних людей семьями — и ничего другого в вашей теории вообще не появится! Ни в прошлом, ни в будущем. Научитесь отличать зачатки классовых структур (вроде семьи) от доклассовых общностей — и вот вам альтернативные линии развития, предполагающие как современные аналоги, так и бесклассовое будущее. Дело за малым: обратить внимание не только на развитие способа производства — но и на развитие духа, человеческой неприродности, умения сознательно строить мир и себя. Оторвите одно от другого — и будет либо «естественноисторический процесс» (как у Маркса и Бебеля), либо мистика предопределения,

роковая предначеченность быть рабом «высшей силы», навсегда втиснутым в моргановскую стрелу времени (меняющую наряды от одной религии к другой). Что уж теперь удивляться многочисленным оговоркам «по Фрейд!»! Например, Бебеля ужасает распущенность глав семейств, разбазаривающих семейное достояние (деньгами и натурой) в компании дешевых потаскух:

... к ним у них лежит сердце ближе, чем к законным супругам; с ними они веселятся, и часть наших жен настолько испорчена, что находит это в порядке вещей.

Но почему, скажите на милость, один закон оказывается выше другого? Почему развлечения вне семьи (секс, кабаки, одинокие прогулки, возня с железками — или формулами) не могут быть «в порядке вещей»? Почему это надо считать чем-то «незаконным» — и почему спокойное (и даже одобрительное) отношение к полноте жизни другого человека называется «испорченностью»? Лексика выдает подленького обывателя, убежденного в аморальности всего, что отличается от патриархальной семьи, и который осуждает дурные примеры со стороны высочайших особ и прочих знаменитостей:

То, что делали Гете и Жорж Занд, делают ныне тысячи других... Несмотря на это, вольности Гете и Жорж Занд считаются с точки зрения буржуазной морали безнравственными, так как они нарушают моральные законы, издаваемые обществом, и противоречат природе нашего социального строя.

Думаете, после это Бебель выскажется в пользу половой свободы? Как бы не так!

Мы держимся того же взгляда, как и Ф. Р. Ратцель, который совершенно справедливо пишет: «Человек не должен более смотреть на себя, как на исключение из законов природы пусть он начнет наконец отыскивать закономерное в своих собственных поступках и мыслях, и пусть он стремится вести свою жизнь согласно законам природы. Он дойдет тогда до того, что совместную жизнь с себе подобными, то есть семью и государство, станет устраивать не по принципам прежних столетий, а по разумным принципам согласно с природою познания. Политика, мораль, правовые принципы, которые все еще питаются из всевозможных источников, будут преобразованы исключительно соответственно законам природы».

И под этой дикостью Бебель лихо подписывается! Дуплетом сразу в два лагеря: к эмпирионатуралистам, подгоняющим человека под «законы природы» — и к апологетам вечности буржуинства (поскольку

совместная жизнь «соответственно законам природы» не мыслится без семьи и государства). И бибелевский историзм — всегда с дурным душком:

До сих пор господствует воззрение, упорно защищаемое представителями существующего порядка как истинное и неоспоримое, что современная форма семьи существовала с первобытных времен и должна существовать вечно, иначе погибнет вся культура. Изучение первобытной истории не оставляет никакого сомнения в том, что на низших ступенях развития человечества отношения полов были совершенно иными, чем в позднейшее время, что существовали отношения, которые с точки зрения нашего времени кажутся чудовищными и отвратительно безнравственными.

Вроде бы верно — но почему вдруг оспаривают лишь современную форму семьи, а не семейственность как таковую? И каким образом семья вдруг оказывается всего лишь «отношением полов»? Наконец, на каком основании и то, и другое подлежит именно этической, а не какой-то иной оценке?

Но как у всякой ступени социального развития человечества имеются свои собственные условия производства, так для каждой из них имеется свой моральный кодекс, который является лишь отражением социальных отношений. Нравственным считается все то, что согласно с нравами, а нравы, в свою очередь, — лишь то, что соответствует социальным потребностям определенного периода.

Безнравственно — полагать, что подсудность человека обывательской морали сохранится на веки веков, что люди не смогут вести себя разумно и свободно, без оглядки на чьи угодно мнения. А по Бибелю — рабство «на всякой ступени». Закон природы.

Подобно прочим законникам, Бибель рекламирует брак лишь как отношение полов — официально принятый способ размножаться. Ничего разумного в такой трактовке никаким боком не просвечивает. Садоводство, пчеловодство, животноводство, человеководство... С кем скрестили — то и взрастили. Наш вопрос: как вся эта зоотехника соотносится с принципами социализма, столь вдохновенно воспетыми неким Бибелем? Может показаться, что никак. Долго и со вкусом (конечно же, с опорой на могучую статистику!) нам доказывают, что жизнь без секса — величайшее зло, уступающее пальму первенства, разве что, безденежью...

Между врачами и физиологами очень распространено мнение, что даже неудачный брак лучше безбрачия; об этом говорит и опыт.

Смертность между женатыми в разы меньше, чем между холостыми — с чего бы это? Разумеется, в качестве причины — регулярная половая жизнь; ни до чего другого воображение не достреливает. Можно подумать, что без брака сексом не занимаются — и что всякий брак густо замешан на сексе! Вспоминается эпизод из жизни юного Фрейда. Его наставник считает пациентку неизлечимой, поскольку ее муж импотент:

В таких случаях врачу не остается другого выхода, как покрывать, рискуя своей репутацией, домашнее несчастье. «Единственный рецепт для таких страданий, — прибавил он, — нам слишком хорошо известен, но, к сожалению, мы не можем его прописать. Он гласит: Rp. Penis normalis dosim. Repetatur!»

О таком рецепте я ничего не слыхивал и мог бы только покачать головой на циничское замечание моего доброжелателя.

Можно ли придумать более отвратительный пример буржуазного ханжества и филистерской ограниченности? Вместо помощи человеку врач озабочен репутацией семьи; но даже если секс на стороне (или мастурбация) не вариант — что мешает убедить пациента, что жизнь вовсе не сводится к сексу, и есть занятия намного интереснее? Невроз — от буржуйских тупиков, от непроходимости границ (и тупости). Дайте варианты — и конец безвыходности. Но сходство с Бебелем в другом: семейные неурядицы неизменно увязаны с постельными отношениями, а половые проблемы возводят исключительно к физиологии — забывая, что лишь общественные уродства превращают телесные ограничения в насилие над личностью. Проблема не в недостатке (или недостатках) секса, а в том, что людям не дают увидеть бесконечное разнообразие творчества, на фоне которого секс выглядит, самое большое, мелким пятнышком. Но Бебель мечет на стол статистику о четырехкратном (!) превышении процента душевнобольных у холостых над состоящими в браке — и снова тот же сексологический вывод. Уж здесь-то, казалось бы вообще без повода! Сам же пишет, что, по крайней мере, мужчина

благодаря своей большей интеллектуальной и физической силе и свободному социальному положению, доставляет себе без усилий удовлетворение своих половых потребностей или находит легко эквивалент в требующем всех его сил жизненном призвании...

И при этом таки сходит с ума? Где логика? Скорее, следовало бы сильно посомневаться в идиотской статистике... Но Бебель жизни вне большого секса себе не представляет:

Если мужчины не находят удовлетворения в браке, они обыкновенно ищут его в проституции. И если мужчина по какой бы то ни было

причине отказывается от брака, то он также обыкновенно ищет удовлетворения в проституции.

Чтобы кому-то было интереснее озеленять пустыни, считать интегралы или летать на Марс — этого не может быть! Тем более у женщин, удовлетворить которых способен лишь чистопородный альфа-самец, поиски которого выводят милых дам на панель. Но даже в бесконечно узком смысле, имея в виду лишь свихнувшихся на сексе дегенератов, Бебель совершенно не прав. Есть тысячи способов иметь это вне семьи. И проститутки — далеко не самое обычное. Для благонамеренного обывателя поход в бордель — деяние предосудительное, и решаются засветиться либо в компании, либо по пьяной лавочке. Спокойнее то же самое получить частным образом, без огласки. Любовницы, служанки и подчиненные, курортные романы... Точно так же у женщин — большого различия здесь нет, буржуазное равноправие полов. С другой стороны, процветает мужская проституция — и не только у геев: мальчики по вызову, альфонсы, жиголо и т. д. Наконец, однополые связи (случайные или регулярные), плюс разного рода групповуха. Не говоря уже о самоудовлетворении, еще при Бебеле превращенном в выгодный бизнес. Проституция — лишь одно из производств, и надо понять его место в культуре, а не огульно объявлять развратом. Тем более что элитная проститутка (как справедливо отмечает Бебель) очень отличается от уличной потаскушки: разные деньги, разный смысл. Наконец тот же (или какой-то другой?) Бебель сильно выражается по поводу «брачной проституции»:

Проститутка до известной степени свободна отказаться от своего позорного ремесла, она имеет право, если не живет в публичном доме, не соглашаться продать объятия тому, кто ей почему-нибудь не нравится. Проданная же жена должна отдаваться мужу, хотя бы имела тысячу оснований его ненавидеть и презирать.

Насчет свободы на панели — это, конечно, фуфло: отдаваться — пункт контракта, а выполнение понятийных обязательств братки отслеживают строже, чем полицейское государство заботится о верховенстве закона. Но продажа в жены (или иногда в мужья) на деле ничем не отличается от продажи рабочей силы или средств производства по любым другим отраслям. Так что засуньте вашу статистику себе в одно место — это, быть может, отчасти компенсирует вашу половую неудовлетворенность.

Кончено же, перечень бедствий на голову лишенных радостей семейного спаривания отнюдь не заканчивается:

Но какая же судьба постигает эти жертвы наших социальных условий? Мститель оскорбленной, непризнанной природы находит себе выражение в своеобразных чертах лица и характера, которыми так называемые старые девы, точно так же как дряхлые аскетические старики, во всех странах и во всех климатах отличаются от других людей; на них лежит отпечаток огромного пагубного влияния подавленных естественных потребностей.

То есть все без исключения страстно мечтают о браке — хотя некоторые сами себе в этом не признаются и сходят с ума, кончают с собой, или еще как-то поддаются «пагубному влиянию». По уму, жертвы социальных условий — как раз те, кого эти условия загоняют в брак, заставляют тупо тянуть ляжку, оскотиниваться и покорно исполнять (спущенное сверху) «естественное предназначение». Но для Бебеля, положившего себя на алтарь «женского вопроса», необъятная вселенная бесповоротно увязла во взаимоотношениях полов, и кто не согласен — тот вырожденец. Это уже не просто эмпирия — это принципиальная позиция, переход к фундаментальным обобщениям. Конечно же, начинается с вульгарного биологизаторства:

всякая попытка приспособиться к жизненным условиям, не соответствующим виду, не может остаться без заметных следов вырождения в организме, как животном, так и человеческом.

Цитата из некоего Плосса — но Бебель под этим безоговорочно подписывается! В общем, кто не бракованный — тот урод. Да, конечно:

Моногамный брак вытекает из буржуазного порядка наживы и собственности, он, следовательно, неоспоримо составляет одну из важнейших основ буржуазного общества...

Но какое это имеет значение? Важно,

соответствует ли он естественным потребностям и здоровому развитию человеческого общества, это другой вопрос.

Как называется такая подмена одного вопроса другим? Апологетикой капитализма, не иначе. И опять «естественные» потребности — вместо человеческих! Что нам какой-то Милль (которого и Ленин не жаловал), с его афоризмом, что «брак — единственное действительное крепостное право, признаваемое законом». У нас есть великий абстракционист Кант, согласно которому «мужчина и женщина лишь вместе составляют полного и цельного человека». Это Бебель цитирует (как минимум) трижды — на полном серьезе. Тогда следовало бы начинать с Платона, согласно которому мужчины и женщины — это недолуды, из которых

только предстоит склеить истинное совершенство — божественного и первородного андрогина. Стоит поднять «женский вопрос» — и людей больше нет: как женщин, так и мужчин унижают их «неполнотой», объявляют лишь орудиями производства. Кому это выгодно? Тем, кто присвоил себе право распоряжаться телами и душами — загонять скотину в клетки для размножения. А тут кстати и «социалист» Бебель:

На нормальном соединении полов основывается здоровое развитие человеческого рода.

То есть речь о зверушках — а не о разумных существах; кому не хочется совокупляться — тот, конечно же, ненормальный и нездоровый:

Удовлетворение половой потребности является необходимостью для здорового физического и духовного развития мужчины и женщины.

Духовность выскочила ниоткуда — чертик из табакерки. В любом случае, речь о развитии (платоновских или кантианских) «мужчины и женщины» — а не о людях (по отношению к которым только и возможно говорить о духовности). Бебель не знает, что что такое, и отделяется неприлично голыми заявлениями:

Но человек не зверь: для высшего удовлетворения его самой сильной потребности недостаточно удовлетворения одной только физической стороны, ему необходимо также и духовное единение с тем существом, с которым он вступает в связь.

В чью сторону реверанс? Получилось криво: секс все равно остается наиглавнейшей потребностью — а откуда брать «духовное единение», совершенно неясно; ему лишь позволено пристроиться рядышком с «физической стороной» — хотя по разуму, начинать-то надо как раз с единения — не «также», а только так! — технологические детали без разницы. Потому что (по Бебелю),

если этого нет, тогда половое соединение происходит чисто механически и тогда оно безнравственно.

Но здравица традиционно кончается упокоем:

Выше стоящий человек требует, чтобы взаимная склонность сохранилась и по совершении полового акта и распространила бы свое облагораживающее действие на вырастающее из этого обоюдного соединения живое существо.

И все опять свели к физиологии размножения... Высокоразвитый разум не придает сколько-нибудь значительного статуса половому акту — человеческие склонности возникают по самым разным поводам,

миллионами разных путей. Какие-то из них могут завести в постель — ну и что? Разумная предосторожность не допустит, чтобы из этого выросло что-либо неуместное, — и сохранит людям (а не мужчине и женщине) свободу. Заметьте: обязанность выращивать последствия по умолчанию возложена на «соединяющихся» — а буржуазный брак тут как тут, во всем своем «законном крепостничестве».

Бебель-филистер не замечает полной противоположности пошлого эмпирионатурализма приводимым в подтверждение цитатам! Например, докторесса Elisabeth Blackwell:

Настроения и чувства, с которыми приближаются друг к другу два супруга, несомненно имеют решающее влияние на действие полового акта и передают известные черты характера новому существу.

Это просто великолепно! В самую точку. Мы говорим не о зверушках, а о возникновении новой личности — духовного продукта духовных отношений; рождение нового тела лишь дает материальную основу для новой личности, и это лишь один из возможных вариантов воплощения. Разумеется, если исходить из человеческой, духовной связи (любви) — секс примет совершенно иной характер, невысказанный среди неразумных зверушек; как и во всем, дух окультуривает природу, заставляет тела двигаться по велению разума, вопреки играм стихий.

Точно так же, идея «действительного брака» у Фридриха Шлегеля (в противовес браку как правовому институту) в том, что «многие лица должны сделаться одним лицом», — и Бебель восторженно восклицает: «Это сказано совершенно в духе Канта». На самом же деле — это не внешнее соединение недочеловеков (по Платону-Канту-Бебелю), а слияние личностей, их проникновение друг в друга — безотносительно к внешней соединенности; при этом каждый остается собой, остается свободным — но это и свобода быть другим. Никакого отношения к размножению даже близко нет. Человеческая любовь не ограничивается половыми связями и парными «союзами»: в пределе «многие» — это все разумное человечество! А у Бебеля — не люди, а скоты; не любовь, а скотоложество...

Радость иметь потомство и обязанность по отношению к нему делают любовную связь двух людей более продолжительной. Два человека, желающие вступить в брак, должны, следовательно, выяснить себе, насколько их обоюдные свойства подходят для такого союза. И ответ должен был бы последовать совершенно свободно. Но это может произойти при устранении всякого постороннего интереса, не име-

ющего ничего общего с настоящей целью союза, с удовлетворением естественной потребности и продолжением собственного существа в продолжении расы, а также при известной осмотрительности, сдерживающей слепую страсть.

А что, просто любить нельзя? Чтобы радоваться только друг другу — а не повисшему на шее потомству. И чтобы не заморачиваться по поводу выяснения «обоюдных свойств» (это что еще за зверь?). На фига нам лезть в ваши формальные союзы, единственным назначением которых станет удовлетворение и ограничение «естественной потребности»: удовлетворение только для «продолжения расы», а ограничение — чтобы на сторону не гулять... Нет уж! — по сравнению с этим «слепая страсть» намного человечнее.

И вот апофеоз маразма, «полное и цельное» присоединение Бебеля к ханжеской морали, вступление в ряды апологетов буржуинства:

Брак должен быть союзом, в который вступают два человека по взаимной любви, чтобы осуществить свое естественное назначение.

В одной фразе — все идиотизмы капиталистической пропаганды! Тогда как с позиций строителя бесклассового общества: 1) брака вообще не должно быть; 2) в брак вступают не два человека, а два юридических лица (винтики государственной машины); 3) число два — относится только к моногамии, которая (по Бебелю) «вытекает из буржуазного порядка наживы и собственности»; 4) всякий союз — это временное объединение, исходящая из рыночной конъюнктуры; 5) заключение сделок (например, брачного контракта) преследует лишь (прямую или косвенную) выгоду, и любовь тут вообще ни при чем; 6) состоящие в браке — лишь стороны договорных отношений и значит, (в этом контексте) они не люди, не личности, а обезличенные «лица»; наконец, 7) у человека нет «естественного назначения» — его назначение как раз в том, чтобы истреблять всяческую естественность, заменять стихию разумным устройством бытия, менять любые законы (в том числе природные), если они человека не устраивают. Этим критический анализ не исчерпывается — но остановимся на круглом числе...

Понятно, что если считать «естественной» и «нормальной» только буржуазную моногамию, тогда

при нормальных условиях почти равное число лиц обоих полов почти повсюду приводит к единобрачию.

Так чтобы мужчину спаривать с группой женщин, из которых каждая спаривается с разными мужчинами — это безусловно исключено, хотя

количественное равенство при таком раскладе соблюдается ничуть не хуже. А чтобы спариваться вообще было необязательно — это вредная ересь, печать вырождения... По бевельской логике следовало бы всех без исключения заставить заниматься сельским хозяйством — поскольку едят и пьют так все. Разумеется, индустриальное производство продовольствия — это не комильфо! и нынешние бевелианцы буйно рекламируют (и навязывают) товары с лейблом «био» (хотя написать можно что угодно — этикетка стерпит).

Но не будем о грустном. В том же переплете есть и другой Бевель, от которого тянет не болотной гнилью, а свежим ветерком (пусть даже с не самыми благовонными примесями). Бевель-социалист критикует буржуазные порядки, не взирая на пол. В частности, моногамный брак вовсе не для возвышенных чувств:

Чтобы брак давал обоим супругам удовлетворяющую их совместную жизнь, для этого требуется наряду с взаимной любовью и уважением обеспечение материального существования и известное количество жизненных средств и удобств, которые они считают необходимыми для себя и для своих детей.

Картина ясная: это не люди, а стая зверей, занятых лишь выживанием, и урывающих все возможное «для себя» — и для «своих» детей — за счет всех остальных. Семья по своей экономической сути враждебна другим семьям — и человечеству в целом. Если к браку все же припутаются любовь и удовлетворенность — это вовсе не от брака как такового, а от способности разума воплощаться в самых неразумных формах, вопреки их ограниченности и уродству (природности). Бевель показывает, что общественный характер производства при капитализме все уводит человека из семьи, ставит его в такие условия, когда он просто не в состоянии отдавать достаточно времени семейным делам — и зачастую недостаточно квалифицирован, чтобы налаживать семейный быт.

Тысячи рабочих, особенно строительные рабочие больших городов, вследствие отдаленности целую неделю не бывают дома и только в конце ее возвращаются в семью. Может ли при таких условиях процветать семейная жизнь?!

... образованию женщины недостает всего того, что необходимо для нее, как матери и воспитательницы.

... мешает приготовиться к обязанностям хозяйки борьба за существование: они должны работать в мастерской или на фабрике с раннего утра до поздней ночи.

Для зажиточных слоев препятствия другие — но результат все тот же. Отсюда логичный вывод:

Становится все более ясным, что отдельные хозяйства с развитием современных условий все более теряют почву, они являются лишь бессмысленной тратой денег и времени.

Зачем из всех сил держать на плаву то, что исторически обречено? Давайте позволим семье умереть — и будем процветать по отдельности, каждый сам по себе. А не как половинки целого, женщины и мужчины. И вот здесь как раз и срабатывает экономическая необходимость: чтобы освободить людей от семейной экономики, придется изменить общественный строй целиком, похоронить семью и классовое общество в одном гробу:

... есть только одно средство для достижения достойного человека будущего — коренное общественное переустройство, которое сделает всех людей свободными.

Сказано гениально. Именно так: *всех людей* — а не женщин или мужчин! Этот процесс идет по нарастающей. Потому что

развитие нашей социальной жизни идет не к тому, чтобы снова заключить женщину в тесный круг домашней обстановки, как этого хотят наши фанатики домашнего очага и о чем они плачут, — нет, это развитие требует выхода женщины из узкого круга домашней обстановки и ее полного участия в общественной жизни, — оно требует ее участия в разрешении культурных задач человечества.

Более того,

Изменилось не только положение женщины, но и положение в семье сына и дочери, которые постепенно добились небывалой самостоятельности...

Таким образом понятие родства теряет экономическую основу — и полностью размывается, становится излишним, уступая место прямым контактам человека с человеком, вне зависимости от биологических и социальных случайностей.

... доктор Шефле приписывает изменившийся характер семьи нашего времени влиянию социального развития. Он говорит: «Через историю проходит выше разобранная тенденция сведения семьи к ее специфическим функциям. Семья отдает одну за другой принятые ею на себя временно функции, она отстраняется, поскольку она вступила лишь как суррогат в выполнение социальных функций, самостоятельными учреждениями права, порядка, силы, богослужения, обучения, техники и т. д., по мере того как эти учреждения образуются».

Словами буржуазного спеца глаголет истина. Но что останется семье, когда *все* ее функции (или то, что таковыми принято считать на данный момент) станут общественными? Экономическая поддержка каждого члена общества — целиком в ведении общества. Про образование — уже сказано. Но и производство биологических тел в конце концов отделят от биологических тел — освободят женщин от (пред)менструального синдрома, кошмаров беременности и родов, от пытки менопаузой... Уже сегодня зачатие фактически отделено от секса, а многие дети рождены суррогатными матерями; один шаг от полного вывода эмбрионального развития за пределы организмов — что обрывает и пуповину, традиционно связывающую личность с органическим телом, а не с куда более значительным неорганическим. Это и будет рождением настоящей человеческой личности, свободной от любых воплощений — и свободно принимающей любые материальные формы.

Неизбежность исчезновения брака и семьи становится совершенно очевидной. В отличие от Шефле, Бебель предрекает и конец всяческих «учреждений» в подлинно свободном, бесклассовом обществе:

Переход всех средств производства в общественную собственность создает новые основы общества. Тогда коренным образом изменятся условия жизни и труда мужчин и женщин в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в области воспитания и брака, в научной, художественной и общественной жизни. Человеческое существование наполнится новым содержанием. Постепенно и государственная организация потеряет почву и *государство исчезнет*, оно как бы само себя упразднит.

Конечно, тут ошибка на ошибке. Общественная собственность — тоже собственность, и она точно так же ведет к эксплуатации человека человеком (хотя, возможно, в несколько иных формах). Даже если «государственная организация потеряет почву» — она не исчезнет сама собой: это не природное образование, а продукт деятельности, и надо прекратить производство государства, поставить на его место нечто совсем иное — производство разума. Однако важен сам принцип: государства быть не должно — во всех его частных проявлениях, включая (наряду с правом, религией, моралью) брак и семью.

Но Бебель пугается собственной смелости, обрывает себя — и быстренько меняет тему, переводит разговор на широкое участие женщин во всех отраслях производства, и в частности, свободу духовного производства, творчества. Остается недоговоренность.

Гнильца внутри. Которая после всего сказанного о свободе позволяет протаскивать классовые реалии через задний проход.

Что современный брак все менее соответствует своему назначению, не отрицает более ни один мыслящий человек...

Но тем самым Бебель (в худших традициях античной и средневековой софистики) протаскивает через задний проход идею невесть откуда взятого «назначения» брака вообще, вне политики и экономики (кто думает иначе — тот уже не «мыслящий») — и допускает возможность реформ, сохраняющих все только что обруганное — в косметически улучшенном варианте: капитализм с человеческим лицом — любимая песенка наемной апологетики.

С другой стороны, совершенно изменившийся социальный строй устранил многие препятствия и замешательства, которые ныне влияют на супружескую жизнь и которые так часто или делают ее совершенно невозможной, или не дают ей развернуться.

То есть, опять всех по клеткам — и совокупляться по регламенту. Хорошо «развернулись»! в смысле разворота на 180 градусов — от социализма назад в капитализм. Ребята, только не надо революций! — все и так замечательно:

Хотя современный порядок вещей и погубил миллионы браков, он, с другой стороны, благотворно повлиял на развитие брака.

И чем же? Оказывается, развитием бытовых технологий, якобы освобождающих женщину от многих домашних дел,

так как промышленность устраивает это лучше, практичнее и дешевле, чем это может сделать хозяйка, и потому в домах нет, по крайней мере в городах, надлежащих для этого устройств.

Об утопичности подобных воззрения мы можем судить по опыту: сотню лет спустя большинству по-прежнему приходится гонять кухонные комбайны и стиральные машины, ремонтировать своими руками (садируя соседей); вовсю процветает как досужее рукоделие, так и домашний бизнес (тоже за счет чужого покоя и здоровья); по-прежнему окружающих достают соседские пьянки или ежедневные упражнения безумно талантливых деток. Что, конечно же, требует держать дома кучу хлама — на всякий пожарный.

Эта революция, происшедшая в нашей домашней жизни и идущая постоянно вперед, существенно изменила положение женщины в семье еще и в другом направлении: женщина стала свободнее, независимее.

Замените ручную мясорубку электрической — и женщина тут же станет свободнее... Полная чушь. Свято место пусто не бывает. Убрать одну несвободу — на ее место встанет другая. Решает не техника — решает человеческая воля, стремление к свободе. А что Бебель уготовит женщинам (опять же — строго отделенным от мужчин)?

В выборе любимого человека она, подобно мужчине, свободна и независима. Она выбирает или ее выбирают, но во всяком случае она заключает союз не из каких других соображений, кроме своей склонности. Этот союз является частным договором без вмешательства должностного лица, подобно тому, как до средних веков брак был частным договором. Социализм здесь не создает ничего нового, он лишь снова поднимает на высшую культурную ступень при новых общественных формах то, что было общепризнано, пока в обществе не наступило господство частной собственности.

Долой официальную регистрацию брака — но сохранили как сделку на словах. Вместо закона — жизнь по понятиям. Но самое веселое в том, что социализм, оказывается, — просто откат наследия средних веков и (как следствие) возврат к античному идеалу, к рабовладению! Когда, якобы, семейное дело держалось на «частном договоре». Последнее просто ложь: не только в античности, но и задолго до нее браки отмечали очень пышно, с обилием церемоний религиозного и светского характера; загсов не было — но уже были брачные контракты (на папирусе или в клинописных табличках). Однако никакие записи ничего не значат сами по себе — это всего лишь зарубки на память. Соблюдать договоренности по понятиям приходится и в устной форме (и даже вообще без форм, как молча подразумеваемое, обычай); отклоняющимся — чувствительно напоминают. А свобода заключения сделок — это чисто буржуазный лозунг, требование рынка:

... даже те лица, которые не склонны к изменению существующего социального строя, находят все же естественным свободный, выбор любви и свободное расторжение возникшего союза.

Суть в том, чтобы вообще исключить из обихода любые союзы — любые договоренности, формальные и неформальные обязательства. Только это называется свободой и независимостью. А не просто дозволенность выбора партнера и даже не возможность заменить одного на другого — при сохранении обязательности выбора.

Если союз, заключенный между двумя людьми, становится невыносимым, приносит разочарование и даже вражду друг к другу, то

мораль требует прекратить подобное соединение, ставшее неестественным, потому и безнравственным.

Вот вам еще кусок буржуазного пирога! Конечно, если свободного человека посадить в клетку — это становится невыносимым. Однако даже при невозможности изменить обстоятельства разум позволяет человеку не опуститься до скотских позывов и вести себя по-человечески. Это и называется нравственностью. Мораль — совсем другое: это про подчинение толпе. Нет формальных союзов — нет и разочарований: люди общаются тогда, когда им это нужно, — и так, как считают нужным. Такое «соединение» просто не потребуется «прекращать»: это часть жизни человека, часть его личности, — то, что остается с ним навсегда.

Принудительный брак является для буржуазного общества браком нормальным, единственным «моральным» соединением полов, всякое другое половое соединение безнравственно. Буржуазный брак вытекает из буржуазных имущественных отношений. Ввиду его теснейшей связи с частной собственностью и наследственным правом он заключается для получения «законных детей», как наследников. И под давлением общественных условий он навязывается и тем, которым «нечего наследовать», он становится общественным правом, нарушение которого государство наказывает, сажая в тюрьму мужчин и женщин, которые живут, нарушая супружескую верность.

Образчик невероятной каши в голове. Экономика, политика, секс — все в куче. Брак всегда был (и остается) способом дележки собственности; однако именно при капитализме отношения родства теряют всякую связь с механизмами наследования: буржуа вправе оставить капитал сторонним партнерам — и лишиться наследства «законных детей»; ограничения этого произвола в развитых капиталистических странах — итог продолжительной борьбы за «демократию» и «социализм» (хотя рыночная регуляция, на контрактной основе, все же преобладает). Таким образом, выяснять, кто с кем «соединяется» уже не обязательно, и «супружеская верность» не имеет ни малейшего отношения к бизнесу. Пролетарский брак в этом отношении ничем не отличается от любых других. Это все равно контракт, экономическое принуждение, которое Бебель скромно называет «давлением общественных условий». Вполне аналогично тому, как слесарю выдают на работе инструмент — но взыскивают за повреждения или применение не по назначению. У вас есть товар — рабочая сила; но продать вы его сможете только нужному покупателю, потому что рынок под контролем капитала. Не будь у

капиталиста таких рычагов — хрен бы он заставил народ плодить рабов! В любом случае ни о каком «соединении полов» речь не идет. То есть, вообще. Современное законодательство разрешает однополые браки — и это ни на что в экономике не влияет.

Сухой остаток: всякий брак бесчеловечен; его можно терпеть и вписывать себя в неразумные обстоятельства — однако тянуть это дурное наследие в будущее было бы кощунственно, противно главному предназначению человека — свободному творчеству, строительству окультуренного мира, в котором не останется никаких барьеров, и все в единстве со всем.

Половое существо

Итак, есть товар — есть рынок. И наоборот. Разделение труда — фундамент классового общества, на любой его стадии, — но при капитализме оно становится всеобщим, затрагивает все сферы материального и духовного производства. В том числе воспроизводство органического материала и его социализацию. Человечья органика до сих пор устроена по животной схеме, с разделением на мужские и женские особи. Во времена Бебеля это казалось вечным и незыблемым, подразумевалось само собой; сегодня мы знаем, что сменить пол — дело нехитрое, и переразвитый Запад на полном серьезе причисляет к правам человека право выбора пола, допуская также поливалентность и принципиальный нейтралитет. Тем самым практически доказано, что пол у человека — вовсе не биологическое качество, а такая же общественная функция, как хлебороб, поэт или педагог. Всеобщность капиталистического разделения труда означает отчуждаемость любых человеческих качеств, их обезличивание и превращение в элемент технологии. Прежде всего это касается материальной оболочки духа, органических и неорганических тел. Но вместе с телами можно продавать и души. И то, и другое в ходе культурного строительства видоизменяется, производится не само по себе, а под определенные общественные функции — что существенно меняет характер протекания телесных и психических процессов. В частности, все это сознательно адаптируется к запросам рынка: подгонка функционала под текущий спрос, рекламная упаковка, сервис и логистика. Половые функции в этом плане ничем не замечательны — и торгуются по той же схеме. Считать их чем-то априорным и вечным — непростительная наивность.

Но верный ученик Платона и Канта предпочитает сохранять идейную девственность — и смело подписывается под цитатой из Шопенгауэра:

Половая потребность есть самое совершенное выражение воли к жизни, вместе с тем концентрация всех желаний... Выражение воли к жизни концентрируется в половом акте, а этот акт есть ее самое решительное выражение.

Ничего кроме мистической мути Шопенгауэр изрекать не умеет — но претензий хоть отбавляй! Бебель чувствует, что приклеился не туда:

Философ Шопенгауэр во взглядах на женщину и ее положение не подымается над обыкновенным мещанином. Он говорит: «Женщина не призвана к крупным работам. Ей отказано в наиболее могучих выражениях жизненной силы и ощущениях. Ее жизнь должна быть тише и незначительнее, чем жизнь мужчины. Она призвана быть детской нянькой и воспитательницей, ибо в ней самой много ребяческого, она всю жизнь остается большим ребенком, чем-то средним между ребенком и женщиной, который один — настоящий человек... Девушки должны воспитываться для домашнего хозяйства и подчиненности... Женщины — самые основательные и самые неизлечимые филистеры».

Филистер обзывает других филистерами! — это в духе Шопенгауэра. Фраза про «волю к жизни» у него означает только волю мужчины — а женщина лишь орудие, аксессуар полового акта — и своей воли у нее нет и быть не может. Разумеется, ни о каком общественном призвании у этих низших существ речь не идет... Их дело — ублажать и рожать. Эдакая смесь секс-игрушки с инкубатором. Никакой логики Шопенгауэр принципиально не признает — и потому не догадывается, что и мужика он тем самым делает придатком члена, самцом, а вовсе не «настоящим человеком». Нет у модного недофилософа людей — а есть только отношения полов. А в этом пункте Бебель ничем не лучше. С одной стороны:

Что касается специально Шопенгауэра, то он, как философ, судит о женщине так же односторонне, как большинство наших антропологов и медиков, которые видят в ней лишь половое существо, но никогда не замечают в ней существа общественного.

Но в той же книге, совсем рядом, — глава 7: *Женщина как половое существо*. Вот как так можно??? Чем г. Бебель отличается от прочих господ, «антропологов и медиков»? Будто насадили его на что-то каким-то местом (с хорошим лубрикантом) — и крутится он как флюгер: то в

социализм, то в убожество, — к вящему удовольствию хозяев. Сначала он решительно осуждает (слишком уж дорогостоящую) предпродажную подготовку женщин (сексуальность):

... социальная необходимость смотреть на брак как на средство существования или как на единственное условие удовлетворения половой потребности и приобретения положения в обществе вынуждает их к такому поведению. Таким образом, и здесь опять-таки чисто экономические и социальные причины то у мужчины, то у женщины вызывают свойство, которое обыкновенно считают совершенно независимым от социальных и экономических причин. Из этого вытекает далее, что, как только общество достигнет таких социальных условий, при которых прекратится всякая зависимость одного пола от другого и оба пола будут свободны, исчезнут суетное тщеславие и модные глупости вместе со многими другими недостатками, которые мы теперь считаем неискоренимыми, так как они будто бы врождены человеку.

Хорошо сказано! Нет у свободного человека никакого (раз и навсегда приписанного) пола — это не биологическое, а рыночное деление, исчезающее вместе с рынком, с системой товарного обмена. Но на той же странице:

Если не находится жениха, то она попадает в ряды многочисленной армии тех несчастных, которые не выполнили своего жизненного назначения и при отсутствии материальной обеспеченности впадают в нужду и нищету и часто бывают предметом насмешек.

То есть, жизненное предназначение женщины (и единственно доступное ей счастье) — половая жизнь и материнство, причем не просто так, а в законном браке! Должна же у автора быть, если не убежденность и последовательность, то хотя бы элементарная порядочность?

Тут же про моногамию европейцев, которая, как выясняется ничем не отличается от турецкого гарема:

Многие мужчины не женятся, считая, что они не могут прилично содержать одну жену и детей. Но двух жен содержать возможно лишь незначительному меньшинству, и многие из этого меньшинства имеют двух и более жен — одну законную и одну или несколько незаконных. Эти привилегированные благодаря своим деньгам делают то, что им угодно.

При том, что и у турок полигамия

доступна лишь ничтожной части мужчин, представителям господствующего класса, масса же живет в единобрачии.

Вроде бы ясно: вопрос только в экономике, и припутывать сюда мораль вовсе незачем. Но следует флюгерное продолжение:

Но полигамия не только противоречит нашим нравам, но и является для женщины унижением, что, конечно, не мешает Шопенгауэру при его презрительном отношении к женщине заявить, что «в общем для женского пола полигамия — благоденствие».

Почему унижением? Что в этом предосудительного? Мещанские нравы человеку не указ. Кому-то нравится парный секс, кому-то групповой, — некоторые вообще предпочитают обходиться подручными средствами... Унижение — секс по указке сверху, по разнарядке, по традиции. Сведение личности к репродуктивной технологии, крепостничество брака. Как одно из проявлений всеобщей системы отчуждения, превращающей разумное существо, разностороннее и свободное, в орган производственной машины, в специалиста, абстракцию рабочей силы.

Буржуазная ограниченность Бебеля сводит на нет его благие намерения: одной фразой он зовет в социализм, другой — в дикую первобытность:

Человек под условием, что удовлетворение его потребностей не приносит никому другому никакого вреда, должен сам распоряжаться собою. Удовлетворение половой потребности — такое же личное дело каждого человека, как удовлетворение всякой другой естественной потребности. Никто не должен отдавать в этом отчет другому, и не призванный не должен сюда вмешиваться. Точно так же, как то, как я ем, как я пью, как я сплю и как я одеваюсь, есть мое личное дело, так и мое общение с лицом другого пола тоже есть мое личное дело. Разум и образование, полная независимость личности, все свойства, которые вследствие воспитания и условий будут более естественны в будущем обществе, охраняют каждого от поступков, приносящих ему вред.

На поверхности — просто замечательно, великий прогресс... Но почему вдруг все опять сведено к «естественным» потребностям — и свойства личности опять объявлены «естественными»? Почему человек не может оставаться творцом своих вкусов и желаний, своих привязанностей и убеждений? Оставьте человеку только естественное — и это уже не человек, а зверь, уступающий в разумности даже домашней кошке.

Рыночная экономика неразумна: она выступает по отношению к человеку как природная стихия, и приходится противопоставлять этой (хотя и второй, но все-таки) природе другие природные силы, чтобы все вместе хоть как-то соответствовало идее сознательной деятельности. Полезные свойства продуктов труда (ради которых они и производятся)

для рынка совершенно несущественны — это опять-таки природные свойства, а единственная культурная черта (заведомо неприродного свойства) — чистое количество, стоимость. Соответственно, отношения людей (поскольку это все-таки не отношения вещей) сводятся к отношению стоимостей, к товарному обмену.

Все это напрямую относится и к половой жизни. Для рынка пол — природное свойство, совершенно несущественное — и потому легко поддающееся формальному учету: нечто вроде наименования и артикула товара на этикетке — параметры, которые предполагаются постоянными на протяжении многих циклов товарного обращения (единственное, что интересно капиталисту). Правила проставления таких кодов — это и есть буржуазное право. У кого имеется правильно составленный паспорт — тот дееспособный; остальные не имеют гражданских прав (места на рынке) и вступают в оборот чисто вещным образом, как собственность правообладателей.

Теоретически, если оставить наедине зверушку мужского пола со зверушкой женского пола, между ними возможны какие-то нерыночные взаимодействия, приводящие иногда к появлению других зверушек; сам по себе этот процесс капиталу безразличен — однако он готов купить производителей по сходной цене, если их продукцию в перспективе можно монетизировать. Борцы за «женский вопрос» делают акцент на купле-продаже женщин: как и всякий товар (продукт, предназначенный для обмена), женщина имеет цену; поскольку же продукт в классовом обществе отчужден от производителя, женщина не принадлежит себе, так что не она продает себя — а ее продают. В этом отношении бордель никак не отличается от семьи — у них лишь разная структура денежных потоков. Феминисток базар возмущает — и они устраивают громкие публичные акции под лозунгом «мое тело — моя собственность», полагая (или искусно имитируя убежденность), что тем самым борются против сексуального насилия и домогательств, за свободу секса, контрацепции и аборт. Глупо. Ну хорошо, давайте раздадим всем тела в собственность. А дальше что? Содержать тело в тонусе — финансов требует; пользоваться им в одиночку — не тот кайф. Поневоле придется выходить на рынок: либо дикий бартер, либо цивилизованная торговля с использованием (принадлежащих кому-то другому) торговых площадок. А чем за услуги платить, если копеечек кот наплакал? Только услугами, отработкой на коммерческие структуры. С чего начали — к тому и придем. То же самое происходило в свое время с раздачей земельных

наделов крестьянам в наполеоновской Франции (или, чуть раньше, у англичан): очень скоро участки оказываются в залоге, а потом и в собственности банков (или земельных магнатов).

Но распиливая людей на половые существа — классовое общество всецело предано принципу равенства полов: мужчин приватизируют точно так же, как и женщин, — и выставляют на рынок без оглядки на личные предпочтения. Точно так же отчужденных от себя мужчин продают капиталу за гроши — включая как органическое тело, так и благоприобретенные качества. Жить-то надо! — хотя и непонятно, зачем. В частности многих мужчин вынуждают (или *очень* убедительно просят) вешать на шею семейный хомут и потом изобразить из себя семьянина (вместе с положенными по брачному уставу ханжеством, скандалами и изменами). Опять-таки, полное равенство: и женщин, и мужчин заманивают в капкан потенциальными выгодами — каждого на свой крючок; отсюда иллюзия добровольности брака, или даже брака по любви. Понятно, что реклама всегда врет, ожидания не сбываются — и в конце концов, выражаясь словами Бебеля (в корявом переводе), «они оба сознают, что они тянут одну лямку»...

Ладно, книжка про женщин — остаемся пока в этой однобокости и разговор о мужской продажности оставим до другого раза. Возьмем навскидку несколько примеров того, как борец за дамские права дает понять, что никаких перспектив по этой части приписанным к букве Ж ожидать не приходится. Потому что филистеры обоих полов, вступая в ряды феминистов, вовсе не отказываются от предрассудков — и сразу оговаривают зависимость женщин (а стало быть, и их общественного положения) от половых качеств — точнее, от того, что тупой обыватель считает природой женщины, изменить которую никто не властен.

Объявляя женщину «половым существом», Бебель автоматически делает таковыми же мужчин — и вообще всех, по отношению к кому возможен «половой вопрос». Это заведомо не люди, а животные — дело которых жрать, испражняться, совокупляться и размножаться во славу капиталистического бога:

Из всех естественных потребностей человека половая потребность, после потребности есть и пить, самая сильная. Потребность продолжить род есть высшее выражение «воли к жизни». Эта потребность глубоко заложена в каждом нормально развитом человеке, и в зрелом возрасте удовлетворение ее является существенным условием его физического и духовного здоровья. Лютер прав, когда говорит: «Кто хочет сопротивляться естественной потребности и не делать того, чего

желает и должна делать природа, тот подобен тому, кто хотел бы, чтобы природа не была природой, чтобы огонь не жег, вода не мочила, человек не ел, не пил, не спал». Эти слова должны были бы быть написаны над дверьми наших церквей, где так ревностно проповедуют против «греховной плоти». Ни один врач, ни один физиолог не в состоянии более удачно определить необходимость удовлетворения любовной потребности в человеке.

Дурно пахнувший букет во всем непотребстве. У человека — потребности человеческие; «естественные» потребности — у зверей. Но даже и здесь стоило бы поднапрячь извилины, прежде чем изрекать! По своему определению, жизнь есть главным образом метаболизм, органически необходимое преобразование одних вещей в другие. Называть это потребностями можно лишь метафорически — поскольку от зверя тут ничего не зависит, и действует он не потому, что ему чего-то хочется, — а потому что не умеет иначе. У человека потребности есть — и каждая деятельность предполагает соответствующую потребность; в частности, воспроизводство органики (используемой как орудие преобразования мира) создает потребность есть и пить — но оно же создает и другую потребность, вытекающую из природы природных тел: это потребность опорожнения — вывода продуктов метаболизма, восстановления готовности к следующему циклу обмена веществ. И эта потребность ничуть не уступает в силе потребности есть и пить — и даже иногда более критична для физиологии. Поэтому даже очень культурный человек иной раз вынужден сделать кое-то в не предназначенных для этого местах — хотя, как правило, стараются выбрать относительно укромный уголок. Животные, если приспичит, особо не церемонятся; аналогично, вконец оскотинившиеся люди могут справлять нужду где попало, ходить под себя. Про эту потребность Бебель молчит — а зря!

С физиологической точки зрения, любая секреция — лишь вывод метаболитов; извержение семени в этом отношении ничем не отличается от мочеиспускания и дефекации — а также откладывания яиц или родов. Поэтому человек как «половое существо» — всего лишь продолжение того «орально-анального» существа, каковыми какое-то время остаются новорожденные младенцы, — и сексологические интерполяции Фрейда зиждутся на вполне солидном основании (при всей неуместности преувеличения роли либидозных движений у человека разумного). Культура вырабатывает привычку к умеренности и чистоплотности — воспитанный человек не будет грубо жрать и срать, и его половые дела

также принимают общественно приемлемые формы. Придавать половой потребности особый общественный статус — все равно что агитировать за строительство ресторанов и общественных туалетов как первую задачу прогрессивного человечества. Да, все это важно — и проблема утилизации отходов всегда будет оборотной стороной промышленности; но почему-то Бебель интересуется лишь половыми органами женщин, а не их способностью питаться и дышать (что сразу выводит на задачи классовой борьбы).

Человеческие потребности (в отличие от животных позывов) — продукт деятельности, и потому они всегда поддаются сознательному регулированию — как индивидуально, так и в масштабах человечества. Сам же Бебель в предыдущей главе живописал манипуляции властей, призванные стимулировать или ограничивать рождаемость. Лишь в самых отсталых сообществах люди размножаются стихийно, как скоты; в большинстве стран (и даже в первобытных племенах!) — это общественное производство, способы участия в котором оговорены заранее, так что рождение ребенка оказывается либо гражданским долгом — либо уголовным преступлением. Заметим, что и все остальные потребности подлежат общественному регулированию: в классовом обществе власти заботятся, чтобы раб не зажрался — и не портил кайф барину, чтобы потребитель покупал что ему впаривают на рынке, чтобы освоение мира не разрушало властную иерархию, и бедняки не лезли в хозяева. Один из таких регуляторных механизмов — брак и семья.

Цитата из Шопенгауэра — совершенно к делу не относится. Но глупость не случайна! Навесить на размножение ничего не означающий (и потому совершенно мистический) ярлык «воли к жизни» — попытка пресечь любые поползновения самостоятельно жизнью управлять. Нет у раба своей воли — а есть лишь абстракция воли, за которой прячется воля господ. Кто не подчиняется господам — тот, по Шопенгауэру-Бебелю, недоразвитый, физически и душевно больной.

Лютер — у Бебеля любимчик, о котором говорится много и охотно. Что заставляет подозревать тайную приверженность религии, которая призывает не «сопротивляться естественной потребности» и делать все, «чего желает и должна делать природа». Но только не вести себя по-человечески, не подвергать сомнению «мудрость» природы — и не пытаться ее изменить. Что еще нужно власть предержащим? Они охотно спонсируют религиозность, пока их привилегии — дело святое. Кто покушается — тот еретик, или еще хуже — безбожник! Лютер не

пытался плевать против ветра — и благословил двоеженство ландграфа Филиппа I, а также право супругов обоого пола спариваться на стороне (при условии, что дражайшая половина будет в курсе: бизнес превыше всего). Феминист Бебель — бальзам и для мужиков:

Каждый член должен выполнять функции, для которых его предназначила природа...

Как там, у Высоцкого: *Тут мы согласны!* Но почему мы должны блюсти природное предназначение, а не сами разумно предназначать?

Законы физического развития человека должны быть так же изучаемы и им должны так же следовать, как законам умственного развития. Духовная деятельность человека зависит от физиологических свойств его органов. Полное здоровье обеих сторон теснейшим образом связано друг с другом. Нарушение деятельности в одной части влечет за собою нарушение деятельности в другой. Так называемые животные потребности не стоят на другой ступени, чем так называемые потребности духовные. Те и другие являются следствием одного и того же организма, и те и другие влияют друг на друга. И это относится как к мужчине, так и к женщине.

Вроде бы, замечательная идея: бытие определяет сознание... В здоровом теле — в здоровом уме. Замечательно, что мужчины и женщины здесь — на одной доске, и можно говорить просто о людях. А у людей, помимо духа, имеется и брэнное тело, без которого дух моментально испарится. Еще замечательнее — о единстве телесного и духовного: это стороны одного и того же. Материальная и духовная стороны деятельности теснейшим образом взаимосвязаны — и влияют *друг на друга*. То есть, не только в одну сторону — от материи к духу, — но и обратно: дух направляет движение материи, преобразует природу. Ура! Ложку меда можно-таки засечь и в бочке дегтя. Добывать алмазы из навозных куч. Но концовка — не изменять же традиции! — за упокой. Оказывается, человеческие потребности — всего лишь «следствия организма», так что животное вовсе не отличается от культурного! Конечно, если все сводить к телу (или выводить из него) — то все едино. Но нам куда важнее заняться поисками человеческого в себе — того, что отличает нас от животных и облагораживает животное там, где оно вплетается в человеческую деятельность. Наша «любовная потребность» — лишь изредка, в каких-то отношениях, может использовать голый секс (чаще в облагороженных формах, когда интересна эротика, а не копуляция); однако основное в любви — это любовь, духовное единство личностей,

вовлекающее в себя всю совокупность вещей, всю вселенную, в которой размножение зверушек одного вида — почти незаметная мелочь.

Но для Бебеля — людей нет, а есть половые существа. Вождь и учитель Лютер сказал на все века:

Женщина так же мало может обходиться без мужчины, как без еды, сна, питья и других удовлетворений естественной потребности, точно так же и мужчина не может обходиться без женщины. Причина в том, что потребность производить детей так же глубоко коренится в природе, как и потребность есть и пить.

Бебель называет это «здоровой чувственностью»! — вздор, это просто дикость; по сравнению с такой «естественностью» — искусственность христианской любви есть великое достижение, громадный шаг вперед. Можно понять лютеровский натурализм — для XVI века его воззрения революционны и прогрессивны, и вообразить себе иные воплощения духа, помимо человеческих тел, было почти невозможно. Начало XX века принесло много нового, и есть над чем задуматься. Всяческие примеры отношений полов, свободных от репродуктивных или брачных целей, были и раньше — но капитализм принес (столь презируемую Бебелем) свободу полового бизнеса: можно все, если это соответствует условиям контракта. Оказалось, что мужчинам вовсе не обязательно искать женщин — а женщинам мужчин: свои рыночные интересы они могут соблюсти и поодиночке, и в самых экзотических комбинациях. Большинство современных людей настолько лишены «потребности производить детей», что приходится соблазнять их всевозможными подачками — либо напрямую принуждать к «исполнению гражданского долга». Необходимости перехода от кустарного производства детей к высокотехнологичной индустрии назрела давно; однако буржуям не выгодно ее замечать (низам нужен кнут!) — а социалисты зовут массы в прошлое, а не в будущее, и мыслят категориями времен Реформации!

Товарищи фыркают по поводу расплодившихся и дико популярных в народе любовных романов — не отдавая себе отчета в важности этого сдвига в общественном сознании, переноса фокуса с публичных деяний на личные отношения. А речь о том, что человек принципиально отличен от животных — и как только экономика позволяет хотя бы отчасти освободиться от телесных потребностей, на первый план выдвигается духовность, способность творчества, — включая сотворение себя как свободной личности, разумного существа. Человек начинает сознавать себя человеком — и требовать человеческого к себе отношения. Пахать

на тугую мощну — это несвобода. Предоставлять свою телесность неизвестно кому для производства других тел — чего ради? — телу можно найти и другие, более творческие применения, искать не животных удовольствий, а возвышенных чувств, на много порядков мощнее и привлекательнее сексуальных радостей. Поэтическая удача, восторг научного открытия, отблеск мудрости, блаженство труда и удовлетворение от собственной разумности... — да в гробу мы видали эти ваши оргазмы! Ну, разве что изредка, в качестве вспомогательных средств. И уж никак не по общественной или природной разнарядке.

Общественное неравенство при капитализме — другая сторона формального равенства. Все имеют право иметь деньги — но не у всех они есть (с чего бы это?). Точно так же, существа любого пола (равно как бесполое или многополое) вправе строить свои отношения с другими на контрактной основе — и все по закону, и никакого притеснения одних другими! Да, конечно:

ежедневно приходится слышать болтовню об «естественном назначении женщины», указывающую ей на домашнюю жизнь и семью.

В частности, от Лютера и Бебеля:

В социалистическом обществе нечего более наследовать, если не рассматривать как предмет наследования вещи личного и домашнего обихода; с этой точки зрения отпадают современные формы брака. Наряду с этим решается и вопрос о праве наследования, которое социализму не нужно будет даже устранять, ибо если нет больше частной собственности, то нет и права наследования. Женщина, таким образом, *свободна*, и ее дети не стесняют этой свободы, а только увеличивают радости жизни. Воспитательницы, подруги, подрастающая женская молодежь помогают ей в тех случаях, когда она нуждается в помощи.

Как обычно, здравница кончается упокоем. Великая идея полной отмены наследования слегка омрачена просочившимися через задний проход исключениями — и для ловкого дельца не составит ни малейшего труда объявить «предметами обихода» все что угодно (включая свечной заводик и домашнюю прислугу); невозможно устранить одну лишь «частную собственность»: любая другая собственность тут же займет нишу, превратится в средство эксплуатации. Отмена наследования — первый шаг революции, *фактическое* уничтожение собственности; никакие революционеры до сих пор этого не сделали, и потому и революций, по сути, не было — только государственные перевороты...

Но посмотрите на эту свободную фемину à la Bebel! Чисто по-буржуйски, ее привязывают к «ее» детям (которые чудесным образом перестают ее стеснять — и только радуют)! Женщина по-прежнему тянет выращивание «своего» потомства собственным хребтом — хотя прочие особи женского (!) пола по мановению волшебной палочки из злобных конкурентов превращаются в сочувственную помощь — в тех случаях, когда уж совсем не вмогуту... Это хуже, чем в первобытной общине, где ребенок считался достоянием общины в целом, а не его биологической матери, — и разрушение этой общности происходило в долгой и упорной борьбе классовых хищников с тысячелетними традициями (о чем упоминает Бебель в той же книге — да еще упрекает Энгельса, который, якобы, не придал достаточного значения этому обстоятельству).

В условиях господства рынка — все намного проще. Кто мешает женщине выгодно продать свое «естество» и расписать по пунктам, что именно дозволено покупателю? Чтобы не лазили не туда в неурочное время. Такой контракт можно по традиции называть браком — не предполагая за словом ровно ничего помимо явно прописанных взаимных обязательств; в частности, можно включить пункт о деторождении — наряду с правом заниматься тем же самым с кем-то еще, без вывода из бизнеса совместно нажитых средств. Точно так же, правила расторжения договора и раздела имущества фиксированы изначально — и никаких проблем с разводом!

И так как исчезнут все условия, которые до сих пор осуждали большое число женщин или к безбрачию, или к продаже своего тела, то мужчины не могут более проявлять своего преобладания.

Это не про светлое бесклассовое будущее — там таких понятий вообще нет; речь о все том же буржуинстве — но «с человеческим лицом». Бебель муссирует якобы «преобладание» мужчин:

Совершенно независимо от вопроса, угнетена ли женщина как proletарка, она угнетена в мире частной собственности как существо половое. Многочисленные преграды и препятствия, неизвестные мужчине, для женщин встречаются на каждом шагу.

Она страдает в двояком отношении: как существо социальное и половое, и трудно сказать, в каком из них она страдает больше. Поэтому понятно желание многих женщин родиться мужчиной.

Некорректность постановки «женского вопроса» становится очевидной на фоне современной действительности, когда поменять пол — дело

обыкновенное, и бывшие мужчины вполне фертильны, а у бывших женщин все в порядке с потенцией. Изменило это ситуацию, хоть на капельку? Нет, все как было. И феминисты по-прежнему маршируют по улицам, бомбят прессу и соцсети. Это их бизнес — и даже если бы не существовало реальных условий для полового неравенства, его бы выдумали, и назначили кого-нибудь на роль врага.

Суть в том, что никакого различия в положении женщин и мужчин (как «половых существ») реально и нет! Есть всеобщее разделение труда, когда каждому достается то же самое — но в других формах, — так сказать, в иной валюте. Мужчины тоже на каждом шагу нарываються на «многочисленные преграды и препятствия, неизвестные женщине» — поскольку женщина не участвует в «мужских» делах. Именно это часто становится аргументом мужей в семейных разборках. Полнейшая симметрия. Правильный разговор — не об угнетении одного пола другим, а об их общей несвободе, об эксплуатации их телесности совершенно бесполом капиталом, точно так же играющим и на других различиях: разделяй и властвуй! Единственно возможное решение «женского вопроса» состоит в том, чтобы устранить господство капитала вместе с навязанными им общественными (а вовсе не природными!) различиями — сделать неуместными любые вопросы.

Но до такой ориентации Бебелю очень далеко. Он бьет себя в грудь и клянется в верности феминизму:

Несомненно, что мужчина и женщина — люди различного пола и что у каждого имеются особые органы, соответствующие половой функции, и что вследствие задач, которые каждый пол должен выполнять для достижения природной цели, существует ряд особенностей в их физиологическом и психическом состоянии. Это факты, которые никто не может и не будет оспаривать, *но ими нельзя обосновывать различие в социальной и политической равноправности мужчины и женщины.* Человечество, общество состоит из *обоих* полов, *они* для существования и развития его *необходимы.* Даже самый гениальный мужчина рожден матерью, которой он часто обязан лучшим из того, чем он обладает. По какому же праву женщине отказывать в равноправии с мужчиной?

И дальше следует глупая антрометрическая цифирь, якобы достоверно подтверждающая факт телесного различия... Выглядит такая «защита» довольно странно: дескать женщины, конечно, устроены не так — но, ладно уж, и они на что-то сгодятся. Как только упираемся в биологию — отсюда вечность «особенностей», и якобы «естественное» неравенство,

вырастить из которого экономику и политику — дело нехитрое. Сказавший «А» да скажет «Б»! Допустите хотя бы одно «природное» неравенство — и за ним потянутся тысячи культурных перекосов.

Человечество не состоит из «полов» — человечество состоит из людей! У которых нет никаких природных качеств — а есть только одно, изначально неприродное, — разум. Говорить о «равноправности» — значит, подразумевать различие, по отношению к которому людей приходится уравнивать. Но если так, почему останавливаться на различии женщин и мужчин? Если у женщины удалены яичники, а у мужчины семенники — они что, оказываются неполноценными «по природе»? Почему не поднять вопрос и об этом равноправии? Вспомним вышеупомянутый эпизод из Фрейда: мужчина-импотент все равно остается главой семьи — это его природное право? Аналогично, почему не запустить кампанию против дискриминации левшей, одноруких, лысых, — или вообще безголовых? Анекдоты про блондинок и сексизм по отношению к ним в кино — чем не повод для создания очередной партии? В каком отношении это к борьбе за социализм? Наконец, почему виртуальных персонажей, вроде Гомера, Козьмы Прутков или Николя Бурбаки никто не считает за людей — и за ними все время выискивают исторические прототипы, биологические тела коллектива авторов? Чапаев как литературный персонаж (или герой анекдотов) — вовсе не то же самое, что биографический факт; они и жили в разные эпохи!⁴²

Мужчина вовсе не рожден матерью! Рождается зверушка — иногда с определенными половыми признаками, иногда сразу не скажешь. Но в любом случае связывает это существо с полом лишь регистрация в официальных органах и запись в документе (который, впрочем, может существовать виртуально, как общественное мнение). Соответственно, воспитание подстраивают под таксономию — а не выводят из природы. Наконец, даже факт рождения — это (как и любой факт) сугубо социальное явление; например, в некоторых культурах настоящим родителем считают мужчину, отца, — а женщина лишь его орудие. Бебелевская аргументация трещит по всем швам и рассыпается в прах.

И так буквально во всем, где Бебель пытается отыскать хоть какие-то физиологические обоснования разделению полов. Диапазон телесных вариаций внутри одного пола значительно шире предполагаемых

⁴² В наши дни стремительно развивается искусственный интеллект — и скоро виртуальные личности начнут массово произрастать вообще без биологических тел!

половых индикаторов. Якобы ученые плодят заявления от фонаря, на которые легко ведется наивный обыватель и чересчур ангажированный политик. Вот, некто Гроссер:

... серьезной причиной меньшего развития женского мозга является то, что мускулатура женщины слабо развита.

Кое-кто у нас, между прочим, коня на скаку останавливает! А у хилого «ботаника» мозги иной раз покруче соответствующей принадлежности мускулистого землекопа или грузчика. Сравнить людей по телесным признакам было бы возможно, если бы ничего кроме этих признаков в деятельности человека не участвовало; по счастью, даже в диком классовом обществе это далеко не так.

Бebelь много рассуждает, что якобы низкий интеллект женщин связан с тем, что «в течение тысячелетий по отношению к женщине поступали и продолжают поступать несправедливо»:

Данное в настоящей книге изложение положения женщины в течение нашего культурного развития делает вполне ясным, что виною значительных различий в духовном и физическом развитии обоих полов является господствующее положение мужчины, длившееся целые тысячелетия.

Но тем самым он признает, что самый тупой мужчина заведомо превосходит разумом умнейшую из женщин! Дескать, они все-таки хуже мужчин — но они в этом не виноваты... Вот куда ведет вульгарное отождествление человеческой истории с животной эволюцией:

Наши естествоиспытатели должны бы признать, что законы их науки вполне применимы и к человеку. Наследственность и приспособление имеют такое же значение по отношению к человеку, как и ко всякому другому созданию природы.

Физиологи единогласно заявляют, что мозговые части, от которых зависит рассудок, лежат в передней части большого мозга, те же, от которых главным образом зависят чувства и настроения, следует искать в средней части. У мужчин более развита передняя часть головы, у женщин — средняя. *Соответственно этому развилось понятие о красоте мужчины и женщины. По греческому понятию о красоте, которое и до сих пор является решающим, женщина должна иметь узкий, мужчина же — высокий и в особенности широкий лоб.* И это понятие красоты, которое является выражением унижения женщины, настолько укоренилось у наших женщин, что они считают некрасивым высокий лоб и стараются исправить ошибку природы прической, свешивая волосы на лоб, чтобы он казался ниже.

Дурная френология. Заметим, что намеренное уродование тел хорошо известно исторически и наблюдалось практически во всех культурах (включая высокоразвитых европейцев, которые раньше доводили себя до анорексии, а сегодня приветствуют боди-позитив). Где-то ценят маленькую ступню и рост; в других местах — низкий череп и длинную шею, выбитые зубы и все такое; тысячи лет народ «украшал» себя татуировками и пирсингом — сегодня эта мода свирепствует по всему «цивилизованному» миру. Легко видеть, что такие видоизменения не имеют ничего общего с биологией — и законы этой науки тут совершенно неуместны. Скорее, наоборот: в классовом обществе это извращенная форма сознания власти человека над биологическим телом, о возможности изменить данное природой ради соответствия иным, неприродным стандартам; в конечном итоге человечество придет к направленной перестройке органических тел как на уровне генома, так и путем добавления искусственных органов — вплоть до полной замены органики.

Понятно, что всякое неравенство работает в обе стороны, — и Бебелю приходится бороться и с теми, «которые даже доказывают, что женщина в морфологическом отношении стоит выше мужчины. Это, конечно, — преувеличение» (потому что мужчина все-таки лучше!). Забавная цитата из Хавелок-Эллиса:

... цивилизованный мужчина в некоторых отношениях ближе, чем женщина, стоит к животным — особенно к обезьянам, что он проявляет «питекоидный» характер, о чем свидетельствует, помимо развития скелета лица, также и длина его членов.

Представления о привлекательности «брутального» альфа-самца и о значительности кое-каких размеров широко распространены и в наши дни — даже если к ним относятся с долей юмора.

Ну, хорошо. Допустим, Бебель убедил нас, что все равны, и надо выстраивать общественную жизнь вне зависимости от половой и прочей атрибутики. Но тот же автор на полном серьезе рассуждает о печальных последствиях полового воздержания у женщин — и считает вступление в брак безусловной необходимостью. Он смело цитирует буржуйскую науку, как от себя:

Крафт-Эбинг говорит о положении женщин как половых существ: «Женщина, по натуре обладающая большей половой потребностью, чем мужчина, по крайней мере в идеальном смысле, не знает никакого другого честного удовлетворения этой потребности, кроме брака...

Поскольку мужики жениться не хотят,

усиливающееся безбрачие делает социальное положение женщины в современном обществе все более невыносимым,

и поэтому на борьбу за женскую эмансипацию следует смотреть

как на справедливое требование женщины создать себе эквивалент того, к чему она предназначена от природы».

Открытым текстом: у женщин есть природное предназначение — и никакой силой от этого клейма им не избавиться. Про брак, правда, существенная оговорка: «только он дает ей обеспечение». Причем не сексом — а условиями для сколько-нибудь сносного существования, возможностью стать хотя бы подобием человека. Перекройте холостым и незамужним все пути — что им останется? Переселиться в иной мир, в бред или на кладбище. А тут еще пугают, что «неудовлетворенность в браке является одной из причин бесплодия»... Спрашивается: почему женщин полагается держать за инструмент для размножения? Кому-то, быть может, бесплодие — великая радость; кому не привалило — есть технологии контрацепции, так сказать, искусственный эквивалент. Нет, Бебель за репродуктивный энтузиазм — и против аборта, который «часто сопровождается очень тяжелыми последствиями». Еще бы оно было иначе! — такая политика: вместо разработки щадящих технологий стремятся, наоборот, отпугнуть робких варварством процедуры — заставить переменить решение.

Конечно, половая потребность не у всех натур дает себя чувствовать одинаково сильно, для ее обуздания можно также многое сделать воспитанием и самообладанием...

Не обуздывать надо — а использовать по назначению, уместно, — как и любую другую вещь, инструмент, орудие труда.

Классовое общество призывает ограничивать потребности — когда денег нет. Разумные люди считают важным добиваться снятия всяческих ограничений, чтобы человек мог действовать разумно, а не под давлением обстоятельств. Вместо разума Бебель подсовывает нам абсолютную половую предрешенность, когда человеку без этого дела шагу не ступить:

... от степени выражения потребностей и жизненных проявлений пола как в физическом, так и духовном развитии и от той формы и характера, которые они принимают, зависит совершенство человека, будь он женщина или мужчина. Каждый из полов достиг своего высшего завершения.

Оказывается, разум на земле достиг завершения в разделении полов — и никакая физиология больше не развивается, и вообще, пора людишек на историческую свалку: дальше им двигаться некуда... На фига тогда строить социализм? В финале реквиема, логическим завершением бибелевской теории половых существ — героизация физиологического подвига:

Женщина, которая рождает детей, несет в общих интересах, по меньшей мере, такую же службу, как мужчина, который, рискуя своей жизнью, защищает страну и домашний очаг от врага, стремящегося к завоеваниям; она рождает и воспитывает будущего мужчину, жизнь которого, к сожалению, так часто гибнет «на поле чести». Мало того, жизнь женщины при каждом роде подвергается риску; все наши матери при рождении нас смотрели смерти в лицо, и многие из них пали жертвами этого акта.

Снова и снова: женщина рождает и воспитывает (в том числе мужчин) — прямо-таки эталон жертвенности и гражданского сознания. Мужикам противоположная «честь» — убивать (в том числе женщин). Что в окопе, что в роддоме; на войне как на войне. Но скажите на милость: кому нужно, чтобы одни рисковали жизнью для того, чтобы дать другим жизнь или отнять ее? Какое такое отечество защищают ваши самцы? Почему вы не можете избавить ваших самок от антисанитарии деторождения — от убийственного акта, и вообще, от репродуктивной повинности? Не надо возвышать грязь — надо отмываться от нее. Включая грязь противоположности полов, из-за которой

... все женщины смотрят на мир по-иному, чем мужчины, и этим снова создается источник разногласий между обоими полами.

Конечно,

в среднем женщины менее ладят друг с другом, чем мужчины, что даже самые близкие подруги легко ссорятся, когда дело идет о том, чтобы привлечь мужчину, и т. д.

С другой стороны, женщина по своей природе более возбудима, чем мужчина, она менее рассуждает, более самоотверженна, наивна, в ней больше страстности, которая подымает ее до поистине геройского самопожертвования, когда она вступает за своего ребенка, когда она заботится о близких, ухаживая за ними во время болезней; она в это время прекрасна. Но в фуриях эта страстность выражается самым отвратительным образом.

Так все и съехало к полному комплекту буржуазных (мещанских) предрассудков.

Однако и на хорошие и на худые стороны прежде всего влияет социальное положение: оно развивает, тормозит или изменяет их.

И на том спасибо! Они, конечно, есть сами по себе — а «социальное положение» лишь «влияет», подкрашивает неприглядность; но что же делать, если классовый мир испокон веков вращается в заколдованном кругу абстрактных противоположностей: господа и рабы, мужчины и женщины, добро и зло.

Чтобы не париться

К одному и тому же можно приходить разными путями. Пусть логика Бебеля нас по-прежнему смущает — но главный вывод мы таки можем сделать вместе: с буржуинством надо кончать. И не просто так — а чтобы оно больше не могло восстановиться, ни под каким соусом. Не возврат назад, — не восстановление кусочков былой приятности, — но честно признать, что бесклассовое общество будущего не может тащить за собой горы отработанного шлама, и нужны новые, доселе невиданные формы общественной организации. Революции прошлого — передел собственности; чтобы не повторяться, надо сделать так, чтобы нечего было делить.

«Борьба за освобождение трудящихся классов не является борьбой за привилегии, но борьбой за равные права и равные обязанности и за ликвидацию всех привилегий», — говорится в социал-демократической программе. Отсюда следует, что половинчатыми мерами и мелкими уступками ничего нельзя достигнуть.

Вот этого акцента не хватало большевикам: они слишком увлекались дележкой экспроприированного и вместо одних привилегий вводили другие. Но партийная программа — такой же рудимент буржуазности, как и сами партии; политические формулы всегда с классовым душком. Бесклассовый человек вообще не знает ничего ни о правах, ни об обязанностях — нет у него таких понятий, а есть разум и человеческое отношение к людям. Право предполагает бесправие; равные права — равное бесправие. Точно так же, равные обязанности — равный гнет. Наша задача — чтобы ничего ни от кого не отгораживать: все, что человек считает разумным, — допустимо и общественно приемлемо; человека разумного никто не может принуждать — даже он сам. Возможно, в начале XX века такое видение было преждевременно и сложиться не могло. Разум пришлось заменить партийной дисциплиной,

а предполагаемые перемены ограничить рамками буржуазных свобод. Бебель не решается шагнуть дальше старых утопистов — и полностью изгнать из социалистического рая всякую принудилровку. Работает все та же классовая логика: достижения цивилизации, уровень благосостояния, надо снова и снова воспроизводить (а по возможности продвигаться вперед); это требует вполне определенных трудовых затрат; поскольку же мы провозгласили всеобщее равенство, затраты будем поровну делить на всех — и существует минимальный порог участия каждого в общественном производстве, обязанность отработать положенное, а после этого гуляй — не хочу!

Социализм согласен с Библией в том, что, кто не работает, тот не должен и есть.

Какой-то христианский социализм. То есть, самое что ни на есть буржуинство. Сюда же еще одна библейская заповедь, категорически-рыночный императив (ты мне — я тебе):

Наиболее высоким в нравственном отношении состоянием является, без сомнения, то, при котором люди относятся друг к другу как *свободные и равные*, при котором правило: «Не делай другому того, чего не желаешь себе» — господствовало бы во взаимоотношениях между людьми.

И это, между прочим, у Бебеля называется атеизмом... Вместе, две христианнейших заповеди — основа основ общества уравнительной справедливости, за которое ратует Бебель — как до него Маркс, а после Ленин.

Но давайте задумаемся: кого мы кормим? Людей? Нет! — всего лишь тела. А человек (поскольку он разумен) — остается человеком даже голодным (и даже после физиологической смерти). Телесные процессы могут служить человеку лишь поскольку они существенны для деятельности, обеспечивают ее соответствующим объектом, становятся орудиями труда — которые человек (вос)производит, совершенствует и заменяет на другие, более отвечающие текущим задачам. Человек трудится не потому, что так положено — а потому что он не может иначе: именно участие в деятельности делает его человеком. Чтобы тело могло выполнять свою природную или орудийную функцию — его надо должным образом содержать и обслуживать; к этому и сводится библейский лозунг. Никакой социальной подоплеки в нем вообще нет!

Заставить все тела двигаться одинаково — это разумно? Глупость. Разум находит свое применение каждой вещи — и дорабатывает ее до

требуемого функционала; одна вещь для одного — другая для другого, и содержать их надо по-разному. Универсален — только субъект деятельности, то, что приводит вещи в движение. И вот здесь как раз важно убрать все преграды универсальности, обеспечить возможность разнообразия, а не соблюсти равенство. Как при этом будут (или не будут) задействованы органические тела — дело десятое. Что не занято в производстве прямо сейчас — пусть хранится на складе, с должной смазкой и кондиционированием. Что приведено в движение — пусть потребляет столько, сколько для этого движения требуется. Здесь нет и не может быть никаких норм. В бесклассовом обществе вообще никто не работает! — там все трудятся, творят, меняют мир. Каким образом каждый будет трудиться — его личное дело, и никакая инстанция не может это решить за него. Социалистическую утопию (по Марксу, Бебелю и прочим) придется вывернуть наизнанку: там нет ни планового производства, ни нормированного потребления, — там вообще одно от другого не отличается. Буржуазное потребительство — от нужды, от страха, от неразумности. Бесклассовый человек потребляет лишь в процессе производства — и продукт его деятельности непосредственно доступен для потребления теми, кому он нужен, — а что никому не нужно, то может без сожаления быть утилизировано — и произведено заново при возникновении общественной потребности; более того, основное в деятельности людей будущего — это именно «бесполезное», игра физических и духовных сил, обнаружение возможностей разума, его способности творить. Маркс подчеркивает высвобождение человека из производственной рутины с ростом механизации и автоматизации производства, когда все меньше приходится отвлекаться на содержание органических тел, — все оставшееся время он называет «свободным». Название в какой-то мере оправданное — поскольку именно там, где человек не связан природными (или классовыми) законами, он занимается собственно деятельностью, сознательным преобразованием, окультуриванием мира (и себя как одной из его сторон), — именно в этом человеческая свобода. Но даже то, что участвует в деятельности природным образом, — уровень свободы, поскольку это не навязано извне, а принято сознательно, как способ деятельности. Чтобы тело могло обеспечивать взаимодействие вещей — его надо кормить; чтобы нож мог резать — его надо наточить; чтобы компьютер мог управлять конвейером — его надо правильно запрограммировать. Все это вещные компоненты деятельности, одно из возможных воплощений духа; его

свобода в том, чтобы задействовать все при необходимости — и снять необходимость как таковую, сделать ее выражением свободы. Ошибка Бебеля в том, что такие компоненты человеческой деятельности он объявляет чисто природными — и тем самым противопоставляет свободу необходимости абстрактно, внешним образом, как вечных врагов. А следовательно, увековечивает и классовую экономику. Такова идеологическая подоплека эмпирионатурализма — и поэтому борьба за уничтожение цивилизации (классовой культуры) означает преодоление всяческой природности, разумное отношение к разуму (как отношение человека к человеку).

Прежде всего это касается свободы подбора материальных представителей духа (субъекта деятельности): мы хотим воплощаться сознательно, а не во что попало, — и отказываемся видеть разумность в (биологических или общественных) организмах самих по себе. Тем более недопустима канонизация одной из возможных технологий конструирования тел (в частности, полового размножения) — или ограничение его какими-либо формальными рамками (брак и семья), чем поголовно грешат прошлые и нынешние социалисты и коммунисты; Бебель не исключение.

Как бы то ни было, сотни страниц бебелевского трактата посвящены догадкам о будущем — где вопросы пола почти незаметны, а основной упор на том, как оно должно выглядеть и переживаться. Так сказать, метод глубокого погружения, фантастика. Подход диаметрально противоположный классике марксизма, где требования момента вытекают из фундаментальной теории — и люди исполняют свою вселенскую миссию, проникаясь грандиозной идеей; у Бебеля иначе: необходимость переворота обоснована характером пожеланий, плохо совместимых с классовой действительностью; это не объективная направленность — а дело принципа; не то, что предстоит, — а то, что следовало бы додумать и совершить. В этом отношении бебелевский социализм мягче, человечнее, — и разумнее, поскольку не стесняет никого неумолимой предрешенностью.

Но чрезмерная пластичность тоже не добродетель. Если одни желания ничем не почтеннее других — их общим источником придется считать нечто к человеку безразличное, природу. Гольный эмпиризм превращается в эмпирионатурализм. Противоположности сходятся: что абстрактная идея, что безыдейная природа, — но люди уже не сами строят не свое будущее, а будущее возникает на фоне общественных

сдвигов, как бы само собой. Вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным, Бебель говорит, например, об отмирании государства:

Постепенно и государственная организация теряет почву и *государство исчезнет*, оно как бы само себя упразднит.

Где видано, чтобы капитал уступил хоть капельку власти по доброй воле? Нет, даже если все бессмысленно — эту бессмыслицу можно передавать из поколения в поколение сотни лет. И само ее сохранение станет мотивом, почвой государственности. Пока не стянут железной рукой. А у Бебеля — естественноисторический процесс:

Государство отмирает постепенно вместе с устранением отношений господства, точно так же как отмирает религия, если исчезает вера в сверхъестественное существо и в одаренные разумом сверхчужденные силы.

Тот же рефрен у Маркса и прочих марксистов. Но вера — не явление природы, это общественный продукт; его будут производить, впаривать потребителю — пока религию не лишат ее экономической базы, средств производства (и в частности государственной поддержки — даже в форме свободы совести). Точно так же классовое общество будет воспроизводить этнические, профессиональные, половые и прочие различия — даже если экономической необходимости в них никакой. Что такое экономическая необходимость? В классовом обществе у каждого класса своя. И господствующий класс всегда сумеет навязать обществу свое видение — объявить свои идеи общечеловеческими. Его не заботит благосостояние масс — и его экономика нацелена на массовое производство общественного неравенства. Это не искоренить никаким равенством — ибо равенство уже предполагает различие. Бебель и ему подобные вместо решения проблемы увековечивают ее, разводя стороны конфликта по разным уровням: равенство — общественное, различия — от природы. Но сопоставлять качественно разные вещи — логическая ошибка: нельзя сравнивать несравнимое — компенсировать недосып перееданием, или наоборот. Нужно так устроить жизнь, чтобы отпала сама необходимость сравнивать — и уравнивать.

Возможно это в полной мере на имеющейся материальной базе? Вряд ли. Более того, ни одно материальное воплощение идеи не может выразить ее во всей полноте. Классовые мыслители подают это как вечное стремление к недостижимому идеалу, и социализм видится им лишь асимптотическим пределом, а не практически реализуемым проектом; но тогда, вроде бы, и незачем грезить о революции: она все

равно ничего не решит — а каждое из ее завоеваний так или иначе достижимо путем постепенных реформ. Снова логическая ошибка — или намеренная софистика: разумный человек вовсе не стремится к абстрактному, самосущему идеалу! — он вырабатывает идеалы, и меняет их, исходя из революционной практики. Совершенствование существующего — отличается от дерзкого эксперимента, попытки идти от противного. Не попробуешь — не узнаешь. Собранный на коленке прототип — сплошное уродство; однако будущее таки за ним, а не за вылизанными до эффектного блеска стереотипами. Красота отличается от красоты, истина — от истинности. Что, конечно, не отменяет ни красоты, ни истинности, — которые хороши на своих местах; пока есть классы — останется актуальной и борьба за «демократизацию» общественного бытия, как другая сторона и предпосылка борьбы за бесклассовое будущее.

Эмпирионатурализм Бебеля (и Маркса) принимает форму веры в безусловную первичность материального базиса в производственной сфере (Маркс) и в быту (Бebelь): бытие определяет сознание. Допуская сознательное переустройство мира, социалисты и коммунисты не делают из этого решительного вывода: сознание тоже умеет определять бытие, и движение духа не сводится целиком к движению материальных тел, к природе. Тем более не дотягиваются мечтатели до идеи полного снятия самого различия бытия и сознания — когда одно становится другим.⁴³ В итоге — технологический фетишизм, наивная убежденность, что достаточно выдать публике очередной гаджет, чтобы возвысить и облагородить ее стремления. Конец XX века наглядно показал: какие угодно чудеса техники не превратят обезьяну в человека. Дикость не исчезает с ростом технической оснащённости — она лишь укрепляется.

Восторги Бебеля по поводу новинок науки и техники — грешат дилетантизмом, иногда превозносят явное жульничество, попытки сшибить деньгу под мифический проект (типа «электрокультуры», прямого воздействия электричеством на рост растений). Нечто похожее сотней лет позже — в истерии вокруг нанотехнологий и квантовых компьютеров: массовыми тиражами выходят книги о том, как здорово будет жить в пронизанном новшествами мире. Сами по себе таки

⁴³ Нечто подобное мелькает в программах советских коммунистов, когда они говорят о превращении науки в непосредственную производительную силу. Но дух не только в науке — и производительной силой он становится везде и всегда. В классовом обществе — стихийно. Разумное общество — делает это принципом развития.

фантазии безобидны — и даже полезны, пока способствуют массовому просвещению, пробуждая здоровый (то есть пытливый, критически настроенный) интерес. Бебелевские тезисы прямо повторены в плане ГОЭЛРО; мысли об индустриализации сельского хозяйства, о логистике, об экологии, об альтернативных источниках электроэнергии, о разумном распределении производств и утилизации отходов — до сих пор актуальны, хотя «зеленые» буржуи (очевидно, в цвет самой буржуйской валюты) сделали все, чтобы их опошлить и сделать опорой классового неравенства.

Как выясняется, к общественным преобразованиям индустрия не имеет ни малейшего отношения. Техника открывает перспективы — но она же вооружает душителей перспектив. Когда всего больше — запросы шире; но без духовного роста — они мельчают, и в сумме все остается как было. Конечно, мысль здоровая:

Социалистическое общество создается не для того, чтобы жить пролетарски, а для того, чтобы покончить с пролетарским образом жизни громадного большинства человечества.

Но понимать это как всего лишь имущественную уравниловку — верх пошлости. Вольтер (следуя античным образцам) говорил о том, как роскошь верхов становится двигателем всеобщего прогресса, стимулом развития производительных сил, из-за чего и низы тянутся к высшим образцам — и понемногу приобщаются к культуре. Французский чернорабочий живет в роскоши по сравнению с советским инженером; от этого Франция (как и Германия, и США) не перестает быть обществом беспощадной эксплуатации трудящихся масс паразитирующим на их плоти меньшинством. Американский миллиардер может быть сколь угодно просвещенным и способствовать прогрессу человечества — это никоим образом не делает его другом американского (или китайского) пролетария. Идеал мещанского социализма: у всех всего много. Но даже если все станут жирными — кто-то окажется жирнее. И потому никто не дотягивает до идеала человека — духовного, разумного существа.

Книга Бебеля — яркая иллюстрация. После вышепровозглашенного исчезновения пролетариата — тут же коммерческое уточнение:

Это общество стремится предоставить каждому возможно больше удобств, но в таком случае возникает вопрос: как высоки будут запросы общества?

Свободным людям вообще не надо измерять свои запросы — они просто их удовлетворяют, и трудятся не для того, чтобы запрашивать, а потому

что это их нормальное состояние, способ бытия. Никто никому ничего не «предоставляет» — все есть для всех. Сразу. А чего нет — то делают. Иначе придется завести профессиональных счетоводов:

Для того чтобы установить это, необходимо известное управление, обнимающее собою все сферы общественного труда.

Разумные существа вполне способны управлять собой сами: у них нет ни малейшего повода устанавливать (себе или другим) какие-то меры и пределы, и уж тем более делать эту нумерологию преимущественным родом занятий:

Как это было когда-то в первобытном обществе, все совершеннолетние члены общины *без различия пола* участвуют в выборах и назначении доверенных лиц, которые должны осуществлять управление.

Шутить изволите? Хороша первобытность, в которой уже есть все элементы выборной демократии (сугубо классовый инструмент)! При том что управление мыслится как особая деятельность — и «общину» тут же делят на управляющих и управляемых, а заодно и на имеющих право («совершеннолетних») и бесправных. Хорошо еще, что хоть по полу не различаем, — но на фоне всего прочего это слабое утешение. Зачем какие-то «доверенные лица»? То есть, одним доверяют больше, чем другим? Почему нельзя каждому по мере сил управлять всем? Тогда и выбирать не надо — не заморачиваться буржуазными играми. Но Бебелю мало прямой демократии — ему надо еще и воспроизвести мухобойный бюрократический аппарат:

Во главе всех местных органов власти находится центральное управление, являющееся, кстати сказать, не правительством, господствующим путем силы, а лишь исполнительным коллегиальным органом.

Как можно дойти до такого цинизма? Буржуи вопят о «разделении властей» — когда решает все власть представительная, а правительство назначается в качестве «исполнительного коллегиального органа» (плюс якобы ни от кого не зависящая судебная власть для разрешения споров). Инквизиторы никого не истязали — они лишь передавали грешников светским властям для проведения (независимого и объективного!) дознания... И костры финансировали из местного бюджета.

В обществе разумных людей, кому понадобится это «центральное отопление» (пардон, управление)? Хочется кому-то вникнуть во что-нибудь? На здоровье! — вы сами себя выбрали. Есть соображения как подправить процесс? — милости просим, и общество прислушается к

каждому мнению: все доступно для (само)проверки и внедрения силам энтузиастов. А не как у Бебеля:

... дело будет состоять не в замещении должностей, доставляющих большую власть, влияние и более высокий доход, а в доверии, которым будут наделяться способные, *все равно — мужчина или женщина*, сменяемые или вновь избираемые смотря по потребности и благоусмотрению избирателей.

Когда все время подчеркивают несущественность половых различий — это прямо-таки подталкивает к мысли: в каких-то других отношениях мужчины и женщины таки не равны? Иначе зачем про пол упоминать? Давайте говорить только про людей.

Далее, с чего бы вдруг одному свободному человеку оценивать способности другого? Да потом еще и не доверять не прошедшим по цензу. Все мы просто люди — и все на все способны. У кого не хватает материальных ресурсов — тут же обеспечить, произвести необходимое. Какие должности? — и слова такого в словаре нет! А тут невинная мордашка, буржуазный наив:

Все должности будут замещаться лишь временно. Таким образом, те, кто занимают эти должности, не приобретают особой «квалификации чиновника», так как отсутствуют длительное выполнение функций и иерархический порядок повышения по службе.

При иерархию властей только что было: «местные органы» (воняет биологией!) таки не равны «центральным». А где есть должности — будет и драка за места, и (конечно же, «самая-самая») номенклатура. Один к одному, современное общественное устройство: классовые барьеры просто закатали в красный цвет — ничего не меня по существу. Вот и весь социализм.

И так — буквально во всем. На каждой странице. Полный разбор полетов распухнет в книгу намного толще бевелевской. Большого смысла в этом мы не видим — и здесь лишь частично воспроизводим заметки на полях, в надежде, что этого достаточно для самостоятельного критического чтения. Спросите: стоит ли читать? Ответ: стоит. Потому что даже в этой, по-буржуйски уродливой форме выражают себя гениальные прозрения и великие истины. Которые каждый вылавливает на свой вкус.

Например, в нашей писанине мы используем в качестве логики (то есть, как вспомогательное средство) иерархический подход, согласно которому любая целостность может быть развернута в иерархическую

структуру по отношению к любой из ее частей (играющей роль вершины иерархии). Поскольку одна часть ничем не лучше другой — то, что в одной структуре располагалось на низших уровнях, в другой окажется на вершине; это называет обращением иерархий, а исходная целостность как единство всех своих обращений — это и есть иерархия как таковая. Отсюда следует, что между любыми двумя уровнями иерархии всегда можно вставить промежуточный — и наоборот, возможно объединить любое количество соседних уровней в один уровень (с соответствующей перестройкой межуровневых связей).⁴⁴ Но у Бебеля читаем в контексте вышеприведенных рассуждений о социалистическом бюрократизме:

В силу тех же соображений является для нас безразличным также вопрос о том, должны ли находиться между центральными и местными управлениями промежуточные ступени, например провинциальные управления и т. п. Если они окажутся необходимыми, их введут, если излишними, — их не станут учреждать.

Да, разговоры про «учреждение» — это страшно, это буржуазно. Однако вот он, принцип иерархичности: для целого совершенно неважно, как именно оно развернется в каждом конкретном случае — любые такие структуры возникают динамически, по ходу деятельности — и плавно перетекают в другие обращения иерархии, следуя логике дела.

И так — буквально во всем. В заупокойной белиберде — яркие искры. После чего думаешь, что не зря жил, — и можно продолжать.

Понятно, что загадывать слишком далеко в будущее — тыкать пальцем в небо. Как раз потому, что будущее не существует само по себе, морковкой перед носом, — его делают люди, и они же в любой момент могут пересмотреть и подкорректировать идеалы на основании накопленного опыта. Мы заглядываем в будущее ровно настолько, насколько мы способны углубиться в прошлое, — и когда настоящее становится прошлым, им же прирастает наше будущее.

Отсюда вывод: угадывать и фантазировать никому не вредно — однако есть и задачи ближнего порядка (что в советской психологии называли зоной ближайшего развития). Бебель тут как тут:

Меры, которые следует принять в отдельных фазах развития, зависят от разных обстоятельств. Средства для достижения цели зависят от времени и обстоятельств...

⁴⁴ В математике структуры, обладающие первым из этих свойств, представлены, например, всюду плотными множествами; второе свойство математически может быть выражено как связность.

Однако тактика бессмысленна сама по себе: она обретает смысл лишь по отношению к революционной стратегии — которая, конечно же будет меняться по мере строительства нового мира. Обычная ошибка — полагаться на природу (русский *авось*), которая сама устроит все ко всеобщему удовольствию:

... бедствия достигнут таких размеров и сделаются в такой степени видимыми и ощутимыми огромному большинству населения, что станут для него невыносимыми и его охватит всеобщее неудержимое стремление к коренному переустройству...

Как же! — охватит... Держи карман шире! В классовом мире бедствия одних — бизнес других, и ни о каких «всеобщих» стремлениях речь заведомо не идет. Всякое бедствие буржуазная пропаганда умеет представить райским блаженством по сравнению с чем-то бесконечно ужасным (вроде прихода к власти коммунистов). Но и социализм можно кропотливо, внедрить в мозги революционеров, что

самым кратким и быстрым шагом были бы всеобщая экспроприация капиталистической собственности и превращение ее в общественную собственность.

Ничего страшного — очередная экспроприация. Одна собственность просто заменяется другой: это знакомо и привычно — и уже не революция, а переворот, передел имущества. Классовое чутье любого буржуа подсказывает ему вывод исторического материализма: возврат к общине означает неизбежность расслоения — а следовательно, и новый капитализм не за горами... И пошло-поехало, по хорошо накатанной дорожке: предъявите права!

Правовая основа та же самая, которая всегда существовала, когда дело шло о подобных изменениях и переворотах, — *общее благо*. Источником права является не государство, а общество; государственная власть является лишь только приказчиком общества, который имеет право управлять и регулировать.

Росчерком пера переход к обществу без классов поставили на одну доску с изменениями классового устройства — буржуи довольно потирают руки! Они же всегда твердили, что грабят народ для его же блага. Любой чиновник убежден, что блюдет общественный интерес; а если и сам поживится — тоже ради общего блага, чтобы эффективнее «управлять и регулировать». Короче, собственность, государство и право — это навсегда, и про отмирание чуть выше автор сболтнул по недомыслию. Точно так же, вместо семьи — нам впаривают другую семью, вместо

религии — другую религию, вместо половой жизни — отношения полов. Шило на мыло — и то осмысленнее.⁴⁵

Почему Бебель ведется на эту дичь? Потому что нет у него привязки революционной тактики к главной стратегической задаче — построению общества, где ни о каких различиях говорить неуместно, и где каждый непосредственно причастен ко всему. Когда свобода — нет нужды одним управлять другим: каждый управляет собой и регулирует сам себя; и это в интересах всех. Значит, никаких властей, никакого права, никаких управленцев — нет государства. Общество — это и есть все мы. А у Бебеля (и буржуйской пропаганды) общество противостоит человеку как абстрактная идея; вот классический пример мешанины в мозгах:

Когда общество в будущем спасет само себя, взяв снова в свои руки созданную им собственность, оно совершит великое историческое дело, так как *будет действовать не в пользу одного, подчиняя ему другого, но для того, чтобы всем обеспечить равные условия жизни и сделать возможным для каждого достойное человека существование*. Это будет в моральном отношении величайшее мероприятие, какое когда-либо совершало общество.

Действует не общество — действуют люди. И создают люди не собственность, а продукты деятельности, полезные всем вещи. Если кто-то объявит себя обществом (у Бебеля в книге есть примеры) и присвоит общественный продукт — это «великое историческое дело» называется классовым расслоением; если самозванные хозяева считают обеспечение людям условий жизни своей прерогативой — это классовое насилие; если люди ждут, что их кто-то чем-то обеспечит, а не обеспечивают себя сами на каждом шагу — это не «достойное человека существование», а подлое рабство. А где рабы — там и мораль, средство навязать толпе воззрения господ под видом общественных свершений. После этого уже не удивляешься, что общество объявляют «организмом, развивающимся по определенным имманентным законам» и «демократией, познавшей тайны своего существования». Тупик.

Поскольку все свелось к распределению отнятого (включая рабочую силу), на место качественной экономики встает количественный учет и контроль:

Самое важное — это установить количества и характер имеющихся в распоряжении сил, количества и характер средств производства,

⁴⁵ Ср. также сегодняшние сказки о криптовалюте как «отмене» денег. Или об искусственном интеллекте как замене (и улучшении) человеческого.

фабрик, мастерских, средств сообщения, земли и почвы и т. д., а также их производительность. Затем необходимо будет определить имеющиеся в наличии запасы и количество товаров и предметов, которое потребуется для удовлетворения потребности общества в течение определенного периода времени.

Эта нумерология нужна лишь там, где люди не могут непосредственно участвовать в производстве — и самостоятельно определять, что и как следует употребить. В разумно устроенной экономике плановость и нормирование — не самоцель, они возможны лишь как рамочные принципы в узкой области, локально, в процессе производства одного продукта; попытки выяснить сколь чего потребуется вообще — глупая фантазия, потому что и ресурсы, и потребности все время меняются, так что важнее (в согласии с единой стратегической линией) научиться быстро перестраивать производство по мере изменения нужд. Но если это делать по-буржуйски — получится обычное бюджетирование:

Подобно тому как ныне государство и различные общинные учреждения определяют ежегодно свои бюджеты, то же самое будет делаться в будущем для всего общественного потребления, причем будут вноситься изменения, обусловленные увеличением потребностей или новыми потребностями.

Такое хозяйство — не от хорошей жизни! Разумный подход — не подгонять потребление под бюджет, немедленно изыскивать средства под возникающие запросы, качественно менять структуру производства. Не создавать устойчивые и регулярные производства, а перенести акцент на изменчивость и творчество. Абсурдный прогноз:

Статистика будет играть при этом главную роль; она делается важнейшей вспомогательной наукой в новом обществе, она даст мерило для всей общественной деятельности.

Вот где кошмар! Только такого мерила нам не хватало. Наше мерило — наш разум, и никакая цифирь ему не указ! Тем более по-буржуйски:

Государственные и коммунальные бюджеты основываются на целом ряде статистических исследований, осуществляемых ежегодно в отдельных отраслях управления.

Кто-то врал про отмирание государства... А тут снова лестница управленцев, да еще и капиталистическое разделение труда, разделение по отраслям. Нет этого разделения — и не нужны статистические исследования. Люди просто знают, что у них есть в данный момент, — и разумно это используют. Почему мы должны загонять себя в какие-то

сроки, гнать план? Мы знаем, что мы хотим получить на выходе — и для этого изыскиваем возможности, прямо сейчас, без оглядки на прочие планы. Чтобы заменить качественное планирование количественным, нужно отделить производство от потребления — то есть одно производство от другого, — и неизбежен обмен, и возврат к рынку. Стоит что-то поделить — тут вам и трения, и кризисы. А Бебель демонстрирует полное непонимание существа дела:

... кризисы порождаются слепым, анархическим производством, то есть, когда производят товары, не зная запасов, сбыта и спроса их на мировом рынке...

Вздор! Кризисы не порождаются игрой стихий — они намеренно создаются капиталистами; это один из методов классового насилия. Если думать не о деньгах, а об удовлетворении потребностей, — откуда кризис? Удовлетворили одну потребность — удовлетворяем другую. Если какие-то потребности удовлетворить не удастся — перестроить иерархию потребностей, заняться тем, что возможно, — включая поиск снятия оставшихся неудовлетворенностей. Это вовсе не слепое, и не анархическое производство: у каждого всегда перед глазами текущие цели и расстановка сил. Без статистики и формальных отчетов.

По большому счету, Бебель эту стратегию смутно чувствует — но сказать толком не может:

... теперь решающую роль играют интересы предпринимателей, в будущем решающую роль приобретут интересы общественные. Производство будет иметь тогда в виду удовлетворение потребностей всех членов общества, а не выжимание посредством высоких цен больших барышей для немногих.

Привычка все мерить на деньги не дает осознать, что удовлетворение потребностей людей невыразимо ни в каких количествах, и не сводится к статическим структурам, где каждому отведено его место:

В социалистическом обществе все эти отношения будут полностью упорядочены, все общество соединено будет солидарной связью. Все будет совершаться по плану и порядку, благодаря чему окажется весьма легким определение размера разнообразных потребностей.

В том-то и суть, чтобы не было единых для всех предписаний — чтобы люди могли свободно намечать что-то для себя — и менять в любой момент, не быть рабами собственных (а тем более спущенных сверху) планов. И тогда «определение средней продолжительности ежедневного общественного необходимого труда» окажется не «возможным» — а

ненужным! Труд как важнейшая жизненная потребность не может быть необходимым — иначе все сводится к работе, к принуждению, рабству. Поэтому не может быть и разделения труда — профессий и отраслевой специализации. Даже если допустить якобы свободу выбора:

Каждый решает, в какой отрасли труда он мог бы работать; наличие многочисленных и самых различных областей труда дает возможность учитывать самые различные желания. Если в одной отрасли труда обнаружен избыток сил, а в другой недостаток, то органы управления примут надлежащие меры и восстановят равновесие.

Нет отраслей — и равновесие вообще не требуется! И невозможно говорить об избытке и недостатке. И не нужны абстрактные «органы управления» — мы просто трудимся все вместе, и каждый делает то, считает разумным. А у Бебеля опять «демократический централизм»:

Организовать производство и предоставить различным силам возможность быть правильно использованными станет главной задачей избранных должностных лиц.

Не нужно нам, чтобы нас организовывали и вместо свободного доступа к любому производству предоставляли «возможность быть правильно использованными» — какова формулировочка! Свободных людей никто не использует; их деятельность разумна — и потому не подпадает под дихотомию правильности и неправильности. Никто за нас ничего не решит — и нам нужно лишь, чтобы нам не мешали решать за самих себя. Даже с оговорками:

Это не начальники, а товарищи, которые выполняют возложенную на них функцию управления вместо производительной деятельности.

На разумного человека никто не может ничего возложить. И управление от производства ничем не отличается: кто что умеет — то и делает! Почему нужно кого-то этой свободы лишать назначением на должность? Тут Бебель заговаривается до последней стадии:

Не исключено, что с усовершенствованием организации и при более высокой подготовке ее членов эти функции будут выполняться поочередно всеми участниками *без различия пола*.

Вся его половая агитация — коту под хвост. Оказывается, что прямо сейчас в начальство принимать без различия пола нельзя — что это отодвигается в неопределенное будущее, когда кто-то решит, что и дамы дозрели до некоторых номенклатурных постов. Хорош гусь!

Ладно. Давайте посмотрим, как товарищи-трудящиеся (которые заняты «производительной деятельностью») и товарищи-начальники

(которые под гнетом возложенной на них «функции» ничего произвести уже не в состоянии) собираются совместно что-то строить.

Труд, организованный на началах полной свободы и демократического равенства, когда один стоит за всех и все — за одного и когда все проникнуто чувством полной солидарности, явится источником творческого наслаждения и соревнования, которые невозможны при современной экономической системе. Этот дух радостного созидания окажет также свое воздействие и на производительность труда.

Как начали мешать розы с навозом — так и продолжаем... Когда труд свободен, полон радостного созидания и творческого наслаждения — это замечательно! Этим труд и отличается от работы и прочего служения. Но пардоньте! — на кой леший тут про равенство (тем более демократическое — то есть, буржуазное)? Кого с чем мы собираемся ровнять? Для чего? Чтобы опять драить друг другу морды (как слово «соревнование» переводится на человеческий язык)? Когда человек делает что-то радостно и с наслаждением, когда ему важно творить, а не сравнивать себя с другими (и тем более никого не побеждать!), — появится у него хоть молекула мысли о производительности? Никогда и ни капли! Все равно как если бы поэт думал не о поэзии, а о количестве страниц... Тогда это уже не поэт вовсе, а ушлый коммерсант и пошлый мещанин! А нам (бе)блеют:

... так как все работают друг для друга, то существует общая заинтересованность в том, чтобы все предметы производились как можно лучше и совершеннее, с минимальной затратой сил и рабочего времени,

Да не работают свободные люди друг для друга! Они вообще не работают — они трудятся, творят, — в свое удовольствие. Нет у них гонки за абстрактным совершенством (которое рухнет при малейшем дуновении времени) — и производят они не «лучше» (чего и для кого?), а как надо, разумно, — сообразуя затраты с разумом, а не с арифметикой.

В этом контексте меняется и отношение к тому, что в классовом мире называют изобретениями и открытиями. Мы можем смело подписаться под гневными словами Бебеля:

Какое множество изобретателей и людей, совершивших новые открытия, погибает в буржуазном мире! Сколько из них было им использовано и затем брошено на произвол судьбы! Сколько тысяч таких изобретателей погибло потому, что не нашлось человека, который предоставил бы средства для осуществления их открытия! Сколько заслуженных изобретателей было раздавлено еще в зародыше, подавлено и подавляется под тяжестью социальной нужды

повседневной жизни, не поддается никакому вычислению. Не люди со светлой головой и пронизательным умом, а те, у кого много денег, являются господами мира, что не исключает, конечно, соединения в одном лице и светлого ума и полного кошелька.

Но в бесклассовом будущем, когда нет разделения на теоретиков и практиков, на мыслителей и исполнителей, — творчество становится обычным явлением, одной из сторон всякой деятельности — другим названием труда. Каждая догадка — такой же общественный продукт, как и все остальное, и она непосредственно доступна всем членам общества без исключения. Никто не навесит на человеческие свершения ярлыки с фамилиями «авторов» — потому что автором оказывается человечество в целом, его совокупный разум. Нас вообще не интересует, откуда что взялось, — нам важно, насколько это разумно, и где уместно.

Взвешивая плюсы и минусы коммунизма, Дж. Ст. Милль говорит в своей «Политической экономии»: «Не может быть более благоприятной почвы для развития подобного воззрения (что общественные интересы являются в то же время и личными), чем коммунистическая ассоциация. Всякое честолюбие, как всякая физическая и умственная деятельность, которая расходуется теперь для личных эгоистических интересов, найдут, естественно, другое применение в стремлении ко всеобщему благополучию».

Браво, товарищ Милль! Здесь Вы на голову выше всех марксистов и Бебеля, для которых предел мечтаний — когда «удовлетворение личного эгоизма и содействие общему благу гармонично сливаются одно с другим». А у Милля — нет больше противоположности, общественное тождественно личному — и не требуется ничего «гармонично сливать». Поэтому нет и никаких «эгоистических интересов», и что бы человек ни делал — будет к общему благу.

С другой стороны, дело идет о том, чтобы сделать доступным для всех удовлетворение тех потребностей, которое ныне доступно лишь меньшинству, а при более высоком развитии культуры возникают все новые потребности, которые также должны быть удовлетворены. *Нужно постоянно повторять, что новое общество не станет влачить пролетарское существование, что оно будет жить так, как того требует народ с высокоразвитой культурой...*

Вот еще одна замечательность Бебеля — до которой большевики так и не доросли. Но что значит — культурно жить? Всего лишь подражать буржуям — чтобы как у них, но для всех? Очевидно, нет. Изменяется не только доступность культурных достижений — изменяется и характер

потребностей. И тут выясняется, что и Бебель не дорос до самого себя. Его утопическое общество

будет в состоянии удовлетворять не только все свои материальные потребности; оно должно также предоставить всем достаточное время для художественного и научного образования, а также и для отдыха.

О каком отдыхе можно говорить там, где люди трудятся с «духом радостного созидания»? Почему надо противопоставлять материальное производство и рефлексию? Есть возможность чем-то заняться — и люди это делают, без надуманной надобности, по велению сердца и разума. А Бебель живописует тот самый казарменный коммунизм, которым буржуи всегда пугали буржуйского обывателя:

Производиться будут товары самого лучшего достоинства, не подвергающиеся быстрой порче.

Безвкусица, глупости и безумства в сфере моды, которым потворствует расточительность, также исчезнут.

Вместе с безумствами в сфере моды платьев исчезнут подобные же глупости и по отношению к стилю жилищ.

Наши представители художественных ремесел не знают более, что им делать с моделями и образцами. Едва они успели приспособиться к одному какому-нибудь «стилю» и надеются покрыть сделанные затраты, как появляется новый «стиль», который снова требует больших затрат времени и денег, физических и духовных сил.

То есть, руководящие товарищи определяют, что следует производить, а что не следует, — как всем отовариваться (заметьте: производство все равно товарное!), как одеваться и как обустраивать жилье... Ну и, конечно, никакого разброда в мыслях! — нечего мозги лишней раз утруждать.

Допустим, что во времена Бебеля моральное устаревание вещей было не столь стремительным, как в наши дни. Делали по старинке — на века. Но о какой «высокоразвитой культуре» может идти речь, если велением свыше обрубить доступные для творчества направления — оставив лишь доступное начальственному пониманию? Творчество как раз и предполагает бесконечность вариантов, разнообразие вкусов и мнений, возможность попробовать, определиться со своими желаниями. Мы не «приспосабливаемся» к чему-то одному — мы приспособливаем мир к себе. Какая разница, сколько чего для этого потребуется! Это не «затраты», а приобретение, освоение новых областей культуры. Буржуи наших дней вопят про общество потребления — и *принуждают*

население все время менять привычки, выводя из оборота якобы устаревшее и заполняя пустоты очередной дрянью (как правило, дороже). Но это другое: у разумных людей перемены не самоцель — это выражение их свободы, когда никто никого не может заставить хавать что дают. А Бебель не видит различия и мечтает о блаженстве покоя:

Социализм снова внесет большую устойчивость в жизненные привычки общества; он сделает возможным покой и наслаждение и освободит людей от царящих в наше время торопливости и возбуждения. Нервность, этот бич нашего времени, тогда исчезнет.

Вздор! Нервы — не от разнообразия, а от страха, от угрозы в любой момент все потерять и невозможности этому противодействовать; вовсе не нужно возрождать патриархальную медлительность и тугодумство; счастье — не всегда покой, и блаженства свершений никто не отменял.

Не диктат, не единообразие — а свобода. Когда хочется — бежим, когда захочется — стоим как вкопанные. По какому поводу париться? Исчезнут сами понятия покоя и наслаждения: если одно дело столь же прекрасно и радостно, как другое, — перемены лишь продолжают уже изведенное, а одно удовольствие неотлично от другого. Включая рост круга доступных удовольствий, возможность трудиться по-разному:

Одна из потребностей, глубоко коренящаяся в человеческой природе, состоит в стремлении к свободе выбора и разнообразию занятий.

Закрывая пока глаза на очередную уступку буржуям (про «человеческую природу») — замечаем, что здесь автор опять противоречит себе (см. выше про специализацию и должности). Мы вполне согласны с Бебелем разумным:

В каждом человеке имеется ряд способностей и склонностей, которые нужно только пробудить и развить, чтобы они при применении к делу дали самые превосходные результаты. Лишь тогда человек становится совершенным человеком.

Именно так! Дайте людям возможность пробуждаться и развиваться во всех направлениях — и фейерверк талантов гарантирован.

В то же время достигнет своего полного развития искусство вместе со всеми прочими красотами человеческого существования. Земля не будет более исковеркана, так сказать, геометрическими фигурами, проводимыми земледелием, а превратится в сплошной сад, в котором смогут свободно произрастать травы и цветы, кустарники и леса и в котором человеческий род будет жить в изобилии, в царстве золотого века. Человек не впадет от этого в лень и разврат. Счастье

невозможно без труда, и человек будет работать столько же, как и прежде, ибо он будет трудиться для себя, для своего умственного, нравственного и эстетического усовершенствования.

Это не Бебель. Это пересказ речи Марселена Бертло. Который верил в могущество науки — и возможность через науку плавно менять мир к лучшему. Революционер Бебель насчет представлений о труде для себя хиловат — и принимает выводы лишь с оговорками:

Каждый читатель может считать в этой речи верным то, что ему угодно, но несомненно то, что в будущем благодаря разностороннему прогрессу доброкачественность, количество и разнообразие предметов увеличатся в неизмеримой степени и что жизненные удобства будущих поколений улучшатся так, как мы это едва ли можем себе представить.

За бортом рассуждения о покое, об унификации и производственном регламенте... Теперь в фаворе разнообразие. Ладно, путь будет.

Не только будет существовать возможность считаться с потребностью в разнообразии труда, но удовлетворение этой потребности станет целью общества, ибо на этом основано гармоническое развитие человека. В настоящее время существует крайне незначительное число людей, имеющих возможность разнообразить свою деятельность. Изредка встречаются счастливы, которые благодаря особым обстоятельствам избавились от однообразия своей профессии и которые после физической работы отдыхают, занимаясь умственным трудом. И, наоборот, встречаются лица, занятые умственным трудом и в то же время занимающиеся каким-либо ремеслом, садоводством и т. д.

Казалось бы, вывод: специализация — бич классового общества, гнет разделения труда, и надо прикрыть базар, чтобы уйти от этой дикости, от все еще пропитывающей человека животности. Но у Бебеля другие ориентиры, с точностью до наоборот:

Каждый гигиенист подтвердит благотворное влияние деятельности, основанной на смене умственного и физического труда; *лишь такая деятельность естественна.*

Человека опять изображают собакой, которую достаточно правильно кормить, выгуливать и дрессировать, чтобы обеспечить ей ее собачье счастье... Кто у нас главный авторитет по части такого счастья? Граф Лев Толстой:

Он осуждает самым суровым образом презрение к физической работе, столь распространенное в современном обществе, и советует возвратиться к естественным отношениям. Каждому человеку, желающему

жить естественной и полной жизнью, следует проводить день, во-первых, в физическом труде, во-вторых, заниматься ремесленным трудом, в-третьих, заниматься умственным трудом, в-четвертых, иметь духовные связи с образованными людьми.

Последний пункт — изящное напоминание, что есть и необразованные, что вся эта наука писана барином для бар, от скуки готовых поиграть и по этим правилам.

Таким образом, существующая противоположность между умственным и физическим трудом, противоположность, которую господствующие классы всемерно обостряют, чтобы обеспечить за собой также и духовное средство господства, должна быть уничтожена.

Но снова, предел мечтаний — «гармоничное сочетание» (à la Tolstoï), а не уничтожение самого этого различия (и всех прочих различий) — для чего требуются другие технологии, другой способ производства, не предполагающий разрыва между производством и потреблением.

К этому Бебель вполне логично и перетекает. Деньги Бебель предлагает отменить. Для этого он готов отказаться от выложенного несколькими страницами раньше тезиса о товарном производстве при социализме:

Новое общество производит уже не «товары» для «купли» и «продажи», а предметы для удовлетворения жизненных потребностей, которые должны быть использованы, потреблены, так как это их единственное назначение. Раз имеются в наличии средства производства и рабочая сила, то всякая потребность может быть удовлетворена: потребительная способность общества находит свою границу только в *полном удовлетворении потребителей.*

Вроде бы, все по уму. Хотя не мешало бы добавить, что и средства производства, и потребности людей — тоже общественный продукт, который можно и нужно производить разумно, а не под рыночную гребенку. Но дальше возвращаемся в рынок:

Общество не хочет «заработать», ему нужно лишь осуществить в среде своих членов обмен предметов одинакового качества и одинаковой потребительной ценности; да, собственно говоря, ему нет даже необходимости устанавливать потребительную ценность: оно производит то, в чем нуждается.

Конец фразы — совершенно верно; но тогда, скажите на милость, в какое место прикручивать заявленный здесь же обмен? Причем обмен количественный — поскольку предстоит уравнивать качество и пользу. Такое количество в политической экономии называют меновой

стоимостью; вещь, произведенная не для удовлетворения потребности, а на обмен — называется товаром; выраженная в единицах какого-либо товара меновая стоимость — это ее денежный эквивалент. Поэтому совершенно правы оппоненты Бебеля, которые никак не могут понять, о каком «уничтожении товарного характера продуктов труда» идет речь, если вовсю процветает купля-продажа:

Какой-либо сертификат, печатный листок бумаги, кусок золота или жести свидетельствует об исполненной работе и дает владельцу его возможность обменять эти знаки на самые различные предметы потребления.

Их бесполезно убеждать,

что в конце концов существует только социалистическое общество, а не социал-демократическое «государство».

Потому что Бебель сам перед этим призывает к демократическому формированию органов управления, отличных от управляемого — вплоть до «центрального управления», отличие которого от государства ни в какой микроскоп не рассмотреть. Бебель зря издевается над якобы абсурдными замечаниями буржуев, что любые дензнаки в основанной на обмене экономике возможно использовать для эксплуатации человека человеком, для восстановления общественного расслоения и классового неравенства. Сегодня мы по опыту знаем, как самые невинные, казалось бы, игры с «сертификатами» превращаются в средство первоначального накопления, ограбления масс; изобретательность торгашей не знает предела. Только решительное уничтожая отчуждение общественного продукта, предоставляя доступ к плодам общего труда всем без изъятия без каких-либо оговорок и опосредований, можно искоренить рынок, давить капитал в зародыше. Тем более нельзя превращать в товар главное достояние разумного человечества — способность трудиться, без оглядки на какие угодно утилитарные соображения. Чтобы не продавать труд за «кусочек золота или жести» — а просто общаться с людьми, вместе жить и вместе делать общее дело. Превращать труд в отработку по невесть кем придуманной разрядке — преступление перед разумом.

Уступки капитализму у лютеранца Бебеля закономерно перерастают в религиозную проповедь. Дескать,

библейское изречение: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» — коснется также и героев биржи и трутней капитализма.

Но библия — дурной ориентир! Задача разума — сделать так, чтобы вообще никому не нужно было бы выгрызать что-либо «в поте лица». Однако мы здесь обращаем внимание на мерзкую оговорку по Фрейду: оказывается, «герои биржи» и прочие «трутни» никуда не исчезнут — их существование лишь подмочено обязательными отработками.

Но работа, которую они обязаны будут исполнять в качестве равноправных членов общества, не будет подавлять их, а их физическое состояние значительно улучшится. И они и их наследники избавятся от всяких забот и будут чувствовать себя превосходно.

Равноправные трутны — это очень пикантно! По советскому опыту мы знаем, как умеют господа откосить от любой обязаловки, заменить ее показухой. И это, конечно же, их вовсе не подавляет, и физически они в норме (если не сопьются от безделья). Поскольку же Бебель обещает еще и сохранить нажитое правдой и неправдой для законных наследников — переживать буржуям вообще не зачем!

Далее про «четыре ступени общественного развития» (видимо, считая с первобытности, плюс три классовых формации), и «четыре разных понятия о нравственности», ни одно из которых не дотягивает до «высшего нравственного понятие». Даже не зная, что имеется в виду, можно заподозрить неладное: развитие разума идет от одних идей к другим — и никакой высшей точки в нем не предусмотрено; нам всегда есть, куда расти. Как только поставили границу — жди очередной поповщины: «не делай другому того, чего не желаешь себе»... В этом плане у буржуев полнейшая идиллия: они грабят массы руками наемных рабов, которые очень даже желают такого рабства, — а по отношению к ним буржуй не тиран, а благодетель.

Всякую абстракцию легко превратить в бич божий. Тем более, если заимствовать абстракции из классового (и религиозного) опыта:

В средние века человек оценивался в зависимости от своей родословной, в наше время решающее значение имеет его богатство, в будущем человек будет оцениваться как человек.

Что значит: «как человек»? Для христианских попов, например, один человек отнюдь не родовитее другого — все под богом... Точно так же, абстракция равенства неизбежно оказывается равенством рыночных эквивалентов:

Нет никого, чей личный интерес не совпадал бы с общественным интересом, состоящим в том, чтобы все устроить и сделать наилучшим, наиболее целесообразным и наиболее выгодным для всех.

С одной стороны, слова о совпадении личного интереса с общественным греют душу, — но как чертик из табакерки выскакивают невесть откуда взятые критерии хорошесть и целесообразности — а сказки о всеобщей выгоде напрямую списаны у буржуазных экономистов. Когда личное совпадает с общественным — никому дела нет до целесообразности или выгоды: мы просто делаем, что считаем нужным, разумным, — и не нуждаемся в оценках и мнениях.

Бebelевская утопия разделяет печальную участь прочих утопий: когда нет целостного (или хотя бы цельного) мировоззрения, когда господствует эмпирия и натуралистические иллюзии, когда идеалы воздвигают на песке благих пожеланий, — никакая убежденность в пагубности наличных порядков и необходимости перемен не спасет от пережитков прошлого, от трещин и гнилостей, перенесенных в якобы социалистические фантазии из глубин филистерского сознания, для которого самое страшное — столкнуться с недоступным пониманию, не имеющим аналогов в окружающей обыденности. Новые направления в искусстве — шокировали обывателя; смелые идеи в науке — с боем утверждали себя в качестве академического стандарта; гениальные находки в философии до сих пор за горизонтом философской эрудиции. Обуржуенный «социализм» сразу же становится частью истеблишмента, дозволенная игра в революционность не перерастает в революцию. Бeбeль оправдывает благонравие социал-реформизма:

Но ведь нельзя произвольно создавать государство или общественный строй, коренным образом отличающиеся от предшествующего; это противоречит всем законам, по которым образуется и развивается государство и общество.

Нельзя. Если мы не собираемся ничего *коренным образом* менять. Если мы приняли все как есть — и не замыслием ничего противозаконного (то есть, разрушающего зависимость человека от природы и недалеко ушедших от нее классовых общественных установлений). Революция начинается там, где человек осмеливается (хотя бы в душе) отбросить все, чем мир «образуется и развивается» сегодня — и предложить реальные альтернативы, совершить скачок в немыслимое. Когда-то от такой «произвольной» замены пятого постулата Евклида родилась неэвклидова геометрия. Началось с игры абстракциями — пришло к единству пространства и времени, без которого невозможна современная физика, и современные технологии — современный быт. Точно так же, решительный отказ от классовой экономики и классовых

общественных форм — по логике потянет за собой невиданные доселе формы бесклассовой жизни и деятельности, которые никогда не свалятся на нас природным благодеянием — которые надо делать руками и разумом, по образу и подобию нашего духа. Разумеется, с точки зрения начальства это произвол, криминал и аморалка. Господа постараются не допустить подобных теорий; если недоглядели — ограничить к ним доступ, не публиковать; если же все-таки прорвалось в массы — тогда устроить образцово-показательную порку, уничтожить убежденных и опошлить убеждения.

К сожалению, мы еще не живем в те счастливые времена, когда человечество сможет *свободно* дышать.

Свобода — ключ ко всему! Пусть нам пока не дают пересоздавать этот мир (и создавать новые) — но мы уже можем понемногу воспитывать себя и окружающих в духе возможности такого пересоздания, мечтать о несбыточном и выяснять, почему оно несбыточно, и можно ли поменять условия, хотя бы локально, — чтобы попробовать, и подправить мечты.

Воспитание утопленников

Воспроизводство разума отличается от воспроизводства живых и неживых тел своей разумностью. Казалось бы, что проще? Ждать, пока из мерзких скотов вылупятся ангелочки — не дождетесь!

Как известно, никаких ангелов не существует, да мы в них и не нуждаемся. С одной стороны, люди находятся под влиянием условий жизни, с другой стороны, они сами влияют на условия жизни, и это последнее будет иметь место тем чаще, чем лучше люди будут знать сущность общества, которое они сами образуют, и чем сознательнее они будут применять свой опыт к общественной организации. Это и есть социализм.

Люди производят самих себя — как и тот мир, в котором они живут и собираются жить. Но это вовсе не означает, что самостроительство следует схеме капиталистического разделения труда: кто-то нарисует чертеж — кто-то чертхается... Однако Бебель (как потом и Ленин) мыслит партийно (то есть буржуазно):

Нам не нужны другие люди, нам нужны лишь более умные и более сознательные люди, чем сейчас, и для того, чтобы сделать их умнее и сознательнее, мы агитируем и публикуем книги...

То есть, есть «мы» (хорошие, правильные) — и всяческие «люди», которые «нам» нужны для чего-то — и мы собираемся их «сделать»,

подвести под стандарты «ума» и «сознательности». Пока «мы» не у власти — остается только словесно воздействовать (ну, или кулаком в подворотне); когда социалисты возьмут власть — воспитывать будут другими средствами, по государственному.

Теперь, как говорится, найдите десять отличий — от разумности. Долго перечислять не будем — достаточно указать, что сделать можно лишь вещь, а человек всем становится сам — хотя и не без помощи со стороны других людей, для чего люди по-человечески общаются (а вовсе не наставляют друг друга на «истинный» путь). В частности, общаться можно и через книги — из которых каждый возьмет разумное лично для него. Более того, общение — другая сторона всякой деятельности, так что и на производстве люди общаются, и в быту; не следует путать это с производственными отношениями (включая бытовые, семейные и т. д.): в процессе производства люди взаимодействуют через объект (продукт деятельности) и потому ограничены производственной задачей — и воспринимают друг друга инструментально (утилитарно), как способ воздействия на природу; собственно человеческое, духовное общение начинается там, где объект вынесен за скобки — и люди интересны друг другу сами по себе, безотносительно к характеру деятельности. Движение духа невозможно без материи — но при этом оно остается относительно независимым от конкретных воплощений, которые, скорее, подсказывают направления роста, а не железно определяют «сознание», как у вульгарных материалистов.

Материальные и духовные интересы идут рука об руку, одно не может существовать без другого; между тем и другим существует связь, как между телом и духом, разделить их — значит убить их.

Бebelь процитировал удачную формулу фон Тюнена (1826) — но не усмотрел в нем ничего, кроме все той же однобокой вульгарности: чтобы качать дух — надо обеспечить материальные условия; как только у всех всего много — сами собой станут «умными и сознательными». Этим же грешили и Маркс, и особенно Энгельс, — но их хотя бы можно понять: первым делом предстояло бороться с идеалистическими воззрениями на историю, и всячески упираться на роль экономики. В конце XIX века обстановка другая — и на первый план выходит созидательная роль идей, направленность истории — ее существенная неприродность. Социалисты же по инерции выводят духовность из материи, якобы развивающейся по каким-то нечеловеческим законам, которые люди могут только познавать, чтобы лишь приспособиться к ним. Роль

законодателя (или толкователя законов), конечно же, берут на себя власть предрежащие, для которых духовность не только недопустимая роскошь, но и прямое посягательство на устои.

Обитателей бебелевской утопии предполагается осчастливливать чисто количественно: привести достижения культуры к единому (то есть, денежному) эквиваленту, собрать до кучи и распределить по возможности равномерно:

Для социалистического общества важно, кроме того, чтобы все имели одинаковые условия воспитания и жизни, чтобы каждому была предоставлена возможность развить свои знания и силы соответственно своим склонностям и способностям, и это обеспечит то, что в социалистическом обществе знания и способности будут не только более высокими, чем в буржуазном, но также более *равномерными* и в то же время более многообразными.

Начало замечательное: суть бесклассового образования не в том, чтобы впихнуть в каждого положенный минимум, а в создании условий (как экономических, так и духовных) для самостоятельного развития в каких угодно направлениях, без каких-либо заранее заданных ниш. Но пафос скисает на второй половине: предполагается, что знания и способности возможно оценить количественно — причем по буржуазным критериям (иначе сопоставить уровни было бы невозможно); соответственно, оказывается возможным и количественное сопоставление одних людей с другими — а значит и противопоставление одних другим. То есть, если у нас накопилось скрипичного исполнительства или теоретической физики на миллиард фишек — раздать десяти миллиардам население по десятой части фишки, чтобы обеспечить «равномерность». И так по каждому артикулу складского учета (требование «многообразия»). Остается только согласиться с Бебелем, что (в этой постановке) «вопрос об образовании является по преимуществу *вопросом денежным*». Пока деньги поровну не делятся — «одинаковый уровень образования для всех невозможен».

Помешательство на количествах — тяжелое наследие рыночной экономики. Бебель на все лады повторяет заклинание: одинаково, одинаково, одинаково...

В новом обществе условия существования будут одинаковы для всех, потребности же и склонности будут различны и останутся различными, ибо они коренятся в природе человека; но каждый может жить и развиваться сообразно с одинаковыми для всех условиями существования.

То есть все разнообразие — от природы, а социализм нужен, чтобы всех сделать одинаковыми. Хотя на самом деле как раз наоборот: природа (включая классовую) всех уравнивает, ставит на одну доску — а назначение разума в том, чтобы выявить разнообразие мира, связать воедино все возможные в нем различия. Не подводить условия жизни под общий для всех стандарт (эдакий вселенский глобализм) — а дать каждому возможность создавать обстоятельства по своему усмотрению, и не жить «сообразно» им — а свободно заменять одни другими. Бебель может сколько угодно заявлять:

Приписываемое социализму шаблонное равенство является, как и многое другое, бессмыслицей.

В его утопии люди беззащитны перед стихией:

Общество развивается сообразно присущим ему законам, которые и руководят его деятельностью.

Как минимум, уже эта всеобщая покорность судьбе — делает всех исторически неразличимыми, топит в безразличии абстрактной идеи.

Удивительно, что при безмерной ограниченности противников социализма никто из них еще не утверждал ради «увенчания» здания шаблонного равенства, что, мол, в социалистическом обществе каждый будет получать одинаковую порцию пищи, одинаковое белье и платье, сшитое на одинаковый рост.

Им и не нужно это утверждать! За них это утвердил социалист Бебель, который в той же книге объявляет крестовый поход против разнообразия вкусов, против моды, «неестественности» архитектуры, предметов быта, интерьеров, — против «извращений» в искусстве. А заодно и против разнообразия человеческих отношений — включая формы любви. Чуть позже униформенный причесон пытались осуществить не на практике социалисты разных стран, и кое-где оно удержалось до сих пор. Стоит ли говорить, что подобные отрывки эмпирионатурализма — всецело буржуазны? Как только людей делят на противопоставленные друг другу (по любому признаку) группы — возникает и дресс-код, и жаргон, и клубная этика... Так что удивляться, если пресса и беллетристика насквозь проникнуты тем же духом и несут в массы именно его?

В этой обширной и важной области будущее общество предпримет основательную чистку. В ней будут господствовать исключительно наука, истина, красота, борьба мнений во имя добра.

А решать будет господин-начальник, а в помощь ему автоматчики на вышках... Это называется: высшая справедливость.

Билет в один конец (из природы в общество) автоматически губит всякую инициативу снизу:

Человек есть продукт времени и обстоятельств, среди которых он живет. *Таким образом, тем, чем становится отдельный человек, он обязан обществу.*

Кого куда поместили — тот там и помещается... Что внедрили — то и в обязанность. Разумный человек никому ничем не обязан. Он сам себя строит. И этим интересен всем остальным. Но Бебель и прочие — не могут допустить, чтобы ученик учил, а воспитуемый воспитывал. Для эмпирионатуралиста культура — готовый продукт, который следует усваивать как есть, приспособливаться к среде обитания. В обществе разума — культура как раз и возникает в процессе приобщения к ней самых разных людей, которые никого не повторяют, а наоборот, вносят в общую копилку свою неповторимость.

Заметим, что у бебелевского пафоса — вполне разумная мотивация: в противовес собственническим лозунгам, было важно подчеркнуть, что любое производство есть совместный труд всего человечества, и любой продукт всегда будет общественным продуктом:

Идеи являются не продуктом, образующимся в голове каждого посредством особого наития свыше, а продуктом, создаваемым общественной жизнью, в которой человек вращается, «духом времени». Идеи, таким образом, суть продукт общественного взаимодействия социальной жизни.

Это очень круто! Это означает и независимость духа от единичных воплощений, независимость идей от способов их (общественного) бытования, — и следовательно, возможность сознательного подбора подходящего воплощения. Нет никакого «авторства» — и тем более «авторского права». Все непосредственно доступно всем — и каждый вправе придать этому форму своей индивидуальности. Идеи возникают лишь в общении — когда человек видит в другом человека, а не сырье или орудие. В частности, в общении мы воспринимаем не телесную оболочку — а дух, и потому люди способны общаться через время и пространство, и жить в веках.

Этим объясняется то, что часто различные люди *одновременно* думают одно и то же, что одни и те же изобретения и открытия одновременно делаются в далеко отстоящих друг от друга местах. Этим объясняется и то, что какая-либо идея, высказанная 50 лет ранее, встретила полное равнодушие, а повторенная 50 лет позже — взволновала весь мир.

Но продолжить мысль — не получается. Все опять сводится к торгу, к обмену: ты мне — я тебе, вы нашим — мы вашим...

По отношению к новому обществу надо еще заметить, что те средства, которыми пользуется всякий для своего усовершенствования, являются *собственностью общества*. Поэтому общество не может считать себя обязанным вознаграждать особо за то, что им же непосредственно обусловлено и что является *его собственным продуктом*.

Общество оторвано от единичных людей — и противостоит им как коллективный собственник (глобальный капиталист). Самый мелкий хозяйчик считает себя производителем товарной массы — и потому он, якобы, вправе присвоить продукт целиком, по своему усмотрению (по своей милости) выделяя крохи исполнителям барской воли. Точно так же и бибелевское «общество» *присваивает* общественный продукт, делает его своей *собственностью*, — и тем самым отчуждает от каждого конкретного производителя, который, якобы, целиком является его порождением, и чего ему еще? — какие могут быть «вознаграждения»? Капиталист милостиво разрешает работать на своем предприятии — ему работник должен быть за это благодарен, а не наоборот! Нечего строить из себя личность! — делайте что велят, без лишних вопросов:

Общество дает возможность совершать лишь общественно-полезную работу, а потому всякий труд является для общества одинаково ценным. Если неприятные, отталкивающие работы нельзя будет исполнять механическим или химическим путем и превратить их каким-либо образом в приятные, — и если не найдется необходимая для них добровольная рабочая сила, то тогда на долю каждого выпадает обязанность, как только наступит его очередь, выполнить приходящуюся на его долю часть этой работы.

Так что лучше по доброй воле ковыряйтесь в говне — и не мечтайте о том, чтобы избавиться от принудиловки. Прогресс, конечно, может совершенствоваться какие-то производства — но лишь тогда, когда на место прежней грязи готова пристроиться другая; а хозяин вовсе не обязан ублажать рабов — которые в полной зависимости от него, и улучшать условия труда следует лишь по приказу.

Легко догадаться, что потребительское отношение утопического «общества» к людям отнюдь не облагораживает процесс производства будущих утопленников:

Одной из главных задач нового общества должно быть надлежащее воспитание подрастающего поколения, каждый рождающийся ребе-

нок является желанным для общества приростом. Общество видит в нем залог своего дальнейшего существования, дальнейшего развития.

Кошмар! Видеть в ребенке всего лишь «прирост» и «залог» — это ужасно, это всецело рыночное отношение. Соответственно, и называют его не человеком, а «ребенком» — существом (по классовым меркам) неполноценным. И держат в таком состоянии долгие годы — вплоть до абстрактно установленного совершеннолетия (определяется которое не способностью вести себя по человечески, а всего лишь возрастом — подобно тому, как сыр и вино оценивают по сроку выдержки). То есть, в человека с малолетства вбивают сознание собственной ущербности — необходимости подчиняться давно дозревшим; в этом хитрая подлость буржуазного воспитания: даже если человеку выдать аттестат зрелости, он все равно будет чувствовать себя недоразвитым по отношению к тем, у кого есть другие сертификаты, — и полагаться на их «компетентное» мнение, в лучшем случае лишь обменивая свой профессионализм на чей-то еще. Универсальные сертификаты (деньги) позволяют их счастливым обладателям вмешиваться в любые производства, требовать внимания и диктовать свои условия. Чем больше таких знаков «общественного» признания — тем ближе к буржуазному идеалу свободы, разгульному произволу.

В чем субъективные корни этого повсеместно распространенного в классовом мире умопомрачения? В отходе от выше цитированной формулы фон Тюнена о единстве материи и духа. Если отождествить дух с его единичными воплощениями, социализация биологических тел кажется ростом индивидуальности, постепенным «вхождением» в тело духа культуры в целом, навязыванием личности массовых стереотипов. Но допустите на мгновение, что производство людей — не стихийный процесс (как это во многом происходит до сих пор), а реализация заранее продуманного проекта, когда мы знаем, что должно получиться в итоге. Тогда получается, что единичный дух, личность, существует задолго до рождения подходящего тела — и не произрастает в нем подобно условным рефлексам животных, а наоборот, приспособливает косную материю под заведомо наличный дух. Разумеется, если «общество» (в лице господствующего класса) намерено производить лишь вещи, говорящие орудия, рабов, — оно сделает все, чтобы не допустить «морального разложения» биоматериала, вытравить из общественного образования всяческую духовность. Отношение к ребенку как к вещи, собственности, — при этом совершенно закономерно.

Но бесклассовый человек рождается не в биологическом теле (даже с неорганическими расширениями) — он не плоть от плоти, а дух от духа! И другие люди сразу принимают его во всей полноте, как человека, а не полуфабрикат. Отношение к телу в этом случае — лишь проекция отношения к человеку: мы все понимаем, куда телесные движения предполагается направить, — и все вместе ищем возможность помочь человеку овладеть куском природы, неразумность которого приходится преодолевать. Соответственно, общество не для того, чтобы учить и воспитывать — а чтобы создавать условия для самообучения и самовоспитания. Не подгонять под стандарты, а наоборот, искать новое, до чего пока никто не дорос — и что станет частью будущей культуры. Мы общаемся с человеком, а не с «ребенком» (или «женщиной»).

В частности, если наличные биологические тела не отвечают требованиям духа, человек может какое-то время существовать и без органических воплощений (как архитектурный проект ждет удобного случая для полномасштабной реализации — но может так и остаться лишь возможностью, что нисколько не умаляет его исторической и культурной значимости). С другой стороны, гибель биологического тела никоим образом не отменяет человеческого отношения к человеку — дух продолжает жить, но уже в иной материализации. Преувеличенное внимание к случайностям природы — наследие экономики вещей.

Пока органические тела кому-то нужны — их надо производить, и делать это по возможности культурно. Если до каких-то пор остается первобытная физиология размножения — придется потрудиться тем, у кого есть соответствующие органы.

Удобное жилище, приятная внешняя обстановка, всякого рода приспособления, в которых нуждается эта стадия материнства, внимательный уход за роженицей и ребенком — таково первое условие. Само собой разумеется, что необходимо обеспечить ребенку материнскую грудь до тех пор, пока это окажется возможным и необходимым.

В какой-то мере это проблиск индустриального подхода к производству тел — хотя, конечно, бесконечно узко и буржуазно ограничено. Предполагается, что делать детей допускается только в семье, лишь временно переводя женщин в родильные дома — а потом вместе с ребенком обратно, в семейное логово. Почему ребенку нужна именно материнская грудь — разумных оснований нет; с тем же успехом годится любая другая (что на практике часто и происходит), — а развитие технологий искусственного вскармливания сдерживается из политико-экономических соображений (ставших укоренившимся предрассудком).

Не говоря уже о том, чтобы индустриально применять искусственное оплодотворение — или вообще освободить женщин от репродуктивной повинности, чтобы не было больше ни отцов, ни матерей, — и тела могли бы настраиваться по-настоящему индивидуально. Тем не менее, даже такое, частичное преодоление кустарщины казалось тогда великим общественным прогрессом:

... напомним, что в настоящее время *по крайней мере четыре пятых* детей рождаются *в самой примитивной* обстановке, в условиях, являющихся злой насмешкой над нашей культурой и цивилизацией. Что же касается остальной пятой части наших матерей, то опять-таки лишь меньшинство их имеет возможность пользоваться некоторым уходом и удобствами, необходимыми для роженицы.

Народ, понятное дело, не возражал бы.

Но цены в родильных домах, к сожалению, так высоки, что лишь немногие женщины могут ими пользоваться...

Замечательное теоретическое обобщение:

Мы имеем, таким образом, тут новый пример того, как *буржуазный мир повсюду заключает в своих недрах зародыши будущих порядков.*

К сожалению, там, где эти зародыши относятся к бесклассовому будущему, они сохраняются лишь вопреки противодействию системы, а где речь лишь о технологической косметике — сколь угодно великую идею рынок умеет извратить и опошлить. История весьма поучительна: в XX веке роддом становится не только общедоступным посредником, но и вменяется в обязанность (так властям удобнее контролировать процесс). Однако оказалось, что родильные дома, вместо общественного равенства, насаждают идею классового расслоения: условия для богатых совсем не те, что у простонародья; но и в типовых заведениях — все по понятиям, и «подарки» персоналу стали столь же неотъемлемой частью медицинской культуры, как и передачи родственников, и доплаты за «спецрежим». Маятник качнулся в обратную сторону — и роддом стали считать уделом черни, а престижно — рожать дома (с персональным уходом), или в эксклюзивной обстановке (с полным штатом прислуги). То же самое в системе образования или условиях труда.

Первое, с чем должно покончить бесклассовое общество, — вещное отношение к детям, превращение их в собственность родителей (или даже общественную собственность). Если рабочий производит гайки — ему незачем знать какие из миллионов таких же гаек изготовил именно он. Точно так же, телам совершенно неважно, какие тела задействованы

в их порождении — и были ли таковые вообще. Тела в бесклассовом обществе не собственность, они никому не принадлежат. Использование тела несколькими личностями столь же разумно, как и «размещение» одной личности в нескольких телах. При таком раскладе половое общение никак не связано с репродуктивными действиями — и люди будут достаточно грамотны, чтобы не допустить непредвиденного развития событий (хотя и такие повороты равным счетом ничего не меняют). А Бебель про страх, который

развил у целых классов и у целых народов применение предупредительных средств в систему, грозящую сделаться общественным бедствием.

Умение управлять физиологическими отправлениями — элемент общей культуры, составная часть всякого воспитания. Если все идет как задумано — откуда страх? Если телами занимается массовая индустрия, даже традиционное рождение никак не связывает дитя с родителями. Война с контрацептивами — все равно что запрещать производство унитазов во славу грязной дырки над вонючим неудобством.⁴⁶ Может, еще и туалетную бумагу отменить?

В чем прогресс роддома, если ребенка все равно взвалит на семью? Нет, конечно, любители поковыряться в земле могут выращивать огурцы или розы на персональных делянках; но это не конкуренция передовой агротехнике. Розы на улицах — приятнее роз на даче; публичный ландшафтный дизайн открывает больше возможностей для творчества. Если же людям не запрещено во всем непосредственно участвовать — на кой ляд им отгороженная от мира собственность?

Но бевелевская утопия свободы не признает: все обязаны рожать, выставляя на публику свои произведения с нотариально заверенной подписью. Каждый ребенок — биологическое существо, и у него должны быть столь же биологические отец и мать. Поэтому Бебель гневно обрушивается на гражданский кодекс Франции, запрещающий устанавливать отцовство, — и на немецкие законы, которые «все более и более склоняются на тот же путь». По-французски было (как позже в советском кобсе):

Зачатый в течение брака ребенок имеет своим отцом мужа.

⁴⁶ Современные коммерсанты впаривают массам «биотуалеты» — отдаленное потомство ночной вазы. Такие «удобства» далеки от гигиенических стандартов второй половины XX века — а без централизованной системы сбора и очистки они ничем не лучше беганья «до ветру».

Бебеля это не устраивает — ему надо достучаться до истины! Для чего? Чтобы прорезать биологического отца на алименты! И эта коммерция называется социализмом? Пусть все без исключения будут членами общества — независимо от способа рождения тел! Это разумно. Тела — общественный продукт, и ни у кого нет исключительных полномочий. Решительно изымать детей из семей — чтобы даже не знали, кто от кого произошел. А Бебель опять поперек французов, которые (о ужас!) «новорожденного отнимают не только от отца, но и от матери». Речь об интернатах, где всех содержат за государственный счет — и всем дают равное образование и воспитание (разумеется, насколько позволит скудный бюджет). Вместо полицейского преследования «истинных» отцов и матерей — и навешивания отпрысков им на шею.

По французской фикции дети воспитательных домов — сироты, и французская буржуазия своих незаконных детей воспитывает на государственный счет как детей «отечества». Превосходное учреждение!

Вот где поистине буржуазный мир «заклучает в своих недрах зародыши будущих порядков»! Нет чых-то детей — все просто люди, и этого достаточно, чтобы обеспечить им доступ к достижениям культуры, и ни у кого нет никаких преимуществ перед другими. Вместо всемерного содействия и расширения этой практики на общество в целом — филистерское отношение к не знающим (или потерявшим) родителей как существам второго сорта; это ханжество процветало и при советах, и после них, — когда происхождение выше личных качеств. Старое (феодалное) германское право Бебель называет «более гуманным» — и жалеет, что новые законы утверждают равенство «законных» и внебрачных детей, назначают пособия внебрачным детям и сиротам — и предпринимает иные прогрессивные шаги, разрушающие, по мнению Бебеля, «природную» связь родителей с детьми. Нет уж, лучше здесь утопиться — чем в бебелевской утопии!

Заметим снова: флюгер крутится по воле ветра — а когда ветра нет, то и просто так, чтобы не подумали, что не умеет...

Средства обучения и воспитания, одежду, пропитание дает общество, ни один ученик не будет поставлен в худшие по сравнению с другими условия.

Вот и сравните эту немецкую фантазию с критикой французских реалий, когда обитатели воспитательных домов (пусть худо и бедно, но все-таки) обеспечены средствами существования и образования... Прототип. Однако мы можем пойти дальше — и заметить, что бесплатное жилье, бесплатную одежду и полноценное питание следовало бы предоставить

всем людям — только потому, что они люди; пусть это будет пока по минимуму — но освободит человека от необходимости выживать, даст шанс творчеству. Сегодня в очень благополучных капстранах приходят к этому под давлением обстоятельств: дешевле сделать проезд на городском транспорте бесплатным, чем оплачивать систему контроля; проще платить ежемесячно пособие каждому жителю — чем разгребать последствия нищеты и народного недовольства. Но к образованию это не относится — это «общедемократическая» реформа. В системе народного образования (в отличие от антинародного) важнее не быт, а свобода — доступ к любым знаниям и технологиям (включая учебные), отмена корпоративных тайн и авторского права, чтобы все реально принадлежало всем. Сегодня этим занимаются компьютерные пираты. При советах — свирепствовал книжный дефицит. Капитализм режет образовательные программы высокими ценами.

Но в обществе, в котором благодаря предоставленной каждому возможности получить высшее образование исчезнут существующие теперь различия между образованными и необразованными, исчезнет также и противоположность между ученым и неученым трудом, тем более что развитие техники не знает никаких границ, которые помешали бы совершать ручной труд машиной или посредством технических процессов.

Вот, вполне адекватное (пред)видение компьютерной революции! Бебель с разгону даже повторяет вслед за Миллем:

Все это идет на пользу всему обществу, а следовательно, и каждому в отдельности, так как общие и личные интересы совпадают.

Теоретически, Бебель за равенство возможностей (формула буржуазной пропаганды). Он цитирует Кондорсе («воспитание должно иметь своей целью действительное, фактическое равенство») и Руссо («воспитание должно быть общественным, равным и общим»). Но никак не может удержаться, чтобы не припутать сюда половой вопрос:

Далее, воспитание должно быть *одинаковым и общим* для обоих полов. Разделение полов оправдывается только в тех случаях, когда различие пола этого требует с безусловной необходимостью.

И тут же попадает впросак. Потому что это разделение среди разумных людей вообще никогда не оправдывается — для них физиология не имеет ни малейшего отношения к образованности. Не говоря уже о том, что люди разные, и *одинаковое воспитание = насилие*. Революционность быстренько выдыхается — и вместо «общих и личных» интересов

остаются только интересы семьи (предполагается, что биологических родителей мы всем разыскали и всех обязали платить):

... система воспитания будет зависеть всецело от родителей, так как они будут решать, какие меры и учреждения следует ввести. Тогда общество будет насквозь проникнуто демократическими началами. Педагогические комиссии будут состояться из родителей — мужчин и женщин — и воспитателей. Разве можно предположить, что они будут действовать против своих чувств и интересов?

Буржуазно-демократический вздор! Выборные технологии запросто заставляют людей голосовать против себя — особенно, когда реального выбора вообще нет; в разумно устроенном мире нет нужды выбирать, и никакие комиссии не нужны. Вместо игр в демократию (или в мужчин и женщин), люди будут просто действовать, согласно своим чувствами интересам. И общаться с другими людьми — независимо от возраста и происхождения телесных оболочек.

Это не по-бебелевски. Как же можно допустить, чтобы родители были «лишены всякого влияния на своих детей»?

Но об этом не может быть и речи, принимая во внимание, что родители в будущем обществе будут располагать несравненно большим количеством свободного времени, чем его имеется в большинстве случаев в настоящее время. Таким образом, родители смогут уделить своим детям столько времени, сколько они сейчас не могут им посвятить.

Вопросы все те же: почему общаться надо не с людьми, а только со «своими» детьми — а с чужими не надо? Зачем кому-то на кого-то «влиять»? Почему нужно только «уделять время» — а не любить как люди, не наблюдая часов?

Наши противники говорят так, как будто родители считают величайшим удовольствием весь день иметь при себе детей и заниматься их воспитанием. В действительности дело обстоит иначе.

Бebel сам себе противник! Талдычить про семейное «счастье» — чтобы признать, что и условия в семье не ахти, и педагогические таланты произрастают не в каждом, да и особого желанья возиться с отпрысками у занятых своими делами родичей нет. Нормально — сдать детишек куда положено и забыть об их существовании. Чтобы не делить снова и снова на «своих» и «врагов». У кого душа лежит — милости просим, идите, участвуйте! Вероятно, будет всем иногда полезно — чтобы иметь представление о разных сторонах действительности (на то мы и

разумные существа). Есть же сегодня «экотуризм»: ради развлечения поработать на ферме, или подсобить в уборке урожая, или на фабрике поработать... Но в будущей реальности разделение возрастов окажется чисто условным, виртуальным: каждый может участвовать во всем — тогда кому какое дело до возраста? С самого младенчества детишки включены во вполне взрослые производственные процессы — потому что, как учит нас товарищ Бебель, «развитие техники не знает никаких границ». Например, можно пользоваться программой, написанной юным программистом, или наслаждаться музыкой в исполнении какого-нибудь вундеркинда, — не имея ни малейшего понятия, откуда эти великие блага на нас низошли. Это просто факты культуры. Которые вовсе не надо «контролировать» и «регулировать» — а просто дать всходам свободно расти. Бебель на дыбы:

В будущем обществе воспитание, надлежащим образом урегулированное и поставленное под разумный контроль, продолжится до того возраста, когда общество признает молодежь совершеннолетней. С этого момента оба пола будут в состоянии выполнять в полной мере все права и обязанности. Общество теперь уверено, что оно воспитало дельных, всесторонне развитых членов, людей, которым ничто человеческое не чуждо и которые так же хорошо знакомы со своей собственной природой и со своим собственным существом, как и с сущностью и состоянием общества, в которое они вступают полноправными членами.

В чем лице общество будет кого-то признавать? Если один считает другого дураком, а тот отвечает взаимностью, — кто из них общество? Когда люди просто уважают друг друга — они про года не думают, потому что человеческий дух бессмертен — а тела пусть себе проходят. Вечность духа означает и вечность развития; говорить о «законченном» образовании, о «готовом» человеке, — верх абсурда. А у Бебеля (как и прочих мещан-потребителей) совершеннолетие определяется возрастом (сыр дозрел — можно есть):

Руководя воспитанием подрастающих поколений до совершеннолетнего возраста, новое общество предоставит затем каждому заботиться самому о своем дальнейшем развитии; каждый будет работать в той области, к которой его влекут его склонности и задатки.

А почему сразу нельзя по способностям и задаткам? Классовые корни очевидны: возрастной ценз установлен, чтобы убить в человеке слишком человеческое — вырастить под социальный заказ. Это вполне подобно тому, как формируют тела, помещая их в клетки нужной формы, отсекая

«неправильные» направления. Так органы в организме ограничивают друг друга — и перестают быть самостоятельными организмами. Так человеческую психику уродуют в коллективе, вынуждая подстраиваться под якобы товарищей.

Общество будущего — это разум и свобода. Каждый сам строит себя как личность — и подбирает себе подходящие тела. Это возможно всем и всегда, поскольку большая часть воздействий человека на природу так или иначе опосредована общением; общение позволяет привести новорожденное тело в пригодную для личности форму, выработать в нем необходимые качества: это не другие делают за него, а он сам, при помощи других. Думаете, так не бывает? Посмотрите на современные технологии обучения искусственного интеллекта: люди далеко не всегда могут предсказать, что получится в результате, — и некоторые выводы сформировавшейся таким образом логики вообще непостижимы нашему уму! Классовое решение — власть или подчинение; по разумному — надо общаться, искать точки соприкосновения в практике, в совместном творчестве.

Самое интересное у Бебея — замечания мимоходом, в которых мы усматриваем пробы и намеки. Например, язвительность по поводу буржуазной пропаганды, которая «поучает воздержанию там, где по необходимости приходится воздерживаться». Сегодняшние бесноватые экологи призывают отказываться от достижений прогресса, лишать себя самого необходимого, экономить на всем... Однако касается это только бедных — которым и так не до роскоши: свести бы концы с концами... Богач может позволить себе чуточку приструнить аппетиты — и требует от бедняка, чтобы тот ужался ровно на столько же! Но капля богача — больше всего, что приходится на нищую долю, и экология равносильна геноциду.

Точно так же, зародыш бесклассового будущего в европейском логове «демократии» — мысль об исчезновении разделения труда, специальностей и профессий:

Профессиональных художников тогда не будет, как не будет и профессиональных ученых и профессиональных ремесленников. Тысячи блестящих талантов, которые до сих пор подавлялись, достигнут тогда полного расцвета, их знания и умения обнаружатся всюду, где это будет нужно. Не будет более музыкантов, актеров, художников и ученых *по профессии*, но тем больше их будет *по вдохновению, по таланту и гению*.

Не хватает здесь ясного указания, что это касается не только рефлексии, духовного производства — но и всякого производства вообще. Люди будущего будут вполне способны перемежать обработку материалов с игрой на скрипке и размышлениями о единстве мира; более того, не будет (рыночного) понятия «талант» — поскольку деяния людей никто не приводит к голому количеству, и каждое из них по-своему интересно, важно своей уникальностью, личностной окраской. Глупо считать одного поэта гением, а другого посредственностью: они просто разные, и каждый говорит о том, что у него на душе, и никто другой не смог бы сказать так же. Поскольку же поэт — не профессия, у разных людей поэзия будет занимать разное место в деятельности, так что на первый план в какие-то периоды вылезает что-нибудь другое; только классовый человек может додуматься сопоставлять людей по одному случайно выданному критерию — а разум не высчитывает, какой в ком процент поэта, а какой зоотехника.

Но тут влезает другой Бебель — и предлагает таки не забывать о коммерции и развивать дарования не просто так, а напоказ:

Общественная жизнь примет в будущем все более и более публичный характер.

То есть просто так программировать, чинить сантехнику или сочинять симфонии — не положено. А то и попользоваться вами некому. Чтобы для души, а не для пользы, — ни-ни! Всех обязать толкаться в толпе, да еще и свою органику тащить за собой, чтобы и ее предьявить публике:

Большие помещения для собраний, предназначенные для докладов, диспутов и для обсуждения всех общественных дел, залы для игр, столовые и читальни, библиотеки и концертные залы и театры, музеи, площадки для игр и гимнастики, парки и сады, общественные бани, образовательные и воспитательные учреждения всех родов, лаборатории и т. д. — все это, устроенное самым лучшим образом, доставит полную возможность искусству, науке и всяким другим видам общения достигнуть высшего расцвета.

Это уже не общество, а первобытное стадо. Или орда (по Дарвину и Фрейду). Почему не пойти другим путем: свести к минимуму телесные контакты ради духовных — чтобы общественная жизнь утратила, наконец, *публичный* характер — и приобрела *личный*? Если кому-то неприятно мыться в общественной бане или слушать оперу с галерки — найти им однозначную замену, не предполагающую физических контактов. А то получается как если бы живопись разрешить только

натуралистическую — никаких абстракций! И в философии оставить одних ораторов, чтобы все схватывать на лету: кто пишет в расчете на пару тысяч лет — неподходящий для Бебеля утопленник.

Точно так же, формулы любви люди как-нибудь подыщут без начальственных указаний. С кем захотят — с тем и будут дружить, и сами решат стоит ли припутывать к этому телеса. Не нужны им никакие формальные союзы — семьи и прочие коллективы. Тем более, когда производство тел (как и духовное производство) станет полностью индустриальным — и любить можно будет не по поводу чего бы то ни было — а просто любить. Вырастающему духу тесно в сколь угодно обширных «помещениях» — ему мала планета, звезда, галактика... Человек от человека за два мегапарсека — это нормально, это реалии завтрашнего дня. Давайте отвыкать от обмена тел — и делиться идеями. Это как-то более по-человечески.

Все, что человека возвышает и облагораживает: чувство собственного достоинства, независимость и неподкупность взглядов и убеждений, свободное проявление своей индивидуальности — становится при современных условиях в большинстве случаев недостатком и пороком. Часто эти качества губят человека, если он их не подавляет. Многие даже не чувствуют своего унижения, потому что они с этим свыклись. Собака находит вполне естественным иметь над собою господина, который под сердитую руку бьет ее хлыстом.

В самую точку! Бебель точно выразил дух его собственных писаний, на каждой странице прогибающихся под классовые нормы и филистерскую мораль:

Всякий способный человек получит возможность проявить себя. Он не будет более зависеть от милости книжного издателя, от денежного интереса, от предрассудка, а только от оценки беспристрастных сведущих лиц, в выборе которых он и сам принимает участие и против приговора которых, если он его найдет несправедливым, ему всегда возможно будет апеллировать к обществу...

Зачем человеку эта мышьяная возня? На кой ляд ему «проявлять себя», если он может поступать разумно, ни с кем не советуясь? Начхать ему на любые «оценки» любых «лиц» — и незачем ему собирать консилиум по поводу его духовного здоровья. Человек обращается не к якобы беспристрастным «знатокам» — если на то пошло, он вообще ни к кому не обращается: плоды его труда непосредственно доступны всему человечеству; их не требуется публиковать! — они часть культуры даже

если о них вообще никто не знает. О какой «справедливости» тогда речь? Подавать апелляции нужно только коммерсантам, желающим урвать кусок общего пирога в исключительное пользование (собственность). Продолжение столь же глупое:

Лишь самая полная свобода мнений делает возможным непрерывный прогресс, являющийся жизненным принципом общества.

Базар-вокзал. Нужна не свобода мнений — а свобода творчества; мнения вообще никого не интересуют: это валюта классовых обществ.

Эмпирионатурализм приковывает человека к органическому телу, считает его вышколенной зверушкой. Отсюда дыры в логике Бебеля. Публике бросают эффектный лозунг:

Каждый отдельный человек должен получить разностороннее развитие — такова должна быть цель человеческого общежития.

Кто против? Все за. Но тут же ушат холодной воды:

Человек не должен поэтому оставаться прикованным к тому месту, куда забросила его случайность рождения. С людьми и миром следует знакомиться не только по книгам и газетам, необходимо также личное наблюдение и практическое изучение. Будущее общество должно поэтому предоставить всем эту возможность, которой и теперь уже пользуются многие, хотя в большинстве случаев лишь под давлением нужды. В будущем бесконечно большее число людей будет объезжать мир для самых разнообразных целей, чем до сих пор.

Если у меня есть возможность в деталях ознакомиться с чем-то по описаниям и картинкам (а сегодня — еще и кино, и веб-камеры, и виртуальная реальность!), вовсе не обязательно перевозить с места на место мое неудобное тело, которому полезнее не покидать зоны физиологического и душевного комфорта. Для духа нет границ — тела ему в большинстве случаев только в обузу. Точно так же, общаться личности могут через любые пространства и времена, в любых материальных формах. А послушать Бебеля — невозможность лично погрузиться в атмосферу Солнца или в кварк-глюонную смесь кладет предел познанию! Не то чтобы мы были против туризма — иногда и это забавно; однако нельзя же переводить духовную мощь на одни забавы. Практика — она и удаленно практика. Пусть между нами и природой встанут роботы — а мы культурно пообщаемся и с ними.

Но у Бебеля так не бывает: его утопические существа — совершенно естественны, и порхают по ветру аки вирусы гриппа:

В человеческой природе глубоко коренится потребность в разнообразии всех жизненных отношений. Эта потребность вытекает из

стремления к совершенствованию, присущего всякому органическому существу. Растение, находящееся в темном помещении, тянется, как бы одаренное сознанием, к свету, проникающему сквозь какую-либо щель. То же и с человеком.

Вот вам мистическая теория о встроенном в органику «стремлении к совершенству»! Напрямую приписать сознание растениям — пока еще стеснительно; но обречь население воображаемого социализма на растительное существование — всегда пожалуйста. Коммерсанты всех стран должны скинуться на памятник: совершенствование сводится к «разнообразию» — а рыночные экономисты как раз и зовут народ потреблять много и разнообразно, а у кого не хватает фантазии — несите ваши денежки в банк (тот самый, на Поле чудес в Стране дураков), и тамошние брокеры заставят их разнообразно работать!

Но человек не органическое существо! — и нет у него никакой природы. Не надо всех под одну гребенку. Одних в туристы — другим помечтать на диване в самый кайф. Эдак, сижу я у окна — и рисую каждый день один и тот же руанский собор, а то и по несколько раз на дню... Или запечатлеваю цветочки у себя на даче. А потом оказывается, что я великий художник... Жюль Верн особо не путешествовал — но где только мы с ним вместе не побывали! А писатели-фантасты переселяют нас в такие миры, которых не было, не может быть, и никогда не будет; надемся, что бибелевская антиутопия столь же фантастична.

Человеку нужна свобода. Чтобы в чем-то разнообразно — а где-то и наоборот. Чтобы не послушно плестись за органикой, а делать ее своим инструментом, материалом для шедевров духовности. По Бибелю:

Стремление, свойственное человеку, должно получить разумное удовлетворение.

Только так: разумное! Именно к разуму мы Бибеля и призываем. Замените в его книжке всюду слово «природа» словом «разум» — будет очень недурно, и есть смысл прислушаться.

Та же биологизаторская дичь — про «культурную программу» для будущих покойников:

Закат жизни будет украшен всем, что общество может предоставить старику.

Это не «старики»! — это люди. По какому календарю считать года? Нашим идеям тысячи (а то и миллионы) лет. И жить после нас они будут не меньше. Какой, к дьяволу, закат? Почему ваше «общество» не хочет дать полноценное существование всем его членам на все времена?

Чтобы никуда не закатываться, а просто жить и творить. Не взирая на возраст, пол и прочие природные случайности. Это в буржуинстве привыкли ублажать богатых стариков в расчете на наследство — и бедняков заманивают в рынок сказочками о злорадстве на смертном одре: вот, пусть все вокруг попрыгают! — хочу заесть цикуту трюфелями! Уж лучше, украшать жизнь каждый день, каждую микросекунду, — для всех без исключения. И снова: какое отношение биография имеет к личности? Почти ноль. Было у кого-то органическое тело, или все ограничилось виртуальным существованием, — какая кому разница? Разыскивать «исторические» прототипы Гомера, Лао Цзы или Панини кому-то интересно — но к содержанию известных трудов эти сведения не добавляют ровным счетом ничего. Когда биографы Патанджали вспоминают, как он упал с неба в виде змейки, — такой миф о рождении ничем не пикантнее записи в церковных книгах или госреестре. Мало ли что в мире происходит... Когда бывший военный летчик Ги Лёврие вдруг оказывается одноименным художником — ни самолетам, ни картинам от этого ни капельки не прибавится. А про некоторых мы вообще не можем ничего с уверенностью утверждать.

Тело для человека — а не человек для тела. Сколько нам нужно — столько мы и будем его использовать. Потребуется несколько — пусть будет. Это расходный материал, вроде одноразового пакетика с чаем. Люди должны получить, наконец, возможность произвольно подбирать себе тела — и избавляться от них по мере надобности, разумно органику утилизировать. Сегодня в передовых буржуинствах это стало почти реальностью. Разрешена эвтаназия, есть альтернативные технологии захоронения... Дело за малым: пустить в массы, превратить в пункт распорядка вечности. Человек покидает тело, чтобы жить в других, чтобы возрождаться там, где уместнее. В мире без собственности — тела ничьи, и все человечество живет в одном большом теле, и умеет разумно его менять (в отличие от стихийного обновления клеток организма). Вероятно, на каком-то уровне развития технологий, в космических масштабах, земные зверушки разуму будут вообще не нужны.

Но пока вернемся к тому, с чего начинали — к вопросам пола. Половое воспитание — любимый конек педагогики всех времен. Как и ожидалось, ничего нового по сравнению с еще далекими от социализма предшественниками и уже далекими от него изобретателями XX века Бебель предложить не может. Древняя (как минимум, от античных киников) максима: что естественно — то не стыдно.

Из этого следует, что знакомство со свойствами половых органов так же необходимо, как знакомство со свойствами всех остальных органов, и человек должен оказывать уходу за ними одинаковое внимание. Он должен знать, что органы и потребности, вселенные в каждого человека и составляющие очень существенную часть его природы и даже в известные периоды его жизни всецело подчиняющие его себе, — эти органы и потребности не должны являться предметом чего-то таинственного и вызывать ложный стыд. Из этого следует, что знание физиологии и анатомии различных органов и их функций у мужчин и женщин должно было бы быть так же распространено, как и всякая другая ветвь человеческого знания.

Основа здоровая: если человек с самого начала воспринимает организм не как себя, а как свое орудие, — он будет содержать его в разумном (достаточном для практических нужд) тонусе, — чистить, смазывать и подкручивать, где разболталось. Половое воспитание как таковое оказывается вообще не нужным. Разумеется, если четко осознавать, что люди разные — тела тоже. У кого-то шесть пальцев на ноге; другому вообще ногу ампутировали, и почку вырезали; искусственные суставы отличаются от органических; присутствие кардиостимулятора следует учитывать в деятельности — равно как и отличие левшей от правшей, или самок от самцов. Использовать молоток в качестве зубочистки — не всегда разумно. Чтобы это понять, не обязательно быть семи пядей во лбу и вникать в тонкости молоткообразования и зубочистительности. Мы не изучаем анатомию дефекации, чтобы научиться цивилизованно ходить в туалет. Разговаривать и петь — можно без малейшего понятия об анатомии голоса (которую сегодня легко заменить компьютерными штучками). Нам важен культурный, а не природный результат; нет у человека никакой природы — и никто в нас потребности не вселял, мы их сознательно в себе культивируем, а любые знания нужны лишь для того, чтобы вести себя разумно и не подчиняться природе ни в какие «периоды жизни»!

Преувеличенное внимание к вопросам пола — бич классового человечества. Формула общественного расслоения: есть «природная» противоположность — и надо с этим смириться, и приспособлять быт под «естественные» условия товарообмена. Господа по природе лучше рабов; но мы можем объявить формальное равенство — и эксплуатацию заменить классовым партнерством. Женщины, конечно, какие-то не такие — но в наших интересах допустить и в них толику духовности:

... пренебрежительное отношение к духовному развитию женщины представляет крупную ошибку, от которой страдает и сам мужчина.

Только в редких случаях муж считает необходимым объясниться с женой, убедить ее. Он не потрудится просветить ее.

Заметьте: женщина должна-таки быть при муже — но просвещенный барин не побрезгует изобразить либерализм и обходиться ласково.

В противоположность жене муж постоянно духовно обогащается, а ее совершенно поглощает с утра до вечера домашняя работа, не оставляя времени для дальнейшего образования, и она духовно мельчает и чахнет.

Духовно обогатился с корешами в пивной — неси плоды просвещения в семью, любимой супруге! Если почерпнул что от профессионалок в борделе — грех не поделиться с дражайшей половиной. Такое, вот, половинное воспитание. А иначе:

Вместо здоровой, веселой подруги, способной матери, супруги, выполняющей свои хозяйственные обязанности, муж видит перед собой больную, нервную жену, у которой врач не выходит из дома, которая не переносит ни дуновения ветра, ни малейшего шума.

Бабель как апологет мужского шовинизма. Махровым цветом. Учить, дескать, надо баб — чтобы не только тянула домашнее рабство, но и оставалась бодрой и здоровой — и ублажала благодетеля по полной программе.

По поводу повышенной чувствительности (особенно среди дам) — Бабель предельно суров.

С полным правом можно говорить о нервной эпохе, а нервность идет рука об руку с физическим вырождением. Малоокровие и нервозность страшно распространены, особенно среди лиц женского пола. Это все более становится общественным бедствием, которое, продолжаясь в течение нескольких поколений, может погубить наш род...

Опытные врачи уверяют, что состояние здоровья большей половины замужних женщин, особенно в городах, ненормально.

Большая часть наших молодых женщин физически слаба, малоокровна, крайне нервна. Следствием являются неправильности менструаций, болезни органов, стоящих в связи с половым назначением, которые часто ведут к неспособности или опасности для жизни рожать или кормить грудью детей.

Казалось бы, какое ему дело? Хочется человеку попереживать — пусть переживает. А для Бабеля — это «физическое вырождение». Вероятно, тут личный опыт — и это могло бы заинтересовать биографов. Но нас интересует другое — и мы вовсе не обязаны продолжать чей-то род

(погибнет — туда ему и дорога!), соглашаться с мнениями неуказанных авторитетов о нашей нормальности, — и не надо грубо эксплуатировать наши тела, подвергая их всяческим рискам. По-человечески устроенное общество избавит тела женского пола (если таковые останутся) от менструаций, от беременности и родов, от кормления грудью — и прочих физиологических неудобств. Что естественно — то не стыдно. Оно просто дико. А стыдно когда дикари лелеют собственную дикость, ни за что не соглашаются от нее избавиться и стать людьми:

Материальные жизненные условия сильно отражаются в характерных свойствах каждого живого существа; оно принуждено приспосабливаться к существующим условиям жизни, и они в конце концов становятся его природой.

Что в природе относится ко всем живым существам, то относится и к человеку; человек не стоит вне законов природы; с физиологической точки зрения он — наивысше развитое животное существо. Этого, разумеется, не желают признать.

Кто не желает — честь тому и хвала! В капиталистическом зверинце гораздо чаще получается наоборот: человека оскотинивают, делают придатком организма. Ставят в нечеловеческие условия — чтобы потом с невинным личиком заявлять, что люди звери, что такова человеческая природа... Разум — не приспособливается; он изменяет природу, приспособливает мир к себе.

Лично Бебелю не нравится дамская романтичность — это же никаких финансов не напасешься на шляпки и кружева! Проклятие природы, «унаследованные женские свойства характера».

По большей части для них важна лишь внешность, они заботятся лишь о танцах и нарядах и ищут жизненную цель в удовлетворении испорченного вкуса и пышно расцветших страстей.

Наш поборник разнообразия воспитан в казарме — и казарменная жизнь так и осталась высшим идеалом общественного устройства. Природа подчинила себе (и подавила) разум.

Эти свойства проявляются у всех женщин уже в юном возрасте и лишь в различной степени. Они возникли под давлением социальных условий и развиваются дальше путем наследственности, примера и воспитания.

Но главное обвинение — эти фифы не хотят заниматься детьми и пытаются сбегать чад на общественное довольствие или (кто богатый) передать на воспитание наемным «специалистам». Работа женщины —

рожать и растить; все остальное — от барских щедрот, по возможности. Соответственно и воспитывать: с малолетства приучать к предстоящим супружеским обязанностям — и нехорошие дамские побуждения делать «источником счастья как для нее самой, так и для других».

Все врачи согласны, что образованию женщины недостает всего того, что необходимо для нее, как матери и воспитательницы.

Оказывается, педагогика — ветвь медицины! Не социализм, а дурдом. Воздействовать не только кнутом — но и шприцем.

Десять десятых девушек, выходящих замуж, ничего не знают о материнстве и своих обязанностях в браке. Непозволительная боязнь даже матерей говорить со взрослыми дочерьми о половых функциях оставляет девушек в полном неведении относительно их обязанностей по отношению к себе и будущим мужьям.

Какие к черту обязанности? Человеком быть надо! А не бабой в постели, женой или матерью. Учиться общаться с людьми — а не с членами или спонсорами. И думать не о половых различиях, а о месте человека во вселенной.

Мужчины и женщины будущего общества будут обладать в гораздо большей степени самовоспитанием и знанием собственного существа, чем мужчины и женщины современного общества.

Не будет в будущем ни мужчин, ни женщин — будут люди. Если на то пошло, уже сегодня мужчина и женщина — чисто общественные роли, а вовсе не самец или самка. К органическим телам это может вообще никак не относиться. Например, в эпоху искусственного интеллекта роботы для удобства зверушек могут приписывать себе пол — и, например, выглядеть соблазнительной самочкой или говорить женским голосом. Мужские тела нередко ведут себя по-женски, и наоборот; более того, пол в паспорте можно прописать независимо от присутствия первичных половых признаков (или вообще не указывать). Так что «знание собственное существа» плавно перетекает в свободу творчества, способность меняться и менять.

Уже один тот факт, что исчезнет глупый и смешной страх говорить о вещах, относящихся к половой жизни, как о чем-то таинственном, сделает общение полов гораздо естественнее, чем теперь.

А зачем вообще тогда о них говорить? Достаточно общаться всеми доступными средствами — в том числе физиологическими. Когда кому-то с кем-то приятно — это сугубо личностное, духовное отношение, которое не зависит от способа реализации.

Ладно, танцевать и любоваться красотами Бебель не желает. Мы его и не заставляем. Но не надо заставлять танцора сидеть смиренно — а игру в новогоднюю елку (или сексуальный подарок) пресекать на корню. Автор в том же переплете ратовал за разнообразие — но выясняется, что такая роскошь только для людей, у которых «образование направлено на развитие функций разума», — а с женщинами надо строже. Пресечь образование, которое

направлено главным образом на углубление чувствительности, это образование формальное и изящное, когда с помощью музыки, беллетристики, искусства, поэзии лишь повышается нервность и фантазия. Ничего более нелепого нельзя себе представить.

Не нужно это мужикам. На фига им тонкости женского менталитета? Давайте устроим баб по мужицкому образу и подобию — и обращаться с ними будет намного проще! Чтобы у всех кнопки одинаковые.

Для обоих полов было бы очень полезно, если бы женщина вместо излишней чувствительности, которая иногда дает себя чувствовать слишком сильно, обладала хорошей порцией острого рассудка и точного мышления, вместо нервной раздражительности и пугливости — твердостью характера и физическим мужеством, вместо эстетического развития, насколько она вообще им обладает, — знанием мира, людей и сил природы.

Долой мечтателей и артистов! В клинической утопии Бебеля — надо со скальпелем и кувалдой. И людей знать исключительно в перекрестье прицела (или из биржевых сводок).

Почему всех опять под одну гребенку? Чем, скажите на милость, «нервность» хуже тупого обывательского рассудка (дальше которого филистерская «острота» не идет)? Точность мышления? За ней надо к поэтам! — а наука вся в грубых упрощениях, голая схема, скелет бытия. Наконец, почему знания — «вместо эстетического развития»? А вместе нельзя? Так было бы по-людски, а не по-буржуйски.

Опять же, все женщины на одно лицо. А они, ведь, очень разные! Так оно и будет, пока видят в женщине не личность, а женщину; узколобый эмпирик обречен на узость суждений. Здесь очень заметно, что Бебель и ему подобные

руководятся исключительно своими предрассудками о сущности женского характера и ограниченном жизненном положении женщины.

Все, что выходит за рамки их мещанского понимания объявляют болезнью — и призывают работников шприца и скальпеля, которые

«принуждены говорить, что самым основательным лечением является брак». Принуждены кем? Очевидно, работодателем. Которому нужно «авторитетное» свидетельство, что

женский организм в гораздо большей степени, чем мужской, связан с его половым назначением и находится под его влиянием.

А тогда в порядке вещей, если

для женщины создается больше препятствий естественному удовлетворению ее сильнейшей потребности.

Есть, правда, одна заковыка:

Это противоречие между естественной потребностью и общественным препятствием для ее удовлетворения ведет к неестественности, к тайным порокам и эксцессам, которые разрушают всякий недостаточно сильный организм.

Но кто привыкши — тем можно... Не разрушатся.

Противоестественное удовлетворение потребности поощряется иногда самым бесстыдным образом.

«Естественность» и «противоестественность» — в отношении человека понятия неуместные. Человек делает природу — и сам решает, что будет естественным. Человек лепит свои потребности — и удовлетворяет их не «естественно», а культурно. Филистеры возмущаются — это их проблема. Дикари. Препятствия в классовом обществе — отнюдь не от физиологии; это обычный инструмент порабощения и закрепощения. Один из них — брак, в который «врачи» так и не сумели поголовно загнать народ.

Наши социальные условия создали глубокое противоречие между человеком как существом половым и человеком как существом общественным. Это противоречие ни в одной из предыдущих эпох не было так заметно, как в настоящее время, и оно породило массу зол и болезней, от которых страдает главным образом женский пол.

Так устроено классовое общество: разделить и создать противоречия. Всего-то нужно: чтобы не было никаких «половых существ», равно как и существ «общественных»; ни женщин, ни мужчин — только люди!

Все это показывает, где можно искать изменения. С одной стороны, надо совершенно изменить физическое и духовное воспитание человека, с другой — надо создать совершенно иной образ жизни и труда. Создать это для всех возможно только при совершенно измененных социальных условиях.

Расплывчато и робко — но в целом верно. Менять надо и общественный строй — и систему воспитания. Физически — чтобы не загонять людей в идиотизм узкой специализации и природных дарований, чтобы любое действия стало одинаково доступно всем; для этого потребуется дать человеку достаточный арсенал неорганических тел, способных на то, чего не может сделать ни один организм. Духовно — освободить разум от биологических тел и физиологических отправления, чтобы человек общался с человеком, а не тело с телом. При желании, они могут совместно использовать какие-то тела — и никакие указания со стороны им для этого не нужны.

К сожалению, последовательно провести эту мысль Бебель не умеет. Снова и снова от общественных проблем — к глупой клубничке, на потребу обывателям обоих полов. И снова поиск виноватых, война полов, а не единство людей:

... мужчина заставляет женщину подавлять ее самые сильные потребности и ее общественное положение и брак ставит в зависимость от ее целомудрия. Зависимость женщины от мужчины нигде не проявляется так ярко и возмутительно, как в этом различном отношении к удовлетворению одной и той же естественной потребности.

Все последствия акта совокупления природа возложила на женщину; мужчина знает здесь одно только удовольствие, но ни забот, ни ответственности.

Гнусная ложь! Природе все равно, она ничего ни на кого не «возлагает»; это классовое общество порабощает как женщин, так и мужчин — заставляет их вести себя по-скотски. Любые «последствия» — не от полового акта, а от бескультуры и насилия; если же кто-то считает удовольствием секс сам по себе — это вообще не человек. Женские «измены» — вовсе не от желания иметь секс; они вызваны социальными причинами: это попытка освободиться любой ценой, стать личностью, а не рабом (вещью, собственностью). В классовом обществе стремление к свободе может принимать и такие, извращенные формы; в этом тоже проявляется всеобщая «извращающая сила денег» (Маркс, [42, 150]).

Беспомощность эмпирика и биологизатора — источник идейных шатаний и логических неувязок. Мы согласны:

Если говорить о *равенстве всех людей*, то нелепо исключать из него *половину* человеческого рода.

Вот оно! — все *люди*, а не женщины или мужчины как «естественные» противоположности. Это не «женский вопрос» — это о революции.

Делают ее не «половые существа», а люди — и лишь поскольку они осознают себя людьми и не желают, чтобы их приравнивали к скоту или неодушевленным вещам.

Но тем более в интересах женщин бороться за установление такого порядка вещей, который освободил бы их из этого унижительного положения. Женщины так же мало могут рассчитывать здесь на помощь мужчин, как рабочие на помощь буржуазии.

И все. Нет больше людей — а есть стороны конфликта. Отчуждение и вражда. Дело спасения женщин — чисто женское дело. И тут с небес спускается добрый дядя, проникнутый искренним сочувствием к страждущим подругам — и выводит их на путь утопической истины:

Угнетенный нуждается в возбуждении и воспламенении, так как для инициативы ему не хватает независимости. Так было в современном пролетарском движении, и то же самое наблюдается в борьбе за освобождение женщины. Даже буржуазии, поставленной в ее освободительной борьбе в сравнительно благоприятные условия, проложили путь руководители из дворянства и духовенства.

Наблюдение верное: угнетенный класс никогда не освобождает себя сам. Но если глянуть чуть дальше эмпирии — выясняется, что никакого освобождения вовсе нет — а речь идет о полной перестройке классовой иерархии; рабов лишь соблазняют на борьбу, дразнят конфеткой про возможность пролезть в господ. Власть переходит к тем, кто сидел в тени, только зарождался как класс в недрах прошлого. Мужчины опять соблазняют женщин — чтобы поживиться за их счет. Людям подсовывают ложную цель:

Прогресс человечества состоит в устранении всего, что ставит в зависимость и подчинение человека от человека, один класс от другого класса, один пол от другого пола.

Настоящая цель — устранить различия как таковые: и общественные, и половые. Ибо любое различие — ставит в зависимость и подчинение; любое равенство — источник неравенства. Что мы и видим у Бебеля:

Не может быть оправдано никакое неравенство, кроме того, которое создано природою в виде различия между отдельными людьми. Но естественные границы не должен переступать ни один пол, ибо этим он уничтожил бы свою природную цель.

Оказывается, неравенство вполне оправданно — за исключением, разве что, отдельных злоупотреблений. Над человеком довлеет высшая сила; назовем мы ее богом, природой или капиталом — не имеет значения.

Человек уже не может сам ставить себе цели и менять мир для их достижения; цель предписана извне обезличенным абсолютом. Кто покушается на «естественные границы» — преступник. Со всеми вытекающими последствиями. Воистину:

Неразумно воспитанный не может воспитывать других разумно.

Афоризм могуч! Но будем ли мы ждать доброго барина, когда речь о том, чтобы не было никакой власти и никаких общественных различий? Похоже, надо самим вытягивать себя из классового болота.

Бебелю такой расклад не по нутру. Не надо ничего разрушать — и тем более созидать, — будьте довольны жизнью, платите партвзносы — а царство утопленников придет само собой, ибо это «природная цель»:

Наше изложение показывает, что при осуществлении социализма дело идет не о произвольном разрушении и созидании, но об естественном историческом возникновении.

Остается только сообразить, как мы догадаемся, что мы уже в раю. Всеобъемлющий ум Бебеля и здесь не сплеховал: оказывается, для этого в природе существуют особые существа, наделенные «естественным» чутьем (божественным предвидением), — интеллигенция. Вообще-то,

ее цель — показать, что буржуазный мир при всех своих недостатках, которые признаются в мелочах, является лучшим из миров.

Но в кризисную эпоху

буржуазный мир создает не только перепроизводство товаров и рабочих, но и перепроизводство интеллигенции. Вследствие всех этих обстоятельств необычайно многочислен ученый и художественный пролетариат, пролетариат так называемых либеральных профессий, который постоянно увеличивается и вносит брожение и недовольство существующим порядком вещей в высшие общественные круги.

Интеллигенция как безработный пролетариат духовного производства как раз и призвана тормозить сонные массы — и смущать расстроенное свержубытками начальство. Так и появились на небосклоне Маркс, Энгельс, Лассаль... И Бебель. Ура! Мы теперь знаем, куда нас гонят, — и можем бузить в пределах дозволенного (не переступая «естественных» границ). По этому случаю сказочник Бебель заканчивает дозволенные речи цитатой (вот так, в кавычках) из неизвестно кого:

«Будущее принадлежит социализму, то есть прежде всего рабочему и женщине».

Квинтэссенция маразма. Но мы пойдем другим путем.

В ожидании поезда

Про телепортацию все слышали. Когда хочется куда-то побыстрее и без дорожных неудобств, — самое оно перемещаться чисто мысленно: представил себе, что уже побывал в точке назначения — и поди докажи, что тебя там отродясь не было! А с другой стороны — может быть и вправду был? Почему обязательно присутствовать везде в облике руконогой зверушки? — есть места, куда в таком виде никак не попасть! Мы знаем, что происходит на далеких звездах — и внутри нашей домашней звезды; мы представляем себе, как молекулы гладят друг дружку электронными облаками; наконец, мы можем вообразить себе кванты пространства-времени — или глянуть со стороны на вселенную целиком. В конце концов, чтобы куда-то попасть, человек должен это «где-то» уже иметь перед мысленным взором как сознательную цель; иначе (по меткому замечанию некоего Карла Маркса) как-то не по-человечески получается... Вне зависимости от того, собираемся мы путешествовать осязаемо — или задействуем творческое воображение.

Бурные события XIX века во многих пробудили желание оказаться там, где не все так печально — и люди таки умеют относиться друг к другу по-человечески, а не грызутся, как бешеные звери по каждому поводу и без повода. Но в действительности — триумфальное шествие капитализма, она победа за другой, — и даже самые упертые смекнули, что без индустриальных кошмаров просто невозможно обеспечить относительно сносное существование тем, кто по классовому статусу достоин заниматься рефлексией. Поэтому решили так: пусть это мир кривой и поганый — мы изобретем себе чистый идеал и будем носить его в себе назло занюханым будням: мы уже там, и незачем что-либо по жизни предпринимать — руки марать. Такие господа назвали себя романтиками, и принялись усиленно продвигать означенный тезис в искусстве и философии, вызывая в публике широкий спектр чувств — от восхищения до отвращения. Восхищались те, кому по должности положено хранить покой господствующего класса: кто гонит волну — у того просто недоразвитое воображение, и надо не экспроприировать экспроприаторов, а блюсти моральную чистоту, возлюбить не только ближнего — но и тех, кто на той стороне бездонной классовой пропасти. Дескать, железную дорогу в будущее пусть строят — но господа будут ездить отдельно, первым классом (хотя все, вроде бы, едем в одну

сторону). А у кого совсем с финансами худо (или укачивает в пути) — кто вам мешает романтически телепортироваться?

Легко догадаться, что без попов не обошлось. Дескать, у нас есть сведения, что один таки телепортировался прямехонько на ту сторону, а перед этим пообещал всем, кто согласен жить по понятиям, похлопотать насчет теплого местечка. Поскольку любить окружающих сложновато, есть вариант делегировать любовь мифическому персонажу — и самым невинным образом продолжать грабежи да убийства, потому что грех — это когда не любят начальство, а все остальное автоматически простят.

Но у идей есть очень неприятное для властей свойство: даже в очень уродливой форме они сохраняют духовность — и значит, делают даже очень дурного человека человеком, а не тупой скотиной, — позволяют ему самостоятельно решать, кого и как любить, или не любить. Потому что любовь — это и есть свобода, в переводе с экономического языка на общение разумных существ, личностей. И поэтому идеологические баталии начала XIX века проходили под знаком любви: как ни кинь, чтобы строить добротную дорогу, нужно определиться с пунктом назначения — и только тогда станет ясно, как обходиться со складками рельефа.

Интуитивно догадываясь о масштабах того, к чему они робко прикоснулись, романтики пугаются и начинают искать точки опоры — которых, конечно же, в эфемерных мирах нет; так строительство идеала дополняется партийным строительством, реальным (хотя и не всегда формально документированным) участием в классовой борьбе. Ну, с революционными романтиками все нормально: они плавно перетекают от романтизма к социализму, и далее по инстанции. Мы сами выбираем направление — и сами же туда строим. Противоположная партия — реакционный романтизм, который против уродств капитализма — однако устранять их предлагает путем возврата в чей-нибудь золотой век. Где начальство тоже было — но держало всех в страхе божием, и порядок блюли во благо всем, включая неразумных тварей. Понятно, что эти чистоплюи своими силами ничего делать не собираются: их задача разъяснить руководству принципы истинной религии, после чего массы железной рукой развернут на угол π — и никакая железная дорога не нужна!

По счастью, к этим радикальным ветвям дело не сводится. Были те, кто предпочитал не отворачиваться от будущего — но и не разменивать его на соблазны буржуазной демократии, на торг. Однако беспартийные

романтики оказываются заведомо в проигрыше, когда речь заходит о популяризации идей: на фоне преувеличенной озабоченности прессы и публики по поводу текущей политики — они кажутся существами не от мира сего; обыватель этого не понимает, левые обзывают мистиками, а правые пробуют сыграть на беспросветном идеализме — но сразу же замечают неукротимую чужеродность и отрешиваются от мечтателей, сны которых невозможно монетизировать.

С другой стороны, сами неприкаянные вне экономических структур остаются и без духовной опоры; они бесконечно одиноки, им просто не с кем общаться — а идеи не могут без любви. Остается ждать на выдуманном перроне выдуманного вокзала на еще не построенной железной дороге иллюзорного поезда, предположительно следующего в лучшие времена. Или в лучший мир. О котором, вроде бы, кто-то когда-то кому-то уже рассказывал... Вот и давайте назовем это христианством (или еще как-нибудь) — но очистим от всякой религиозности, от культа, и мистически (напрямую) приобщимся к тем, кто способен нас понять.

Да, конечно: ожидать от христианинствующего мистика и нелепого романтика полновесной идеологии, вроде бы, не приходится: сплошь эклектика, нагромождение предпочтений, персональная кунсткамера. Но вспомним, что Франц Баадер выстраивал свою философию во времена, когда едва вышедший из младенчества Маркс тоже крепко косил в романтизм — и еще не успел подхватить брошенное Баадером слово: пролетарий. Читать Баадера — сплошное *déjà vu* наизнанку: все это мы уже видели у известных людей, которые (прямо или через третьи руки) передрали кому что ближе у блаженного Франца...

И Баадер, и Маркс, — и многие другие, — выросли из великих прозрений последнего энциклопедиста Гегеля, после которого стало ясно, что философия (а также наука или искусство) не может быть построена раз и навсегда — и начинается философия как раз там, где она выходит за рамки философских систем, *снимает* их. В этом философия подобна миру в целом — для которого всякое различие и движение возможно лишь как внутреннее, как взаимодействие его «органов»:

Поскольку бытие как таковое присуще лишь тотальности, или единству, то есть оно покоится, постольку, пока подобная его завершенность не отменена, не может иметь места движение, становление или явление, формирование, то есть явление, движение, жизнь могут выступить лишь в расчленении. Ибо явление относится к существу как становление к бытию. Лишь *бытийствующее становится*, или явля-

ется, и лишь становящееся, или являющееся, бытийствует. Если целое не становится, не движется, то оно не может являться, не может и становиться. Всякое движение есть движение членов целого, есть *motus intestinus*.

Здесь Маркс почти согласен с Баадером: мир только один, и нет ничего потустороннего, и надо честно выводить множественность из того, что ей (логически) предшествует, из единственности. Нет никакого смысла в идее мира как такового, безотносительно к способам его становления, вне какого бы то ни было «расчленения»: без всех этих частных целого тоже нет. Различия начинаются, когда от слов переходят к делам: коммунист Маркс бросается с головой в вихри истории, хочет лично во всем участвовать — и в этой действительности видит человеческую суть; напротив, романтик Баадер брезгливо обзывает политическую возню «перистальтикой кишок» — и предлагает таки не упускать из виду целого — того, что именно представляют любые явления, и к чему все происходящее в итоге обязано прийти. Отсюда различия в постановке «основного вопроса» философии. Для Маркса все упирается в четкое отделение материи от сознания, угнетателей от угнетенных, правых от левых, — и так далее, чтобы всегда можно было с гордостью заявить: мое представление о счастье — борьба! Баадер на первый план выводит отношение частей к целому — и философия как раз и нужна, чтобы привести любые различия к единству; здесь он гораздо ближе духу Гегеля — но выразить это немецкий (да и любой другой) язык XIX века может только в мистических, религиозных терминах — которые религия на самом деле лишь узурпировала, противопоставила языковой массе — как господствующий класс узурпирует рефлексию, присваивает себе право решать за других. В пылу борьбы Маркс усматривает у Баадера только это, поверхностное, формальное следование абстрактно взятому (в проекции на партийные программы) философскому идеализму; что отказ от действия также может быть деянием — юристу по образованию почему-то в голову не пришло.

Баадер (совершенно справедливо) полагает, что за борьбой партий (в том числе в философии) стоит банальный рыночный интерес, и ехидно выражается по поводу партийных «мыслителей»:

Хотя наши корпящие над конституциями художники государственности и решительно протестуют против предположения, что за всеми их философскими спекуляциями скрывается всего-навсего биржевая спекуляция, им трудно доказать свою невиновность, когда на них

падает подозрение в фихтеанстве, потому что конституционное устройство государства есть у них не что иное, как фихтеанское полагание самого себя.

Это очень зло! — буржуи корчатся, как в аду на сковородке, — и Марксу тоже не отбиться голыми лозунгами. Тем более, что камень в его огород совершенно недвусмысленный:

Поверхностными и негодными необходимо считать любые теории государства, которые объясняют возникновение, существование и восстановление государства натуралистически, полагая, что можно обойтись без религии и ее опосредующей, религирующей, все выравнивающей через примирение силы...

На этом месте воинствующий материалист плюет в сердцах и дальше читать не собирается: на фиг нам еще один поповский прихвостень, проповедник примиренчества? А зря. Потому что более внимательный взгляд обнаруживает, что слово «религия» у Баадера — в совершенно буквальном (изначальном) понимании: клей, средство восстановления утраченного единства. Вы можете сколько угодно бороться против — но в какой-то момент вам придется определиться, за что вы боретесь. Сама по себе борьба не дает ни малейшего повода предпочесть одно или другое; поэтому победа одной партии — лишь начало новой борьбы, еще один виток того же самого; в этом суть буржуазной демократии. Только выходя из борьбы, рассматривая ее лишь как путь к будущему единству, можно снять саму идею борьбы (что Баадер, забывая о Гегеле, неуклюже называет «примирением»).

Дом — не просто груда стройматериалов, и не крепеж сам по себе; из всего этого дом вырастает следуя *идеи* дома, творческому замыслу, без которого любое «натуралистическое» объяснение «возникновения, существования и восстановления» дома оказывается «поверхностным и негодным». Между прочим, о том же писал и Маркс в своей главной книжке [23, 189]. Но развить идею не успел — или не решился? Представьте себе, что строители, вместо работы по проекту начинают качать права и выяснять, кто из них в этом деле главный, — куда такая стройка заведет? Чтобы созидать — надо трудиться вместе, сообща:

Все в этом Всем есть единство и средоточие, все сплетается одно с другим, и все выплетается одно из другого.

Между прочим, то же самое говорит Маркс: всякое производство есть *общественное* производство — и продукт его возникает как соединение усилий всех людей; поэтому *всякое* присвоение есть насилие, узурпация,

отчуждение, экспроприация, — грабеж. Следовательно, не может быть никакой собственности — ни частной, ни общественной: все для всех, а не для частных лиц или общества в целом. Но развить идею Маркса не успел — или постеснялся? А первый марксист Энгельс всю кроет Дюринга с его теорией первоначального накопления — и выдвигает контртеорию о «естественном» происхождении собственности; что может быть пошлее?

Если же признать, что клей таки нужен, — надо честно искать, чем клеить будем. Заслуга Маркса: в классовом обществе представителем духовного единства человечества становится господствующий класс — который при капитализме представлен уже не конкретным лицом, а безличной (или надличной) силой, капиталом [23, 341]:

... наемные рабочие могут кооперироваться лишь в том случае, если один и тот же капитал, один и тот же капиталист применяет их одновременно, т. е. одновременно покупает их рабочие силы. Следовательно, совокупная стоимость этих рабочих сил, или сумма заработной платы рабочих за день, неделю и т. д., должна уже быть объединена в кармане капиталиста, раньше чем сами эти рабочие силы будут объединены в процессе производства.

Рабочие на производстве так же конкурируют между собой, как и любые другие рыночные агенты, — но поскольку их труд куплен хозяином, они вынуждены уступить его воле, чтобы не лишиться доступа к средствам производства (без которых им просто нечем будет конкурировать).

Однако Баадера (и любого разумного человека) такое разъяснение не удовлетворяет: оно годится только для разодранного противоречиями классового общества — и совершенно никак не намекает на то, что будет потом, в обществе без классов. Социалисты заявляют о консолидации пролетариата в класс в ходе борьбы с господами всех мастей; допустим, господ поставили к стенке — что тогда сохранит единство? Теория молчит — а практику мы видели: распад победителей на враждующие группировки, террор — и контрреволюция. У Баадера перед глазами был свежий пример французов — болезненной реакцией на который и стал европейский романтизм:

Все мы *больны*, и больны все дела и труды наши, вся наша философия, да и религия — только для больных.

До признания извращений единственно возможной нормой (у Фрейда с компанией) было еще очень далеко... А пока — Баадер ищет иное, более разумное основание для соединения всего со всем, для восстановления

единства мира; в отношениях человеческих такой силой становится любовь, которая выводит человека из единичности, отчужденности, — стирает любые границы:

Но прощать и раскаиваться мы не можем в тесных границах своей природной самозамкнутости, но можем лишь во всеилии проникающей и перелетающей через любые границы любви, то есть любви бога, который есть любовь.

Заметьте: здесь не христианнейшая любовь к богу — а свободная, человеческая любовь, которая делает *человека* богом — который и есть любовь, и никакие другие боги не нужны. Потому что любовь не просто безрассудный порыв — она всегда разумна:

... и почувствовал в себе все удовольствие от этого состояния внутреннего покоя, я вполне удостоверился в душе в том, что *разумность поведения — всегда самое лучшее*, так что впредь чувствовал себя увереннее, когда овладевали мною неразумные желания, и с той поры начал выздоравливать.

Да, груз тысячелетних предрассудков с плеч не сбросить:

Так называемая чувственная, материальная природа есть символ и копия внутренней, духовной природы.

Идея великолепна — ибо для человека мир не сам по себе: мир становится всеобщим объектом, природой, только в отношении наших замыслов и намерений, когда мы уже знаем, во что мы хотим его превратить. Однако если (подобно воинствующим материалистам) ограничиться лишь тождеством материальной и духовной природы — ни о каком миротворчестве речи быть не может; надо решительно выходить за рамки природности как таковой, заметить в себе то, что заведомо не природно, — стать субъектом, а не объектом деятельности. Баадер не сумел — но хотя бы заметил, что природа *одухотворена* человеком: это не только предпосылка деятельности, но и ее продукт:

Дело, реальность тебя учат. Не удивительно, что вся психология и теология древности исходят из этого прекрасного, благого, вездесущего явления Бога в природе. И верно, и я тоже не хочу даже слушать о какой-либо иной теологии или психологии.

То есть, мы божественны — когда мы творим мир, воплощаем себя в нем. А тем самым пересоздаем и самих себя. Проблески такого, деятельного отношения к миру — есть и у Маркса. Но только в узкопартийном понимании, как решение насущных задач. Здесь же принципиально другое: разумным считается лишь то, что ведет к

единству мира, и всякое творение соотносится с задуманным нами целым. Мы не абстрактно созерцаем (или познаем) мир — мы все в нем видим с точки зрения деятельности (усматривая в вещах «бога»). Мимоходом — универсальность как важнейшая (определяющая) черта разума: нем ничего в мире, что мы не смогли бы пропитать собой, втянуть в орбиту совместного труда — и любви.

Нам остается лишь честь выражать словами и разносить то, что поверено нам втайне, — мы эхо. Если надо точно указать, что творится во мне в такое мгновение, то я буду должен сказать, что ощущаю себя *деятельным* органом, а не *слепым* орудием. Толчок идет изнутри, а не извне.

Остается сделать один шаг: творчество начинается там, где только там, где человек проникнут культурой, где она часть его личности — и внешнее от внутреннего практически не отличается. Тогда Маркс вполне совпадает с Баадером — тем более, что последний вовсе не против революций и (как позже Маркс) считает их локомотивами прогресса:

Природа, разрушая, растворяя, всегда медлит, но, когда ваяет, действует стремительно и конвульсивно.

Огонь высекается из кремня не тогда, когда его трут медленно и спокойно, но когда резко, быстро ударяют им.

Подозрения у Баадера вызывает лишь чрезмерная озабоченность революционеров наведением революционного порядка: когда интересы одной партии поставлены выше других — это как-то не вяжется с баадеровским «примирением» (то есть, снятием противоположности как таковой, ее уходом в тень других реалий, за рамки исторического процесса). Но для действенного решения проблемы сроки еще не подошли — и Баадер вынужден отвергать догматический порядок в пользу беспорядка:

Никогда нельзя предсказать последствий анархии. Форма земной поверхности обязана своим существованием анархии.

Тем самым он попадает в логический капкан, снова противопоставляя одно другому, а не добиваясь единства. Баадер проходит мимо (чисто гегелевской!) дополнительной: не только целое осуществляется в единичном — но и единичное способно представлять целое (пусть даже неполным, односторонним образом). Поэтому, несмотря на то, что в столкновении враждующих сил должны погибнуть обе, раствориться в приходящем на смену, — полюса вовсе не равноценны и представляют разные стороны всеобщности. Коль скоро мы ставим перед собой задачу

пересоздания мира на основах разума и любви — мы обязаны отличать близкое нам по духу от пережитков классовой разобщенности; форма этого различия в классовом обществе есть классовая солидарность: мы сознательно принимаем сторону одних против других там, где одна партия представляет магистральное направление развития — хотя бы эскиз будущего пути. Форма расходится с содержанием — это обычное явление в обществе всеобщего разделения труда, где свобода вынуждена пробивать себе дорогу сквозь необходимость и случайность, а любовь порой превращается в ненависть.

Таким образом понятая партийность вовсе не означает безусловного соблюдения партийной дисциплины: где партия перестает представлять всеобщую объединяющую силу, — мы вправе искать более полного выражения идеи, ломая установившиеся (и потому условные) границы. Человек преодолевает свою природность путем отказа от животной борьбы всех со всеми — но он обязан пройти через эти природные воплощения, чтобы, как минимум, осознать свое отличие от них, свою духовность, разум:

... первый, непосредственно сотворенный человек есть человек природный, из какого посредством снятия такой непосредственности должен будет выйти человек духовный. Лишь опосредованная в этом смысле любовь есть любовь, ставшая истинной и духовной, любовь не просто натуральная, но супранатуральная, свободная от природности, но природности не чуждая...

За мистическим жаргоном — гениальнейшая суть, которую Маркс выплеснул из романтической купели вместе с поповщиной; отнимите у человека дух — и нет человека, и останется только тело, в котором некому быть. Производством бездуховных тел, послушных рабов всю дорогу занимают классовая педагогика и буржуазная пропаганда. Гипертрофированный экономизм социалистов, рабское упование на природу («естественно-исторический процесс») вместо преобразования природы (в том числе духовной), — делает их соучастниками буржуазии в ее стремлении увековечить (совершенно естественное!) общественное неравенство — и вносит свою лепту в работу по промывке мозгов, оболваниванию масс. Буржуазная модель «примирения» — общество классовой гармонии, признание неизбежности классового господства и великой мудрости начальственных (они же божественные, природные) установлений. Но баадеровский человек не вписывается в эту тишь да благодать! Да, ему приходится удовлетворять телесные и духовные

потребности — и вписываться в границы исторически сложившейся культуры; но собственно человеком он становится только там, где выходит за рамки условностей — и даже свое тщеславие ставит на службу разуму:

Все же человек не слишком большой эгоист. Непосредственные его потребности быстро удовлетворяются, а всякая роскошь восходит лишь к видимости — к сложившемуся мнению других. То есть роскошь отнюдь не столь уж грубо чувственна. Человеку хочется казаться счастливым — и он готов пожертвовать бытием ради видимости. Подобная черта затейливости в человеке все же являет нам кончик его подлинной природы — как существа *метафизического*. Он неустанно носится с мыслями, которые сам же и породил.

Человек — продукт деятельности, а не отражение какой-либо природы. Маркс прав: невозможно изменить себя, не изменяя мир; но Маркс забывает, что невозможно облагородить природу, не облагораживая себя: и то, и другое у разумного существа (субъекта деятельности) есть сознательное намерение и цель. Только так возникает направленность исторического времени — и времени вообще. Природе не нужно ничего менять, она может до бесконечности вариться в собственном соку:

Может быть, даже и смерти лишь компенсируются новыми рождениями? Ибо коль скоро природе важно лишь сохранить род, то она будет до тех пор порождать индивидов, пока индивиды будут убивать самих себя.

Но человеку не все равно — и он делает природных индивидов своими орудиями, заставляет их вести себя неприродным образом — чтобы в конце концов прекратить дурное самоуничтожение и заняться чисто человеческим делом — любовью.

И вот тут Баадер даст сто очков вперед любому мистiku или марксисту. Потому что для него любовь — синоним разума: одно определяется через другое.

Говорят так: религия и любовь — это для сердца, то есть тут не над чем раздумывать, мыслить, и обретаешь их и сохраняешь лишь воздерживаясь от мысли, — другими словами, все это чистая эмпирия. Не удивительно, что у столь многих и религия и любовь — какая-то неопределенная светотень их разума.

Именно так! Убеждения не предмет веры, а любовь — не восторг и влечение. Такие светотени — предвестие разума; но идти к разуму таки надо, долго и трудно, преодолевая рецидивы классовой разобщенности.

Если по справедливости полагать сущность любви в объединенности и выравнивании, в завершенности и взаимодополняемости обособленных индивидов через поступление их под начало высшего, через подведение их под такое начало — под начало Эроса, ибо всякое единение совершается через подведение под общее, то следует поразмыслить над следующим: 1) лишь неравное может выравниваться и испытывать нужду в выравнивании, подобно тому как не одни и те же (*unisono*), но лишь различные звуки могут складываться в аккорд; 2) такой аккорд, гармония и созвучание не имеют место ни *перед* реальной выравниванностью, ни *после* нее, но имеют место лишь в ней самой, как актуозность и поэтому любовь не может быть понята вне любления, единство (*unitas*) вне единения (*unire*), жизнь (*vita*) вне жизни (*vivere*); и, наконец, 3) во всякой любви, в любви твари к творцу или твари к твари, можно различить две стадии, или два момента, в первом из каковых любящие еще пребывают лишь в унисоне, то есть в неиспытанной беспорочности своей любви, где пока невозможно заметить какое-либо расхождение, различие между ними, но где таится возможность различения, опасность разрушения и смерти единства, что должно радикально уничтожить, прежде чем любовь перейдет во вторую стадию истинного аккорда и субстанциальной формы.

Оставим этот длинный пассаж почти без комментариев. Тут бездна открытий — и океан заблуждений. Гениальна мысль о развитии любви по универсальной (гегелевской) схеме: *синкретизм* → *анализ* → *синтез*. Не хватает лишь иерархичности — воспроизводства этого движения на разных уровнях (иногда в очень непохожих проявлениях). Мы приходим к синтезу не для того, чтобы почтить на лаврах, — это завершение одной истории и начало другой, когда прошлое *снимается* — остается как этап и предпосылка, как скрытое, виртуальное движение. Но главное — все это не о любви как таковой, а о ее *телесности*, о каждом из единичных проявлений через отношения личностей (общество в единичном, квант духовности); речь, конечно же, не о физической близости — хотя и о ней тоже, — но прежде всего о совокупности общественных отношений, неорганических телах (Маркс где-то рядом). Такое, идеальное тело все еще остается «природой человека» — хотя и это любовь, «свободная от природности, но природности не чуждая». Когда же речь заходит о любви как духовном единстве, уже нет места сравнениям, и всякие различия теряют смысл. Не потому, что не существуют, — а потому что неуместны, сняты, содержатся в любви возможностью воплощения, но никоим образом не влияют на суть происходящего. Вспоминаем

уроки школьной физики: если вам нужно найти угол — ищите угол, а не массу. И если вы говорите о любви (а лучше: делаете любовь!) — не отвлекайтесь на физику тел: любовь сумеет воплотиться в любой. Гениальность Баадера и здесь не подвела:

... любовь (божия и человеческая) не есть лишь нечто такое, что можно даровать самому себе или принудить даровать себе, не есть нечто такое, чем можно наслаждаться пассивно и праздно, но что подлинная любовь есть нечто актуозное и подлинной любовью (*amor generosus*) не становится иначе, нежели как через посредство чего-то непосредственно данного не без участия со стороны любящего, то есть, иначе говоря, что любовь лишь как данная, при всей своей прелестности и невинности, все же заключает в себе тленность и даже смерть, радикальное уничтожение каковой, следовательно, не просто дано любящим, но *задано* им как проблема, которую только еще предстоит им разрешать.

Круто! Мы любим лишь сознательно выстраивая свою любовь, разумно воплощаем ее в заведомо конечных вещах — чтобы подчеркнуть ее вечность, невещность. Но точно так же, мы существуем в мире лишь поскольку мы его творим. В частности, мы коммунисты — пока мы строим коммунизм (но мы вовсе не обязаны при этом забывать о всяком прочем строительстве). Именно этой многоплановости, подвижности, универсальности не хватает партийным политикам: при жестком (классовом) противопоставлении одних другим, примиренчество есть абсолютное зло, сидение на двух стульях...

Баадер высвечивает самую суть деятельности: это не просто производство конкретного продукта, а расширенное воспроизводство его конкретности, уточнение прежних и постановка новых проблем. А значит, полный букет сомнений, страданий, неожиданных открытий... Все как у людей.

Тем самым мы избегаемся от скучных изображений любви как праздного наслаждения — и в аскетике и в романтизме — и начинаем понимать, почему счастье, каким пользуется невинный, есть лишь счастье случайное и не заслуженное им, заключающее в себе ненадежность...

Это уже не скучный мистический романтизм, а самая что ни на есть революционная романтика: человек — кузнец своего счастья. Сравните с пошленькими фразами о любви у марксистов (включая Маркса), где на каждом шагу мещанское «наслаждение». До представления о любви как способе преобразования мира они не доросли.

К сожалению, не дорос до себя и Баадер. Штампы эпохи, привычки обывателя... Великим прозрениям нет призрения — и нет пророка без порока. Как только мы переходим к раздаче слонов и заявляем, что «опосредующая акция, или посредник, всегда выше опосредуемых», — начинается выдумывание богов, которые выше всех — и на кого при случае легко спихнуть ответственность. Но, в отличие от христианства, у баадеровского бога — женский облик; романтически наивно, Баадер называет христианством культ женщины, «хранительницы любви», — неуклюжей игрой слов причесывая официоз под фантазию:

Глубочайшее унижение женщины в лице Евы (Eva) преизобильно возмещено возвеличением и прославлением ее в лице Марии (ave).

И совершенно фонарный тезис — который потом на все лады повторяют изобретатели все новых «христианств»:

Лишь благодаря христианству женщина обрела гражданскую свободу и честь, а потому у женщин как хранительниц любви есть серьезная причина быть приверженными к христианской вере и хранить ее — еще и потому, что лишь примиренные с богом и благодаря этому съединившиеся с богом души могут истинно единиться и между собой, то есть способны подлинно любить.

То есть, по факту, речь не о боге, а о любви: товарищи женщины! примите на себя миссию вывести человечество к свету, избавить от вражды и всеобщей отчужденности; если мужики не умеют любить друг друга — пусть они любят женщин, и это будет любовью к богу, ибо женщина и есть бог. Половая любовь становится как бы мостиком к любви всеобщей, разумной — духовной (а в хорошо промытых мозгах духовность целиком относится к ведению религии):

Половая любовь, пребывающая в пределах простой натуральности, не способна довести до полного и подлинного единения две ее составные части, возвышение и смирение, не способна отделить личность от прагматики, но когда единение наступает, то любовь уже принимает религиозный характер.

Вспоминаем, что слово «религия» Баадер использует этимологически, как «связывание», «объединение». Снимая противоположность полов, половая любовь уже способствует общественному единству:

... можно понять, что любовь полов действует, через посредство религии, как сила, охраняющая общество, как сила, очищающая его от греха начиная с семьи, что любовь полов — это прибежище религии и любви.

Замечаем: семья здесь установление сугубо общественное — и ее надо чистить от всеобщего разлада («греха») вместе с остальными сферами человеческого бытия. Как всеобщая духовная связь, половая любовь не привязана к отдельным сторонам культуры — она охватывает общество в целом, а семья — только один из аспектов ассенизации. Это ново — это богатейший пласт для разработки. Однако продолжение мысли утоплено в уступках традиции: половую любовь Баадер мыслит только в браке — который тогда приходится освобождать от (церковных и светских) формальностей и считать чисто духовным («религиозным») союзом:

... общность имущества (*communio bonorum et malorum*), существующая между любящими и брачащимися, получает высшее значение.

Понятно, что без мистики превратить торг, грабеж и рабство в нечто возвышенное никак не получится. Но даже здесь Баадер нетривиален: общность имущества он (хотя бы в принципе) допускает и для любви вне брака — предвосхищение идей о телесном единстве любящих, когда тело одного является также и телом другого, и каждое из тел в равной мере представляет их личности; разумеется, такие отношения не нужно «узаконивать» — они заведомо неформальны.

... вступая в союз любви, любящий и любимая отрекаются от своего личного, отдельного совершенства и вместе составляют солидарную общность как в стремлении к такому совершенству, так и в чувстве боли от недостижимости все откладывающегося и в наслаждении отчасти достигнутым, так что процесс примирения становится для них совместным...

Наивная утопия — и предвосхищение совершенного мироустройства, где нет «частных лиц» — а есть всесторонне развитые личности, вместе радующиеся и вместе страдающие — вместе идущие к единой (но не одной!) цели. Важно, что и снятие разобщенности — наш совместный труд, и никто не приведет нас в уже готовенький рай. Буржуазный атавизм — считать, что ради единства приходится отказываться от себя, подчинять личное общественному; суть в том, что именно любовь дает каждому его личное совершенство — только в составе целого человек и может быть совершенным. Противоположность единичного и общего снята — одно представлено через другое, одно становится другим.

Классовый человек привык выживать в атмосфере враждебности и конкуренции; любая уступка для него — оторвать от себя, лишиться навсегда. В любви мы нечего не отдаем и ничего не получаем — у нас

все общее, совместное, равно присущее каждому. Свободный человек не может пойти против себя — в нем все от любви. Классовое общество подавляет личность, навязывает ей всевозможные границы — заставляет смиряться и терпеть якобы во имя любви. Баадер возражает:

... до тех пор, пока боль и унижение принимаются не добровольно и претерпеваются лишь внешне, они порождают лишь противоположность любви.

Возражение по существу — но требует существенной поправки: в любви вообще нет боли и унижения! — все муки от того, что против любви, что не дает любить.

Филистерские представления о различии полов проникают во все уголки баадеровской философии — заставляют приспособлять слог к убогим стереотипам:

Я потому называю женщину хранительницей любви, что, как известно, у мужчины инициатива принадлежит не любви, но похоти и любовь только следует за наслаждением, тогда как, напротив (в нормальном состоянии), у женщины наслаждение следует за любовью, а вообще женщина не столь способна к абстрагированию того и другого, как мужчина.

Здесь, по сути, констатация характерного для того (а во многом и для нашего) времени рабского положения женщин, которых считают лишь вещами, игрушками, инструментами — собственностью мужчин, для которых любовь — рыночная сделка, а удачная сделка — высшее блаженство. По Баадеру, женщина привносит духовность в рыночный разгул, делает мужчину человеком пробуждает в нем разум. Ниточка тянется с античных времен — но особое звучание приобретает на заре Нового времени; вспомним, например, у Шекспира, о превращении мальчишки Ромео любящего и любимого. Слова о «неспособности» женщин к абстракции — дань суеверию; по смыслу, речь об обратном: женщина способна любить — и передает эту способность мужчине, вылечивает его от убогой природности. Но заменить одну природность на другую — перевернуть песочные часы — не отменяет конечности отведенного на любовь времени: все снова сводится к абстрактной противоположности. Чтобы снять различия, надо заметить, что наши способности и предрасположенности — общественный продукт, и все люди (женщины, мужчины, и прочие) таковы как их воспитывают — чем их делают в условиях наличного способа производства. Различное отношение к собственности — очерчивает духовные горизонты, придает

форму любви — в том числе половой. Чтобы изменить формы — надо менять общество, направить поезда (или караваны ракет) в далекое бесклассовое будущее. Дело не в намерениях сегодняшних женщин и мужчин, а в ежедневно и ежечасно воспроизводимой классовым обществом бездуховности и тех, и других — в растаскивании человечества на части по половому, возрастному, этническому или религиозному принципу. Баадер вязнет в этой (навязанной сверху) разделенности, природности:

... мужчина сознательно дает женщине худшее — наслаждение, а женщина мужчине — лучшее (любовь), и против этого достоинства женщины не может служить серьезным возражением ни употребление во зло половой любви (*abusus optimi pessimus*), ни то замечание, что именно женщина разжигает в мужчине похоть и что любовь девы возбуждается мужчиной, потому что женщина лишь неосознанно (невинно) пробуждает похоть в мужчине, но зато отвечает ему любовью сознательно.

Насчет «дать наслаждение» — банальнейший мужской шовинизм: то есть, если мне в кайф — то и глупая баба должна быть в восторге... Чтобы на самом деле ублажить — большая редкость; но дамы терпят — по разным причинам. Хорошо, если по любви. Или хотя бы в надежде на что-нибудь. Чаще — от безвыходности, или по традиции, или просто не зная ничего другого. Даже в наше сексуально просвещенное время оно так — что уж говорить про двести лет назад!

Гениальность Баадера отделяет так любовь от плоти — и объявляет заведомо лучшим. А заодно делает женщину носителем лучшего, своего рода источником света (при всей почтительности к главному начальству, богу, — до которого на практике все равно не достучаться). Конечно, живи Баадер в другую эпоху, он бы догадался, что большой разницы между полами нет — но любовь тогдашние мужчины выдумали для женщин, и еще не сообразили, куда ее по хозяйству приткнуть. Беседы с Гегелем не прошли даром: диалектика любви в том, что давать любовь приходится сразу на двух уровнях, — любить самому и пробуждать любовь в другом, уметь и учить. А значит, и в себе открывать умения, и учиться быть собой — и становиться достойными любви:

... естественно совершающаяся в любви фантазмагория, когда любящие на первой стадии своей любви взаимно считают себя более красивыми, милыми, совершенными — лучшими, чем они есть на самом деле, — указывает на высшее значение. Эту восхищенность, эту идеализацию любящие должны рассматривать лишь как ободряющий

и поощряющий призыв, обращенный к ним, а именно как призыв и призывание становится в своем совместном стремлении подлинно и существенно тем самым, чем провидчески, словно мираж, являет им внутренние, заложенные в них задатки та самая фантазмагория любви, — вместо того чтобы, как это обычно происходит, обращать во зло эту мимолетную утреннюю зарю любви, скоро, слишком скоро теряющуюся в облаке жизни, пользуясь ею всего лишь для взаимного, праздного, тщеславного и ничтожного самолюбования.

Здесь *суть любви*: не заманивать обещаниями, а открывать человеку дорогу к подлинно человеческому, разумному состоянию — предлагать новые пути, выводить на просторы вселенной, выстраивать себя по ее образу и подобию — чтобы строить новый, разумный мир. Любовь не дает удовлетворенности — она дает удовлетворение. Творчество, труд, свобода, духовный рост — синонимы любви.

Не мы делаем открытия, говорит Клаудиус, а они сами находят на нас, — в основе этого утверждения великая истина! Попробуйте в точности восстановить в памяти те редкие светлые мгновения, когда на горизонте нашего духовного взора поднималась или загоралась истина! Ее, неведомую, мы узнаем в глубинах нашего духа, мы долго искали ее во мраке, мы предчувствовали ее, и все равно — она явилась совсем новая, нежданная, она вызывает глубочайшее изумление нашего духа, и ум бросает взгляд на прежние свои блуждания: ах вот как, не так, а так, не так, как я думал, и т. д. Вот она, она излучает свет, тепло, — проходит всего несколько мгновений, и ее нет: она пришла незваная, словно вестница богов, и, как вестница, исчезла! Душа посылает вослед ей свои благословения и радуется тому фосфоресцирующему свечению, которое осталось на том месте, где только что была она, и тому теплу, которое пробудило глубоко скрытое в нас сознание, вызвав в нем новое, предвосхищающее жизнь чувство.

Можно только порадоваться, что в жизни Баадера были такие находки, и что нам посчастливилось их с ним разделить. Это тоже о любви. Если что-то не сложилось — на то и любовь, чтобы не застаиваться в болотах, выкарабкиваться (или взлетать) к вершинам.

Господь сказал о своей кроткой подруге: «Прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много».

В *Евангелии от Луки (7.47)* продолжение: «а кому мало прощается, тот мало любит». Но в любви не бывает много или мало: она просто есть — этого достаточно. Значит, уже не нужно никого ни в чем винить — или прощать.

Большая идея

Что психика есть у животных — знают давно. Не надо быть ученым этологом, чтобы заметить это у домашних любимцев — или на ферме, где у каждой козы (или коровы) свой нор. Но и без полевых изысканий здравомыслящему человеку ясно: поскольку зверушкам одного вида приходится уживаться друг с другом в пределах общего ареала — без регулирования взаимоотношений не обойтись, а особь сама по себе ведет себя не так, как в компании сородичей (при той же физиологии). Путать внешнее с внутренним, психику с нервами, — это вопиющая вульгарность. Нервная система обслуживает видовое поведение — но обслуживает его не только она; и наоборот, строение сообщества влияет на отклик нервной системы — но в ней происходит и много такого, что внешними контактами не обусловлено. Науку о нервной деятельности мы называем нейрофизиологией; науку о поведении — психологией. Как обычно, увязывать одно с другим будут пограничные дисциплины, вроде нейропсихологии или психофизиологии. При любом наборе посредников — осмысленным академический зоопарк делает исходное принципиальное различие психики и физиологии, которое не следует ни из какой науки, и не принимается априорно (как символ веры), — его истоки в практике: в нынешнем историческом контексте уместнее смотреть на мир именно так — и на этом основывать преобразование мира, его одухотворение, приведение к единству.

Известно также, что все способное функционировать штатно — время от времени портится, и последствия этого варьируют от полной незаметности до летального исхода. Насчет физиологии — это как бы само собой разумеется; но и психика у животных иной раз заклинивает, перестает регулировать, а то и прямо вредит какой-нибудь органике. Вульгарный животновед сводит все к нервам; самые продвинутые — признают, что поведенческие нарушения часто вызваны условиями жизнедеятельности, лишь вторичным образом, отраженными в нервной ткани. Кому приходилось работать в кошачью приютах — вдоволь насмотрелись на последствия жестокого обращения, и лечить кошачьи неврозы приходится не только (и не столько) медикаментозно — но и любовью. То есть, все как у людей.

Еще вульгарнее — отождествлять человека с животными. Нет у нас на то никаких оснований, кроме классового интереса любителей ездить

на чужом горбу, воспринимающих подневольное население как скот, быдло, рабочую силу или пушечное мясо. Наоборот, есть все основания полагать, что сознательная (а тем более разумная) деятельность никак не сводится к метаболизму и этологии — и что есть нечто связывающее людей воедино и позволяет человечеству универсально объединять мир; мы называем это *обществом*, а способность творить миры — *духом*.

Дальше по уже знакомой схеме: дух не вне этого мира (ибо никаких других миров нет) — он всегда представлен движением материальных тел. В частности, бытует предрассудок, что всякий человек обязан иметь биологическое тело, особь некоторого «высокоразвитого» вида, которая (в комплекте с удостоверяющим личность документом) однозначно соотносится с разумным существом, ссылаться на которое можно по документу — а можно еще как-нибудь (кликухи, псевдонимы, номера — или местоимения). Картина обычная — но всех возможностей она никоим образом не исчерпывает. Тем не менее, пока ассоциация с органикой работает, разумное существо получает в нагрузку видовую физиологию и этологию — и встает вопрос о согласовании телесности с общественными отношениями, с человеческой историей и культурой.

Сразу оговоримся, что есть у человека и другое, неорганическое тело, без которого людей в общество не соединить. Однако поскольку эта совокупность тел и общественных отношений соотносится с духом как одно из возможных воплощений — движение такого расширенного организма следует всем канонам биологии, и возможно говорить о его органах, и физиологии и психике. Поэтому, упоминая в дальнейшем человеческое тело, мы ссылаемся на биологическую особь лишь для примера, в качестве (непринципиальной) уступки языковым традициям.

Итак, есть дух — и есть тело. По логике, духовность как-то меняет телесные проявления; но если это слишком радикально — речь идет о сознательном строительстве иного тела (что, конечно же, не исключено), а мы договорились пока ограничиться чем-то традиционным. Поэтому физиологию и психологию человека мы возводим не на пустом месте: они надстраиваются над природными движениями как специфические модификации — при сохранении собственно природной основы. Можем мы говорить о таких особенностях в биологических терминах? Ну, если очень захотеть, — тогда конечно (мы же таки универсальные существа!). Однако смотряся такие псевдобиологические описания очень коряво, громоздко, — каждое слово приходится переосмысливать, — и есть риск запутаться в коннотациях, воспринимая собственные догадки слишком

поверхностно. Так оно и произошло в начале XX века с маэстро Фрейдом. Может показаться, что идти сверху вниз надежнее: просто обозначить небологические модусы биологического движения их общественными причинами — и вульгарный материализм уже не страшен... Давайте развивать человеческую психологию в терминах, деятельности, творчества, любви и дружбы, классовых ограничений и насущных задач культурного строительства! Звучит красиво. Но если при этом ограничиться переклеиванием ярлыков — это не устраняет ползучего эмпиризма, вслед за которым в науку вползают все те же апелляции к природе — гордо переименованной в природу человека. Терминологическая путаница остается — только теперь проблема в том, чтобы отделить психологию от философии; чрезмерная всеохватность запросто подгребают под себя и биологию, и тогда эмпирия вылезает в виде прямого перенесения социальных закономерностей в область физиологии и психики. Этим грешили А. Н. Леонтьев и Э. В. Ильенков, вкуче с соратниками и последователями; по сути, налицо все та же буржуазная проекция человека на животный мир: будем мы говорить, что человек — эманация животности, или что животное — ответ человечности, — погоды не делает.

Образчики сбалансированного подхода (органика и социальность остаются при своих, но одно умеет так влиять на другое) — мягко выражаясь, большая редкость. Классовой науке такое вообще ни к чему: им важно подчеркнуть вечную противоположность — чтобы по науке делить сферы влияния (человеческое — тем, кого держат за людей, а рабочему скоту — всяческая животность). При советах — политика всему голова. Потому что полновесной философии духа марксизм так и не произвел — и кроме надстроек над экономикой никакой идеальности усмотреть не получается; а надстройки — они потому так и называются, что хотят быть *над* — командовать и диктовать классовую волю. То есть, даже теоретически признавая всех людьми, власти требуют увязывать социализацию с политическими ориентирами, чтобы классы соотносились не внешним образом, а в каждом разбудить дух классовой борьбы и подчинить плоть высшим интересам в порядке самодисциплины. Как и другие блестящие идеи, программа воспитания нового человека утекла на запад — и там ей быстренько придали товарный вид, довели методы промывания мозгов до невероятного совершенства.

Тем не менее, попытки отыскать общественную ноту в собственно психических движениях после революции были — и время для того

самое подходящее: разительные перемены следуют одна за другой, выводят людей из душевного равновесия, — а когда не успевает сложиться собственно психологическая целостность, ее предпосылки как на ладони. Удивительно, что внимания на них так никто и не обратил; и только Фрейд сожалел, что нет достоверных данных о грандиозном российском эксперименте: чтобы дополнить психоанализ социологией — на буржуазных примерах далеко не уедешь! Но один репортаж с места событий у нас все-таки есть...

Встречайте: уральский психиатр А. Б. Залкинд; книга *Революция и молодежь* вышла в 1924 году — но бестселлером не стала, и мы о ней узнали уже после того, как как наша собственная позиция устоялась в достаточной (для наших нужд) полноте. Советская психология пошла другим путем — и делали ее, главным образом, столичные авторитеты. Психиатры всегда на ножах с психологами — и всерьез принимать идеологические изыски медика тогдашним психологическим светилам (при всей их гениальности) не позволяла корпоративная этика.

Новое знакомство оказалось неожиданно приятным: некоторые аргументы у Залкинда — почти нашими словами. Это не только призыв поставить науки о человеческой психике на почву исторического материализма — но и попытка своими силами претворить замысел в жизнь, в контексте конкретной задачи: обеспечить подготовку кадров для быстрого внедрения новейших технологий с целью укрепления экономической независимости Советского Союза. Политическая грань не задвинута в цитатный официоз — примат общественного над личным заявлен с самого начала, и ни о какой душевности речь вообще не идет: мы смотрим, как наличная экономическая и общественная атмосфера влияет на наличную же органику реального советского студента. Такой откровенной постановки нет ни у Выготского, ни у Рубинштейна, — которые психику от общественно-культурных явлений не отличают, заодно мистифицируя и физиологическую основу разума. Залкинд четко разводит уровни, эмпирически констатирует взаимовлияния, — но найти механизм связывания одного с другим не удалось. Тут, конечно, не его вина: пока не созрели экономические предпосылки для перехода к новым формам воспроизводства субъекта, пока приходится больше работать руками, чем головой, — а головы немислимы без органических тел, делать которые тогда умели только по традиционной «мокрой» технологии, и включать в общественное производство приходилось как семейный быт положит, а не по общенародному плану, — так вот, при

таким раскладе ожидать радикального отхода от тысячелетней эмпирии никак не приходится, а перспективы развития приходится выискивать у передовой буржуазии, а не выводить из твердо материалистического мировоззрения. Наша критика неуклюжестей Залкинда — с позиций сегодняшнего дня, опыт которого от красного психиатра так же далек, как Советская Россия (где Выготский и Залкинд) от Фрейда. То есть, общение с Залкиндром дружески подсказывает нам, чего следует избегать, где притаились смертельно опасные идеологические рифы. Этими полезностями мы и делимся со всеми интересующимися.

Флаги на рифах

Начнем с позитива. В первых главах исторический материализм, вроде бы, торжествует: подлинная (а не официозная) партийность науки состоит в ее соответствии предмету — взятому не как абстрактная «объективность», а в конкретном месте, в конкретную эпоху:⁴⁷

Ограничивать старыми, узкими неврологическими толкованиями то, что происходит сейчас в организме нашей молодежи, — подходить к ее нервно-психическим процессам исключительно с докторским молоточком и микроскопом, без всестороннего учета совершенно нового содержания социальной среды, ее окружающей, без анализа внутреннего содержания ее совершенно специфических, неизвестных пока неврологии, переживаний, — было бы праздным занятием.

Каждый класс, каждая страна имеет ряд своеобразных условий, характерных именно для данного класса, для данной страны, и потому окрашивают свои нервные болезни в специфические тона.

Замечательно и точно! Не то, чтобы мы были совсем против праздных занятий — для чего-то и они нужны. Но требование историчности — исторический уникум! Классовый характер психических болезней — шило в задницу *всем* буржуазным неврологам: отрабатывая классовый заказ, они ищут общее у барина и раба — муссируют идею о психике вообще, которую (в духе естественнонаучного эмпиризма) можно познать раз и навсегда. Однородность биологического вида создает условия для единообразия поведения — но даже у животных различия есть, и они не объясняются чисто органическими причинами; тем более разнообразна человеческая психика: универсальность — основная черта

⁴⁷ Орфография и пунктуация оригинала приведены к привычной нам норме — которая, вероятно, уже не соответствует нынешним (постсоветским) стандартам.

субъекта, и каждая деятельность дает свой «специфический тон». Изменяется характер разделения труда — возникают новые классовые барьеры, и каждый из них — порождает свою типологию органических расстройств, и нельзя тупо переносить схемы и методы из одного контекста в другой. В бесклассовом обществе разделения труда нет; поэтому само понятие психического отклонения теряет смысл: есть ничем не ограниченная подвижность, пластичность поведения — вкупе с разумностью использования органики, без застаивания в каком-то одном амплуа. Соответственно, меняется и направленность медицины:

За последние десятилетия в психоневрологической науке происходит глубокий переворот. Исчерпывающие, самодовлеющие биологические объяснения нервных болезней дополняются, а часто и заменяются «социально-биологическими». В науке «вспомнили», что человеческий организм представляет собой «не просто организм», а глубоко общественный организм, насквозь, во всех своих функциях, пронизанный социальными моментами. Поэтому заболевание организма есть не только изменение его внутреннего функционирования, но, в значительной его части, а иногда в подавляющем, даже в исчерпывающем его содержании, также и *первичное изменение его социальной установки*.

Очень тонкий нюанс, ускользающий практически от всех: болезнь — это проблема *организма*, а не человека. Разум не знает границ — но плоть конечна, эфемерна, подвержена старению. Использование организмов в деятельности зачастую идет вразрез собственно органическим позывам: мы заставляем тело двигаться в интересах общества — и это Залкинд не слишком удачно называет «социальной установкой тела» (что может интерферировать с собственно психологическим понятием установки). Скорее, следовало бы говорить о «настройке» — как радиоприемник настраивают на нужную частоту. Такая настройка действует и на физиологию, и на психику:

Социальное бытие определяет не только сознание, но и все более подавляющую часть биологических процессов.

Ведь человек вырастает не как индивидуум, а как социальная, коллективистическая частичка. Все биологические функции человека, — не только так называемые психические процессы, но и дыхание, пищеварение, кровообращение, — полностью связаны с коллективистическим бытием, неся на себе неизгладимые, не прекращающие своего усугубляющегося влияния до самой смерти организма, черты непосредственного социального, коллективистического окружения. Тре-

щины, разрыв в этой социальной, коллективистической спайке вызывают не только «психические» колебания, но и нарушение всех функций. И есть, и дышать, и спать человеку хочется и может быть по-иному, если изменить элементы его коллективистического бытия. Колеблющиеся, ущербленные элементы коллективистической установки человека уродуют его аппетит и пищеварение, дезорганизуют его сон, искажают и парализуют его способности к организованным движениям, нарушают темп и силу дыхательных процессов. Вездесущий и многоликий «психоневроз», на добрую половину обгладывающий все биологические богатства человеческого организма, искажающий все его функции, представляет собою лишь серию благоприобретенных нарушений коллективистической установки: нерациональный коллективистический условный рефлекс, нерациональные условные рефлексы социальной связи.

Мысль поистине революционная! Но чтобы развить ее — надо выходить за рамки психиатрии, плотно заниматься философией духа... Это совсем другая работа... Решение ограничиться рамками профессии, исходить из хорошо знакомого, — это разумно, даже если в итоге оно слишком сузило обзор и завело в эмпирионатурализм. Есть заблуждения, которые нужнее чересчур громких истин. Разумеется, опять приходится делать поправку на партийность лексики: вместо «коллектива» — всюду подставлять «общество»; вместо «рациональности» — говорить о разумности; «условные рефлексы» заменить на мотивы. Пошлое, биологизаторство довлеет над Залкиндом — как оно ранее испортило словарь Фрейда; и тот, и другой делали героические усилия, чтобы вытащить себя за уши из болота, — но время свободы еще не пришло...

Помешательство на коллективности — это буржуазно; все та же классовая схема: одни подчинены другим. Соответственно, вместо своего разума — у каждого лишь функция в коллективе: не смысл бытия, а только рациональность (соответствие интересам сообщества). По поводу воспитания как выработки рефлексов — чуть ниже. А пока подсветим главное: если организм плохо настроен — значит, его плохо настраивали; это от неразумности, от неумения распорядиться косной материей. Если мы используем в работе какие-то орудия — наше дело содержать их в порядке; иначе работы не будет. Неудачный инструмент портит материал и может погубить предполагаемый продукт. Обратно, если инструмент использовать за пределами его рабочего режима — придется вскоре искать другой инструмент... Когда в инструкции написано, что блендер этой модели нельзя держать включенным более

минуты, — через две минуты вы рискуете отыметь мертвую железку вместо двигателя. Это рационально? Когда как... Иногда намеренно жертвуют организмом во имя чего-то неорганического — а личность остается личностью и после распада живого тела.

Гениальность Залкинда в том, что функциональность тел он подчиняет (хотя и узко понятой, но) общественной необходимости, — а не наоборот: из животности выводить коллективизм (как у Фрейда и Крупской). Соответственно, и перенастройку органики надо начинать с общества, с подготовки условий для выявления требуемых форм подвжности, с открытия степеней свободы:

Устранение психоневроза, «психотерапия», — это коллективистическая вправка организма, внедрение его в такие условия коллективистического бытия, при которых не будет данных для социально-биологической дезорганизации.

Нечто подобное мы видим в нынешних теориях искусственного интеллекта, в технологиях глубокого обучения. Конечно, от интеллекта до разумности очень далеко; но мы, ведь, и не требуем разумности от *организма* (включая как физиологию, так и психику) — мы всего лишь настраиваем его. Разум — категория иного уровня, когда разумное использование орудий предполагает замену не очень удачного орудия более подходящим — так, чтобы всякий инструмент работал в своем режиме, не на износ; при капитализме это принимает уродливую форму всеобщего разделения труда: одного раба заменяют другим по воле хозяина — и судьба выброшенных на свалку никого не волнует. Свободных людей — никто не использует, и они сами умеют подобрать для себя режим и род занятий, чтобы трудиться долго и счастливо на радость всем.

С этой точки зрения становится понятным, почему, независимо от состояния питания и других внутренне-биологических условий, такими массовыми становятся сейчас нервные заболевания в капиталистических странах, особенно в деклассированных социальных слоях. Колеблющаяся социальная почва под ногами последних потрясает и биологические их процессы, дезорганизуя их, создавая в них ложную целевую направленность. Отсюда же делается понятной и причина массовых невропатий в угнетенных классах после поражения революций: происходит подавление нервно-психических процессов, извращение нормальных их устремлений.

О влиянии общественных процессов на организмы — это хорошо! Однако насчет «нормальности» — вопрос скользкий... Равно как и

суждения об истинности или ложности. В том-то и штука, что у тела нет никаких устремлений — а есть метаболизм и рефлексы (или инстинкты). Тело само по себе к социальной почве полностью равнодушно, и про революции вообще ничего не знает. Суть в том, что изменения общественно-экономического порядка делают ненужными прежние настройки органики и требуют новых. Но в классовом обществе такой «реабилитацией» никто не занимается — и только в последние годы развитые страны позволяют себе вложиться в социальные программы, чтобы не тратить потом гораздо больше на подавление бунта. Классика капитализма — просто заменить одних на других: выживает наиболее приспособленный — а на чувства масс (или конкурентов) крупному капиталу начхать. У кого денег предостаточно — тем кризисы типа аперитива; у кого не так много — тех можно прорезать на гонорары терапевтам, и загнать на самое дно. То есть, психические заболевания у людей возникают не от органических травм, а по сговору бенефициаров, самозвано решающих, кто годен для дальнейшей эксплуатации — а кого можно списать в утиль:

Эти формы заболеваний могут наступать без первичных биологических нарушений организма, помимо отравлений, самоотравлений, истощения, повреждения и пр.; конечно, наличие последних ухудшает заболевания, но не они в данном случае вызывают болезнь. Вызывает ее *живая социальная причина, живой сдвиг в социальном, коллективистическом окружении*, не совпадающий с интересами данной личности, — колебания или потрясения в цепи живых общественных ее связей, — при чем обычно это происходит не сразу, а постепенно.

Классовое общество противостоит личности — их интересы не только различны, но часто и диаметрально противоположны. Этот внешний конфликт становится внутренним конфликтом каждого; если нет пути в обход классовых барьеров — утрачивается и целостность психики, или даже согласованность работы органов. Поскольку, вместо приведения сторон конфликта к согласию, одна сторона (общество, класс) подавляет другую — нет разрешения личностных противоречий, а есть вытеснение слабых мотивов сильными, и подлая месть слабым...

Дальше начинаются политические игры: кто-то отказывается от борьбы и тонет в безысходности; другие умеют лавировать, играть на столкновении интересов правящих кланов — ловить выгоду в мутной воде; некоторые сбиваются в партии, создавая видимость света в конце тоннеля (хотя чаще всего это всего лишь фосфены).

Итак, одна и та же социальная среда по-разному действует, в зависимости от разной предварительной социальной классовой направленности организма: в одном случае может вызвать нервную болезнь, в другом — укрепляет нервную систему. В конечном счете, понятно, среда здесь в каждом отдельном классовом случае оказывается разной, так как на каждый отдельный организм действует не вся она в целом, а различные ее элементы, классово избирательные по отношению к данному организму.

У организма нет классовой направленности! Направляет его общество, иногда представленное личностью — иногда конфликтующее с ней (то есть, тоже представленное — но отрицательным образом). Здесь можно, конечно допустить, что организм понимается не в чисто биологическом смысле, а как нечто вроде столинского «социального индивида»⁴⁸, — и усмотреть намек на иерархичность общества и личности, возможность обращения иерархии в зависимости от социальных условий, тенденций исторического развития. К сожалению, заведомо ограниченный идеями этологического коллективизма, Залкинд так и не решается следовать заявленным курсом до конца — и придется переходить к разбору идеологических ляпов (собственно неврологические проблемы нас здесь не очень интересуют).

Вот типичное перепутывание уровней: общественные изменения видятся лишь как изменение среды организма — то есть, собственно человеческие обстоятельства за бортом, и остается от них только природная составляющая, стресс:

Обычно особо крупным количеством нервных болезней среди молодежи отличались реакционные исторические эпохи, военные и послевоенные периоды, времена глубоких голодовок и, вообще, годы массовых биологических бедствий, массовых эмоциональных потрясений, массового социального подавления.

В какой-то мере оно действительно так: организм по части истории совершенно не в курсе, и ему бы только поиметь что-то на входе и выбросить метаболиты. Но когда речь о психике *человека* — тогда то, *зачем* люди идут на тяжкие испытания, отнюдь не безразлично! Иначе мы изучаем животную психологию — а это совсем другое. Можно было бы списать на корявость выражения — но упоминание «биологических бедствий» тут же напрягает: человеческое — постольку человеческое, поскольку оно не зависит от биологии. См. цитату чуть выше: кризисы

⁴⁸ В. В. Столин, *Самосознание личности*. — М.: МГУ, 1983.

на всех действуют по-разному; объяснять это биологией — вульгарно: есть нечто такое, что в той же биологической среде заставляет людей покоряться трудностям — либо преодолевать их. Будут идеалы, возможность творчества — никакие испытания не страшны. Сам же замечает про особенно тяжелых:

Как видим, перед нами не просто больные, а люди *социально, идеологически расстроенные*, притом не со случайной, косвенной идеологической путаницей, которая возможна у всякого больного, лихорадящего, изголодавшегося человека, а *с путаницей, которая лежит в основе всех их нервных проявлений*. Этим они представляют резкий контраст с прочими нервно больными парттоварищами (последних подавляющее большинство, приблизительно до 75%), поражающими своей необычайной идеологической стойкостью, не подавляемой никакими биологическими невязками.

А потом опять про голую органику:

Припомним, вообще, причины, влекущие обычно к нервным болезням. Здесь и наследственность, и переутомление, и перенесенные острые и хронические болезни, и излишества (пьянство, наркотики, разврат), и тяжелые душевные потрясения.

Это не причины! Это поводы и формы! А причины — в экономике и в обществе. При любой наследственности и любых травмах, — разумное общество найдет выход из положения, придумает методы компенсации; опять же, болезни и излишества — не сами по себе: они возникают как реакция на экономико-социальные уродства. Буржуи (а за ними и Залкинд) твердят, что в обществе все путем, и каждый сам виноват в своих проблемах, — как будто люди существуют вне места и времени и вольны как угодно выстраивать поведение; но такой намеренности в классовом обществе нет и быть не может: она появится только после уничтожения классов. Бесполезно бороться с извращениями, когда они предполагаются классовым характером цивилизации, и если устранить какие-то поводы — полно других. Поэтому, в частности, залкиндовская программа идеальной организации студенческого быта и учебного процесса — пустая утопия, благие пожелания (по большей части, списанные у буржуазных эмпириков).

Залкинд подробно разбирает феноменологию роста заболеваемости, зависимость картины от происхождения и опыта партийной работы. Материал ценнейший. Но где выводы? Кроме общего утверждения, что все исторически обусловлено — ничего; махровый эмпиризм. Может быть, оно и хорошо — потому что открыто выразить лежащее на

поверхности означало бы вызвать резкую реакцию властей, и хорошо, если бы ограничилось не столь отдаленными местами... Факты выпукло рисуют характер российской революции — которая бесконечно далека от пролетарской и ни на пылинку не озабочена повышением уровня жизни людей или гармонизацией человеческих отношений. Например, Залкинд отмечает, что от революционных потрясений меньше всего пострадало крестьянство (кроме явных кулаков):

Крестьянский молодец не был, в общем, ни напуган, ни придавлен революцией.

Очевидный вывод — мелкобуржуазный характер перемен, возврат в аграрное прошлое, из которого капитализм один раз почти вырос — и вырастет еще раз. Невероятная наивность:

Тяжко отказываться от старой идеологии ему тоже не приходилось, так как и идеологии-то никакой у него и у взрослой деревни не было...

И это при том, что Ленин твердит о мелкобуржуазности крестьянства чуть ли не в каждой публикации!

Далее, если наибольший прирост нервных срывов приходится на «наиболее демократические части молодежи», сознательно воевавшие против старого мира, — это прямое указание на отход от коммунистических идеалов, обесмысливание принесенных революции жертв, массовое разочарование в самой возможности вырваться из клетки. Всплески энтузиазма связаны лишь с внутри партийными баталиями, когда рождается слабая надежда на приход «настоящих» ленинцев, которые (как некогда варяги) выведут Русь на простор мировой истории. У людей не осталось и мысли, что можно самим вершить историю — не прислушиваться к верхам, а заставить верхи прислушаться к чаяниям народа. Как только очередная кампания заканчивает очередным пшиком — психические надломы вылезают со страшной силой.

И так далее, и тому подобное. Мелкие фактики — намекают на толстые обстоятельства. Как бы ни презирал Залкинд «студенческое мещанство» — его зарисовки с натуры высвечивают неприглядность «дешевой стадности», «марксистского богословия» — которые только самым невзыскательным (то есть, далеким от идейности дикарям) кажутся вполне естественными и нормальными; те, у кого сложился навык рефлексии, при всем сочувствии коммунистическим идеалам, переваривать неоклассовую похлебку могут не всегда; их срывы отнюдь не от «революционного шквала» — а от глупостей, безыдейности,

бесперспективности... Советам нечего предложить, кроме всеобщего базара — стоит ли овчинка выделки? О качестве преподавания:

Автор и сейчас встречается с бывшим товарищем по медфаку, который шесть раз «проваливался» по неорганической химии, отвратительно работал по физиологической химии и пишет сейчас (на Западе) великолепные научные труды по химии мозга.

Можно ли ярче высветить убожество советских вузов, уродство системы образования? Конечно, бывало и наоборот: сбежавших задвигали на дно, прикрывали самые перспективные (но далекие от интересов буржуазии) проекты и запрещали опасные для системы разработки (например, индустриальное выращивание органических тканей резко удешевило бы продукты питания — и подорвало бы основу сегрегации по уровню жизни, а заодно и экологической коммерции). Но если честно: зачем бегут из России талантливые интеллигенты? Совсем не затем, чтобы осчастливить человечество гениальными находками, получить доступ к передовым технологиям и средствам духовного производства, — нет, они озабочены возможностью выгодно продать себя, они ищут не свободы творчества — а свободы коммерции! Что опять-таки указывает на далекий от коммунистических идей характер советской педагогики, равно как и на буржуазность экономики в целом, на почве которой вырастают не личности — а ловкие спекулянты.

Психические проблемы выходцев из крестьян Залкинд списывает на резкую смену обстановки (то есть, опять на враждебную организму окружающую среду, а не на сознание неразумности общественного устройства):

Город набросился на деревенского парня сразу всей своей грузной, шумной и пыльной массой.

Казалось бы, ясно: надо менять город! — чистить от грязи, гасить гвалт. И тут бы как раз приложиться передовой молодежи. Ничего подобного у Залкинда нет: не взять среду под контроль — а приспособиться, свести к минимуму якобы неизбежную враждебность.

В голове у психиатра — распропагандированная барствующими интеллигентами лубочная картинка, сусальная деревенская пастораль: овечки у речки, коровки на травке... О том, что деревенская жизнь значительно меньше города подходит для формирования человеческой духовности, что общинные нравы хуже любых цепей, — товарищу невдомек. В деревне человеку (если не иметь в виду богатых дачников, обустроивающих «на фазенде» городской комфорт) намного труднее

остаться наедине с собой: захлестывает поток наивной навязчивости, когда каждая мелочь должна греметь «на всю ивановскую» — чтобы все видели, слышали, прочувствовали и поучаствовали по полной! Свою духовную неразвитость, невнимание к окружающим, деревенские тащат в города — и пытаются создать там привычную для них среду, уголок нетронутой дикости.⁴⁹ Когда другие не в восторге от блаженства за их счет и начинают активно возражать — крестьянин демонстрирует пресловутый классовый «индивидуализм», и его психика страдает от конфликта «здоровой» твердолобости с городской «дурью», — то есть, от столкновения с людьми, а вовсе не с «шумной и пыльной» средой. Понятно, что многие российские города не доросли до цивилизованного уровня — даже сегодня. Но истоки органических и психических расстройств не в природе, а в отношениях людей по поводу этой дикости, в неразумности общественного бытия и неясности перспектив. А что остается медику-эмпирионатуралисту?

Для худшей, неисправимой части этого студенческого кадра — один «лечебный» выход: надо выудить их нашими «чистительными» крючками и изъять из вредной для них вузовской обстановки. И им, и вузу, и Республике будет лучше от этого хирургического метода лечения нервной болезни.

Вот так. Вместо осознания причин неудач и строительства нового человека — ранжировать человеческий материал по компригодности, записать самых неудобных в неисправимые — и гнать в три шеи, с волчьим билетом... Куда они пойдут? Вопрос риторический.

Классовый рефлекс

Да, конечно, старый мир так просто не отпустит человечество в бесклассовое будущее. Но классовая борьба — это не борьба с людьми! Речь не о том, чтобы выкинуть на свалку (откуда ценные кадры тут же подберут враги) — а чтобы для каждого найти свой способ участия в «коммунистическом» строительстве, в зависимости от общественного положения и воспитания, с учетом уже наличествующих деформаций психики. Чтобы не «всяк по-своему с ума сходит» — а все по-своему интересны обществу и болезни надо не превращать в абстрактное

⁴⁹ Сегодня это проблема цивилизованной Европы, страдающей от наплыва диких «мигрантов» и «беженцев» (а не диких в Европу не пускают...).

(одинаковое для всех) здоровье, а делать частью индивидуальности, за которую человека можно уважать — чтобы он мог уважать других.⁵⁰

Когда задача революции — поставить одних над другими, это никоим образом не меняет классовой действительности. Бывший угнетенный класс может тешить себя иллюзией классового господства, упиваться своей исключительностью... Ему умело подыгрывают буржуазные манипуляторы — а за ними агитаторы вроде Залкинда: «лучшая часть», «самая ценная молодежь», «красный молодняк»... Но по сути — та же песня: одни лучше других, и потому больше чего-нибудь заслуживают. Коммерция. Самосознание угнетенного класса — это сознание именно угнетенности! — и его они тащат в новый мир, где угнетателей, вроде бы, уже нет — а значит, их надо придумать! Отсюда заикленность руководящих, воспитывающих и лечащих товарищей на вечной готовности к борьбе, поиск врага — и настороженное отношение к людям, потенциальным врагам. Тем же самым занимается западная пропаганда: даже постсоветская Россия — «экзистенциальный враг» цивилизованного мира, и надо натравливать всех на всех, дабы распилить отнятые у (своих и заморских) трудяг триллионы грошей.

Но допустим, что шлак тов. Залкинд уже отсеял. Каким образом он собирается общаться с предположительно «исправимыми»? Вопрос не только о средствах, но и о целях: есть у нас четкий критерий здоровья, куда массы предстоит оптом вытягивать? Сомнительно. Ну, убрать какие-то симптомы — куда ни шло; но это не лечение, а временное облегчение (что тоже полезно, в качестве предварительного этапа). Оснований признать кого-то полностью здоровым — никаких. Кроме сугубо производственной надобности: указательный палец есть — значит, годен гашетку жать; голос имеется — годен озвучивать решения партии и правительства; детородные органы на месте — пожалуйста в репродуктивную индустрию. Чтобы кто-то был годен сразу для всего — этого классовая экономика не предполагает; более того, принцип разделения труда требует отделить одних годных от других — а составлять из них трудовые и прочие коллективы будут как раз те, кто, по большому счету, вообще ни на что не годен (отходы залкиндовской психирургии)...

⁵⁰ Мы намеренно избегаем конкретных методических указаний; наше дело — создать у практикующих медиков «социальную установку», под которую они смогут подобрать уместные компетенции без нас — и лучше нас.

Отсюда и технологические ориентиры: принуждение, выработка рефлексов, внушение, дрессировка... Слова разные — суть одна. Мешанина восторгов и заблуждений.

Медики давно уже констатировали большое влияние внушения на организм. Помимо лекарства, помимо биологической терапии было найдено еще одно ценнейшее средство, метод социальной терапии: слово.

Ну, внушение — далеко не всегда слово! Один вид полицейской дубинки многих делает невероятно внушаемыми. Другому — рост биржевых индексов внушает надежду на райские бенефиции. Однако, если по правде, внушение никого ни от чего не лечит — это всего лишь наркоз. Частичное обездвиживание с целью произвести с организмом (или психикой) последующие манипуляции. Логичный вопрос: кто, зачем и как будет манипулировать? Допустим, что у тт. Залкинда и Сталина — самые благородные намерения. И что дрессируют они народец для его же пользы. Принципиальный момент в том, что статусы управленца и управляемого, начальника и подчиненного, работника и работодателя, равно как и учителя, ученика, врача или пациента, — никаким боком не соотносятся с идеей человеческого общения, взаимного уважения и любви. Дрессируют животных — люди требуют иного обращения...

Властная вертикаль — порождение классовой экономики. Почему врач может прописать что-то пациенту — а не наоборот? Потому что лекарство без штампа и подписи в аптеке не дадут, а технологии самолечения все еще в первобытном состоянии (зуб можно выдрать методом привязывания к двери — но и здесь предпочтительнее более санитарные условия, и наркоз). Опять же, приходится оправдываться на производстве, предъявлять (правильно проштампованную) справку о временной нетрудоспособности, без которой личный бюджет запросто может заболеть. И так далее, и тому подобное.

В таких условиях выработка условных рефлексов, которую Залкинд считает абсолютной неврологической панацеей, — это строительство еще одного барьера, способ загнать психику в предписанные извне рамки — при сохранении всех предпосылок болезни. Один невроз вытесняют другим, учат страдальцев общественной мимикрии, сводят все психические расстройства к истерии. Как в известном анекдоте:

Когда его дела были совсем плохи — он делал вид, что все в порядке.
Когда дела наладились — он уже не мог остановиться и продолжал делать вид...

Именно эти официозные «бодрость» и «веселье» собирается вбивать Залкинд в «парттоварищей». Конечно же, исходя из западного опыта:

Болезненные, неправильные представления вызвали болезненные отклонения в биологических процессах (*«ложная целевая установка тела»*), как выразился бы современный рефлексолог), — внушение же подставляло взамен болезненных — здоровые представления, и биологические отклонения исчезали. Следовательно, дело — в предыдущем болезненном самовнушении, в «неправильных представлениях».

Этот «рефлексолог» — дурак (или вредитель). У тела нет установок, нет истинного и ложного, и никакое тело ничего себе не внушает. Насчет чудесных исцелений словом — это не из науки, а из библии. Определять, что правильно и что неправильно, — будут вполне конкретные люди. Они в каких-то общественных условиях что-то внушили людям — точно так же в изменившихся условиях будут внушать другое.

Так, швейцарский ученый Дюбуа утверждал, что, к этим болезненным самовнушениям, неправильным представлениям, к неправильной целевой установке склонны лишь люди легковверные, идейно неустойчивые, не выдержанные в волевом отношении, поддающиеся «голосу чувства, а не указаниям разума». Дюбуа и требовал для таких лиц радикальной выправки, воспитания их в духе организованного, устойчивого, бодрого мирозерцания.

Буржуазный субъективизм без намордника. Люди не сами стали «неустойчивыми» — их вывело из равновесия недоразвитое (классовое) общество. Почему голос чувств не может сказать ничего разумного — догадаться сложно. А насчет «выправки» — это психиатрический милитаризм: ходить уставным строем, организованно изображая на мордах мирозерцательную бодрость.

Знаменитый французский невролог Дежерин требовал не только изменения мировоззрения этих лиц, но и изменения обстановки вокруг них («бытие определяет собою сознание»), так как именно внешние условия дезорганизовали их в первую очередь

Изменение среды — не просто переставить человека из одних типовых условий в другие, столь же типовые; для устранения личностного конфликта требуется индивидуально подобрать среду, подходящую именно этой личности, позволяющую ей раскрыть свою духовность, вместо того, чтобы с кем-то бороться и что-то преодолевать. Это значит, что человек не пассивно приемлет что дают — а сам организует свою

среду, а другие не считают индивидуальность «дезорганизованностью» и готовы изменить свое поведение — а не только «выправлять» других. Не нужна нормальному человеку стандартная голливудская улыбка (скорее — оскал): он выражает себя так, как чувствует, — и на мир смотрит в соответствии со своим положением в мире; пытаться силой поменять мировоззрение — занятие дохлое: человек спрячется — и останется при своем, даже ценой еще одного невроза.

... внешняя среда (т. е. для человека социальная среда) часто создает у человека ложную социальную целевую установку, ложную социальную направленность, выражающуюся в нерациональных реакциях организма в ответ на раздражения социальной среды.

Кто у нас авторитет по части истины и ложности? Нерациональность — великое благо: этим человек отличается от животных (и от роботов). Опять же, не реакция на раздражители — а личностный отклик, как-то (очень по-разному!) выражающий себя в органических движениях. Человек управляет организмом — а не наоборот. И далее полная дичь:

То, что Дюбуа и другие понимали под болезненной самовнушаемостью, легковерием, идеологической недостаточностью и пр., т. е. под «психоневрозом», вообще, по существу, представляет собою нерационально организованный социальный опыт всего организма в целом (а не только его «идеологию»), неправильное приспособление его к социальной среде, к ее требованиям...

Идеология и социальный опыт — не у организма, а у человека! Не «правильно приспособливаться» к среде — а среду приспособлять к человеку, к его чувствам и мыслям, его взглядам на мир! Загонять всех в казармы и сливать за борт неудобных — это буржуи умели во все времена. Перенимать у них этот опыт — не по-нашему!

Лечебным же внушением или идеологическим перевоспитанием или психотерапией надо считать попытки перестроить социальную установку организма, попытки изменить его направленность в социально и биологически полезную сторону.

Что человек умеет управлять вещами (включая организмы) — это правильно. Но общество — состоит из людей, а не из организмов. Своим органическим и неорганическим телом человек управляет сам — иначе он оказывается всего лишь вещью, орудием в чьих-то руках. Развить потребность сознательно поддерживать (а при случае и намеренно разрушать) органику — часть воспитательной работы; но воспитывают не организмы, а людей. Психотерапия (и прочая медицина) — чтобы

помочь человеку (а не организму) преодолеть ограничения метаболизма и нейродинамики, осознать отличие духа от телесности и сделать саморегуляцию (и настройку органики на текущую деятельность) повседневной привычкой. Социально и биологически «полезное» — очень разные вещи, и одно может начисто исключать другое; наше дело подчинить тело разуму, а не наоборот: ставить разум на службу телу.

Попытки эти, конечно, фактически никак не могут ограничиться одними лишь словесными воздействиями на организм больного (в современной медицинской психотерапии они обычно к этому лишь и сводятся), но в основе своей они должны быть рассчитаны на *сложную перестановку элементов той социальной среды, которая создала эту ложную направленность больного организма.*

Идея замечательная! Но не просто «перестановка» — а качественное изменение, перестройка общества; возможность болезни — указание на незрелость общества, на неумение (или нежелание) делать разумнее мир. Люди воздействуют на вещи, помещая их в подходящие условия, — но для этого человек должен осознавать свое отличие от вещи, присутствие духа и его способность направлять природные движения. В частности, развитие психики предполагает перенастройку нервной системы, выработку рефлексов — но рефлексы не у человека, а у организма, при ясном сознании, для чего он настраивает органику именно так — и когда следовало бы ее настраивать иначе. Мы учимся логике для того, чтобы уяснить себе ее ограничения; мы изучаем возможности — чтобы делать невозможное; мы смотрим вдаль — чтобы заглянуть за горизонт.

А Залкинд предлагает перевести все «на объективный язык учения о рефлексах»... Это антигуманный язык! Речь о субъекте деятельности, о миротворчестве; сводить человека к рефлексам — значит, убить в нем собственно человеческое. Нам нужен такой язык, на котором свободнее говорить о духовном, о личности и обществе; дурная медицинская парадигма, противопоставление абстрактной нормальности и болезни, врача и пациента, — это «ложная целевая установка» автора, следствие бесчеловечности современной медицины. Не набирать рефлексы и автоматизмы — не мантры бормотать, уговаривая неразумную органику и неразумное классовое общество, — а учить активному воздействию на мир, творчеству, — и создавать для этого общественные условия.

... слову, конечно, принадлежит также огромная роль, — но слову не как самодовлеющему биологическому или идеологическому началу, а как символу, густуку определенного социального содержания.

Спрашивается: что такое идеология как не социальное содержание? Слово — всего лишь знак, заменитель деятельности, универсальный способ передать ее от одного субъекта другому. Писание книг — обмен деятельностями; но человеку этого мало: ему нужно и духовное общение, сознание собственной разумности.

Стопроцентная объективная психология (т. е. учение о рефлексах) не вышла еще из стадии лабораторно-исследовательских исканий, — и претендовать сегодня же на замену собою всех существующих научно-психологических понятий она пока не в праве. Будущее, конечно, целиком за нею...

Упаси нас разум от такого будущего! Человек — как раз то, что выходит за рамки условных рефлексов; человек общественно организует свое тело, управляет своими рефлексами. Даже животная психика не может быть сведена к органическим реакциям, к нервному отклику на раздражители. Это система отношений между индивидами, а не физиология. Тем более не сводится к органике психология человека. Терминологический «субъективизм» здесь не только оправдан — это сама суть дела, отличие человеческой психики от животной. Но по большому счету, дело не в терминах — и вовсе не обязательно всегда называть нечто одним и тем же словом (тем самым придавая слову какой-то мистический смысл). Разной в терминах наука переживет; для нее опаснее уверовать в абстракции, приписать человеческой речи нечто совершенно нечеловеческое. Используйте какие угодно слова — лишь бы говорить живо и понятно, и хотя бы не путаться самому.

Мысль о постепенном отказе от старой, буржуазной лексики — это хорошо. Конечно, сразу все поменять не получится — иначе придется отказаться от трех четвертей данных, добытых психологическим экспериментом и психологической эмпирикой.

С другой стороны, просто отменить термин «психоневроз» (который сегодня в лексиконе отсутствует, да и тогда был редкостью) — зачем, если ту же идею спонтанного возникновения невроза из биологии (или из психики) на следующей же странице протаскивают под именем «биореактивного» невроза?

Биореактивными неврозами мы считаем те нервные отклонения, которые возникли под исключительным влиянием внутренних или внешних чисто биологических раздражителей: наследственность, внутриутробное повреждение зародыша, перенесенные инфекционные болезни, отравления, физические сотрясения, голодовки, тяжелое переутомление и пр.

Все это лишь сопутствующие обстоятельства, влияющие на развитие специфических форм невроза. Но возникает он не как реакция не на раздражитель (без разницы, органический или социальный) — а как реакция на конфликт! Невроз — от невозможности следовать нормам (культурным или видовым) в условиях, когда (со)общество болезненно реагирует — вместо того, чтобы помочь. Органика сама по себе — психологически нейтральна: по-человечески устроенное общество не будет загонять организм в поведенческий тупик — оно учится разумно использовать наличные (заведомо не совершенные) тела. Если тупо отбраковывать «неправильных» (как предлагает Залкинд) — никакой адекватности не жди; если видеть в каждой личности — органические особенности не означают ненормальности.

К *социореактивной невропатии* мы относим заболевания, обусловленные непосредственными изменениями социальной установки организма, изменениями в области непосредственного взаимоотношения его с другими людьми, в области социальной связи: потеря друзей, ликвидация возможности вести любимую работу, — изменения среды, влекущие за собою т. наз. идеологические разочарования, — преследование критики и общественного мнения и т. д., и т. д.

Насчет «непосредственного изменения» — это из области мистики! Где отличие от только что отвергнутой «возможности самостоятельного возникновения биологических нарушений психическим путем»? Организм ничего не знает о друзьях и любимой работе — он реагирует на изменения образа жизни, вытеснение привычных движений какими-то другими (враждебными органике). Что же касается «идеологических разочарований» — так, ведь, тов. Залкинд предлагает именно это: подавление обществом человека, подчинение господствующей догме, выдавливание из общества инакомыслящих.

В конечном счете, понятно, и биореактивные факторы являются социальными (ведь и человеческая наследственность есть лишь сгущенный в ряде поколений социальный опыт; инфекционные болезни — тоже продукт определенного социального строя), — и социореактивные влияния оказываются в дальнейшем — биологическими (потеря друзей, удар по честолюбию и пр. способны уменьшить аппетит, вызывают расстройства кровообращения, — «тоску», и пр.), — однако, для нашего различения важна лишь первичная почва, на которой возникает данный раздражитель: в области социальных ли связей человека или в сфере грубо биологического его бытия.

Вот, сам же признается... Что считать «первичной почвой» — вопрос темный; например, если (по Залкинду) наследственность лишь «сгущает социальный опыт» — следует считать первичным именно этот опыт. Надуманность разделения автор чувствует:

Но как отличить социореактивную нервную болезнь от биореактивной?

... у коммунистического студенчества очевидно нет чистых форм ни той, ни другой.

... в коммунистическом студенчестве мы имеем довольно пеструю смесь обоих сортов нервных явлений. Как же отличать оба эти сорта?

Так, может, и не надо различать? Причина одна: уродливость общества, подавление человека, насилие (в том числе и физиологическое — от депривации до пыток). Но Залкинд мечтает о торжестве рефлексологии, когда любые мечты и переживания будет возможно измерить при помощи бездушного прибора:

... к сожалению, современная психопатология вообще не обладает пока достаточным арсеналом точных, чутких и объективных методов исследования. Ей приходится часто пользоваться эмпирикой, — придется прибегнуть к последней и нам.

В психологии человека объективность — это и есть эмпирика! Проекция желаемого на действительное. Пусть ограниченно и односторонне — но мы таки изучаем субъекта, а не чурку с глазами. Субъективность тут не просто уместна — это сама суть дела.

В конечно итоге выясняется, что критерий отделения зерен от плевел — банальная неспособность повлиять на человека указами, увещаниями, угрозами или упражнениями: кто не поддается — тот биореактивный, и его надо лечить «чисто биологической выправкой организма»:

... целебными будут лишь те влияния, которые произведут в нем соответствующие *анатомические и химические лечебные перемены*: медицинские сыворотки, лекарства, питание, отдых, хирургическая операция, — время, наконец.

Вот этой «целебности» чаще всего и боятся больные — предпочитая самоубийство клиническому насилию (как логическому завершению насилия социального).

Если в организме с точки зрения «общества» что-то не так — это проблема общества, которую оно перекладывает на человека. Вовсе не факт, что воздействовать надо на организм, а не исправлять экономику

или формы общения. Например, если плохое зрение — можно отчислить из вуза — а можно дать очки (и разрешить их ношение); но это лишь частичное (медикаментозное, симптоматическое) лечение, а главное — изменить так учебный процесс, чтобы он вообще не зависел от остроты зрения (как — вопрос технологический; на то и разум, чтобы найти пути). Сегодня, например, есть телевидение для глухих — и даже для слепых! — чем не прототип? Не существует никакой «первичной социальной направленности организма»! Это подленький эвфемизм для неадекватно жестких требований к органике со стороны классового общества, уродливой экономики: все сводится к «профпригодности» — то есть, исходят из пригодности человека для общества (а точнее, для правящей верхушки), а не из пригодности общества для человека, как следовало бы по уму и по совести. Неподатливость — это когда пытаются навязать стандарт, а не приспособить общество к нестандарту (как важнейшему мотиву общественного развития).

Если мы имеем перед собой смесь из биогенных и социогенных явлений, та часть их, которая исчезает от благоприятных социальных перемен, относится ко второй группе, — и обратно.

В этой тесной болезнетворной зависимости от «невыгодных» колебаний коллектива, в выздоровлениях, наступающих после «благоприятных» изменений коллектива, и заключается характерное содержание социореактивных невропатий.

Глупо. Само по себе изменение среды эффекта не дает — разве что, в качестве общей стимуляции при легких формах заболевания. Чтобы перестроить органику и психику под новые общественные условия — нужна еще и духовная работа, перерождение как деятельность. Дело не в том, чтобы чьим-то волевым решением поместить человека в новую среду, — надо дать человеку возможность самому строить свой мир, делать его уникальным, неповторимым, — и потому интересным для других. Пока приходится упихивать разум в предписанные форматы — остается почва для общественных конфликтов, которые организм ощущает как стресс — и может не выдержать.

В конце концов выясняется, что к «социореактивным» относятся в основном истерии (попытки прикинуться больным, чтобы избежать социального давления) и психастении (когда уже все по фиг) — плюс то, что называют депрессиями, аутизмом, пограничными расстройствами. То есть, все та же старая психиатрия — под видом новой, идеологически выдержанной. Так стоило ли играть словесами?

Кстати об идеологии. Залкинд не любит нэпманов. Мы с «новыми русскими» тоже в кислых отношениях. Но это вовсе не значит, что в буржуях разной гнилости вообще нет ничего человеческого — так что их болезни (и психологию толстого класса вообще) изучать незачем. Например, язва двенадцатиперстной кишки у пролетария — от надрыва и грубого питания; у буржуазного интеллигента она же — от пережора и беспорядочного образа жизни (по Залкинду: с жиру бесится). Но с точки зрения медицины — очень разные социальные условия приводят к биологически одинаковым последствиям, и этиология для всех одна.⁵¹ То есть, опыт лечения буржуев — вполне годится для постановки лечения голытьбы, и нечего презрительно фыркать:

... психоневрозы — довольно частая установка в избыточно материально сверхпроцветающих семьях, — избыток возбуждения тратится тогда на нервные проявления. Такова расплата за избыточно сытый досуг.

Задача не в том, чтобы избавить богатых от сытости — а чтобы дать сытость всем; тогда уместно озаботиться разумностью досуга, чтобы плюсы не стали минусами. Чтобы научиться потреблять культурно — надо, как минимум, иметь возможность потреблять. Не загонять человечество (стадо рабов) назад в пещеры — а дать жизнь со всеми удобствами, без малейших ограничений; только так можно в человеке воспитать способность самому при необходимости ограничивать свой организм (но не себя как личность!). Каждый сам выработает для себя подходящий режим — без строевой подготовки.

Отличие человека как субъекта деятельности от живых существ состоит в универсальности, бесконечном разнообразии; органические движения (как метаболизм, так и психика) более однородны — им далеко до нашей бесконечности, и потому один и тот же организм просто вынужден обслуживать очень разное поведение, в разных общественных условиях. И поэтому невозможно вывести духовность из природы — или ограничить только одним воплощением, организмом.

Плоть пролетария ничуть не благороднее плоти буржуя; строить медицину иначе — это расизм. А у Залкинда — классовый подход... Сочувственное отношение к проблемам рабочих, снисходительное — к

⁵¹ Отсюда, кстати, следует недостаточность «биологической выправки» самой по себе: она временно снимает симптомы — но не устраняет причин, и ремиссия порой заканчивается рецидивом, еще более разрушительным.

заболеваниям крестьян; и совсем другой тон в отношении выходцев из интеллигенции. Например, врач просто отмахивается от «мещанских» переживаний девушки, изнасилованной отрядом беляков:

Автору пришлось встретиться по меньшей мере с десятью партийными товарищами, изнасилованными в процессе кровавой борьбы с врагом, и лишь Ф. и еще одна реагировали на это, *как на непоправимое несчастье* (между прочим, Ф. ни венерической болезни, ни беременности от насильников не получила). Остальные же, в общем вполне сексуально нормальные, одаренные здоровой женственностью, товарищи отнеслись к этому *по революционному*, считая, что кровавая борьба сопровождается всякими жестокими испытаниями и что надо быть способным вынести все; никаких идеологических кризисов после этого они не переживали.

Здорово живешь! То есть, если нет последствий — так. вроде, ничего и не было? Ну, подумаешь, плюнули человеку в душу, пробудили в нем нежелание оставаться в испоганенном теле (и в испоганенном мире)... Пустьчок-с. Дело житейское. Другие же — ни в зуб ногой! Бабы — они на то и существуют, чтобы их насиловать.

Среди этих психоневротиков преобладают выходцы из мещанских и интеллигентских слоев, а также наблюдается сравнительно большой процент женщин.

Товарищ не понимает, что этот процент говорит о неизмеримо большем давлении дикого общества на эти слои — а не о «биореактивной» испорченности. Речь не о том, чтобы ублажать буржуев; но видеть в них людей таки полезно — хотя бы для того, чтобы самому стать человеком. Но «хирургический» метод Залкинда — как маньяк со скальпелем:

Очевидно, среди этих психоневротиков, с партврачебной и контрольной помощью, надо отцедить тех, ложная направленность которых действительно обусловлена их *неизлечимой* идеологической хрупкостью (вроде Ф.). Партия на них должна махнуть рукой, они — отрезанные ломти, и наличность их в молодых партийных рядах лишь вредна...

Такая, вот, врачебная этика... Гиппократ провертел дыру в гробу. Заметим в скобках, что подобное отношение врачей (неважно, с какими конкретно вывихами) — один из распространенных источников невроза. Можно ли доверять медицине, которая думает не о больном, а о том, чтобы отцедить и отрезать? Поэтому и решаются на визит к доктору — когда уж совсем крайняк: оттягивают до последнего. В анекдотах про врачей — только часть шутки...

Характерный кусок про участие якобы невротиков в политических разборках того времени. Тут вам и «бурная страстность», и «кипучая возбужденность», и «злоба» — и вообще:

... психоневротическая активность всегда проявляется в избытке аффекта при недостаточном интеллектуальном подкреплении.

Но, может быть, это и есть человеческая (а не физиологическая) нормальность? Когда не хватает логики, приходится брать эмоциями, и наоборот. Товарищи, которые якобы выступали «без каких бы то ни было клинических проявлений в своих выступлениях» — либо шизоиды, либо расчетливые карьеристы (или то и другое вместе).

Как клиницист, имевший дело с многими сотнями психоневротиков, я иногда поражался симптоматической характерности этих больных выступлений — да разве вся эта картина представляет собою здоровую политическую борьбу? Это классическая клиника психоневроза, проявляющаяся на глазах у многочисленной аудитории, — и только.

Почему у клиницистов мания во всем видеть симптом? Если человек болеет за дело всем сердцем — обычное возбуждение от невротического по приметам не отличить. И только повредившийся в уме будет всерьез полагать, что политическая борьба может когда-то быть «здоровой!» — это все равно, что считать гнилой капитализм единственно правильной общественной системой.

Вполне естественно, что подобные психоневротические выступления появлялись преимущественно на стороне оппозиции...

Конечно. Их дают — и они сопротивляются, как могут. Нет у них другого выхода. Если человека резать — он будет вопить как резаный... Такова механика невроза: поместить человека в невыносимые условия, подавить в нем личность, постоянно затыкать рот и пресекать малейшее сопротивление... Не свихнется тут только совсем ненормальный.

Наши молодые психоневротики в дискуссии находили как раз то, чего им так недоставало в мирном их деловом бытии: 1) возможность свободного прорыва всей накопившейся злобы и разочарования; 2) атмосферу борьбы, связанной, пожалуй, и с некоторым риском; 3) более плодотворную замену того коллективизма («группировки»), который так неудачно формировался у них в обычных условиях мирной жизни.

В переводе на человеческий язык: люди с головой бросались в пучины политики, чтобы найти хоть какое-то 1) поле для творчества (а не держать все в себе), 2) чувство уместности (хоть что-то менять, быть

нужным миру), 3) возможность вырваться из тисков драконовского «коллективизма» (быть личностью).

Характерно, что (как это и бывает у всех психоневротиков) во время этих социальных прорывов заторможенной эмоциональности больные товарищи чувствовали себя великолепно, успокаивались, хорошо спали и т. д.: kloчущая аффективность, раньше свободно бродившая по организму, нашла себе «деловое» русло, прорвалась действительно вовне.

В этом и суть! Дайте людям дело по душе — и нет душевных болезней, и даже органические вредности ничему не помешают.

Конец дискуссии был, вероятно, для значительной их части и концом временного их клинического улучшения...

Еще бы! Крушение надежд — и снова в тюрьму (или в психушку — как маркиза де Сада). Не нужна народу «дискуссии» — ему позарез нужна обыденная культура общения, когда людей не делят на классы и касты, когда в каждом видят достойное уважения — и помогают развить именно это, человеческое, разумное, — вопреки наследию дикого воспитания. А не абстрактная (животная) «борьба» — которую считали панацеей советские педагоги и врачи, — и которая ничем не отличается от буржуазного идеала рыночной конкуренции. Залкинд в упор не понимает, что всякая властная вертикаль — инструмент эксплуатации одних другими, и не может быть выхода из буржуинства там, где все делают буржуйскими методами. Строить общество на палочной (или рыночной) дисциплине — вырождение общества в стаю, стадо, дикую орду. Ничего кроме капитализма из этого вырасти не может.

Болваны и болванки

Признавая влияние общества на развитие организма и психики, Залкинд не задумывается о том, что между этими противоположностями есть еще и личность, человеческий дух, и что главная задача послереволюционного (переходного) периода — становление новой, неклассовой личности, которая не нуждается в начальственных указах и умеет самостоятельно находить разумные пути решения общественных проблем. Воздействовать на организм в обход личности — значит, создавать двойной конфликт (между личностью и обществом, между личностью и плотью), вокруг которого кристаллизуются всяческие неврозы. Типичное для психиатра презрение к психологии, непонимание

несводимости человеческой психики к неврологии (и принципиальной неперебиваемости психологических понятий на язык рефлексов), заводит медицину в эмпирионатуралистический тупик: общество перестает быть обществом людей и становится лишь (столь же природным) орудием воздействия на органику — в чьих интересах?

Человек как разумное существо — сам строит свой мир, и никто не сделает это за него. Кто хочет командовать — должен истребить в людях человеческое, разумное, — превратить их в животных, неспособных любить и мечтать, вопреки любыми болям и стрессам. У Залкинда — общество превращено в полицейскую дубинку, жестоко карающую за малейший нестандарт. Начальник всегда прав: об уродствах «общества» не может быть и речи — и всякая оппозиция есть болезнь, требующая «усиленного партийного перевоспитания». Критиковать официально признанное правильным, обсуждать глупости партийных решений, и уж тем более задумываться о «радикальной переоценке смысла и путей революции», — это психоз; и не общество надо лечить (наша дубинка нам верно служит!) — а дрессировать население, зубрить уставы и маршировать на плацу (а кто не поддается — того в утиль). Так что удивляться, если буржуазная Европа не умеет отличить коммунизм от фашизма? — как-то уж очень похоже, в залкиндовской интерпретации...

Грандиозная перспектива перестройки образовательных программ и образа жизни советского студенчества, развернутая в последних главах, изначально больна свободобоей: есть «классовая целесообразность» (в виде решений партии и правительства) — и есть органические тела, которые надо настроить на угодный властям функционал; ни о каких личных предпочтениях — и тем более о перенастройке системы, о самообразовании и самовоспитании (не говоря уже о самолечении!) — речи быть не может. Для Залкинда — нет молодежи, а есть *молодняк* (любимое словечко!); зоотехническая терминология — показатель чисто утилитарного отношения к людям. Господа наверху знают про полезные им породы людишек — а дальше сплошная ветеринария (пардон, научная рефлексология). И этот барин будет потом говорить о гуманном обращении с детьми:

... надо вести себя с детьми не по-начальнически, а по-товарищески, надо дать ребятишкам полную возможность свободной общественной самоорганизации.

Это к тому, что родители обязаны прививать отпрыскам навыки и вкус к коллективному существованию: чтобы не косили от строевой...

Ведь старая педагогика рассматривала детей, как изолированные от социальной среды физиологические машинки, требовавшие узко специального, чисто педагогического к себе отношения.

Крутейший представитель этой «старой педагогики» — тов. Залкинд. Предложенный им комплект общественной обязаловки — жесточайшее рабство, призванное не оставить человеку ни одной возможности побыть наедине с собой, заметить в себе личность — и научиться уважать других. Заявлять при этом, что «в самой реорганизации существа науки учащиеся принимают далеко не последнее участие» — гнусная ложь: даже по половому вопросу — только разнарядка сверху. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить в искренность «коммунистического движения» среди детей и юношества: двигаться (даже духовно) без материи невозможно — а собственность в руках взрослых — и рулят они. Те, кто уже отымел свое, — материал сложный: они при случае могут сбежать в истерию — и нет на них управы кроме скальпеля. Куда проще лепить из заведомо бесправных, кому нечем ответить на грубое давление:

Если и трудновато этически перерождать сейчас взрослых, — зато, правильно принявшись за детвору, мы добьемся очень, очень многого.

Перешибить влияние семьи, сделать воспитание непосредственно общественным, — это здорово. Но кто вам даст? Кто подпустит к «своему» ребенку — когда он в законной собственности родителей и прочих родственников?

Залкинд решительно против семейственности — и мы его в этом всячески поддерживаем. И то, что перекладывать производство человека на плечи частных лиц (в основном женщин) приходится не от хорошей жизни — тоже понятно.

Трудовое государство находится в состоянии нищеты. Семья еще необходима до зарезу, — общественных яслей, детских домов, кухонь и прочего до безобразия мало.

Семья еще не разрушена. Нищее пролетарское государство, ни в воспитательном, ни в хозяйственном отношении не в силах еще полностью заменить семьи, и потому семью необходимо революционизировать, пролетаризировать.

... в условиях переходного периода, когда пролетарское государство в силах содержать лишь меньше 1% всех детей, *революционизированная семья* не только не отомрет пока, но приобретет серьезное вспомогательное значение в дополнение к тому воспитанию, которое дает детям государство.

Очень круто! Открытым текстом признание в ущербности семейного хозяйства и прямая постановка задачи: уничтожить семью полностью, во всех формах! До этого не доросли ни Маркс, ни Ленин. Недурно и диалектическое отношение к делу: там, где нет возможности навести революционный порядок — революционизировать старые формы, запихивать в них новое содержание — пока не лопнут. Есть даже намек (едва ли замеченный автором) на практическое решение: семью надо *пролетаризировать* — вывести за рамки отношений собственности, чтобы никакой коммерции в семье держаться было не на чем. Но как раз этого никто не сделал; наоборот, советское право крутится вокруг экономики семьи — без малейшей попытки реально (хотя бы и очень постепенно) передавать хозяйственные функции в ведение государства. В результате не семья в дополнение к общественному воспроизводству человека — а наоборот, общество (в совершенно незначительной мере) оказывает поддержку семье, оставляя женщин и детей ее рабами — и тем самым снова и снова воспроизводя рабскую психологию.

Ограничиваться сугубо эмпирической констатацией отсутствия экономической базы для разрушения семьи — значит, продлить ее сроки в неопределенно далекое будущее, под предлогом необходимости решения более насущных задач. Нет более насущной задачи, чем производство нового, неклассового человека. Экономическая работа — не сама для себя, а ради освобождения духа; поэтому любой прогресс в экономике следовало бы увязывать с изменением отношений в семье. Вместо грубой эмпирии — яркая мечта о бесклассовом будущем, большие цели, дальние перспективы. Только тогда повседневная работа приобретет смысл — сделается частью личности, а не лишней нагрузкой.

Что такое «революционизированная семья» — Залкинд умалчивает. В его проекте только предложения облагородить «старую семью»:

Дух равенства между мужем и женою, общественное воспитание женщины, жены («социальное воспитание женщины», по великолепному выражению т. Крупской) и мужа, борьба с религиозным душком внутри семьи, борьба с излишнею любовью к мещанскому домашнему уюту — при помощи переноса наиболее ярких и радостных элементов семейного бытия в клуб, в общественную обстановку, — прививка семье общекультурных, санитарных и, в первую голову, хороших политических классовых навыков.

Утопия! Пока семья официально признана экономической структурой, она будет функционировать по законам рыночной экономики; наложить

на это какую-то иную идеологию, кроме буржуазной, — медицина не в состоянии. Прививать что-то «семье» — идеалистическая абстракция: общество состоит из людей, и воспитывает людей; если не так — вместо людей органы коллектива, настраивать который будет начальство — при содействии воинствующих психиатров. Идеологически выдержанное решение — с самого начала честно заявить: семья — лишь фикция, временное сосуществование личностей, независимость которых мы пока провозглашаем лишь формально — но делаем все, чтобы вывести членов семьи из под ее влияния: у семьи *нет* никакого экономического и политического статуса — люди остаются людьми независимо от семейного положения и родства, и помогает общество не семье, а конкретным людям. Точно так же, несколько человек могут скинуться на благоустройство двора, вместе изобретать велосипеды — или просто сообразить пикник на природе; общество предоставляет для этого условия (помещения, коммунальные услуги, транспорт) и предоставляет доступ к необходимым технологиям и материалам, — но превращать приятельскую компанию в военизированный отряд вовсе незачем: любой из группы может заинтересоваться чем-то другим, выйти из дела и общаться с другими товарищами. Например, если мне нравится танцевать — я могу какое-то время заниматься в студии, — но при желании могу перейти в другую, или вообще завязать. Абсолютно то же самое — в отношении семьи. То есть, первое решение пролетарской революции — отмена института брака и наследования; на добровольных началах — кучкуйтесь как угодно.

Соответственно, все без исключения дети — такие же члены общества, как и взрослые: они вправе оставаться в семье — или менять общественный статус. Говорить, что у государства нет денег, чтобы содержать брошенных родителями отпрысков, — буржуазная отрыжка: точно так же капиталист с чистой совестью (или бессовестностью) объявляет локаут, потому что у него нет денег на удовлетворение требований забастовщиков (и он может заказать научно обоснованное экономическое заключение, безусловно это подтверждающее). Кстати, что делает с банкротами буржуазное государство? Оно *национализует* предприятия — и (с выгодой для себя) передает их в собственность новым владельцам. Можно ту же политику проводить в отношении распадающихся семей? — запросто! Экономические технологии есть — не хватает желающих задействовать общественные рычаги в интересах общества (а не барствующих господ или товарищей).

Вместо этого — все тот же ползучий реформизм, попытки лишь «разгрузить семью от повседневных ее хозяйственных, воспитательных и прочих забот». Про это писали и Энгельс, и Ленин, — теперь пишет Залкинд. Но если все семейное хозяйство сделать общественным — зачем тогда семья? Выходит, речь не о «разгрузке», а об искоренении семейственности как таковой — и надо честно ставить эту задачу, не обманывать людей. Кто ставит иначе — пытается навеки сохранить эксплуатацию человека человеком, лицемерно объявив старое новым и плотнее усевшись на шеях рабов. Соответственно, вместо свободы самим улаживать свои дела — предлагается народ воспитывать, чтобы не слишком трепыхались под начальственной задницей.

Мадам Крупская — тот еще идеологический диверсант! Формула насчет «социального воспитания женщины» — воистину великолепна, как точное выражение классово (буржуазной) позиции: общество воспитывает не людей (не разбирая пола возраста и рода занятий) — а только женщин, супругов, детей, граждан, патриотов, профессионалов и прочих кретинов... Никакого самовоспитания — боже упаси! И уж конечно держать в узде репродуктивный материал:

Первым объектом для воспитания в духе нового быта должна быть женщина, наиболее прочный и косный защитник старых заветов.

Вот так: не освобождение — а всего лишь перевоспитание. Издревле вбитый в мозги сексизм. Заметим: воспитывать собираются лишь в плане супружеской верности, изобильной детородности, добровольного ярма матери и домработницы. Ни слова об экономической (и тем более личной) независимости, о праве состоять в нескольких семьях (почему бы и нет?), о праве на отказ от материнства — при соответствующем половом воспитании и обучении техникам контрацепции; женщина не вправе отказываться от секса или избирать альтернативный секс — независимо от брачного статуса. Не положено! Есть коллективный собственник — государство; оно раздает женские тела мужикам под расписку — и (по возможности) пресекает уж очень грубые формы насилия (но вовсе не из заботы о женщинах — см. выше про бедную Ф.). По Залкинду: «рациональная социальная направленность».

Но как быть, спросят нас, с героическими попытками строить идеальные, исчерпывающие опыты «абсолютно коммунистического» быта. Ведь, раздробив новый быт на детали, мы распыляем, скажут нам, конечный идеал, и для устроителей нового быта не будет образца, которому следовало бы подражать.

Возражение резонное! Не делать ничего нового — само собой с небес не спустится. Если, конечно, बारे меж собой не попробуют и не решат, что холопам тоже сгодится:

... против хорошо поставленной попытки возражать не приходится.

Но поперек батьки — рефлексолог безоговорочно против!

... во-первых, массовыми подобные пробы сейчас не могут сделаться, ввиду отсутствия общесоциальных к тому предпосылок.

Ладно, пусть будут не массовыми — но будут! Опять же, кто будет усматривать наличие предпосылок того, о чем еще никто не знает?

Во-вторых, плохо верится в идеальный эффект подобных, даже изолированных, попыток.

А почему сразу же добиваться идеального эффекта? Первый блин — как получится, потом приуровнимся. Только не надо душить изоляцией.

Не выросшие из массовой естественной необходимости, в большей своей части надуманные, они, даже в случае сомнительной удачи угрожают выродиться в сектантские ячейки, нетерпимые и потому пропагандистски бесплодные.

Нет у человека «естественной» необходимости! Тем более массовой. Почему все непривычное надо огульно обвинять в надуманности? Если какие-то йоги смогут заниматься сексом, стоя на голове, — флаг им в руки: это тоже полезный опыт (хотя массовым он однозначно не станет). Далее, почему по видимости удачное надо обзывать сомнительным, если лично Залкинду оно не нравится? Разумеется, если вокруг поставить психиатров с пулеметами — чтобы наружу не просочилось ничего, — получится сектантская ячейка; но все без исключения мировые религии выросли из сектантских ячеек — да и коммунизм тоже не с четвертого Интернационала начинал... Чтобы убедиться в бесплодности — надо, как минимум, разрешить плодиться (разумеется, не под надзором ярых противников); с другой стороны, на что у вас громадный аппарат партийной пропаганды? — как показывает передовой западный опыт, при нормальной постановке дела можно продать что угодно!

Лучше бы использовать энтузиастический заряд, который действительно содержится в этих энергичных экспериментаторах, не на тепличную, а на массовую работу по строительству нового быта. Этот заряд там очень и очень пригодится...

Другими словами, если вы, скажем, мечтаете о революции в физике — или слышите нечто неизведанное в додекафонии, — вот вам кайло, и с

энтузиазмом добывайте радий в горах Акатуя. Партии виднее, как вас правильно использовать. Творчество — когда по приказу барина и в рамках дозволенного. Не положено массам использовать себя самостоятельно — у нас есть самозванные пользователи, а у них на поводках бугаи с автоматами да психиатры со скальпелями.

Если без эмоций — вред не от социальных экспериментов как таковых, а от принципиальной установки: вместо снятия коллективности как таковой — попытки создавать коллективы «нового типа», которые предположительно лучше (не важно для чего). Утопические коммуны — та же семья, в другом составе. Поэтому все пороки семейственности воспроизводятся в полном объеме — и овчинка не стоит выделки. Нечто похожее мы видим в Европе и США: разнообразие альтернативных семей лишь укрепляет идею семьи. Буржуи это смекнули — и больше не возражают... Советские так и не доросли, не успели.

Псих на цепи

Как только заходит речь о стихийных или формальных сообществах, мы тут же выходим на третьего (наряду с правом и религией) кита классовой духовной культуры — мораль. В терминологии Залкинда это называется этикой (или нравственностью) — и тут он снова блещет гениальностью с разными знаками.

Этика исчезнет лишь тогда, когда сгинет и классовая борьба, так как в этот исторический период не понадобится уже особых правил для особого, «классового» поведения, противопоставленного другому, враждебно-классовому поведению: коллективизированное человечество будет пропитано общими, едиными устремлениями и будет регулироваться в своих проявлениях совершенно иными законами, чем те, которые существуют в классовом обществе. Доисторический период развития человечества перейдет тогда в исторический.

Просто супер! Мораль — сугубо классовое явление, и свободному, разумно устроенному обществу она не нужна. Такой определенности мы больше ни у кого не встречали. Да и подчеркнуть марксову идею о классовых формациях как предыстории человечества — крайне важно и своевременное (особенно в наши дни). Отсюда много чего следует; например качественное отличие человеческой психики от психики животных (что у Залкинда неуклюже просвечивает в различении «биореактивности» и «социореактивности»). К сожалению, на этом

плюсовые температуры заканчиваются — и мы опять погружаемся в трескучие сибирские морозы... Напрягает первая же фраза:

На авансцену истории выдвигается новый господствующий класс — он начинает строить свои собственные правила поведения, свою этику.

Чисто эмпирически — все верно. Да, революция не уничтожает классы: это всего лишь вопрос о власти (чисто ленинская формулировка). Но всякое господство развращает — и ставший господствующим классом пролетариат перестает быть пролетариатом, превращается в буржуа нового типа, такого же эксплуататора, как и прежние господа. После антисоветского переворота вылезшие на доисторическую арену «новые русские» стали называть этих развращенных совками — но большой разницы между этим и теми нет. Соответственно, и мораль все та же — буржуйская. Плохо, когда это начинают воспринимать спокойно, как нечто совершенно естественное.

Для переходного же времени, для периода обостренной классовой борьбы пролетариата, ему этика необходима.

Если мы полагаем, что нравственность противоположна морали (как свобода отменяет право, а духовность несовместима с религией) — тогда переходный период как раз и нужен, чтобы вырастить бесклассовые общественные формы (которые, в свою очередь, снимаются в чем-то сегодня вообще непредставимом, когда противопоставления человека обществу вообще нет, и все одинаково нравственно, ибо человек и есть общество, и наоборот).

Необходимость этики — это перевертывание постановки задачи: вместо уничтожения классов мы допускаем неопределенно долгий срок классового господства — за который история вполне успеет превратить господствующий класс в класс господ, а господам, конечно же, нужны рабы — и этих рабов как раз и предлагает воспитывать тов. Залкинд. Если же мы идем в бесклассовое будущее — мы против любых классов любой морали! То есть, речь не замене одной морали другой — а о вытеснении морали новыми принципами общественного регулирования, не предполагающими классового насилия.

Этика, нравственность всегда была сборником фактических правил классовой самозащиты; она учила, как следует поступать в том или ином случае с точки зрения *классовой целесообразности*. Такой же, очевидно, должна быть и будет новая классовая этика, — этика *пролетариата*; она должна дать *правила поведения, полезные с точки зрения революционно-пролетарской целесообразности*.

Опять же, эмпирия на высоте. Если пролетариат собирается оставаться господствующим классом — он будет диктовать правила игры (что на буржуйском языке называется «целесообразностью»). Но чтобы строить бесклассовый мир — исходить нужно не из преходящих моральных норм, а из идеи, образа будущего, так что любые правила мы сверяем с идеалом и безжалостно вычеркиваем, где не вяжется.

Допустим, что диктатура пролетариата предполагает и какую-то особенную (пролетарскую) мораль. Но при попытке набросать картинку Залкинд безбожно путается. С одной стороны:

Явится ли пролетарская этика прямой противоположностью буржуазной? Если буржуазия требовала «не укради», «не пожелай жены ближнего своего», «чти отца», «не прелюбодействуй», — значит ли это, что пролетариат должен требовать поведения «наоборот»: «укради», «пожелай», «не чти», «прелюбодействуй»? — Конечно, нет.

И тут же:

Мы можем любое правило поведения эксплуататорской этики заменить вполне конкретным, практическим соображением, направленным на защиту классовых интересов пролетариата.

Даже если это не просто отрицание, а коренная переработка, — сама замена «один к одному» остается лишь отражением в зеркале (сколь угодно кривом). И это единственно возможный исход — поскольку антагонистические классы соединяются в (классовое) единство только за счет общности форм духовной культуры — права, религии, морали (которые у Залкинда свалены в одну кучу). Прекрасная характеристика буржуазного филистерства:

Этика — непосредственное отражение производственного бытия класса. В частности, буржуазная этика — сборник правил по наилучшей защите капиталистических производственных отношений, основанных на принципе частной собственности. Отсюда, право на украденную частную собственность, право на эксплуатацию меньшинством большинства, требование покорности со стороны эксплуатируемого большинства, освящение неизбежного экономического хаоса («пути господни неисповедимы»), вытекающего из собственнических, т. е., в конечном счете, неорганизованных отношений, и парящая над всем этим неумолимая, вездесущая воля божия, в различных ее философских и будто бы научных маскировках, — вот в чем заключается основное содержание буржуазной этики, этого сборника основных правил поведения, нужного для эксплуатации буржуазией масс. Все, что идет против этих божественных правил, безнравственно, преступно, подлежит беспощадному уничтожению.

А что взамен? На место одной собственности поставили другую — которую точно так же приходится защищать от посягательств: грабь награбленное! — это «этическая формула товарища Ленина». Буржуи требуют покорности от пролетариев — пролетарии не только требуют того же от буржуев, но и самих себя загоняют в клетку «пролетарского коллективизма» — безоговорочного подчинения воле «большинства» (за которой прячется воля одной из партийных фракций, и в конечном счете воля отдельных лиц — отнюдь не пролетарского происхождения). И это называют борьбой «против рабьей покорности масс» и этическим «активизмом»! Ставить вместо хаоса на жесткую организацию — еще быстрее загнать экономику в кризис: хаос — лишь форма организации, не менее мощная, и не предполагающая исторических случайностей. Тупо заменять «мертвый мистицизм буржуазной этики диалектическим материализмом» — переписывание катехизиса, навесить новые догмы вместо прежних. То есть, по сути, ничего не изменилось — и та же буржуазная мораль терминологически приспособлена к иной властной вертикали (как термины старой неврологии Залкинд заменяет на столь же туманный новодел). И тот же финал:

... все, что увеличивает революционную боеспособность пролетариата, его гибкость, его умение бороться и воевать, — все это надо приветствовать, культивировать всеми способами.

Наоборот, — все, что способствует индивидуалистическому обособлению трудящихся, — все, что вносит беспорядок в хозяйственную организацию пролетариата, — все, что развивает классовую трусость, растерянность, тупость, — все, что плодит у трудящихся суеверие и невежество, — все это *безнравственно, преступно*, — такое поведение должно беспощадно пролетариатом преследоваться.

См. выше про буржуазную мораль:

Все, что идет против этих божественных правил, безнравственно, преступно, подлежит беспощадному уничтожению.

Где отличие? Ты начальник — я дурак; я начальник — ты дурак... Это не вяжется с провозглашенной целью:

... захват производства в свои руки — для передачи его затем всему человечеству...

То есть, речь не о диктатуре пролетариата (как способе перестройки отношений собственности и властных структур) — а об интересах *всего человечества*, о разумности общественного устройства — никак не предполагающей подчинение одних другим (якобы представляющим

коллектив, партию, класс, общество в целом). Следовательно, не заниматься строительством «новой» морали (или справедливости, или идейности) — а наоборот, нацелить развитие на уничтожение *всякой* морали, жизни по понятиям, — сбросить путы коллективизма вместе с цепями права и религии, прямо заявить о недопустимости любого общественного давления — неизбежно вызывающего сопротивление личности (поскольку человек не утратил еще хоть каплю духовности) и загоняющего людей в невроз (поскольку подстрекаемая вождями толпа заведомо сильнее). Когда решение насущных вопросов экономического и духовного развития передано «всему человечеству» (а значит, становится личным делом каждого) — происхождение и биография человека выводятся за рамки суждений: мы исходим только из разума, из общих представлений о бесклассовом будущем, а не из классовой «целесообразности». Для будущего — нет пролетариев, интеллигенции, сельской бедноты или финансовой буржуазии: есть люди — которые исковерканы классовым воспитанием и все еще классовой экономикой, и которых надо от этой ограниченности освободить — вылечить, в конце концов! А не раскладывать по кучкам: пригодное к эксплуатации в одну, неизлечимые — в другую... Бесчеловечное изобретение буржуазных теоретиков: *triage* — чтобы не тратиться лишний раз на тех, от кого хозяевам проку ноль.

Идейные шатания Залкинда — в каждой строчке его «этики». Например, замечательно против «псевдофилософского ханжества»:

... метафизической самодовлеющей ценности человеческой жизни для пролетариата не существует.

Это революционно до такой степени, что *никто* из прежних и нынешних моралистов (включая Залкинда) так и не понял, что это значит, и что из этого следует. По сути, речь о несводимости духа к представляющим его телам: живой организм — лишь орудие, средство производства, — наряду со всеми остальными (составляющими неорганическое тело человека, по Марксу). О разумном отношении к орудиям труда мы уже говорили. О необходимости утилизации отработавших свое тел — это большая тема; но Залкинд сводит все к допустимости убийства — «конечно, не по собственному решению»... Снова одни приказывают другим — которым позволено быть лишь неразумными исполнителями, орудиями в чужих руках. Разве не может человек сам рассудить — и принять на себя всю полноту ответственности? С какой стати считать невесть откуда взявшегося начальника (узурпатора или проходимца)

вестником высшего разума (божества)? Только что Залкинд воевал против богов — а теперь столь же яростно насаждает культ; мы знаем, к чему это привело десяток лет спустя.

Клинический идеал

Помешательство на рефлексологии и выработке автоматизмов — вовсе не академическое заблуждение: это оправдание эксплуатации, порабощения одних другими, — активная борьба *против* революции, припорошенная левацкими лозунгами. Власти поделят общенародное достояние среди своих — а массы достаточно дрессировать, науськивать на «классовых врагов» (а по факту — на конкурирующие банды); для этого не нужна личность — нужен беззаветно преданный робот:

Для него существуют лишь интересы пролетарской революции, интересы борьбы за освобождение человечества от эксплуатации.

При всей подлости подобного социального программирования, даже настолько урезанная личность вовсе не обязана полагать, что «интересы революции» всегда совпадают с интересами партии и правительства! Формулировка не исключает права действовать на свое усмотрение, если убеждения человека идут вразрез с мнением начальства; нравственно это или нет — решает не начальник, не суд, не мораль: решает будущее.

У Залкинда мы находим замечательный образчик вполне разумной постановки задачи по преобразованию быта:

Ориентируясь на далекую конечную революционную перспективу, ни на миг о ней не забывая, новый быт все же надо строить, применяясь к реальным возможностям сегодняшнего дня, — но строить надо энергично, не дожидаясь, когда он сам «построится», так как надстройки (а быт ведь надстройка) очень косны, формируются туго, и если их не подогнать, — народится рядом с политическим меньшевизмом также меньшевизм — бытовой.

Здесь, между прочим, Залкинд показывает пример, как можно и нужно идти против высшего руководства. Энгельс и Ленин (хотя и на разных основаниях) всячески возражали против активного вмешательства в религиозные и этнические дела (тоже надстройка!) — утверждая, что все выправится само собой, если наладить экономику. Напротив, Залкинд ждатель у моря погоды не собирается — и требует вмешательства в надстроечные отношения, в противовес активной подрывной работе местных и заграничных контрреволюционеров.

Между тем, новый быт, несмотря на нудную «принципиальную» критику, волей масс, выявленной в решениях многих конференций и съездов, становится первоочередным и боевым вопросом советской общественной работы, привлекая жгучее внимание рабочей аудитории, особенно молодой ее части: создаются кружки по изучению и формированию нового быта, прodelьваются довольно многочисленные, иногда очень ответственные пробы. Какое же дать направление этому движению?

Вспомним указания Ленина немецким товарищам: запрещено обсуждать на партсобраниях половые вопросы! Залкинд: если об этом говорят — значит это людям важно и своевременно! — и если не обсуждать с позиций бесклассового будущего — буржуи обсудят по-своему, загонят в буржуазное русло. Поэтому совершенно точно: не отмахнуться, не «принципиально» критиковать, — а вмешаться и придать разумное направление реально существующему общественному движению.

Но сам же Залкинд скатывается в огульное отрицание, например, когда речь заходит о новых формах семьи или о полном отказе от семейственности, свободе личной жизни. Попытки судить «с точки зрения революционной целесообразности» вырождаются в классовый диктат — и не по-пролетарски, а с позиций чисто буржуазной морали, предполагающей право властей беззастенчиво распоряжаться телами и душами «рядовых». С одной стороны:

Быт вовсе не ограничивается семьей, домашним очагом. Советская общественность, массовая трудовая общественность расширила рамки быта вплоть до мельчайших закоулков государственного строительства, где гражданин не является чиновником, и где его не опекают, а где, наоборот, он сам ответственно строит. Это — органическая часть его жизни, это органическая часть его быта.

Золотые слова! Каждый представляет не только себя — но и общество в целом, и потом может самостоятельно об всем судить, принимать и претворять их в жизнь. Не нужны человеку никакие начальники — у него своя голова на плечах. Однако все это на фоне бесчисленных оговорок о недопустимости посягательств на абстрактную (то есть, спущенную сверху) «революционную целесообразность», и в духе все той же подстановки одного на место другого — вместо снятия самой необходимости с чем-то воевать и что-то преодолевать. Например:

Религиозная отрывка во всех ее видах — *старый быт*; естественно-научная грамотность вместо евангелия, талмуда, корана, — клуб вместо церкви, синагоги, мечети, — красные галстуки и портреты Ленина вместо крестиков и ладанок, — это *новый быт*.

Здорово живешь! Вместо одной иконы повесили другую, церковный чин заменили на «революционный», — и вроде как нет религии? Почему не исходить из примата личности, из разума, а не «целесообразности»? Если хочется кому читать стихи о любви — он может этим отрицать религию и без «естественно-научной грамотности»; кому вообще не интересно тусоваться в местах скопления — тому одинаково противны и церковь, и клуб. А уж с кем общаться, кого и как любить, — это, пардон, личное дело, куда ни попам, ни парторгам доступа нет.

Научить себя и других гигиенически обращаться со своим телом, с одеждой, жилищем, с постелью, с пищей, — яростная борьба с грязью во всех ее видах, — вытренировать, укрепить, закалить, организовать все свои физиологические процессы, — наложить тормоза классовой скупости на половую разнузданность, оставленную нам буржуазией (переведа тем резервы энергии на культурное творчество), отучить от нелепого курения и пьянства, — все это *массовый новый быт*, который создаст нам здоровую, чистоплотную, закаленную, боеспособную, производственно прочную, творчески-богатую трудовую массу, — ту массу, с которой революция не может не победить.

Разумное отношение к телам, отношение к ним как к любим другим предметам быта, — это очень хорошо! Но как только начинают предписывать, куда какие резервы переводить, — разум не у дел; кончается вообще за упокой: оказывается, все затеяно только для того, чтобы дать кому-то «боеспособную массу» (рабочую силу и пушечное мясо). С одной стороны — очень актуальная в наши дни направленность против «зеленых» призывов экономить на еде, воде, гигиене и здоровье (чтобы верхи могли по-прежнему жировать и чувствовать классовое превосходство); с другой стороны, проповедовать здоровый образ жизни (а у каждого он свой!) можно сколько угодно — это не повысит культуру быта ни на микрон, если не создавать экономические и социальные условия для самостоятельного (а не по разнарядке сверху) обустройства и выработки индивидуального режима использования органики и всего прочего. Наконец, если нет ни малейшего представления о том, как все это работает на становление бесклассового общества будущего, — плакаты с надписями «революционная целесообразность» ровным счетом никого не убедят. И «нетерпеливый молодой читатель» тут же с недоумениями:

Учить азбуке и борьбе со вшами — это обычные вопросы простой культуры и только.

Можно быть грамотным, чистым, — и великолепнейшим образом верить в господа бога.

Какой революционный коллективизм в кооперации, если на кооператорстве западные да и русские меньшевики (ревизионисты) собирались провалить революционно-боевую работу пролетариата?

Вот английская буржуазия блестяще распределяет свой день, идеально занимается спортом, а до пролетарской революции ей, как будто, далеко...

Где же во всем этом нашем строительстве специфически пролетарское, — то, к чему действительно следовало бы прикрепить нормы нашей пролетарской этики?

Возражение по существу! Залкинду крыть нечем — и он пытается делать хорошую мину на буржуазной физици:

Подобный вопрос имел бы серьезное значение в буржуазном Западе, где быт складывается, преимущественно, по указке буржуазии... У нас же, в Рабоче-Крестьянском Советском Союзе, важной главой этики является сборник правил по наискорейшему *хозяйственному, культурному и санитарному возрождению СССР*.

То есть, опять-таки: все по правилам — по указке сверху (и поди докажи, что там не окопались все те же буржуи!).

«Но при чем же, все-таки, здесь коллективизм, диалектический материализм и прочие этические наши «столпы», — продолжает вопрошать наш суровый критик.

Да при том, что возрождающимся трудовым массам СССР некуда податься, кроме наших четырех столпов, если они действительно возрождаются...

Когда некуда податься — это называется безысходность... Как раз то, к чему приучает массы продвинутая буржуазия. Сознательностью и разумностью тут вообще не пахнет!

Дальше сказки о том, как мы «улучшим сельское хозяйство бедняка, середняка, при гегемонии государственной советской промышленности и индустрии», «увеличиваем вывоз хлеба за границу», «укрепляем нашу валюту» — а потом еще и

научим трудовое население бороться с заразными болезнями, с засухой, с градом, с морозами, если уничтожим стихийную зависимость трудового крестьянина от природы...

И патетический вопрос:

не будет ли это густейшей струей воды на колеса *материалистической* мельницы, не ослабит ли это религиозный дурман?

Ни фигу не ослабит! У буржуев на этот счет опыт большой — они из чего угодно спелят религию. Тем более, когда все вращается в рыночных формах, и главный бог — капитал.

Мелкоделие ли это? Конечно, нет. — Специфически-пролетарское ли это дело? Конечно, да. — Если бы руководил этим делом не пролетариат, а буржуазия, — та же индустрия, то же улучшение сельского хозяйства, та же кооперация были бы только лишней тяжкой гирей на ногах измученного в революционной борьбе рабочего класса. У нас же они служат именно *коллективизму, организованности, активизму, материалистической идеологии.*

Спрашиваем снова: а кто гарантирует, что там, на самом верху сидят только проверенные товарищи, а не ставленники мировой буржуазии? Лично мы это проверить не можем: пропуска в Кремлевские палаты и начальственные резиденции кому попало не дают. Верить на слово поставленным свыше мелким начальникам? — так мы на каждом шагу убеждаемся, что они больше блюдут свою выгоду, чем заботятся о деле; народ для них — дойная корова, да способ злость сорвать. В духе ленинских заветов (про «учет и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный» [35, 199]), Залкинд предлагает формировать в массах отряды стукачей:

Молодежь должна «заболеть» непрерывным зудом пролетарской свести. Всегда напряженно-внимательная, всегда начеку, всегда на страже интересов пролетарской революции...

И потом сам же сетует на прирост невротиков, когда подраться не с кем... Опять же, при сохранении традиции обучения и воспитания сверху вниз требовать спонтанной активности от сверху выученных и воспитанных — как-то странно. Кто действительно активный — тому хватает, чем заняться, помимо бдения в окопах.

Острый, чуткий, сосредоточенный взгляд, немедленно улавливающий всякий беспорядок, вредный для класса. Разумное, твердое, гибкое вмешательство в этот беспорядок, с привлечением всех нужных лиц, органов, организаций.

Утопия! Так им и дали... Пошлют подальше — и дело с концом. Хорошо, если не дойдет до более тяжелых повреждений.

Вот как должен строить свой быт, строить свое поведение наш красный молодняк. *Его идеалом во всем должен быть старый большевик.* Каков, по своей революционной этике, старый костяк нашей партии, — такова должна быть и наша красная молодежь.

Сразу вспоминаем тов. Ленина [30, 65]:

... я знаю *таких* «старых большевиков», что упаси боже.

Почему обязательно надо делать жизнь с кого-то, а не жить по своему разумению — никто вразумительно не объяснил. Ну ладно, допустим, что лично тов. Ленин (и, вероятно, идеализирующий его Залкинд) — заведомо достойный пример для творческого подражания. Вот и давайте посмотрим на идеал глазами идеологически выдержанного психиатра.

Ленин — мощный прообраз, сверхконцентрированный тип большевика.

Здравствуйтесь, г. Юнг! Ленин как архетип, икона. Малюем дальше:

С ранних лет т. Ленин проходит перед нами, как насыщенный колоссальной энергией психофизиологический аппарат, обладавший неисчерпаемыми возможностями напряжения и возбуждения, неиссякаемой силой для устремления вперед, неистощимым боевым резервуаром. Максимальная концентрация, организованность, величайшая *революционная целеустремленность* характеризуют товарища Ленина во все годы его общественной жизни.

Очень занимательно! Не человек, а всего лишь «психофизиологический аппарат» — к такому идеалу Залкинд устремляет советский «молодняк». С точки зрения психиатрии — типичнейший обсессивный синдром: подчинение всего и всех абстрактной цели, не допускающее никакой рефлексии. Помнится, Ницше писал про евреев, что это самый древний и самый чистый народ — и все их бедствия от лишних сомнений, от вечной неуверенности в себе... Заключаем, что товарищ Ленин заведомо не еврей (вопреки современным антисоветским инсинуациям). При желании можно косвенным образом заключить об антисемитизме Арона Залкинда, сына Боруха и Ревекки...

Огромная динамика, не мирившаяся с прозябанием, праздностью, требовавшая, — жадно требовавшая неперменного выявления во внешних общественных действиях.

Заключение врача: лихорадочная активность, импульсивность.

Необычайная *реалистическая* восприимчивость, обостреннейшая чуткость к конкретным явлениям, *точное* улавливание мельчайших конкретных деталей, которые скрадывались, обычно, во внимании подавляющего большинства окружающих, изумительная точность расчетов.

Классика психиатрии: гиперчувствительность, параноидальный подбор деталей. По жизни, точным оно оказывается только задним числом, когда пациент раскидал (иногда мнимых) врагов и настоял на своем.

Блестящая *самоорганизация* во всей, как научной, так и практической политической деятельности, чрезвычайно сильно развитое чувство *делового ритма*, умение вовремя уловить нужное, отмести лишнее...

Симптоматика: умственная ригидность, упрямство, агрессия.

способность к острому и планомерному *учету* всех полезных элементов прошлого опыта;

Изворотливость, умение все подгрести под себя, истолковать по-своему.

жесточайшая *требовательность* к себе и другим,

Диктаторские замашки — кто дал (хотя бы моральное) право требовать?

выбор *наизыкономнейшей реакции* в ответ на требования жизни.

Расчетливость, использование чужих слабостей.

Необычайная *гибкость*, *подвижность* интеллектуального аппарата, колоссальное умение получить *максимальную синтетическую обработку* впечатлений *при минимальной затрате* сознательного, нарочитого, волевого усилия;

Моментальная (инстинктивная) подгонка всего под бредовую идею.

необычайная легкость, продуктивность, быстрота творчества при наилучшем использовании так называемого творческого подсознания, *творческих автоматизмов*.

Автоматизмы вместо творчества, шаблонность.

Огромное развитие *исследовательской*, критической ненасытности: пионерские, инициаторские вщупывания, внедрения в новое, — страстное тяготение к этому новому, при великолепном исследовательском анализе, при почти пророческой прозорливости.

Замашки пророка, хищническое отношение, утилитарность.

И все это при величайшем *социоцентризме*, т. е. полном отвлечении от своего «я» в сторону общественности, организованной общественной деятельности;

Маскировка личных интересов заботой об обществе.

всегда с партией, с массой

Нуждается в людях как в материале, который можно использовать и лепить по своим меркам.

и всегда неизменно — бодрый, радостный, подъемный

Имитация кипучей деятельности, манипуляция пристройкой сверху, подавление якобы мощной энергетикой.

сверхскромный в своих житейских требованиях и вкусах

Но, заметим, не прочь попользоваться далеко не всем доступными удобствами... Игра в простоту, лицемерие.

товарищески-чуткий ко всем.

Особенно к партийной оппозиции и прочим конкурентам — умение пристроиться и психологически раздавить.

Вот замечательная клиническая картина законченного маньяка! Давайте все сойдем с ума — и сплоченными рядами в гости к врачам. Мы можем — Залкинд не сомневается:

Товарищ Ленин не чудо; он такой же, лишь во много раз более концентрированный, продукт истории, как и все мы.

Так что остается лишь научиться концентрироваться, входить в транс (съездить в Индию, что ли?) — и вставать в очередь на должность вождя трудящихся и отца народов. Там, правда, первым некто Джугашвили — но мы его ублажим в лучших традициях НЛП и выцарапаем не самые последние места...

Революционная современность, идущий к победе рабочий класс — наделили своего вождя наиболее нужными для победы свойствами, сделали его идеальным типом пролетарского революционера, идеальным типом коммуниста, идеальным предтечей, показательным примером, олицетворением этого грядущего коммунистического типа.

Идеальных не бывает! Пошарьте в мозгах, если кажется... Всеми (сомнительными) достоинствами икону именно *наделяют* служители культа, требуя от остальных слепой веры:

Равняться на этот тип — святое историческое право, радостная революционная обязанность.

Человек сам по себе разумен — ему не надо ни на кого равняться. Иначе это уже не человек, а домашний скот; тогда, конечно, не молодежь, а молодняк, который можно на кого угодно натравить:

Красный молодняк не может ограничивать свой этический быт лишь рамками собственного молодого общежития. Он должен энергично вторгнуться в быт семьи, в жизнь предприятия, в работу клуба, библиотеки, избы-читальни и, что особенно важно, в дело воспитания идущей вслед за ним смены, младшей пролетарской ребятни. Не за свой страх и риск, не наобум вторгнуться, — организованно, продуманно, коллективно, с полным сознанием своей революционной ответственности перед классом.

У разумного — есть разум, и не нужно ни перед кем отчитываться. Или влезать в дела других, столь же разумных существ. Прикрыть хамство ответственностью — обычное дело. Ничего личного, «не за свой страх и риск»: это меня класс направил... — в чьем лице? Юродство, отказ от себя, растворение в массе... А дальше — спасайся кто может!

Половая диктатура

Что люди для Залкинда всего лишь вещи (организмы), которые использует в корыстных целях некое «общество», — мы уже знаем. Остается придать этой биомассе подобающую «социальную установку» и наладить регулярное воспроизводство — чтобы самые главные «общественники» могли вечно ездить на чужих горбах. Это очень даже гуманно, поскольку

впадавшие в психоневроз, достаточно часто отличались путаницей, неладями и в *половой области*.

Поэтому стремление насадить в вузах «гармонизированную половую жизнь» — выражение отеческой заботы о неразумных зверушках, кои без кнута или пряника шагу ступить не могут. Где им распорядиться своими телами! Или хотя бы брать пример.

Поскольку главный принцип психованной (пардон, революционной) морали — слушаться старших (по возрасту, по должности, по званию), легко догадаться, что по любому вопросу работает барски-филистерская логика: если я делаю это так и не представляю себе, как можно делать иначе, — все подкомандные обязаны делать это как я: любые отклонения расцениваются как ведущее к нервной болезни (то есть непослушанию) извращение, или симптом уже состоявшегося невроза; дальше берем в руку скальпель — и отсекаем все неподотчетное.

Предосудительные замашки у мужчин: онанизм, частая (без санкции сверху) смена партнерш, эмоциональность секса, нежелание вступать в брак. У женщин отличаются

либо долго сексуально голодавшие, либо глубоко оскорбленные в своем любовном стремлении (не мирившиеся с чисто чувственным подходом к ним партнера), либо запутавшиеся на неясности революционных половых принципов.

То есть, баба должна спокойно (без эротических фантазий) ждать, пока ее не призовет гегемон, — не воображать себе что-там насчет любовных чувств и удовлетворяться каким угодно сношением, — наконец, уяснить

себе, что это и есть революционные половые принципы, которым она (после прохождения базового курса «воспитания женщины») обязана неукоснительно следовать.

Детали половых технологий обсудим чуть позже. А пока пара общих соображений (из вводных разделов книги). Прежде всего,

при правильной, твердой социальной, классовой установке — одна сексуальность, даже самая тяжелая, не создает психоневроза, играя лишь второстепенную роль, служебную в отношении к социальному.

То есть, в трактовке Залкинда, всякая сексуальность есть болезнь — только у некоторых это в пределах допусков, а у других развивается в «тяжелые» формы. Почему болезнь — тоже понятно: раб не должен ничего хотеть — его дело исполнять приказания! Иначе — см. выше про скальпель.

На самом деле, сексуальность тут ничем не особеннее любой другой физиологии. Никакой невротичности в организме как таковом нет — психические срывы проистекают из грубого насилия, когда господа используют чужую органику без оглядки на ее возможности — и тем более на личные мнения должностующих быть бессловесными тварей. Точно так же, типичными болезнями масс являются голод, желание иметь крышу над головой, красиво одеваться, общаться с интересными людьми и не общаться с неинтересными, мечты о творчестве; самая вредная инфекция — сомнения в правоте начальства и жажда быть самим собой. К великому сожалению властей и верно прислуживающих им залкиндов — эти заболевания иногда принимают характер эпидемии, и приходится подавлять бунт — или, в крайнем случае, объявлять его революцией (разумеется, при сохранении командных высот).

На попытки оградить (хотя бы) половую жизнь от начальственных вторжений и помечтать о свободе любви — Залкинд строго заявляет:

... эта формула неправильна. Наша точка зрения может быть лишь революционно-классовой, строго деловой. Если половое проявление содействует *обособлению* человека от класса, уменьшает остроту его научной (т. е. *материалистической*) пытливости, *лишает* его части его производственно-творческой *работоспособности*, необходимой классу, — *понижает* его *боевые качества*, — долой его. Допустима половая жизнь лишь в том ее содержании, которая способствует росту коллективистических чувств, классовой организованности, производственно-творческой, боевой активности, остроте познания.

Не фиг! Нет у вас права сношаться без производственного задания и технологической карты! Перед каждой постелью — извольте сдать зачет

на материалистичность и принести присягу, что боевые качества и работоспособность не пострадают. По хорошему — заниматься сексом надо бы под присмотром квалифицированных рефлексологов, а еще лучше — в психиатрической лечебнице. Только местов пока мало...

Юмор, конечно, грустный — что дают. В качестве минимальной вольности — хоть улыбнуться на «революционные нормы полового поведения»: секс по-революционному — типа заразить врага спидом?

Понятно, что писать кодексы можно не только про секс, но про прием пищи, и про прогулки под луной, и про стрижку ногтей... Там, где люди окончательно обособятся от всяческих классов, они, конечно, будут осваивать культурные навыки работы с органическими и прочими телами — но такие мелочи просто незачем специально упоминать и как-то регулировать: это всего лишь инструменты, а не суть дела. Самое главное — свобода, право быть разумными и признавать разумность других. По счастью, половая (и прочая) любовь даже в уродских классовых формах не признает *никаких* вмешательств — и ей глубоко плевать на «боевые качества»: есть кое-что поважнее производственной необходимости и политики. Люди любили и будут любить, и никакие залкинды им не указ.

Как водится, начало раздела про нормативный секс намекает на нечто вроде марксизма:

Всякая историческая эпоха, всякий общественный класс характеризуются и особым содержанием половых проявлений. Направлению этих половых проявлений класс всегда придавал чрезвычайно серьезное значение, что вполне четко зафиксировано и в этических нормах классового поведения.

Признание историчности полового вопроса — это хорошо. То есть, предполагается, что у людей секс не просто для размножения, как у зверушек, — но и для чего-то еще, что и делает его содержательным. Однако ничего определенного про это содержание так и не сказано — остаются только эмпирически данные исторические формы, которые, якобы, регулирует мораль (хотя по факту регуляцией занимается и право, и религия). Человек у Залкинда сводится к организму — и потому человеческая половая жизнь в этой науке отсутствует; почему люди ведут себя не так, как животные, — да еще мечтают о любви, — никакая рефлексология не объяснит.

Половая жизнь — сложное отражение общественных отношений. Простенькое общественное хозяйство первобытного человечества

имеет и несложную, стихийную, инстинктивную половую жизнь, причем многоженство, многомужество были лишь наиболее удобными, для данного состояния производительных сил, формами построения хозяйственной организации. Наоборот, наша сложнейшая социальная действительность с ее хаотической экономикой, с ее обостреннейшей классово-борьбой, резкими слоевыми расщеплениями общества, имеет напряженную, запутанную половую жизнь, с массой извращений, надломов, усложнений.

Первобытное хозяйство ничуть не проще нынешнего! Даже наоборот, из-за несовершенства технологий многие вещи в те времена были намного запутаннее. Просто это другое — и его нельзя напрямую соотнести с современностью. Миф о стихийности секса — старая буржуазная сказка, от которой давно уже отказались сами буржуи. По факту, стихийности нет и у животных: у них все по видовой программе. Сам по себе половой акт — проще простого; однако вокруг него сложилась человеческая половая культура, зачастую никакого секса вообще не предусматривающая. Но как только заходит разговор об извращениях — предполагается начальственная инстанция, выносящая окончательный вердикт. Имен Залкинд не называет из скромности (чтобы себя чересчур не хвалить) — а также чтобы не компрометировать высшее половое руководство. Но изнасиловать историю — это для истинного гегемона без проблем:

Половым разгулом характеризуется эпоха реакции, наступающая за подавлением революции, и обратно, чрезвычайной половой скромностью отличается хотя бы наш революционно-коммунистический авангард в боевые годы революции, когда вся энергия уходила на напряженное революционное творчество.

Вранье! Вспомните, как Ленин возмущался по поводу разнузданного секса среди партийцев! Ну, или про пуританский кальвинизм в Женеве (образчик жесточайшей реакции).

Очевидно, социальная обстановка, отношения между классами, позиция класса определяют собою и половые проявления людей, при чем содержание половой жизни современного человечества далеко не исчерпывается одними лишь рамками так называемых семейных, брачных отношений. Половая жизнь начинается задолго до брака и в подавляющей части протекает вне брака. Половое в значительной степени сделалось независимым от брака, превратилось как бы в отдельную область социального бытия. Недаром наряду с преступлениями против собственности мы знаем не меньшее количество преступлений полового характера.

Да, разные классы занимаются сексом по-разному. Но они и едят, и пьют по-разному — и много других, не менее заметных различий. Значит, все это формальные признаки не имеют отношения к сути — и муссировать исключительно половую тему не в духе исторического материализма. Различия быта выводятся определяющей характеристики класса — из отношения к общественному производству; стоит пролетарию выбиться в буржуи — его секс от буржуйского не отличается ровно ничем. Другая сторона — очень разное отношение к вопросам пола в рядах одного класса: один буржуй гуляет почем зря — другой требует запретить бордели; один пролетарий грубо насилует свою жену — другой предпочитает напиваться до полной потери эрекции. Залкинд делает вид, что про такие, личностные различия Залкинд ему ничего не известно; его теории бесконечно далеки от собственно человеческого, и все опять сводится к программированию роботов.

Замечательно (достаточно редкое среди советских) признание насчет преимущественно внебрачного характера половой жизни у людей («отдельная область социального бытия» — блеск!). Добавьте сюда разнообразнейшие платонические влюбленности и мечты, эротические фантазии, сублимированное увлечение наготой в искусстве, героизм во имя любви; наконец, вспомните о тысячелетней традиции внебрачных детей... Тогда роль брака и семьи в вопросах пола со страшной силой стремится к нулю; можно показать, что она в точности равна нулю, что брак и семья вообще не для того.

Полезно также вспомнить, что преступление — это всегда правовой акт, а право занимается *только* отношениями собственности! Половые преступления возможны только там, где тело рассматривают не как носитель духа (индивидуальность), воплощение личности, — а как вещь, собственность. Уголовное право — не само по себе: оно лишь уточняет формулировки гражданского, разворачивает зоопарк частных форм.

Экономический хаос эксплуататорского общества вообще отличается бессмысленным размещением человеческой энергии, распылением значительной ее части по паразитически ненужным направлениям, отдавая, между прочим, половому ценнейшие творческие богатства человека, которые при иных, более благоприятных условиях, были бы великолепно использованы для мощного социального строительства.

Что кому нужно — вопрос сложный... Буржуям нужно именно так — а поскольку в классовом обществе господствующий класс представляет общество в целом, то это и общественная необходимость. Оценивать

один класс с позиций другого — логическая ошибка; выстраивание классовой иерархии — тоже «социальное строительство», по-своему (по-буржуйски) целесообразное — а вовсе не «распыление», и не хаос.

... скверно налаженная надстройка (хотя бы та же бытовая надстройка в половой ее части) часто может отражаться грубо тормозящим образом на здоровом развитии самого базиса (т. е. экономики).

Логика снова больна: скверное одним — верное другим. Но интересна нетрадиционная интерпретация исторического материализма: не только бытие определяет сознание — но и наоборот! Поэтому нельзя быть последовательным материалистом не дополняя экономическую теорию материалистической философией духа. Однако дальше рефлексологии Залкинд не идет — и общество понимает только как общественный организм; никакой духовностью тут не пахнет — ни в отношении человечества в целом, ни для отдельных людей.

Половая жизнь современного индустриализированного, цивилизованного человека, вместо выполнения функций размножения, в подавляющей своей части превращается в самодовлеющее удовольствие, при условии максимальной борьбы с последствиями этого удовольствия т. е. с беременностью. Эта борьба с беременностью лишила половое влечение и половое удовлетворение большей части его инстинктивного, стихийного содержания, так как постоянная озабоченность, настороженность («как бы не было беременности») дробит инстинктивность половой жизни.

Фантастический комплект идеологической дикости! Что ни слово — то вранье. Одно из очевидных (бросающихся в глаза даже буржуазным теоретикам) отличий человека от животных как раз и состоит в том, что половая жизнь человека *никогда* не была связана с размножением! Другие физиологические отправления у людей тоже не биология — но это не так заметно. Половая жизнь у человека «лишается своей сезонной ритмики» в самой ранней первобытности, задолго до возникновения городов (или даже деревень); это, скорее, биологическая предпосылка зарождения сознания (шаг к универсальности, преодоление природы) — а не его продукт. Поскольку половая жизнь человека «потеряла большую часть своей непосредственно-биологической обусловленности» — она приобрела иную, общественную определенность: мы используем тело, а не подчиняемся ему, — здесь самая суть, без этого разумных существ вообще нет! То, что буржуазные пошляки (включая Залкинда) сводят к «удовольствиям», — знак освобождения человека от физиологических

потребностей; в классовом обществе эта свобода принимает уродливую форму демонстрации *власти* человека над природой — как одни люди властвуют над другими. Человек *овладевает* телом (своим или чужим) точно так же, как продукты общественного производства становятся частной собственностью. Именно здесь корни притягательности секса. Животное лишено удовольствий — оно лишь следует требованиям метаболизма; у животных — только боль, стресс, возбуждение, страх. Удовольствие — первый признак человеческой свободы; это не для рабов — это прерогатива господ. В этом и суть классового насилия: загнать массы в такие условия, когда им не до удовольствий — только бы выжить как-нибудь! Но именно секс позволяет самым забитым и темным прикоснуться к лучикам свободы — и перерастает в любовь, делает людей людьми. У Залкинда — нет ни духовности, ни личности, ни любви. Нет людей. Нет разума.

Рассуждения про беременность — курам на смех. В начале XX века большинство мужчин смотрели на женщин как на собственность, вещь, предмет удовлетворения потребности; любые последствия — проблема женщины, свидетельство ее неполноценности. Во многом так оно и сто лет спустя. Революционный секс Залкинда — та самая общность жен, от которой Маркс вынужден был открещиваться в *Коммунистическом манифесте*: женские тела новые власти экспроприируют и ставят на службу своим интересам; ни о какой эмансипации не может быть и речи. Женщина — инвентарь, приспособление для производства человеческого мяса; если она вдруг усомнится в этом «стихийном содержании» и начнет задумываться о предотвращении беременности — это бунт, разрушение «инстинктивности половой жизни»: эдак на заводе станок начнет протестовать против производства снарядов и патронов! — чем будем расстреливать «неисправимых»?

Инстинкты — это не у людей. Людям их положено не только «дробить» — но и уничтожать в корне! Наша деятельность направляется только разумом. А нездоровая «озабоченность» и «настороженность» — от неразумности (как самих сношающихся, так и начальства, которое трахает всех, — и общества, которое терпит это скотоложство), от неумения создать условия для здорового отправления гигиенических надобностей (и это касается далеко не только пола).

Половое русло является у современного человека особенно легко используемым путем для переключения в него любого иного сильного органического возбуждения. Так, честолюбие, ненависть, героический

пафос чрезвычайно легко замещаются половым вожделием, которое тем приобретает большую силу, так как получает добавочный заряд от переключенной в него энергии, только что принадлежавшей другому органическому стремлению, другому желанию.

Если бы Залкинд сам понимал, что он тут высказал, — этого бы уже хватило, чтобы вписать имя в историю психологии золотыми буквами. Речь о коренном отличии психологии человека от эмпирионатурализма, от всяческой рефлексологии, нейронауки и психоанализа: культура — вовсе не сублимация половых импульсов, а поведение общественного человека не производно от животной этологии; наоборот, телесные проявления социализация радикально меняет, чтобы они обслуживали не биологические, а общественные процессы, движение духа. Формы органических отправлений — продукт деятельности; в классовом обществе продукт в руках хозяев и хозяйчиков — которые подменяют одно другим, переводят деятельность в безопасное для властей русло. Очень удобно: внушить массам, что все их проблемы от неправильного секса — и лечить не общество, а недовольных обществом психов. Замещение общественных проблем половыми — столь же иллюзорное преодоление социальных трудностей, как наркомания, семейное счастье, юмор или политическая борьба; именно это вытеснение главного в тень животности — исток психических расстройств.

Однако даже заменяя общественное «половым вожделием» — мы не выходим за рамки духовности: человеческое «вожделие» вовсе не то же самое, что половые позывы животных — это поиск секса в доступных культурных формах (хотя эти формы в классовом обществе часто принимают вид полного бескультурья, вырождаются в половое или иное насилие). Невозможно заменить человеческое животным, не превращая человека в животное (и тем самым устраняя и невротические конфликты в психике — это классовая практика «осчастливливания»). Убегание от общественных уродств в болезнь — признак сохранения капли разума, и надежда на излечение. Именно этого и хочет лишить людей Залкинд, с его проектом тотального контроля над сексом, половой диктатуры — отнюдь не пролетариата! И для этого отождествляет человеческие желания с влечениями животных:

Половая жизнь большей части современных людей характеризуется еще резким конфликтом между социальными симпатиями человека и его чувственными половыми влечениями. Чувственно часто тянет не к социально совершенному, а лишь к физически «аппетитному». Мало

того, — если и была социальная симпатия до половой близости, она часто тускнеет после половой связи («любовь начинается идеалом, кончается под одеялом» — грубая, но часто правдивая поговорка).

Когда людям с детства внушают, что они скоты, — им негде учиться человеческой любви, и сексом (как и всем прочим) они занимаются по-скотски. Классовое воспитание намеренно подменяет любовь сексом — потому что любовь будит в человеке личность, делает его свободным. Поскольку секс насильственно отчужден от любви — навязанный извне «опыт» закономерно кончается разочарованием; отличить дурной трах от половой любви промытые пропагандой мозги не в состоянии — поэтому разочарование в животности представляется отказом от любви, и от всякой духовности вообще (которая невозможна без любви).

Экономическая и половая независимость, а вместе с тем и половая смелость современного мужчины, — экономически связанная, подчиненная роль подавляющей части современных женщин породили этот конфликт и продолжают всемерно его обострять.

Типичный трюк эмпирионатурализма (и буржуазной пропаганды в целом): выдрать из картины одну деталь — и объявить второстепенный фактик главным источником бед. Капитализм — это здорово! — только у мужиков почему-то денег больше, и они могут покупать себе дамочек сколько угодно; а дальше все по справедливости: у кого нет денег — тянут все «последствия» (такая, вот компенсация)... Чтобы возник конфликт — надо увязать одно с другим, секс с собственностью; поэтому нет никакой «половой независимости» — только экономика. Откровенно говорить про это залкиндовскому эмпиризму не резон — и в ход пускают обычный набор обывательских пошлостей:

Женщина робко и трепетно ищет в возлюбленном друга, помощника, мужа, — не в силах активно за него бороться, ждет его, мечтает о нем; мужчине нужно удовольствие поострее, поразнообразнее, без обязанностей. У женщины слишком слаба чувственность, у мужчины слишком много чувственности; у женщины слишком много социального содержания в половом (эротизм), у мужчины его слишком мало. Взаимное неудовлетворение, — вечная трагедия.

Другие эмпирики пишут наоборот: женщина, дескать, носитель чувственности — бездна греха, пучина разврата... Соблазняют наивных мужиков — отвлекают от высоких деяний, положенных полноценным членам общества. Типа, выиграть на бирже — спустить в казино; или наоборот. А «социальное содержание» — это от слова «захомутать»,

присвоить; позволит себе главный собственник стать собственностью какой-то бабенки?

Удовлетворение — это про животных. Сунули кусок в зубы, ткнули мордой в корыто с водой — и будьте довольны! А любовь не для того, чтобы удовлетворяться — она чтобы любить! То есть, чувствовать себя человеком — и видеть человека в другом. Некоторым образом, любовь есть вечная неудовлетворенность — ей надо охватить всю вселенную.

Тупо животное удовлетворение — сплошная эфемерность: если сегодня пожрал — завтра опять захочется. По хорошему, рабы вообще есть не должны — пусть удовлетворяются работой на хозяина! Лизать жопу буржую — что может быть эротичнее? Вон, Залкинд в полном восторге... И видит в этом «содержание полового влечения», которое чересчур мечтательные «в корне уродуют»:

Рано рождаясь, отрываясь от сезонов, от инстинкта, от внутренне-биологических предпосылок, раздвоенная, паразитирующая за счет других областей, половая жизнь благодаря этому пестрому и далеко не укрепляющему сочетанию, теряет в своей внутренней силе. Слишком много биологической стихийности отнято у него, и слишком много побочного, второстепенного приобрело оно по пути, чтобы окрепнуть качественно, — и потому количественно растущее половое возбуждение отличается качественно меньшей силой каждого отдельного полового желания. Чем больше половых желаний, тем меньше насыщает, удовлетворяет каждое из них. Несытость же порождает новый материал для возбуждения, т. е. и новую несытость — заколдованный круг.

Короче: не лезьте в человеки! Вам положено спариваться по команде ветеринара-рефлексолога, который пропишет правильную сезонность — и бдительно оградит от всех «других областей». Не ваше скотское дело отличать главное от второстепенного! — вы игра барского произвола (который вам должен казаться биологической стихийностью). Насчет сытости — начальству виднее: сколько положено — столько и дадут.

Разум — это преодоление стихий, освобождение от животности. Включая половое поведение. У животных — нет секса; это чисто человеческое изобретение: физиология превращается в деятельность. Какое ни на есть одухотворение природы. Нет других вариантов — и это сгодится. чтобы не на цепи сидеть. Но историческая направленность — универсальное освоение мира; для этого и нужно всемерно расширять рамки половой жизни, приносить в нее новые элементы, — так чтобы «внутренне-биологические предпосылки» стали третьестепенными, а

потом и вовсе растворились в значительно более емком, общественном содержании. Человек не подчиняется времени — он делает время. Для человека нет никаких норм — он сам себе нормален. Любить можно вообще без секса (и это тоже половая жизнь!); секс возможен в качестве игры, развлечения, — ничего зазорного здесь нет. Плохо, когда секс утрачивает духовность, становится бессодержательным, вырождается в половой акт сам по себе. Это не чувственность, это копуляция. Скотство. А человеку нужен дух, глоток свободы. Придуманная американцами «сексотерапия» (и вообще, телесно ориентированная терапия) — вздор, отрывка капитализма. Мы дух воплощаем в органике — а не выводим из нее. Можно ублажить плоть — останется духовный голод.

Но Залкинда снова достает из широких штанин «революционную целесообразность» — которая «является и наилучшей биологической целесообразностью, наибольшим биологическим благом». Для него это «биологическое орудие для продолжения себя, своей борьбы в истории», «орудие производства здорового, сильного классового потомства».

Спрашивается: на фига человеку биологическая целесообразность? Он вовсе не биологическое существо — и ему, по большому счету, до фени любая целесообразность вообще — у него есть разум! Мы не роботы, и не зверушки, чтобы действовать по необходимости. А разумность иной раз очень далека от утилитарности. Бесклассовому обществу не нужно «классовое потомство»; если же мы собираемся продолжать только себя и свою борьбу — то лучше не надо!

... половое может интересовать класс, как часть жизни организма, как часть органической энергии, которая есть в то же время *часть всей классовой энергии* в целом — и потому для класса небезразлично, насколько продуктивно, в смысле революционно-классовых интересов, растрачивается эта энергия, и как это отражается на прочих областях социального и биологического бытия человека.

Разумному человеку без разницы, чем и как интересуется класс. Мы люди — и тратить себя мы будем по своему разумению. Революция — всего лишь разрушение; а нам хочется еще и созидания, чтобы наладить духовное производство, общение, любовь (в том числе половую). Наша энергия — не ваша собственность; она для разумного человечества, а не для класса. Замещение органического неорганическим — завет Карла Маркса; так зачем упираться в воспроизводство белковых тел? Если вы такие умные — сделайте себе генератор на других принципах, и оставьте наши тела в покое!

Далее, класс не безразлично относится к половому, как материалу для *субъективного удовлетворения*, как к источнику известного удовольствия, радости. Класс учитывает эту радость в общей сумме всех радостей своих сочленов, учитывает степень ее полезного и вредного значения и нормирует ее использование по пути наибольшей целесообразности для революции.

Снова пресловутая общность жен... Выдавать только «сочленам» по продуктовым карточкам: буханка хлеба, фунт масла, бутылка горилки, два часа секса... Это уже не «удовольствие», а «вознаграждение»; то есть, опять в рынок: ты «классу» — «класс» тебе... Назови буржуя каким угодно классом — суть одна.

Однако, половая жизнь — это ведь не только чисто физическая связь между организмами различных полов. В половых переживаниях человека имеется много элементов *социальной симпатии и антипатии*, — живых, даже подчас очень горячих *отношений между людьми*: ревность, ненависть, половое соревнование, половой соблазн, обожание, — все эти чувствования, создаваемые в процессе развития половых переживаний, вносят новое, иногда очень дезорганизирующее, содержание в отношения внутри одного и того же класса, дробя его стойкость, нецелесообразно отвлекая часть его сил от боевого и производственного пути в русло половых исканий, зачастую даже грубо вразрез с боевыми интересами класса. Тем самым, половое не безразлично для класса и с точки зрения *здоровой организации внутриклассовых связей*, внутриклассовых отношений.

Половая жизнь — у людей, а не у «организмов различных полов» (типа: мужской, женский — и какой-то еще?). А людям без симпатий никак! Мы же не чурки бездуховные. Чем разнообразней — тем человечней. Это вовсе не дезорганизация — это воспроизводство духа! — и надо не давить в зародыше, а создавать условия для творчества, для общения, для *любви* (в том числе и половой). Свои внутриклассовые дела вы можете улаживать как угодно — но лично нам (даже при чисто пролетарском происхождении) совершенно неинтересно мнение вашего начальника (и состоящего у него на службе врача) по поводу «здоровой организации».

Но Залкинд жаждет крови — ему надо из кого-то высасывать «энергию». Своего либидо не хватает — поживиться чужим. Вот он, манифест половой диктатуры:

Следовательно, пролетариат имеет все основания для того, чтобы вмешаться в хаотическое развертывание половой жизни современного

человека. Находясь сейчас в стадии героической нищеты, рабочий класс должен быть чрезвычайно расчетлив в использовании своей энергии, должен быть бережлив, даже скуп, если дело касается сберегания сил во имя увеличения боевого фонда. Поэтому он не будет разрешать себе ту безудержную утечку энергетического богатства, которая характеризует половую жизнь современного буржуазного общества, с его ранней возбужденностью и разнузданностью половых проявлений, с его раздроблением, распылением полового чувства, с его ненасытной раздражительностью и возбужденной слабостью, с его бешеным метанием между эротикой и чувственностью, с его грубым вмешательством половых отношений в интимные внутриклассовые связи. Пролетариат заменяет хаос организацией в области экономики, элементы планомерной целесообразной организации внесет он и в современный половой хаос.

Заметьте: вмешиваться «пролетариат» будет не только среди своих — но и в кровати каждого «современного человека»! И «половой хаос» истреблять везде и всюду.

Что получится, если человеку все подряд запрещать, не предлагая альтернатив? Правильно, невроз! Сам не помрешь — врачи помогут...

Ну и дальше про «революционно-целесообразную организацию радостей», случка по свистку и по секундомеру, психоветеринар для подбора пар, производство потомства в традициях классовой евгеники (чтобы от быдла барин не родился!)...

Отсюда: все те элементы половой жизни, которые вредят созданию здоровой революционной смены, которые грабят классовую энергетику, гноят классовые радости, портят внутриклассовые отношения, должны быть беспощадно отмечены из классового обихода...

Кто определяет здоровье? Почему смену надо создавать только через пол? Почему классовая энергетика (что бы под этим ни понимать) не может питаться еще чем-то? Почему в жизни должны быть только радости? Почему только внутриклассовые отношения, а не отношения между людьми? И как отметить? — вместе с жизнью? — в распыл?

Но это только у нас сплошные вопросы. Медицинская полиция (или полицейская медицина?) сразу ставит всех на рога и подходит к делу наифундаментальнейшим образом:

Все приведенные выше соображения не осуществимы без рациональной *общефизиологической организации*. Ведь мы монисты, мы знаем, что в мышлении участвует все тело, а не один только мозг. Тренировать наши умственные процессы без общетелесной тренировки и прочности — собирать воду в решете.

Понятно, что решать по поводу рациональности будут все те же медико-классовые инстанции. Это разумному человеку достаточно поддержания общего тонуса — и прокачивать тело и мозги по мере необходимости, под конкретную задачу, а не вообще. Нет! — классовая рефлексология требует единообразия и шаблонности, не взирая на органические (а тем более личностные) предпочтения.

Дело не только в механическом поддержании биохимического баланса (пищевые возмещения), но и в *построении наиболее коротких и продуктивных путей для всех физиологических процессов, в осуществлении наилучшего общефизиологического автоматизма* наиболее гибких и в то же время прочных телесных ритмов.

О том, что автоматизмы полезны лишь в контексте определенной деятельности, Залкинд, скорее всего, знает; но его задача как раз в том, чтобы ограничить круг доступных массам деятельностей — плодить говорящие орудия и пушечное мясо. Чисто армейский принцип: буква устава — для всех одна.

Автоматизмы организма представляют собой четко действующий аппарат, вовремя предупреждающий о грозящей беде, — тормозящий, если нужно, ту или иную функцию, возбуждающий другую.

Вот с этим разум, по идее, и должен бороться: тело работает по программе, занимается своими делами, и до надобностей человека ему дела нет; общественная жизнь бесконечно разнообразна — значит, надо учиться быстро блокировать телесные автоматизмы и перенаправлять органику в другое русло. Что считать бедой — это мы решим, и нам не надо, чтобы организм не вовремя что-то тормозил. Казарменный режим по Залкинду (сон по команде, еда и туалет по расписанию, дышать под барабан и т. д.) — значит, стать рабом организма (и через это — чьим-то еще рабом); по разуму — надо наоборот: организовать деятельность так, чтобы она не зависела от прихотей физиологии — и учиться сознательно заставлять тело делать то, чего оно физиологически не умеет (при необходимости оснащая его неорганическими компонентами).

Биологический ритм, биологический автоматизм (конечно, не механический автоматизм, а диалектический автоматизм, учитывающий без помощи сознания все требования среды и формирующий нужные для них реакции) — основа всего нашего телесного благополучия, т. е. и основа нашей творческой, мыслительной продуктивности.

Свертывание деятельностей в действия, а действий в операции, — это не передача полномочий субъекта ни безмозглой плоти, ни мозгам. При

всей кажущейся машинальности, у человека любая операция может быть развернута в полномасштабную деятельность — выведена за рамки автоматизма и модифицирована в соответствии с новыми культурными условиями. Свертывание и развертывание деятельности — всецело общественный механизм, и без помощи сознания тут никак не обойтись. Это отнюдь не одноразовое мероприятие, а регулярно возобновляемое воспроизводство. Застой в каком-то из обращений иерархии говорит о нездоровых общественных условиях, ограничивающих личность и приводящих к ее деградации.

В качестве перехода к уставу половой службы, забавная тирада по поводу курения:

... вредность его не только в химическом отравлении крови и сосудов, но и в наличии искусственного возбуждения, без которого, в дальнейшем, мозговой аппарат отказывается работать, становится как бы импотентным. Чем это не «никотинный онанизм», аналогичный половому онанизму, при котором естественное возбуждение и удовлетворение заменяются искусственными?

Почему половые диктаторы против онанизма? Ни одного разумного аргумента. В практике американской секс-терапии задокументирован случай, когда человек до 82 лет занимался онанизмом — и это помогало ему сохранять бодрость и уравновешенность, вести полноценную жизнь. Вероятно, это не предел. Если это не мешает окружающим — зачем запрещать? На уровне классовой борьбы — ответ очевиден: онанизм плохо поддается начальственному контролю — это лазейка из клетки, намек на возможность свободы. Раз не удастся отнять — надо запугать, затравить, загнать в невроз.

Если исходить из наличных возможностей человеческой органики, риск превращения онанизма в наркотик значительно ниже, чем у химии (включая никотин), производственного и бытового единообразия, религии — или классовой борьбы. Вспомним свидетельства того же Залкинда о жестокой ломке парткадров при переходе к нэпу.

Но вот, наконец, и обещанный разговор на пикантные темы. Якобы исторический якобы материализм плавно перетекает в религию:

Организованная, плодотворная умственная жизнь требует максимальной скромности в области половых проявлений. Возражения, указывающие, что половое воздержание — еще не гарантирует творчества, а большая половая активность, наоборот, не мешает, даже содействует творчеству — не выдерживает научной и практической критики.

Не выдерживает критики и призыв к воздержанию! Плодотворность в любой области — вопрос не к телам, а к организации общественного производства, которая при той же органике предоставляет людям разные возможности участия и творчества. Половая жизнь у человека — лишь одна из деятельностей; как она будет взаимодействовать с другими — зависит от субъективных предпочтений, от строения *личности* (а такого слова Залкинд не знает). Здесь нет никаких количественных критериев: вопрос об *уместности*!

Конечно, одним половым воздержанием не создашь творчества (иначе все аскеты были бы гениальными людьми).

От этой печки и надо плясать! Для творчества физиология — дело десятое, вопрос — как ее использовать разумно, индивидуально.

Половая скромность ценна лишь при наличии прочих способствующих творчеству условий, о которых много говорилось выше: правильная жизненная установка, живая связь с людьми, общая и специальная организованность, радостные перспективы, многообразная деятельность, т. е. как раз то, чего наша революционная молодежь сейчас не лишена.

Почему эти «прочие условия» не могут столь же замечательно ужиться с половой нескромностью? Даже наоборот: и связь с людьми живее, и перспективы радостнее, и деятельность многообразней (если, конечно, не превращать секс в наркоту). Тем более, что в классовом обществе (включая социалистическое) люди всего этого как правило лишены! — нет у них свободы творчества, и порой преувеличенная сексуальность оказывается лишь (невротической) реакцией на классовые рогатки. Так зачем громоздить новые запреты? Потому что с точки зрения начальства такая жизненная установка — неправильна: покомандовать не дают...

Дело не в самодовлеющей сублимации, а в переключении излишней половой активности на общественную активность, для которой наша советская современность дает вполне достаточные стимулы, чтобы *не чувствовать творческой несытости* (последняя и является основным источником излишней сексуальности).

Насчет творческой несытости — верно: когда человек не может жить по-человечески, он оскотинивается и впадает в болезни — или убегает в наркотики. Но судить об излишествах будет не начальство — и никаким указом невозможно «переключить» одну активность на другую: нужно создавать материальные и духовные условия, дать людям возможность свободно решать, чем и сколько заниматься. Когда перед человеком

миллионы путей — с чего ему увлекаться только вопросами пола? Если же в перспективе только отработка по должности да репродуктивная принудиловка — куда податься?

Указания, что половое разнообразие и большая половая активность помогает творчеству, грубо противоречат жизненным фактам и научным данным. Во-первых, неизвестно как творил бы этот «сексуалист», если бы он жил скромнее в половом отношении (внимательно поставленные контрольные опыты твердо говорят о *положительном* значении этой скромности), — во-вторых, все дело, конечно, в основной профессии.

Врет и не краснеет! Никто и никогда эти «внимательные опыты» не ставил — и не мог поставить в условиях классового общества (от которого ни на микрон не ушел советский «социализм»). С другой стороны, полагать, что какие-то отрасли производства требуют большей сексуальности по сравнению с другими, — филистерская вульгарность.

Порнографическим художникам, поэтам любовной каши, авантюристам — для искусственного подхлестывания добавочные половые впечатления, пожалуй, полезны, но не такова, ведь, «профессия» революционного пролетарского студенчества.

Классика: образцово-показательный мещанин. Залкинд явно метит в архетипы — вслед за разрекламированным выше вождем. Об этом мы и собираемся поговорить — оставляя за собой право недоумевать, почему любую обнаженку некоторые господа склонны обзывать порнографией: чаще всего это вообще вне искусства — это всего лишь бизнес, ничем не хуже психиатрии и прочей рефлексологии. Глупо считать, что актер на сцене играет себя — что поп в церкви истинно верует — что порнозвезда (или дама из борделя) не имитирует страсть, а переживает один оргазм за другим. Конечно, в силу универсальности духовного производства, любая деятельность может стать искусством (наукой, философией). Вон, психиатр Залкинд заделался в обличители и пророки! Так почему не поднять порно до уровня высочайшей художественности?

Гнилой завет

Составлять заветы и кодексы — одно из древнейших классовых хобби. Законы Хаммурапи и Моисея, закон двенадцати таблиц — потом законы Ману, новый завет... Теперь, вот, есть двенадцать заповедей половой жизни от Залкинда, и моральный кодекс строителя коммунизма.

Усматривая у Ленина мессианские амбиции, Залкинд принимает позу микромессии — захватывая слабо окученную вождем нишу: Ленин из принципа не высказывался на половые темы публично — а письма и мемуары еще в печать не пошли. Заявка очень серьезная: по сути, Залкинд как бы назначает себя главным провозвестником полового ленинизма — и, заметим, конкурентов у него не было вплоть до «перестройки».⁵² Высказывались на темы полового воспитания — но лишь бледным подобием, иносказаниями и намеками, следуя уже проложенным курсом.⁵³ Залкинд смело вводит половую жизнь в чисто буржуазные формы — буквально переписывая западных авторов под видом якобы пролетарских нравов; половой кодекс призван служить основой на только морали, но и права, — а также стать господствующей религией. Следуя принципу отрицания собственно психологического в пользу голый органики и рефлексологии, Залкинд тщательно истребляет в человеке личность — и не допускает ни малейшей возможности действовать (и воспитывать себя) без директив партийно-медицинского руководства: только прямое воздействие «общества» на организм. Такая конструкция не оставляет места для любви как духовного отношения личностей; слово лишь изредка употребляется — в ругательном смысле, как название болезни (ну, или как синоним секса).

Тем, кто интересуется прежде всего любовью и хочет разумно строить мир и себя, большого проку от залкиндовских заповедей нет. Здесь мы устраиваем смотр из эстетических и логических соображений (тяга к завершенности и полноте, потребность формально закрыть тему). Разбор по пунктам ничего не добавляет к уже сказанному — но пусть будет, для комплекта. Итак:

1. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни

С самого начала махровая метафизика: предполагается, что все люди одинаковы, и развиваются одинаково во все времена. Индивидуальности нет и не предполагается. Типично классовая черта: определять сроки и

⁵² Основной позднесоветский авторитет И. С. Кон в открытую морализаторством не занимался, предпочитая изображать научную бес(при)страстность.

⁵³ Принято противопоставлять А. С. Макаренко советской директивной педагогике (во главе с Н. К. Крупской), совершенно идентичной «классовому» подходу Залкинды. Однако по части пола никаких различий между школами усмотреть невозможно: все те же запреты, жесткая централизованная регламентация, обязательность брака, примат семейного воспитания, закабаление женщин и собственническое отношение к детям.

этапы уполномочены лишь специальные учреждения; они же решают, что называется половой жизнью, — старательно вымарывая из понятия собственно человеческое содержание, половую любовь.

Ребенок делается рано эротичным потому, что из трех основных областей его бытия (социальные устремления, общебиологические и половые) первые две, в бессмысленных условиях современного воспитания, не получают для себя должной пищи, и *голодающая активность ребенка направляется по третьему руслу*, наиболее простому, доступному и приятному, по руслу полового удовольствия.

Лишает человека возможности общественно проявить себя или скольконибудь человеческих условий жизни не воспитание, а экономический строй (включая право, религию, мораль). Предлагая устанавливать все новые запреты — Залкинд способствует сужению круга возможностей и перенаправлению активности в наркоту. С другой стороны, у буржуев могут быть все возможности для творчества и бытовой комфорт — но свихнувшихся на сексе предостаточно; значит, дело в другом — про что Залкинд не знает (или утаивает).

У организма удовольствий нет — у него только физиологические отправления. Когда ребенок исследует свое (или чужое) тело — вопросы пола его вообще не интересуют; эротическую окраску это приобретает лишь в ответ на неадекватные реакции взрослых, заостряющие внимание на половых отправлениях и выделяющую (подобно Залкинду) сферу пола из общебиологических явлений в особое производство. Само по себе раздражение половых органов вовсе не всегда будет приятным — здесь есть и болезненные ощущения, и грязь, и психологические неудобства; буржуазная культура навязывает вульгарные представления об эротике — по образу и подобию классовой вертикали, увязывая удовольствие с обладанием и властью.

... если не давать широкого и творческого простора детской любознательности, детским товарищеским чувствам, ребячьей любви к приключениям, — если связать детей драконовскими, нелепыми нормами взрослых интересов, куда еще деваться детскому интересу, *кроме собственного тела ребенка?* Начинается полоса раннего детского аутоэротизма, ранний онанизм, ранняя половая любознательность и половая жадность, ранняя влюбчивость. Весь этот преждевременный половой материал, как паук, паразитически похищает бездну той энергии, которая при благоприятных условиях ушла бы на творческий и физический детский рост, на развитие общественной, научной, трудовой активности ребенка.

Начало за здравие — конец за упокой. Если человеку запретить все человеческое, отнять у него творчество и любовь, — тело становится щитом против насилия, убежищем для остатков духовности. Но кто дал залкиндам право устанавливать сроки? Тут у каждого свое — и важно не отвлекать, а окультурить, дать возможность, а не запрещать. Почему сексуальность всегда «паразит»? Это тоже и общественная активность, и труд: если половая жизнь разумна, она ничем не ниже науки и всего прочего. Навязывая отвлекающие от пола деятельности — только неумеренно привлекают к нему; замалчивая культуру пола, плодят половое бескультурье, безграмотность, уродство. А Залкинд предлагает детишкам играть в «коммунизм» — что может быть глупее?

Коммунистическое детское движение, захватывая с ранних лет в свое русло все детские интересы, приковывает к себе все детское внимание и не дает возможности появиться паразитирующему пауку раннего полового возбуждения. Тут и физиологическая тренировка, и боевая закалка, и яркая классовая идеология, и раннее, равное товарищеское общение разных полов, — преждевременному половому развитию вырасти при таких условиях не на чем.

То есть, если всем ходить строем, и не продохнуть от классовой обязательности, — про секс думать некогда... Чушь! Духовное насилие будит стремление к свободе — и «товарищеское общение разных полов» быстренько превратится с столь же товарищеский секс; даже если следить за каждым шагом — будут трахаться на камеру, назло! Бездуховность официального воспитания не делает «активистов» — она плодит лицемеров или истериков. Только то, что вызрело изнутри, без внешних «движений», способно одухотворить и половую жизнь — и сделать сознательным участием в жизни общественной.

II. Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости

Свои же рассуждения об уничтожении семьи (когда экономически дорастем) — коту под хвост. Хозяева спаривают скотину когда считают ее достаточно спелой — загоняют самца и самку в общую клетку, заставляют рожать и растить потомство — до отселения в другие клетки. Для оправдания — беззастенчивая брехня:

Нет никаких научных оснований предполагать, что до 20–22 лет половое воздержание может оказаться в каком-либо отношении вредным.

Нет никаких оснований полагать, что невоздержание чему-то вредит! Подлая наука замалчивает факты психологического надлома и развития

неврозов из-за дурных запретов и половой безграмотности; разумеется, страдает не тело — страдает личность (которой, по Залкинду, у рабов быть не положено).

В животном царстве начало активной половой жизни совпадает с полной способностью прокармливания семьи.

Гнусная ложь! В животном царстве нет семей! Животные могут запросто бросить детеныша, подкинуть другим особям (даже другого вида) — а то и попросту сожрать. Но какое дело человеку до животных обычаев? Он может устраивать свою жизнь неприродными способами — и вообще отказаться от деторождения, собирать тела на конвейере. А секс оставить для других надобностей.

Так как подобная способность в современных социальных условиях созревает у человека приблизительно к указанному выше возрасту, нет ни биологических, ни социальных оснований для более раннего начала половой жизни.

Ага, паспорт сам собой созревает для простановки штампа! Человек не созревает — его учат и воспитывают. В разумном обществе — он учится и воспитывается сам. Классовые порядки — навязывают силой: ни в каких иных оснований кроме барского произвола власти не нуждаются.

Человек не животное — и не надо сводить секс к размножению (тем более к экономике семьи); с другой стороны, там, где человеку вообще не нужно никого содержать (поскольку всех, не взирая на пол и возраст, содержит общество в целом) — все равно, когда заниматься сексом: важно научить делать это грамотно и безопасно, с учетом возможностей органики — и уж никак не ради секса как такового.

Здесь мы имеем дело с ранним изуродованием человеческого организма, и с этим уродованием надо вести беспощадную борьбу.

Уродование — когда все по разнарядке (то есть, для коммерции!), а не по личной потребности и по индивидуальной склонности. И еще подлее, когда уродуют не организм, а дух.

Во-первых, не надо допускать раннего появления полового влечения; во-вторых, надо, если оно уже появилось, всячески *нормализировать, организовать его*.

То есть, подчинить коллективу, а не личности, — кастрировать дух, убить в человеке человека. Нужна возможность приобщения к культуре секса, а не запреты. Нормализация — это по расписанию и секундомеру? Организовать — значит, не по любви, а по команде.

Психофизиология половой жизни знает два выхода для невыявленного полового возбуждения: 1) так называемые поллюции, когда избыток полового химизма естественно находит себе путь наружу во сне; 2) так называемую *сублимацию*, когда половое возбуждение, не нашедшее себе выхода вовне, идет на питание и подталкивание мозговых процессов, на творческие устремления.

Все вперемешку! Поллюции — это вообще не половая жизнь, это чистая физиология; сублимация — извращенная форма полового акта (против фрейдизма сам же возражал); творческие устремления — никаким боком с половым возбуждением не связаны, хотя разные деятельности могут интерферировать — но именно как деятельности, а не тупая органика.

Неиспользованное половое возбуждение может быть направлено на добавочное возбуждение мозговой активности. Недаром ряд творческих изобретений, целая серия научных и художественных произведений, проявления наилучшего социального героизма рождаются в периоды полового воздержания.

Вздор, филистерские сказки! Сотни примеров, когда секс помогал создавать шедевры (возьмите, например, Мюссе с его бурным романом и многочисленными «утешительницами»); великий поэт Поль Элюар — певец вдохновенной эротики — и убежденный коммунист, никогда не изменявший своим убеждениям. Более того, кто не умеет любить — никогда не создаст ничего общественно значимого; другое дело, что любовь — далеко не всегда секс, и даже человеческий секс (в отличие от половой физиологии) невозможен без любви.

А что же вредного, скажут нам, в половой активности до брака?

Очень правильный вопрос! Ничто не бывает вредным само по себе — вредность создает общество, заставляя совершать по-уродски то, что вполне возможно по-человечески. От наличия штампа в паспорте секс ни в малейшей степени не зависит; брак — чисто классовое изобретение, способ закабалить людей, вынудить их работать на хозяина. По уму, половая активность не только может, но и должна начинаться рано — чтобы физиологическая зрелость приходила на уже подготовленную культурную основу. Создать условия для такого воспитания обязано сколько-нибудь разумное человечество.

Вредно то, что подобная половая активность не организована, связана со случайным половым объектом, не регулируется прочной симпатией между партнерами, подвержена самым поверхностным возбуждениям... Подобное, хаотическим образом развившееся, половое содержание никогда не ограничивается узкой сферой чисто полового

бытия, но нагло вторгается и во все прочие области человеческого творчества, безнаказанно их обкрадывая. Допустимо ли это с точки зрения революционной целесообразности?

Не путайте половой акт с половой жизнью! Физиология и человеческие отношения — большая разница; революционная целесообразность — это еще не все, что человеку нужно (а по факту и вредно). Не хотите хаоса — организуйте половую жизнь у детей, введите их плавно в *человеческую* культуру, научите использовать для творчества! Для этого даже «объект» поначалу не требуется. А запреты, наоборот, превращают людей в животных, уничтожают возможность, а затем и способность творчества — безнаказанно обкрадывая и человека, и человечество.

«Прочная симпатия между партнерами» — эвфемизм для любви (Залкинд смертельно боится этого слова); учите любить с младенчества, позвольте людям любить, — и вопроса о своевременности половой любви вообще не будет, и никакие официальные разрешения не нужны.

III. Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви

Пардон, а почему любовь должна завершаться? Почему бы ей не быть всегда, свершаться вечно? И пусть это будет не любовь к объекту, а любовь к субъекту, к личности — а никак не к организму, не к телу. Наконец, зачем кого-то к кому-то привязывать? Если нет свободы — получится как в приведенной выше поговорке: любовь кончается под одеялом.

Чисто физическое половое влечение недопустимо с революционно-пролетарской точки зрения.

Маразм! Объясните члену, что стояк неуместен! — он все равно не поймет, и про допустимость не думает (не умеет). Это же не человек — это всего лишь органика; как ее использовать — дело личное (то есть, общественное, культурное).

Человек тем и отличается от прочих животных, что все его физиологические функции пронизаны психическим, т. е. социальным содержанием.

Не путайте божий дар с яичницей! Психика есть и у животных; половая жизнь — только у людей, и она меняет как психику, так и физиологию.

Половое влечение к классово-враждебному, морально-противному, бесчестному объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, к орангутангу.

Опять путаница! Стояк может быть и на крокодила — но полового влечения тут еще нет; и наоборот, человеческое влечение возможно к кому угодно (даже без стояка) — любовь не признает классовых границ!

Половое влечение правильно развивающегося культурного человека впитывает в себя массу ценных элементов из окружающей общественной жизни и становится от них неотрывным. Если тянет к половой связи, это должно значить, что объект полового тяготения привлекает и другими сторонами своего существа, а не только шириною своих плеч или бедер.

Все на ушах! Если хочется секса — это именно телесно, а не «сторонами существа»! Иначе речь не о сексе, а о других желаниях (например, о приданом или возможности встать в очередь на квартиру). Но секс — не половая жизнь вообще, это лишь одно из ее выражений, не обязательное для любви; другое дело, что хороший (вдохновенный) секс бывает лишь там, где люди нравятся друг другу по-человечески.

На самом деле, что произошло бы, если бы половым партнером оказался бы классово-идейно глубоко чуждый человек?

Действительно, что тут ужасного?

Во-первых, это, конечно, была бы неорганизованная, внебрачная связь, обусловленная поверхностным чувственно-половым возбуждением (в брак вступают лишь люди, ориентирующиеся на долгую совместную жизнь, т. е. люди, считающие себя соответствующими друг другу во всех отношениях);

Опаньки! При чем тут брак? Почему это единственно возможная форма «организации»? Опять же, почему все должно быть метафизически долго? — можно, ведь, ориентироваться и как-то иначе... Ну а насчет полностью просчитанного брачного союза — это буржуйские сказки, отрыжка рынка.

во-вторых, это было бы половое влечение в наиболее грубой его форме, не умеряемое чувством симпатии, нежности, ничем социальным не регулируемое: такое влечение всколыхнуло бы самые низменные стороны человеческой психики, дало бы им полный простор;

Кто вам это сказал? Нежные чувства к классовому врагу — дело житейское со времен античности и раньше (почитайте про Антигону). Социальное регулирование тут только вредит: оно уродует проявления любви, заставляет прятать ее за классовыми условностями, — а иногда убивает за любовь. А уж что считать низменным — это не партийная разнарядка; решает личность, любовь, свобода.

в-третьих, ребенок, который мог бы все же появиться, несмотря на все предупредительные меры, — имел бы глубоко чуждых друг другу родителей, и сам оказался бы разделенным, расколотым душевно с ранних лет;

Смешай, господи, хлеб и землю! При чем здесь дети? Вопрос чисто конкретный — про любовь. Есть у нас «всесторонняя симпатия» — вперед и с песнями. Если недоразвитое общество не способно отнестись к детям по-человечески и дать им (как всем!) достойное содержание — это проблема общества, а не любовников; хотя, конечно, разумные люди позаботятся о контрацепции. Но как бы то ни было, в *любой* семье ребенок будет «расколотым» — это проекция классовых противоречий на семью, которая никуда не денется, пока мы не решимся истребить семейственность как таковую.

в-четвертых, эта связь отвлекла бы от творческой работы, так как, построенная на чисто чувственном вожделинии, она зависела бы от случайных причин, от мелких колебаний в настроениях партнеров и, удовлетворяя без всяких творческих усилий, она в значительной степени обесценивала бы и самое значение творческого усилия, — она *отняла бы у творчества один из крупных его возбудителей*, — не говоря уже о том, что большая частота половых актов в такой связи, не умеряемой моральными мотивами, в крупной степени истощила бы и ту мозговую энергию, которая должна бы идти на общественное, научное и прочее творчество.

Ничего не стоит творчество, которое возбуждается физиологией! Творчество — вопрос одухотворения, преобразования мира в целом; это общественная необходимость, суть разума. Если секс кого-то отвлекает от творчества — такому творчеству грош цена, и занимается этим коммерсант, а не творец! Польза от секса однозначно есть, поскольку он позволяет отвлечься от *работы* — вырваться из рутины и побудить дух заняться творчеством.

Почему частоту половых актов надо регулировать не по любви, а «моральными мотивами»? Кому нравится — пусть занимаются хоть десять раз на день! Никто им не указ — а мозговая энергия (по опыту многих и многих) от секса может заметно прибывать, и это вполне объяснимо даже на физиологическом уровне: оргазм перенаправляет энергию с периферии тела в мозг (у кого он в наличии, разумеется).

И снова: почему делать патроны или кандалы — общественное творчество, а заниматься сексом (по любви!) — вне общества? Самое главное (для чего вообще и нужна всякая экономика) — человеческие

отношения между людьми, духовный рост всех и каждого. Нет для этого иных способов кроме любви! Когда люди любят — у них вообще не бывает «случайных причин», и от «мелких колебаний в настроениях» только польза — разнообразие оттенков и нюансов. Строить любовь — это не шашкой махать (хотя одно с другим вполне сочетается). Кого хотим — того и любим, и не только в половом отношении.

Подобному половому поведению, конечно, не по пути с революционной целесообразностью.

Ну и срать на вашу целесообразность! У любви свои порядки, и нет для нее ни законов, ни догм. Утилитарное отношение к человеку — источник неврозов: попользовались и выбросили — тогда на фига все?

IV. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих

Чем он у них будет — они решат без начальственных распоряжений: сами, по-своему, по любви. Иначе они не любящие — а «связанные», по рукам и ногам: послушные рабы, скот. Пусть любят и сложно, и просто, глубоко и высоко, конечно и бесконечно... Лишь бы любили.

К половому акту должно «не просто тянуть»: преддверием к нему должно быть обострившееся чувство всесторонней близости, глубокой идейной, моральной спайки, — сложного глубокого взаимного пропитывания, *физиологическим завершением которого лишь и может явиться половой акт. Социальное, классовое впереди животного, а не наоборот.*

Вот, как можно зарпортоваться до такой степени? Сначала поставить биологию наравне с общественным и допустить «физиологическое завершение» принципиально небологических процессов — а потом утверждать, что социальное впереди животного? Конечно, классовое — это тоже животность; и потому классовое общество лишь предыстория разума. Если же говорить о социальном, то половая связь *вообще не обсуждается* — а речь только о *свободе* людей заниматься тем, что они (а не их начальники) считают нужным и разумным.

Наличность этой социальной, моральной, психологической предпосылки полового акта повлечет к ценнейшим результатам: во-первых, половой акт сделается бы значительно более редким, что, с одной стороны, повысило бы его содержательность, радостное насыщение, им даваемое, — с другой стороны, оказалось бы крупной экономией в общем химизме, оставив на долю творчества значительную часть

неизрасходованной энергии; во-вторых, подобные половые акты не разъединяли бы, как это обычно бывает при частом чувственном сближении, вплоть до отвращения друг к другу, а сближали бы еще глубже, еще крепче; в-третьих, подобный половой акт не противопоставлял бы себя творческому процессу, а вполне гармонически уживался бы рядом с ним, питаясь им и его же питая добавочной радостью (между тем, как голо-чувственный половой акт обвооруживает и самое творческое настроение, изымая из субъективного фонда творчества почти весь эмоциональный его материал, почти всю его «страсть», на довольно долгий срок опустошая, обесплодив «творческую фантазию»; это относится, как видим, уже не только к химизму творчества, но и к его механике).

Логика уничтожена как класс. Противно. Каждый пункт — гнусная ложь, клевета на разумное человечество. Искусственное оттягивание акта — это из тантрических практик, религиозный ритуал. Если по указке сверху — тогда классовое насилие, использование секса как морковки перед мордой — рыночное вознаграждение. Сначала людям запрещают творчество — потом запрещают секс, дабы сэкономить энергию для творчества. Сближает людей не половой акт, а любовь; от секса это никак не зависит. Кто способен на «голо-чувственный половой акт» — тот заведомо не способен на творчество, и обеднить таких просто невозможно; кто повинуется в любви приказам сверху — тоже не сможет творить, ибо творчество есть свобода; так что тратить «сэкономленное» уже не на что никакого творчества быть не может. А тот, кто вешает людям на уши лапшу насчет «химизма» и «механики» творчества, — прислужник самой реакционной буржуазии, поставленный именно этим классом внушать рабам, что они не люди, а всего лишь организмы, вещи, игрушки в чужих руках.

V. Половой акт не должен часто повторяться

Это не начальству решать, и не врачам. Врач может обратить внимание на особенности организма, — не для того, чтобы что-либо запрещать, а чтобы подсказать, как полнее использовать возможности тела; что же касается любви — тут советчиков нет.

Формула заведомо глупая: что одному часто — другому почти никогда! А тут двое замешаны, и у каждого свои ритмы... Понятно, что у грамотных, хорошо образованных и культурных людей — проблемы вообще нет: в бесклассовом мире все готовы и умеют прислушиваться к органике — и по-человечески уважать друг друга. Сколько и как — совершенно несущественно.

Имеются все научные основания утверждать, что действительно глубокая любовь характеризуется нечастыми половыми актами (хотя нечастые половые акты сами по себе далеко не всегда говорят о глубокой любви: под ними может скрываться и половое равнодушие). При глубокой, настоящей любви оформленное половое влечение вызревает, ведь, как конечный этап целой серии ему предшествовавших богатых, сложных переживаний взаимной близости, а подобные процессы протекают, конечно, длительно, требуя для себя большого количества питающего материала.

Единственное место в книге, где любовь называют любовью. И на том спасибо... Но увязывать любовь с физиологией — гнусная дикость. Никаких «научных оснований» для этого быть не может — это явления совершенно несопоставимые. У людей половое влечение — это не сексуальное возбуждение: влечет иногда и без предвкушения — но о глубине любви это не говорит ничего. Например, *он* любит *ее* — но при этом (как нормальный мужчина) заглядывается на красавицу с экрана; это вовсе не значит, что он и *ее* любит, — это проекция его любимой, обогащение ее образа новой чувственностью. Объяснять такие тонкости тупому рефлексологу — дело безнадежное.

Большая любовь на самом деле может уводить человека от пола — но не из-за мифического «вызревания» (кто любит — тот всегда зрел!), потому, что любовь — универсальное отношение личностей, ей нужен весь мир, во всей его многогранности, — и занятия сексом составляют лишь ничтожно малую часть близости; только там, где общество громоздит классовые (и рыночные) барьеры, горизонт схлопывается в точку, в голый секс.

Нечастое повторение полового акта, помимо указанной выше огромной химической и прочей пользы, имеет еще и следующие положительные стороны:

а) освобождает поле творческой деятельности от рассеивающих, дезорганизирующих образов — ожидания, предвкушения скорого полового акта, делая содержание творчества чистым, не примешивая в него искусственных, посторонних элементов, используя полностью, без утечки, всю силу творческого порыва;

Ну, и на фигура нужно это «творчество» (чистая абстракция), если нет в нем ничего человеческого? Кого половое возбуждение стимулирует — наряду со всем остальным — пусть занимаются в свое удовольствие и на общее благо. У кого иначе — пусть не занимаются, и подыщут себе другие интересности. Мы свободны — без ваших арифмометров.

б) нет того состояния физиологического и психического утомления и острого чувства жизненного безвкусия, которое сопровождает собою обычно частые половые разряды;

Занимайтесь не по календарю (и тем более не по отмашке психиатра), а со вкусом, — и не будет безвкусия. Секс пробуждает вкус к жизни — безусловный факт. Если лично Залкинду этого не понять — мы его не заставляем!

в) нет необходимости в частой перемене полового объекта, так как длительный период накопления стимулов для полового влечения делает последнее по-новому радующим, острым, полностью насыщающим;

Клинический маразм! Секс не самоцель, и сколько будет партнеров — никого не касается. Люди общаются (в том числе в постели) не для того, чтобы «насытиться» (типа: брюхо набить); и погоня за острыми ощущениями — из области опытов на крысах и обезьянах. Скорее, секс важен как (по-человечески) чувственная встряска, способ сбросить лишнюю сытость, оживить отношение к миру и к людям.

г) это вполне соответствует и физиологической природе женщины, для которой частые половые акты обычно представляют собою почву, порождающую половое равнодушие, нередко даже и половое отвращение; редкие же половые разряды делаются и для нее источником глубокой, сильной, эротически-чувственной радости, что поможет как ликвидации этого вечного конфликта между женской эротикой и женской чувственностью, так и общей гармонизации в половых отношениях обоих супругов;

Человек не зверь, у него все не от природы. Женщина тоже человек — и никакой «физиологической природы» у нее нет, а есть общественное положение, индивидуальность, личность. Человеческие (и женские) проблемы — от принуждения, от классового насилия (чем как раз и занимается Залкинд). Когда женщину насилуют (неважно, в браке или без) — это отвратительно. Если обоим захотелось — календарь ни при чем; и какое тогда значение имеет брачный статус? — почему любить можно только супругам? Вынужденное воздержание столь же вредно, как и навязанный диким обществом половой паркур, — а когда все по любви, в чем проблема?

д) это уничтожает мелкое распыление вечно несытого полового чувства, слишком часто пускаемого в ход, — оздоравливает, насыщает наиболее сильными биологическими токами половую жизнь в целом;

У кого оно вечно несытое — тот маньяк, не человек; и не надо насыщать нас биологией — нам нужен разум.

е) это великолепно содействует созданию здорового потомства, столь трагически сейчас страдающего как от чрезмерно истощенного полового аппарата отца, так и от половой нескладицы у матери (90% причин современной женской истерии именно в этом).

Женская истерия — от насилия, от нежелания мириться со статусом средства производства. Человеку (какого угодно пола) не нужен секс — ему нужна любовь. Когда заставляют плодиться и размножаться, укладывают в постель по команде, — остается только притвориться больной, и впасть в болезнь. Нужны вам здоровые организмы — делайте их промышленным образом, и не грузите своими проблемами людей (тем более, женщин). А люди занимаются любят (и занимаются сексом) не для того, чтобы выполнить и перевыполнить репродуктивные планы. Научитесь относиться к людям по-человечески, не утилитарно!

VI. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия

А ваше какое дело? Почему я должен любить кого-то одного, а не десять, и не сто, и не всех сразу? Ваши «революционные» разнарядки оставьте для своих рабов.

а) Поиски нового полового, любовного партнера являются очень сложной заботой, отрывающей от творческих стремлений большую часть их эмоциональной силы;

Не надо искать половых партнеров! Надо любить — это сложно, но очень способствует творческим стремлениям — и чем больше любви, тем лучше.

б) даже при отыскании этого нового партнера необходима целая серия переживаний, усилий, новых навыков для всестороннего к нему приспособления, что точно также является грабежом прочих творчески-классовых сил;

Приспособления — у животных; у людей — любовь. Если вам так трудно — значит, вы не любите. С другой стороны, в борделе не требуется никаких «приспособлений»! — туда можно ходить хоть каждый день. Почему не развить это производство, для общей пользы?

в) при завоевании нового любовного объекта требуется, подчас, напряженнейшая борьба не только с ним, но и с другим «завоевателем», — борьба, носящая вполне выраженный половой характер и окраши-

вающая в *специфические тона полового интереса* все взаимоотношения между этими людьми, — больно ударяющая по хребту их внутриклассовой спаянности, по общей идеологической их стойкости (сколько знаем мы глубоких ссор между кровно-идеологически близкими людьми на почве полового соревнования).

Дремучая дикость! Люди — любят, а не завоевывают друг друга; оставьте ваши буржуйские замашки — люди не собственность, они сами решат с кем и сколько.

Если кто-то поссорился с другом из-за женщины — значит, не было настоящей дружбы, нет любви, — и до людей не доросли! В классовом обществе это обычно — но мы-то хотим строить новый быт!

Теория «кровно-идеологической близости» — сведение человека к биологии, эмпирионатурализм без намордника. Классовые конфликты буржуи всегда норовили уподобить боданиям самцов перед случкой.

Но этого еще мало. Половое разнообразие увеличивает сумму половых потребностей, так как делает половой акт с новым партнером *в первое время* более приятным, т. е. и более к себе привлекающим, требующим более частых повторений, — но оно же и уменьшает и длительность этой новой приятности, требуя скорой замены новым и новым партнером.

Перепрыгивать из одной постели в другую — это не разнообразие, а совсем наоборот — сплошь одно и то же. Физиологически, половой акт даже беднее, чем еда (с бесчисленными оттенками вкусов и фактур). Только вводя половой акт в социальный контекст, можно сделать его по-человечески интересным.

Чем чаще половой акт повторяется, тем скорее приедается половой партнер; чем чаще меняется половой партнер, тем скорее он приедается.

Это обычная буржуазная сказка. Сначала отождествить человека с животным — потом наводить идиотскую рефлексологию. У людей вообще ничего не повторяется! Делая то же самое — мы делаем это по-новому, творим заново. Если физиология ограничивает творчество — ее всегда можно общественно аранжировать и снять преграды.

Любители полового разнообразия попадают в хитросплетенные сети бесконечно нарастающих половых раздражений и безвозвратно оставляют в этой сети как свое здоровое половое чувство, так и подавляющую часть своего классового творческого богатства (если не все). Привычно раздражающий и расслабляющий половой авантюризм засасывает, как наркотик, — он погубил не одного классового бойца.

Кто-то гоняется за бессмысленным трахом — просто животное. То есть, уже не человек. Наркомания не просто болезнь — это инструмент классового господства. Когда секса много — и когда он под запретом — это привлечение внимания, намеренное обострение проблем; так людей сажают на иглу — и в этом бизнесе врачи участвуют наравне с пушерами и наркобаронами. Запреты — ограничение свободы, и будут идти поперек — себе во вред, против желаний: в классовом обществе жажда свободы принимает классово-извращенные формы.

Длительная половая верность как нельзя более кстати для психофизиологии женщины. Женщина ищет себе, вообще, длительного жизненного спутника, хозяйственного помощника, воспитателя, совместно с нею, их детей. Она очень постепенно, далеко не сразу, приспосабливается к своему половому партнеру, и частые перемены явились бы для нее лишь грубыми и бесплодными раздражениями, как физиологическими, так и моральными.

Вот, опять женщину обозвали скотиной! Какое отношение хозяйство, воспитание и собственность на детей имеют к физиологии? По Залкинду, женское тело выдают очередному половому партнеру по партийной разнарядке — и пусть приспосабливается! Что у нее могут быть свои соображения — никому и в голову не придет. Она обязана тащить на себе дом, обихаживать мужа и детей. Если ей чего-то вдруг захочется — это уже слишком часто, — бунт, криминал!

Половой диктатор бешено обрушивается на опусы мадам Коллонтай (в частности, рассказ *Любовь трех поколений*). Усмотреть в женщине человека Залкинд не в состоянии; впрочем, и мужики для него лишь племенной скот. Героиня рассказа Коллонтай говорит:

Любовников я меняю по настроению. Люблю только физически. Сейчас беременна. Не знаю, кто отец, да мне на это и наплевать.

Но почему бы и нет? Это ее выбор, пока не нашлось настоящей любви. Физиология тут ни при чем. Конечно, Коллонтай тоже порет чушь — но ее хотя бы можно по-человечески понять: тысячелетия полового рабства доводят женщин до озверения. Впрочем, здесь речь не о ней...

Хороши бы были наши девушки и женщины, которые последовали бы ее примеру! Куда подевали бы они своих детей от «неизвестных» родителей (ведь, государство опекает меньше 1% детей, и если 100% последуют «идеалу» — куда денутся дети?), не говоря уже о том, что эта половая неразборчивость грубо противоречит здоровой женской физиологической организации.

Типичный ответ типового эксплуататора: дело раба — размножаться по указу хозяина, и выращивать для господина новых рабов. Никто не будет «опекать» ваше отродье кроме вас; а кто против «здоровой женской физиологической организации» (то есть, женщин нет — есть только женские тела) — того прижмем «революционной целесообразностью», так что мало не покажется!

Куда денутся дети — это проблема не женщин, а государства! Не нужны — учите предохраняться и учитесь гуманно делать аборт и стерилизовать; нужны дети — создавайте условия, чтобы оторвать от родителей — всех! — а не загонять женщин в домашнее рабство.

Недаром современная сексология причисляет большинство проституток к клиторному типу, отличающемуся особой *внешней* раздражительностью половых органов.

Буржуазная сексология нам не указ! Проституция — отнюдь не по физиологической предрасположенности, а от голода, от нищеты, от безысходности. Это социальная болезнь — и не сексологам ее лечить.

Женя, по-видимому, страдает сатириазисом средней степени, о чем забыла, вероятно, упомянуть т. Коллонтай. Но сатириазис, ведь, это несчастье, болезнь, а никак не классовый идеал.

Классовый (буржуазный) подход: кто нам не нравится — назвать больными. Придумали словечко, расшифровали как «болезненное перевозбуждение в половой области» — вздор! Нет такой болезни. А есть недостаточная культура секса, нет гигиены. С этим надо бороться, а не против людей.

Класс, кроме того, заинтересован, чтобы его *смена* рождалась от известных женщине отцов, — он требует, чтобы женщина сознательно и по-классовому ответственно выбирала отца своего ребенка.

Зачем??? Когда буржуй нанимает работника на завод — ему совершенно без разницы, кто его родители: достаточно способности приводить в действие кукую-то механику. Пролетарий без родителей — тот же пролетарий. В конце концов, есть искусственное оплодотворение; дело не в том, как родить, — а как воспитать. Удостоверение происхождения нужно только для одного: передача собственности из поколения в поколение. То есть, для буржуев. Нет собственности — и передавать нечего. Даже если допустить сохранение общенародной собственности на какой-то время — что мы, будем искать отца народа? Половая диктатура Залкинда не для половой жизни — она готовит растаскивание собственности частниками, реставрацию капитализма.

Женино презрительное «мне безразлично» говорит лишь о грубом ее безразличии к путям дальнейшего развития борьбы пролетариата, *к роли грядущей смены в этой борьбе* (или о полном ее непонимании путей этой борьбы).

Оно говорит прежде всего о жажде свободы, нежелании быть рабыней (даже у государства) — хотя и проявляется в извращенном виде (а для других проявлений общество условий не создает). То же самое в отношении к детям: это люди, а не пушечное мясо!

Но, быть может, природе мужчины свойственна непреодолимая любовь к половому разнообразию, к многоженству?

Научная биопсихология сексуальности таких врожденных мужских свойств не знает. Половое разнообразие, многоженство — продукты определенных социальных отношений, и только.

Научной биопсихологии вообще не существует — это буржуазное шарлатанство! Сексуальность — явление общественное; биология и психика тут ни при чем, у человека они вторичны — представляют движение духа.

Там, где многоженство узаконено (мусульмане), мы встречаем его лишь у богатых и т. д., поэтому не в мужской природе приходится его искать.

Где логика? Правильный вывод: ублажать природу не всем дозволено. Для того и делают революцию, чтобы богатые от бедных не отличались. И снова: нет никакой мужской и женской природы! — мы люди, мы вне всякой природы вообще.

Правда, большинство мужчин проявляют сейчас «вкус» к половому разнообразию, но этот вкус принадлежит к густому слою нецелесообразных условных рефлексов (условных, т. е. благоприобретенных, а не врожденных: устранимых), вдавненных в человека нелепой эксплуататорской социальностью. Надо перестроить среду так, чтобы раздражители, питающие подобные условные рефлексы, исчезли.

Нет у человека никаких рефлексов — и половая жизнь есть вопрос материальной и духовной культуры. Да, перестройка производства и общественных отношений меняет характер предпочтений — но кто диктует критерии целесообразности? — зачем все сводить только к ней?

VII. Любовь должна быть моногамной, моноандрической

Ура, новый термин изобрели — в дополнение к моногамии... А любовь никому ничего не должна — она свободна. От барских указов она не зависит — и в оковы ее не засунешь. Требование совершенно от фонаря,

нет ни одного аргумента в пользу этой бредовости. Кроме барского произвола. А Залкинд держит нас за круглых дебилов:

Это отчетливо явствует из всего вышеизложенного

Ничего на эту тему в книге нет — и следовать просто неоткуда. Более того, даже постулат номер 2 — о недопустимости секса до брака — никак не ограничивает сексуальность после: штамп в паспорте можно понять как своего рода аттестат зрелости — и дальше гуляй с кем хочешь и сколько угодно! Тем более, что законодательство о браке и семье принадлежность детей определяет по штампу, а не из физиологии. Что сам же Залкинд признает:

Нам могут указать, что возможно соблюдать все приведенные правила при наличии двух жен или мужей. «Идейная близость, редкие половые акты и прочие директивы совместимы, ведь, и при двумужестве, двуженстве».

Возражение по существу! Но даже эти ограничения следовало бы выбросить на помойку: никто не вправе предписывать пути любви!

«Ну, представьте, что одна жена (муж) мне восполняет в идейном и половом отношении то, чего не хватает в другой (другом); нельзя же в одном человеке найти полное воплощение любовного идеала».

Это буржуазная логика. А дело в другом: одна любовь не складывается с другой — они вместе, они друг через друга! В любви просто не нужно ничего «восполнять» — они заполняют весь мир.

Подобные соображения слишком прозрачная натяжка. Любовная жизнь двуженца (двумужниц) чрезвычайно осложняется, захватывает слишком много областей, энергии, времени, специального интереса, требует слишком большего количества специальных приспособлений

Если лично вам сложно — так и не лезьте! А у других, быть может ресурсы покруче. Так что им мешать?

вне сомнения, увеличивает количество половых актов

Вовсе не факт! Нет задачи обслужить за одну ночь сразу всех. Можно как во французской комедии (*Vanille fraise*): пожить с одним, потом переехать к другому... — нормальная ротация, без напряжения.

в такой же мере теряет в соответствующей области и классовая творческая деятельность,

Зато много приобретет творчество бесклассовое, человеческое!

так как сумма сил, отвлеченных в сторону непомерно усложнившейся половой жизни, даже в самом блестящем состоянии последней, —

никогда не окупится творческим эффектом. Творчество в таких условиях всегда проигрывает, а не выигрывает — притом проигрывает не только количественно, но и в грубом искажении своего качества, так как будет непрерывно отягощено избыточным и *специальным* половым, «любовным» интересом.

Это чисто рыночная психология! Капитализм в натуре. А в любви торг неуместен. С другой стороны, почему половая жизнь усложняется? — потому что государство ее усложняет! — и гнать надо в три шеи такую власть, чтобы всем было легко.

Пишущий, в своей достаточно большой психоаналитической сексологической практике, часто сталкиваясь с яркими творческими личностями и объективно анализируя их психофизиологические процессы, ни разу не мог отметить усиления качества творчества от одновременного увеличения количества половых объектов.

А наличие любви он проверял? Вряд ли — ибо он вообще не признает права человека на любовь. Оценить «качество творчества» при таком подходе совершенно невозможно. Секс сам по себе — ни на что не влияет; важно, стоят ли за ним собственно человеческие (а не животное-классовые) мотивы.

Ссылки на острую необходимость «восполнения», разнообразия для усочнения творческого процесса ни на чем не основаны и вполне аналогичны с требованиями водки, кокаина и проч. Наркотики для пробуждения вдохновения — это скверная, большая привычка, а никак не действительный механизм истинного творчества.

А кто сказал, что любовь (или даже секс) надо превращать в наркотик? С тем же успехом можно запрещать виноделие, и вообще еду (поскольку существует булимия). А лучше всего — запретить партийную борьбу: самая что ни на есть наркота!

Характерно, что как раз те виды творчества, которые наиболее тесно связаны с половой жизнью (лирическая поэзия, лирическая музыка, живопись и скульптура сладострастно обнаженных тел, — все это, между прочим, области достаточно мало нужные революционному, воюющему пролетариату), — от подобной половой усложненности тоже не выигрывают, за исключением разве грубо порнографических произведений, для которых количество половых возбуждений, испытываемых автором, является непосредственным материалом к созданию определенного «ударного» впечатления.

Путать искусство с порнографией — филистерская дикость; а что нужно пролетариату — он в состоянии решить без начальников, и без

панически боящихся секса медиков. Тем более, что наша задача — покончить с войнами, а не воевать до полного самоистребления (как у Высоцкого: *И все хорошее в себе доистребили...*).

VIII. При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка — и, вообще, помнить о потомстве

Типа: *memento mori...* Это проблема общества и половой культуры; учите предохраняться, обобществите всех детей — и секс никак не связан с потомством (которое можно производить и без секса).

Ни одно предупредительное средство, кроме грубо вредных, не гарантирует полностью от возможной беременности, аборт же чрезвычайно вреден для женщин,

Так изобретайте более эффективные и безопасные технологии — вместо сочинения идиотских кодексов! Для того и разум, чтобы невозможное делать возможным.

и потому половой акт должен заставить обоих супругов в состоянии полного биологического и морального благополучия, так как недомогание одного из родителей в момент зарождения тяжело отражается на организме ребенка.

Это вопрос полового образования — и настоящей (а не тиранической) медицины; учитесь предупреждать болезни и лечить их; в конце концов от секса для репродукции вообще надо уходить — оставить только секс для души.

Это же соображение, конечно, раз и навсегда исключает пользование проституцией, так как возможность заражения венерической болезнью является самой страшной угрозой, как для биологической наследственности потомства, так и для здоровья матери.

Здрасьте! В цивилизованных странах проститутки проверяют — и учат проверять клиентов перед сексом; опять же: если технология плоха — улучшайте технологию, а не отказывайтесь вообще от всего. Если можно отравиться, съев какую-нибудь гадость, — отсюда не следует, что надо запретить всякую еду. Налаживайте культуру питания.

IX. Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевывания

Сам же выше говорил про то, как женщин завоевывают, что без этого никакого секса нет... А здесь — строевой секс, как на плацу... Любовь

и рядом не стояла! Фельдфебель Залкинд по команде спаривается с младшим сержантом Брехерман — под надзором полковника Бедняка: чтобы без игр! Животные.

Ладно, коли уж хотите индустриальности — пожалуйста, отделяйте полностью деторождение от секса, а воспитание от семьи! А кому интересно — пусть флиртуют на досуге: повышают уровень духовности.

Половая жизнь рассматривается классом, как социальная, а не как узко личная функция, и поэтому привлекать, побеждать в любовной жизни должны социальные, классовые достоинства, а не специфические физиологически-половые приманки

Совсем очумел дядя: только что говорил о запрете всякого флирта и завоеваний — а теперь оказывается, что все-таки придется привлекать и побеждать! Тогда какая разница, чем именно? Что, перед каждым актом сдавать политминимум? Или будут выдавать многоцветные талоны?

Половое влечение, само по себе, биологически достаточно сильно, чтобы не было нужды в возбуждении его еще и добавочными специальными приемами.

Человек не биологическое существо — у него разум есть, и он умеет разумно распоряжаться телами. Кто не умеет — дурно воспитан. Залкинду невдомек, что половые игры — не для возбуждения желания: наоборот, они начинаются как раз там, где желание уже есть, — но есть и потребность окультурить секс, одухотворить его, сделать творчеством.

Так как у революционного класса, в половой жизни содержатся исключительно евгенические задачи, т. е. задачи революционно-коммунистического оздоровления человечества через потомство, очевидно, в качестве наиболее сильных половых возбудителей должны выявлять себе не те черты классово-бесплодной «красоты», «женственности» или грубо «мускулистой» и «усатой» мужественности, которым мало места и от которых мало толку в условиях индустриализированного, интеллектуализированного, социализирующегося человечества.

Человечество оздоравливают не через потомство! — культуру тела надо воспитывать! А «евгенические задачи» — решаются только при полной индустриализации репродуктивной деятельности: давно пора отделить деторождение от секса, воспитание от семьи. И тогда будет без разницы, кого что привлекает — важно не влечение, важна любовь. И не надо диктовать людям, какими им следует быть:

Современный человек — борец должен отличаться тонким и точным интеллектуальным аппаратом, большой социальной гибкостью и

чуткостью, классовой смелостью и твердостью — безразлично, мужчина это, или женщина.

Человек не борец — это прежде всего человек, безразлично к полу; только круглый идиот будет полагать, что преданность руководству можно развить «евгенически» (хотя, вероятно, клинический идиотизм внедрить в гены кому-то захочется). Да, улучшать физиологию можно нужно, — и генетическое вмешательство будет когда-нибудь разрешено; однако главное — вопросы общественного воспитания, в частности полового. И, конечно же, свобода — во всем, особенно в любви.

Понятие о красоте, о здоровье теперь радикально пересматривается классом-борцом в плане классовой целесообразности, и классово-бесплодные так называемая «красота», так называемая «сила» эксплуататорского периода истории человечества неминуемо будут стерты в порошок *телесными комбинациями наилучшего революционного приспособления, наиболее продуктивной революционной целесообразности.*

Приспособленчество — для животных. Люди не приспособливаются — они мир приспособливают к себе. И для этого дополняют органические тела неорганическими, преодолевая ограниченность органики и в конце концов совершенно вытесняя ее из обихода.

Революция, конечно, не против широких плеч, но не ими, в конечном счете, она побеждает, и не на них должен строиться, в основе, революционный половой подбор. Бессильная же хрупкость женщины ему, вообще, ни к чему: экономически и политически, т. е. и физиологически, женщина современного пролетариата должна приближаться и все больше приближается к мужчине. *Надо добиться такой гармонической комбинации физического здоровья и классовых творческих ценностей, которые являются наиболее целесообразными с точки зрения интересов революционной борьбы пролетариата. Олицетворение этой комбинации и будет идеалом пролетарского полового подбора.*

Ну и добивайтесь технологически! Секс тут при чем? И уж тем более это не про любовь...

Х. Не должно быть ревности

Половая любовная жизнь, построенная на взаимном уважении, на равенстве, на глубокой идейной близости, на взаимном доверии, не допускает лжи, подозрения, ревности.

Ревность — это не половая жизнь, а общественное уродство. Убрать семейственность, уничтожить всякую собственность и наследование,

освободить людей от принудительного деторождения и необходимости поодиночке выращивать потомство, — и никаких поводов для ревности! Если общество производит ревность — такое общество надо лечить.

... в ревности основным ее содержанием является элемент грубого собственничества: «Никому не хочу ее (его) уступить», — что уже совершенно не допустимо с пролетарски-классовой точки зрения. Если любовная жизнь, как и вся моя жизнь, есть классовое достояние, если все мое половое поведение должно исходить из соображений классовой целесообразности, — очевидно, и выбор полового объекта мною, как и выбор другим меня в качестве полового объекта, должен на первом плане считаться с классовой полезностью этого выбора.

Любить надо — а не грузить мозги половым подбором. Любовная жизнь не классовое достояние — она для людей, которым плевать на дурную целесообразность, и воспринимают они друг друга не как объект, а духовно, субъективно. Полезность — это рыночная категория; а в любви без базара! Залкинд не любит нэпманов — но половую диктатуру устанавливает в интересах буржуев, и не понимает, что только что провозглашенная им моногамия — это уже отношения собственности, когда люди ограничивают свободу друг друга — да еще закрепляют это письменным контрактом (брак).

Если уход от меня моего полового партнера связан с усилением его классовой мощи, если он (она) заменил(а) меня другим объектом, в классовом смысле более ценным, каким же антиклассовым, позорным становится в таких условиях мой ревнивый протест. Вопрос иной: трудно мне самому судить, кто лучше: я или заменивший(ая) меня. Но апеллируй тогда к товарищескому, классовому мнению, и стойко примиришь, если оценка произошла не в твою пользу.

Опять угодничество! Классовое мнение — это мнение начальства, которое легко настроит любой коллектив на нужные реакции. Почему нельзя опираться на свой разум? В конце концов, нет людей худших и лучших — есть просто люди! Опять же, а почему речь всегда о замене одного другим? — почему нельзя все сразу? Даже если речь о поиску партнеров по сексу. А любви вообще нет дела до физиологии.

Если же тебя заменили худшим (ей), у тебя остается право бороться за отвоевание, за возвращение ушедшего (ей) — или, в случае неудачи, презирать его (ее), как человека, невыдержанного с классовой точки зрения.

Как можно презирать того, кого любишь? Независимо от кажущейся не взаимности. Желание любимого человека — это и мое желание. Не о

завоеваниях надо думать, а честно делать свое дело — тогда и любовь придет (безотносительно к сексу), и никто никому не принадлежит.

Но это, ведь, не ревность. В ревности боязнь чужой, т. е. и своей лжи, чувство собственного ничтожества и бессилия, животнo-собственнический подход, т. е. как раз то, чего у революционно-пролетарского борца не должно быть ни в каком случае.

Но тогда вопроса вообще нет! Зачем кого-то отвоевывать, отнимать у других? Если я люблю, например, тов. Сталина — что же, другим его любить нельзя? Или родину будет делить? — как буржуи.

XI. Не должно быть половых извращений

Это вопрос полового образования, а не приказа по ведомству; опять же, что называть извращениями? — что начальству не нравится?

Всякое половое извращение, ослабляя центральное половое содержание, отражается вместе с тем и на качестве потомства и на всем развитии половых отношений между партнерами.

Про центральное содержание — это работа на барина? Старая песня: секс для детей — не извращение, а все остальное вредно... Религия.

Всеми силами класс должен стараться вправить извращенного в русло нормальных половых переживаний.

Почему одни должны устанавливать нормы для других? Устанавливайте для себя — и не лезьте в чужой интим. Загонять любовь (или секс) в какие-то нормы — это тоже извращение. Религиозное сектантство. Как именно собираются «вправлять» — Залкинд не озвучил. Но у буржуев обширный репертуар средств воздействия...

XII. Класс, в интересах революционной целесообразности, имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая

Маразм! В гробу мы видали ваш класс! Что значит — вмешаться в половую жизнь? Запретить любовь? Стоять около каждой постели с секундомером и счетчиком извращений? Устраивать жизнь надо по-человечески, а не под палкой капрала; тогда и вмешиваться незачем.

Половая жизнь перестает быть «частным делом отдельного человека» (как говорил когда-то Бебель) и превращается в одну из областей социальной, классовой организации.

Один великий путаник ссылается на другого! Занимайтесь организацией жизни в целом — чтобы в половой жизни без проблем.

Попытки жесткой половой нормализации сейчас, конечно, привели бы к трагическому абсурду, к сложнейшим недоразумениям и конфликтам, но все же *общие вводные вехи для классового выправления полового вопроса, для создания основного полового направления имеются.*

Насчет вех — что-то незаметно. Скрижали Залкинда — театр абсурда.

Чутким товарищеским советом организуя *классовое мнение* в соответствующую сторону, давая в искусстве ценные художественные образы определенного типа, в случаях слишком грубых вмешиваясь даже и профсудом, нарсудом, и т. д., и т. д., класс может сейчас дать *основные толчки по линии революционного полового подбора, по линии экономики половой энергии, по линии социализирования сексуальности, облагорожения, евгенирования ее.*

Круто! Заставить размножаться по суду — та еще евгеника... Маразм. Экономике надо перестраивать — в том числе репродуктивную.

После оргазма

Разразившись клинической проповедью и поставив на полку потомкам половой кодекс, можно расслабиться — и самому себя прокомментировать, пока апостолы не расчухались...

Конечно, нашими «12 заповедями» совершенно не исчерпываются все нормы полового поведения революционного пролетариата. Автор лишь ставит вопрос в первоначальном его виде, пытается фиксировать первые вехи.

Что скромничать? В начале было слово — и слово был Залкинд...

Он старался при этом последовательно держаться трех критериев для классово-целесообразного полового поведения пролетариата: 1) вопрос о потомстве; 2) вопрос о классовой энергии; 3) вопрос о взаимоотношениях внутри класса.

Все это не о половой жизни (и тем более не о любви) — вопросы экономики. Ограничение людей классовым поведением — попытка навеки сохранить классы: пролетариат, получается, так и останется пролетариатом, а кто над ним — Залкинд скромно умалчивает (хотя намеки достаточно прозрачны). Спрятанное до поры до времени руководство будет самовластно определять целесообразность — самим пролетариям это, якобы, не под силу (иначе они уже не были бы пролетариями). Для властей класс — лишь голое количество, форма энергии, которую они будут направлять на то, что считают нужным

(например, на борьбу с уклонистами). Усматривать внутри коллектива индивидуальности и личности — поветрие вредное: есть только организмы, в которые высочайшим указом вдавливают «социальную установку». Взаимоотношения внутри навеки загнанного в рабство класса сводятся к поддержанию стадности и плановому размножению под строгим рефлексологическим контролем. Никаких человеческих чувств, никакой духовности — не предусмотрено.

Одной из предпосылок ему служило, между прочим, и то соображение, что в переходный период революции семья еще не погибла.

Если семья не погибла — ее надо погубить! На то и революция. Однако властителям это невыгодно — и они заставляют рабов еще и оплачивать собственное рабство, за свой счет содержать и дрессировать потомство.

Здоровое революционное потомство, при максимально продуктивном использовании своей энергии и при наилучших взаимоотношениях с другими товарищами по классу осуществит лишь тот трудящийся, кто поздно начнет свою половую жизнь, кто до брака останется девственником, кто половую связь создаст с лицом, ему классово-любовно близким, кто будет скупиться на половые акты, осуществляя их лишь, как конечные разряды глубокого и всестороннего социально-любовного чувства и т. д., и т. д., и т. д. Так мыслится автору «половая платформа» пролетариата.

Чем это отличается от платформы христианства? Списано буквально у отцов церкви. Если бы Залкинд на самом деле работал в интересах пролетариата — это можно было бы расценивать как переход на сторону врага; но он лоббирует совсем другие классовые структуры...

Еще Ницше и Фрейд говорили, что труднее всего столкнуться по половому вопросу: уж очень в нем сейчас много субъективизма, при том самого страстного, т. е. самого пристрастного субъективизма. Без надлежащего спокойствия действительно столкнуться будет очень трудно.

Приписать корифеям филистерские благоглупости — чтобы выглядеть шишкой на этом фоне. А призывы к спокойствию — это чтобы не бунтовали, и не требовали свободы.

Сначала о так называемой «свободной любви». Запомните, товарищи критики, одну неопровержимую истину: *чем больше свободной торговли, тем меньше свободной любви.*

Именно поэтому Залкинд все сводит к голому рыночному расчету, «целесообразности» — в такой обстановке любви задержаться негде.

Можно предположить, что капитализм ему не нравится чрезмерной (хотя и чисто формальной) свободой: критикует он торгашей не с позиций бесклассового будущего, а в свете феодально-крепостнических идеалов — или даже рабовладения. То есть, речь не о строительстве коммунизма, а об установлении жесткой олигархической диктатуры — при сохранении все той же капиталистической экономики; это фашизм.

Самым бессмысленным было бы разрешение сейчас полового вопроса в духе так называемой свободной любви.

Два слова, которые действуют на Залкинда как красная тряпка на разъяренного быка: *свобода* и *любовь*.

Трудовое государство находится в состоянии нищеты. Семья еще необходима до зарезу, — общественных яслей, детсадов, детдомов, кухонь и прочего до безобразия мало. Женщины, дети зависят в 90% от домашнего очага, и потому мечтать о «порханиях» с одного любовного кустика на другой, по меньшей мере, выражаясь мягко, преждевременно.

Казалось бы, признание чисто экономических оснований для сохранения семьи должно поставить на повестку дня вопрос об устранении этого рабства, о всеобщем экономическом освобождении, — а пока хотя бы грамотно поставить репродуктивное планирование: наладить половое воспитание, учить техникам предохранения, искать новые, более надежные и безопасные технологии. Если обществу не под силу содержать энное количество органики — не надо ее производить! Иначе все опять сводится к капиталистической стихии, с неизбежными кризисами перепроизводства — выход из которых дает только война. Недостаточно абстрактно-эмпирически констатировать — нужно давать направление на далекое будущее, на историческую перспективу. Мечтаем сегодня — осуществление мечты завтра.

Нет, Залкинд метит не туда... Ему как раз и нужно сохранить *status quo*, закабалить народ на веки веков, и держать мир в состоянии вечной войны. И плодить, и воспитывать — не людей, а только «бойцов».

Свобода любви — вопрос принципиальный, и это никак не зависит от наличной экономики. Вы за то, чтобы люди свободно любили, — или вы против любви и свободы? Если *за* — ищите возможность будить души уже сейчас, зажигать искорки будущего и всячески оберегать от натиска буржуазности. Разделите любовь — и грубо-классовые формы ее бытования. Не насилюйте женщин, не привязывайте их к «очагам» и «кустикам» — каждый случай освобождения надо приветствовать как

величайшую победу разума! И в беспросветной нищете — есть место для высокой духовности, любви; насаждение духовного убожества — путь религии, умерщвление любви.

С другой стороны, свободная любовь, т. е. полное доверие общества к свободному любовному выбору его членов, предполагает такое состояние развития коллектива, коллективистических чувств, до которого нам как будто еще очень далеко — и производственно, и психологически.

Если что-то далеко — это не значит, что не надо об этом мечтать и к этому стремиться. Настоящие (а не олигархические) коммунисты знали, что до коммунизма далеко — но его таки пытались строить.

Не доверять людям — ханжеское буржуинство! Если не давать человеку ничего делать — он ничему и не научится. С другой стороны, доверяет людям не «общество» (то есть, начальство) — людям доверяют люди. Когда они важны человечеству сами по себе, а не как винтики очередного «коллектива». Залкинд сам не понимает, что говорит: мы, дескать, готовы предоставить вам свободу — но только если все будет под нашим полным контролем! Клинический случай...

Современная человеческая психофизиология, насквозь пропитанная гнилой социальностью, если ей предоставить свободу любви, натворит таких гнилых гадостей в этой «свободной атмосфере», от которых долго освобождаться придется потом при помощи жесточайшей половой диктатуры.

Человек — не психофизиология! Это человек, разумное существо. Гнилые гадости ему навязывает общество — идиотскими запретами, подавление личности в угоду жестоким диктаторам. Пока нет ничего кроме животности — социальность гниет; будет у людей возможность любить — они свободны, и не надо их «освободить» при помощи полицейской дубинки. Откровенно барская фразеология: «предоставить свободу любви». Свободу не предоставляют, ее берут — ни у кого не спрашивая разрешения; «разрешенная» свобода — рабство.

В условиях же зрелого коллектива, т. е. в коммунистическом строе, — люди, полностью переплавившись в огне революционных боев, коллективизированного производства, идеологического единства, радикально изменят весь свой психофизиологический облик, и та свободная любовь, которую они создадут, ничуть не будет похожа на ту «свободную любовь», которую пытаются насаждать мои сердитые критики. Наоборот, я имею все научные основания утверждать, что в грядущей коммунистической свободной любви будет гораздо больше

половой скромности, половой верности, скупости, любовно товарищеской половой классовости и организованности, чем этого хотелось бы слюняво-похотствующим ярым ревнителям сегодняшней свободной любви.

Не путайте любовь с похотью, дух с физиологией! Если не давать людям любить сегодня — коммунизма не будет никогда; нельзя строить бесклассовое общество без любви: так не бывает, чтобы сначала создать идеальные условия — а потом включить нажатием кнопки. Все вместе: условия мы создает для того, что в нас уже есть, и чего становится больше по мере улучшения условий. То же самое об изживании религии, этнического сознания, буржуазной педагогики.

Претензии на научность — типовой штамп буржуазной пропаганды. Религия тоже «научно обоснована» — и на нее работает объемистый пакет «религиозных наук». Скромность, классовость, организованность, скупость — это рыночная терминология; в мире свободы ничего такого просто не может быть, эти понятия неуместны. Люди поступают как считают нужным, руководствуются только разумом, только любовью, — и это именно то, что нужно всем.

Всякая радость, в классовом ее использовании, должна иметь какую-нибудь ценную производительную цель. Чем крупнее эта радость, тем полнее должна быть ее производственная ценность.

Вот чисто рыночная психология! — антикоммунизм. Радости нельзя обменивать одну на другую — это не товар. Их невозможно сравнивать по величине, или еще как-нибудь; они все вместе — и радость одного есть радость другого. Никто не назначает цену — и это не производство, а движение духа.

В классовом обществе любая регуляция — насилие, повод для ужесточения диктатуры. Борьба с эпидемиями становится борьбой с людьми. Разумное общество не регулирует, а предоставляет средства саморегуляции; выбор подходящих — дело сугубо индивидуальное. Есть возможность пользоваться вакцинами и масками — но никто не обязан; есть технологии обеззараживания, и они будут развиваться, становиться более гуманными, безопасными. Точно так же, обеспечьте людей презервативами — без шумихи и бесплатно — и будет контроль над рождаемостью; есть проблемы с демографией? — дайте всем знать, предоставьте возможность участвовать в репродуктивной индустрии, освободите от экономического и социального давления, от семейного рабства. Обычная гигиена, а не классовый диктат.

Сколько нового, — непосредственного, не увлажненного половым вожделением, — яркого, героического, коллективистического, боевого классового устремления получит тогда заново человек! Сколько острой научной исследовательской, материалистической любознательности, не прикованной больше к одним лишь половым органам получит тогда человек! Неужели эти радости менее радостны, чем половая радость? Неужели производственная ценность их меньше, чем ценность тщательно оберегающегося от беременности полового акта или половой грезы? Тем более, что по праву это богатство, и социально и биологически, принадлежит не половому, — оно лишь было последним украдено в обстановке нелепой эксплуататорской энергетической суматохи.

Запрещая секс — вы получите не высвобождение «энергии», а неврозы! Личные интересы не навязывают в приказном порядке. Радоваться только боевому героизму и зависимости от стада — мерзкая животность. Любознательность вовсе не исключает половой жизни — а в атмосфере вечных запретов нет ни научности, ни материализма. Регламентировать радости — значит, загнать в рабство; и тогда какая разница, к чему быть прикованным? Свободный человек уделяет половой жизни столько внимания, сколько считает нужным — сколько требует его разумность, в которой нет ни норм, ни излишеств (это взаимосвязанные рыночные понятия). Активное половое воспитание возможно только в условиях развертывания все новых направлений свободного творчества — при советах (как и во всяком буржуинстве) человеку некуда податься кроме навязанной рынком профессии и столь же регламентированных уз быта; так вопросы пола приобретают налет универсальности — которой нет ходу больше нигде.

Несколько слов о «мощной стихийной половой диалектике» и о невмешательстве в половой подбор. Если научно нормализуют половой подбор прочих животных и растений, чем современный человек их лучше? Тем более, что именно он, исковерканный, прогнивший, нуждается в коренной реорганизации этого подбора сильнее какого бы то ни было иного животного вида.

Не путайте человека с животным! У нас есть не только тела — но и свобода распоряжения телами, свободная воля, разум. Считать рабов всего лишь скотом — барское обыкновение, во все века. Человек не репродуктивный материал — у него много иных интересов (включая и свободный, не завязанный на деторождение секс). Человек не обязан считать начальника образцом мудрости — каждый сам решит, что лучше

на данный момент для него лично и для человечества в целом. При желании можно поучаствовать в производстве органики; но главное — развивать неорганическое тело, собственно человеческую форму бытия. Тогда чрезмерного внимания к полу просто не может быть — и никаких ограничений.

В другом контексте, постановка вопроса о евгенике — верно и важно. Органические тела — часть материального носителя разума, и обращаться с ними следует как со всей остальной материей. Однако при опоре на одни лишь кустарные технологии реально улучшить видовое наследие не получится — одни паллиативы. Именно большевистская Россия служит хорошей иллюстрацией: поднять разрушенное хозяйство смогли только путем индустриализации и коллективизации сельского хозяйства (включая то же животноводство!). Еще яркий пример — создание атомной бомбы: по выражению Нильса Бора, всю Америку тогда превратили в одну большую фабрику.

Что же касается вообще половой нормализации, — чем же она более ответственна и научно менее осуществима в сравнении с нормализацией такого, кажется, тоже достаточно мощного инстинкта, как инстинкт питания (а тот, ведь, нормализуется сейчас все более прочно, хотя он биологически гораздо меньше искажен, чем так называемый половой инстинкт).

Кто бы еще объяснил, в чем состоит «нормализация питания»... Проблемы с режимом питания — до сих пор одна из самых ходовых тем в буржуазной прессе и на телевидении. Даже в богатых странах миллионы умирают от голода и связанной с питанием антисанитарии. Рыночная стихия — все решают деньги. Рыночная регуляция: правящий класс должен питаться лучше голытьбы (и для этого раздувают шум вокруг всяческой экологии). В СССР минимальные подвижки были (вроде изобретения докторской колбасы) — но как раз на вечности всевозможных дефицитов сыграли буржуи во времена «перестройки», чтобы организовать контрреволюционный переворот.

Проповедует ли автор аскетизм «классовых святош»? Агитирует ли автор за воспитание отвращения к половому? — Нет, нет и нет. Он лишь водворяет половое на научно и классово ему принадлежащее место. Он извлекает из полового лишь ту часть радости и классовой пользы, которая сейчас действительно нужна и осуществима. Вместе с тем, с полового снимается излишняя накипь ненужного, но неизбежного при старой постановке вопроса полового трагизма, стоившего столько слез и столько сил человечеству.

Нужно — кому? Польза — это рынок, капитализм... А трагизм — не от пола, а от дурного общества, от классовой манипуляции! — замените одну другую — ничего не изменится.

Конечно, эта «реформа» удастся не сразу. Она будет стоить тяжких трудов. Но какой производственный прогресс удавался без жертв? Человечество, тем более революционный его авангард — пролетариат, привыкли к жертвам.

Кем собираетесь жертвовать, господа? Народ не «привык» к жертвам — его к ним приучили всяческие мерзавцы. Где нет разума — приходится жертвовать и всем остальным. Так что призывать надо не к новым жертвам, а к творчеству — снимать запреты, чтобы уйти от вечного реформизма, дать людям возможность совершенствоваться не под спущенный сверху проект, а в порядке ежедневной и ежесекундной работы по окультуриванию, одухотворению мира.

Кстати, а почему в жертвы надо всегда записывать только бедняков, только подневольные массы? Почему бы государству (начальству) не пожертвовать чем-нибудь? Например, диктаторскими замашками — или узурпированным правом на силовое реформирование.

Если буржуазный строй создавал у господствующих классов колоссальный биологический избыток, уходящий в значительной своей части на половое возбуждение, а с другой стороны — сплющивал трудовые массы, выдавливая крупную часть неиспользованной их творческой активности тоже в сторону полового, — советская общественность обладает как раз обратными чертами: она изгнала тунеядцев с биологическим избытком и развязала сдавленные силы трудовых масс, тем высвободив их и из полового плена, дав им пути для сублимации. *Сублимационные возможности советской общест-венности, т. е. возможности перевода сексуализированных пере-живаний на творческие пути, чрезвычайно велики.* Надо лишь это хорошенько осознать и умеючи реорганизовать сексуальность, урегулировать ее, поставить ее на должное место. В основном, конечно, это зависит от скорости творческого углубления самой советской общественности, т. е. нашей социалистической экономики в первую голову. Но и для специальной активности — широчайший простор.

Опять в куче биологическое и социальное... Нет «биологического избытка» — а есть неравномерность распределения, от которой зависит и характер потребления. Верхи и низы — зеркало друг друга: и те, и другие не свободны, и возможности приложить себя, реализовать себя как личность, ограничены и у буржуев, и у пролетариев. Поэтому так

легко буржуазным пропагандистам (включая Залкинда) все свести к сексуальности. Классовые различия, конечно же есть; но не в количестве секса, а в уровне его «сублимации»: если тупой трах пролетариев не производит ничего кроме мясных полуфабрикатов — хотя бы частичное, иллюзорное освобождение сексуальности от биологической «нагрузки» делает половую жизнь богачей своего рода *прототипом* духовности и свободы (не только половой!). Существование хотя бы принципиальной возможности перевести сексуальность в план личного общения, роста духовности — отражается в низах мечтами об экономической свободе.

Залкинд требует увековечить классовую организацию экономики и общества — и тем самым классовый характер сексуальности. Его «заповеди» направлены на сохранение статуса сексуальности как одного из рычагов классового господства. Человека лишают секса, не давая ничего взамен! — это все равно что запретить есть — или оставить без жилья (кошмарные советские реалии — до самого конца). Да, экономика ни к черту — но надо компенсировать передовой идеологией: ставить высокие цели — увлекать, а не командовать, — не замораживать (научно констатировать) классовую действительность, а строить бесклассовое будущее, и мерить все по его меркам!

В самом деле, какое огромное десексуализирующее значение имеет полное политическое раскрепощение женщины, увеличение ее человеческой и классовой сознательности. Приниженность и некультурность женщины играет очень крупную роль в сгущении половых переживаний, так как для женщин в таких условиях половое оказывается чуть не единственной сферой духовных интересов. Для грубо чувственного же мужчины такая бессильная женщина особо лакомая добыча. Освобожденная, сознательная женщина изымает из этого слишком «богатого» полового фонда обоих полов крупную глыбу, тем освобождая большую долю творческих сил, связанных до того половой цепью.

А как освобождать — если она (по проекту Залкинда) навеки останется прикованной к «семейному очагу» и к детям? По идее, надо *начинать* с освобождения (обоих полов) от детей, от семьи! Если невозможно на практике — то хотя бы формально заявить как первоочередная задачу, которую (пусть не сразу) но предстоит решить. Отделить половое от деторождения и образования, сделать людей (не взирая на пол и возраст) экономически независимыми — и тем самым перевести фокус на рост духовности, становление личности.

Сюда же надо отнести и раскрепощение национальностей, и прочие завоевания революции в деле освобождения масс от эксплуататорского ярма. Большое значение имеет и отрыв населения от религии. Религия, пытаясь примирить со скверной реальностью, уничтожала боевые порывы, принижала, сдавливала ряд телесных и общественных стремлений, сплющивая тем самым самую большую их часть в сторону полового содержания. Умиряющая религия масс ослабляет их половое прозябание, возрождает их боевые свойства (хотя религиозные проповедники и *лгут* об обратном: без религии-де появится половая разнузданность).

Точно так же, как любовь не отделили от секса, а секс от деторождения, церковь и этнические группировки так и не отделили от государства, от общества, от каждого человека. Трепетное отношение к собственности попов, призывы не оскорблять религиозные чувства... Насильственная украинизация⁵⁴ на территории русскоязычных областей, формально переданных Украине, — мы знаем, к чему это привело.

Детское коммунистическое движение будет спасать от раннего полового дурмана детский возраст

Почему половое — это дурман? Потому что его делают таковым — в том числе всякие залкинды; в норме — это часть человеческой жизни, наряду со всеми другими, — а половая диктатура лишь выпячивает на первый план то, что у разумных людей решается само собой, по ходу дела.

Конечно, сейчас не может быть и речи о государственном законодательстве, нормализующем половую жизнь граждан СССР. Не может быть таких формальных норм ни по партийной ни по профсоюзной линии. Кроме паники, сумбура, нелепых кривотолков, такая мера ни к чему сейчас не привела бы, так как ни зрелых социальных предпосылок нет для полного ее осуществления, ни стойких научных приемов для ее проведения.

Дело не в «сейчас» — а в принципиальной постановке вопроса! Нельзя «нормализовать» людей сверху — это буржуйские повадки. А Залкинд лишь откладывает установление половой диктатуры: дескать, выждем удобного момента — но закабалим все равно!

Речь может идти лишь по линии первичного практического нащупывания путей этой реформы в массах, причем методическими щупальцами, сколько бы об этом ни спорить, в конечном счете окажутся как

⁵⁴ Например, Антона Макаренко заставили записать себя в украинцы — хотя он всегда считал себя русским, и писал по-русски, для всей страны.

раз те вехи, которые были даны автором выше. В действительных трудовых массах вехи эти найдут для себя вполне прочную опору, протестантами окажутся либо аристократическая верхушка трудящихся, либо та же интеллигентщина.

Во как! Залкинд объявляет себя богом — великим и непогрешимым. Дескать, как ни крутитесь — от истинной веры вам не ускользнуть. А язычников — к ногтю! Дальше по тексту про стихийные поиски новых форм: все они в итоге придут к его «заповедям». Чисто эмпирически он прав: буржуазность общества предполагает и буржуазность морали — принципы которой Залкинд лишь высказал с наглой откровенностью. Трепыхания молодежи его не смущают: он же знает, что «ближайшие возможности ее боевых героических накоплений не так велики» — потому что власть (при содействии верных залкиндов) уже успела перекрыть все лазейки к свободе.

Поэтому не грех, если в состав героического, жертвенного революционного фонда среди других частей этого фонда молодежь будет также внесен и богатый вклад половой скромности, половой самоорганизации.

Будьте готовы к новым жертвам! — всегда готовы... Скот на заклание.

Революция отгремела, значительная часть искренних коммунистов пала на полях гражданской войны. Начинается новый виток классовой истории, период первоначального накопления — перетасовка классовых сил, подготовка контрреволюции. Великая «заслуга» Залкинда перед будущими буржуями — «научное» оправдание их «естественного» права распоряжаться массами как рабочим скотом. Война выкосила людишек — и новые поколения надо выращивать в духе преданности начальственным ориентирам, бережливого отношения к барскому имуществу, включая человеческие тела:

Для того, чтобы строить, нужно научиться организованно копить.

Это чисто рыночный лозунг, возврат в капитализм. Накопленное складывается в капитал — а распоряжаться им будут отнюдь не сами производители; против любых попыток взять дело в свои руки, самим решать свою судьбу, — яростно выступает буржуазная психиатрия в лице г-на Залкинда. Но непомерные претензии и высокомерие — на шатком фундаменте, пока у людей есть малейшая возможность утаить хоть что-нибудь от недремлющего ока половой диктатуры. Сквозь утрированную, бездуховную жестокость — сквозит страх, предчувствие неизбежного краха. Да будет так!

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ.....	3
Марксизм и любовь	7
Трагические ошибки советской власти	25
Пределы тела	31
Что за чем	35
Люди и гвозди	40
Реквием победы	43
Время и деньги	51
Коммунистическая повинность	59
Предмет веры	69
Труд и школа	89
Пролетарии всех странностей	123
Семейное дело	164
Летальный исход	202
Дамские штучки	235
Переходя на личности	275
Неженский вопрос	324
На подступах	333
Чет и нечет	342
Дурное наследие	355
Половое существо	375
Чтобы не париться	393
Воспитание утопленников	417
В ожидании поезда	446
Большая идея	463
Флаги на рифах	467
Классовый рефлекс	476
Болваны и болванки	489
Псих на цепи	496

Клинический идеал.....	501
Половая диктатура.....	509
Гнилой завет.....	525
После оргазма.....	550

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА ✦ II ✦